Александр Солженицын

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ


ИНКОМ НВ



Брянский фронт. 1943

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Малое собрание сочинений

Том ***5***

Архипелаг ГУЛАГ

1918–1956

Опыт художественного исследования

I – II

Москва
ИНКОМ



1991

ББК 84 Р
С 60

Печатается по тексту Собрания сочинеиий А. И. Солженицина
Вермонт, Париж YMCA-PRESS ,1980, тома 5-7

Тексты «Малого собрания сочинений» подготовлены Издательским центром «Новый мир» совместно с автором

Книга издана при содействии Московского инновационного коммерческого банка

Солженицын А.
С 60 Архипелаг ГУЛАГ, т. I, М:
ИНКОМ НВ, 1991. -432с.

С $\frac{4702010201-001}{91}$ без объявл.

ISBN 5-85060-024-8

ПОСВЯЩАЮ

всем, кому не хватило жизни
об этом рассказать.
И да простят они мне,
что я не всё увидел,
не всё вспомнил,
не обо всём догадался.

Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда — замёрзший древний поток, и в нём — замёрзшие же представители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал учёный корреспондент, что присутствующие, расколов лёд, тут же охотно съели их.

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.

Мы — сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточённой поспешностью кололи лёд; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех *присутствующих*, из того единственного на земле могучего племени *зэков*, которое только и могло *охотно* съесть тритона.

А Колыма была — самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент,— почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков.

Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую страну, он врезался в её города, навис над её улицами — и всё ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали всё.

Но будто лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание.

Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об Архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо ворошить прошлое!.. Кто старое помянет — тому глаз вон!» Однако доканчивает пословица: «А кто забудет — тому два!»

Идут десятилетия — и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его, и кости его обитателей, вмёрзшие в линзу льда,— представятся неправдоподобным тритоном.

Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь — достанется ли?.. У тех, не желающих *вспоминать*, довольно уже было (и ещё будет) времени уничтожить все документы дочиста.

Свои одиннадцать лет, проведённые там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь ещё, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем,— может быть сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса?— ещё впрочем живого мяса, ешё впрочем живого тритона.

В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имён,— а всё было именно так.

Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах —

[перечень 227 имён]

Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым.

Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь мне, чтоб эта вещь была снабжена библиографическими опорными точками из книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так что найти сохранённый экземпляр требовало большого упорства; ещё более — тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить её.

Но не настала та пора, когда я посмею их назвать.

Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редактором этой книги. Однако полжизни, проведенных *там* (его лагерные мемуары так и называются «Полжизни»), отдались ему преждевременным параличом. Уже с отнятой речью он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всём будет рассказано.

А если долго ещё не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и передача этой книги будет большой опасностью — так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться — от тех, от погибших.

Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне не известны были ничьи мемуары или художественные произведения о лагерях. За годы работы до 1967 мне постепенно стали известны «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и воспоминания Д. Витковского, Е. Гинзбург, О. Адамовой-Слиозберг, на которые я и ссылаюсь по ходу изложения как на литературные факты, известные всем (так и будет же в конце концов).

Вопреки своим намерениям, в противоречии со своей волей, дали бесценный материал для этой книги, сохранили много важных фактов и даже цифр, и сам воздух, которым дышали: чекист М. Я. Судрабс-Лацис; Н. В. Крыленко — главный государствен-

ный обвинитель многих лет; его наследник А. Я. Вышинский со своими юристами-пособниками, из которых нельзя не выделить И. Л. Авербах.

Материал для этой книги также представили тридцать шесть советских писателей во главе с Максимом Горьким — авторы позорной книги о Беломорканале, впервые в русской литературе восславившей рабский труд.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«В эпоху диктатуры и окружённые со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность.»

Крыленко, речь на процессе «Промпартии»

Глава 1

АРЕСТ

Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут корабли, гремят поезда — но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты Совтуриста и Интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет. Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали.

Те, кто едут Архипелагом управлять — попадают туда через училища МВД.

Те, кто едут Архипелаг охранять — призываются через военкоматы.

А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно — через арест.

Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?

Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас — центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: *«Вы арестованы!»*

Если уж *вы* арестованы — то разве ещё что-нибудь устояло в этом землетрясении?

Но затмившимся мозгом не способные охватить этих перемещений мироздания, самые изощрённые и самые простоватые из нас не находятся в этот миг изо всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как:

— **Я**?? За что?!?—

вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный ещё до нас и никогда не получивший ответа.

Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое.

По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов — гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались — что́ за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть — а там-то и начинается страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И ещё мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для нас!— и вот распахнулась

быстро роковая одна, и четыре белых мужских руки, не привыкших к труду, но схватчивых, уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо — вволакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда.

Всё. Вы — арестованы!

И нич-ч-чего вы не находитесь на это ответить, кроме ягнячьего блеянья:

— Я-а?? За что?? . .

Вот что такое арест: это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим.

И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки.

Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это ошибка! Разберутся!»

Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.

Это — резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это — бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это — за спинами их напуганный прибитый понятой. (А зачем этот понятой?— думать не смеют жертвы, не помнят оперативники, но положено так по инструкции, и надо ему всю ночь просидеть, а к утру расписаться. И для выхваченного из постели понятого это тоже мука: ночь за ночью ходить и помогать арестовывать своих соседей и знакомых.)

Традиционный арест — это ещё сборы дрожащими руками для уводимого: смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что́ надо, что́ можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают: «Ничего не надо. Там накормят. Там тепло.» (Всё лгут. А торопят — для страху.)

Традиционный арест — это ещё потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жёсткой чужой подавляющей силы. Это — взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание — и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребёнком. *Юристы* выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки.* И ничто во время обыска не может быть признано нелепым! У любителя старины Четверухина захвати-

* Когда в 1937 году громили институт доктора Казакова, то сосуды с *лизатами*, изобретенными им, «комиссия» разбивала, хотя вокруг прыгали исцелённые и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственные лекарства. (По официальной версии лизаты считались ядами — и отчего ж было не сохранить их как вещественные доказательства?)

ли «столько-то листов царских указов»— именно, указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза и молебствие против холеры 1830 года. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет!). При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи (а через 25 лет за расшифровку их посмертно присуждена покойному ленинская премия). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретённую им письменность и букварь — и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит об обыске так: *ищут, чего не клали.*

Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного — как Нина Александровна Пальчинская потащила за плечом мешок с бумагами и письмами своего вечно-деятельного покойного мужа, великого инженера России — в пасть к *ним*, навсегда, без возврата.

А для оставшихся после ареста — долгий хвост развороченной опустошённой жизни. И попытка пойти с передачами. Но изо всех окошек лающими голосами: «Такой не числится», «Такого нет!» Да к окошку этому в худые дни Ленинграда ещё надо пять суток толпиться в очереди. И только может быть через полгода-год сам арестованный аукнется или выбросят: «Без права переписки». А это уже значит — навсегда. «Без права переписки»— это почти наверняка: расстреляли.

Одним словом, «мы живём в проклятых условиях, когда человек пропадает без вести и самые близкие люди, жена и мать . . . годами не знают, что сталось с ним». Правильно? Нет? Это написал Ленин в 1910 году в некрологе о Бабушкине. Только выразим прямо: вёз Бабушкин транспорт оружия для восстания, с ним и расстреляли. Он знал, на что шёл. Не скажешь этого о кроликах, нас.

Так представляем мы себе арест.

И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах: их приезжает несколько вооружённых против одного, не достегнувшего брюк; за время сборов и обыска наверняка не соберётся у подъезда толпа возможных сторонников жертвы. Неторопливая постепенность прихода в одну квартиру, потом в другую, завтра в третью и в четвёртую, даёт возможность правильно использовать оперативные штаты и посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют.

И ещё то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не событие. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки,— днём шагает молодое племя со знамёнами и цветами и поёт неомрачённые песни.

Но у *берущих*, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них — большая теория, не надо думать в простоте, что её нет. Арестознание — это важный раздел курса общего тюрьмоведения, и под него подведена основательная общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные, домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчленённые и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьёзности заданного обыска; по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо ещё и стариков в лагерь.

И ещё отдельно есть целая Наука Обыска (и мне удалось прочесть брошюру для юристов-заочников Алма-Аты). Там очень хвалят тех юристов, которые при обыске не поленились переворошить 2 тонны навоза, 6 кубов дров, 2 воза сена, очистили от снега целый приусадебный участок, вынимали кирпичи из печей, разгребали выгребные ямы, проверяли унитазы, искали в собачьих будках, курятниках, скворечниках, прокалывали матрасы, срывали с тел пластырные наклейки и даже рвали металлические зубы, чтобы найти в них микродокументы. Студентам очень рекомендуется, начав с личного обыска, им же и закончить (вдруг человек подхватил что-либо из обысканного); и ещё раз потом прийти в то же место, но в новое время суток — и снова сделать обыск.

Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926) два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повёз её . . . прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927 на Кузнецком мосту полнолицую русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, какой-то молодой франт подсаживает на извозчика (а извозчик уже понимает и хмурится: *Органы* не заплатят ему) — то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въедут в чёрную пасть ворот. И если (двадцать две весны спустя) кавторанг Борис Бурковский в белом кителе, с запахом дорогого одеколона, покупает торт для девушки — не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесён кавторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдьи. Однако, он исполняется чисто и — вот удивительно!— сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обречённого.

Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь (а если уж стучит, то «управдом», «почтальон»), не всякого следует арестовывать и на работе. Если арестуемый

злоумен, его удобно брать в отрыве от привычной обстановки — от своих семейных, от сослуживцев, от единомышленников, от тайников: он не должен успеть ничего уничтожить, спрятать, передать. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Какой же нибудь безвестный смертный, замерший от повальных арестов и уже неделю угнетённый исподлобными взглядами начальства,— вдруг вызван в местком, где ему, сияя, преподносят путёвку в сочинский санаторий. Кролик прочувствовался — значит, его страхи были напрасны. Он благодарит, он, ликуя, спешит домой собирать чемодан. До поезда два часа, он ругает неповоротливую жену. Вот и вокзал! Ещё есть время. В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликает симпатичнейший молодой человек: «Вы не узнаёте меня, Пётр Иваныч?» Пётр Иваныч в затруднении: «Как будто нет, хотя . . .» Молодой человек изливается таким дружелюбным расположением: «Ну, как же, как же, я вам напомню . . .» и почтительно кланяется жене Петра Иваныча: «Вы простите, Ваш супруг через *одну минутку . . .*» Супруга разрешает, незнакомец уводит Петра Иваныча доверительно под руку — навсегда или на десять лет!

А вокзал снуёт вокруг — и ничего не замечает . . . Граждане, любящие путешествовать! Не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер.

Эта назойливость мнимых знакомых так резка, что человеку без лагерной волчьей подготовки от неё как-то и не отвязаться. Не думайте, что если вы — сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Долган, то вас не могут арестовать средь бела дня на улице Горького близ Центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув грабастые руки: «Са-ша!— не таится, а просто кричит он.— Керюха! Сколько лет, сколько зим?! . . Ну, отойдём в сторонку, чтоб людям не мешать.» А в сторонке-то, у края тротуара, как раз «победа» подъехала . . . (Через несколько дней ТАСС будет с гневом заявлять во всех газетах, что компетентным кругам ничего не известно об исчезновении Александра Долгана.) Да что тут мудрого? Наши молодцы такие аресты делали в Брюсселе (так взят Жора Бледнов), не то что в Москве.

Надо воздать Органам заслуженное: в век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими с конвейера,— аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону в заводской проходной, после того как вы себя удостоверили пропуском,— и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с температурой 39° (Анс Бернштейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить!); вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка (Н. М. Воробьёв, инспектор крайнаробраза, 1936) — и еле живого, в крови, привозят в камеру (вспоминает Карпунич); вы (Надя Левитская) добиваетесь свидания с осуждённой матерью, вам дают его! — а это оказывается очная ставка и арест! Вас в «Гастрономе»

приглашают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас арестовывает монтёр, пришедший снять показания счётчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофёр такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор — все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостовереньице.

Иногда аресты кажутся даже игрой — столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии, а ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Хотят ли оперативники так оправдать свою службу и свою многочисленность? Ведь кажется достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки — и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к чёрным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. (Да колхозников так и берут, неужели ещё ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут. Чернорабочего вызывают в контору.)

Конечно, у всякой машины свой заглот, больше которого она не может. В натужные налитые 1945—1946 годы, когда шли и шли из Европы эшелоны, и их надо было все сразу поглотить и отправить в ГУЛАГ,— уже не было этой избыточной игры, сама теория сильно полиняла, облетели ритуальные перья, и выглядел арест десятков тысяч как убогая перекличка: стояли со списками, из одного эшелона выкликали, в другой сажали, и вот это был весь арест.

Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление (при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное), что от ГПУ-НКВД убежать невозможно. И даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, всякий день прощались с семьёй, ибо не могли быть уверены, что вернутся вечером,— даже тогда они почти не бежали (а в редких случаях кончали с собой). Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам.

Это происходило ещё от непонимания механики арестных эпидемий. Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора — какого человека арестовать, какого не трогать, а лишь достигали контрольной цифры. Заполнение цифры могло быть закономерно, могло же носить и совершенно случайный характер. В 1937 году в приёмную новочеркасского НКВД пришла женщина спросить: как быть с некормленным сосунком-ребёнком её арестованной соседки. «Посидите,— сказали ей,— выясним.» Она посидела часа два — её взяли из приёмной и отвели в камеру: надо было спешно заполнять число, и не хватало сотрудников рассылать по городу, а эта уже была здесь! Наоборот, к латышу Андрею Павлу под Оршей пришло НКВД его арестовать; он же, не открывая двери, выскочил в окно, успел убежать и прямиком уехал в Сибирь. И хотя жил он там под своей же фамилией, и ясно было по

документам, что он — из Орши, он никогда не был посажен, ни вызван в Органы, ни подвергнут какому-либо подозрению. Ведь существует три вида розыска: всесоюзный, республиканский и областной, и почти по половине арестованных в те эпидемии не стали бы объявлять розыска выше областного. Намеченный к аресту по случайным обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно А. Павлу и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой и имевшие смелость в те же часы бежать, ещё до первого допроса,— никогда не ловились и не привлекались; а те, кто оставались дожидаться справедливости,— получали срок. И почти все, подавляюще, держались именно так: малодушно, беспомощно, обречённо.

Правда и то, что НКВД при отсутствии нужного ему лица брало подписку о невыезде с родственников и ничего, конечно, не составляло *оформить* оставшихся вместо бежавшего.

Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё и *не возьмут*? Может, обойдётся? А. И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В 37-м году на базаре к нему подошёл мужик и от кого-то передал: «Александр Иваныч, уезжай, ты *в списках*!» Но он остался: ведь на мне же вся школа держится, и *их* собственные дети у меня учатся — как же они могут меня взять? . . (Через несколько дней арестован.) Не каждому дано, как Ване Левитскому, уже в 14 лет понимать: «Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и меня посадят.» (Его посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен — то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся — выпустят!» Других сажают повально, это тоже нелепо, но там ещё в каждом случае остаются потёмки: «а может быть *этот* как раз . . .?» А уж ты!— ты-то наверняка невиновен! Ты ещё рассматриваешь Органы как учреждение человечески-логичное: разберутся — выпустят.

И зачем тебе тогда бежать? . . И как же можно тебе тогда сопротивляться? . . Ведь ты только ухудшишь своё положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то, что сопротивляться,— ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали.

Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернётся ли он живым, и прощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице,— а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут,— так не ошибёшься, хрястнув по душегубцу. Или тот воронóк с одиноким шофёром, оставшийся на улице,— угнать его, либо скаты проколоть. Органы быстро бы не досчитались сотрудников и подвижного состава, и несмотря на всю жажду Сталина — остановилась бы проклятая машина!

Если бы . . . если бы . . . Мы просто заслужили всё дальнейшее.

И потом — чему именно сопротивляться? Отобранию ли у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? переступить через порожек дома? Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков — и ни из-за какого в отдельности как будто нет смысла спорить (когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса: «за что?!») — а все-то вместе эти околичности неминуемо складываются в арест.

Да мало ли что бывает на душе у свеже-арестованного!— ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19-летнюю Евгению Дояренко, и три молодых чекиста рылись в её постели, в её комоде с бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не найдут. И вдруг они коснулись её интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать — и это чтение её строк враждебными чужими парнями поразило её сильней, чем вся Лубянка с её решётками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильней политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабей насильника.

Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологического института Академии наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1948 году, забаррикадировался и два часа жёг бумаги.

Иногда главное чувство арестованного — облегчение и даже . . . радость, особенно во времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой всё что-то не идут, всё что-то медлят — ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста и не только для слабой души. Василий Власов, бесстрашный коммунист, которого мы ещё помянем не раз, отказавшийся от бегства, предложенного ему беспартийными его помощниками, изнемогал от того, что всё руководство Кадыйского района арестовали (1937), а его всё не брали, всё не брали. Он мог принять удар только лбом — принял его и успокоился, и первые дни ареста чувствовал себя великолепно.— Священник отец Иеракс (Бочаров) в 1934 поехал в Алма-Ату навестить ссыльных верующих, а тем временем на его московскую квартиру трижды приходили его арестовывать. Когда он возвращался, прихожанки встретили его на вокзале и не допустили домой. 8 лет перепрятывали с квартиры на квартиру. От этой загнанной жизни священник так измучился, что когда его в 1942 всё-таки арестовали — он радостно пел Богу хвалу.

В этой главе мы всё говорим о массе, о кроликах, посаженных неведомо за что. Но придётся нам в книге ещё коснуться и тех, кто и в новое время оставался подлинно *политическим.* Вера Рыбакова, студентка социал-демократка, на воле *мечтала* о суздальском изоляторе: только там она рассчитывала встретиться со старшими товарищами (на воле их уже не оставалось) и там выработать своё мировоззрение. Эсерка Екатерина Олицкая в 1924 даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму: ведь её прошли лучшие люди России, а она ещё молода и ещё ничего для России не

сделала. Но и *воля* уже изгоняла её из себя. Так обе они шли в тюрьму — с гордостью и радостью.

«Сопротивление! Где же было ваше сопротивление?» — бранят теперь страдавших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста.

Не началось.

И вот — вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас — неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнажёнными пистолетами — *ведут* сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы к р и ч а т ь! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами! И слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть сограждане наши ощетинились бы? может аресты не стали бы так легки!?

В 1927, когда покорность ещё не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской площади днём два чекиста пытались арестовать женщину. Она охватила фонарный столб, стала кричать, не даваться. Собралась толпа. (Нужна была такая женщина, но нужна ж была и такая толпа! Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо!) Расторопные эти ребята сразу смутились. Они не могут *работать* при свете общества. Они сели в автомобиль и бежали. (И тут бы женщине сразу на вокзал и уехать! А она пошла ночевать домой. И ночью отвезли её на Лубянку.)

Но с *ваших* пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей.

Сам я много раз имел возможность кричать.

На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною (на меня за долгую дорогу они уже положились), привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы — добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта и теперь под предлогом конвоирования меня отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо всякой охоты тащил я, в нём везлись мои дневники и творения — улики на меня.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с министерством иностранных дел).

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали (в следовательских обманах, угрозах, битье; в том, что однажды

арестованного никогда не выпускают назад; в неотклонимости *десятки*),— я чудом вырвался вдруг и вот уже четыре дня еду как *вольный*, и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды — почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту?

Я молчал в польском городе Бродницы — но, может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но, может быть, поляков это всё не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск — но она была малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому перрону — но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро Белорусского-радиального, он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо-уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! Они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания — тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины — так что ж я молчу??!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

Одни ещё надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить (ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира, мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту, и ухудшить её нельзя). Другие ещё не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу, а откуда они у смирного, ни в чём не замешанного обывателя? Он просто не знает, что́ ему кричать. И наконец, ещё есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках.

А я — я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало — м а л о ! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И ещё я в Охотном ряду смолчу.

Не крикну около «Метрополя».

Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади...

* * *

У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейс-

ким февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас,— и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны.

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства,— и вдруг из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

— Вы — арестованы!!

И обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёлся ничего умней, как:

— Я? За что?!..

Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно — я его получил! Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу,— раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне — да! через этот глухой обруб между остававшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться,— перешли немыслимые, сказочные слова комбрига:

— Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось — стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из *мешка*, где оставался его огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею — и вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

— У вас ...— веско спросил он,— есть друг на Первом Украинском фронте?

— Нельзя!.. Вы не имеете права!— закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы — и готовясь дать на комбрига *материал*). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку

(вольному, он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно:

— Желаю вам — счастья — капитан!

Я не только не был уже капитаном, но я был разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он желал счастья — врагу?..

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что *этого* не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной смерти.*

Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смершевцы совсем отчаялись разобраться в карте (они никогда в ней и не разбирались), и с любезностями вручили её мне и просили говорить шофёру, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привёз в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить.

Она имела длину человеческого роста, а ширину — троим лежать тесно, а четверым — впритиску. Я как раз был четвёртым, втолкнут уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести вклиниваться. Так на истолчённой соломке пола стало нас восемь сапог к двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоувереннней я был капитаном полдня назад, тем больней было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята просыпались от затёклости бока, и мы разом переворачивались.

К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы, и началось знакомство.

— А ты за что?

Но смутный ветерок насторожённости уже опахнул меня под отравленной кровлею СМЕРШа, и я простосердечно удивился:

— Понятия не имею. Рази ж говорят, гады?

Однако сокамерники мои — танкисты в чёрных мягких шлемах, не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца — род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи сам и сложнее и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением, кое-где торчало и нитяное мясо. На замызганных гимнастёрках светлые пятна

* И вот удивительно: человеком всё-таки м о ж н о быть! — Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он — генерал в отставке и ревизор в союзе охотников.

были следы свинченных орденов, тёмные и красные рубцы на лицах и руках — память ранений и ожогов. Их дивизион на беду пришёл ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отволгнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохопослушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать. Но оказалась одна из них не чья-нибудь, а — начальника контрразведки армии.

Да! Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали: окажись девушки немки — их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие; окажись они польки или наши угнанные русачки — их можно было бы во всяком случае гонять голыми по огороду и хлопать по ляжкам — забавная шутка, не больше. Но поскольку эта была «походно-полевая жена» начальника контрразведки — с трёх боевых офицеров какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утверждённые приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиумом Верховного Совета,— и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка ещё б и не добрался до этой деревни.

Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла всё, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал непрямой свет коридора. Будто беспокоясь, что с наступлением дня нам в карцере станет слишком просторно, к нам тут же *подкинули* пятого. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапке тоже новой, и, когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку.

— Откуда, брат? Кто такой?

— С *той* стороны,— бойко ответил он.— Шпиён.

— Шутишь?— обомлели мы. (Чтобы шпион и сам об этом говорил — так никогда не писали Шейнин и братья Тур!)

— Какие могут быть шутки в военное время!— рассудительно вздохнул паренёк.— А ка́к из плена домой вернуться? — ну, научите.

Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтоб он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошёл в ближайший батальон сдаваться, и бессонный измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток,— вдруг новые впечатления ворвались к нам:

— На оправку! Руки назад!— звал через распахнувшуюся дверь старшина-лоб, вполне бы годный перетягивать хобот 122-миллиметровой пушки.

По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодования, что какой-то невежа-старшина смел

командовать нам, офицерам, «руки назад», но танкисты взяли руки назад, и я пошёл вослед.

За сараем был маленький квадратный загон с ещё не стаявшим утоптанным снегом — и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и густо по всей площади, что нелегка была задача — найти, где бы поставить две ноги и присесть. Всё же мы разобрались и в разных местах присели все пятеро. Два автоматчика угрюмо выставили против нас, низко присевших, автоматы, а старшина, не прошло минуты, резко понукал:

— Ну, поторапливайся! У нас быстро оправляются!

Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налётом металлической пыли или дыма, но большой красный шрам через щеку хорошо на нём заметен.

— Где это — у вас?— тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином.

— В контрразведке СМЕРШ!— гордо и звончей, чем требовалось, отрубил старшина. (Контрразведчики очень любили это безвкусно-сляпанное — из «смерть шпионам»— слово. Они находили его пугающим.)

— А у нас — медленно, — раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове ещё не состриженные волосы. Его одубелая фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку.

— Где это — у вас? — громче, чем нужно, гавкнул старшина.

— В Красной Армии,— очень спокойно ответил старший лейтенант с корточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного.

Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания.

Глава 2

ИСТОРИЯ НАШЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Когда теперь бранят *произвол культа*, то упираются всё снова и снова в настрявшие 37—38-й годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни *до* не сажали, ни *после*, а только вот в 37—38-м.

Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: *поток* 37—38-го ни единственным не был, ни даже главным, а только может быть — одним из трёх самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации

До него был поток 29—30-го годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболе). Но мужики — народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили — довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нём почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелей.

И после был поток 44—46-го годов, с добрый Енисей: гнали по сточным трубам целые нации и ещё миллионы и миллионы — побывавших (из-за нас же!) в плену, увезённых в Германию и вернувшихся потом. (Это Сталин прижигал раны, чтоб они поскорей заструпились и не стало бы надо всему народному телу отдохнуть, раздышаться, подправиться.) Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал.

А поток 37-го года прихватил и понёс на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколькие с пером!— и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя!

А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену «тридцать седьмой» — он только плечами пожмёт. А Ленинграду что́ тридцать седьмой, когда прежде был тридцать пятый? А *повторникам* или прибалтам не тяжче был 48—49-й? И если попрекнут меня ревнители стиля и географии, что ещё упустил я в России реки, так и потоки ещё не названы, дайте страниц! Из потоков и остальные сольются.

Известно, что всякий орган без упражнения отмирает.

Итак, если мы знаем, что *Органы* (этим гадким словом они назвали себя сами), воспетые и приподнятые надо всем живущим, не отмирали ни единым щупальцем, но напротив наращивали их и крепли мускулатурой,— легко догадаться, что они упражнялись постоянно.

По трубам была пульсация — напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча — в которые были выжаты мы — хлестали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглота и течения, только половодья сменялись меженями и опять половодьями, потоки сливались то бóльшие, то меньшие, ещё со всех сторон текли ручейки, ручеёчки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки.

Приводимый дальше повременной перечень, где равно упоминаются и потоки, состоявшие из миллионов арестованных, и ручейки из простых неприметных десятков,— очень ещё не полон, убог, ограничен моей способностью проникнуть в прошлое. Тут потребуется много дополнений от людей знающих и оставшихся в живых.

* * *

В этом перечне труднее всего начать. И потому, что чем глубже в десятилетия, тем меньше осталось свидетелей, молва загасла и затемнилась, а летописей нет или под замком. И потому, что не совсем справедливо рассматривать здесь в едином ряду и годы особого ожесточения (гражданская война), и первые мирные годы, когда ожидалось бы милосердие.

Но ещё и до всякой гражданской войны увиделось, что Россия в таком составе населения, как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена. Один из первых ударов диктатуры пришёлся по кадетам (при царе — крайняя зараза революции, при власти пролетариата — крайняя зараза реакции). В конце ноября 1917, в первый несостоявшийся срок созыва Учредительного Собрания, партия кадетов была объявлена вне закона, и начались аресты их. Около того же времени проведены *посадки* «Союза защиты Учредительного Собрания» и системы «солдатских университетов».

По смыслу и духу революции легко догадаться, что в эти месяцы наполнялись Кресты, Бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы — крупными богачами; видными общественными деятелями, генералами и офицерами; да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти. Одна из первых операций ЧК — арест стачечного комитета Всероссийского союза служащих. Один из первых циркуляров НКВД, декабрь 1917: «Ввиду саботажа чиновников . . . проявить максимум самодеятельности на местах, *не отказываясь* от конфискаций, принуждения и арестов».*

* «Вестник НКВД», 1917, № 1, стр. 4

И хотя В. И. Ленин в конце 1917 для установления «строго революционного порядка» требовал «беспощадно подавлять попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционеров и других лиц»*, то есть, главную опасность Октябрьской революции он ожидал от пьяниц, а контрреволюционеры толпились где-то там в третьем ряду,— однако он же ставил задачу и шире. В статье «Как организовать соревнование» (7 и 10 января 1918) В. И. Ленин провозгласил общую единую цель *«очистки* земли российской от всяких вредных насекомых».** И под *насекомыми* он понимал не только всех классово-чуждых, но также и «рабочих, отлынивающих от работы», например наборщиков питерских партийных типографий. (Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став *диктаторами,* тут же склонились отлынивать от работы на себя самих.) А ещё: «. . .в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне . . . нет . . . саботажников, называющих себя интеллигентами?»*** Правда, формы очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где «по отбытии карцера выдадут желтые билеты», где *расстреляют тунеядца;* тут на выбор — тюрьма «или наказание на принудительных работах тягчайшего вида».**** Хотя усматривая и подсказывая основные направления кары, Владимир Ильич предлагал нахождение лучших мер очистки сделать объектом соревнования «коммун и общин».

Кто попадал под это широкое определение насекомых, нам сейчас не исследовать в полноте: слишком неединообразно было российское население, и встречались средь него обособленные, совсем не нужные, а теперь и забытые малые группы. Насекомыми были, конечно, земцы. Насекомыми были кооператоры. Все домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Сплошь насекомые обседали церковные приходские советы, насекомые пели в церковных хорах. Насекомыми были все священники, а тем более — все монахи и монахини. Но и те толстовцы, которые, поступая на советскую службу или, скажем, на железную дорогу, не давали обязательной письменной присяги защищать советскую власть с оружием в руках,— также выявляли себя как насекомые (и мы ещё увидим случаи суда над ними). К слову пришлись железные дороги — так вот, очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо было *выдёргивать,* а кого и *шлёпать.* А телеграфисты, те почему-то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к Советам. Не скажешь доброго и о ВИКЖЕЛе, и о других профсоюзах, часто переполненных насекомыми, враждебными рабочему классу.

---

* Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 35, стр. 68

** Там же, стр. 204

*** Там же.

**** Там же, стр. 203

Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромиое число — иа иесколько лет очистительиой работы.

А сколько всяких окаяииых иителлигеитов, иеприкаяииых студеитов, разиых чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых ещё Петр I тщился очистить Русь и которые всегда мешают стройиому строгому Режиму?

И иевозможио было бы эту саиитариую очистку произвести, да ещё в условиях войны, если бы пользовались устарелыми процессуальиыми формами и юридическими иормами. Но форму приияли совсем иовую: *виесудебную расправу,* и иеблагодариую эту работу самоотвержеиио взвалила иа себя ВЧК — Часовой Революции, едииствеииый в человеческой истории карательиый оргаи, совместивший в одиих руках: слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполиеиие *решения.*

В 1918 году, чтобы ускорить также и культуриую победу революции, иачали потрошить и вытряхивать мощи святых угодииков и отбирать церковную утварь. В защиту разоряемых церквей и моиастырей вспыхивали иародиые волиеиия. Там и сям колоколили иабаты, и православиые бежали, кто и с палками. Естествеиио приходилось кого *расходовать* иа месте, а кого арестовывать.

Размышляя теперь иад 1918—20-м годами, затрудияемся мы: отиосить ли к тюремиым потокам всех тех, кого *расшлёпали,* ие доведя до тюремиой камеры? И в какую графу всех тех, кого комбеды *убирали* за крылечком сельсовета или иа дворовых задах? Успевали ли стать хоть иогою иа землю Архипелага участиики заговоров, раскрывавшихся гроздьями, каждая губериия свой (два рязаиских, костромской, вышиеволоцкий, велижский, иесколько киевских, иесколько московских, саратовский, черииговский, астраханский, селигерский, смолеиский, бобруйский, тамбовский кавалерийский, чембарский, великолукский, мстиславльский и другие) или ие успевали и потому ие отиосятся к предмету иашего исследоваиия? Мииуя подавление зиамеиитых мятежей (Ярославский, Муромский, Рыбииский, Арзамасский), мы иекоторые события зиаем только по одиому иазваиию — иапример Колпииский расстрел в июие 1918— что это? кого это? . . И куда записывать?

Немалая трудиость и решить: сюда ли, в тюремиые потоки, или в балаис Граждаиской войиы отиести десятки тысяч *заложников,* этих ии в чём личио ие обвииёииых и даже карандашом по фамилиям ие переписаииых мириых жителей, взятых иа уиичтожеиие во страх и в месть воеииому врагу или восставшей массе? После 30. 8. 18 НКВД дал указаиия иа места «иемедлеиио арестовать *всех* правых эсеров, а из буржуазии и офицерства взять *значительное количество заложников».** (Ну, как если бы иапример после покушеиия группы Александра Ульяиова была бы арестована ие оиа только, но и *все* студенты в России и *значительное количество земцев.*) Это так открыто и объясиялось (Лацис,

* «Вестник НКВД», 1918, № 21—22, стр. 1

газета «Красный террор», 1 ноября 1918): «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию, как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить,— к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом — смысл и сущность красного террора.» Постановлением Совета Обороны от 15. 2. 19 — очевидно, под председательством Ленина? — предложено ЧК и НКВД брать заложниками *крестьян* тех местностей, где расчистка снега с железнодорожных путей «производится не вполне удовлетворительно»,— с тем, что «если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны».* Постановлением СНК конца 1920 разрешено брать заложниками и социал-демократов.

Но даже узко следя лишь за обычными арестами, мы должны отметить, что уже с весны 1918 полился многолетний непрерываемый поток изменников-социалистов. Все эти партии — эсеров, меньшевиков, анархистов, народных социалистов, они десятилетиями только притворялись революционерами, только носили личину — и на каторгу для этого шли, всё притворялись. И лишь в порывистом ходе революции сразу обнаружилась буржуазная сущность этих социал-предателей. Естественно же было приступить к их арестам! Вскоре за кадетами, за разгоном Учредительного Собрания, обезоружением Преображенского и других полков, стали брать помалу, сперва потихоньку, и эсеров с меньшевиками. С 14 июня 1918, дня исключения их изо всех советов, эти аресты пошли гуще и дружней. С 6 июля — туда же погнали и левых эсеров, коварнее и дольше притворявшихся союзниками единственной последовательной партии пролетариата. С тех пор достаточно было на любом заводе или в любом городке рабочего волнения, недовольства, забастовки (их много было уже летом 1918, а в марте 1921 они сотрясли Петроград, Москву, потом Кронштадт и вынудили НЭП), чтобы одновременно с успокоением, уступками, удовлетворением справедливых требований рабочих — ЧК неслышно бы выхватывала ночами меньшевиков и эсеров как истинных виновников этих волнений. Летом 1918, в апреле и октябре 1919 густо сажали анархистов. В 1919 была посажена вся досягаемая часть эсеровского ЦК — и досидела в Бутырках до своего процесса в 1922. В том же 1919 видный чекист Лацис писал о меньшевиках: «Такие люди нам больше, чем мешают. Вот почему мы убираем их с дороги, чтобы не путались под ногами... Мы их сажаем в укромное местечко, в Бутырки, и заставляем отсиживаться, пока не кончится борьба труда с капиталом.»** В июле 1918 беспартий-

* «Декреты советской власти», т. 4, М., 1968, стр. 627

** М. Я. Лацис. «Два года борьбы на внутреннем фронте». Популярный обзор деятельности ЧК. ГИЗ. М., 1920, стр. 61

ный рабочий съезд весь арестован отрядом латышской охраны Кремля, и в Таганке едва не перестреляны все тотчас.

Уже в 1919 году была понята и вся подозрительность наших русских, возвращающихся из-за границы (зачем? с каким заданием?),— и так сажались приезжавшие офицеры экспедиционного (во Франции) русского корпуса.

В 19-м же году с широким замётом вокруг истинных и псевдо-заговоров («Национальный Центр», Военный Заговор) в Москве, в Петрограде и в других городах расстреливали *по спискам* (то есть брали вольных сразу для расстрела) и просто гребли в тюрьму интеллигенцию, так называемую околокадетскую. А что значит «околокадетская»? Не монархическая и не социалистическая, то есть: все научные круги, все университетские, все художественные, литературные да и вся инженерия. Кроме крайних писателей, кроме богословов и теоретиков социализма, вся остальная интеллигенция, 80% её, и была «околокадетской». Сюда по мнению Ленина относился например Короленко —«жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками», «таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрьме».* Об отдельных арестованных группах мы узнаём из протестов Горького. 15. 9. 19 Ильич отвечает ему: «. . .для нас ясно, что и тут ошибки были»**, но —«Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость!»*, и советует Горькому не «тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов».***

С января 1919 года расширена продразвёрстка, и для сбора её составляются продотряды. Они встретили повсюдное сопротивление деревни — то упрямо-уклончивое, то бурное. Подавление этого противодействия тоже дало (не считая расстрелянных на месте) обильный поток арестованных в течение двух лет.

Мы сознательно обходим здесь всю ту большу́ю часть помола ЧК, Особотделов и Реввоентрибуналов, которая связана была с продвижением линии фронта, с занятием городов и областей. Та же директива НКВД от 30. 8. 18 направляла усилия «к безусловному расстрелу всех замешанных в белогвардейской работе». Но иногда теряешься: как правильно разграничивать? Если с лета 1920 года, когда Гражданская война ещё не вся и не всюду кончена, но на Дону уже кончена, оттуда, из Ростова и Новочеркасска, во множестве отправляют офицеров в Архангельск, а дальше баржами на Соловки (и несколько барж потоплено в Белом море — как, впрочем, и в Каспийском) — то относить ли это всё ещё к Гражданской войне или к началу мирного строительства? Если в том же году в Новочеркасске расстреливают беременную офицерскую жену за укрытие мужа, то по какому разряду её списывать?

В мае 1920 года известно постановление ЦК «о подрывной деятельности в тылу». Из опыта мы знаем, что всякое такое

---

* Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 51, стр. 48
** Там же, стр. 47
*** Там же, стр. 49

постановление есть импульс к новому всеместному потоку арестантов, есть внешний знак потока.

Особой трудностью (но и особым достоинством!) в организации этих всех потоков было до 1922 года отсутствие Уголовного Кодекса, какой-либо системы уголовных законов. Одно лишь революционное правосознание (но всегда безошибочно!) руководило изымателями и канализаторами: кого брать и что с ними делать.

В этом обзоре не будут прослеживаться потоки уголовников и бытовиков и поэтому только напомним, что всеобщие бедствия и недостачи при перестройке администрации, учреждений и всех законов лишь могли сильно увеличить число краж, разбойных нападений, насилий, взяток и перепродаж (спекуляций). Хотя и не столь опасные существованию Республики, эти уголовные преступления тоже частично преследовались и своими арестантскими потоками увеличивали потоки контрреволюционеров. А была *спекуляция* и совершенно политического характера, как указывал декрет Совнаркома за подписью Ленина от 22. 7. 18: «Виновные в сбыте, скупке или хранении для сбыта в виде промысла продуктов питания, монополизированных Республикой (крестьянин хранит хлеб — для сбыта в виде промысла, а какой же его промысел??— А. С.) ... лишение свободы на срок *не менее* 10 лет, соединённое с *тягчайшими* принудительными работами и конфискацией *всего* имущества».

С того лета черезсильно напрягшаяся деревня год за годом отдавала урожай безвозмездно. Это вызывало крестьянские восстания, а стало быть подавление их и новые аресты. («Самая трудолюбивая часть народа положительно искоренялась»,— Короленко, письмо Горькому от 10.8.21.) В 1920 году мы знаем (не знаем ...) процесс «Сибирского Крестьянского Союза». В конце 1920 происходит предварительный разгром тамбовского крестьянского восстания, руководимого Союзом Трудового Крестьянства (как и в Сибири). Тут судебного процесса не было ...

Но главная доля людских изъятий из тамбовских деревень приходится на июнь 1921 года. По Тамбовской губернии раскинуты были концентрационные лагеря для семей крестьян, участвующих в восстании. Куски открытого поля обтягивались столбами с колючей проволокой, и три недели там держали каждую семью, заподозренную в том, что мужчина из неё — в восстании. Если за три недели тот не являлся, чтобы своей головой выкупить семью,— семью ссылали.*

Ещё ранее, в марте 1921, на острова Архипелага через Трубецкой бастион Петропавловской крепости отправлены были, за вычетом расстрелянных, матросы восставшего Кронштадта.

Тот 1921 год начался с приказа ВЧК № 10 (от 8. 1. 21): «в отношении буржуазии репрессии усилить!» Теперь, когда конч-

---

* Тухачевский. «Борьба с контрреволюционными восстаниями», журиал «Войиа и революция», 1926, № 7/8

лась гражданская война, не ослабить репрессии, но у с и л и т ь! Как это выглядело в Крыму, сохранил нам Волошин в некоторых стихах.

Летом 1921 был арестован Общественный Комитет Содействия Голодающим (Кускова, Прокопович, Кишкин и др.), пытавшийся остановить надвижение небывалого голода на Россию. Дело в том, что эти кормящие руки были *не те* руки, которым можно было разрешить кормить голодных. Пощажённый председатель этого Комитета умирающий Короленко назвал разгром комитета — «худшим из политиканств, правительственным политиканством» (письмо Горькому от 14. 9. 21). (И Короленко же напоминает нам важную особенность тюрьмы 1921 года — «она вся пропитана тифом». Так подтверждает Скрипникова и другие, сидевшие тогда.)

В том 1921 году уже практиковались и аресты *студентов* (например, Тимирязевская Академия, группа Е. Дояренко) за «критику порядков» (не публичную, но в разговорах между собой). Таких случаев было ещё, видимо, немного, потому что указанную группу допрашивали сами Менжинский и Ягода.

Но и не так мало. Чем же, как не арестами, могла кончиться неожиданная смелая забастовка студентов МВТУ весной 1921? С годов лютой столыпинской реакции в этом училище была традиция, что ректор его выбирался из своих же профессоров. Таков и был профессор Калинников (мы его ещё встретим на скамье подсудимых), революционная власть прислала вместо него какого-то серенького инженера. Это было в разгар экзаменационной сессии. Студенты отказались сдавать экзамены, собрались на бурлящую сходку во дворе, отвергли присланного ректора и потребовали сохранить статут самоуправления училища. А потом вся сходка отправилась пешком на Моховую для товарищеской встречи со студентами Университета.— Вот и загадка: что же делать власти? Загадка, да не для коммунистов. В царское время забурлила бы вся благородная печать, весь образованный мир: долой правительство, долой царя! А теперь — записали ораторов, дали сходке разойтись, прекратили экзаменационную сессию, а в летние каникулы по одному в разных местах взяли всех, кого надо. Другие так и не получили инженерного образования.

В том же 1921 расширились и унаправились аресты социалистических инопартийцев. Уже, собственно, поконали все политические партии России, кроме победившей. (О, не рой другому яму!) А чтобы распад партий был необратим — надо было ещё, чтобы распались и сами члены этих партий, тела этих членов.

Ни один гражданин российского государства, когда-либо вступивший в иную партию, не в большевики, уже судьбы своей не избежал, он был обречён (если не успевал, как Майский или Вышинский, по доскам крушения перебежать в коммунисты). Он мог быть арестован не в первую очередь, он мог дожить (по степени своей опасности) до 1922, до 32-го или даже до 37-го года, но списки хранились, очередь шла, очередь доходила, его арестовывали или только любезно приглашали и задавали единственный

вопрос: состоял ли он . . . от . . . до . . .? (Бывали вопросы и о его враждебной деятельности, но первый вопрос решал всё, как это ясно нам теперь через десятилетия.) Дальше разная могла быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов (счастливым образом централы все хорошо сохранились, и некоторые социалисты попадали даже в те самые камеры и к тем же надзирателям, которых знали уже). Иным предлагали проехать в ссылку — о, ненадолго, годика на два, на три. А то ещё мягче: только получить *минус* (столько-то городов), выбрать самому себе местожительство, но уж дальше, будьте ласковы, жить в этом месте прикреплённо и ждать воли ГПУ.

Операция эта растянулась на многие годы, потому что главным условием её была тишина и незамечаемость. Важно было неукоснительно очищать Москву, Петроград, порты, промышленные центры, а потом просто уезды от всех иных видов социалистов. Это был грандиозный беззвучный пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам, очертания которого мы можем оценить только теперь. Чей-то дальновидный ум это спланировал, чьи-то аккуратные руки, не пропуская ни мига, подхватывали карточку, отбывшую три года в одной кучке, и мягко перекладывали её в другую кучку. Тот, кто посидел в централе — переводился в ссылку (и куда-нибудь подальше), кто отбыл «минус»— в ссылку же (но за пределами видимости от «минуса»), из ссылки — в ссылку, потом снова в централ (уже другой), терпение и терпение господствовало у раскладывающих пасьянс. И без шума, без вопля постепенно затеривались инопартийные, роняли всякие связи с местами и людьми, где прежде знали их и их революционную деятельность,— и так незаметно и неуклонно подготовлялось уничтожение тех, кто когда-то бушевал на студенческих митингах, кто гордо позванивал царскими кандалами. (Короленко писал Горькому 29. 6. 21: «История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский режим». О, если бы только так!— они бы все выжили.)

В этой операции Большой Пасьянс было уничтожено большинство старых политкаторжан, ибо именно эсеры и анархисты, а не социал-демократы, получали от царских судов самые суровые приговоры, именно они и составляли население старой каторги.

Очерёдность уничтожения была, однако, справедлива: в 20-е годы им предлагалось подписать письменные отречения от своих партий и партийной идеологии. Некоторые отказывались — и так естественно попадали в первую очередь уничтожения, другие давали такие отречения — и тем прибавляли себе несколько лет жизни. Но неумолимо натекала и их очередь, и неумолимо сваливалась с плеч и их голова.

Иногда прочтёшь в газете статейку и дивишься ей до головотрясения. «Известия» 24. 5. 59: через год после прихода Гитлера к власти Максимилиан Хауке арестован за принадлежность к . . . не к какой-нибудь партии, а к коммунистической. Его уничтожили? Нет, осудили на д в а года. После этого, конечно, новый срок? Нет,

выпустили на волю. Вот и понимай, как знаешь! Он тихо жил потом, создавал подполье, в связи с чем и статья о его бесстрашии.

Весной 1922 года Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести ещё и «церковную революцию» — сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке. Такими обещали стать живоцерковники, но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был патриарх Тихон и проведены два громких процесса с расстрелами: в Москве — распространителей патриаршего воззвания, в Петрограде — митрополита Вениамина, мешавшего переходу церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах там и здесь арестованы были митрополиты и архиереи, а уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой — протоиереи, монахи и дьяконы, о которых в газетах не сообщалось. Сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому напору.

Священнослужители текли обязательной частью каждодневного улова, серебряные седины их мелькали в каждой камере, а затем и в каждом соловецком этапе.

Попадали с ранних 20-х годов и группы теософов, мистиков, спиритов (группа графа Палена вела протоколы разговоров с духами), религиозные общества, философы бердяевского кружка. Мимоходом были разгромлены и пересажены «восточные католики» (последователи Владимира Соловьёва), группа А. И. Абрикосовой. Как-то уж сами собой садились и просто католики — польские ксёндзы.

Однако коренное уничтожение религии в этой стране, все 20-е и 30-е годы бывшее одной из важных целей ГПУ-НКВД, могло быть достигнуто только массовыми посадками самих верующих православных. Интенсивно изымались, сажались и ссылались монахи и монашенки, так зачернявшие прежнюю русскую жизнь. Арестовывали и судили церковные активы. Круги всё расширялись — и вот уже гребли просто верующих мирян, старых людей, особенно женщин, которые верили упорнее и которых теперь на пересылках и в лагерях на долгие годы тоже прозвали *монашками.*

Правда, считалось, что арестовывают и судят их будто бы не за самую веру, но за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей. Как написала Таня Ходкевич:

«Молиться можешь ты *свободно,*
Но . . . так, чтоб слышал Бог один.»

(За это стихотворение она получила десять лет.) Человек, верящий, что он обладает духовной истиной, должен скрывать её от . . . своих детей!! Религиозное воспитание детей стало в 20-е годы квалифицироваться как 58-10, то есть, контрреволюционная агитация! Правда, на суде ещё давали возможность отречься от религии. Нечасто, но бывало так, что отец отрекался и оставался

растить детей, а мать семейства шла на Соловки (все эти десятилетия женщины проявляли в вере бóльшую стойкость). Всем религиозным давали десятку, высший тогда срок.

(Очищая крупные города для наступающего чистого общества, в те же годы, особенно в 1927, вперемешку с «монашками» слали на Соловки и проституток. Любительницам грешной земной жизни, им давали лёгкую статью и по три года. Обстановка этапов, пересылок, самих Соловков не мешала им зарабатывать своим весёлым промыслом и у начальства, и у конвойных солдат и с тяжёлыми чемоданами через три года возвращаться в исходную точку. Религиозным же закрыто было когда-нибудь вернуться к детям и на родину.)

Уже в ранние 20-е годы появились и потоки чисто национальные — пока ещё небольшие для своих окраин, а уж тем более по русским меркам: мусаватистов из Азербайджана, дашнаков из Армении, грузинских меньшевиков и туркменов-«басмачей», сопротивлявшихся установлению в Средней Азии советской власти. В 1926 году было полностью пересажано сионистское общество «Гехалуц», не сумевшее подняться до всеувлекающего порыва интернационализма.

Среди многих последующих поколений утвердилось представленье о 20-х годах как о некоем разгуле ничем не стеснённой свободы. В этой книге мы ещё встретимся с людьми, кто воспринимал 20-е годы иначе. Беспартийное студенчество в это время билось за «автономию высшей школы», за право сходок, за освобождение программы от изобилия политграмоты. Ответом были аресты. Они усилялись к праздникам (например, к 1 мая 1924). В 1925 ленинградские студенты (числом около сотни) все получили по три года политизолятора за чтение «Социалистического вестника» и штудирование Плеханова (сам Плеханов во времена своей юности за выступление против правительства у Казанского собора отделался много дешевле). В 25-м году уже начали сажать и самых первых (молоденьких) троцкистов. (Два наивных красноармейца, вспомнив русскую традицию, стали собирать средства на арестованных троцкистов — получили тоже политизолятор.)

Уж разумеется, не были обойдены ударом и эксплуататорские классы. Все 20-е годы продолжалось выматывание ещё уцелевших бывших офицеров: и белых (но не заслуживших расстрела в гражданскую войну), и бело-красных, повоевавших там и здесь, и царско-красных, но которые не всё время служили в Красной армии или имели перерывы, не удостоверенные бумагами. Выматывали — потому что сроки им давали не сразу, а проходили они — тоже пасьянс!— бесконечные проверки, их ограничивали в работе, в жительстве, задерживали, отпускали, снова задерживали,— лишь постепенно они уходили в лагеря, чтобы больше оттуда не вернуться.

Однако, отправкой на Архипелаг офицеров решение проблемы не заканчивалось, а только начиналось: ведь оставались матери офицеров, жёны и дети. Пользуясь непогрешимым социальным

анализом, легко было представить, что у них за настроение после ареста глав семей. Тем самым они просто вынуждали сажать и их! И льётся ещё этот поток.

В 20-е годы была амнистия казакам, участникам гражданской войны. С Лемноса многие вернулись на Кубань и на Дон, получали землю. Позже все были посажены.

Затаились и подлежали вылавливанию также и все прежние государственные чиновники. Они умело маскировались, они пользовались тем, что ни паспортной системы, ни единых трудовых книжек ещё не было в Республике,— и пролезали в советские учреждения. Тут помогали обмолвки, случайные узнавания, соседские доносы ... то бишь, боевые донесения. (Иногда — и истый случай. Некто Мова из простой любви к порядку хранил у себя список всех бывших губернских юридических работников. В 1925 случайно это у него обнаружили — всех взяли — и всех расстреляли.)

Так лились потоки «за сокрытие соцпроисхождения», за «бывшее соцположение». Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и *личных дворян*, то есть попросту — окончивших когда-то университет. А уж взят — пути назад нет, сделанного не воротишь. Часовой Революции не ошибается.

(Нет, всё-таки есть пути назад!— это тонкие тощие противопотоки — но иногда они пробиваются. И первый из них упомянем здесь. Среди дворянских и офицерских жён и дочерей не в редкость были женщины выдающихся личных качеств и привлекательной наружности. Некоторые из них сумели пробиться небольшим обратным потоком — встречным! Это были те, кто помнил, что жизнь даётся нам один только раз и ничего нет дороже *нашей* жизни. Они предложили себя ЧК-ГПУ как осведомительницы, как сотрудницы, как кто угодно — и те, кто понравились, были приняты. Это были плодотворнейшие из осведомителей! Они много помогли ГПУ, им очень верили «бывшие». Здесь называют последнюю княгиню Вяземскую, виднейшую послереволюционную стукачку (стукачом был и сын её на Соловках); Конкордию Николаевну Иоссе — женщину, видимо, блестящих качеств: мужа её, офицера, при ней расстреляли, самоё сослали в Соловки, но она сумела выпроситься назад и вблизи Большой Лубянки вести салон, который любили посещать крупные деятели этого Дома. (Вновь посажена она была только в 1937, со своими ягодинскими клиентами.)

Смешно сказать, но по нелепой традиции сохранялся от старой России Политический Красный Крест. Три отделения было: Московское (Е. Пешкова), Харьковское (Сандомирская) и Петроградское. Московское вело себя прилично — и до 1937 не было разогнано. Петроградское же (старый народник Шевцов, хромой Гартман, Кочеровский) держалось несносно, нагло, ввязывалось в политические дела, искало поддержки старых шлиссельбуржцев (Новорусский, одноделец Александра Ульянова) и помогало не только

социалистам, но и *каэрам* — контрреволюционерам. В 1926 оно было закрыто, и деятели его отправлены в ссылку.

Годы идут, и неосвежаемое всё стирается из нашей памяти. В обёрнутой дали 1927 год воспринимается нами как беспечный сытый год ещё не обрубленного НЭПа. А был он — напряжённый, содрогался от газетных взрывов и воспринимался у нас, внушался у нас как канун войны за мировую революцию. Убийству советского полпреда в Варшаве, залившему целые полосы июньских газет, Маяковский посвятил четыре громовых стихотворения.

Но вот незадача: Польша приносит извинения, единичный убийца Войкова* арестован там,— как же и над кем же выполнить призыв поэта:

Спайкой,
стройкой,
выдержкой
и *расправой*
Спущенной своре
шею сверни!

С кем же расправиться? кому свернуть шею? Вот тут-то и начинается *войковский набор.* Как всегда, при всяких волнениях и напряжениях, сажают *бывших,* сажают анархистов, эсеров, меньшевиков, а и просто так интеллигенцию. В самом деле — кого же сажать в городах? Не рабочий же класс! Но интеллигенцию «околокадетскую» и без того хорошо перетрясли ещё с 1919 года. Так не пришла ли пора потрясти интеллигенцию, которая изображает себя передовой? Перелистать студенчество. Тут и Маяковский опять под руку:

Думай
о комсомоле
дни и недели!
Ряды
свои
оглядывай зорче.
Все ли
комсомольцы
на самом деле
Или
только
комсомольца корчат?

Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: *социальная профилактика.* Он введён, он принят, он сразу всем понятен. (Один из начальников Беломорстроя Лазарь Коган

---

* Видимо, монархист Борис Коверда мстил Войкову персонально: уральский облкомпрод П. Л. Войков в июле 1918 руководил расстрелом царской семьи и затем уничтожением следов расстрела (разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла).

так и будет скоро говорить: «Я верю, что лично вы ни в чём не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика!») В самом деле, ненадёжных попутчиков, всю эту интеллигентскую шать и гниль — когда же сажать, если не в канун войны за мировую революцию? Когда большая война начнётся — уже будет поздно.

И в Москве начинается планомерная проскрёбка квартала за кварталом. Повсюду кто-то должен быть взят. Лозунг: «Мы так трахнем кулаком по столу, что мир содрогнётся от ужаса!» К Лубянке, к Бутыркам устремляются даже днём воронки́, легковые автомобили, крытые грузовики, открытые извозчики. Затор в воротах, затор во дворе. Арестованных не успевают разгружать и регистрировать. (Это — и в других городах. В Ростове-на-Дону, в подвале Тридцать третьего дома, в эти дни уже такая теснота на полу, что новоприбывшей Бойко еле находится место сесть.)

Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай по сколько-то копеек они самовольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка — прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. И их арестовывают в с е х, дают от трёх до десяти лет (Анне Скрипниковой — пять), а не сознавшихся зачинщиков (Иван Николаевич Варенцов и другие) — расстреливают!

Или, в том же году, где-то в Париже собираются лицеисты-эмигранты отметить традиционный «пушкинский» лицейский праздник. Об этом напечатано в газетах. Ясно, что это — затея смертельно раненного империализма. И вот арестовываются в с е лицеисты, ещё оставшиеся в СССР, а заодно — и «правоведы» (другое такое же привилегированное училище).

Только размерами СЛОНа — Соловецкого Лагеря Особого Назначения — ещё пока умеряется объём войковского набора. Но уже начал свою злокачественную жизнь Архипелаг ГУЛАГ и скоро разошлёт метастазы по всему телу страны.

Отведан новый вкус, и возник новый аппетит. Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком считающую себя незаменимой и не привыкшую подхватывать приказания на лету.

То есть, мы никогда инженера́м и не доверяли — этих лакеев и прислужников бывших капиталистических хозяев мы с первых же лет Революции взяли под здоровое рабочее недоверие и контроль. Однако в восстановительный период мы всё же допускали их работать в нашей промышленности, всю силу классового удара направляя на интеллигенцию прочую. Но чем больше зрело наше хозяйственное руководство, ВСНХ и Госплан, и увеличивалось число планов, и планы эти сталкивались и вышибали друг друга — тем ясней становилась вредительская сущность старого инженерства, его неискренность, хитрость и продажность. Часовой Револю-

ции прищурился зорче — и куда только он направлял свой прищур, там сейчас же и обнаруживалось гнездо вредительства.

Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года и сразу въявь показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостач. НКПС (железные дороги) — вредительство (вот и трудно на поезд попасть, вот и перебои в доставке). МОГЭС — вредительство (перебои со светом). Нефтяная промышленность — вредительство (керосина не достанешь). Текстильная — вредительство (не во что одеться рабочему человеку). Угольная — колоссальное вредительство (вот почему мёрзнем)! Металлическая, военная, машиностроительная, судостроительная, химическая, горнорудная, золотоплатинная, ирригация — всюду гнойные нарывы вредительства! со всех сторон — враги с логарифмическими линейками! ГПУ запыхалось хватать и таскать вредителей. В столицах и в провинции работали коллегии ОГПУ и пролетарские суды, проворачивая эту тягучую нечисть, и об их новых мерзостных делишках каждый день, ахая, узнавали (а то и не узнавали) из газет трудящиеся. Узнавали о Пальчинском, фон Мекке, Величко*, а сколько было безымянных. Каждая отрасль, каждая фабрика и кустарная артель должны были искать у себя вредительство, и едва начинали — тут же и находили (с помощью ГПУ). Если какой инженер дореволюционного выпуска и не был ещё разоблачённым предателем, то наверняка можно было его в этом подозревать.

И какие же изощрённые злодеи были эти старые инженеры, как же по-разному сатанински умели они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Наркомпути притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об экономических проблемах строительства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный его совет был: увеличить товарные составы, не бояться тяжелогружёных. Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён (и расстрелян): он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить Республику на случай интервенции без железных дорог! Когда же, малое время спустя, новый Наркомпути товарищ Каганович распорядился пускать именно тяжелогружёные составы, и даже вдвое и втрое сверхтяжёлые (и за это открытие он и другие руководители получили ордена Ленина), — то злостные инженеры выступили теперь в виде *предельщиков* — они вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта.

Этих предельщиков бьют несколько лет, они — во всех отраслях, трясут своими расчётными формулами и не хотят понять, как мостам и станкам помогает энтузиазм персонала. (Это годы

* К. И. Величко, военный инженер, бывший профессор военной академии генштаба, генерал-лейтенант, в царском военном министерстве руководил Управлением военных сообщений. Расстреляли. Ох, как пригодился бы в 1941!

изворота всей народной психологии: высмеивается оглядчивая народная мудрость, что быстро хорошо не бывает, и выворачивается старинная пословица «тише едешь . . .».) Что только задерживает иногда арест старых инженеров — это неготовность смены. Николай Иванович Ладыженский, главный инженер военных ижевских заводов, сперва арестовывается за «предельные теории», за «слепую веру в запас прочности», исходя из каковой считал недостаточными суммы, подписанные Орджоникидзе для расширения заводов. (А Орджоникидзе, рассказывают, разговаривал со старыми инженерами так: клал на письменный стол по пистолету справа и слева.) Но затем его переводят под домашний арест — и велят работать на прежнем месте (дело без него разваливается). Он налаживает. Но суммы как были недостаточны, так и остались — и вот теперь-то его снова в тюрьму «за неправильное использование сумм»: потому и не хватило их, что главный инженер плохо ими распоряжался! В один год Ладыженский умирает на лесоповале.

Так в несколько лет сломали хребет старой русской инженерии, составлявшей славу нашей страны, излюбленным героям Гарина-Михайловского и Замятина.

Само собой, что и в этот поток, как во всякий, прихватываются и другие люди, близкие и связанные с обречёнными, например и . . . не хотелось бы запятнать светлобронзовый лик Часового, но приходится . . . и несостоявшиеся осведомители. Этот вовсе секретный, никак публично не проявленный, поток мы просили бы читателя всё время удерживать в памяти — особенно для первого послереволюционного десятилетия: тогда люди ещё бывали горды, у многих ещё не было понятия, что нравственность — относительна, имеет лишь узко-классовый смысл, — и люди смели отказываться от предлагаемой службы, и всех их карали без пощады. Как раз вот за кругом инженеров предложили следить молоденькой Магдалине Эджубовой, а она не только отказалась, но рассказала своему опекуну (за ним же надо было и следить): однако тот всё равно был вскоре взят и на следствии во всём признался. Беременную Эджубову «за разглашение оперативной тайны» арестовали и приговорили к расстрелу. (Впрочем, она отделалась 25-летней цепью нескольких сроков.) В те же годы (1927), хоть в совсем другом кругу — среди видных харьковских коммунистов, так же отказалась следить и доносить на членов украинского правительства Надежда Витальевна Суровцева — за то была схвачена в ГПУ и только через четверть столетия, еле живою, выбарахталась на Колыме. А кто не всплыл — о тех мы и не знаем.

(В 30-е годы этот поток непокорных сходит к нулю: раз требуют осведомлять, значит, надо — куда ж денешься? «Плетью обуха не перешибёшь». «Не я — так другой». «Лучше буду сексотом я, хороший, чем другой, плохой». Впрочем, тут уже добровольцы прут в сексоты, не отобьёшься: и выгодно, и доблестно.)

В 1928 году в Москве слушается громкое Шахтинское дело — громкое по публичности, которую ему придают, по ошеломляю-

щим признаниям и самобичеванию подсудимых (ещё пока не всех). Через два года в сентябре 1930 с треском судятся *организаторы голода* (они! они! вот они!) — 48 вредителей в пищевой промышленности. В конце 1930 проводится ещё громче и уже безукоризненно отрепетированный процесс Промпартии: тут уже все подсудимые до единого взваливают на себя любую омерзительную чушь — и вот перед глазами трудящихся, как монумент, освобождённый от покрывала, восстаёт грандиозное хитроумное сплетение всех отдельных доныне разоблачённых вредительств в единый дьявольский узел с Милюковым, Рябушинским, Детердингом и Пуанкаре.

Уже начиная вникать в нашу судебную практику, мы понимаем, что общевидные судебные процессы — это только наружные кротовые кучи, а всё главное копанье идёт под поверхностью. На эти процессы выводится лишь небольшая доля посаженных, лишь те, кто соглашается противоестественно оговаривать себя и других в надежде на послабление. Большинство же инженеров, кто имел мужество и разум отвергнуть следовательскую несуразицу,— те судятся неслышно, но лепятся и им — не сознавшимся — **те же** *десятки* от коллегии ГПУ.

Потоки льются под землёю, по трубам, они канализируют поверхностную цветущую жизнь.

Именно с этого момента предпринят важный шаг ко всенародному участию в канализации, ко всенародному распределению ответственности за неё: те, кто своими телами ещё не грохнулись в канализационные люки, кого ещё не понесли трубы на Архипелаг,— те должны ходить поверху со знамёнами, славить суды и радоваться судебным расправам. (Это предусмотрительно!— пройдут десятилетия, история очнётся — но следователи, судьи и прокуроры не окажутся более виноваты, чем мы с вами, сограждане! Потому-то мы и убелены благопристойными сединами, что в своё время благопристойно голосовали *за*.)

Если не считать ленинско-троцкого эксперимента при процессе эсеров в 1922 году, то Сталин начал такие пробы с *организаторов голода* — и ещё бы пробе не удаться, когда все оголодали на обильной Руси, когда все только и озираются: куда ж наш хлебушка запропастился? И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служащие гневно голосуют за смертную казнь негодяям подсудимым. А уже к Промпартии — это всеобщие митинги, это демонстрация (с прихватом и школьников), это печатный шаг миллионов и рёв за стёклами судебного здания: «Смерти! Смерти! Смерти!»

На этом изломе нашей истории раздавались одинокие голоса протеста или воздержания — очень, очень много мужества надо было в том хоре и рёве, чтобы сказать «нет!» — несравнимо с сегодняшнею лёгкостью! (А и сегодня не очень-то возражают.) На собрании ленинградского Политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский *воздержался* (он, видите, вообще противник смертной казни, это, видите ли, на языке науки необратимый процесс) — и тут же посажен! Студент Дима

Олицкий — воздержался, и тут же посажен! И все эти протесты заглохли при самом начале.

Сколько знаем мы, седоусый рабочий класс одобрял эти казни. Сколько знаем мы, от пылающих комсомольцев и до партийных вождей и до легендарных командармов — весь авангард единодушествовал в одобрении этих казней. Знаменитые революционеры, теоретики и провидцы, за 7 лет до своей бесславной гибели приветствовали тот рёв толпы, не догадываясь, что при пороге их время, что скоро и их имена поволокут в этом рёве —«нечистью» и «мразью».

А для инженеров как раз тут вскоре разгром и кончался. Летом 1931 года вымолвил Иосиф Виссарионович «Шесть условий» строительства, и угодно было Его Единодержавию пятым условием указать: от политики разгрома старой технической интеллигенции — к политике привлечения и заботы о ней.

И *заботы о ней!* И куда испарился наш справедливый гнев? И куда отмелись все наши грозные обвинения? Проходил тут как раз процесс вредителей в фарфоровой промышленности (и там нашкодили!) — и уже дружно все подсудимые поносили себя и во всём сознавались — и вдруг так же дружно воскликнули: невиновны!! И их освободили!

(Даже наметился в том году маленький антипоток: уже засуженных или заследованных инженеров возвращали к жизни. Так вернулся и Д. А. Рожанский. Не сказать ли, что он выдержал поединок со Сталиным? Что граждански-мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги?)

Давно опрокинутых навзничь меньшевиков ещё покопытил в марте 1931 Сталин в публичном процессе «Союзного Бюро меньшевиков», Громан — Суханов — Якубович (Громан — скорее кадет, Якубович почти большевик, а Гиммер-Суханов — тот самый, теоретик Февраля, на квартире которого в Петрограде на набережной Карповки 10 октября 1917 собрался большевистский ЦК и принял решение о вооружённом восстании). И вдруг — задумался.

Беломорцы так говорят о приливе — вода *задумалась:* это перед тем, как пойти на спад. Ну, негоже сравнивать мутную душу Сталина с водою Белого моря. Да может быть он нисколько и не задумался. Да и спада никакого не было. Но ещё одно чудо в том году произошло. Вслед за процессом Промышленной Партии готовился в 1931 году грандиозный процесс Трудовой Крестьянской Партии — якобы (никогда не!) существовавшей огромной подпольной организованной силы из сельской интеллигенции, из деятелей потребительской и сельскохозяйственной кооперации и развитой верхушки крестьянства, готовившей свержение диктатуры пролетариата. На процессе Промпартии эту ТКП уже поминали как прихваченную, как хорошо известную. Следственный аппарат ГПУ работал безотказно: уже т ы с я ч и обвиняемых полностью *сознались* в принадлежности к ТКП и в своих преступных целях. А всего было обещано «членов»— д в е с т и т ы с я ч. «Во главе»

партии значились экономист-аграрник Александр Васильевич Чаянов; будущий «премьер-министр» Н. Д. Кондратьев; Л. Н. Юровский; Макаров; Алексей Дояренко, профессор из Тимирязевки,— будущий «министр сельского хозяйства».

А может быть и получше бы тех, кто эту должность потом сорок лет занимал. И вот человеческий жребий! Дояреико был приициписльно всегда вне политикн! Когда дочь его приводнла в дом студентов, высказывающих как бы эсеровские мысли,— ои их из дому выгоиял.

И вдруг в одну прекрасную ночь Сталин передумал — почему, мы этого может быть никогда не узнаем. Захотел он душеньку отмаливать? — так рано. Пробило чувство юмора, что уж больно однообразно, оскомина?— так никто не посмеет попрекнуть, что у Сталина было чувство юмора. А вот что скорей: прикинул он, что скоро вся деревня и так будет от голода вымирать, и не двести тысяч, так нечего и трудиться. И вот была отменена вся ТКП, всем «сознавшимся» предложили отказаться от сделанных признаний (можно себе вообразить их радость!) и вместо этого засудили внесудебным порядком, через коллегию ОГПУ, небольщую группу Кондратьева — Чаянова*. (А в 1941 году измученного Вавилова обвинят, что ТКП — была, и он-то, Вавилов, тайно её и возглавлял.)

Теснятся абзацы, теснятся года — и никак нам не выговорить всего по порядку, что было (а ГПУ отлично справлялось! а ГПУ ничего не упускало!). Но будем всё время помнить:

— что верующих сажают непрерывно, само собою. (Тут выплывают какие-то даты и пики. То «ночь борьбы с религией» в рождественский сочельник 1929 в Ленинграде, когда посадили много религиозной интеллигенции, и не до утра, не в виде рождественской сказки. То там же в феврале 1932 закрытие многих сразу церквей и одновременно густые аресты духовенства. А ещё больше дат и мест — никем до нас не донесено);

— что не упускают громить и секты, даже сочувственные коммунизму. Так в 1929 посадили всех сплошь членов *коммуны* между Сочи и Хостой. Всё у них было по-коммунистически — и производство и распределение, и всё так честно, как страна не достигнет и за сто лет, но, увы, слишком они были грамотны, начитаны в религиозной литературе, и не безбожие было их философией, а смесь баптизма, толстовства и йоговства. Стало быть такая коммуна была преступна и не могла принести народу счастья. В 20-е же годы значительная группа толстовцев была сослана в предгорья Алтая, там они создали посёлки-коммуны совместно с баптистами. Когда началось строительство Кузнецкого комбината, они снабжали его продуктами. Затем начали арестовывать — сперва учителей (учили не по государственным програм-

---

* Присуждёиный к тюремному изолятору, Кондратьев заболел там психически н умер. Умер и Юровскнй. Чаяиов после 5 лет изолятора был выслаи в Алма-Ату, в 1948 посажен вновь.

мам), дети с криком бежали за машинами, затем — руководителей общин;

— что как-то же расчистили (и не всех воспитанием, а кого и свинцом) те тучи беспризорной молодёжи, какая в 20-е годы осаждала городские асфальтные котлы, а с 1930 года вся исчезла вдруг;

— что не упускаются случаи недозволенного милосердия (за собирание в цеху денег для жены заключённого рабочего — арест);

— что Большой Пасьянс социалистов перекладывается непрерывно, само собой;

— что в 1929 сажают не сосланных вовремя за границу историков (Платонов, Тарле, Любавский, Готье, Измайлов), выдающегося литературоведа М. М. Бахтина, молодого тогда Лихачёва;

— что текут и национальности то с одной окраины, то с другой.

Сажают якутов после восстания 1928 года. Сажают бурят-монголов после восстания 1929 года. (Расстреляно, как говорят, около 35 тысяч. Проверить нам не дано.) Сажают казахов после героического подавления их конницей Будённого в 1930—31 годах. Судят в начале 1930 Союз Вызволенья Украины (профессор Ефремов, Чеховский, Никовский и другие), а зная наши пропорции объявляемого и тайного — сколько там ещё за их спинами? сколько там негласно? . .

И подходит, медленно, но подходит очередь садиться в тюрьму членам правящей партии! Пока (1927—29) это — «рабочая оппозиция» или троцкисты, избравшие себе неудачного лидера. Их пока — сотни, скоро будут — тысячи. Но лиха беда начало. Как эти троцкисты спокойно смотрели на посадки инопартийных, так сейчас остальная партия одобрительно взирает на посадку троцкистов. Всем свой черёд. Дальше потечёт несуществующая «правая» оппозиция. Членик за члеником прожевав с хвоста, доберётся пасть и до собственной головы.

С 1928 же года приходит пора рассчитываться с буржуазными последышами — нэпманами. Чаще всего им приносят всё возрастающие и уже непосильные налоги, с какого-то раза они отказываются платить, и тут их сажают за несостоятельность и конфискуют имущество. (Мелких кустарей — парикмахеров, портных да тех, кто чинит примусы, только лишают патента.)

В развитии нэпманского потока есть свой экономический интерес. Государству нужно имущество, нужно золото, а Колымы ещё нет никакой. С конца 1929 начинается знаменитая золотая лихорадка, только лихорадит не тех, кто золото ищет, а тех, из кого его трясут. Особенность нового «золотого» потока в том, что этих своих кроликов ГПУ, собственно, ни в чём не винит и готово не посылать их в страну ГУЛАГ, а только хочет отнять у них золото по праву сильного. Поэтому забиты тюрьмы, изнемогают следователи, а пересылки, этапы и лагеря получают непропорционально меньшее пополнение.

Кого сажают в «золотом» потоке? Всех, кто когда-то, 15 лет назад, имел «дело», торговал, зарабатывал ремеслом и мог бы, по

соображеииям ГПУ, сохранить золото. Но как раз у них очеиь часто золота и ие оказывалось: держали имущество в движимости, в иедвижимости, всё это сгииуло, отобрано в революцию, не осталось иичего. С большой иадеждой сажаются, коиечно, зубиые техиики, ювелиры, часовщики. О золоте в самых иеожидаиных руках можно узиать по доиосу: стопроцентиый «рабочий от стаика» откуда-то взял и хранит шестьдесят иколаевских золотых пятёрок; известиый сибирский партизаи Муравьёв приехал в Одессу и привёз с собой мешочек с золотом (иаграбил в Гражданскую войиу); у петербургских татар-извозчиков ломовых у всех спрятаио золото. Та́к это или ие так — разобраться можно только в застеиках. Уж иичем — ии пролетарской сущностью, ии революциоииыми заслугами ие может защититься тот, на кого пала теиь золотого доиоса. Все они арестуются, все напихиваются в камеры ГПУ в количествах, которые до сих пор ие представлялись возможными,— ио тем лучше, скорей *отдадут!* Доходит до коифузиого, что жеищииы и мужчины сидят в одиих камерах и друг при друге ходят иа парашу — кому до этих мелочей, отдайте золото, гады! Следователи ие пишут протоколов, потому что бумажка эта иикому ие иужиа, и будет ли потом иамотаи срок или ие будет, это мало кого иитересует, важно одио: отдай золото, гад! Государству иужио золото, а тебе зачем? У следователей уже не хватает ии горла, ии сил на угрозы и пытки, ио есть общий приём: кормить камеры одиим солёиым, а воды ие давать. Кто золото сдаст — тот выпьет воды! Червоиец за кружку чистой воды!

Люди гибиут за металл . . .

От потоков предшествующих, от потоков последующих этот отличается тем, что хоть ие у половииы, ио у части этого потока своя судьба трепыхается в собствеиных руках. Если у тебя иа самом деле золота нет — твоё положение безвыходио, тебя будут бить, жечь, пытать и выпаривать до смерти или пока уж действительио ие поверят. Но если у тебя золото есть, то ты сам определяешь меру пытки, меру выдержки и свою будущую судьбу. Психологически это, впрочем, ие легче, это тяжелей, потому что ошибёшься и иавсегда будешь виииоват перед собой. Коиечио, тот, кто уже усвоил иравы сего учреждеиия, уступит и отдаст, это легче. Но и слишком легко отдавать иельзя: ие поверят, что отдал сполиа, будут ещё держать. Но и слишком поздно отдать иельзя: душеиьку выпустишь или со зла влепят срок. Одии из тех татар-извозчиков выдержал все пытки: золота иет! Тогда посадили и жеиу, и её мучили, татарии своё: золота нет! Посадили и дочь — ие выдержал татарии, сдал сто тысяч рублей. Тогда семью выпустили, а ему врезали срок.— Самые аляповатые детективы и оперы о разбойниках серьёзио осуществились в объёме великого государства.

Введеиие паспортиой системы иа пороге 30-х годов тоже дало изрядиое пополиение лагерям. Как Пётр I упрощал строеиие народа, прометая все желобки и пазы между сословиями, так действовала и иаша социалистическая паспортиая система: она выметала

именно промежуточных насекомых, она настигала хитрую, бездомную и ни к чему не приставленную часть населения. Да поперву и ошибались люди много с теми паспортами,— и не прописанные, и не выписанные подгребались на Архипелаг, хоть на годок.

Так пузырились и хлестали потоки — но черезо всех перекатился и хлынул в 1929—30 годах многомиллионный поток *раскулаченных*. Он был непомерно велик, и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем (к тому ж забитая «золотым» потоком), но он миновал её, он сразу шёл на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ. Своей единовременной набухлостью этот поток (этот океан!) выпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно-судебная система даже огромного государства. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ-ГУЛАГа, что города ничего б и не заметили!— если б не потрясший их трёхлетний странный голод — голод без засухи и без войны.

Поток этот отличался от всех предыдущих ещё и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьёй. Напротив, здесь сразу выжигали только гнёздами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей четырнадцати, десяти или шести лет не отбился бы в сторону: все наподскрёб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. (Это был первый такой опыт, во всяком случае в Новой истории. Его потом повторит Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями.)

Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех «кулаков», по которым назван был для отвода глаз. «Кулаком» называется по-русски прижимистый бесчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до революции-то были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности. Затем, уже после 17-го года, по переносу значения «кулаками» стали называть (в официальной и агитационной литературе, отсюда вошло и в устный обиход) тех, кто вообще использует труд наёмных рабочих, хотя бы по временным недостаткам своей семьи. Но не упустим из виду, что после революции за всякий такой труд невозможно было не уплатить густо — на страже батраков стояли комбед и сельсовет, попробовал бы кто-нибудь обидеть батрака! Справедливый же наём труда допускается в нашей стране и сейчас.

Но раздувание хлёсткого термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже вообще всех крепких крестьян — крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы размозжить в крестьянстве *крепость*. Вспомним, очнёмся: лишь двенадцать лет прошло с великого Декрета о Земле — того самого, без которого крестьянство не пошло бы за большевиками и Октябрьская революция бы не победила. Земля была роздана по едокам,

равно. Всего лишь девять лет, как мужики вернулись из Красной армии и накинулись на свою завоёванную землю. И вдруг — кулаки, бедняки. Откуда это? Иногда — от неравенства инвентаря, иногда — от счастливого или несчастливого состава семьи. Но не больше ли всего — от трудолюбия и упорства? И вот теперь-то этих мужиков, чей хлеб Россия и ела в 1928 году, бросились искоренять свои местные неудачники и приезжие городские люди. Как озверев, потеряв всякое представление о «человечестве», потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия,— лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу.

Такое массовое движение не могло не осложниться. Надо было освободить деревню также и от тех крестьян, кто просто проявлял неохоту идти в колхоз, несклонность к коллективной жизни, которой они не видели в глаза и о которой подозревали (мы теперь знаем, как основательно), что это будет руководство бездельников, принудиловка и голодаловка. Нужно было освободиться и от тех крестьян (иногда совсем небогатых), кто за свою удаль, физическую силу, решимость, звонкость на сходках, любовь к справедливости были любимы односельчанами, а по своей независимости — опасны для колхозного руководства. (Этот крестьянский тип и судьба его бессмертно представлены Степаном Чаузовым в повести С. Залыгина.) И ещё в каждой деревне были такие, кто *лично* стал поперёк дороги здешним *активистам*. По ревности, по зависти, по обиде был теперь самый удобный случай с ними рассчитаться. Для всех этих жертв требовалось новое слово — и оно родилось. В нём уже не было ничего «социального», экономического, но оно звучало великолепно: *подкулачник*. То есть, я считаю, что ты — пособник врага. И хватит того! Самого оборванного батрака вполне можно зачислить в подкулачники! (Хорошо помню, что в юности нам это слово казалось вполне логичным, ничего неясного.)

Так охвачены были двумя словами все те, кто составлял суть деревни, её энергию, её смекалку и трудолюбие, её сопротивление и совесть. Их вывезли — и коллективизация была проведена.

Но и из деревни коллективизированной полились новые потоки:
— поток *вредителей* сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы-вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками (разумеется по указаниям московского института, ныне полностью разоблачённого. Да это же и есть те самые не посаженные двести тысяч членов ТКП!). Одни агрономы не выполняют глубокоумных директив Лысенко (в таком потоке в 1931 отправлен в Казахстан «король» картофеля Лорх). Другие выполняют их слишком точно и тем обнажают их глупость. (В 1934 псковские агрономы посеяли лён по снегу — точно, как велел Лысенко. Семена набухли, заплесневели и погибли. Обширные поля пропус-

товали год. Лысенко не мог сказать, что снег — кулак, или что сам дурак. Он обвинил, что агрономы — кулаки и извратили его технологию. И потянулись агрономы в Сибирь.) А ещё почти во всех МТС обнаружено вредительство в ремонте тракторов (вот чем объяснялись неудачи первых колхозных лет!);

— поток «за потери урожая» (а «потери» сравнительно с произвольной цифрой, выставленной весною «комиссией по определению урожая»);

—«за невыполнение государственных обязательств по хлебосдаче» (райком обязался, а колхоз не выполнил — садись!);

— поток *стригущих колоски.* Ночная ручная стрижка колосков в поле!— совершенно новый вид сельского занятия и новый вид уборки урожая! Это был немалый поток, это были многие десятки тысяч крестьян, часто даже не взрослые мужики и бабы, а парни и девки, мальчишки и девчонки, которых старшие посылали ночами *стричь,* потому что не надеялись получить из колхоза за свою дневную работу. За это горькое и малоприбыльное занятие (в крепостное время крестьяне не доходили до такой нужды!) суды отвешивали сполна: десять лет как за опаснейшее хищение социалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года (в арестантском просторечии *закон семь восьмых*).

Этот «закон от седьмого-восьмого» дал ещё отдельный большой поток со строек первой и второй пятилетки, с транспорта, из торговли, с заводов. Крупными хищениями велено было заниматься НКВД. Этот поток следует иметь в виду дальше как постоянно текущий, особенно обильный в военные годы — и так пятнадцать лет (до 1947, когда он будет расширен и осуровлен).

Но наконец-то мы можем и передохнуть! Наконец-то сейчас и прекратятся все массовые потоки!— товарищ Молотов сказал 17 мая 1933: «Мы видим нашу задачу не в массовых репрессиях». Фу-у-уф, да и пора бы. Прочь ночные страхи! Но что за лай собак? Ату! Ату!

Во-ка! Это начался *Кировский* поток из Ленинграда, где напряжённость признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме города, а судопроизводство введено «ускоренное» (оно и раньше не поражало медлительностью) и без права обжалования (оно и раньше не обжаловалось). Считается, что четверть Ленинграда была *расчищена* в 1934-35. Эту оценку пусть опровергнет тот, кто владеет точной цифрой и даст её. (Впрочем поток этот был не только ленинградский, он достаточно отозвался по всей стране в форме привычной, хотя и бессвязной: в увольнении из аппарата всё ещё застрявших где-то там детей священников, бывших дворянок да имеющих родственников за границей.)

В таких захлёстывающих потоках всегда терялись скромные неизменные ручейки, которые не заявляли о себе громко, но лились и лились:

— то шуцбундовцы, проигравшие классовые бои в Вене и приехавшие спасаться в отечество мирового пролетариата;

— то эсперантисты (эту вредную публику Сталин выжигал в те же годы, что и Гитлер);

— то недобитые осколки Вольного Философского Общества, нелегальные философские кружки;

— то учителя, несогласные с передовым бригадно-лабораторным методом обучения (в 1933 Наталья Ивановна Бугаенко посажена в ростовское ГПУ, но на третьем месяце следствия узналось из правительственного постановления, что тот метод — порочен. И её освободили.);

— то сотрудники Политического Красного Креста, который стараниями Екатерины Пешковой всё ещё отстаивал своё существование;

— то горцы Северного Кавказа за восстание (1935); национальности текут и текут. (На Волгоканале национальные газеты выходят на четырёх языках — татарском, тюркском, узбекском и казахском. Так есть кому их читать!);

— и опять — верующие, теперь не желающие идти на работу по воскресеньям (вводили пятидневку, шестидневку); колхозники, саботирующие в церковные праздники, как привыкли в индивидуальную эру;

— и всегда — отказавшиеся стать осведомителями НКВД. (Тут попадали и священники, хранившие тайну исповеди,— Органы быстро сообразили, как им полезно знать содержание исповедей, единственная польза от религии.);

— а сектантов берут всё шире;

— а Большой Пасьянс социалистов всё перекладывается.

И наконец, ещё ни разу не названный, но все время текущий поток *Десятого Пункта*, он же КРА (КонтрРеволюционная Агитация), он же АСА (АнтиСоветская Агитация). Поток Десятого Пункта — пожалуй, самый устойчивый из всех — не пресекался вообще никогда, а во времена других великих потоков, как 37-го, 45-го или 49-го годов, набухал особенно полноводно.

Уж этот-то безотказный поток подхватывал кого угодно и в любую назначенную минуту. Но для видных интеллигентов в 30-е годы иногда считали более изящным подстряпать какую-нибудь постыдную статейку (вроде мужеложства; или будто бы профессор Плетнёв, оставаясь с пациенткой наедине, кусал ей грудь. Пишет центральная газета — пойди опровергни!).

* * *

Парадоксально: всей многолетней деятельности всепроникающих и вечно бодрствующих Органов дала силу всего-навсего о д н а статья из ста сорока восьми статей не-общего раздела Уголовного Кодекса 1926 года. Но в похвалу этой статье можно найти ещё больше эпитетов, чем когда-то Тургенев подобрал для русского языка или Некрасов для Матушки-Руси: великая, могучая, обильная, разветвлённая, разнообразная, всеподметающая Пятьдесят Восьмая, исчерпывающая мир не так даже в формулировках своих пунктов, сколько в их диалектическом и широчайшем истолковании.

Кто из нас не изведал на себе её всеохватывающих объятий? Воистину, нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть покараны тяжёлой дланью Пятьдесят Восьмой статьи.

Сформулировать её так широко было невозможно, но оказалось возможно так широко её истолковать.

58-я статья не составила в кодексе главы о политических преступлениях, и нигде не написано, что она «политическая». Нет, вместе с преступлениями против порядка управления и бандитизмом она сведена в главу «преступлений государственных». Так Уголовный кодекс открывается с того, что отказывается признать кого-либо на своей территории преступником политическим — а только уголовным.

58-я статья состояла из четырнадцати пунктов.

Из первого пункта мы узнаём, что контрреволюционным признаётся всякое действие (по ст. 6-й УК — и бездействие), направленное . . . на ослабление власти . . .

> При широком истолковании оказалось: отказ в лагере пойти на работу, когда ты голоден и изнеможён, — есть ослабление власти. И влечёт за собой — расстрел. (Расстрелы *отказчиков* во время войны.)

С 1934 года, когда нам возвращён был термин Родина, были и сюда вставлены подпункты *измены Родине* — 1-а, 1-б, 1-в, 1-г. По этим пунктам действия, совершённые в ущерб военной мощи СССР, караются расстрелом (1-б) и лишь в смягчающих обстоятельствах и только для гражданских лиц (1-а) — десятью годами.

> Широко читая: когда нашим солдатам за сдачу в плен (ущерб военной мощи!) давалось всего лишь десять лет, это было гуманно до противозаконности. Согласно сталинскому кодексу они по мере возврата на родину должны были быть все расстреливаемы.

> (Илн вот ещё образец шнрокого чтення. Хорошо помню одну встречу в Бутырках летом 1946. Некнй поляк родился в Лемберге, когда тот был в составе Австро-Венгерской нмпернн. До второй мировой войны жил в своём родном городе в Польше, потом переехал в Австрню, там служил, там в 1945 н арестован нашимн. Он получил десятку по статье 54-1-а украннского кодекса, то есть за нзмену своей родине — Укранне!— так как ведь город Лемберг стал к тому временн укранпскнм Львовом! И бедняга не мог доказать на следствнн, что уехал в Вену не с целью нзменнть Укранне! Так он нссобачился стать предателем.)

> Ещё важным расширением пункта об измене было применение его «через статью 19-ю УК» — «через намерение». То есть, никакой измены не было, но следователь усматривал *намерение* изменить — и этого было достаточно, чтобы дать полный срок, как и за фактическую измену. Правда, статья 19-я предлагает карать не за намерение, а за *подготовку*, но при диалектическом чтении можно и намерение понять как подготовку. А «приготовление наказуемо так же (то есть равным наказанием), как и само преступление» (УК). В общем,

мы не отличаем намерения от самого преступления и в этом *превосходство* советского законодательства перед буржуазным!*

Необъятную широту прочтения любой статьи ещё давала статья 16 УК —«по аналогии». Когда прямо ни к одной статье поступок не подходил, судья мог квалифицировать его «по аналогии».

Пункт второй говорит о вооружённом восстании, захвате власти в центре и на местах и в частности для того, чтобы насильственно отторгнуть какую-либо часть Союза Республик. За это — вплоть до расстрела (как и в *каждом* следующем пункте.)

Расширительно (как нельзя было бы написать в статье, но как подсказывает революционное правосознание): сюда относится всякая попытка осуществить право любой республики на выход из Союза. Ведь «насильственно» — не сказано, по отношению *к кому*. Даже если всё население республики захотело бы отделиться, а в Москве этого бы не хотели, отделение уже будет *насильственное*. Итак, все эстонские, латышские, литовские, украинские и туркестанские националисты легко получали по этому пункту свои десять и двадцать пять.

Третий пункт —«способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с СССР в состоянии войны».

Этот пункт давал возможность осудить любого гражданина, бывшего под оккупацией, прибил ли он каблук немецкому военнослужащему, продал ли пучок редиски; или гражданку, повысившую боевой дух оккупанта тем, что танцевала с ним и провела ночь. Не всякий был осуждён по этому пункту (из-за обилия оккупированных), но мог быть осуждён всякий.

Четвёртый пункт говорил о (фантастической) помощи, оказываемой международной буржуазии.

Казалось бы: кто может сюда относиться? Но, широко читая с помощью революционной совести, легко нашли разряд: все эмигранты, покинувшие страну до 1920 года, то есть за несколько лет до написания самого этого кодекса, и настигнутые нашими войсками в Европе через четверть столетия (1944-45), получали 58-4: десять лет или расстрел. Ибо что ж делали они за границей, как не способствовали мировой буржуазии?

---

* «От тюрем к воспитательным учреждениям». Сборник Института Уголовной Политики, под ред. Вышиисkого. Изд-во «Советское закоиодательство», М, 1934, стр. 36.

(На примере музыкального общества мы уже видели, что способствовать можно было и изнутри СССР.) Ей же способствовали все эсеры, все меньшевики (для них и статья задумана), а потом инженеры Госплана и ВСНХ.

Пятый пункт: склонение иностранного государства к объявлению войны СССР.

Упущенный случай: распространить этот пункт на Сталина и его дипломатическое и военное окружение в 1940-41 годах. Их слепота и безумие к тому и вели. Кто ж, как не они, ввергли Россию в позорные невиданные поражения, не сравнимые с поражениями царской России в 1904 или 1915 году? поражения, каких Россия не знала с XIII века?

Шестой пункт — шпионаж,

был прочтён настолько широко, что если бы подсчитать всех осуждённых по нему, то можно было бы заключить, что ни земледелием, ни промышленностью, ни чем-либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок. Шпионаж — это было нечто очень удобное по своей простоте, понятное и неразвитому преступнику, и учёному юристу, и газетчику, и общественному мнению.*

Широта прочтения ещё была здесь в том, что осуждали не прямо за шпионаж, а за

ПШ — Подозрение в Шпионаже;

НШ — Недоказанный Шпионаж, и за него всю катушку! И даже за

СВПШ — Связи, Ведущие к Подозрению (!) в Шпионаже.

То есть, например, знакомая знакомой вашей жены шила платье у той же портнихи (конечно, сотрудницы НКВД), что и жена иностранного дипломата.

И эти 58-6, ПШ и СВПШ были прилипчивые пункты, они требовали строгого содержания, неусыпного наблюдения (ведь разведка может протянуть щупальцы к своему любимцу и в лагерь) и запрещали расконвоирование. Вообще всякие *литерные статьи*, то есть не статьи вовсе, а вот эти пугающие сочетания больших букв (мы

* А пожалуй, шпиономаиия ие была только узколобым пристрастием Сталииа. Оиа сразу пришлась удобной всем, вступающнм в привнлегни. Оиа стала естественным оправданием уже назревшей всеобщей секретности, запрета информации, закрытых дверей, снстемы пропусков, огороженных дач н тайных распределителей. Через броневую защнту шпиономаиин иарод не мог проникнуть и посмотреть, как бюрократня сговаривается, бездельннчает, ошибается, как она ест и как развлекается.

в этой главе ещё встретим другие) постоянно носили на себе налёт загадочности, всегда было непонятно, отростки ли они 58-й статьи или что-то самостоятельное и очень опасное. Заключённые с литерными статьями во многих лагерях были притеснены даже по сравнению с 58-й.

Седьмой пункт: подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и кооперации.

В 30-е годы этот пункт сильно пошёл в ход и захватил массы под упрощённой и всем понятной кличкой «вредительство». Действительно, всё перечисленное в пункте Седьмом с каждым днём наглядно и явно подрывалось — и должны же были быть тому виновники?.. Столетиями народ строил, создавал и всегда честно, даже на бар. Ни о каком *вредительстве* не слыхано было от самых Рюриков. И вот когда впервые достояние стало народным,— сотни тысяч лучших сынов народа необъяснимо кинулись вредить. (Вредительство в сельском хозяйстве пунктом не предусматривалось, но так как без него нельзя было разумно объяснить, почему поля зарастают сорняками, урожаи падают, машины ломаются, то диалектическое чутьё ввело и его.)

Восьмой пункт — террор (не тот террор, который «обосновать и узаконить» должен был советский уголовный кодекс*).

Террор понимался очень и очень расширительно: не то считалось террором, чтобы подкладывать бомбы под кареты губернаторов, но например набить морду своему личному врагу, если он был партийным, комсомольским или милицейским активистом, уже значило террор. Тем более убийство активиста никогда не приравнивалось к убийству рядового человека (как это было, впрочем, ещё в кодексе Хаммурапи в XVIII столетии до нашей эры). Если муж убил любовника жены и тот оказался беспартийным — это было счастье мужа, он получал 136-ю статью, был бытовик, социально-близкий и мог быть бесконвойным. Если же любовник оказывался партийным — муж становился врагом народа с 58-8.

Ещё более важное расширение понятия достигалось применением 8-го пункта через ту же статью 19-ю, то есть через *подготовку* в смысле намерения. Не только прямая угроза около пивной «ну, погоди!», обращённая к активисту, но и замечание запальчивой базарной бабы «ах, чтоб ему повылазило!» квалифицировалось как ТН — Террористические Намерения, и давало основание на

---

* Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 45, стр. 190

применение всей строгости статьи. (Это звучит перебором, фарсом — но не мы сочиняли этот фарс, мы с этими людьми — сидели.)

Девятый пункт — разрушение или повреждение ... взрывом или поджогом (и непременно с контрреволюционной целью), сокращённо именуемое как *диверсия*.

Расширение было в том, что контрреволюционная цель приписывалась (следователь лучше знал, что делалось в сознании преступника!), а всякая человеческая оплошность, ошибка, неудача в работе, в производстве — не прощались, рассматривались как диверсия.

Но никакой пункт 58-й статьи не толковался так расширительно и с таким горением революционной совести, как Десятый. Звучание его было: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти ... а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания». И оговаривал этот пункт в *мирное* время только *нижний* предел наказания (не ниже! не слишком мягко!), верхний же н е о г р а н и ч и в а л с я!

Таково было бесстрашие великой Державы перед с л о в о м подданного.

Знаменитые расширения этого знаменитого пункта были:
— под «агитацией, содержащей призыв», могла пониматься дружеская (или даже супружеская) беседа с глазу на глаз, или частное письмо; а *призывом* мог быть личный совет. (Мы заключаем «могла, мог быть» из того, что *так оно и бывало.*)
— «подрывом и ослаблением» власти была всякая мысль, не совпадающая или не поднимающаяся по накалу до мыслей сегодняшней газеты. Ведь ослабляет всё то, что не усиляет! Ведь подрывает всё то, что не полностью совпадает!

И тот, кто сегодня поёт не с нами,—
Тот
против
нас!

(Маяковский)

— под «изготовлением литературы» понималось всякое написание в единственном экземпляре письма, записи, интимного дневника.

Расширенный так счастливо — какую м ы с л ь, задуманную, произнесенную или записанную, не охватывал Десятый Пункт?

Пункт одиннадцатый был особого рода: он не имел самостоятельного содержания, а был отягощающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось организационно или преступники вступали в организацию.

> На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не требовалось. Это изящное применение пункта я испытал на себе. Нас было *двое*, тайно обменивавшихся мыслями,— *то есть* зачатки организации, *то есть* организация!

Пункт двенадцатый наиболее касался совести граждан: это был пункт о *недонесении* в любом из перечисленных деяний. И за тяжкий грех недонесения н а к а з а н и е н е и м е л о в е р х н е й г р а н и ц ы!!

> Этот пункт уже был столь всеохватным расширением, что дальнейшего расширения не требовал. *Знал и не сказал* — всё равно, что сделал сам!

Пункт тринадцатый, по видимости давно исчерпанный, был: служба в царской охранке. (Аналогичная более поздняя служба, напротив, считалась патриотической доблестью.)

Есть пснхологические основання подозревать И. Сталнна в подсудностн также и по этому пункту 58-й статьн. Далеко не все документы относительно этого рода службы пережнлн февраль 1917 н сталн широко известны. Поспешный поджог полнцейских архнвов в первые днн февральской революции похож на дружный порыв некоторых заннтересованных революционеров. В самом деле, зачем бы в момент победы сжнгать архнвы непрнятеля, столь интересные?

Пункт четырнадцатый карал «сознательное неисполнение определённых обязанностей или умышленно небрежное их исполнение» — карал, разумеется, вплоть до расстрела. Кратко это называлось «саботаж» или «экономическая контрреволюция»,

> а отделить умышленное от неумышленного мог только следователь, опираясь на своё революционное правосознание. Этот пункт применялся к крестьянам, не сдающим поставок. Этот пункт применялся к колхозникам, не набравшим нужного числа трудодней. К лагерникам, не вырабатывающим норму. И рикошетом стали после войны давать этот пункт блатарям за побег из лагеря, то есть расширительно усматривая в побеге блатного не порыв к сладкой воле, а подрыв системы лагерей.

Такова была последняя из костяшек веера 58-й статьи — веера, покрывшего собой всё человеческое существование.

Сделав этот обзор великой Статьи, мы дальше уже будем меньше удивляться. Где закон — там и преступление.

* * *

Булатная сталь 58-й статьи, опробованная в 1927, сразу после отковки, омоченная во всех потоках следующего десятилетия,— с полным свистом и размахом была применена в атаке Закона на Народ в 1937-38 годах.

Надо сказать, что операция 1937 года не была стихийной, а планировалась, что в первой половине этого года во многих тюрьмах Союза произошло переоборудование — из камер выносились койки, строились сплошные нары, одноэтажные, двухэтажные. (Как не случайно и Большой Дом в Ленинграде был закончен в 1934 году, как раз к убийству Кирова.) Вспоминают старые арестанты, что будто бы и первый удар был массированным, чуть ли не в какую-то августовскую ночь по всей стране (но зная нашу неповоротливость, я не очень этому верю). А осенью, когда к двадцатилетию Октября ожидалась с верою всеобщая великая амнистия, шутник Сталин добавил в уголовный кодекс невиданные новые сроки —15, 20 и 25 лет.

Нет нужды повторять здесь о 37-м годе то, что уже широко написано и ещё будет многократно повторено: что был нанесен крушащий удар по верхам партии, советского управления, военного командования и верхам самого ГПУ-НКВД. Вряд ли в какой области сохранился первый секретарь обкома или председатель облисполкома — Сталин подбирал себе более удобных.

Теперь, видя китайскую культурную революцию (тоже на 17-м году после окончательной победы), мы можем с большой вероятностью заподозрить тут историческую закономерность. И даже сам Сталин начинает казаться лишь слепой и поверхностной исторической силой.

Ольга Чавчавадзе рассказывает, как было в Тбилиси: в 38-м году арестовали председателя горисполкома, его заместителя, всех (одиннадцать) начальников отделов, их помощников, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. Назначили новых. Прошло два месяца. И вот опять сажают: председателя, заместителя, всех (одиннадцать) начальников отделов, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. На свободе остались: рядовые бухгалтеры, машинистки, уборщицы, курьеры...

В посадке же рядовых членов партии был видимо секретный, нигде прямо в протоколах и приговорах не названный мотив: преимущественно арестовывать членов партии со стажем *до* 1924 года. Это особенно решительно проводилось в Ленинграде, потому что именно все те подписывали «платформу» Новой оппозиции. (А как бы они могли не подписывать? как бы могли «не доверять» своему ленинградскому губкому?)

И вот как бывало, картинка тех лет. Идёт (в Московской области) районная партийная конференция. Её ведёт новый секретарь райкома вместо недавно посаженного. В конце конференции принимается обращение преданности товарищу Сталину. Разумеется, все встают (как и по ходу конференции все вскакивали при

каждом упоминании его имени). В маленьком зале хлещут «бурные аплодисменты, переходящие в овацию». Три минуты, четыре минуты, пять минут они всё ещё бурные и всё ещё переходящие в овацию. Но уже болят ладони. Но уже затекли поднятые руки. Но уже задыхаются пожилые люди. Но уже это становится нестерпимо глупо даже для тех, кто искренно обожает Сталина. Однако: кто же *первый* осмелится прекратить? Это мог бы сделать секретарь райкома, стоящий на трибуне и только что зачитавший это самое обращение. Но он — недавний, он — вместо посаженного, он сам боится! Ведь здесь, в зале, стоят и аплодируют энкаведисты, они-то следят, *кто* покинет первый!.. И аплодисменты в беззвестном маленьком зале, беззвестно для вождя продолжаются 6 минут! 7 минут! 8 минут!.. Они погибли! Они пропали! Они уже не могут остановиться, пока не падут с разорвавшимся сердцем! Ещё в глуби зала, в тесноте, можно хоть чуть сжульничать, бить реже, не так сильно, не так яростно,— но в президиуме, на виду?! Директор местной бумажной фабрики, независимый сильный человек, стоит в президиуме и понимая всю ложность, всю безвыходность положения, аплодирует!—9-ю минуту! 10-ю! Он смотрит с тоской на секретаря райкома, но тот не смеет бросить. Безумие! Повальное! Озираясь друг на друга со слабой надеждой, но изображая на лицах восторг, руководители района будут аплодировать, пока не упадут, пока их не станут выносить на носилках! и даже тогда оставшиеся не дрогнут!.. И директор бумажной фабрики на 11-й минуте принимает деловой вид и опускается на своё место в президиуме. И — о, чудо!— куда делся всеобщий несдержанный неописуемый энтузиазм? Все разом на том же хлопке прекращают и тоже садятся. Они спасены! Белка догадалась выскочить из колеса!..

Однако, вот так-то и узнают независимых людей. Вот так-то их и изымают. В ту же ночь директор фабрики арестован. Ему легко мотают совсем по другому поводу десять лет. Но после подписания 206-й (заключительного следственного протокола) следователь напоминает ему:

— И никогда не бросайте аплодировать первый!

(А как же быть? А как же нам остановиться?..)

Вот это и есть отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью.

Но сегодня создаётся новый миф. Всякий печатный рассказ, всякое печатное упоминание о 37-м годе — это непременно рассказ о трагедии коммунистов-руководителей. И вот уже нас уверили, и мы невольно поддаёмся, что 37-38-й тюремный год состоял в посадке именно крупных коммунистов — и как будто больше никого. Но от м и л л и о н о в, взятых тогда, никак не могли составить видные партийные и государственные чины более 10 процентов. Даже в ленинградских тюремных очередях с передачами больше всего стояло женщин простых, вроде молочниц.

Из косвенных данных статистики не миновать вывода, а показанием свидетелей подтверждается: что невымершие спецпосёлки

«раскулаченных» были в 1937 году переведены на Архипелаг: либо переселены в лагеря, либо на месте оцеплены лагерной зоной. Так великий поток 1929 года влился в поток 1937, ещё миллионно увеличив его.

Состав захваченных в 1937-38 и отнесенных полумёртвыми на Архипелаг так пёстр, причудлив, что долго бы ломал голову, кто захотел бы научно выделить закономерности. (Тем более современникам они не были понятны.)

А истинный посадочный закон тех лет был — заданность цифры, разнарядки, развёрстки. Каждый город, район, каждая воинская часть получали контрольную цифру и должны были выполнить её в срок. Всё остальное — от сноровки оперативников.

Бывший чекист Александр Калганов вспоминает, как в Ташкент пришла телеграмма: «Шлите двести». А они только что выгребли и как будто «некого» брать. Ну, правда, подвезли из районов с полсотни. Идея! Взятых милицией бытовиков — переквалифицировать в 58-ю! Сказано — сделано. Но контрольной цифры всё равно нет. Доносит милиция: что делать? на одной из городских площадей цыгане нахально разбили табор. Идея! Окружили — и всех мужчин от семнадцати до шестидесяти загребли как Пятьдесят Восьмую! И — выполнили план!

А бывало и так: чекистам Осетии (рассказывает начальник милиции Заболовский) дана была развёрстка расстрелять по республике 500 человек, они просили добавить, им разрешили ещё 250.

Эти телеграммы, слегка зашифрованные, передавались обычной связью. В Темрюке телеграфистка в святой простоте передала на коммутатор НКВД: чтобы завтра отправили в Краснодар 240 ящиков мыла. Наутро она узнала о больших арестах и отправке — и догадалась! и сказала подруге, какая была телеграмма. Тут же её и посадили.

(Совсем ли случайно зашифровали человека как *ящик мыла?* Или — зная мыловарение? . .)

Конечно, какие-то частные закономерности осмыслить можно. Садятся:

— наши за границей истинные шпионы. (Это часто — искреннейшие коминтерновцы или чекисты, много — привлекательных женщин. Их вызывают на родину, на границе арестовывают, затем дают очную ставку с их бывшим начальником из Коминтерна, например Мировым-Короной. Тот подтверждает, что сам работал на какую-нибудь из разведок — и, значит, его подчинённые — автоматически, и тем вреднее, чем честнее.);

— ка-вэ-же-динцы. (Все поголовно советские служащие КВЖД оказываются сплошь, включая жён, детей и бабушек, японскими шпионами. Но надо признать, что их брали уже и несколькими годами раньше);

— корейцы с Дальнего Востока (ссылка в Казахстан), первый опыт взятия по крови;

— ленинградские эстонцы (все берутся по одной лишь фамилии, как белоэстонские шпионы);

— все латышские стрелки и латыши-чекисты — да, латыши, акушеры Революции, составлявшие совсем недавно костяк и гордость ЧК! И даже те коммунисты буржуазной Латвии, которых выменяли в 1921, освободив их от ужасных латвийских сроков в два и в три года. (Закрываются в Ленинграде: латышское отделение института Герцена; дом культуры латышей; эстонский клуб; латышский техникум; латышская и эстонская газеты.)

Под общий шум заканчивается и перекладка Большого Пасьянса, гребут ещё недовзятых. Уже незачем скрываться, уже пора эту игру обрывать. Теперь социалистов забирают в тюрьму целыми ссылками (например, Уфа, Саратов), судят всех вместе, гонят на бойни Архипелага — стадами.

В прошлых потоках не забывали интеллигенцию, не забывают её и теперь. Достаточно студенческого доноса (сочетание этих слов давно не звучит странно), что их вузовский лектор цитирует всё больше Ленина и Маркса, а Сталина не цитирует — и лектор уже не приходит на очередную лекцию. А если он *вообще не цитирует?* . . Садятся все ленинградские востоковеды среднего и младшего поколения. Садится весь состав Института Севера (кроме сексотов). Не брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело тридцати преподавателей средних школ во главе с их завоблоно Перелем, одно из ужасных обвинений: устраивали в школах ёлки — *для того, чтобы жечь школы*!* А по лбу инженеров (уже советского поколения, уже не «буржуазных») дубина опускается с равномерностью маятника. У маркшейдера Николая Меркурьевича Микова из-за какого-то нарушения в пластах не сошлись два встречных забоя. 58-7, 20 лет! Шесть геологов (группа Котовича) «за намеренное сокрытие запасов олова в недрах (!— то есть за неоткрытие их!) на случай прихода немцев» (донос) — 58-7, по 10 лет.

Вдогонку главным потокам — ещё *спец*-поток: ж ё н ы, Че-эСы (члены семьи). Жёны крупных партийцев, а местами (Ленинград) — и всех, кто получил «10 лет без права переписки», кого уже нет. Чеэсам, как правило, всем по *восьмёрке*. (Всё же мягче, чем раскулаченным, и дети — на материке.)

Груды жертв! Холмы жертв! Фронтальное наступление НКВД на город: у С. П. Матвеевой в одну и ту же волну, но по разным «делам», арестовали мужа и трёх братьев (и трое из четверых никогда не вернутся);

— у техника-электрика оборвался на его участке провод высокого напряжения, 58-7, 20 лет;

---

* Из них пятеро замучены на следствии, умерли до суда. Двадцать четыре умерло в лагерях. Тридцатый — Иван Аристаулович Пунич, вернулся, реабилитирован. (Умри и он, мы пропустили бы здесь всех этих тридцать, как и пропускаем миллионы.) Многочисленные «свидетели» по их делу — сейчас в Свердловске и благоденствуют: номенклатурные работники, персональные пенсионеры. Дарвиновский отбор.

— пермский рабочий Новиков обвинён в подготовке взрыва Камского моста;

— Южакова (в Перми же) арестовали днём, за женой пришли ночью. Ей предъявили список лиц и потребовали подписать, что все они собирались в их доме на меньшевистско-эсеровские собрания (разумеется, их не было). За это её обещали выпустить к оставшимся трём детям. Она подписала, погубила всех, да и сама, конечно, осталась сидеть;

— Надежда Юденич арестована за свою фамилию. Правда, через 9 месяцев установили, что она не родственница генерала, и выпустили (ну, там ерунда: за это время мать умерла от волнений);

— в Старой Руссе смотрели кинофильм «Ленин в Октябре». Кто-то обратил внимание на фразу: «Это должен знать Пальчинский!» — а Пальчинский-то защищает Зимний дворец. Позвольте, а у нас медсестра работает — Пальчинская! Взять её! И взяли. И оказалось, действительно — жена, после расстрела мужа скрывшаяся в захолустье;

— братья Борушко (Павел, Иван и Степан) приехали в 1930 из Польши ещё мальчиками, к своим родным. Теперь юношами они получают ПШ (подозрение в шпионаже), 10 лет;

— водительница краснодарского трамвая поздно ночью возвращалась из депо пешком и на окраине на свою беду прошла мимо застрявшего грузовика, близ которого суетились. Он оказался полон трупов — руки и ноги торчали из-под брезента. Её фамилию записали, на другой день арестовали. Спросил следователь: что она видела? Она призналась честно (дарвиновский отбор). Антисоветская агитация, 10 лет;

— водопроводчик выключал в своей комнате репродуктор всякий раз, как передавались бесконечные письма Сталину. (Кто помнит их?! Часами, ежедневно, оглупляюще одинаковые! Вероятно, диктор Левитан хорошо их помнит: он их читал с раскатами, с большим чувством.) Сосед донёс (о, где теперь этот сосед?), СОЭ, социально-опасный элемент, 8 лет;

— полуграмотный печник любил в свободное время *расписываться* — это возвышало его перед самим собой. Бумаги чистой не было, он расписывался на газетах. Его газету с росчерками по лику Отца и Учителя соседи обнаружили в мешочке в коммунальной уборной. АСА, антисоветская агитация, 10 лет.

Сталин и его приближённые любили свои портреты, испещряли ими газеты, расплождали их в миллионных количествах. Мухи мало считались с их святостью, да и газеты жалко было не использовать — и сколько же несчастных получило на этом срок!

Аресты катились по улицам и домам эпидемией. Как люди передают друг другу эпидемическую заразу, о том не зная,— рукопожатием, дыханием, передачей вещи,— так рукопожатием, дыханием, встречей на улице они передавали друг другу заразу неминуемого ареста. Ибо если завтра тебе суждено признаться, что ты

сколачивал подпольную группу для отравления городского водопровода, а сегодня я пожал тебе руку на улице — значит, я обречён тоже.

Семь лет перед тем город смотрел, как избивали деревню, и находил это естественным. Теперь деревня могла бы посмотреть, как избивают город,— но она была слишком темна для того, да и саму-то её добивали:

— землемер (!) Саунин получил 15 лет за ... падёж скота (!) в районе и плохие урожаи (!) (а головка района вся расстреляна за то же);

— приехал на поле секретарь райкома подгонять с пахотой, и спросил его старый мужик, знает ли секретарь, что за *семь лет* колхозники не получили на трудодни ни грамма зерна, только соломы, и то немного. За вопрос этот получил старик АСА, 10 лет;

— а другая была судьба у мужика с шестью детьми. Из-за этих шести ртов он не жалел себя на колхозной работе, всё надеялся что-то выколотить. И впрямь, вышел ему — орден. Вручали на собрании, речи говорили. В ответном слове мужик расчувствовался и сказал: «Эх, мне бы вместо этого ордена — да пудик муки! Нельзя ли так-то?» Волчьим смехом расхохоталось собрание, и со всеми шестью своими ртами пошёл новый орденоносец в ссылку.

Объединить ли всё теперь и объяснить, что сажали безвинных? Но мы упустили сказать, что само понятие *вины* отменено ещё пролетарской революцией, а в начале 30-х годов объявлено *правым оппортунизмом*!* Так что мы уже не можем спекулировать на этих отсталых понятиях: вина и невиновность.**

Обратный выпуск 1939 года — случай в истории Органов невероятный, пятно на их истории! Но впрочем этот антипоток был невелик, около одного-двух процентов взятых перед тем — ещё не осуждённых, ещё не отправленных далеко и не умерших. Невелик, а использован умело. Это была сдача копейки с рубля, это нужно было, чтобы всё свалить на грязного Ежова, укрепить вступающего Берию и чтобы ярче воссиял Вождь. Этой копейкой ловко вбили оставшийся рубль в землю. Ведь если «разобрались и выпустили» (даже газеты бестрепетно писали об о т д е л ь н ы х оклеветанных) — значит остальные-то посаженные — наверняка мерзавцы! А вернувшиеся — молчали. Они дали подписку. Они онемели от страха. И мало кто мало что узнал из тайн Архипелага. Разделение было прежнее: воронки́— ночью, демонстрации — днём.

Да впрочем, копейку эту быстро добрали назад — в тех же годах, по тем же пунктам необъятной Статьи. Ну кто заметил

---

* «От тюрем к воспнтательиым учреждениям». Сборник Иистнтута Уголовиой Политики, под ред. Вышннского. Изд-во «Советское закоиодательство», М, 1934, стр. 63

** В 1946 поиадобилось (12.7.46, № 8/5/у) спецнальиое постаиовлеиие пленума Верховного Суда СССР: «О возможностн примеиеиня наказания лишь к лицам, совершнвшим определёииое преступленне» (!). Но н оио далее обходилось так же свободио.

в 40-м году поток жён за *неотказ* от мужей? Ну кто там помнит и в самом Тамбове, что в этот мирном году посадили целый джаз, игравший в кино «Модерн», так как все они оказались врагами народа? А кто заметил 30 тысяч чехов, ушедших в 1939 из оккупированной Чехословакии в родную славянскую страну СССР? Нельзя было поручиться, что кто-нибудь из них не шпион. Их отправили всех в северные лагеря (и вот откуда во время войны выплывает «чехословацкий корпус»). Да позвольте, да не в 39-м ли году мы протянули руку помощи западным украинцам, западным белорусам, а затем в 40-м и Прибалтике, и молдаванам? Наши братья совсем-таки оказались нечищенные, и потекли оттуда потоки *социальной профилактики* — в северную ссылку, в среднеазиатскую — и это были многие, многие сотни тысяч. (Интересно, что́ им *клеили:* западным украинцам —«сотрудничество с белой Польшей», буковинцам и бессарабам — с Белорумынией. А — евреям, перебежавшим из немецкой части Польши к нам? Да сотрудничество с Гестапо, конечно! М. Пинхасик.) Брали слишком состоятельных, влиятельных, заодно и слишком самостоятельных, слишком умных, слишком заметных, всюду брали офицеров, в бывших польских областях — особенно густо поляков (тогда-то была навербована злополучная Катынь, тогда-то в северных лагерях заложили силос под будущую армию Сикорского — Андерса). Всюду брали — офицеров. И так население встряхивалось, смолкало, оставалось без возможных руководителей сопротивления. Так внушалось благоразумие, отсыхали прежние связи, прежние знакомства.

Финляндия оставила нам перешеек без населения, зато по Карелии и по Ленинграду в 40-м году прошло изъятие и переселение лиц с финской кровью. Мы этого ручейка не заметили: у нас кровь не финская.

В финскую же войну был первый опыт: судить наших сдавшихся пленников как изменников Родине. Первый опыт в человеческой истории!— а ведь вот поди ж ты, мы не заметили!

Отрепетировали — и как раз грянула война, а с нею — грандиозное отступление. Из западных республик, оставляемых врагу, надо было спешить в несколько дней выбрать ещё кого можно. В Литве были в поспешности оставлены целые воинские части, полки, зенитные и артиллерийские дивизионы,— но управились вывезти несколько тысяч семей неблагонадёжных литовцев (четыре тысячи из них отдали потом в Красноярском лагере на разграб уркам). С 23 июня спешили арестовывать в Латвии, в Эстонии. Но жгло, и отступать пришлось ещё быстрей. Забыли вывезти целые крепости, как Брестскую, но не забывали расстреливать политзаключённых в камерах и дворах Львовской, Ровенской, Таллинской и многих западных тюрем. В Тартуской тюрьме расстреляли 192 человека, трупы бросали в колодезь.

Это как вообразить?— ты ничего не знаешь, открывается дверь камеры, и в тебя стреляют. Ты предсмертно кричишь — и никто,

кроме тюремных камней, не услышит и не расскажет. Говорят, впрочем, были и недострелянные. Может быть мы ещё прочтём об этом книгу? . .

В 1941 немцы так быстро обошли и отрезали Таганрог, что на станции в товарных вагонах остались заключённые, подготовленные к эвакуации. Что делать? Не освобождать же. И не отдавать немцам. Подвезли цистерны с нефтью, полили вагоны, а потом подожгли. Все сгорели заживо.

В тылу первый же военный поток был — *распространители слухов и сеятели паники*, по специальному внекодексному Указу, изданному в первые дни войны. Это было пробное кровопускание, чтобы поддержать общую подтянутость. Давали всем по 5 лет, но не считалось 58-й статьёй (и те немногие, кто пережил лагеря военных лет, были в 1945 амнистированы).

Мне едва не пришлось испытать этот Указ на себе: в Ростове-на-Дону я стал в очередь к хлебному магазину, милиционер вызвал меня и повёл для счёту. Начинать бы мне было сразу ГУЛАГ вместо войны, если б не счастливое заступничество.

Затем был поток не сдавших радиоприёмники или радиодетали. За одну найденную (по доносу) радиолампу давали 10 лет.

Тут же был и поток *немцев* — немцев Поволжья, колонистов с Украины и Северного Кавказа, и всех вообще немцев, где-либо в Советском Союзе живших. Определяющим признаком была кровь, и даже герои гражданской войны и старые члены партии, но немцы — шли в эту ссылку.

А о крови судили по фамилии, и инженер-конструктор Василий Окороков, находя неудобным так подписываться на проектах и переназвавшийся в 30-е годы, когда ещё было можно, в Роберта Штеккера — красиво! и графическую роспись разработал,— теперь ничего не успевал доказать, и взят был как немец. «Какие задания получили от фашистской разведки? . .» — А тот тамбовец Каверзнев, ещё в 1918 сменивший свою неблагозвучную фамилию на Кольбе,— когда он разделил судьбу Окорокова? . .

По своей сути ссылка немцев была то же, что раскулачивание, только мягче, потому что больше вещей разрешали взять с собой и не слали в такие гиблые смертные места. Юридической же формы, как и у раскулачивания, у неё не было. Уголовный кодекс был сам по себе, а ссылка сотен тысяч — сама по себе. Это было личное распоряжение монарха. Кроме того, это был его первый национальный эксперимент подобного рода, это было ему интересно теоретически.

С конца лета 1941, а ещё больше осенью хлынул поток *окруженцев*. Это были защитники отечества, те самые, кого несколько месяцев назад наши города провожали с оркестрами и цветами, кому после этого досталось встретить тяжелейшие танковые удары немцев и, в общем хаосе и не по своей совсем вине, побывать не в плену, нет!— а боевыми разрозненными группами сколько-то времени провести в немецком окружении и выйти оттуда. И вместо того, чтобы братски обнять их на возврате (как

сделала бы всякая армия мира), дать отдохнуть, съездить к семье, а потом вернуться в строй,— их везли в подозрении, под сомнением, бесправными обезоруженными командами — на пункты проверки и сортировки, где офицеры Особых Отделов начинали с полного недоверия каждому их слову и даже — те ли они, за кого себя выдают. А метод проверки был — перекрестные допросы, очные ставки, показания друг на друга. После проверки часть окруженцев восстанавливалась в своих прежних именах, званиях и доверии и шла на воинские формирования. Другая часть, пока меньшая, составила первый поток «изменников родины». Они получали 58-1-б, но сперва, до выработки стандарта, меньше 10 лет.

Так очищалась армия Действующая. Но ещё была огромная армия бездействующая, на Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь этой армии — была благородная задача Особых Отделов. У героев Халхин-Гола и Хасана при бездействии начинали развязываться языки, тем более, что им теперь дали изучать до сих пор засекреченные от собственных солдат дегтярёвские автоматы и полковые миномёты. Держа в руках такое оружие, им трудно было понять, почему мы на Западе отступаем. Через Сибирь и Урал им никак было не различить, что отступая по 120 километров в день, мы просто повторяем кутузовский заманивающий манёвр. Облегчить это понимание мог только поток из Восточной армии на Архипелаг. И уста стянулись, и вера стала железной.

Само собою в высоких сферах тоже лился поток виновников отступления (не Великий же Стратег был в нём повинен!). Это был небольшой, на полсотни человек, генеральский поток, сидевший в московских тюрьмах летом 1941, а в октябре увезенный на этап. Среди генералов больше всего было авиационных — командующий воздушными силами Смушкевич, генерал Е. С. Птухин (он говорил: «Если б я знал — я бы сперва по Отцу Родному отбомбился, а потом бы сел!») и другие.

Победа под Москвой породила новый поток: виновных москвичей. Теперь при спокойном рассмотрении оказалось, что те москвичи, кто не бежал и не эвакуировался, а бесстрашно оставался в угрожаемой и покинутой властью столице, уже тем самым подозреваются: либо в подрыве авторитета власти (58-10); либо в ожидании немцев (58-1-а через 19-ю, этот поток до самого 1945 кормил следователей Москвы и Ленинграда).

Разумеется, 58-10, АСА, никогда не прерывалась и всю войну довлела тылу и фронту. Её получали эвакуированные, если рассказывали об ужасах отступления (по газетам же ясно было, что отступление идёт планомерно). Её получали в тылу клеветавшие, что мал паёк. Её получали на фронте клеветавшие, что у немцев сильная техника. В 1942 её получали повсюду и те, кто клеветал, будто в блокированном Ленинграде люди умирали с голоду.

В том же году после неудач под Керчью (120 тысяч пленных), под Харьковом (ещё больше), в ходе крупного южного отступления на Кавказ и к Волге, — прокачан был ещё очень важный поток

офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть и отступавших без разрешения,— тех самых, кому, по словам бессмертного сталинского приказа № 227 (июль 1942), Родина не может простить своего позора. Этот поток не достиг, однако, ГУЛАГа: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке передовой. Это был цемент фундамента сталинградской победы, но в общероссийскую историю не попал, а остаётся в частной истории канализации.

(Впрочем, и мы здесь пытаемся уследить лишь те потоки, которые шли в ГУЛАГ извне. Непрерывная же в ГУЛАГе внутренняя перекачка из резервуара в резервуар, так называемые *лагерные судимости*, особенно свирепствовавшие в годы войны, не рассматриваются в этой главе.)

Добросовестность требует напомнить и об антипотоках военного времени: уже упомянутые чехи; поляки; отпускаемые из лагеря на фронт уголовники.

С 1943, когда война переломилась в нашу пользу, начался и с каждым годом до 1946 всё обильней, многомиллионный поток с оккупированных территорий и из Европы. Две главных его части были:

— гражданские, побывавшие под немцами или у немцев (им заворачивали десятку с буквой «а»: 58-1-а);

— военнослужащие, побывавшие в плену (им заворачивали десятку с буквой «б»: 58-1-б).

Каждый оставшийся под оккупацией хотел всё-таки жить и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления: если уж не измену родине, то хотя бы пособничество врагу. Однако практически достаточно было отметить подоккупационность в сериях паспортов, арестовывать же всех было хозяйственно неразумно — обезлюживать столь обширные пространства. Достаточно было для повышения общего сознания посадить лишь некий процент — виноватых, полувиноватых, четвертьвиноватых и тех, кто на одном плетне сушил с ними онучи.

А ведь даже один только процент от одного только миллиона составляет дюжину полнокровных лагпунктов.

И не следует думать, что честное участие в подпольной противонемецкой организации наверняка избавляло от участи попасть в этот поток. Не единый был случай, как с тем киевским комсомольцем, которого подпольная организация послала для своего осведомления служить в киевскую полицию. Парень честно обо всём осведомлял комсомольцев, но с приходом наших получил свою десятку, ибо не мог же он, служа в полиции, не набраться враждебного духа и вовсе не выполнять враждебных поручений.

Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хотя бы ost'овским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а рассказы эти, и всегда нам неприятные (кроме, разумеется, путевых заметок благоразумных писателей),

были зело неприятны в годы послевоенные, разорённые, неустроенные. Рассказывать же, что в Европе вовсе плохо, совсем жить нельзя — не каждый умел.

По этой-то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен, и судили большинство наших военнопленных — особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря.

Это не сразу так ясно обозначилось, и ещё в 1943 были какие-то отбившиеся ни на кого не похожие потоки вроде «африканцев», долго так и называвшиеся в воркутских строёвках. Это были русские военнопленные, взятые американцами из армии Роммеля в Африке («hiwi») и в 1948 отправленные на студебеккерах через Египет — Ирак — Иран на родину. В пустынной бухте Каспийского моря их сразу же расположили за колючей проволокой, содрали с них воинские различия, освободили их от дарёных американских вещей (разумеется, в пользу сотрудников госбезопасности, а не государства) и отправили на Воркуту до особого распоряжения, не дав ещё по неопытности ни сроков, ни статьи. И эти «африканцы» жили на Воркуте в межеумочных условиях: их не охраняли, но без пропусков они не могли сделать по Воркуте ни шагу, а пропусков у них не было; им платили зарплату вольнонаёмных, но распоряжались ими как заключёнными. А особое распоряжение так и не шло. О них забыли . . .

Эта причина наглядно проступает и в том, что неуклонно, как военнопленных, судили и *интернированных*. Например, в первые дни войны на шведский берег выбросило группу наших матросов. Всю потом войну она вольно жила в Швеции — так обеспеченно и с таким комфортом, как никогда до и никогда впоследствии. Союз отступал, наступал, атаковал, умирал и голодал, а эти мерзавцы наедали себе нейтральные ряжки. После войны Швеция нам их вернула. Измена Родине была несомненная — но как-то не клеилась. Им дали разъехаться и всем клепанули антисоветскую агитацию за прельстительные рассказы о свободе и сытости капиталистической Швеции (группа Каденко).

С этой группой произошёл потом анекдот. В лагере они уже о Швеции помалкивали, опасясь получить за неё второй срок. Но в Швеции прознали как-то об их судьбе и напечатали клеветнические сообщения в прессе. К тому времени ребята были рассеяны по разным ближним и дальним лагерям. Внезапно по спецнарядам их всех стянули в ленинградские Кресты, месяца два кормили на убой, дали отрасти их причёскам. Затем одели их со скромной элегантностью, отрепетировали, кому что говорить, предупредили, что каждая сволочь, кто пикнет иначе, получит «девять грамм» в затылок,— и вывели на пресс-конференцию перед приглашёнными иностранными журналистами и теми, кто хорошо знал всю группу по Швеции. Бывшие интернированные держались бодро, рассказывали, где живут, учатся, работают, возмущались буржувзной клеветой, о которой недавно п р о ч л и в западной печати (ведь она продаётся у нас в каждом киоске) — и вот списались и съехались в Ленинград (расходы на дорогу никого не смутили). Свежим лоснящимся видом своим они были лучшее опровержение газетной утки. Посрамлённые журналисты поехали писать извинения. Западному воображению было недоступно объяснить происшедшее иначе. А виновников интервью тут же повели в баню, остригли, одели в прежние отрепья и разослали по тем же лагерям. Поскольку они вели себя достойно — вторых сроков не дали никому.

Среди общего потока освобождённых из-под оккупации один за другим прошли быстро и собранно потоки провинившихся наций:

в 1943— калмыки, чечены, ингуши, балкары, карачаевцы;
в 1944— крымские татары.

Так энергично и быстро они не пронеслись бы на свою вечную ссылку, если бы на помощь Органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы, и угнездившиеся жить тут на столетия — в 24 часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны — и сразу трогались в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию, на Север. Ровно через сутки земля и недвижимость уже переходили к наследникам.

Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации слали единственно по признаку крови, без составления анкет,— и члены партии, и герои труда, и герои ещё не закончившейся войны катились туда же.

Само собою последние годы войны шёл поток немецких *военных преступников,* отбираемых из системы общих лагерей военнопленных и через суд переводимых в систему ГУЛАГа.

В 1945 году, хотя война с Японией не продолжалась и трёх недель, было забрано множество японских военнопленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и в Средней Азии, и та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершена была оттуда. (И не зная подробностей, можно быть уверенным, что бóльшая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удержать рабочую силу на дольший срок.)

С конца 1944, когда наша армия вторглась на Балканы, и особенно в 1945, когда она достигла Центральной Европы,— по каналам ГУЛАГа потёк ещё и поток русских эмигрантов — стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. Дёргали на родину обычно мужчин, а женщин и детей оставляли в эмиграции. (Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды, или прежде того выразил их в революцию. Тех, кто жил чисто растительной жизнью — не трогали.) Главные потоки шли из Болгарии, Югославии, Чехословакии, меньше — из Австрии и Германии; в других странах Восточной Европы русские почти не жили.

Отзывно и из Маньчжурии в 1945 полился поток эмигрантов. (Некоторых арестовывали не сразу: целыми семьями приглашали на родину как вольных, а уже здесь разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму.)

Весь 1945 и 1946 годы продвигался на Архипелаг большой поток истинных наконец противников власти (власовцев, казаков-красновцев, мусульман из национальных частей, созданных при Гитлере) — иногда убеждённых, иногда невольных.

Вместе с ними захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны — гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, благополучно укрывшихся на территории

союзников, но в 1946-47 коварно возвращённых союзными властями в советские руки.*

Какое-то число поляков, членов Армии Краёвой, сторонников Миколайчика, прошло в 1945 через наши тюрьмы в ГУЛАГ.

Сколько-то было и румын и венгров.

С конца войны и потом непрерывно много лет шёл обильный поток украинских националистов («бандеровцев»).

На фоне этого огромного послевоенного перемещения миллионов мало кто замечал такие маленькие потоки, как:

—«девушки за иностранцев» (1946-47) — то есть, давшие иностранцам ухаживать за собой. Клеймили этих девушек статьями 7-35 (социально-опасные);

— испанские дети — те самые, которые вывезены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после Второй мировой. Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Им давали тоже 7-35, социально-опасные, а особенно настойчивым —58-6, шпионаж в пользу . . . Америки.

(Для справедливости не забудем и короткий, в 1947, антипоток . . . священников. Да, вот чудо!— первый раз за 30 лет освобождали священников! Их, собственно, не искали по лагерям, а кто из вольных помнил и мог назвать имена и точные места — тех, названных, этапировали на свободу для укрепления восстановляемой церкви.)

* * *

Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть **все** потоки, унавозившие ГУЛАГ,— а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической,

---

* Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются,— именно тайна **этого** предательства отлично, тщательно сохранена британским и американским правительствами — воистину, последняя тайна Второй мировой войны или из последних. Много встречавшись с этими людьми в тюрьмах и лагерях, я четверть века поверить не мог бы, что общественность Запада **ничего** не знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 (Sunday Oklahoman, 21 янв.) прорвалась публикация Юлиуса Эпштейна, которому здесь я осмеливаюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого доныне многотомного дела о насильственной репатриации в Советский Союз. «Прожив два года в руках британских властей, в ложном чувстве безопасности, русские были застигнуты врасплох, они даже не поняли, что их репатриируют . . . Это были, главным образом, простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков». Англичане же власти поступили с ними «как с военными преступниками: помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать правого суда». Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева? (Примечание 1973 года.)

так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки *бытовиков* и собственно *уголовников*. И это описание тоже заняло бы немало места. Здесь получили бы освещение многие знаменитые Указы, теперь уже частью и забытые (хотя никогда законом не отменённые), поставлявшие для ненасытного Архипелага изобильный человеческий материал. То указ о производственных прогулах. То указ о выпуске некачественной продукции. То указ о самогоноварении (разгул его — в 1922 году, но все 20-е годы брали густо). То указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней. То указ о военном положении на железных дорогах (апрель 1943, отнюдь не начало войны, а поворот её к лучшему).

Указы эти появлялись всегда как важнейшее во всём законодательстве и без всякого разумения или даже памяти о законодательстве предыдущем. Согласовывать эти ветви предлагалось учёным юристам, но они занимались этим не столь усердно и не весьма успешно.

Эта пульсация указов привела к странной картине уголовных и бытовых преступлений в стране. Можно было заметить, что ни воровство, ни убийства, ни самогоноварение, ни изнасилования не совершались в стране то там, то сям, где случатся, вследствие человеческой слабости, похоти и разгула страстей,— нет! В преступлениях по всей стране замечалось удивительное единодушие и единообразие. То вся страна кишела только насильниками, то — только убийцами, то — самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока Указу, чтобы поскорее исчезнуть! Именно то преступление и всплескивало тотчас же повсюду, которое только что было предусмотрено и устрожено мудрым законодательством.

Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали и нарушали. Указ о невыработке обязательной нормы трудодней очень упростил процедуру высылки нерадивых колхозников, которые не хотели довольствоваться выставленными им *палочками*. Если раньше для этого требовался суд и применение «экономической контрреволюции», то теперь достаточно было колхозного постановления, подтверждённого райисполкомом; да и самим колхозникам не могло не полегчать от сознания, что хотя они и ссылались, но не зачислялись во враги народа. (Обязательная норма трудодней разная была для разных областей, самая льготная у кавказцев — 75 трудодней, но и их немало потекло на восемь лет в Красноярский край.)

Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам при 1932 годе упомянуть знаменитый Закон «от седьмого-восьмого» или «семь вось-

мых», закон, по которому обильно сажали — за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток (в протоколе писалось «двести метров пошивочного материала», всё-таки стыдно было писать «катушка ниток») — всё на десять лет.

Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та *десятка, которая казалась достаточной* в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирно-исторической победы, выглядела слабовато. И опять пренебрегая кодексом или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве,— 4 июня 1947 года огласили перекрывающий их все Указ, который тут же был окрещен безунывными заключёнными как Указ «четыре шесть».

Превосходство нового Указа во-первых в его свежести: уже от самого появления Указа должны были вспыхнуть эти преступления и обеспечиться обильный поток новоосуждённых. Но ещё большее превосходство было в сроках: если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три («организованная шайка»), за огурцами или яблоками — несколько двенадцатилетних пацанов,— они получали до *двадцати лет* лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до *двадцати пяти* (самый этот срок, *четвертная*, теперь заменял смертную казнь, за несколько дней перед тем гуманно отменённую*). Наконец, выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление,— теперь и за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вмазывалось три года лагерей или семь лет ссылки.

В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности, и без того перенапряжённых в послевоенные годы.

Эта новая линия Сталина — что теперь-то, после победы над фашизмом, надо сажать как никогда энергично, много и надолго,— тотчас же, конечно, отозвалась и на политических.

1948-49 годы, во всей общественной жизни проявившиеся усилением преследований и слежки, ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией *повторников*.

Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 1947-48, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на землю *воли* — в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия (или устой-

---

* А сама казнь лишь на время закрывала лицо параиджой, чтобы сбросить её с оскалом через два с половиной года (январь 1950).

чивая злобность или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса-Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины! Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину её же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью.

И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили *брать*. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они всё знали заранее — весь крестный путь. Они не спрашивали «за что?» и не говорили родным «вернусь», они надевали одёжку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. (А он и был всего-то один: «Это вы сидели?» — «Я.» — «Получите ещё *десять*.»)

Тут хватился Единодержец, что это мало — сажать уцелевших с 37-го года! И детей тех своих врагов заклятых — тоже ведь надо сажать! Ведь растут, ещё мстить задумают. (А может поужинал крепко да сон дурной приснился с этими детьми.) Перебрали, прикинули — сажали детей, но мало. Командармских детей сажали, а троцкистских — не сплошь! И потянулся поток «детей-мстителей». (Попадали в таких детей 17-летняя Лена Косырева и 35-летняя Елена Раковская.)

После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надёжно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года.

И потянулись в 1948, 49-м и 50-м

— мнимые шпионы (10 лет назад германо-японские, сейчас англо-американские);

— верующие (на этот раз больше сектанты);

— недобитые генетики и селекционеры, вавиловцы и менделисты;

— просто интеллигентные думающие люди (а особо строго — студенты), недостаточно отпугнутые от Запада. Модно было давать им:

ВАТ — восхваление американской техники,
ВАД — восхваление американской демократии,
ПЗ — преклонение перед Западом.

Сходные были с 37-м потоки, да не сходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный *червонец*, а новая сталинская *четвертная*. Теперь уже десятка ходила в сроках детских.

Ещё немалый поток пролился от нового Указа о разгласителях государственных тайн (а тайнами считались: районный урожай, любая эпидемическая статистика; чем занимается любой цех и фабричёнка; упоминание гражданского аэродрома; маршруты городского транспорта; фамилия заключённого, сидящего в лагере). По этому Указу давали 15 лет.

Не забыты были и потоки национальные. Всё время лился взятый сгоряча, из лесов сражений, поток бандеровцев. Одновре-

менно получали десятки и пятёрки лагерей и ссылок все западно-украинские сельские жители, как-либо к партизанам прикасавшиеся: кто пустил их переночевать, кто накормил их раз, кто не донёс о них. С 50-го примерно года заряжен был и поток бандеровских жён — им лепили по десятке за недоносительство, чтобы скорей доконать мужей.

Уже кончилось к тому времени сопротивление в Литве и Эстонии. Но в 1949 оттуда хлынули мощные потоки новой социальной профилактики и обеспечения коллективизации. Целыми эшелонами из трёх прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей и крестьян. (Исторический ритм искажался в этих республиках. В краткие стиснутые сроки они должны были теперь повторить путь всей страны.)

В 48-м году прошёл в ссылку ещё один национальный поток — приазовских, кубанских и сухумских греков. Ничем не запятнали они себя перед Отцом в годы войны, но теперь он мстил им за неудачу в Греции, что ли? Кажется, этот поток тоже был плодом его личного безумия. Большинство греков попало в среднеазиатскую ссылку, недовольные — в политизоляторы.

А около 1950 в ту же месть за проигранную войну или для равновесия с уже сосланными — потекли на Архипелаг и сами повстанцы из армии Маркоса, переданные нам Болгарией.

В последние годы жизни Сталина определённо стал намечаться и поток евреев (с 1950 они уже понемногу тянулись как *космополиты*). Для того было затеяно и дело врачей. Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение.

Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог — похоже, что руками человеческими,— выйти из рёбер вон.

Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.

Что п у с т ы х тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполненные.

Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи,— а воронки непрерывно шныряли по улицам, а гебисты стучали и звонили в двери.

И, я думаю, изложением этим доказано, что Органы никогда не ели хлеба зря.

Глава 3

СЛЕДСТВИЕ

Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что́ будет через двадцать — тридцать — сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом*, опускать человека в ванну с кислотами**, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого лёгкого — пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо,— ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом.

Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что ещё вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к 10—20 человекам, что совершенно невозможно стало с Екатерины,— то в расцвете великого двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолёты, появилось звуковое кино и радио,— было совершено не одним злодеем, не в одном потаённом месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв.

И только ли ужасен этот взрыв атавизма, теперь увёртливо названный «культом личности»? Или страшно, что в те самые годы мы праздновали пушкинское столетие? Бесстыдно ставили эти же самые чеховские пьесы, хотя ответ на них уже был получен? Или страшней ещё то, что и тридцать лет спустя нам говорят: не надо об этом! если вспоминать о страданиях миллионов, это искажает историческую перспективу! если доискиваться до сути наших нравов, это затемняет материальный прогресс! вспоминайте лучше о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых каналах. . . нет, о каналах не надо. . . тогда о колымском золоте, нет, и о нём не надо. . . Да обо всём можно, но — умеючи, но прославляя. . .

Непонятно, за что мы клянём инквизицию? Разве кроме костров не бывало торжественных богослужений? Непонятно, чем нам

* Доктору С., по свидетельству А. П. К-ва.
** Х. С. Т-э.

уж так не нравится крепостное право? Ведь крестьянину не запрещалось ежедневно трудиться. И он мог колядовать на Рождество, а на Троицу девушки заплетали венки...

* * *

Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает 37-му году, видят в создании придуманных вин и в пытках.

Но это неверно, неточно. В разные годы и десятилетия следствие по 58-й статье почти никогда и не было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре: недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека — согнуть, протащить через узкую трубу, где б ему драло бока крючьями арматуры, где б дышать ему было нельзя, так чтобы взмолился он о другом конце,— а другой-то конец выщвыривал его уже готовым туземцем Архипелага и уже на обетованную землю. (Несмышлёныш вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход и назад.)

Чем больше миновало бесписьменных лет, тем труднее собрать рассеянные свидетельства уцелевших. А они говорят нам, что создание дутых дел началось ещё в ранние годы Органов,— чтоб ощутима была их постоянная спасительная незаменная деятельность, а то ведь со спадом врагов в час недобрый не пришлось бы Органам *отмирать*. Как видно из дела Косырева*, положение ЧК пошатывалось даже в начале 1919. Читая газеты 1918 года, я наткнулся на официальное сообщение о раскрытии страшного заговора группы в 10 человек, которые хотели (только *хотели* ещё!) втащить на крышу Воспитательного дома (посмотрите, какая там высота) *пушки* — и оттуда обстреливать Кремль. Их было десять человек (средь того, может быть, женщины и подростки), неизвестно сколько пушек — и откуда же пушки? калибра какого? и как поднимать их по лестнице на чердак? И как на наклонной крыше устанавливать?— да чтоб не откатывались при стрельбе!.. А между тем эта фантазия, предвосхищающая построения 1937 года, ведь читалась же! и верили!.. Таким же дутым было и «гумилёвское» дело 1921 года.** В том же году в рязанской ЧК вздули ложное дело о «заговоре» местной интеллигенции (но протесты смельчаков ещё смогли достигнуть Москвы, и дело остановили). В том же 1921 был расстрелян весь Сапропелиевый комитет, входивший в Комиссию Содействия Природным Силам. Достаточно зная склад и настроение русских учёных кругов того времени и не загороженные от тех лет дымовой завесой фанатизма, мы, пожалуй, и без раскопок сообразим, какова тому делу цена.

13 ноября 1920 года Дзержинский в письме в ВЧК упоминает, что в ЧК «часто даётся ход клеветническим заявлениям».

---

* Часть первая, гл. 8

** А. А. Ахматова называла мне имя того чекиста, кто изобрёл это дело — Яков Агранов.

Вот вспоминает о 1921 годе Е. Дояренко: лубянская приёмная арестантов, 40—50 топчанов, всю ночь ведут и ведут женщин. Никто не знает своей вины, общее ощущение: хватают ни за что. Во всей камере одна единственная знает — эсерка. Первый вопрос Ягоды: «Итак, *за что* вы сюда попали?»— то есть, сам скажи, помоги накручивать! И абсолютно то же рассказывают о рязанском ГПУ 1930 года! Сплошное ощущение, что все сидят ни за что. Настолько не в чем обвинять, что И. Д. Т-ва обвинили ... в ложности его фамилии. (И хотя была она самая доподлинная, а врезали ему по ОСО 58-10, 3 года.) Не зная, к чему бы придраться, следователь спрашивал: «Кем работали?» — «Плановиком.» — «Пишите объяснительную записку: планирование на заводе и как оно осуществляется. Потом узнаете, за что арестовали.» (Он в записке найдёт какой-нибудь конец.)

Да не приучили ли нас за столько десятилетий, что *оттуда* не возвращаются? Кроме короткого сознательного попятного движения 1939 года, лишь редчайшие одиночные рассказы можно услышать об освобождении человека в результате следствия. Да и то: либо этого человека вскоре посадили снова, либо выпускали для слежки. Так создалась традиция, что у Органов нет брака в работе. А как же тогда с невинными?..

В «Толковом словаре» Даля проводится такое различие: «*Дознание* разнится от *следствия* тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли основание приступить к следствию».

О, святая простота! Вот уж Органы никогда не знали никакого дознания! Присланные сверху списки, или первое подозрение, донос сексота или даже анонимный донос* влекли за собой арест и затем неминуемое обвинение. Отпущенное же для следствия время шло не на распутывание преступления, а в девяноста пяти случаях на то, чтоб утомить, изнурить, обессилить подследственного и хотелось бы ему хоть топором отрубить, только бы поскорее конец.

Уже в 1919 главный следовательский приём был: наган на стол.

Так шло не только политическое, так шло и «бытовое» следствие. На процессе Главтопа (1921) подсудимая Махровская пожаловалась, что её на следствии подпаивали кокаином. Обвинитель** парирует: «Если бы она заявила, что с ней грубо обращались, *грозили расстрелом*, всему этому с грехом пополам *ещё можно было бы поверить*». Наган пугающе лежит, иногда наставляется на тебя, и следователь не утомляет себя придумыванием, в чём ты виноват, но: «Рассказывай, сам знаешь!» Так и в 1927 следователь Хайкин требовал от Скрипниковой, так в 1929 требовали от Витковского. Ничто не изменилось и через четверть столетия.

---

* Статья 93-я Уголовно-процессуального кодекса так и говорила: «анонимное заявление может служить поводом для возбуждения уголовного дела» (слову «уголовный» удивляться не надо, ведь все политические и считались уголовными).

** Н. В. Крыленко. «За пять лет». ГИЗ, М-Пгд, 1923, стр. 401

В 1952 всё той же Анне Скрипниковой, уже в её *пятую* посадку, начальник следственного отдела орджоникидзевского МГБ Сиваков говорит: «Тюремный врач даёт нам сводки, что у тебя давление 240/120. Этого мало, сволочь (ей шестой десяток лет), мы доведём тебя до трёхсот сорока, чтобы ты сдохла, гадина, без всяких синяков, без побоев, без переломов. Нам только спать тебе не давать!» И если Скрипникова после ночи допроса закрывала днём в камере глаза, врывался надзиратель и орал: «Открой глаза, а то стащу за ноги с койки, прикручу к стенке стоймя!»

И ночные допросы были главными в 1921 году. И тогда же наставлялись автомобильные фары в лицо (рязанская ЧК, Стельмах). И на Лубянке в 1926 (свидетельство Берты Гандаль) использовалось амосовское отопление для подачи в камеру то холодного, то вонючего воздуха. И была пробковая камера, где и так нет воздуха и ещё поджаривают. Кажется, поэт Клюев побывал в такой, сидела и Берта Гандаль. Участник Ярославского восстания 1918 Василий Александрович Касьянов рассказывал, что такую камеру раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь; увидев это в глазок, клали арестанта на носилки и несли подписывать протокол. Известны «жаркие» (и «солёные») приёмы «золотого» периода. А в Грузии в 1926 подследственным прижигали руки папиросами; в Метехской тюрьме сталкивали их в темноте в бассейн с нечистотами. Такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало,— значит неизбежны угрозы, насилия и пытки, и чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы выудить признание. И раз дутые дела были всегда — то насилия и пытки тоже были всегда, это не принадлежность 1937 года, это длительный признак общего характера. Вот почему странно сейчас в воспоминаниях бывших зэков иногда прочесть, что «пытки были разрешены с весны 1938 года».* Духовно-нравственных преград, которые могли бы удержать Органы от пыток, не было никогда. В первый послереволюционный год в «Еженедельнике ВЧК», «Красном мече» и «Красном терроре» открыто дискутировалась применимость пыток с точки зрения марксизма. И, судя по последствиям, ответ был извлечён положительный, хотя и не всеобщий.

Вернее сказать о 1938 годе так: если до этого года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела (пусть и получалось оно легко),— то в 1937-38 ввиду чрезвычайной ситуации (заданные миллионные поступления на Архипелаг требовалось в заданный сжатый срок прокрутить через аппарат индивидуального следствия, чего не знали массовые потоки «кулачеcкий» и национальные) насилия и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их

---

* Е. Гинзбург пишет, что разрешение на «физическое воздействие» было дано в апреле 38-го года. В. Шаламов считает: пытки разрешены с середины 38-го года. Старый арестант Митрович уверен, что был «приказ об упрощённом допросе и смене психических методов на физические». Иванов-Разумник выделяет «самое жестокое время допросов — середина 38-го года».

усмотрение, как требовала их работа и заданный срок. Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность.

В 1939 такое всеобщее широкое разрешение было снято, снова требовалось бумажное оформление на пытку (впрочем, простые угрозы, шантаж, обман, выматывание бессонницей и карцером не запрещались никогда). Но уже с конца войны и в послевоенные годы были декретированы определённые категории арестантов, по отношению к которым заранее разрешался широкий диапазон пыток. Сюда попали националисты, особенно — украинцы и литовцы, и особенно в тех случаях, где была или мнилась подпольная цепочка и надо было её всю вымотать, все фамилии добыть из уже арестованных. Например в группе Ромуальдаса Прано Скирюса было около пятидесяти литовцев. Они обвинялись в 1945 в том, что расклеивали антисоветские листовки. Из-за недостатка в то время тюрем в Литве их отправили в лагерь близ Вельска Архангельской области. Одних там пытали, другие не выдерживали двойного следственно-рабочего режима, но результат таков: все пятьдесят человек до единого *признались*. Прошло некоторое время, и из Литвы сообщили, что найдены настоящие виновники листовок, а *эти все ни при чём*!— В 1950 я встретил на Куйбышевской пересылке украинца из Днепропетровска, которого в поисках «связи» и лиц пытали многими способами, включая стоячий карцер с жёрдочкой, просовываемой для опоры (поспать) на 4 часа в сутки. После войны же истязали члена-корреспондента Академии наук Левину.

И ещё было бы неверно приписывать 37-му году то «открытие», что личное признание обвиняемого важнее всяких доказательств и фактов. Это уже в 20-х годах сложилось. А к 1937 лишь приспело блистательное учение Вышинского. Впрочем, оно было тогда низвещено только следователям и прокурорам для их моральной твёрдости, мы же, все прочие, узнали о нём ещё двадцатью годами позже — узнали, когда оно стало обругиваться в придаточных предложениях и второстепенных абзацах газетных статей как широко и давно всем известное.

Оказывается, в тот грознопамятный год в своём докладе, ставшем в специальных кругах знаменитым, Андрей Януарьевич (так и хочется обмолвиться Ягуарьевич) Вышинский в духе гибчайшей диалектики (которой мы не разрешаем ни государственным подданным, ни теперь электронным машинам, ибо для них *да* есть да, а *нет* есть нет) напомнил, что для человечества никогда не возможно установить абсолютную истину, а лишь относительную. И отсюда он сделал шаг, на который юристы не решались две тысячи лет: что, стало быть, и истина, устанавливаемая следствием и судом, не может быть абсолютной, а лишь относительной. Поэтому, подписывая приговор о расстреле, мы всё равно никогда не можем быть *абсолютно* уверены, что казним виновного, а лишь с некоторой степенью приближения, в некоторых предположениях, в известном смысле. (Может быть, сам Вышинский не меньше

своих слушателей нуждался тогда в этом диалектическом утешении. Крича с прокурорской трибуны «всех расстрелять как бешеных собак!», он-то, злой и умный, понимал, что подсудимые невиновны. С тем большей страстью, вероятно, он и такой кит марксистской диалектики, как Бухарин, предавались диалектическим украшениям вокруг судебной лжи: Бухарину слишком глупо и беспомощно было погибать совсем невиновному — он даже *нуждался* найти свою вину! — а Вышинскому приятнее было ощущать себя логистом, чем неприкрытым подлецом.)

Отсюда — самый деловой вывод: что напрасной тратой времени были бы поиски абсолютных улик (улики все относительны), несомненных свидетелей (они могут и разноречить). Доказательства же виновности *относительные*, приблизительные, следователь может найти и без улик и без свидетелей, не выходя из кабинета, «опираясь не только на свой ум, но и на своё партийное чутьё, свои *нравственные силы»* (то есть на преимущества выспавшегося, сытого и неизбиваемого человека) «и на свой характер» (то есть, волю и жестокость)!

Конечно, это оформление было куда изящнее, чем инструкция Лациса. Но суть та же.

И только в одном Вышинский не дотянул, отступил от диалектической логики: почему-то пулю он оставил абсолютной...

Так, развиваясь по спирали, выводы передовой юриспруденции вернулись к доантичным или средневековым взглядам. Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании её подследственным.*

Однако простодушное Средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на драматические картинные средства: дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку на кол. В Двадцатом же веке, используя и развитую медицину и немалый тюремный опыт (кто-нибудь пресерьёзно защитил на этом диссертации), признали такое сгущение сильных средств излишним, при массовом применении — громоздким. И кроме того...

И кроме того, очевидно, ещё было одно обстоятельство: как всегда, Сталин не выговаривал последнего слова, подчинённые сами должны были догадаться, а он оставлял себе шакалью лазейку отступить и написать «Головокружение от успехов». Планомерное истязание миллионов предпринималось всё-таки впервые в человеческой истории, и при всей силе своей власти Сталин не мог быть абсолютно уверен в успехе. На огромном материале опыт мог пройти иначе, чем на малом. Во всех случаях Сталин должен был остаться в ангельски-чистых ризах. (Но в циркулярах ЦК 37-го и 39-го годов указание о «физическом воздействии» было.)

---

* Сравни 5-е дополнение к конституции США: «Никто не может быть обязан свидетельствовать против себя в уголовном процессе».

Поэтому, надо думать, не существовало такого перечня пыток и издевательств, который в типографски отпечатанном виде вручался бы следователям. А просто требовалось, чтобы каждый следственный отдел в заданный срок поставлял трибуналу заданное число во всём сознавшихся кроликов. А *просто говорилось* (устно, но часто), что все меры и средства хороши, раз они направлены к высокой цели; что никто не спросит со следователя за смерть подследственного; что тюремный врач должен как можно меньше вмешиваться в ход следствия. Вероятно устраивали товарищеский обмен опытом, «учились у передовых»; ну, и объявлялась «материальная заинтересованность» — повышенная оплата за ночные часы, премиальные за сжатие сроков следствия; ну, и предупреждалось, что следователи, которые с заданием не справятся... А теперь если бы в каком-нибудь ОблНКВД произошёл бы провал, то и его начальник был бы чист перед Сталиным: он не давал прямых указаний пытать! И вместе с тем обеспечил пытки!

Понимая, что старшие страхуются, часть рядовых следователей (не те, кто остервенело упиваются) тоже старались начинать с методов более слабых, а в наращивании избегать тех, которые оставляют слишком явные следы: выбитый глаз, оторванное ухо, перебитый позвоночник, да даже и сплошную синь тела.

Вот почему в 1937 году мы не наблюдаем — кроме бессонницы — сплошного единства приёмов в разных областных управлениях, у разных следователей одного управления. Есть молва, что отличались жестокостью пыток Ростов-на-Дону и Краснодар. В Краснодаре что придумали оригинальное: вынуждали подписывать пустые листы бумаги, а затем уже сами заполняли ложью. Впрочем, зачем пытки: в 1937 там не было дезинфекций, тиф, трупы в людской тесноте лежали по 5 дней, кто в камерах сходил с ума — тех в коридоре добивали палками.

Общее было всё же то, что преимущество отдавалось средствам так сказать л ё г к и м (мы сейчас их увидим), и это был путь безошибочный. Ведь истинные пределы человеческого равновесия очень узки, и совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым.

Попробуем перечесть некоторые простейшие приёмы, которые сламывают волю и личность арестанта, не оставляя следов на его теле.

Начнём с методов *психических*. Для кроликов, никогда не уготовлявших себя к тюремным страданиям,— это методы огромной и даже разрушительной силы. Да будь хоть ты и убеждён, так тоже не легко.

1. Начнём с самих *ночей*. Почему это н о ч ь ю происходит всё главное обламывание душ? Почему это с ранних своих лет Органы выбрали н о ч ь? Потому что ночью, вырванный изо сна (даже ещё не истязаемый бессонницей), арестант не может быть уравновешен и трезв по-дневному, он податливей.

2. *Убеждение* в искреннем тоне. Самое простое. Зачем игра в кошки-мышки? Посидев немного среди других подследственных,

арестант ведь уже усвоил общее положение. И следователь говорит ему лениво-дружественно: «Видишь сам, срок ты получишь всё равно. Но если будешь сопротивляться, то здесь, в тюрьме, *дойдёшь*, потеряешь здоровье. А поедешь в лагерь — увидишь воздух, свет... Так что лучше подписывай сразу». Очень логично. И трезвы те, кто соглашаются и подписывают, если... Если речь идёт только о них самих! Но — редко так. И борьба неизбежна.

Другой вариант убеждения — для партийца. «Если в стране недостатки и даже голод, то как большевик вы должны для себя решить: можете ли вы допустить, что в этом виновата вся партия? или советская власть?»—«Нет, конечно!»— спешит ответить директор льноцентра.—«Тогда имейте мужество и возьмите вину на себя!» И он берёт!

3. Грубая *брань*. Нехитрый приём, но на людей воспитанных, изнеженных, тонкого устройства, может действовать отлично. Мне известны два случая со священниками, когда они уступали простой брани. У одного из них (Бутырки, 1944) следствие вела женщина. Сперва он в камере не мог нахвалиться, какая она вежливая. Но однажды пришёл удручённый и долго не соглашался повторить, как изощрённо она стала *загибать*, заложив колено за колено. (Жалею, что не могу привести здесь одну её фразочку.)

4. Удар *психологическим контрастом*. Внезапные переходы: целый допрос или часть его быть крайне любезным, называть по имени-отчеству, обещать все блага. Потом вдруг размахнуться пресс-папье: «У, гадина! Девять грамм в висок!» — и, вытянув руки, как для того, чтобы вцепиться в волосы, будто ногти ещё иголками кончаются, надвигаться (против женщин приём этот очень хорош).

В виде варианта: меняются два следователя, один рвёт и терзает, другой симпатичен, почти задушевен. Подследственный, входя в кабинет, каждый раз дрожит — какого увидит? По контрасту хочется второму всё подписать и признать, даже чего не было.

5. *Унижение* предварительное. В знаменитых подвалах ростовского ГПУ («Тридцать третьего номера») под толстыми стёклами уличного тротуара (бывшее складское помещение) заключённых в ожидании допроса клали на несколько часов ничком в общем коридоре на пол с запретом приподнимать голову, издавать звуки. Они лежали так, как молящиеся магометане, пока выводной не трогал их за плечо и не вёл на допрос.— Александра О-ва не давала на Лубянке нужных показаний. Её перевели в Лефортово. Там на приёме надзирательница велела ей раздеться, якобы для процедуры унесла одежду, а её в боксе заперла голой. Тут пришли надзиратели мужчины, стали заглядывать в глазок, смеяться и обсуждать её стати.— Опрося, наверно много ещё можно собрать примеров. А цель одна: создать подавленное состояние.

6. Любой приём, приводящий подследственного в *смятение*. Вот как допрашивался Ф. И. В. из Красногорска Московской области (сообщил И. А. П-ев). Следовательница в ходе допроса сама обнажалась перед ним в несколько приёмов (стриптиз!), но всё время продолжала допрос, как ни в чём не бывало, ходила по

комнате и к нему подходила и добивалась уступить в показаниях. Может быть это была её личная потребность, а может быть и хладнокровный расчёт: у подследственного мутится разум, и он подпишет! А грозить ей ничего не грозило: есть пистолет, звонок.

7. *Запугивание.* Самый применяемый и очень разнообразный метод. Часто в соединении с заманиванием, обещанием — разумеется лживым. 1924 год: «Не сознаётесь? Придётся вам проехаться в Соловки. А кто сознаётся, тех выпускаем.» 1944 год: «От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь лагерю рознь. У нас теперь и каторжные есть. Будешь искренен — пойдешь в лёгкое место, будешь запираться — двадцать пять лет в наручниках на подземных работах!»— Запугивание другой, худшею тюрьмой: «Будешь запираться, перешлём тебя в Лефортово (если ты на Лубянке), в Сухановку (если ты в Лефортово), там с тобой не так будут разговаривать.» А ты уже привык: в этой тюрьме как будто режим и *ничего*, а что за пытки ждут тебя *там*? да переезд . . . Уступить? . .

Запугивание великолепно действует на тех, кто ещё не арестован, а вызван в Большой Дом пока по повестке. Ему (ей) ещё много чего терять, он (она) всего боится — боится, что сегодня не выпустят, боится конфискации вещей, квартиры. Он готов на многие показания и уступки, чтобы избежать этих опасностей. Она, конечно, не знает уголовного кодекса, и уж как самое малое в начале допроса подсовывается ей листок с подложной выдержкой из кодекса: «Я предупреждена, что за дачу ложных показаний . . . 5 (пять) лет заключения» (на самом деле — статья 95 — до двух лет) . . . за отказ от дачи показаний — 5 (пять) лет . . . на самом деле статья 92 — до трёх месяцев, и то — исправительно-трудовых работ, а не заключения). Здесь уже вошёл и всё время будет входить ещё один следовательский метод:

8. *Ложь.* Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжёт всё время, и к нему эти все статьи не относятся. Мы даже потеряли мерку спросить: а что́ ему за ложь? Он сколько угодно может класть перед нами протоколы с подделанными подписями наших родных и друзей — и это только изящный следовательский приём.

Запугивание с заманиванием и ложью — основной приём воздействия на родственников арестованного, вызванных для свидетельских показаний. «Если вы не дадите таких (какие требуются) показаний, ему будет хуже . . . Вы его совсем погубите . . . (каково это слышать матери?). Только подписанием этой (подсунутой) бумаги вы можете его спасти» (погубить).*

9. *Игра на привязанности* к близким — прекрасно работает и с подследственным. Это даже самое действенное из запугиваний, на привязанности к близким можно сломить бесстрашного челове-

* По жестоким законам Российской империи близкие родственники могли вообще отказаться от показаний. И если дали показания на предварительном следствии, могли по своей воле исключить их, не допустить до суда. Само по себе знакомство или родство с преступником странным образом даже не считалось тогда уликою! . .

ка (о, как это провидено: «враги человеку домашние его»!). Помните того татарина, который всё выдержал — и свои муки, и женины, а муки дочернии не выдержал? .˙. В 1930 следовательница Рималис угрожала так: «Арестуем вашу дочь и посадим в камеру с сифилитичками!»

Угрожают посадить всех, кого вы любите. Иногда со звуковым сопровождением: твоя жена уже посажена, но дальнейшая её судьба зависит от твоей искренности. Вот её допрашивают в соседней комнате, слушай! И действительно, за стеной женский плач и визг (а ведь они все похожи друг на друга, да ещё через стену, да и ты-то взвинчен, ты же не в состоянии эксперта; иногда это просто проигрывают пластинку с голосом «типовой жены» — сопрано или контральто, чьё-то рацпредложение). Но вот уже без подделки тебе показывают через стеклянную дверь, как она идёт безмолвная, горестно опустив голову,— да! твоя жена! по коридорам госбезопасности! ты погубил её своим упрямством! она уже арестована! (А её просто вызвали по повестке для какой-то пустячной процедуры, в уговоренную минуту пустили по коридору, но велели: головы не поднимайте, иначе отсюда не выйдете!) — А то дают читать тебе её письмо, точно её почерком: я отказываюсь от тебя! после того мерзкого, что мне о тебе рассказали, ты мне не нужен! (А так как и жёны такие, и письма такие в нашей стране отчего ж не возможны, то остаётся тебе сверяться только с душой: такова ли и твоя жена?)

От В. А. Корнеевой следователь Гольдман (1944) вымогал показания на других людей угрозами: «Дом конфискуем, а твоих старух выкинем на улицу». Убеждённая и твёрдая в вере Корнеева нисколько не боялась за себя, она готова была страдать. Но угрозы Гольдмана были вполне реальны для наших законов, и она терзалась за близких. Когда к утру после ночи отвергнутых и изорванных протоколов Гольдман начинал писать какой-нибудь четвёртый вариант, где обвинялась только уже одна она, Корнеева подписывала с радостью и ощущением душевной победы. Уж простого человеческого инстинкта — оправдаться и отбиться от ложных обвинений — мы себе не уберегаем, где там! Мы рады, когда удаётся всю вину принять на себя.*

Как никакая классификация в природе не имеет жёстких перегородок, так и тут нам не удастся чётко отделить методы психические от *физических*. Куда, например, отнести такую забаву:

10. *Звуковой* способ. Посадить подследственного метров за шесть — за восемь и заставить всё громко говорить и повторять. Уже измотанному человеку это нелегко. Или сделать два рупора из картона и вместе с пришедшим товарищем следователем, подсту-

* А теперь она говорит: «Через 11 лет во время реабилитации дали мие перечитать эти протоколы — и охватило меня ощущеиие душевной тошиоты. Чем я могла тут гордиться!?..» — Я при реабилитации то же испытал, послушав выдержки из прежиих своих протоколов. Не узнаю себя — как я мог это подписывать и ещё считать, что иеплохо отделался и даже победил?

пя к арестанту вплотную, кричать ему в оба уха: «Сознавайся, гад!» Арестант оглушается, иногда теряет слух. Но это неэкономичный способ, просто следователям в однообразной работе тоже хочется позабавиться, вот и придумывают, кто во что горазд.

11. *Щекотка.*— Тоже забава. Привязывают или придавливают руки и ноги и щекочут в носу птичьим пером. Арестант взвивается, у него ощущение, будто сверлят в мозг.

12. *Гасить папиросу* о кожу подследственного (уже названо выше).

13. *Световой* способ. Резкий круглосуточный электрический свет в камере или боксе, где содержится арестант, непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых стен (электричество, сэкономленное школьниками и домохозяйками!). Воспаляются веки, это очень больно. А в следственном кабинете на него снова направляют комнатные прожектора.

14. Такая придумка. Чеботарёва в ночь под 1 мая 1933 в хабаровском ГПУ всю ночь, *двенадцать часов*,— не допрашивали, нет: *водили* на допрос! Такой-то — руки назад! Вывели из камеры, быстро вверх по лестнице, в кабинет к следователю. Выводной ушёл. Но следователь не только не задав ни единого вопроса, а иногда не дав Чеботарёву и присесть, берёт телефонную трубку: заберите из 107-го! Его берут, приводят в камеру. Только он лёг на нары, гремит замок: Чеботарёв! На допрос! Руки назад! А там: заберите из 107-го!

Да вообще методы воздействия могут начинаться задолго до следственного кабинета.

15. Тюрьма начинается с *бокса*, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, ещё в лёте его внутреннего движения, готового выяснять, спорить, бороться,— на первом же тюремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда тёмную и такую, что он может только стоять, ещё и придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности!— может, он замурован здесь на всю жизнь? Он никогда ничего подобного в жизни не встречал, он не может догадаться! Идут эти первые часы, когда всё в нём ещё горит от неостановленного душевного вихря. Одни падают духом — и вот тут-то делать им первый допрос! Другие озлобляются — тем лучше, они сейчас оскорбят следователя, допустят неосторожность — и легче намотать им дело.

16. Когда не хватало боксов, делали ещё и так. Елену Струтинскую в новочеркасском НКВД посадили на шесть суток в коридоре на табуретку — так, чтобы она ни к чему не прислонялась, не спала, не падала и не вставала. Это на шесть суток! А вы попробуйте просидите шесть часов.

Опять-таки в виде варианта можно сажать заключённого на высокий стул, вроде лабораторного, так чтоб ноги его не доставали до пола, они хорошо тогда затекают. Дать посидеть ему часов 8—10.

А то во время допроса, когда арестант весь на виду, посадить его на обыкновенный стул, но вот как: на самый кончик, на рёбрышко сидения (ещё вперёд! ещё вперёд!), чтоб он только не сваливался, но чтоб ребро больно давило его весь допрос. И не разрешать ему несколько часов шевелиться. Только и всего? Да, только и всего. Испытайте.

17. По местным условиям бокс может заменяться *дивизионной ямой*, как это было в Гороховецких армейских лагерях во время Великой Отечественной войны. В такую яму, глубиною три метра, диаметром метра два, арестованный сталкивался, и там несколько суток под открытым небом, часом и под дождём, была для него и камера и уборная. А триста граммов хлеба и воду ему туда спускали на верёвочке. Вообразите себя в этом положении, да ещё только что арестованного, когда в тебе всё клокочет.

Общность ли инструкций всем Особым Отделам Красной Армии или сходство их бивуачного положения привели к большой распространённости этого приёма. Так, в 36-й мотострелковой дивизии, участнице Халхин-Гола, стоявшей в 1941 в монгольской пустыне, свежеарестованному, ничего не объясняя, давали (начальник Особого Отдела Самулёв) в руки лопату и велели копать яму точных размеров могилы (уже пересечение с методом психологическим!). Когда арестованный углублялся больше, чем по пояс, копку приостанавливали, и велели ему садиться на дно: голова арестованного уже не была при этом видна. Несколько таких ям охранял один часовой, и казалось вокруг всё пусто.* В этой пустыне подследственных держали под монгольским зноем непокрытых, а в ночном холоде неодетых, безо всяких пыток — зачем тратить усилия на пытки? Паёк давали такой: в сутки *сто граммов хлеба и один стакан воды*. Лейтенант Чульпенёв, богатырь, боксёр, двадцати одного года, высидел так месяц. Через десять дней он кишел вшами. Через пятнадцать его первый раз вызвали на следствие.

18. Заставить подследственного *стоять на коленях* — не в каком-то переносном смысле, а в прямом: на коленях и чтоб не присаживался на пятки, а спину ровно держал. В кабинете следователя или в коридоре можно заставить так стоять 12 часов, и 24, и 48. (Сам следователь может уходить домой, спать, развлекаться, это разработанная система: около человека на коленях ставится пост, сменяются часовые.)** Кого хорошо так ставить? Уже надломленного, уже склоняющегося к сдаче. Хорошо ставить так женщин. — Иванов-Разумник сообщает о варианте этого метода: поставив молодого Лордкипанидзе на колени, следователь измочил-

---

* Это, видимо,— монгольские мотивы. В журнале «Нива», 1914, 15 марта, стр. 218, есть зарисовка монгольской тюрьмы: каждый узник заперт в свой сундук с малым отверстием для головы или пищи. Между сундуками ходит надзиратель.

** Ведь кто-то смолоду вот так и начинал — стоял часовым около человека на коленях. А теперь, наверно, в чинах, дети уже взрослые...

ся ему в лицо! И что же? Не взятый ничем другим, Лордкипанидзе был этим сломлен. Значит, и на гордых хорошо действует...

19. А то так просто заставить *стоять*. Можно, чтоб стоял только во время допросов, это тоже утомляет и сламывает. Можно во время допросов и сажать, но чтоб стоял от допроса до допроса (выставляется пост, надзиратель следит, чтобы не прислонялся к стене, а если заснёт и грохнется — пинать и поднимать). Иногда и суток выстойки довольно, чтобы человек обессилел, показал что угодно.

20. Во всех этих выстойках по 3—4—5 суток обычно *не дают пить*.

Всё более становится понятной комбинированность приёмов психологических и физических. Понятно также, что все предшествующие меры соединяются с

21. *Бессонницей*, совсем не оцененною Средневековьем: оно не знало об узости того диапазона, в котором человек сохраняет свою личность. Бессонница (да ещё соединённая с выстойкой, жаждой, ярким светом, страхом и неизвестностью — что́ твои пытки!?) мутит разум, подрывает волю, человек перестаёт быть своим «я». («Спать хочется» Чехова, но там гораздо легче, там девочка может прилечь, испытать перерывы сознания, которые и за минуту спасительно освежают мозг.) Человек действует наполовину бессознательно или вовсе бессознательно, так что за его показания на него уже нельзя обижаться...

А представьте себе в этом замутнённом состоянии ещё иностранца, не знающего по-русски, и дают ему что-то подписать. Баварец Юп Ашенбреннер подписал вот так, что работал на душегубке. Только в лагере в 1954 он сумел доказать, что в это самое время учился в Мюнхене на курсах электросварщиков.

Так и говорилось: «Вы не откровенны в своих показаниях, п о э т о м у вам не разрешается спать!» Иногда для утончённости не ставили, а сажали на мягкий диван, особенно располагающий ко сну (дежурный надзиратель сидел рядом на том же диване и пинал при каждом зажмуре). Вот как описывает пострадавший (ещё перед тем отсидевший сутки в клопяном боксе) свои ощущения после этой пытки: «Озноб от большой потери крови. Пересохли оболочки глаз, будто кто-то перед самыми глазами держит раскалённое железо. Язык распух от жажды и как ёж колет при малейшем шевелении. Глотательные спазмы режут горло.»

Бессонница — великое средство пытки и совершенно не оставляющее видимых следов, ни даже повода для жалоб, разразись завтра невиданная инспекция.* «Вам спать не давали? Так здесь же н е с а н а т о р и й! Сотрудники тоже с вами вместе не спали» (да днём отсыпались). Можно сказать, что бессонница стала универсальным средством в Органах, из разряда пыток она пере-

---

* Впрочем, инспекция настолько была невозможна и настолько н и к о г д а её не было, что когда к уже заключённому министру госбезопасности Абакумову она вошла в камеру в 1953, он расхохотался, сочтя за мистификацию.

шла в самый распорядок госбезопасности и потому достигалась наиболее дешёвым способом, без выставления каких-то там постовых. Во всех следственных тюрьмах нельзя спать ни минуты от подъёма до отбоя (в Сухановке и ещё некоторых для этого койка убирается на день в стену, в других — просто нельзя лечь и даже нельзя сидя опустить веки). А главные допросы — все ночью. И так автоматически: у кого идёт следствие, тот не имеет времени спать по крайней мере пять суток в неделю (в ночь на воскресенье и на понедельник следователи сами стараются отдыхать).

22. В развитие предыдущего — *следовательский конвейер.* Ты не просто не спишь, но тебя трое-четверо суток непрерывно допрашивают сменные следователи.

23. *Клопяной бокс,* уже упомянутый. В тёмном дощаном шкафу разведено клопов сотни, может быть тысячи. Пиджак или гимнастёрку с сажаемого снимают, и тотчас на него, переползая со стен и падая с потолка, обрушиваются голодные клопы. Сперва он ожесточённо борется с ними, душит на себе, на стенах, задыхается от их вони, через несколько часов ослабевает и безропотно даёт себя пить.

24. *Карцеры.* Как бы ни было плохо в камере, но карцер всегда хуже её, оттуда камера всегда представляется раем. В карцере человека изматывают голодом и обычно *холодом* (в Сухановке есть и *горячие* карцеры). Например, лефортовские карцеры не отапливаются вовсе, батареи обогревают только коридор, и в этом «обогретом» коридоре дежурные надзиратели ходят в валенках и телогрейке. Арестанта же раздевают до белья, а иногда до одних кальсон, и он должен в неподвижности (тесно) пробыть в карцере сутки-трое-пятеро (горячая баланда только на третий день). В первые минуты ты думаешь: не выдержу и часа. Но каким-то чудом человек высиживает свои пять суток, может быть, приобретая и болезнь на всю жизнь.

У карцеров бывают разновидности: сырость, вода. Уже после войны Машу Г. в черновицкой тюрьме держали босую два часа *по щиколотки в ледяной воде* — признавайся! (Ей было восемнадцать лет, как ещё жалко свои ноги и сколько ещё с ними жить надо!)

25. Считать ли разновидностью карцера *запирание стоя в нишу?* Уже в 1933 в хабаровском ГПУ так пытали С. А. Чеботарёва: заперли голым в бетонную нишу так, что он не мог подогнуть колен, ни расправить и переместить рук, ни повернуть головы. Это не всё! Стала капать на макушку холодная вода (как хрестоматийно!..) и разливаться по телу ручейками. Ему, разумеется, не объявили, что это всё только на двадцать четыре часа. Страшно это, не страшно,— но он потерял сознание, его открыли назавтра как бы мёртвым, он очнулся в больничной постели. Его приводили в себя нашатырным спиртом, кофеином, массажем тела. Он далеко не сразу мог вспомнить — откуда он взялся, что было накануне. На целый месяц он стал негоден даже для допросов. (Мы смеем предположить, что эта ниша и капающее устройство были сделаны не для одного ж Чеботарёва. В 1949 мой днепропетровец сидел

в похожем, правда без капанья. Между Хабаровском и Днепропетровском да за 16 лет допустим и другие точки?)

26. *Голод* уже упоминался при описании комбинированного воздействия. Это не такой редкий способ: признание из заключённого выголодить. Собственно, элемент голода, также как и использование ночи, вошёл во всеобщую систему воздействия. Скудный тюремный паёк, в 1933 невоенном году — 300 грамм, в 1945 на Лубянке — 450, игра на разрешении и запрете передач или ларька — это применяется сплошь ко всем, это универсально. Но бывает применение голода обострённое: вот так, как продержали Чульпенёва месяц на ста граммах — и потом перед ним, приведённым из ямы, следователь Сокол ставил котелок наваристого борща, клал полбуханки белого хлеба, срезанного наискосок (кажется, какое значение имеет, как срезанного?— но Чульпенёв и сегодня настаивает: уж очень заманчиво было срезано) — однако не накормил ни разу. И как же это всё старо, феодально, пещерно! Только та и новинка, что применено в социалистическом обществе. — О подобных приёмах рассказывают и другие, это часто. Но мы опять передадим случай с Чеботарёвым, потому что он комбинированный очень. Посадили его на 72 часа в следовательском кабинете и единственное, что разрешали, — вывод в уборную. В остальном не давали: ни есть, ни пить (рядом вода в графине), ни спать. В кабинете находились всё время три следователя. Они работали в три смены. Один постоянно (и молча, ничуть не тревожа подследственного) что-то писал, второй спал на диване, третий ходил по комнате и, как только Чеботарёв засыпал, тут же бил его. Затем они менялись обязанностями. (Может их самих за неуправность перевели на казарменное положение?) И вдруг принесли Чеботарёву обед: жирный украинский борщ, отбивную с жареной картошкой и в хрустальном графине красное вино. Но всю жизнь имея отвращение к алкоголю, Чеботарёв не стал пить вина, как ни заставлял его следователь (а слишком заставлять не мог, это уже портило игру). После обеда ему сказали: «А теперь подписывай, что́ ты *показал при двух свидетелях»!*— то есть, что молча было сочинено при одном спавшем и одном бодрствующем следователе. С первой же страницы Чеботарёв увидел, что со всеми видными японскими генералами он был запросто и ото всех получил шпионское задание. И он стал перечёркивать страницы. Его избили и выгнали. А взятый вместе с ним другой ка-вэ-жэ-динец Благинин, всё то же пройдя, выпил вино, в приятном опьянении подписал — и был расстрелян. (Три дня голодному что́ такое единая рюмка! а тут графин.)

27. *Битьё,* не оставляющее следов. Бьют и резиной, бьют и колотушками, и мешками с песком. Очень больно, когда бьют по костям, например следовательским сапогом по голени, где кость почти на поверхности. Комбрига Карпунича-Бравена били 21 день подряд. (Сейчас говорит: «И через 30 лет все кости болят и голова».) Вспоминая своё и по рассказам он насчитывает 52 приёма пыток. Или вот ещё как: зажимают руки в специальном

устройстве — так, чтобы ладони подследственного лежали плашмя на столе,— и тогда бьют ребром линейки по суставам — можно взвопить! Выделять ли из битья особо — выбивание зубов? (Карпуничу выбили восемь.)

У секретаря Карельского обкома Г. Куприянова, посаженного в 1949, иные выбитые зубы были простые, они не в счёт, в иные — золотые. Так сперва давали квитанцию, что взяты на хранение. Потом спохватились и квитанцию отобрали.

Как всякий знает, удар кулаком в солнечное сплетение, перехватывая дыхание, не оставляет ни малейших следов. Лефортовский полковник Сидоров уже после войны применял вольный удар галошей по свисающим мужским придаткам (футболисты, получившие мячом в пах, могут этот удар оценить). С этой болью нет сравнения, и обычно теряется сознание.*

28. В новороссийском НКВД изобрели машинки для зажимания ногтей. У многих новороссийских потом на пересылках видели слезшие ногти.

29. А *смирительная рубашка?*

30. А *перелом позвоночника?* (Всё то же хабаровское ГПУ, 1933.)

31. А *взнуздание* («ласточка»)? Это — метод сухановский, но и архангельская тюрьма знает его (следователь Ивков, 1940). Длинное суровое полотенце закладывается тебе через рот (взнуздание), а потом через спину привязывается концами к пяткам. Вот так, колесом на брюхе, с хрустящей спиной, без воды и еды полежи суток двое.

Надо ли перечислять дальше? Много ли ещё перечислять? Чего не изобретут праздные, сытые, бесчувственные? ..

Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее . . .

* * *

Но вот что. Ни этих пыток, ни даже самых «лёгких» приёмов не нужно, чтобы получить показания из большинства, чтобы в железные зубы взять ягнят, неподготовленных и рвущихся к своему тёплому очагу. Слишком неравно соотношение сил и положений.

О, в каком новом виде, изобилующем опасностями,— подлинными африканскими джунглями представляется нам из следовательского кабинета наша прошлая прожитая жизнь! А мы считали её такой простой!

Вы, **А**, и друг ваш **Б**, годами друг друга зная и вполне друг другу доверяя, при встречах смело говорили о политике малой и большой.

---

* В 1918 московский ревтрибунал судил бывшего надзирателя царской тюрьмы Бондаря. Как высший пример его жестокости стояло в обвинении, что он «в одном случае ударил политзаключённого с такой силой, что у того лопнула барабанная перепонка». (Н. В. Крыленко. «За пять лет». ГИЗ, М-Пгд, 1923, стр. 16)

И никого не было при этом. И никто не мог вас подслушать. И вы не донесли друг на друга, отнюдь.

Но вот вас, **А**, почему-то наметили, выхватили из стада за ушки и посадили. И почему-нибудь, ну может быть не без чьего-то доноса на вас, и не без вашего перепуга за близких, и не без маленькой бессонницы, и не без карцерочка, вы решили на себя махнуть рукой, но уж других не выдавать ни за что! И в четырёх протоколах вы признали и подписали, что вы — заклятый враг советской власти, потому что рассказывали анекдоты о вожде, желали вторых кандидатов на выборах и заходили в кабину, чтобы вычеркнуть единственного, да не было чернил в чернильнице, а ещё на вашем приёмнике был 16-метровый диапазон и вы старались через глушение что-нибудь расслышать из западных передач. Вам десятка обеспечена, однако рёбра целы, воспаления лёгких пока нет, вы никого не продали и, кажется, умно выкрутились. Уже вы высказываете в камере, что наверно следствие ваше подходит к концу.

Но чу! Неторопливо любуясь своим почерком, следователь начинает заполнять протокол № 5. Вопрос: были ли вы дружны с **Б**? Да. Откровенны с ним в политике? Нет, нет, я ему не доверял. Но вы часто встречались? Не очень. Ну, как же не очень? По показаниям соседей, он был у вас только за последний месяц — такого-то, такого-то и такого-то числа. Был? Ну, может быть. При этом замечено, что, как всегда, вы не выпивали, не шумели, разговаривали очень тихо, не слышно было в коридор. (Ах, выпивайте, друзья! бейте бутылки! материтесь погромче! — это делает вас благонадёжными!) — Ну, так что ж такого? — И вы тоже у него были, вот вы по телефону сказали: мы тогда провели с тобой такой содержательный вечер. Потом вас видели на перекрестке — вы простояли с ним полчаса на холоде, и у вас были хмурые лица, недовольные выражения, вот вы, кстати, даже сфотографированы во время этой встречи. (Техника агентов, друзья мои, техника агентов.) Итак — о ч ё м вы разговаривали при этих встречах?

О чём?!.. Это сильный вопрос! Первая мысль — вы забыли, о чём вы разговаривали. Разве вы обязаны помнить? Хорошо, забыли первый разговор. И второй тоже? И третий тоже? И даже — содержательный вечер? И — на перекрестке? И разговоры с **В**? И разговоры с **Г**? Нет, думаете вы, «забыл»— это не выход, на этом не продержишься. И ваш сотрясённый арестом, защемлённый страхом, омутнённый бессонницей и голодом мозг ищет: как бы изловчиться поправдоподобней и перехитрить следователя.

О чём?!.. Хорошо, если вы разговаривали о хоккее (это во всех случаях самое спокойное, друзья!), о бабах, даже и о науке — тогда можно повторить (наука — недалека от хоккея, только в наше время в науке всё засекречено, и можно схватить по Указу о разглашении). А если на самом деле вы говорили о новых арестах в городе? О колхозах? (и, конечно, плохо, ибо кто ж о них говорит хорошо?) О снижении производственных расценок? Вот вы хмурились полчаса на перекрестке — о чём вы там говорили?

Может быть, **Б** арестован (следователь уверяет вас, что — да, и уже дал на вас показания, и сейчас его ведут на очную ставку). Может быть, преспокойно сидит дома, но на допрос его выдернут и оттуда и сличат у него: о чём вы тогда хмурились на перекрестке?

Сейчас-то, поздним умом, вы поняли: жизнь такая, что всякий раз, расставаясь, вы должны были уговариваться и чётко запоминать: *о чём бишь мы сегодня говорили?* Тогда при любых допросах ваши показания сойдутся. Но вы не договорились. Вы всё-таки не представляли, какие это джунгли.

Сказать, что вы договаривались поехать на рыбалку? А **Б** скажет, что ни о какой рыбалке речи не было, говорили о заочном обучении. Не облегчив следствия, вы только туже закрутите узел: о чём? о чём? о чём?

У вас мелькает мысль — удачная? или губительная?— надо рассказать как можно ближе к тому, что на самом деле было (разумеется, сглаживая всё острое и опуская всё опасное),— ведь говорят же, что надо лгать всегда поближе к правде. Авось, и **Б** так же догадается, расскажет что-нибудь около этого, показания в чём-то совпадут, и от вас отвяжутся.

Через много лет вы поймёте, что это была совсем неразумная идея, и что гораздо правильней играть неправдоподобного круглейшего дурака: не помню ни дня своей жизни, хоть убейте. Но вы не спали трое суток. Вы еле находите силы следить за собственной мыслью и за невозмутимостью своего лица. И времени вам на размышление — ни минуты. И сразу два следователя (они любят друг к другу в гости ходить) упёрлись в вас: о чём? о чём? о чём?

И вы даёте показание: о колхозах говорили (что не всё ещё налажено, но скоро наладится). О понижении расценок говорили... Что именно говорили? Радовались, что понижают? Но нормальные люди так не могут говорить, опять неправдоподобно. Значит, чтобы быть вполне правдоподобным: немножко жаловались, что немножко прижимают расценками.

А следователь пишет протокол сам, он переводит на свой язык: в эту нашу встречу мы клеветали на политику партии и правительства в области заработной платы.

И когда-нибудь **Б** упрекнёт вас: эх, растяпа, а я сказал — мы о рыбалке договаривались...

Но вы хотели быть хитрее и умнее вашего следователя! У вас быстрые изощрённые мысли! Вы интеллигентны. И вы перемудрили...

В «Преступлении и наказании» Порфирий Петрович делает Раскольникову удивительно тонкое замечание, его мог изыскать только тот, кто сам через эти кошки-мышки прошёл: что, мол, с вами, интеллигентами, и версии своей мне строить не надо, — вы сами её построите и мне готовую принесёте. Да, это так! Интеллигентный человек не может отвечать с прелестной бессвязностью чеховского «злоумышленника». Он обязательно постарается всю историю, в которой его обвиняют, построить как угодно лживо, но — связно.

А следователь-мясник не связности этой ловит, а только две-три фразочки. Он-то знает, что почём. А мы — ни к чему не подготовлены! . .

Нас просвещают и готовят с юности — к нашей специальности; к обязанностям гражданина; к воинской службе; к уходу за своим телом; к приличному поведению; даже и к пониманию изящного (ну, это не очень). Но ни образование, ни воспитание, ни опыт ничуть не подводят нас к величайшему испытанию жизни: к аресту ни за что и к следствию ни о чём. Романы, пьесы, кинофильмы (самим бы их авторам испить чашу ГУЛАГа!) изображают нам тех, кто может встретиться в кабинете следователя, рыцарями истины и человеколюбия, отцами родными.— О чём только не читают нам лекций! и даже загоняют на них!— но никто не прочтёт лекции об истинном и расширительном смысле статей уголовного кодекса, да и сами кодексы не выставлены в библиотеках, не продаются в киосках, не попадаются в руки беспечной юности.

Почти кажется сказкой, что где-то, за тремя морями, подследственный может воспользоваться помощью адвоката. Это значит, в самую тяжёлую минуту борьбы иметь подле себя светлый ум, владеющий всеми законами!

Принцип нашего следствия ещё и в том, чтобы лишить подследственного даже знания законов.

Предъявляется обвинительное заключение . . . (кстати: «Распишитесь на нём.» — «Я с ним не согласен.» — «Распишитесь.» — «Но я ни в чём не виноват!») . . . вы обвиняетесь по статьям 58-10 часть 2 и 58-11 уголовного кодекса РСФСР. Распишитесь!— Но что гласят эти статьи? Дайте прочесть кодекс!— У меня его нет.— Так достаньте у начальника отдела!— У него тоже нет. Расписывайтесь!— Но я прошу его показать!— Вам не положено его показывать, он пишется не для вас, а для нас. Да он вам и не нужен, я вам так объясню: эти статьи — как раз всё то, в чём вы виноваты. Да ведь вы сейчас распишетесь не в том, что вы согласны, а в том, что прочли, что обвинение предъявлено вам.

В какой-то из бумажёнок вдруг мелькает новое сочетание букв: УПК. Вы настораживаетесь: чем отличается УПК от УК? Если вы попали в минуту расположения следователя, он объяснит вам: Уголовно-процессуальный кодекс. Как? Значит, даже не один, а целых два полных кодекса остаются вам неизвестными в то самое время, когда по их правилам над вами началась расправа?!

. . . С тех пор прошло десять лет, потом пятнадцать. Поросла густая трава на могиле моей юности. Отбыт был и срок, и даже бессрочная ссылка. И нигде — ни в «культурно-воспитательных» частях лагерей, ни в районных библиотеках, ни даже в средних городах,— нигде я в глаза не видал, в руках не держал, не мог купить, достать и даже *спросить* кодекса советского права! И сотни моих знакомых арестантов, прошедших следствие, суд, да ещё и не единожды, отбывших лагеря и ссылку,— никто из них тоже кодекса не видел и в руках не держал! (Знающие атмосферу нашей подозрительности понимают, почему нельзя было спросить кодекс

в народном суде или в райисполкоме. Ваш интерес к кодексу был бы явлением чрезвычайным: или вы готовитесь к преступлению или заметаете следы!)

И только когда оба кодекса уже кончали последние дни своего тридцатипятилетнего существования и должны были вот-вот замениться новыми,— только тогда я увидел их, двух братишек бесперелётных, УК и УПК, на прилавке в московском метро (решили спустить их за ненадобностью).

И теперь я с умилением читаю. Например, УПК:

Статья 136 — Следователь не имеет права домогаться показания или сознания обвиняемого путём насилия или угроз. (Как в воду смотрели!)

Статья 111 — Следователь обязан выяснить обстоятельства, также и оправдывающие обвиняемого, также и смягчающие его вину.

(«Но я устанавливал советскую власть в Октябре!.. Я расстреливал Колчака!.. Я раскулачивал!.. Я дал государству десять миллионов рублей экономии!.. Я дважды ранен в последнюю войну!.. Я трижды орденоносец!..» —

«За это мы вас не судим! — оскаливается история зубами следователя.— Что вы сделали хорошего — это к делу не относится.»)

Статья 139 — Обвиняемый имеет право писать показания собственноручно, а в протокол, написанный следователем, требовать внесения поправок.

(Эх, если б это вовремя знать! Верней: если бы это было действительно так! Но как милости и всегда тщетно просим мы следователя не писать: «мои гнусные клеветнические измышления» вместо «мои ошибочные высказывания», «наш подпольный склад оружия» вместо «мой заржавленный финский нож».)

О, если бы подследственным преподавали бы сперва тюремную науку! Если бы сначала проводили следствие для репетиции, а уж потом настоящее... С повторниками 1948 года ведь не проводили же всей этой следственной игры — впустую было бы. Но у *первичных* опыта нет, знаний нет! И посоветоваться не с кем.

Одиночество подследственного! — вот ещё условие успеха неправедного следствия! На одинокую стеснённую волю должен размозжающе навалиться весь аппарат. От мгновения ареста и весь первый ударный период следствия арестант должен быть в идеале одинок: в камере, в коридоре, на лестницах, в кабинетах — нигде он не должен столкнуться с подобным себе, ни в чьей улыбке, ни в чьём взгляде не почерпнуть сочувствия, совета, поддержки. Органы делают все, чтобы затмить для него будущее и исказить настоящее: представить арестованными его друзей и родных, найденными — вещественные доказательства. Преувеличить свои возможности расправы с ним и с его близкими, свои права на прощение (которых у Органов вовсе нет). Связать искренность «раскаяния» со смягчением приговора и лагерного режима (такой связи отроду не было). В короткую пору, пока арестант потрясён,

измучен и невменяем, получить от него как можно больше непоправимых показаний, запутать как можно больше ни в чём не виноватых лиц (иные так падают духом, что даже просят не читать им вслух протоколов, нет сил, а лишь давать подписывать, лишь давать подписывать) — и только тогда из одиночки отпустить его в большую камеру, где он с поздним отчаянием обнаружит и перечтёт свои ошибки.

Как не ошибиться в этом поединке? Кто бы не ошибся?

Мы сказали «в идеале должен быть одинок». Однако в тюремном переполнении 37-го года (да и 45-го тоже) этот идеальный принцип одиночества свежевзятого подследственного не мог быть соблюдён. Почти с первых же часов арестант оказывался в густонаселённой общей камере.

Но тут были свои достоинства, перекрывающие недочёт. Избыточность наполнення камеры не только заменяла сжатый одиночный бокс, она проявлялась как первоклассная *пытка*, особенно тем драгоценная, что длилась целыми сутками и неделями — и безо всяких усилий со стороны следователей: арестанты пытались арестантами же! Наталкивалось в камеру столько арестантов, чтобы не каждому достался кусочек пола, чтобы люди ходили по людям и даже вообще не могли передвигаться, чтобы сидели друг у друга на ногах. Так, в кишинёвских КПЗ («камерах предварительного заключения») в 1945 в одиночку вталкивали по *восемнадцать* человек, в Луганске в 1937 — по пятнадцать*, а Иванов-Разумник в 1938 в стандартной бутырской камере на 25 человек сидел в составе *ста сорока*. Быт камер 1937-38 у него очень хорошо описан. Уборные так перегружены, что оправка только раз в сутки и иногда даже ночью, как и прогулка! Он же в Лубянском приёмном «собачнике» подсчитал, что целыми неделями их приходилось на 1 квадратный метр пола по три человека (прикиньте, разместитесь!).** В собачнике не было окна или вентиляции, от тел и дыхания температура была 40—45 градусов, все сидели в одних кальсонах (зимние вещи подложив под себя), голые тела их были спрессованы, и от чужого пота кожа заболевала экземой. Так сидели они *неделями*, им не давали ни воздуха, ни воды (кроме баланды и чая утром).

В тот год в Бутырках свежеарестованные (уже обработанные баней н боксами) по нескольку суток сидели на ступеньках лестниц, ожидая, когда уходящие этапы освободят камеры. Т-в сидел в Бутырках семью годами раньше, в 1931, говорит: всё забито под нарами, лежали на асфальтном полу. Я сидел семью годами позже в 1945, — то же самое. Но недавно от М. К. Б-ч я получил ценное личное свидетельство о бутырской тесноте 1918 года: в октябре того года (второй месяц красного террора) было так полно, что даже в прачечной устроили женскую камеру на 70 человек! Да когда ж тогда Бутырки стояли порожние?

---

* И следствие шло у них по 8—10 месяцев. «Небось Клим Ворошилов в такой одиночке один сидел»,— говорили ребята (да еще и сидел ли?).

** И во владимирской «внутрянке» в 1948 в камере 3×3 метра постоянно стояли 30 человек! (С. Потапов). В краснодарском ГПУ в 1937 — ч е т ы р е человека на 1 квадратный метр пола.

Если при этом параша заменяла все виды оправки (или, наоборот, от оправки до оправки не было в камере параши, как в некоторых сибирских тюрьмах); если ели по четверо из одной миски — и друг у друга на коленях; если то и дело кого-то выдёргивали на допрос, а кого-то вталкивали избитого, бессонного и сломленного; если вид этих сломленных убеждал лучше всяких следовательских угроз; а тому, кого месяцами не вызывали, уже любая смерть и любой лагерь казались легче их скорченного положения,— так может быть это вполне заменяло теоретически идеальное одиночество? И в такой каше людской не всегда решишься, кому открыться, и не всегда найдёшь, с кем посоветоваться. И скорее поверишь пыткам и избиениям не тогда, когда следователь тебе грозит, а когда показывают сами люди.

От самих пострадавших ты узнаешь, что дают солёную клизму в горло и потом на сутки в бокс мучиться от жажды (Карпунич). Или тёркой стирают спину до крови и потом мочат скипидаром. Комбригу Рудольфу Пинцову досталось и то, и другое, и ещё иголки загоняли под ногти, и водой наливали до распирания — требовали, чтобы подписал протокол, что *хотел* на октябрьском параде двинуть бригаду танков на правительство.* А от Александрова, бывшего заведующего художественным отделом ВОКС (Всероссийского общества культурной связи с заграницей) — с перебитым позвоночником клонящегося набок, не могущего сдержать слёз, можно узнать, как бьёт (в 1948) сам Абакумов.

Да, да, сам министр госбезопасности Абакумов отнюдь не гнушается этой чёрной работы (Суворов на передовой!), он не прочь иногда взять резиновую палку в руки. Тем более охотно бьёт его заместитель Рюмин. Он делает это на Сухановке в «генеральском» следовательском кабинете. Кабинет имеет по стенам панель под орех, шёлковые портьеры на окнах и дверях, на полу большой персидский ковёр. Чтобы не попортить этой красоты, для избиваемого постилается сверх ковра грязная дорожка в пятнах крови. При побоях помогает Рюмину не простой надзиратель, а полковник. «Так, — вежливо говорит Рюмин, поглаживая резиновую дубинку диаметром сантиметра в четыре, — испытание бессонницей вы выдержали с честью.— (Александр Долган хитростью сумел продержаться месяц без сна: он спал стоя.) — Теперь попробуем дубинку. У нас больше двух-трёх сеансов не выдерживают. Спустите брюки, ложитесь на дорожку.» Полковник садится избиваемому на спину. Долган собирается считать удары. Он ещё не знает, что такое удар резиновой палкой по седалищному нерву, если ягодица опала от долгого голодания. Отдаётся не в место удара — раскалывается голова. После первого же удара избиваемый безумеет от боли,

* На самом же деле он в ё л бригаду на параде, но почему-то же н е двинул. Впрочем это не засчитывается. Однако, после своих универсальных пыток он получил... 10 лет по ОСО. Настолько сами жандармы не верили в свои достижения.

ломает ногти о дорожку. Рюмин бьёт, стараясь правильно попадать. Полковник давит своей тушей — как раз работа для трёх больших погонных звёзд ассистировать всесильному Рюмину! (После сеанса избитый не может идти, его и не несут, а отволакивают по полу. Ягодица вскоре распухнет так, что невозможно брюки застегнуть, а рубцов почти не осталось. Разыгрывается дикий понос, и сидя на параше в своей одиночке, Долган хохочет. Ему предстоит ещё и второй сеанс и третий, лопнет кожа; Рюмин, остервенясь, примется бить его в живот, пробьёт брюшину, в виде огромной грыжи выкатятся кишки, арестанта увезут в Бутырскую больницу с перитонитом, и временно прервутся попытки заставить его сделать подлость.)

Вот как могут и тебя затязать! После этого просто лаской отеческой покажется, когда кишинёвский следователь Данилов бьёт священника отца Виктора Шиповальникова кочергой по затылку и таскает за косу. (Священников удобно так таскать; а мирских можно — за бороду, и проволакивать из угла в угол кабинета. А Рихарда Ахолу — финского красногвардейца, участника ловли Сиднея Рейли и командира роты при подавлении Кронштадтского восстания, поднимали щипцами то за один, то за другой большой его ус и держали по десять минут так, чтоб ноги не доставали пола.)

Но самое страшное, что с тобой могут сделать, это: раздеть ниже пояса, положить на спину на полу, ноги развести, на них сядут подручные (славный сержантский состав), держа тебя за руки, а следователь — не гнушаются тем и женщины — становится между твоих разведённых ног и носком своего ботинка (своей туфли) постепенно, умеренно и всё сильней, прищемляя к полу то, что делало тебя когда-то мужчиной, смотрит тебе в глаза и повторяет, повторяет свои вопросы или предложения предательства. Если он не нажмёт прежде времени чуть сильней, у тебя будет ещё пятнадцать секунд вскричать, что ты всё признаешь, что ты готов посадить и тех двадцать человек, которых от тебя требуют, или оклеветать в печати свою любую святыню...

И суди тебя Бог, не люди...

— Выхода нет! Надо во всём признаваться! — шепчут подсаженные в камеру наседки.

— Простой расчёт: сохранить здоровье! — говорят трезвые люди.

— Зубы потом не вставят, — кивает тебе, у кого их уже нет.

— Осудят всё равно, хоть признавайся, хоть не признавайся, — заключают постигшие суть.

— Тех, кто не подписывает, — расстреляют! — ещё кто-то пророчит в углу. — Чтоб отомстить. Чтобы концов не осталось: как следствие велось.

— А умрёшь в кабинете, объявят родственникам: лагерь без права переписки. И пусть ищут.

А если ты ортодокс, то к тебе подберётся другой ортодокс, и враждебно оглядываясь, чтоб не подслушали непосвящённые, станет горячо толкать тебе в ухо:

— Наш долг — поддерживать советское следствие. Обстановка — боевая. Мы сами виноваты: мы были слишком мягкотелы, и вот развелась эта гниль в стране. Идёт жестокая тайная война. Вот и здесь вокруг нас — враги, слышишь, как высказываются? Не обязана же партия отчитываться перед каждым из нас — зачем и почему. Раз требуют — значит, надо подписывать.

И ещё один ортодокс подбирается:

— Я подписал на тридцать пять человек, на всех знакомых. И вам советую: как можно больше фамилий, как можно больше увлекайте за собой! Тогда станет очевидным, что это нелепость, и всех выпустят.

А Органам именно это и нужно! Сознательность Ортодокса и цели НКВД естественно совпали. НКВД и нужен этот стрельчатый веер имён, это расширенное воспроизводство их. Это — и признак качества их работы и колки́ для накидывания новых арканов. «Сообщников! Сообщников! Единомышленников!» — напорно вытряхивали изо всех. (Говорят, Р. Ралов назвал своим сообщником кардинала Ришелье, внесли его в протоколы — и до реабилитационного допроса 1956 года никто не удивился.)

Уж кстати об ортодоксах. Для такой *чистки* нужен был Сталин, да, но и партия же была нужна такая: большинство их, стоявших у власти, до самого момента собственной посадки безжалостно сажали других, послушно уничтожали себе подобных по тем же самым инструкциям, отдавали на расправу любого вчерашнего друга или соратника. И все крупные большевики, увенчанные теперь ореолом мучеников, успели побыть и палачами других большевиков (уж не считая, как прежде того они в с е были палачами беспартийных). Может быть, 37-й год и нужен был для того, чтобы показать, как малого стоит всё их *мировоззрение*, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя её твердыни, топча её святыни, — Россию, где и м с а м и м такая расправа никогда не угрожала. Жертвы большевиков с 1918 по 1936 никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда пришла гроза на них. Если подробно рассматривать всю историю посадок и процессов 1936-38 годов, то отвращение испытываешь не только к Сталину с подручными, но — к унизительно-гадким подсудимым, омерзение к душевной низости их после прежней гордости и непримиримости.

... И как же? как же устоять тебе? — чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями, неподготовленному? ..

Что́ надо, чтобы быть сильнее следователя и всего этого капкана?

Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную тёплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречён на гибель — сейчас или несколько позже, но

позже будет даже тяжелей, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня — и я для них умер. Тело моё с сегодняшнего дня для меня — бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны.

И перед таким арестантом — дрогнет следствие!

Только тот победит, кто от всего отрёкся!

Но как обратить своё тело в камень?

Ведь вот из бердяевского кружка сделали марионеток для суда, а из него самого не сделали. Его хотели втащить в процесс, арестовывали дважды, водили (1922) на ночной допрос к Дзержинскому, там и Каменев сидел (значит тоже не чуждался идеологической борьбы посредством ЧК). Но Бердяев не унижался, не умолял, а изложил им твёрдо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти,— и не только признали его бесполезным для суда, но — освободили. Проявил точку зрения человек!

Н. Столярова вспоминает свою соседку по бутырским нарам в 1937, старушку. Её допрашивали каждую ночь. Два года назад у неё в Москве проездом ночевал бежавший из ссылки бывший митрополит.—«Только не бывший, а настоящий! Верно, я удостоилась его принять.» — «Так, хорошо. А к кому он дальше поехал из Москвы?»—«Знаю. Но не скажу!» (Митрополит через цепочку верующих бежал в Финляндию.) Следователи менялись и собирались группами, кулаками махали перед лицом старушёнки, она же им: «Ничего вам со мной не сделать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальства боитесь, друг друга боитесь, даже боитесь меня убить («цепочку потеряют»). А я — не боюсь ничего! Я хоть сейчас к Господу на ответ!»

Были, были такие в 37-м, кто с допроса не вернулся в камеру за узелком. Кто избрал смерть, но не подписал ни на кого.

Не сказать, чтоб история русских революционеров дала нам лучшие примеры твёрдости. Но тут и сравнения нет, потому что наши революционеры никогда не знавали, что такое настоящее *хорошее* следствие с пятьюдесятью двумя приёмами.

Шешковский не истязал Радищева. И Радищев, по обычаю того времени, прекрасно знал, что сыновья его всё так же будут служить гвардейскими офицерами, и никто не перешибёт их жизни. И родового поместья Радищева никто не конфискует. И всё же в своём коротком двухнедельном следствии этот выдающийся человек отрёкся от убеждений своих, от книги — и просил пощады.

Николай I не имел зверства арестовать декабристских жён, заставить их кричать в соседнем кабинете или самих декабристов подвергнуть пыткам — но он не имел на то и надобности. Следствие по декабристам было совершенно свободное, даже давали в каземат обдумывать предварительно вопросы. Никто из декабристов не вспоминал потом о недобросовестном толковании ответов. Не были преданы ответственности «знавшие о приготовлении мятежа, но не донёсшие». Тем более ни тень не пала на родственников осуждённых (особый о том манифест). И уж, конечно, помило-

ваны все солдаты, вовлечённые в мятеж. Но даже Рылеев «отвечал пространно, откровенно, ничего не утаивая». Даже Пестель *раскололся* и назвал своих товарищей (ещё вольных), кому поручил закопать «Русскую правду», и самое место закопки. Редкие, как Лунин, блистали неуважением и презрением к следственной комиссии. Большинство же держалось бездарно, запутывали друг друга, многие униженно просили о прощении! Завалишин всё валил на Рылеева. Е. П. Оболенский и С. П. Трубецкой поспешили оговорить Грибоедова,— чему и Николай I не поверил.

Бакунин в «Исповеди» униженно самооплёвывался перед Николаем I и тем избежал смертной казни. Ничтожность духа? Или революционная хитрость?

Казалось бы — что за избранные по самоотверженности должны были быть люди, взявшиеся убить Александра II? Они ведь знали, на что шли! Но вот Гриневицкий разделил участь царя, а Рысаков остался жив и попал в руки следствия. И в тот же день он уже *заваливал* явочные квартиры и участников заговора, в страхе за свою молоденькую жизнь он спешил сообщить правительству больше сведений, чем то могло в нём предполагать! Он захлёбывался от раскаяния, он предлагал «разоблачить все тайны анархистов».

В конце же прошлого века и начале нынешнего жандармский офицер тотчас брал вопрос назад, если подследственный находил его неуместным или вторгающимся в область интимного.— Когда в Крестах в 1938 старого политкаторжанина Зеленского выпороли шомполами, как мальчишке сняв штаны, он расплакался в камере: «Царский следователь не смел мне даже «ты» сказать!»— Или вот, например, из одного современного исследования* мы узнаём, что жандармы захватили рукопись ленинской статьи «О чем думают наши министры?», но *не сумели* через неё добраться до автора:

«На допросе жандармы, *как и следовало ожидать* (курсив здесь и далее мой — А. С.), узнали от Ванеева (студента) немного. Он им сообщил всего-навсего, что найденные у него рукописи были принесены к нему для хранения за несколько дней до обыска в общем свёртке одним лицом, которое *он не желает назвать*. Следователю *ничего не оставалось* (как? а ледяной воды по щиколотки? а солёная клизма? а рюминская палочка?..), как подвергнуть рукопись экспертизе.» Ну и ничего не нашли. Пересветов, кажется, и сам *оттянул* сколько-то годиков и легко мог бы перечислить, что ещё оставалось следователю, если перед ним сидел хранитель статьи «О чём думают наши министры?».

Как вспоминает С. П. Мельгунов: «То была царская тюрьма, блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключённым теперь остаётся вспоминать почти с радостным чувством».**

---

* Новый мир», 1962, №4, Р. Пересветов.

** С. П. Мельгунов. «Воспоминания и дневники». Вып. 1, Париж, 1964, стр. 139

Тут — сдвиг представления, тут — совсем другая мерка. Как чумакам догоголевского времени нельзя внять скоростям реактивных самолётов, так нельзя охватить истинных возможностей следствия тем, кто не прошёл приёмную мясорубку ГУЛАГа.

В «Известиях» от 24.5.59 читаем: Юлию Румянцеву берут во внутреннюю тюрьму нацистского лагеря, чтоб узнать, где бежавший из того же лагеря её муж. Она знает, но — отказывается ответить! Для читателя несведущего это образец героизма. Для читателя с горьким гулаговским прошлым это — образец следовательской неповоротливости: Юлия не умерла под пытками и не была доведена до сумасшествия, а просто через месяц живёхонькая отпущена!

* * *

Все эти мысли о том, что надо стать каменным, ещё были совершенно неизвестны мне тогда. Я не только не готов был перерезать тёплые связи с миром, но даже отнятие при аресте сотни трофейных фаберовских карандашей ещё долго меня жгло. Из тюремной протяжённости оглядываясь потом на своё следствие, я не имел основания им гордиться. Я, конечно, мог держаться твёрже и, вероятно, мог извернуться находчивей. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было.

Наше (с моим однодельцем Николаем Виткевичем) впадение в тюрьму носило характер мальчишеский, хотя мы были уже фронтовые офицеры. Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми поносили Мудрейшего из Мудрейших, прозрачно закодированного нами из Отца в Пахана. (Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своём деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился. Вдруг, читая исследование о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом — на неосторожной переписке, и только это спасло жизнь Александру III 1 марта 1887 года.

Участник группы Андреюшкин послал в Харьков своему другу откровениое письмо: «Я твердо верю, что самый беспощадный террор [у иас] будет н даже не в продолжнтельном будущем ... Красный террор — мой конёк ... Беспокоюсь за моего адресата (он уже ие первое такое письмо пнсал! — А. С.) ... еслн он т о в о, то н меня могут тоже т о в о, а это иежелательно, нбо поволоку за собой много народа очень дельного.» И пять недель продолжался иетороплнвый сыск по этому письму — через Харьков, чтоб узнать, кто пнсал его в Петербурге. Фамилня Андреюшкнна была установлена только 28 февраля — н 1 марта бомбометатели, уже с бомбамн, былн взяты на Невском перед самым назначенным покушением'

Высок, просторен, светел, с пребольшим окном был кабинет моего следователя И. И. Езепова (страховое общество «Россия» строилось не для пыток) — и, используя его пятиметровую высоту, повешен был четырёхметровый вертикальный, во весь рост, портрет могущественного Властителя, которому я, песчинка, отдал свою ненависть. Следователь иногда вставал перед ним и театрально клялся: «Мы жизнь за него готовы отдать! Мы — под танки за него готовы лечь!» Перед этим почти алтарным величием портрета казался жалким мой бормот о каком-то очищенном ленинизме, и сам я, кощунственный хулитель, был достоин только смерти.

Содержание одних наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих; от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоёвывать, допринести пользу. Но беспощадней: уже год каждый из нас носил по экземпляру неразлучно при себе в полевой сумке, чтобы сохранилась при всех обстоятельствах, если один выживет, — «Резолюцию № 1», составленную нами при одной из фронтовых встреч. «Резолюция» эта была — энергичная сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране, затем, как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить, и кончалась фразой: «Выполнение всех этих задач невозможно без *организации*». Даже безо всякой следовательской натяжки это был документ, зарождающий новую партию. А к тому прилегали и фразы переписки — как после победы мы будем вести «войну после войны». Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня, а только старался он накинуть удавку на всех, кому ещё когда-нибудь писал я или кто когда-нибудь писал мне, и нет ли у нашей молодёжной группы какого-нибудь старшего направителя. Своим сверстникам и сверстницам я дерзко и почти с бравадой выражал в письмах крамольные мысли — а друзья почему-то продолжали со мной переписываться! И даже в их встречных письмах тоже встречались какие-то подозрительные выражения.* И теперь Езепов подобно Порфирию Петровичу требовал от меня всё это связно объяснить: если мы так выражались в подцензурных письмах, то что же мы могли говорить с глазу на глаз? Не мог же я его уверить, что вся резкость высказываний приходилась только на переписку. И вот помутнённым мозгом я должен был сплести теперь что-то очень правдоподобное о наших встречах с друзьями (встречи упоминались в пись-

---

* Ещё одного школьного нашего друга, К. Симоняна, едва не подгребли тогда к нам. Какое облегчение было мне узнать, что он остался на свободе! Но вот через 22 года он мне пишет: «Из твоих опубликованных сочинений следует, что ты оцениваешь жизнь односторонне ... Объективно ты становишься знаменем фашиствующей реакции на Западе, например в ФРГ и США ... Ленин, которого, я уверен, ты по-прежнему почитаешь и любишь, да и старики Маркс и Энгельс осудили бы тебя самым суровым образом. Подумай над этим!» Я и думаю: ах, жаль, что тебя тогда не посадили! Сколько ты потерял!..

мах), чтоб они приходились в цвет с письмами, чтобы были на самой грани политики — и всё-таки не уголовный кодекс. И ещё чтоб эти объяснения как одно дыхание вышли из моего горла и убедили бы матёрого следователя в моей простоте, прибеднённости, открытости до конца. Чтобы — самое главное — мой ленивый следователь не склонился бы разбирать и тот заклятый груз, который я привёз в своём заклятом чемодане — четыре блокнота военных дневников, написанных бледным твёрдым карандашом, игольчато-мелкие, кое-где уже стирающиеся записи. Эти дневники были — моя претензия стать писателем. Я не верил в силу нашей удивительной памяти и все годы войны старался записывать всё, что видел (это б ещё полбеды), и всё, что слышал от людей. Я безоглядчиво приводил там полные рассказы своих однополчан — о коллективизации, о голоде на Украине, о 37-м годе, и по скрупулёзности и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это всё рассказывал. От самого ареста, когда дневники эти были брошены оперативниками в мой чемодан, осургучены, и мне же дано везти тот чемодан в Москву,— раскалённые клещи сжимали мне сердце. И вот эти все рассказы, такие естественные на передовой, перед ликом смерти, теперь достигли подножия четырёхметрового кабинетного Сталина — и дышали сырою тюрьмою для чистых, мужественных, мятежных моих однополчан.

Эти дневники больше всего и давили на меня на следствии. И чтобы только следователь не взялся попотеть над ними и не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени — я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было, прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по лезвию — пока не увидел, что никого не ведут ко мне на очную ставку; пока не повеяло явными признаками окончания следствия; пока на четвёртом месяце все блокноты моих военных дневников не зашвырнуты были в адский зев лубянской печи, не брызнули там красной лузгой ещё одного погибшего на Руси романа и чёрными бабочками копоти не взлетели из самой верхней трубы.

Под этой трубой мы гуляли — в бетонной коробке, на крыше Большой Лубянки, на уровне шестого этажа. Стены ещё и над шестым этажом возвышались на три человеческих роста. Ушами мы слышали Москву — перекличку автомобильных сирен. А видели — только эту трубу, часового на вышке на седьмом этаже да тот несчастливый клочок Божьего неба, которому досталось простираться над Лубянкой.

О, эта сажа! Она всё падала и падала в тот первый послевоенный май. Её так много было в нашу каждую прогулку, что мы придумали между собой, будто Лубянка жжёт свои архивы за тридевять лет. Мой погибший дневник был только минутной струйкой той сажи. И я вспоминал морозное солнечное утро в марте, когда я как-то сидел у следователя. Он задавал свои обычные грубые вопросы; записывал, искажая мои слова. Играло солнце в тающих морозных узорах просторного окна, через которое меня иногда очень подмывало выпрыгнуть — чтоб хоть

смертью своей сверкнуть по Москве, размозжиться с пятого этажа о мостовую, как в моём детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове-на-Дону (из «Тридцать третьего»). В протайках окна виднелись московские крыши, крыши — и над ними весёлые дымки. Но я смотрел не туда, а на курган рукописей, загрудивший всю середину полупустого тридцатиметрового кабинета, только что вываленный, ещё не разобранный. В тетрадях, в папках, в самоделковых переплётах, скреплёнными и не скреплёнными пачками и просто отдельными листами — надмогильным курганом погребённого человеческого духа лежали рукописи, и курган этот конической своей высотой был выше следовательского письменного стола, едва что не заслоняя от меня самого следователя. И братская жалость разнимала меня к труду того беззвестного человека, которого арестовали минувшей ночью, а плоды обыска вытряхнули к утру на паркетный пол пыточного кабинета к ногам четырёхметрового Сталина. Я сидел и гадал: чью незаурядную жизнь в эту ночь привезли на истязание, на растерзание и на сожжение потом?

О, сколько же гинуло в этом здании замыслов и трудов!— целая погибшая культура. О, сажа, сажа из лубянских труб!! Всего обидней, что потомки сочтут наше поколение глупей, бездарней, бессловеснее, чем оно было!..

* * *

Чтобы провести прямую, достаточно отметить всего лишь две точки.

В 1920 году, как вспоминает Эренбург, ЧК поставила перед ним вопрос так: «Докажите вы, что вы — не агент Врангеля».

А в 1950 один из видных полковников МГБ Фома Фомич Железов объявил заключённым так: «Мы ему (арестованному) и не будем трудиться доказывать его вину. Пусть он нам докажет, что не имел враждебных намерений.»

И на эту людоедски-незамысловатую прямую укладываются в промежутке бессчётные воспоминания миллионов.

Какое ускорение и упрощение следствия, не известные предыдущему человечеству! Органы вообще освободили себя от труда искать доказательства! Пойманный кролик, трясущийся и бледный, не имеющий права никому написать, никому позвонить по телефону, ничего принести с воли, лишённый сна, еды, бумаги, карандаша и даже пуговиц, посаженный на голую табуретку в углу кабинета, должен сам изыскать и разложить перед бездельником-следователем доказательства, что не имел враждебных *намерений!* И если он не изыскивал их (а откуда ж он мог их добыть), то тем самым и приносил следствию *приблизительные* доказательства своей виновности!

Я знал случай, когда один старик, побывавший в немецком плену, всё же сумел, сидя на этой голой табуретке и разводя голыми пальцами, доказать своему монстру-следователю, что не

изменил родине и даже н е имел такого намерения! Скандальный случай! Что ж, его освободили? Как бы не так!— он всё рассказывал мне в Бутырках, не на Тверском бульваре. К основному следователю тогда присоединился второй, они провели со стариком тихий вечер воспоминаний, а затем вдвоём подписали *свидетельские* показания, что в этот вечер голодный засыпающий старик вёл среди них антисоветскую агитацию! Спроста было говорено, да не спроста слушано! Старика передали третьему следователю. Тот снял с него неосновательное обвинение в измене родине, но аккуратно оформил ему ту же десятку за антисоветскую агитацию на следствии.

Перестав быть поисками истины, следствие стало для самих следователей в трудных случаях — отбыванием палаческой обязанности, в лёгких — простым проведением времени, основанием для получения зарплаты.

А лёгкие случаи были всегда — даже в пресловутом 1937 году. Например Бородко обвинялся в том, что за 16 лет до этого ездил к своим родителям в Польшу и тогда не брал заграничного паспорта (а папаша с мамашей жили в десяти верстах от него, но дипломаты подписали ту Белоруссию отдать Польше, люди же в 1921 не привыкли и по-старому ещё ездили). Следствие заняло полчаса: Ездил?— Ездил.— Как?— Да на лошади.— Получи 10 лет КРД! (КонтрРеволюционная Деятельность.)

Но такая быстрота отдаёт стахановским движением, которое не нашло последователей среди голубых фуражек. По процессуальному кодексу полагалось на всякое следствие два месяца, а при затруднениях в нём разрешалось просить у прокуроров продления несколько раз ещё по месяцу (и прокуроры, конечно, не отказывали). Так глупо было бы переводить своё здоровье, не воспользоваться этими оттяжками и, по-заводскому говоря, вздувать свои собственные нормы. Потрудившись горлом и кулаком в первую ударную неделю всякого следствия, порасходовав свою волю и *характер* (по Вышинскому), следователи заинтересованы были дальше каждое дело растягивать, чтобы побольше было дел старых, спокойных, и поменьше новых. Просто неприлично считалось закончить политическое следствие в два месяца.

Государственная система сама себя наказывала за недоверчивость и негибкость. Отборным кадрам — и тем не доверяла: наверно, и их самих наставляла отмечаться при приходе на службу и при уходе, а уж заключённых, вызываемых на следствие,— обязательно, для контроля. Что оставалось делать следователям, чтоб обеспечить бухгалтерские начисления? Вызвать кого-нибудь из своих подследственных, посадить в угол, задать какой-нибудь пугающий вопрос,— самим же забыть о нём, долго читать газету, писать конспект к политучёбе, частные письма, ходить в гости друг ко другу (вместо себя сажая полканами выводных). Мирно калякая на диване со своим пришедшим другом, следователь иногда опоминался, грозно взглядывал на подследственного и говорил:

— Вот гад! Вот он, гад редкий! Ну ничего, *девять грамм* для него не жалко!

Мой следователь ещё широко использовал телефон. Так, он звонил себе домой и говорил жене, сверкая в мою сторону глазами, что сегодня всю ночь будет допрашивать, так чтобы не ждала его раньше утра (моё сердце падало: значит меня всю ночь!). Но тут же набирал номер своей любовницы и в мурлычущих тонах договаривался приехать сейчас на ночь к ней (ну, поспим!— отлегало от моего сердца).

Так беспорочную систему смягчали только пороки исполнителей.

Иные, более любознательные следователи, любили использовать такие «пустые» допросы для расширения своего жизненного опыта: они расспрашивали подследственного о фронте (о тех самых немецких танках, под которые им было всё недосуг лечь); об обычаях европейских и заморских стран, где тот бывал; о тамошних магазинах и товарах; особенно же — о порядках в иностранных бардаках и о разных случаях с бабами.

По процессуальному кодексу считается, что за правильным ходом каждого следствия неусыпно наблюдает прокурор. Но никто в наше время в глаза не видел его до так называемого «допроса у прокурора», означавшего, что следствие подошло к самому концу. Свели на такой допрос и меня.

Подполковник Котов — спокойный, сытый, безличный блондин, ничуть не злой и ничуть не добрый, вообще никакой, сидел за столом и, зевая, в первый раз просматривал папку моего дела. Минут пятнадцать он ещё и при мне молча знакомился с ней (так как допрос этот был совершенно неизбежен и тоже регистрировался, то не имело смысла просматривать папку в другое, не регистрируемое, время, да ещё сколько-то часов держать подробности дела в памяти). Я думаю, он ничего там связно и не видел. Потом поднял на стену безразличные глаза и лениво спросил, что я имею добавить к своим показаниям.

Он должен был бы спросить: какие у меня есть претензии к ходу следствия? не было ли попирания моей воли и нарушений законности? Но так давно уж не спрашивали прокуроры. А если бы и спросили? Весь этот тысячекомнатный дом министерства и пять тысяч его следственных корпусов, вагонов, пещер и землянок, разбросанных по всему Союзу, только и жили нарушением законности, и не нам с ним было бы это повернуть. Да и все сколько-нибудь высокие прокуроры занимали свои посты с согласия той самой госбезопасности, которую . . . должны были контролировать.

Его вялость, и миролюбие, и усталость от этих бесконечных глупых *дел* как-то передались и мне. И я не поднял с ним вопросов истины. Я попросил только исправления одной нелепости: мы обвинялись по делу двое, но следовали нас порознь (меня в Москве, друга моего — на фронте), таким образом я шёл по делу *один*, обвинялся же по 11-му пункту, то есть, как *группа*. Я рассудительно попросил его снять этот добавок 11-го пункта.

Он ещё полистал дело минут пять, явно не нашёл там нашей *организации*, а всё равно вздохнул, развёл руками и сказал:

— Что ж? Один человек — человек, а два человека — люди.

И нажал кнопку, чтоб меня взяли.

Вскоре, поздним вечером позднего мая, в тот же прокурорский кабинет с фигурными бронзовыми часами на мраморной плите камина меня вызвал мой следователь на «двести шестую»— так, по статье УПК, называлась процедура просмотра дела самим подследственным и его последней подписи. Нимало не сомневаясь, что подпись мою получит, следователь уже сидел и строчил обвинительное заключение.

Я распахнул крышку толстой папки и уже на крышке изнутри в типографском тексте прочёл потрясающую вещь: что в ходе следствия я, оказывается, имел право приносить письменные жалобы на неправильное ведение следствия — и следователь обязан был эти мои жалобы хронологически подшивать в дело! В ходе следствия! Но не по окончании его...

Увы, о праве таком не знал ни один из тысяч арестантов, с которыми я позже сидел.

Я перелистывал дальше. Я видел фотокопии своих писем и совершенно извращённое истолкование их смысла неизвестными комментаторами (вроде капитана Либина). И видел гиперболизированную ложь, в которую капитан Езепов облёк мои осторожные показания.

— Я не согласен. Вы вели следствие неправильно,— не очень решительно сказал я.

— Ну что ж, давай всё сначала!— зловеще сжал он губы.— Закатаем тебя в такое место, где полицаев содержим.

И даже как бы протянул руку отобрать у меня том «дела». (Я его тут же пальцем придержал.)

Светило золотистое закатное солнце где-то за окнами пятого этажа Лубянки. Где-то был май. Окна кабинета, как все наружные окна министерства, были глухо притворены, даже не расклеены с зимы — чтобы парное дыхание и цветение не прорывались в потаённые эти комнаты. Бронзовые часы на камине, с которых ушёл последний луч, тихо отзвенели.

Сначала?.. Кажется, легче было умереть, чем начинать всё сначала. Впереди всё-таки обещалась какая-то жизнь. (Знал бы я — какая!..) И потом — это место, где полицаев содержат. И вообще не надо его сердить, от этого зависит, в каких тонах он напишет обвинительное заключение...

И я подписал. Подписал вместе с 11-м пунктом (уж «Резолюция» на него тянула). Я не знал тогда его веса, мне говорили только, что срока он не добавляет. Из-за 11-го пункта я попал в каторжный лагерь. Из-за 11-го же пункта я после «освобождения» был безо всякого приговора сослан навечно.

И может — лучше. Без того и другого не написать бы мне этой книги...

Мой следователь ничего не применял ко мне, кроме бессонницы, лжи и запугивания — методов совершенно законных. Поэтому он не нуждался, как из перестраховки делают нашкодившие следователи, подсовывать мне при 206-й статье и подписку о неразглашении: что я, имярек, обязуюсь под страхом уголовного наказания (неизвестно какой статьи) никогда никому не рассказывать о методах ведения моего следствия.

В некоторых областных управлениях НКВД это мероприятие проводилось серийно: отпечатанная подписка о неразглашении подсовывалась арестанту вместе с приговором ОСО. (И ещё потом при освобождении из лагеря — подписку, что никому не будет рассказывать о лагерных порядках.)

И что же? Наша привычка к покорности, наша согнутая (или сломленная) спина не давали нам ни отказаться, ни возмутиться этим бандитским методом хоронить концы.

Мы утеряли меру свободы. Нам нечем определить, где она начинается и где кончается. С нас берут, берут, берут эти нескончаемые подписки о неразглашении все, кому не лень.

Мы уже не уверены: имеем ли мы право рассказывать о событиях своей собственной жизни?

Глава 4

ГОЛУБЫЕ КАНТЫ

Во всей этой протяжке между шестерёнок великого Ночного Заведения, где перемалывается наша душа, а уж мясо свисает, как лохмотья оборванца,— мы слишком страдаем, углублены в свою боль слишком, чтобы взглядом просвечивающим и пророческим посмотреть на бледных ночных *катов*, терзающих нас. Внутреннее переполнение горя затопляет нам глаза — а то какие бы мы были историки для наших мучителей!— сами-то себя они во плоти не опишут. Но увы: всякий бывший арестант подробно вспомнит о своём следствии, как давили на него и какую мразь выдавили,— а следователя часто он и фамилии не помнит, не то чтобы задуматься об этом человеке о самом. Так и я о любом сокамернике могу вспомнить интересней и больше, чем о капитане госбезопасности Езепове, против которого я немало высидел в кабинете вдвоём.

Одно остаётся у нас общее и верное воспоминание: гниловища — пространства, сплошь поражённого гнилью. Уже десятилетия спустя, безо всяких приступов злости или обиды, мы отстоявшимся сердцем сохраняем это уверенное впечатление: низкие, злорадные, злочестивые и — может быть, запутавшиеся люди.

Известен случай, что Александр II, тот самый, обложенный революционерами, семижды искавшими его смерти, как-то посетил дом предварительного заключения на Шпалерной (дядю Большого Дома) и в одиночке 227 велел себя запереть, просидел больше часа — хотел вникнуть в состояние тех, кого он там держал.

Не отказать, что для монарха — движение нравственное, потребность и попытка взглянуть на дело духовно.

Но невозможно представить себе никого из наших следователей до Абакумова и Берии вплоть, чтоб они хоть и на час захотели влезть в арестантскую шкуру, посидеть и поразмыслить в одиночке.

Они по службе не имеют потребности быть людьми образованными, широкой культуры и взглядов — и они не таковы. Они по службе не имеют потребности мыслить логически — и они не таковы. Им по службе нужно только чёткое исполнение директив и бессердечность к страданиям — и вот это их, это есть. Мы, прошедшие через их руки, душно ощущаем их корпус, донага лишённый общечеловеческих представлений.

Кому-кому, но следователям-то было ясно видно, что *дела* — дуты! Они-то, исключая совещания, не могли же друг другу и себе серьёзно говорить, что разоблачают преступников? И всё-таки протоколы на наше сгноение писали за листом лист? Так это уж получается блатной принцип: «Умри ты сегодня, а я завтра!»

Они понимали, что дела — дуты, и всё же трудились за годом год. Как это?.. Либо заставляли себя не думать (а это уже разрушение человека), приняли просто: так надо! тот, кто пишет для них инструкции, ошибаться не может.

Но, помнится, и нацисты аргументировали так же?

От сравнения Гестапо — МГБ уклониться никому не дано: слишком совпадают и годы и методы. Ещё естественнее сравнивали те, кто сам прошел и Гестапо и МГБ, как Евгений Иванович Дивнич, эмигрант. Гестапо обвиняло его в коммунистической деятельности среди русских рабочих в Германии, МГБ — в связи с мировой буржуазией. Дивнич делал вывод не в пользу МГБ: истязали и там и здесь, но Гестапо всё же добивалось истины, и когда обвинение отпало — Дивнича выпустили. МГБ же не искало истины и не имело намерения кого-либо взятого выпускать из когтей.

Либо — Передовое Учение, гранитная идеология. Следователь в зловещем Оротукане (штрафной колымской командировке 1938 года), размягчась от лёгкого согласия М. Лурье, директора Криворожского комбината, подписать на себя второй лагерный срок, в освободившееся время сказал ему: «Ты думаешь, нам доставляет удовольствие применять *воздействие*? — (Это по-ласковому — пытки.) — Но мы должны делать то, что от нас требует партия. Ты старый член партии — скажи, что́ б ты делал на нашем месте?» И, кажется, Лурье с ним почти согласился (он, может, потому и подписал так легко, что уже сам так думал?). Ведь убедительно.

Но чаще того — цинизм. Голубые канты понимали ход мясорубки и любили его. Следователь Мироненко в Джидинских лагерях (1944) говорил обречённому Бабичу, даже гордясь рациональностью построения: «Следствие и суд — только юридическое оформление, они уже не могут изменить вашей участи, предначертанной заранее. Если вас нужно расстрелять, то будь вы абсолютно невинны — вас всё равно расстреляют. Если же вас нужно оправдать (это очевидно относится к своим — А. С.), то будь вы как угодно виноваты — вы будете обелены и оправданы.» — Начальник 1-го следственного отдела западно-казахстанского ОблГБ Кушнарёв так и отлил Адольфу Цивилько: «Да не выпускать же тебя, если ты ленинградец!» (то есть, со старым партийным стажем).

«Был бы человек — а *дело* создадим!» — это многие из них так шутили, это была их пословица. По-нашему — истязание, по их — хорошая работа. Жена следователя Николая Грабищенко (Волгоканал) умилённо говорила соседям: «Коля — очень хороший работник. Один долго не сознавался — поручили его Коле. Коля с ним ночь поговорил — и тот сознался.»

Отчего они все такою рьяной упряжкой включились в эту гонку не за истиной, а за цифрами обработанных и осуждённых? Потому что так им было всего у д о б н е е, не выбиваться из общей струи. Потому что цифры эти были — их спокойная жизнь, их дополнительная оплата, награды, повышение в чинах, расширение и благосостояние самих Органов. При хороших цифрах можно было и побездельничать, и похалтурить, и ночь погулять (как они и поступали). Низкие же цифры вели бы к разгону и разжалованию, к потере этой кормушки, — ибо Сталин не мог бы поверить, что в каком-то районе, городе или воинской части вдруг не оказалось у него врагов.

Так не чувство милосердия, а чувство задетости и озлобления вспыхивало в них по отношению к тем злоупорным арестантам,

которые не хотели складываться в цифры, которые не поддавались ни бессоннице, ни карцеру, ни голоду! Отказываясь сознаваться, они повреждали личное положение следователя! они как бы его *самого* хотели сшибить с ног! — и уж тут всякие меры были хороши! В борьбе как в борьбе! Шланг тебе в глотку, получай солёную воду!

По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору лишённые верхней сферы человеческого бытия, служители Голубого Заведения с тем большей полнотой и жадностью жили в сфере нижней. А там владели ими и направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней сферы: инстинкт власти и инстинкт наживы. (Особенно — власти. В наши десятилетия она оказалась важнее денег.)

Власть — это яд, известно тысячелетия. Да не приобрёл бы никто и никогда материальной власти над другими! Но для человека с верою в нечто высшее надо всеми нами, и потому с сознанием своей ограниченности, власть ещё не смертельна. Для людей без верхней сферы власть — это трупный яд. Им от этого заражения — нет спасенья.

Помните, что пишет о власти Толстой? Иван Ильич занял такое служебное положение, при котором имел возможность *погубить всякого человека, которого хотел погубить! Все без исключения люди были у него в руках, любого самого важного можно было привести к нему в качестве обвиняемого.* (Да ведь это про наших голубых! Тут и добавлять нечего!) Сознание этой власти («и возможность её смягчить» — оговаривает Толстой, но к нашим парням это уж никак не относится) составляло для него *главный интерес и привлекательность службы.*

Что́ там привлекательность! — *упоительность!* Ведь это же упоение — ты ещё молод, ты, в скобках скажем, сопляк, совсем недавно горевали с тобой родители, не знали, куда тебя пристроить, такой дурак и учиться не хочешь, но прошёл ты три годика *того* училища — и как же ты взлетел! как изменилось твоё положение в жизни! как движенья твои изменились, и взгляд, и поворот головы! Заседает учёный совет института — ты входишь, и все замечают, все вздрагивают даже; ты не лезешь на председательское место, там пусть ректор распинается, ты сядешь сбоку, но все понимают, что главный тут — ты, спецчасть. Ты можешь пять минут посидеть и уйти, в этом твоё преимущество перед профессорами, тебя могут звать более важные дела,— но потом над их решением ты поведёшь бровями (или даже лучше губами) и скажешь ректору: «Нельзя. Есть *соображения...*» И всё! И не будет!— Или ты особист, смершевец, всего лейтенант, но старый дородный полковник, командир части, при твоём входе встаёт, он старается льстить тебе, угождать, он с начальником штаба не выпьет, не пригласив тебя. Это ничего, что у тебя две малых звёздочки, это даже забавно: ведь твои звёздочки имеют совсем

другой вес, измеряются совсем по другой шкале, чем у офицеров обыкновенных (и иногда, в спецпоручениях, вам разрешается нацепить например и майорские, это как псевдоним, как условность). Над всеми людьми этой воинской части, или этого завода, или этого района ты имеешь власть, идущую несравненно глубже, чем у командира, у секретаря райкома. Те распоряжаются их службой, заработками, добрым именем, а ты — их свободой. И никто не посмеет сказать о тебе на собрании, никто не посмеет написать о тебе в газете — да не только плохо! и *хорошо* — не посмеют!! Тебя, как сокровенное божество, и упоминать даже нельзя! Ты — есть, все чувствуют тебя!— но тебя как бы и нет! И поэтому — ты выше открытой власти с тех пор, как прикрылся этой небесной фуражкой. Что ты делаешь — никто не смеет проверить, но всякий человек подлежит твоей проверке. Оттого перед простыми так называемыми гражданами (а для тебя — просто чурками) достойнее всего иметь загадочное глубокомысленное выражение. Ведь один ты знаешь *спецсоображения*, больше никто. И поэтому ты всегда прав.

В одном только никогда не забывайся: и ты был бы такой же чуркой, если б не посчастливилось тебе стать звёнышком Органов — этого гибкого, цельного, живого существа, обитающего в государстве, как солитёр в человеке,— и всё твоё теперь! всё для тебя! — но только будь верен Органам! За тебя всегда заступятся! И всякого обидчика тебе помогут проглотить! И всякую помеху упразднить с дороги! Но — будь верен Органам! Делай всё, что велят! Обдумают за тебя и твоё место: сегодня ты спецчасть, а завтра займёшь кресло следователя, а потом может быть поедешь краеведом на озеро Селигер (1931, Ильин), отчасти может быть чтобы подлечить нервы. А потом может быть из города, где ты уж слишком прославишься, ты поедешь в другой конец страны уполномоченным по делам церкви (лютый ярославский следователь Волкопялов — уполномоченный по делам церкви в Молдавии). Или станешь ответственным секретарём Союза писателей (другой Ильин, Виктор Николаевич, бывший генерал-лейтенант госбезопасности). Ничему не удивляйся: истинное назначение людей и истинные ранги людям знают только Органы, остальным просто дают поиграть: какой-нибудь там заслуженный деятель искусства или герой социалистических полей, а — дунь, и нет его. («Ты — кто?»— спросил генерал Серов в Берлине всемирно-известного биолога Тимофеева-Ресовского. «А ты — кто?» — не растерялся Тимофеев-Ресовский со своей наследственной казацкой удалью. «Вы — учёный?»— поправился Серов.)

Работа следователя требует, конечно, труда: надо приходить днём, приходить ночью, высиживать часы и часы,— но не ломай себе голову над «доказательствами» (об этом пусть у подследственного голова болит), не задумывайся — виноват, не виноват, — делай так, как нужно Органам, и всё будет хорошо. От тебя самого уже будет зависеть провести следствие поприятнее, не очень утомиться, хорошо бы чем-нибудь поживиться, а то — хоть

развлечься. Сидел-сидел, вдруг выдумал новое воздействие! — эврика! — звони по телефону друзьям, ходи по кабинетам, рассказывай — смеху-то сколько! давайте попробуем, ребята, на ком? Ведь скучно всё время одно и то же, скучны эти трясущиеся руки, умоляющие глаза, трусливая покорность — ну хоть посопротивлялся бы кто-нибудь! «Люблю сильных противников! Приятно переламывать им хребет!» (Сказал Г. Г-ву ленинградский следователь Шитов.)

А если такой сильный, что никак не сдаётся, все твои приёмы не дают результата? Ты взбешён?— и не сдерживай бешенства! Это огромное удовольствие, это полёт!— распустить своё бешенство, не знать ему преград! Вот в таком состоянии и плюют проклятому подследственному в раскрытый рот! и втискивают его лицом в полную плевательницу! (Случай с Васильевым у Иванова-Разумника.) Вот в таком состоянии и таскают священников за косы! и мочатся в лицо поставленному на колени! После бешенства чувствуешь себя настоящим мужчиной!

Или допрашиваешь «девушку за иностранца» (Эсфирь Р., 1947). Ну, поматюгаешь её, ну спросишь: «А что, у американца — ... гранёный, что ли? Чего тебе, русских было мало?» И вдруг идея: она у этих иностранцев нахваталась кое-чего. Не упускай случай, это вроде заграничной командировки! И с пристрастием начинаешь её допрашивать: *как?* в каких положениях?.. а ещё в каких?.. подробно! каждую мелочь! (И себе пригодится, и ребятам расскажу!) Девка и в краске, и в слезах, мол это к делу не относится — «нет, относится! говори!». И вот что такое твоя власть! — она всё тебе подробно рассказывает, хочешь нарисует, хочешь и телом покажет, у неё выхода нет, в твоих руках её карцер и её срок.

Заказал ты (следователь Похилько, Кемеровское ГБ) стенографистку записывать допрос — прислали хорошенькую, тут же и лезь ей за пазуху при подследственном пацане (школьник Миша Б.) — его, как не человека, и стесняться нечего.

Да кого тебе вообще стесняться? Да если ты любишь баб (а кто их не любит?) — дурак будешь, не используешь своего положения. Одни потянутся к твоей силе, другие уступят по страху. Встретил где-нибудь девку, наметил — будет твоя, никуда не денется. Чужую жену любую отметил — твоя!— потому что мужа убрать ничего не составляет.

Давно у меня есть сюжет рассказа «Испорченная жена». Но, видно, не соберусь написать, вот он. В одной авиационной дальневосточной части перед корейской войной некий подполковник, вернувшись из командировки, узнал, что жена его в больнице. Случилось так, что врачи не скрыли от него: её половая область повреждена от патологического обращения. Подполковник кинулся к жене и добился признания, что это — особист их части, старший лейтенант (впрочем, кажется, не без склонности с её стороны). В ярости подполковник побежал к особисту в кабинет, выхватил пистолет и угрожал убить. Но очень скоро старший лейтенант заставил его согнуться и выйти побитым и жалким: угрозил, что сгноит его в самом ужасном лагере, что тот будет молиться о смерти без мучений. Он приказал ему принять жену какая она есть (что-то было нарушено бесповоротно), жить с ней, не сметь разводиться и не сметь жаловаться — и это цена того, что он

останется на воле! И подполковннк всё выполннл. (Рассказаію мне шофёром этого особнста.)

Подобных случаев должио быть немало: это — та область, где особеиио замаичиво употребить власть. Однн гебист заставил (1944) дочь армейского генерала выйти за себя замуж угрозой, что ииаче посадит отца. У девушкн был женнх, ио, спасая отца, оиа вышла замуж за гебиста. В коротком замужестве вела дневник, отдала его возлюбленному н коичила с собой.

Нет, это надо пережить — что́ значит быть голубою фуражкой! Любая вещь, какую увидел — твоя! Любая квартира, какую высмотрел — твоя! Любая баба — твоя! Любого врага — с дороги! Земля под ногою — твоя! Небо над тобой — твоё, голубое!!

А уж страсть нажиться — их всеобщая страсть. Как же не использовать такую власть и такую бесконтрольность для обогащения? Да это святым надо быть!..

Если бы дано нам было узнавать скрытую движущую силу отдельных арестов — мы бы с удивлением увидели, что при общей закономерности *сажать*, частный выбор, *кого* сажать, личный жребий в трёх четвертях случаев зависел от людской корысти и мстительности, и половина тех случаев — от корыстных расчётов местного НКВД (и прокурора, конечно, не будем их отделять).

Как началось, например, 19-летнее путешествие Василия Григорьевича Власова на Архипелаг? С того случая, что он, заведующий Райпо, устроил продажу мануфактуры для партактива (что — не для народа, никого не смутило), а жена прокурора не смогла купить: не оказалось её тут же, сам же прокурор Русов подойти к прилавку постеснялся, и Власов не догадался — «я, мол, вам оставлю» (да он по характеру никогда б и не сказал так). И ещё: привёл прокурор Русов в закрытую партстоловую приятеля, не имевшего прикрепления туда (то есть, чином пониже), а заведующий столовой не разрешил подать приятелю обед. Прокурор потребовал от Власова наказать его, а Власов не наказал. И ещё, так же горько, оскорбил он райНКВД. И присоединён был к правой оппозиции!..

Соображения и действия голубых кантов бывают такие мелочные, что диву даёшься. Оперуполномоченный Сенченко забрал у арестованного армейского офицера планшетку и полевую сумку и при нём же пользовался. У другого арестованного с помощью протокольной хитрости изъял заграничные перчатки. (При наступлении то́ их особенно травило, что не их трофеи — первые.) Контрразведчик 48-й армии, арестовавший меня, позарился на мой портсигар — да не портсигар даже, а какую-то немецкую служебную коробочку, но заманчивого алого цвета. И из-за этого дерьма он провел целый служебный маневр: сперва не внёс её в протокол («это можете оставить себе»), потом велел меня снова обыскать, заведомо зная, что ничего больше в карманах нет, «ах, вот что? отобрать!» — и чтоб я не протестовал: «в карцер его!» (Какой царский жандарм смел бы так поступить с защитником отечества?) — Каждому следователю выписывалось какое-то коли-

чество папирос для поощрения сознающихся и стукачей. Были такие, что все эти папиросы гребли себе. — Даже на часах следствия — на ночных часах, за которые им платят повышенно, они жульничают: мы замечали на ночных протоколах растянутый срок «от» и «до».— Следователь Фёдоров (станция Решеты, п/я 235) при обыске на квартире у вольного Корзухина сам украл наручные часы.— Следователь Николай Фёдорович Кружков во время ленинградской блокады заявил Елизавете Викторовне Страхович, жене своего подследственного К. И. Страховича: «Мне нужно ватное одеяло. Принесите мне!» Она ответила: «Та комната опечатана, где у меня тёплые вещи.» Тогда он поехал к ней домой; не нарушая гебистской пломбы, отвинтил всю дверную ручку («вот так работает НКГБ!» — весело пояснял ей) и оттуда стал брать у неё тёплые вещи, по пути ещё совал в карманы хрусталь (Е. В. в свою очередь тащила, что могла, своего же. «Довольно вам таскать!» — останавливал он, а сам тащил.)

В 1954 эта энергичная и неумолимая женщина (муж всё простил, даже смертный приговор, и отговаривал: не надо!) выступала против Кружкова свидетелем на суде. Поскольку у Кружкова случай был не первый и нарушались интересы Органов, он получил 25 лет. Уж там надолго ли? . .

Подобным случаям нет конца, можно издать тысячу «Белых книг» (и начиная с 1918 года), только систематически расспросить бывших арестантов и их жён. Может быть и есть и были голубые канты, никогда не воровавшие, ничего не присвоившие,— но я себе такого канта решительно не представляю! Я просто не понимаю: при его системе взглядов что может его удержать, если вещь ему понравилась? Ещё в начале 30-х годов, когда мы ходили в юнгштурмах и строили первую пятилетку, а они проводили вечера в салонах на дворянски-западный манер вроде квартиры Конкордии Иоссе, их дамы уже щеголяли в заграничных туалетах — откуда же это бралось?

Вот их фамилии — как будто по фамилиям их на работу берут! Например в кемеровском ОблГБ в начале 50-х годов: прокурор Трутнев, начальник следственного отдела майор Шкуркин, его заместитель подполковник Баландин, у них следователь Скорохватов. Ведь не придумаешь! Это сразу все вместе! (О Волкопялове и Грабищенке уж я не повторяю.) Совсем ли ничего не отражается в людских фамилиях и таком сгущении их?

Опять же арестантская память: забыл Иван Корнеев фамилию того полковника ГБ, друга Конкордии Иоссе (их общей знакомой, оказалось), с которым вместе сидел во Владимирском изоляторе. Этот полковник — слитное воплощение инстинкта власти и инстинкта наживы. В начале 1945 года, в самое дорогое «трофейное» время, он напросился в ту часть Органов, которые (во главе с самим Абакумовым) контролировали этот грабёж, то есть старались побольше оттяпать не государству, а себе (и очень преуспели). Наш герой отметал целыми вагонами, построил несколько дач (одну в Клину). После войны у него был такой размах, что, прибыв

на новосибирский вокзал, он велел выгнать всех сидевших в ресторане, а для себя и своих собутыльников — согнать девок и баб, и голыми заставил их танцевать на столах. Но и это б ему обошлось, да нарушен был у него другой важный закон, как и у Кружкова: он пошёл против *своих*. Тот обманывал Органы, а этот пожалуй ещё хуже: заключал пари на соблазнение жён не чьих-нибудь, а своих товарищей по оперчекистской работе. И не простили! — посажен был в политизолятор со статьёй 58-й! Сидел злой на то, как смели его посадить, и не сомневался, что ещё передумают. (Может, и передумали.)

Эта судьба роковая — сесть самим, не так уж редка для голубых кантов, настоящей страховки от неё нет, но почему-то они плохо ощущают уроки прошлого. Опять-таки, наверно, из-за отсутствия верхнего разума, а нижний ум говорит: редко когда, редко кого, меня минует да и свои не оставят.

Свои, действительно, стараются в беде не оставлять, есть условие у них немое: своим устраивать хоть содержание льготное (полковнику И. Я. Воробьёву в марфинской спецтюрьме, всё тому же В. И. Ильину на Лубянке — более 8 лет). Тем, кто садится поодиночке, за свои личные просчёты, благодаря этой кастовой предусмотрительности бывает обычно неплохо, и так оправдывается их повседневное в службе ощущение безнаказанности. Известно, впрочем, несколько случаев, когда лагерные оперуполномоченные кинуты были отбывать срок в общие лагеря, даже встречались со своими бывшими подвластными зэками, и им приходилось худо (например, опер Муншин, люто ненавидевший Пятьдесят Восьмую и опиравшийся на блатарей, был этими же блатарями загнан под нары). Однако у нас нет средств узнать подробней об этих случаях, чтобы иметь возможность их объяснить.

Но всем рискуют те гебисты, кто попадает в *поток* (и у них свои потоки!..). Поток — это стихия, это даже сильнее самих Органов, и тут уж никто тебе не поможет, чтобы не быть и самому увлечённому в ту же пропасть.

Ещё в последнюю минуту, если у тебя хорошая информация и острое чекистское сознание, можно уйти из-под лавины, доказав, что ты к ней не относишься. Так, капитан Саенко (не тот харьковский столяр-чекист 1918-19 года, знаменитый расстрелами, сверлением шашкой в теле, перебивкой голеней, плющением голов гирями и прижиганием,* — но может быть родственник?) имел слабость жениться по любви на ка-вэ-жэ-динке Коханский. И вдруг ещё при рождении волны он узнаёт: будут сажать ка-вэ-жэ-динцев. Он в это время был начальником оперчекотдела в архангельском ГПУ. Ни минуты не теряя, что сделал он? — *посадил любимую жену!* — и даже не как ка-вэ-жэ-динку, состряпал на неё дело. И не только уцелел — в гору пошёл, стал начальником томского НКВД. (Тоже сюжет, сколько их тут! — может придутся кому-нибудь.)

---

* Роман Гуль. «Дзержинский». Париж, 1936

Потоки рождались по какому-то таинственному закону обновления Органов — периодическому малому жертвоприношению, чтоб оставшимся принять вид очищенных. Органы должны были сменяться быстрее, чем идёт нормальный рост и старение людских поколений: какие-то косяки гебистов должны были класть головы с неуклонностью, с которой осётр идёт погибать на речных камнях, чтобы замениться мальками. Этот закон был хорошо виден верхнему разуму, но сами голубые никак не хотели этот закон признать и предусмотреть. И короли Органов, и тузы Органов, и сами министры в звёздный назначенный час клали голову под свою же гильотину.

Один косяк увёл за собой Ягода. Вероятно много тех славных имён, которыми мы ещё будем восхищаться на Беломорканале, попали в этот косяк, а фамилии их потом вычёркивались из поэтических строчек.

Второй косяк очень вскоре потянул недолговечный Ежов. Кое-кто из лучших рыцарей 37-го года погиб в той струе (но не надо преувеличивать, далеко-далеко не все лучшие). Самого Ежова под следствием били, выглядел он жалким. Осиротел при таких посадках и ГУЛАГ. Например, одновременно с Ежовым сели и начальник ФинУпра ГУЛАГа, и начальник СанУпра ГУЛАГа, и начальник ВОХРы* ГУЛАГа, и даже начальник ОперЧекОтдела ГУЛАГа — начальник всех лагерных кумовьёв!

И потом был косяк Берии.

А грузный самоуверенный Абакумов споткнулся раньше того, отдельно.

Историки Органов когда-нибудь (если архивы не сгорят) расскажут нам это шаг за шагом — и в цифрах и в блеске имён.

А я здесь лишь немного — об истории Рюмина — Абакумова, ставшей мне известной случайно. (Не буду повторять того, что удалось сказать о них в другом месте.**)

Возвышенный Абакумовым и приближенный Абакумовым, Рюмин пришёл к нему в конце 1952 с сенсационным сообщением, что профессор-врач Этингер сознался в неправильном лечении (с целью умерщвления) Жданова и Щербакова. Абакумов отказался поверить, просто знал он эту кухню и решил, что Рюмин забирает слишком. (А Рюмин-то лучше чувствовал, чего хочет Сталин!) Для проверки устроили в тот же вечер перекрестный допрос Этингеру и вынесли из него разный вывод: Абакумов — что никакого «дела врачей» нет, Рюмин — что есть. Утром бы проверить ещё раз, но по чудесным особенностям Ночного Заведения Этингер *той же ночью умер*! Тем же утром Рюмин, минуя Абакумова и без его ведома, позвонил в ЦК и попросил приёма у Сталина! (Я думаю, не это был его самый решительный шаг. Решительный, после которого уже голова стояла на кону, был — накануне не согласиться с Абакумо-

* ВОХР — Военизированная Охрана, прежде — Внутренняя Охрана Республики.

** «В круге первом».

вым, а может быть ночью убить Этингера. Но кто знает тайны этих Дворов! — а может быть контакт со Сталиным был и ещё раньше?) Сталин принял Рюмина, дал ход делу врачей, а Абакумова арестовал. Дальше Рюмин вёл дело врачей как бы самостоятельно и вопреки даже Берии! (Есть признаки, что перед смертью Сталина Берия был в угрожаемом положении — и может через него-то Сталин и был убран.) Одним из первых шагов нового правительства был отказ от дела врачей. Тогда был арестован Рюмин (ещё при власти Берии), но Абакумов не освобождён! На Лубянке вводились новые порядки, и впервые за всё время её существования порог её переступил прокурор (Д. П. Терехов). Рюмин вёл себя суетливо, угодливо, «я не виноват, зря сижу», просился на допрос. По своей манере сосал леденец и на замечание Терехова выплюнул на ладонь: «Извините.» Абакумов, как мы уже упомянули, расхохотался: «Мистификация!» Терехов показал своё удостоверение на проверку Внутренней тюрьмы МГБ. «Таких можно сделать пятьсот!» — отмахнулся Абакумов. Его как «патриота ведомства» больше всего оскорбляло даже не то, что он — сидит, а что покушаются ущемить Органы, которые ничему на свете не могут быть подчинены! В июле 1954 Рюмин был судим (в Москве) и расстрелян. А Абакумов продолжал сидеть! На допросе он говорил Терехову: «У тебя слишком красивые глаза, *мне будет жаль тебя расстреливать!* Уйди от моего дела, уйди по-хорошему.»* Однажды Терехов вызвал его и дал прочесть газету с сообщением о разоблачении Берии. Это была тогда сенсация почти космическая. Абакумов же прочёл, не дрогнув бровью, перевернул лист и стал читать о спорте! В другой раз, когда при допросе присутствовал крупный гебист, подчинённый Абакумова в недавнем прошлом, Абакумов его спросил: «Как вы могли допустить, что следствие по делу Берии вело не МГБ, а прокуратура?! — (Его гвоздило всё своё!) — И ты веришь, что меня, министра госбезопасности, будут судить?!» — «Да.» — «Тогда надевай цилиндр, Органов больше нет! . .» (Он, конечно, слишком мрачно смотрел на вещи, необразованный фельдъегерь.) Не суда боялся Абакумов, сидя на Лубянке, он боялся отравления (опять-таки, достойный сын Органов!). Он стал нацело отказываться от тюремной пищи и ел только яйца, которые покупал из ларька. (Здесь у него не хватало технического соображения, он думал, что яйца нельзя отравить.) Из богатейшей лубянской тюремной библиотеки он брал книги ... только Сталина (посадившего его)! Ну, это скорей была демонстрация или расчёт, что сторонники Сталина не могут не взять верха. Просидеть ему пришлось два года. Почему его не выпускали? Вопрос не наивный. Если мерить по преступлениям против человечности, он был в крови выше головы, но не он же один! А те все остались благополучны. Тайна и тут: есть слух

* Вообще, Д. П. Терехов — человек незаурядной воли и смелости (суды над крупными сталинистами в шаткой обстановке требовали её), да и живого ума. Будь хрущёвские реформы последовательней, Терехов мог бы отличиться в них. Так не состаиваются у нас исторические деятели.

глухой, что в своё время он лично избивал Любу Седых, невестку Хрущёва, жену его старшего сына, осуждённого при Сталине к штрафбату и погибшего там. Оттого-то, посаженный Сталиным, он был при Хрущёве судим (в Ленинграде) и 18 декабря 1954 года расстрелян.*

А тосковал он зря: Органы ещё от того не погибли.

* * *

Но, как советует народная мудрость: говори на волка, говори и по волку.

Это волчье племя — откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? не нашей крови?

Чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе — палачом таким не стал бы и я?

Это — страшный вопрос, если отвечать на него честно.

Я вспоминаю третий курс университета, осень 1938 года. Нас, мальчиков-комсомольцев, вызывают в райком комсомола раз и второй раз и, почти не спрашивая о согласии, суют нам заполнять анкеты: дескать, довольно с вас физматов, химфаков, Родине нужней, чтобы шли вы в училища НКВД. (Ведь это всегда так, что не кому-то там нужно, а самой Родине, за неё же всё знает и говорит какой-нибудь чин.)

Годом раньше тот же райком вербовал нас в авиационные училища. И мы тоже отбивались (жалко было университет бросать), но не так стойко, как сейчас.

Через четверть столетия можно подумать: ну да, вы понимали, какие вокруг кипят аресты, как мучают в тюрьмах и в какую грязь вас втягивают. Нет!! Ведь воронки ходили ночью, а мы были — эти, дневные, со знамёнами. Откуда нам знать и почему думать об арестах? Что сменили всех областных вождей — так для нас это было решительно всё равно. Посадили двух-трёх профессоров, так мы ж с ними на танцы не ходили, а экзамены ещё легче будет сдавать. Мы, двадцатилетние, шагали в колонне ровесников Октября, и, как ровесников, нас ожидало самое светлое будущее.

Легко не очертишь то внутреннее, никакими доводами не обоснованное, что мешало нам согласиться идти в училище НКВД. Это совсем не вытекало из прослушанных лекций по истмату: из них ясно было, что борьба против внутреннего врага — горячий фронт, почётная задача. Это противоречило и нашей практической выгоде: провинциальный университет в то время ничего не мог нам обещать, кроме сельской школы в глухом краю да скудной зарплаты; училища НКВД сулили пайки и двойную-тройную зарплату. Ощущаемое нами не имело слов (а если б и имело, то, по опасению, не могло быть друг другу названо). Сопротивлялась какая-то вовсе

* Ещё из его вельможных чудачеств: с начальником своей охраны Кузнецовым переодевался в штатское, шёл по Москве пешком и по прихоти делал подачки из чекистских оперативных сумм. Подаяние на облегчение души?

не головная, а грудная область. Тебе могут со всех сторон кричать: «надо!», и голова твоя собственная тоже: «надо!», а грудь отталкивается: не хочу, воро́тит. Без меня как знаете, а я не участвую.

Это очень издали шло, пожалуй от Лермонтова. От тех десятилетий русской жизни, когда для порядочного человека откровенно и вслух не было службы хуже и гаже жандармской. Нет, ещё глубже. Сами того не зная, мы откупались медяками и гривнами от разменеиных прадедовских золотых, от того времени, когда нравственность ещё не считалась относительной, и добро и зло различались просто сердцем.

Всё же кое-кто из нас завербовался тогда. Думаю, что если б очень крепко нажали,— сломили б нас и всех. И вот я хочу вообразить: если бы к войне я был бы уже с кубарями в голубых петлицах — что б из меня вышло? Можно, конечно, теперь себя обласкивать, что моё ретиво́е бы не стерпело, я бы там возражал, хлопнул дверью. Но, лёжа на тюремных нарах, стал я как-то перепглядывать свой действительный офицерский путь — и ужаснулся.

Я попал в офицеры не прямо студентом, за интегралами зачуханным, но перед тем прошёл полгода угнетённой солдатской службы и как будто довольно через шкуру был пронят, что значит с подведенным животом всегда быть готовым к повиновению людям, тебя может быть и не достойным. А потом ещё полгода потерзали в училище. Так должен был я навсегда усвоить горечь солдатской службы, как шкура на мне мёрзла и обдиралась? Нет. Прикололи в утешение две звёздочки на погон, потом третью, четвёртую,— всё забыл!

Но хотя бы сохранил я студенческое вольнолюбие? Так у нас его отроду не было. У нас было строелюбие, маршелюбие.

Хорошо помню, что именно с офицерского училища я испытал радость опрощения: быть военным человеком и не задумываться. Радость погружения в то, *как все* живут, как принято в нашей военной среде. Радость забыть какие-то душевные тонкости, взращённые с детства.

Постоянно в училище мы были голодны, высматривали, где бы тяпнуть лишний кусок, ревниво друг за другом следили — кто словчил. Больше всего боялись не доучиться до кубиков (слали недоучившихся под Сталинград). А учили нас — как молодых зверей: чтоб обозлить больше, чтоб нам потом отыграться на ком-то хотелось. Мы не высыпались — так после отбоя могли заставить в одиночку (под команду сержанта) строевой ходить — это в наказание. Или ночью поднимали весь взвод и строили вокруг одного нечищенного сапога: вот! он, подлец, будет сейчас чистить и пока не до блеска — будете все стоять.

И в страстном ожидании кубарей мы отрабатывали тигриную офицерскую походку и металлический голос команд.

И вот — навинчены были кубики! И через какой-нибудь месяц, формируя батарею в тылу, я уже заставил своего нерадивого солдатика Бербенёва шагать после отбоя под команду непокорного мне сержанта Метлина ... (Я это — забыл, я искренне это всё

забыл годами! Сейчас над листом бумаги вспоминаю...) И какой-то старый полковник из случившейся ревизии вызвал меня и стыдил. А я (это после университета!) оправдывался: нас в училище так учили. То есть, значит: какие могут быть общечеловеческие взгляды, раз мы в армии?

(А уж тем более в Органах? . .)

Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье.

Я метал подчинённым бесспорные приказы, убеждённый, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть возвышала меня. Сидя, выслушивал я их, стоящих по «смирно». Обрывал, указывал. Отцов и дедов называл на «ты» (они меня на «вы», конечно). Посылал их под снарядами сращивать разорванные провода, чтобы только шла звуковая разведка и не попрекнуло начальство (Андреяшин так погиб). Ел своё офицерское масло с печеньем, не раздумываясь, почему оно мне положено, а солдату нет. Уж конечно был у нас на двоих денщик (а по-благородному — «ординарец»), которого я так и сяк озабочивал и понукал следить за моею персоной и готовить нам всю еду отдельно от солдатской. (А ведь у лубянских следователей ординарцев нет, этого на них не скажем.) Заставлял солдат горбить, копать мне особые землянки на каждом новом месте и накатывать туда бревёшки потолще, чтобы было мне удобно и безопасно. Да ведь позвольте, да ведь и гауптвахта в моей батарее бывала, да!— в лесу какая?— тоже ямка, ну получше гороховецкой дивизионной, потому что крытая и идёт солдатский паёк, а сидел там Вьюшков за потерю лошади и Попков за дурное обращение с карабином. Да позвольте же!— ещё вспоминаю: сшили мне планшетку из немецкой кожи (не человеческой, нет, из шофёрского сидения), а ремешка не было. Я тужил. Вдруг на каком-то партизанском комиссаре (из местного райкома) увидели такой как раз ремешок — и сняли: мы же армия, мы — старше! (Сенченко, оперативника, помните?) Ну, наконец, и портсигара своего алого трофейного я жадовал, то-то и запомнил, как отняли . . .

Вот что с человеком делают погоны. И куда те внушения бабушки перед иконкой! И — куда те пионерские грёзы о будущем святом Равенстве!

И когда на КП комбрига смершевцы сорвали с меня эти проклятые погоны, и ремень сняли, и толкали идти садиться в их автомобиль, то и в своей перепрокинутой судьбе я ещё тем был очень уязвлён, как же это я в таком разжалованном виде буду проходить комнату телефонистов — ведь рядовые не должны были видеть меня таким!

На другой день после ареста началась моя пешая Владимирка: из армейской контрразведки во фронтовую отправлялся этапом очередной улов. От Остероде до Бродниц гнали нас пешком.

Когда меня из карцера вывели строиться, арестантов уже стояло семеро, в три с половиной пары, спинами ко мне. Шестеро из них были в истёртых, всё видавших русских солдатских шинелях, в спины которых несмываемой белой краской было крупно въедено: «SU». Это значило «Sowjet Union», я уже знал эту метку, не раз встречал её на спинах наших русских военнопленных, печально-виновато бредших навстречу *освободившей* их армии. Их освободили, но не было взаимной радости в этом освобождении: соотечественники косились на них угрюмее, чем на немцев, а в недалёком тылу вот что, значит, было с ними: их сажали в тюрьму.

Седьмой же арестант был гражданский немец в чёрной тройке, в чёрном пальто, в чёрной шляпе. Он был уже за пятьдесят, высок, холён, с белым лицом, взращённым на беленькой пище.

Меня поставили в четвёртую пару, и сержант татарин, начальник конвоя, кивнул мне взять мой опечатанный, в стороне стоявший чемодан. В этом чемодане были мои офицерские вещи и всё письменное, взятое при мне,— для моего осуждения.

То есть, как — чемодан? Он, сержант, хотел, чтобы я, офицер, взял и нёс чемодан? то есть, громоздкую вещь, запрещённую новым внутренним уставом? а рядом с порожними руками шли бы шесть рядовых? И — представитель побеждённой нации?

Так сложно я всего не выразил сержанту, но сказал:

— Я — офицер. Пусть несёт немец.

Никто из арестантов не обернулся на мои слова: оборачиваться было воспрещено. Лишь сосед мой в паре, тоже SU, посмотрел на меня с удивлением (когда они покидали нашу армию, она ещё была не такая).

А сержант контрразведки не удивился. Хоть в глазах его я, конечно, не был офицер, но выучка его и моя совпадали. Он подозвал ни в чём не повинного немца и велел нести чемодан ему, благо тот и разговора нашего не понял.

Все мы, остальные, взяли руки за спину (при военнопленных не было ни мешочка, с пустыми руками они с родины ушли, с пустыми и возвращались), и колонна наша из четырёх пар в затылок тронулась. Разговаривать с конвоем нам не предстояло, разговаривать друг с другом было наотрез запрещено, в пути ли, на привалах или на ночёвках . . . Подследственные, мы должны были идти как бы с незримыми перегородками, как бы удавленные каждый своей одиночной камерой.

Стояли сменчивые ранне-весенние дни. То распространялся реденький туман, и жидкая грязца унывно хлюпала под нашими сапогами даже на твёрдом шоссе. То небо расчищалось, и мягко-желтоватое, ещё неуверенное в своём даре солнце грело почти уже обтаявшие пригорки и прозрачным показывало нам мир, который надлежало покинуть. То налетал враждебный вихрь и рвал с чёрных туч как будто и не белый даже снег, холодно хлестал им в лицо, в спину, под ноги, промачивая шинели наши и портянки.

Шесть спин впереди, постоянных шесть спин. Было время

разглядывать и разглядывать корявые безобразные клейма SU и лоснящийся чёрный бархат на воротнике немца. Было время и передумать прошлую жизнь и осознать настоящую. А я — не мог. Уже перелобаненный дубиною — не осознавал.

Шесть спин. Ни одобрения, ни осуждения не было в их покачивании.

Немец вскоре устал. Он перекладывал чемодан из руки в руку, брался за сердце, делал знаки конвою, что нести не может. И тогда сосед его в паре, военнопленный, Бог знает что отведавший только что в немецком плену (а может быть и милосердие тоже) — по своей воле взял чемодан и понёс.

И несли потом другие военнопленные, тоже безо всякого приказания конвоя. И снова немец.

Но не я.

И никто не говорил мне ни слова.

Как-то встретился нам долгий порожний обоз. Ездовые с интересом оглядывались, иные вскакивали на телегах во весь рост, пялились. И вскоре я понял, что оживление их и озлобленность относились ко мне — я резко отличался от остальных: шинель моя была нова, долга, облегающе сшита по фигуре, ещё не спороты были петлицы, в проступившем солнце горели дешёвым золотом не срезанные пуговицы. Отлично видно было, что я — офицер, свеженький, только что схваченный. Отчасти, может быть, само это низвержение приятно взбудоражило их (какой-то отблеск справедливости), но скорее в головах их, начинённых политбеседами, не могло уместиться, что вот так могут взять и их командира роты, а решили они дружно, что я — с *той* стороны.

— Попался, сволочь власовская?! .. Расстрелять его, гада!! — разгорячённо кричали ездовые в тыловом гневе (самый сильный патриотизм всегда бывает в тылу) и ещё многое оснащали матерно.

Я представлялся им неким международным ловкачом, которого, однако, вот поймали — и теперь наступление на фронте пойдёт ещё быстрей, и война кончится раньше.

Что́ я мог ответить им? Единое слово мне было запрещено, а надо каждому объяснить всю жизнь. Как оставалось мне дать им знать, что я — не диверсант? что я — друг им? что это из-за них я здесь? Я — улыбался ... Глядя в их сторону, я улыбался им из этапной арестантской колонны! Но мои оскаленные зубы показались им худшей насмешкой, и ещё ожесточённей, ещё яростней они выкрикивали мне оскорбления и грозили кулаками.

Я улыбался, гордясь, что арестован не за воровство, не за измену или дезертирство, а за то, что силой догадки проник в злодейские тайны Сталина. Я улыбался, что хочу и, может быть, ещё смогу чуть подправить российскую нашу жизнь.

А чемодан мой тем временем — несли ...

И я даже не чувствовал за то укора! И если б сосед мой, ввалившееся лицо которого обросло уже двухнедельной мягкой порослью, а глаза были переполнены страданием и познанием, — упрекнул бы меня сейчас яснейшим русским языком за то, что

я унизил честь арестанта, обратясь за помощью к конвою, что я возношу себя над другими, что я надменен,— я н е п о н я л бы его! Я просто не понял бы — о ч ё м он говорит? Ведь я же — офицер!..

Если бы семерым из нас надо было бы умереть на дороге, а восьмого конвой мог бы спасти — что́ мешало мне тогда воскликнуть:

— Сержант! Спасите — меня. Ведь я — офицер!..

Вот что такое офицер, даже когда погоны его не голубые!

А если ещё голубые? Если внушено ему, что ещё и среди офицеров он — соль? Что доверено ему больше других и знает он больше других, и за всё это он должен подследственному загонять голову между ногами и в таком виде пихать в трубу?

Отчего бы и не пихать?...

Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность. А между тем был — вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове — может быть у Берии я вырос бы как раз на месте?..

Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждёт, что она будет политическим обличением.

Если б это было так просто!— что где-то есть чёрные люди, злокозненно творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?..

В течение жизни одного сердца линия эта перемещается на нём, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство рассветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях — совсем разным человеком. То к дьяволу близко. То и к святому. А имя — не меняется, и ему мы приписываем всё.

Завещал нам Сократ: познай самого себя!

И перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они.

А кликнул бы Малюта Скуратов н а с — пожалуй, и мы б не сплошали!..

От добра до худа один шато́к, говорит пословица.

Значит, и от худа до добра.

Как только всколыхнулась в обществе память о тех беззакониях и пытках, так стали нам со всех сторон толковать, писать, возражать: *там* (в НКГБ — МГБ) были и хорошие!

Их-то «хороших» мы знаем: это те, кто старым большевикам шептал «держись!» или даже подкладывал бутербродик, а остальных уж подряд пинал ногами. Ну, а выше партий — хороших по-человечески — не было ли там?

Вообще б их там быть не должно: таких туда брать избегали, при приёме разглядывали. Такие сами исхитрялись, как бы отбиться. Во время войны в Рязани один ленинградский лётчик после

госпиталя умолял в тубдиспансере: «Найдите что-нибудь у меня! в Органы велят идти!» Изобрели ему рентгенологи туберкулёзный инфильтрат — и сразу от него гебешники отказались.

Кто ж попадал по ошибке — или встраивался в эту среду, или выталкивался ею, выживался, даже попадал на рельсы сам. А всё-таки — не оставалось ли?..

В Кишинёве молодой лейтенант-гебист приходил к Шиповальникову ещё за месяц до его ареста: уезжайте, уезжайте, вас хотят арестовать! (Сам ли? мать ли его послала спасти священника?) А после ареста досталось ему же и конвоировать отца Виктора. И горевал он: отчего ж вы не уехали?

Или вот. Был у меня командир взвода лейтенант Овсянников. Не было мне на фронте человека ближе. Полвойны мы ели с ним из одного котелка, и под обстрелом едали между двумя разрывами, чтобы суп не остывал. Это был парень крестьянский, с душой такой чистой и взглядом таким непредвзятым, что ни училище наше, ни офицерство его нисколько не испортили. Он и меня смягчал во многом. Всё своё офицерство он поворачивал только на одно: как бы своим солдатам (а среди них — много пожилых) сохранить жизнь и силы. От него первого я узнал, что́ есть сегодня деревня и что такое колхозы. (Он говорил об этом без раздражения, без протеста, а просто — как лесная вода отражает деревья до веточки.) Когда меня посадили, он сотрясён был, писал мне боевую характеристику получше, носил комдиву на подпись. Демобилизовавшись, он ещё искал через родных — как бы мне помочь (а год был —1947, мало чем отличался от 37-го!). Во многом из-за него я боялся на следствии, чтоб не стали читать мой военный дневник: там были его рассказы. Когда я реабилитировался в 1957, очень мне хотелось его найти. Я помнил его сельский адрес. Пишу раз, пишу два — ответа нет. Нашлась ниточка, что он окончил Ярославский пединститут, оттуда ответили: «направлен на работу в органы госбезопасности». Здорово! Но тем интересней. Пишу ему по городскому адресу — ответа нет. Прошло несколько лет, напечатан «Иван Денисович». Ну, теперь-то отзовётся! Нет! Ещё через три года прошу одного своего ярославского корреспондента сходить к нему и передать письмо в руки. Тот сделал так, мне написал: «да он, кажется, и Ивана Денисовича не читал . . .» И правда, зачем им знать, как осуждённые там дальше? . . В этот раз Овсянников смолчать уже не мог и отозвался: «После института предложили в органы, и мне представилось, что так же успешно будет и тут. — (Что́ — *успешно?* . .) — Не преуспевал на новом поприще, кое-что не нравилось, но работаю «без палки», если не ошибусь, то товарища не подведу. — (Вот и оправдание — товарищество!) — Сейчас уже не задумываюсь о будущем.»

Вот и всё . . . А писем прежних он будто бы не получал. Не хочется ему встречаться. (Если бы встретились — я думаю, эту всю главу я написал бы получше.) Последние сталинские годы он был уже следователем. Те годы, когда закатывали по *четвертной* всем подряд. И как же всё переверсталось там, в его сознании? Как

затемнилось? Но помня прежнего родникового самоотверженного парня, разве я могу поверить, что всё бесповоротно? что не осталось в нём живых ростков?..

Когда следователь Гольдман дал Вере Корнеевой подписывать 206 статью, она смекнула свои права и стала подробно вникать в дело по всем семнадцати участникам их «религиозной группы». Он рассвирепел, но отказать не мог. Чтоб не томиться с ней, отвёл её тогда в большую канцелярию, где сидело сотрудников разных с полдюжины, а сам ушёл. Сперва Корнеева читала, потом как-то возник разговор, от скуки ли сотрудников,— и перешла Вера к настоящей религиозной проповеди вслух. (А надо знать её. Это — светящийся человек, с умом живым и речью свободной, хотя на воле была только слесарем, конюхом и домохозяйкой.) Слушали её затаясь, изредка углубляясь вопросами. Очень это было для них всех с неожиданной стороны. Набралась полная комната, и из других пришли. Пусть это были не следователи — машинистки, стенографистки, подшиватели папок — но ведь *их* среда, Органы же, 1946 года. Тут не восстановить её монолога, разное успела она сказать. И об изменниках родине: а почему их не было в Отечественную войну 1812 года, при крепостном-то праве? Уж тогда естественно было им быть! Но больше всего она говорила о вере и верующих. Раньше, говорила она, всё ставилось у вас на разнузданные страсти,—«грабь награбленное», и тогда верующие вам, естественно, мешали. Но сейчас, когда вы хотите *строить* и блаженствовать на этом свете,— зачем же вы преследуете лучших своих граждан? Это для вас же — самый дорогой материал: ведь над верующим не надо контроля, и верующий не украдёт и не отлынет от работы. А вы думаете построить справедливое общество на шкурниках и завистниках? У вас всё и разваливается. Зачем вы плюёте в души лучших людей? Дайте Церкви истинное отделение, не трогайте её, вы на этом не потеряете! Вы материалисты? Вы материалисты! Так положитесь на ход образования — что, мол, оно развеет веру. А зачем арестовывать? — Тут вошёл Гольдман и грубо хотел оборвать. Но все закричали на него: «Да заткнись ты!.. Да замолчи!.. Говори, говори, женщина!» (А как назвать её? Гражданка? Товарищ? Это всё запрещено, запуталось в условностях. Женщина! Так, как Христос обращался, не ошибёшься.) И Вера продолжала при своём следователе!!

Так вот эти слушатели Корнеевой в гебистской канцелярии — почему так живо легло к ним слово ничтожной заключённой?

Тот же Д. П. Терехов до сих пор помнит своего первого приговорённого к смерти: «было жалко его». Ведь на чём-то сердечном держится эта память. (А с тех пор уже многих не помнит и счёта им не ведёт.)

С Тереховым — эпизод. Доказывая мне правоту судебной системы при Хрущёве, энергично рубнул рукой по настольному стеклу — н о край стола рассёк запястье. Позвонил, персонал в струнке, дежурный старший офицер принёс ему йод и перекись водорода. Продолжая беседу, он час беспомощно держал смоченную вату у рассечины: оказывается, кровь у него плохо свёртывается. Так ясно показал ему Бог ограниченность человека! — а он судил, низсылал смертные приговоры на других...

Как ни ледян надзорсостав Большого Дома — а самое внутреннее ядрышко душн, от ядрышка ещё ядрышко — должно в нём остаться? Рассказывает Н. П-ва, что как-то вела её на допрос бесстрастная немая безглазая выводна́я — и вдруг где-то рядом с Большим Домом стали рваться бомбы, казалось — сейчас и на них. И выводная кинулась к своей заключённой и в ужасе обняла её, ища человеческого слития и сочувствия. Но отбомбились. И прежняя безглазость: «Возьмите руки назад! Пройдите!»

Конечно, эта заслуга невелика — стать человеком в предсмертном ужасе. Как и не доказательство доброты — любовь к своим детям («он хороший семьянин», часто оправдывают негодяев). Председателя Верховного Суда И. Т. Голякова хвалят: любил копаться в саду, любил книги, ходил в букинистические магазины, хорошо знал Толстого, Короленко, Чехова,— и что ж у них перенял? сколько тысяч загубил? Или например тот полковник, друг Иоссе, ещё и во Владимирском изоляторе хохотавший, как он старых евреев запирал в погреб со льдом, — во всех беспутствах своих боялся, чтоб только не узнала жена: она верила в него, считала благородным, и он этим дорожил. Но смеем ли мы принять это чувство за плацдарм добра на его сердце?

Почему так цепко уже второе столетие они дорожат цветом небес? При Лермонтове были —«и вы, мундиры голубые!», потом были голубые фуражки, голубые погоны, голубые петлицы, им велели быть не такими заметными, голубые поля всё прятались от народной благодарности, всё стягивались на их головах и плечах — и остались кантиками, ободочками узкими,— а всё-таки голубыми!

Это — только ли маскарад?

Или всякая черно́та должна хоть изредка причащаться неба?

Красиво бы думать так. Но когда узнаешь, в какой форме тянулся к святому например Ягода... Рассказывает очевидец (из окружения Горького, в то время близкого к Ягоде): в поместьи Ягоды под Москвой в предбаннике стояли иконы — специально для того, что Ягода со товарищи, раздевшись, стреляли в них из револьверов, а потом шли мыться...

Как это понять: *злодей?* Что это такое? Есть ли это на свете?

Нам бы ближе сказать, что не может их быть, что нет их. Допустимо сказке рисовать злодеев — для детей, для простоты картины. А когда великая мировая литература прошлых веков выдувает и выдувает нам образы густо-чёрных злодеев — и Шекспир, и Шиллер, и Диккенс — нам это кажется отчасти уже балаганным, неловким для современного восприятия. И главное: как нарисованы эти злодеи? Их злодеи отлично сознают себя злодеями и душу свою — чёрной. Так и рассуждают — не могу жить, если не делаю зла. Дай-ка я натравлю отца на брата! Дай-ка упьюсь страданиями жертвы! Яго отчётливо называет свои цели и побуждения — чёрными, рождёнными ненавистью.

Нет, так не бывает! Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное дейст-

вие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать *оправда*ние своим действиям.

У Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Да и Яго — ягнёнок. Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что не было у них идеологии.

Идеология! — это она даёт искомое оправдание злодейству и нужную долгую твёрдость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки, и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почёт. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели — возвеличением родины, колонизаторы — цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы и большевики — равенством, братством, счастьем будущих поколений.

Благодаря Идеологии досталось XX веку испытать злодейство миллионное. Его не опровергнуть, не обойти, не замолчать — и как же при этом осмелимся мы настаивать, что злодеев — не бывает? А кто ж эти миллионы уничтожал? А без злодеев — Архипелага бы не было.

Прошёл слух в 1918-20 годах, будто петроградская ЧК и одесская своих осуждённых не всех расстреливали, а некоторыми кормили (живьём) зверей городских зверинцев. Я не знаю, правда это или навет, и если были случаи, то сколько. Но я и не стал бы изыскивать доказательств: по обычаю голубых кантов я предложил бы им самим доказать нам, что это невозможно. А где же в условиях голода тех лет доставать пищу для зверинца? Отрывать у рабочего класса? Этим врагам всё равно умирать — отчего ж бы смертью своей им не поддержать зверохозяйство Республики и так способствовать нашему шагу в будущее? Разве это — не *целесообразно?*

Вот та черта, которую не переступить шекспировскому злодею, но злодей с идеологией переходит её — и глаза его остаются ясны.

Физика знает *пороговые* величины или явления. Это такие, которых вовсе нет, пока не перейдён некий, природе известный, природою зашифрованный порог. Сколько ни свети жёлтым светом на литий — он не отдаёт электронов, а вспыхнул слабый голубенький — и вырваны (переступлен порог фотоэффекта)! Охлаждай кислород за сто градусов, сжимай любым давлением — держится газ, не сдаётся! Но переступлено сто восемнадцать — и потёк, жидкость.

И, видимо, злодейство есть тоже величина пороговая. Да, колеблется, мечется человек всю жизнь между злом и добром, оскользается, срывается, карабкается, раскаивается, снова затемняется, но пока не переступлен порог злодейства — в его возможностях возврат, и сам он — ещё в объёме нашей надежды. Когда же густотою злых поступков или какой-то степенью их или абсолютностью власти он вдруг переходит через порог — он ушёл из человечества. И может быть — без возврата.

* * *

Представление о справедливости в глазах людей исстари складывается из двух половин: добродетель торжествует, а порок наказан.

Посчастливилось нам дожить до такого времени, когда добродетель хоть и не торжествует, но и не всегда травится псами. Добродетель битая, хилая, теперь допущена войти в своём рубище, сидеть в уголке, только не пикать.

Однако никто не смеет обмолвиться о пороке. Да, над добродетелью измывались, но порока при этом — не было. Да, сколько-то миллионов спущено под откос — а виновных в этом не было. И если кто только икнёт: «а как же *те, кто . . .*», — ему со всех сторон укоризненно, на первых порах дружелюбиво: «ну что-о вы, товарищи! ну зачем же старые раны тревожить?!» (Даже по «Ивану Денисовичу» голубые пенсионеры именно в том и возражали: зачем же раны бередить у *тех, кто в лагере сидел?* Мол, *их* надо поберечь!) А потом и дубинкой: «Цыц, недобитые! Нареабилитировали вас!»

И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено **восемьдесят шесть тысяч** преступных нацистов* — и мы захлёбываемся, мы страниц газетных и радиочасов на это не жалеем, мы и после работы останемся на митинг и проголосуем: м а л о ! И 86 тысяч — мало! и 20 лет судов — мало! продолжить!

А у нас осудили (по опубликованным данным) — около т р и д ц а т и ч е л о в е к.

То, что за Одером, за Рейном — это нас печёт. А то, что в Подмосковьи и под Сочами за зелёными заборами, а то, что убийцы наших мужей и отцов ездят по нашим улицам и мы им дорогу уступаем — это нас не печёт, не трогает, это — «старое ворошить».

А между тем, если 86 тысяч западно-германских перевести на нас по пропорции, это было бы для нашей страны **четверть миллиона!**

Но и за четверть столетия мы никого их не нашли, мы никого их не вызвали в суд, мы боимся разбередить *их* раны. И как символ их всех живёт на улице Грановского 3 самодовольный, тупой, до сих пор ни в чём не убедившийся Молотов, весь пропитанный нашей кровью, и благородно переходит тротуар сесть в длинный широкий автомобиль.

Загадка, которую не нам, современникам, разгадать: *для чего* Германии дано наказать своих злодеев, а России — не дано? Что ж за гибельный будет путь у нас, если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле? Чему же сможет Россия научить мир?

В немецких судебных процессах то там, то сям бывает дивное явление: подсудимый берётся за голову, отказывается от защиты и ни о чём не просит больше суд. Он говорит, что череда его

* А в Восточной — не слышно, значит п е р е к о в а л и с ь, ценят их на государственной службе.

преступлений, вызванная и проведенная перед ним вновь, наполняет его отвращением и он не хочет больше жить.

Вот высшее достижение суда: когда порок настолько осуждён, что от него отшатывается и преступник.

Страна, которая восемьдесят шесть тысяч раз с помоста судьи осудила порок (и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодёжи) — год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него.

А что делать нам?.. Когда-нибудь наши потомки назовут несколько наших поколений — поколениями слюнтяев: сперва мы покорно позволяли избивать нас миллионами, потом мы заботливо холили убийц в их благополучной старости.

Что же делать, если великая традиция русского покаяния им непонятна и смешна? Что же делать, если животный страх перенести даже сотую долю того, что они причиняли другим, перевешивает в них всякую наклонность к справедливости? Если жадной охапкой они держатся за урожай благ, взращённый на крови погибших?

Разумеется, те, кто крутил ручку мясорубки, ну хотя бы в тридцать седьмом году, уже немолоды, им от пятидесяти до восьмидесяти лет, всю лучшую пору свою они прожили безбедно, сытно, в комфорте — и всякое *равное* возмездие опоздало, уже не может совершиться над ними.

Но пусть мы будем великодушны, мы не будем расстреливать их, мы не будем наливать их солёной водой, обсыпать клопами, взнуздывать в «ласточку», держать на бессонной выстойке по неделе, ни бить их сапогами, ни резиновыми дубинками, ни сжимать череп железным кольцом, ни втеснять их в камеру как багаж, чтоб лежали один на другом,— ничего из того, что делали они! Но перед страной нашей и перед нашими детьми мы обязаны в с е х р а з ы с к а т ь и в с е х с у д и т ь! Судить уже не столько их, сколько их преступления. Добиться, чтоб каждый из них хотя бы сказал громко:

— Да, я был палач и убийца.

И если б это было произнесено в нашей стране т о л ь к о четверть миллиона раз (по пропорции, чтоб не отстать от Западной Германии) — так, может быть, и хватило бы?

В XX веке нельзя же десятилетиями не различать, что такое подсудное зверство и что такое «старое», которое «не надо ворошить»!

Мы должны осудить публично самую *идею* расправы одних людей над другими! Молчá о пороке, вгоняя его в туловище, чтобы только не выпер наружу,— мы с е е м его, и он ещё тысячекратно взойдёт в будущем. Не наказывая, даже не порицая злодеев, мы не просто оберегаем их ничтожную старость — мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости. Оттого-то они «равнодушные» и растут, а не из-за «слабости воспитательной работы». Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказуется, но всегда приносит благополучие.

И неуютно же, и страшно будет в такой стране жить!

Глава 5

ПЕРВАЯ КАМЕРА — ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Это как же понять — камера и вдруг любовь? . . Ах вот, наверно: в ленинградскую блокаду тебя посадили в Большой Дом? Тогда понятно, ты потому ещё и жив, что тебя туда сунули. Это было лучшее место Ленинграда — и не только для следователей, которые и жили там, и имели в подвалах кабинеты на случай обстрелов. Кроме шуток, в Ленинграде тогда не мылись, чёрной корой были закрыты лица, а в Большом Доме арестанту давали горячий душ каждый десятый день. Ну, правда, отапливали только коридоры для надзирателей, камеры не отапливали, но ведь в камере был и действующий водопровод, и уборная — где это ещё в Ленинграде? А хлеба, как и на воле, сто двадцать пять. Да ведь ещё раз в день — суповый отвар на битых лошадях! и один раз кашица!

Позавидовала кошка собачьему житью! А — карцер? А — *вышка?*

Нет, не поэтому. Не поэтому . . .

Сесть, перебирать, зажмурив глаза: в скольких камерах пересидел за свой срок. Даже трудно их счесть. И в каждой — люди, люди . . . В иной два человека, а в той — полтораста. Где просидел пять минут, где — долгое лето.

Но всегда изо всех на особом твоём счету — первая камера, в которой ты встретил себе подобных, с обречённою той же судьбой. Ты её будешь всю жизнь вспоминать с таким волнением, как разве ещё только — первую любовь. И люди эти, разделившие с тобой пол и воздух каменного кубика в дни, когда всю жизнь ты передумывал по-новому,— эти люди ещё когда-то вспомнятся тебе как твои семейные.

Да в те дни — они только и были твоей семьёй.

Пережитое в первой следственной камере не имеет ничего сходного во всей твоей жизни *до*, во всей твоей жизни *после*. Пусть тысячелетиями стоят тюрьмы до тебя и ещё сколько-то после (хотелось бы думать, что — меньше . . .) — но единственна и неповторима именно та камера, в которой ты проходил следствие.

Может быть, она ужасна была для человеческого существа. Вшивая, клопяная кутузка без окна, без вентиляции, без нар — грязный пол, коробка, называемая **КПЗ** — при сельсовете,

милиции, при станции или в порту* (КПЗ и ДПЗ — их-то больше всего рассеяно по лику нашей земли, в них-то и масса). Одиночка архангельской тюрьмы, где стёкла замазаны суриком, чтобы только багровым входил к вам изувеченный Божий свет и постоянная лампочка в пятнадцать ватт вечно горела бы с потолка. Или «одиночка» в городе Чойбалсане, где на шести квадратных метрах пола вы месяцами сидели четырнадцать человек впритиску и меняли поджатые ноги по команде. Или одна из лефортовских «психических» камер, вроде 111-й, окрашенная в чёрный цвет и тоже с круглосуточной двадцативаттной лампочкой, а остальное — как в каждой лефортовской: асфальтовый пол; кран отопления в коридоре, в руках надзирателя; а главное — многочасовой раздирающий рёв (от аэродинамической трубы соседнего ЦАГИ, но поверить нельзя, что — не нарочно), рёв, от которого миска с кружкой, вибрируя, съезжает со стола, рёв, при котором бесполезно разговаривать, но можно петь во весь голос, и надзиратель не слышит — а когда стихает рёв, наступает блаженство высшее, чем воля.

Но не пол же тот грязный, не мрачные стены, не запах параши ты полюбил — а вот этих самых, с кем ты поворачивался по команде; что-то между вашими душами колотившееся; их удивительные иногда слова; и родившиеся в тебе именно там такие освобождённые плавающие мысли, до которых недавно не мог бы ты ни допрыгнуть, ни вознестись.

Ещё до той первой камеры тебе что́ стоило пробиться! Тебя держали в яме, или в боксе, или в подвале. Тебе никто слова человеческого не говорил, на тебя человеческим взором никто не глянул — а только выклёвывали железными клювами из мозга твоего и из сердца, ты кричал, ты стонал — а они смеялись.

Ты неделю или месяц был одинёшенек среди врагов, и уже расставался с разумом и жизнью; и уже с батареи отопления падал так, чтобы голову размозжить о чугунный конус слива — и вдруг ты жив, и тебя привели к твоим друзьям. И разум — вернулся к тебе.

Вот что такое первая камера!

Ты этой камеры ждал, ты мечтал о ней почти как об освобождении,— а тебя закатывали из щели да в нору, из Лефортова да в какую-нибудь чёртову легендарную Сухановку.

Сухановка — это та самая страшная тюрьма, которая только есть у МГБ. Ею пугают нашего брата, её имя выговаривают следователи со зловещим шипением. (А кто там был — потом не допросишься: или бессвязный бред несут, или нет в живых.)

Сухановка — это бывшая Екатерининская пустынь, два корпуса — срочный и следственный из 68 келий. Везут туда воронками два часа, и мало кто знает, что тюрьма эта — в нескольких

* КПЗ (ДПЗ) — Камеры (Дом) предварительного заключения. То есть, не там, где отбывают срок, а где проходят следствие.

километрах от Горок Ленинских и от бывшего имения Зинаиды Волконской. Там прелестная местность вокруг.

Принимаемого арестанта там оглушают стоячим карцером — опять же узким таким, что если стоять ты не в силах, остаётся висеть на упёртых коленях, больше никак. В таком карцере держат и больше суток — чтобы дух твой смирился. Кормят в Сухановке нежной вкусной пищей, как больше нигде в МГБ,— а потому что носят из дома отдыха архитекторов, не держат для свиного пойла отдельной кухни. Но то, что съедает один архитектор — и картошечку поджаренную и биточек, делят здесь на двенадцать человек. И оттого ты не только вечно голоден, как везде, но растравлен больнее.

Камеры-кельи там устроены все на двоих, но подследственных держат чаще по одному. Камеры там — полтора метра на два.* В каменный пол вварены два круглых стулика, как пни, и на каждый пень, если надзиратель отопрёт в стене английский замок, отпадает из стены на семь ночных часов (то есть, на часы следствия, днём его там не ведут вообще) полка и сваливается соломенный матрасик размером на ребёнка. Днём стулик освобождается, но сидеть на нём запрещено. Ещё на четырёх стоячих трубах лежит как доска гладильная — стол. Форточка всегда закрыта, лишь утром на десять минут надзиратель открывает её штырём. Стекло маленького окна заарматурено. Прогулок не бывает никогда, оправка — только в шесть утра, то есть, когда ничьему желудку она ещё не нужна, вечером её нет. На отсек в семь камер приходится два надзирателя, оттого глазок смотрит на тебя так часто, как надо надзирателю шагнуть мимо двух дверей к третьей. В том и цель беззвучной Сухановки: не оставить тебе ни минуты сна, ни минут, украденных для частной жизни,— ты всегда смотришься и всегда во власти.

Но если ты прошёл весь поединок с безумием, все искусы одиночества и устоял — ты заслужил свою первую камеру! И теперь ты в ней заживишься душой.

И если ты быстро сдался, во всём уступил и предал всех — тоже ты теперь созрел для своей первой камеры; хотя для тебя же

---

* А точней: 156×209 см. Откуда это известно? Это торжество инженерного расчёта и сильной души, не сломленной Сухановкой,— это посчитал Александр Долган. Он не давал себе сойти с ума и пасть духом, для того старался больше считать. В Лефортове он считал шаги, переводил их на километры, по карте вспоминал, сколько километров от Москвы до границы, сколько потом через всю Европу, сколько через весь Атлантический океан. Он имел такой стимул: мысленно вернуться домой в Америку; и за год лефортовской одиночки спустился на дно Атлантики, как его взяли в Сухановку. Здесь, понимая, что мало кто об этой тюрьме расскажет (наш рассказ — весь от него), он изобретал, как ему вымерить камеру. На дне тюремной миски он прочёл дробь 10/22 и догадался, что «10» означает диаметр дна, а «22»— диаметр развала. Затем он из полотенца вытянул ниточку, сделал метр и так всё замерил. Потом он стал изобретать, как можно спать с т о я, упершись коленом в стулик и чтоб надзирателю казалось, что глаза твои открыты. Изобрёл — и только поэтому не сошёл с ума. (Рюмин держал его месяц на бессоннице.)

лучше не дожить бы до этого счастливого мига, а умереть победителем в подвале, не подписав ни листа.

Сейчас ты увидишь впервые — не врагов. Сейчас ты увидишь впервые — других живых*, кто тоже идёт твоим путём и кого ты можешь объединить с собою радостным словом мы.

Да, это слово, которое ты, может быть, презирал на воле, когда им заменили твою личность («мы все, как один!.. мы горячо негодуем!.. мы требуем!.. мы клянёмся!..») — теперь открывается тебе как сладостное: ты не один на свете! Есть ещё мудрые духовные существа — люди!!

* * *

После четырёх суток моего поединка со следователем, дождавшись, чтоб я в своём ослепительном электрическом боксе лёг по отбою, надзиратель стал отпирать мою дверь. Я всё слышал, но прежде, чем он скажет: «Встаньте! На допрос!», хотел ещё три сотых доли секунды лежать головой на подушке и воображать, что я сплю. Однако надзиратель сбился с заученного: «Встаньте! Соберите постель!»

Недоумевая и досадуя, потому что это было время самое драгоценное, я намотал портянки, надел сапоги, шинель, зимнюю шапку, охапкой обнял казённый матрас. Надзиратель на цыпочках, всё время делая мне знаки, чтоб я не шумел, повёл меня могильно-бесшумным коридором четвёртого этажа Лубянки мимо стола корпусного, мимо зеркальных номерков камер и оливковых щитков, опущенных на глазки, и отпер мне камеру 67. Я вступил, он запер за мной тотчас.

Хотя после отбоя прошли каких-нибудь четверть часа, но у подследственных такое хрупкое ненадёжное время сна и так мало его, что жители 67-й камеры к моему приходу уже спали на металлических кроватях, положив руки поверх одеяла.

Разные притеснительные меры, в дополнение к старым тюремным, изобретались во внутренних тюрьмах ГПУ-НКВД-КГБ постепенно. Кто сидел тут в начале 20-х годов, не знали этой меры, да и свет на ночь тогда тушился, по-людски. Но свет стали держать с логическим обоснованием: чтобы видеть заключённых во всякую минуту ночи (а когда для осмотра зажигали, так было ещё хуже). Руки же велено было держать поверх одеяла якобы для того, чтобы заключённый не мог удавиться под одеялом и так уклониться от справедливого следствия. При опытной проверке оказалось, что человеку зимой всегда хочется руки спрятать, угреть — и потому мера окончательно утвердилась.

От звука отпираемой двери все трое вздрогнули и мгновенно подняли головы. Они тоже ждали, кого на допрос.

И эти три испуганно поднятые головы, эти три небритых, мятых, бледных лица показались мне такими человеческими, такими милыми, что я стоял, обняв матрас, и улыбался от счастья.

---

* Если в Большом Доме в ленинградскую блокаду — то может быть и людоедов: кто ел человечину, торговал человеческой печенью из прозекторской. Их почему-то держали в МГБ вместе с политическими.

И они — улыбнулись. И какое ж это было забытое выражение! — а всего за неделю!

— С воли?— спросили меня. (Обычный первый вопрос новичку.)

— Не-ет,— ответил я. (Обычный первый ответ новичка.)

Они имели в виду, что я наверно арестован недавно и, значит, с *воли*. Я уже после девяноста шести часов следствия никак не считал, что я с «воли», разве я ещё не испытанный арестант? .. И всё-таки я был с воли! И безбородый старичок с чёрными очень живыми бровями уже спрашивал меня о военных и политических новостях. Потрясающе!— хотя были последние числа февраля, но они ничего не знали ни о Ялтинской конференции, ни об окружении Восточной Пруссии, ни вообще о нашем наступлении под Варшавой с середины января, ни даже о декабрьском плачевном отступлении союзников. По инструкции подследственные не должны были ничего узнавать о внешнем мире — и вот они ничего не знали!

Я готов был полночи теперь им обо всём рассказывать — с гордостью, будто все победы и охваты были делом моих собственных рук. Но тут дежурный надзиратель внёс мою кровать, и надо было бесшумно её расставить. Мне помогал парень моего возраста, тоже военный: его китель и пилотка лётчика висели на столбике кровати. Он ещё раньше старичка спросил меня — только не о войне, а о табаке. Но как ни был я растворён душой навстречу моим новым друзьям и как ни мало было произнесено слов за несколько минут,— чем-то чужим повеяло на меня от этого ровесника и софронтовика, и для него я замкнулся сразу и навсегда.

(Я ещё не знал ни слова «наседка», ни — что в каждой камере она должна быть, я вообще не успел ещё обдумать и сказать, что этот человек, Г. Крамаренко, не нравится мне,— а уже сработало во мне духовное реле, реле-узнаватель, и навсегда закрыло меня для этого человека. Я не стал бы упоминать такого случая, будь он единственным. Но работу этого реле-узнавателя внутри меня я скоро с удивлением, с восторгом и тревогой стал ощущать как постоянное природное свойство. Шли годы, я лежал на одних нарах, шёл в одном строю, работал в одних бригадах со многими сотнями людей, и всегда этот таинственный реле-узнаватель, в создании которого не было моей заслуги ни чёрточки, срабатывал прежде, чем я вспоминал о нём, срабатывал при виде человеческого лица, глаз, при первых звуках голоса — и открывал меня этому человеку нараспашку, или только на щёлочку, или глухо закрывал. Это было всегда настолько безошибочно, что вся возня оперуполномоченных со снаряжением стукачей стала казаться мне козявочкой: ведь у того, кто взялся быть предателем, это явно всегда на лице, и в голосе, у иных как будто ловко-притворно — а нечисто. И, напротив, узнаватель помогал мне отличать тех, кому можно с первых минут знакомства открывать сокровеннейшее, глубины и тайны, за которые рубят головы. Так прошёл я восемь лет заключения, три года ссылки, ещё шесть лет подпольного писатель-

ства, ничуть не менее опасных,— и все семнадцать лет опрометчиво открывался десяткам людей — и не оступился ни разу! Я не читал нигде об этом и пишу здесь для любителей психологии. Мне кажется, такие духовные устройства заключены во многих из нас, но, люди слишком технического и умственного века, мы пренебрегаем этим чудом, не даём ему развиться в нас.)

Кровать мы расставили — и тут бы мне рассказывать (конечно, шёпотом и лёжа, чтобы сейчас же из этого уюта не отправиться в карцер), но третий наш сокамерник, лет средних, а уже с белыми иголочками сединок на стриженой голове, смотревший на меня не совсем довольно, сказал с суровостью, украшающей северян:

— Завтра. Ночь для сна.

И это было самое разумное. Любого из нас в любую минуту могли выдернуть на допрос и держать там до шести утра, когда следователь пойдёт спать, а здесь уже спать запретится.

Одна ночь непотревоженного сна была важнее всех судеб планеты.

И ещё одно, препятствующее, но не сразу уловимое, я ощутил с первых фраз своего рассказа, однако не дано мне было так рано его назвать: что наступила (с арестом каждого из нас) мировая переполюсовка или оборот всех понятий на сто восемьдесят градусов, и то, что с таким упоением я начал рассказывать,— может быть для *нас*-то совсем не было радостным.

Они отвернулись, накрыли носовыми платками глаза от двухсотваттной лампочки, обмотали полотенцами верхнюю руку, зябнущую поверх одеяла, нижнюю воровски припрятали и заснули.

А я лежал, переполненный праздником быть с людьми. Ведь час назад я не мог рассчитывать, что меня сведут с кем-нибудь. Я мог и жизнь кончить с пулей в затылке (следователь всё время мне это обещал), так никого и не повидав. Надо мной по-прежнему висело следствие, но как оно сильно отступило! Завтра буду рассказывать я (не о своём *деле*, конечно), завтра будут рассказывать они — что за интересный будет завтра день, один из самых лучших в жизни! (Вот это сознание у меня очень раннее и очень ясное: что тюрьма для меня не пропасть, а важнейший излом жизни.)

Каждая мелочь в камере мне интересна, куда девался сон, и, когда глазок не смотрит, я украдкой изучаю. Вон, вверху одной стены, небольшое углубление в три кирпича, и висит на нём синяя бумажная шторка. Уже мне успели ответить: это окно, да!— в камере есть окно!— а шторка — противовоздушная маскировка. Завтра будет слабенький дневной свет, и среди дня на несколько минут погасят режущую лампу. Как это много!— днём жить при дневном свете!

Ещё в камере — стол. На нём, на самом видном месте — чайник, шахматы, стопочка книг. (Я ещё не знал, почему — на самом видном. Оказывается, опять-таки по лубянскому распорядку: в кажеминутное заглядывание своё через глазок надзиратель должен убедиться, что нет злоупотреблений этими дарами администрации: что чайником не долбят стену; что никто не глотает шахмат, рискуя

рассчитаться и перестать быть гражданином СССР; и никто не управился подпалить книг в намерении сжечь тюрьму. А собственные очки арестантов признаны оружием настолько опасным, что даже и на столе нельзя лежать им ночью, администрация забирает их до утра.)

Какая же уютная жизнь!— шахматы, книги, пружинные кровати, добротные матрасы, чистое бельё. Да я за всю войну не помню, чтобы так спал. Натёртый паркетный пол. Почти четыре шага можно сделать в прогулке от окна до двери. Нет, таки эта центральная политическая тюрьма — чистый курорт.

И снаряды не падают... Я вспомнил то их высокое хлюпанье через голову, то нарастающий свист и кряхт разрыва. И как нежно посвистывают мины. И как всё сотрясается от четырёх кубышек *скрипуна*. Я вспомнил сырую слякоть под Вормдитом, откуда меня арестовали и где наши сейчас месят грязь и мокрый снег, чтоб не выпустить немцев из котла.

Чёрт с вами, не хотите, чтоб я воевал,— не надо.

* * *

Среди многих потерянных мерок мы потеряли ещё и такую: высокостойности тех людей, которые прежде нас говорили и писали по-русски. Странно, что они почти не описаны в нашей дореволюционной литературе. У нас описаны то лишние люди, то рыхлые неприспособленные мечтатели. По русской литературе XIX века почти нельзя понять: на ком же Русь простояла десять столетий, кем же держалась? Впрочем, не ими ли она пережила и последние полвека? Ещё более — ими.

А то — и мечтатели. Они видели слишком многое, чтобы выбрать одно. Они тянулись к возвышенному слишком сильно, чтобы крепко стоять на земле. Перед падением обществ бывает такая мудрая прослойка думающих — думающих и только. И как над ними не гоготали! Как не передразнивали их! Не досталось им и клички другой как *гниль*. Эти люди были — цвет преждевременный, слишком тонкого аромата, вот и пустили их под косилку. В личной жизни они особенно были беспомощны: ни гнуться, ни притворяться, ни ладить, что ни слово — мнение, порыв, протест. Таких-то как раз косилка подбирает. Таких-то как раз соломорезка крошит.*

Вот через эти самые камеры проходили они. Но стены камер — с тех пор тут и сдирались обои, и штукатурилось, и белилось, и красилось не раз — стены камер не отдавали нам ничего из прошлого (они, наоборот, сами микрофонами настораживались нас послушать). О прежнем населении этих камер, о разговорах, которые тут велись, о мыслях, с которыми отсюда уходили на расстрел и на Соловки, — нигде ничего не записано, не сказано —

---

* Я робею сказать, но перед семидесятыми годами века и те и другие как будто выступают вновь. Это удивительно. На это почти и нельзя было надеяться.

и тóма такого, стоящего сорока вагонов нашей литературы, наверно уже и не будет.

А те, кто ещё жив, рассказывают нам пустяки всякие: что раньше тут были топчаны деревянные, а матрасы набиты соломой. Что прежде, чем намордники поставили на окна, стёкла уже были замазаны мелом до самого верха — ещё в 20-м году. А намордники — в 1923 точно уже были (а мы-то их дружно приписывали Берии). К перестукиваниям, говорят, тут в 20-е годы ещё относились свободно: ещё как-то жила эта нелепая традиция из царских тюрем, что если заключённому не перестукиваться, так что ему и делать? И вот ещё: все сплошь двадцатые годы надзиратели здесь были — латыши (из стрелков латышских, и помимо), и еду раздавали рослые латышки.

Оно-то пустяки-пустяки, а над чем и задумаешься.

Мне самому в эту главную политическую тюрьму Союза очень было нужно, спасибо, что привезли: я о Бухарине много думал, мне хотелось это всё представить. Однако, ощущение было, что мы идём уже в окосках, что хороши б мы были и в любой областной *внутрянке*.* А тут — чести много.

Но с теми, кого я тут застал, нельзя было соскучиться. Было кого послушать, было кого посравнить.

Того старичка с живыми бровями (да в шестьдесят три года он держался совсем не старичком) звали Анатолий Ильич Фастенко. Он очень украшал нашу лубянскую камеру — и как хранитель старых русских тюремных традиций и как живая история русских революций. Тем, что береглось в его памяти, он как бы придавал масштаб всему происшедшему и происходящему. Такие люди не только в камере ценны, их в целом обществе очень не достаёт.

Фамилию Фастенко мы тут же, в камере, прочли в попавшейся нам книге о революции 1905 года. Фастенко был таким давнишним социал-демократом, что уже, кажется, и переставал им быть.

Свой первый тюремный срок он получил ещё молодым человеком, в 1904 году, но после манифеста 17 октября 1905 был освобождён вчистую.

Кто из иас из школьиой истории, из «Краткого курса» не узиал и ие зазубрил, что этот «провокациоиио-подлый маиифест» был издевательством иад свободой, что царь распорядился: «мёртвым — свободу, живых — под арест»? Но эпиграмма эта лжива. Тем актом разрешались все политические партии, созывалась Дума, и амиистия давалась честиая и предельио широкая, а имеиио: по ией освобождались ии миого ии мало как все политические без изъятия, иезависимо от срока и вида наказаиия. Лишь уголовиые оставались сидеть. Сталииская же амиистия 7 июля 1945 поступила как раз наоборот: всех политических оставилв сидеть.

Интересен был его рассказ об обстановке той амнистии. В те годы, разумеется, ни о каких «намордниках» на тюремных окнах

* Виутреииая тюрьма — то есть, собствеиио ГБ.

ещё не имели понятия, и из камер белоцерковской тюрьмы, где Фастенко сидел, арестанты свободно обозревали тюремный двор, прибывающих и убывающих, и улицу, и перекрикивались из вольных с кем хотели. И вот уже днём 17 октября, узнав по телеграфу об амнистии, вольные объявили новость заключённым. Политические стали радостно бушевать, бить оконные стёкла, ломать двери и требовать от начальника тюрьмы немедленного освобождения. Кто-нибудь из них был тут же избит сапогами в рыло? посажен в карцер? какую-нибудь камеру лишили книг и ларька? Да нет же! Растерянный начальник тюрьмы бегал от камеры к камере и упрашивал: «Господа! Я умоляю вас! — будьте благоразумны! Я же не имею права освобождать вас на основании телеграфного сообщения. Я должен получить прямые указания от моего начальства из Киева. Я очень прошу вас: вам придётся переночевать.» — И действительно, их варварски задержали на сутки! . . (После сталинской амнистии, как будет ещё рассказано, амнистированных передерживали по два-три месяца, понуждали всё так же *вкалывать*, и никому это не казалось незаконным.)

Обретя свободу, Фастенко и его товарищи тут же кинулись в революцию. В 1906 году Фастенко получил 8 лет каторги, что значило: 4 года в кандалах и 4 года в ссылке. Первые четыре года он отбывал в севастопольском централе, где, кстати, при нём был массовый побег арестантов, организованный с воли содружеством революционных партий: эсеров, анархистов и социал-демократов. Взрывом бомбы был вырван из тюремной стены пролом на доброго всадника, и десятка два арестантов (не все, кому хотелось, а лишь утверждённые своими партиями к побегу и заранее, ещё в тюрьме — через надзирателей! — снабжённые пистолетами) бросились в пролом и кроме одного убежали. Анатолию же Фастенко РСДРП назначила не бежать, а отвлекать внимание надзирателей и вызывать сумятицу.

Зато в енисейской ссылке он не пробыл долго. Сопоставляя его (и потом — других уцелевших) рассказы с широко известным фактом, что наши революционеры сотнями и сотнями бежали из ссылки — и всё больше за границу, приходишь к убеждению, что из царской ссылки не бежал только ленивый, так это было просто. Фастенко «бежал», то есть попросту уехал с места ссылки без паспорта. Он поехал во Владивосток, рассчитывая через какого-то знакомого сесть там на пароход. Это почему-то не удалось. Тогда, всё так же без паспорта, он спокойно пересек в поезде всю Россию-матушку и поехал на Украину, где был большевиком-подпольщиком, откуда и арестован. Там ему принесли чужой паспорт, и он отправился пересекать австрийскую границу. Настолько эта затея была неугрожающей и настолько Фастенко не ощущал за собой дыхания погони, что проявил удивительную беззаботность: доехав до границы и уже отдав полицейскому чиновнику свой паспорт, он вдруг обнаружил, что не помнит своей новой фамилии! Как же быть? Пассажиров было человек сорок, а чиновник уже начал выкликать. Фастенко догадался: притворился спящим. Он

слышал, как раздали все паспорта, как несколько раз выкликали фамилию Макарова, но и тут ещё не был уверен, что это — его. Наконец, дракон императорского режима склонился к подпольщику и вежливо тронул его за плечо: «Господин Макаров! Господин Макаров! Пожалуйста, ваш паспорт!»

Фастенко уехал в Париж. Там он знал Ленина, Луначарского, при партийной школе Лонжюмо выполнял какие-то хозяйственные обязанности. Одновременно учил французский язык, озирался — и вот его потянуло дальше, смотреть мир. Перед войной он переехал в Канаду, стал там рабочим, побывал в Соединённых Штатах. Раздольный устоявшийся быт этих стран поразил Фастенко: он заключил, что никакой пролетарской революции там никогда не будет, и даже вывел, что вряд ли она там и нужна.

А тут в России произошла — прежде, чем ждали её — долгожданная революция, и все возвращались, и вот ещё одна революция. Уже не ощущал в себе Фастенко прежнего порыва к этим революциям. Но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц в перелётах.

Вскоре вослед Фастенко вернулся на родину и канадский знакомец его, бывший матрос-потёмкинец, бежавший в Канаду и ставший там обеспеченным фермером. Этот потёмкинец продал дочиста свою ферму и скот, и с деньгами и с новеньким трактором приехал в родной край помогать строить заветный социализм. Он вписался в одну из первых коммун и отдал ей трактор. На тракторе работали кто попало, как попало и быстро его загубили. А самому потёмкинцу всё увиделось решительно не тем, как представлялось за двадцать лет. Распоряжались люди, которые не имели бы права распоряжаться, и приказывали делать то, что рачительному фермеру была дикая бессмыслица. К тому ж он и телом здесь подобрался, и одеждой износился, и мало что оставалось от канадских долларов, смененных на бумажные рубли. Он взмолился, чтоб отпустили его-то с семьёй, пересек границу не богаче, чем когда-то бежал с «Потёмкина», океан переехал, как и тогда, матросом (на билет не достало денег), а в Канаде начал жизнь снова батраком.

Тут многого в Фастенко я ещё не мог понять. Для меня в нём едва ли не главное и самое удивительное было то, что он лично знал Ленина, сам же он вспоминал это вполне прохладно. (Моё настроение было тогда такое: кто-то в камере назвал Фастенко по одному отчеству, без имени, то есть просто: «Ильич, сегодня парашу ты́ выносишь?» Я вскипел, обиделся, это показалось мне кощунством, и не только в таком сочетании слов, но вообще кощунство называть кого бы то ни было Ильичём, кроме единственного человека на земле!) От этого и Фастенко ещё не мог многого мне объяснить, как бы хотел.

Он говорил мне ясно по-русски: «Не сотвори себе кумира!» А я не понимал!

Видя мою восторженность, он настойчиво и не один раз повторял мне: «Вы — математик, вам грешно забывать Декарта: всё подвергай сомнению! в с ё подвергай сомнению!» Как это — «всё»? Ну, не в с ё же! Мне казалось: я и так уж достаточно подверг сомнению, довольно!

Или говорил он: «Старых политкаторжан почти не осталось, я — из самых последних. Старых каторжан всех уничтожили, а общество наше разогнали ещё в тридцатые годы.» — «А почему?» — «Чтоб мы не собирались, не обсуждали.» И хотя эти простые слова, сказанные спокойным тоном, должны были возопить к небу, выбить стёкла — я воспринимал их только как ещё одно злодеяние Сталина. Трудный факт, но — без корней.

Это совершенно определённо, что не всё, входящее в наши уши, вступает дальше в сознание. Слишком не подходящее к нашему настроению теряется — то ли в ушах, то ли после ушей, но теряется. И вот хотя я отчётливо помню многочисленные рассказы Фастенко,— его рассуждения осели в моей памяти смутно. Он называл мне разные книги, которые очень советовал когда-нибудь на воле достать и прочесть. Сам уже, по возрасту и здоровью не рассчитывая выйти живым, он находил удовольствие надеяться, что я когда-нибудь эти мысли охвачу. Записывать было невозможно, запоминать и без этого хватило многое за тюремную жизнь, но имена, прилегавшие ближе к моим тогдашним вкусам, я запомнил: «Несвоевременные мысли» Горького (я очень тогда высоко ставил Горького: ведь он всех русских классиков превосходил тем, что был пролетарским) и «Год на родине» Плеханова.

Когда Фастенко вернулся в РСФСР, его, в уважение к старым подпольным заслугам, усиленно выдвигали, и он мог занять важный пост,— но он не хотел этого, взял скромную должность в издательстве «Правды», потом ещё скромней, потом перешёл в трест «Мосгороформление» и там работал совсем уж незаметно.

Я удивился: почему такой уклончивый путь? Он непонятно отвечал: «Старого пса к цепи не приучишь.»

Понимая, что сделать ничего нельзя, Фастенко по-человечески просто хотел остаться целым. Он уже перешёл на тихую маленькую пенсию (не персональную вовсе, потому что это влекло бы за собой напоминание, что он был близок ко многим расстрелянным) — и так бы он, может, дотянул до 1953 года. Но на беду арестовали его соседа по квартире — вечно пьяного беспутного писателя Л. Соловьёва, который в пьяном виде где-то похвалялся пистолетом. Пистолет же есть обязательный террор, а Фастенко с его давним социал-демократическим прошлым — уж вылитый террорист. И вот теперь следователь клепал ему террор, а заодно, разумеется, службу во французской и канадской разведке, а значит и осведомителем царской охранки.* И в 1945 году за свою сытую зарплату сытый следователь совершенно серьёзно листал архивы провинциальных жандармских управлений и писал совершенно серьёзные протоколы допросов о конспиративных кличках, паролях, явках и собраниях 1903 года.

---

* Излюбленный мотив Сталина: каждому арестованному однопартийцу (и вообще бывшему революционеру) приписывать службу в царской охранке. От нестерпимой подозрительности? Или . . . по внутреннему чувству? . . по аналогии? . .

И старушка-жена (детей у них не было) в разрешённый десятый день передавала Анатолию Ильичу доступные ей передачи: кусочек чёрного хлеба граммов на триста (ведь он покупался на базаре и стоил сто рублей килограмм!) да дюжину варёных облупленных (а на обыске ещё и проколотых шилом) картофелин. И вид этих убогих — действительно святых!— передач разрывал сердце.

Столько заслужил человек за шестьдесят три года честности и сомнений.

* * *

Четыре койки в нашей камере ещё оставляли посередине проходец со столом. Но через несколько дней после меня подбросили нам пятого и поставили койку поперёк.

Новичка ввели за час до подъёма, за тот самый сладко-мозговой часочек, и трое из нас не подняли голов, только Крамаренко соскочил, чтобы разживиться табачком (и, может быть, материалом для следователя). Они стали разговаривать шёпотом, мы старались не слушать, но не отличить шёпота новичка было нельзя: такой громкий, тревожный, напряжённый и даже близкий к плачу, что можно было понять — нерядовое горе вступило в нашу камеру. Новичок спрашивал, многим ли дают расстрел. Всё же, не поворачивая головы, *я оттянул* их, чтобы тише держались.

Когда же по подъёму мы дружно вскочили (залёжка грозила карцером), то увидели — генерала! То есть, у него не было никаких знаков различия, ни даже споротых или свинченных, ни даже петлиц — но дорогой китель, мягкая шинель, да вся фигура и лицо! — нет, это был несомненный генерал, типовой генерал, и даже непременно полный генерал, а не какой-нибудь там генерал-майор. Невысок он был, плотен, в корпусе очень широк, в плечах, а в лице значительно толст, но эта наеденная толстота ничуть не придавала ему доступного добродушия, а — значимость, принадлежность к высшим. Завершалось его лицо — не сверху, правда, а снизу — бульдожьей челюстью, и здесь было средоточие его энергии, воли, властности, которые и позволили ему достичь таких чинов к середовым годам.

Стали знакомиться, и оказалось, что Л. В. З-в — ещё моложе, чем выглядит, ему в этом году только исполнится тридцать шесть («если не расстреляют»), а ещё удивительней: никакой он не генерал, даже не полковник и вообще не военный, а — инженер!

Инженер?! Мне пришлось воспитываться как раз в инженерной среде, и я хорошо помню инженеров двадцатых годов: этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и необидный юмор, эта лёгкость и широта мысли, непринуждённость переключения из одной инженерной области в другую, и вообще от техники — к обществу, к искусству. Затем — эту воспитанность, тонкость вкусов; хорошую речь, плавно согласованную и без сорных словечек; у одного — немножко музицирование; у другого — немножко живопись; и всегда у всех — духовная печать на лице.

С начала 30-х годов я утерял связь с этой средой. Потом — война. И вот передо мной стоял — инженер. Из тех, кто пришёл на смену уничтоженным.

В одном превосходстве ему нельзя было отказать: он был гораздо сильнее, нутрянее т е х. Он сохранил крепость плеч и рук, хотя они давно ему были не нужны. Освобождённый от тягомотины вежливости, он взглядывал круто, говорил неоспоримо, даже не ожидая, что могут быть возражения. Он и вырос иначе, чем т е, и работал иначе.

Отец его пахал землю в самом полном и настоящем смысле. Лёня З-в был из растрёпанных тёмных крестьянских мальчишек, о гибели чьих талантов сокрушались и Белинский и Толстой. Ломоносовым он не был и сам бы в Академию не пришёл, но талантлив — а пахать бы землю и ему, если б не революция, и зажиточным бы был, потому что живой, толковый, может вышел бы и в купчишки.

По советскому времени он пошёл в комсомол, и это его комсомольство, опережая другие таланты, вырвало из беззвестности, из низости, из деревни, пронесло ракетой через рабфак и подняло в Промышленную Академию. Он попал туда в 1929— ну как раз когда гнали стадами в ГУЛАГ т е х инженеров. Надо было срочно выращивать своих — сознательных, преданных, стопроцентных, и не так даже делающих самое дело, как — воротил производства, собственно — советских бизнесменов. Такой был момент, что знаменитые *командные высоты* над ещё не созданной промышленностью — пустовали. И судьба его набора была — занять их.

Жизнь З-ва стала — цепь успехов, гирляндой накручиваемая к вершине. Эти изнурительные годы — с 1929 по 1933, когда гражданская война в стране велась не тачанками, а овчарками, когда вереницы умирающих с голоду плелись к железнодорожным станциям в надежде уехать в город, где колосится хлеб, но билетов им не давали, и уехать они не умели — и покорным зипунно-лапотным человеческим повалом умирали под заборами станций,— в это время З-в не только не знал, что хлеб горожанам выдаётся по карточкам, но имел *студенческую* стипендию в девятьсот рублей (чернорабочий получал тогда шестьдесят). За деревню, отряхнутую прахом с ног, у него не болело сердце: его новая жизнь вилась уже тут, среди победителей и руководителей.

Побыть рядовым десятником он не успел: ему сразу подчинялись инженеров десятки, а рабочих тысячи, он был главным инженером больших подмосковных строительств. С начала войны он имел, разумеется, бронь, эвакуировался со своим гла́вком в Алма-Ату и здесь ворочал ещё бо́льшими стройками на реке Или́, только работали у него теперь заключённые. Вид этих серых людишек очень мало его занимал тогда — не наводил на размышления, не приковывал приглядываться. Для той блистательной орбиты, по которой он нёсся, важны были только цифры выполнения ими плана, и З-ву достаточно было наказать объект, лагпункт, прораба — а уж там они своими средствами добивались выполне-

ния норм; по сколько часов там работали, на каком пайке — в эти частности он не вникал.

Военные годы в глубоком тылу были лучшими в жизни З-ва! Таково извечное и всеобщее свойство войны: чем больше собирает она горя на одном полюсе, тем больше радости высвобождается на другом. У З-ва была не только челюсть бульдога, но быстрая сметчивая деловая хватка. Он сразу умело вошёл в новый военный ритм народного хозяйства: всё для победы, рви и давай, а война всё спишет! Одну только уступку войне он сделал: отказался от костюмов и галстуков и, вливаясь в защитный цвет, сшил себе хромовые сапожки, натянул генеральский китель — вот этот, в котором пришёл теперь к нам. Так было — модно, обще, не вызывало раздражения инвалидов или упрекающих взглядов женщин.

Но чаще смотрели на него женщины иными взглядами; они шли к нему подкормиться, согреться, повеселиться. Лихие деньги протекали через его руки, расходный бумажник пузырился у него как бочонок, червонцы шли у него за копейки, тысячи — за рубли, З-в их не жалел, не копил, не считал. Счёт он вёл только женщинам, которых перепускал, и особо — которых откупоривал, этот счёт был его спортом. Он уверял нас в камере, что на двести девяносто какой-то прервал его арест, досадно не допустив до трёх сотен. Так как время было военное, женщины — одинокие, а у него кроме власти и денег — ещё распутинская мужская сила, то, пожалуй, можно было ему поверить. Да он охотно готов был рассказывать эпизоды за эпизодами, только уши наши не были для того открыты. Хотя никакая опасность ниоткуда не угрожала ему, но как с блюда хватают раков, грызут, сосут и за следующего, так он последние годы судорожно хватал этих женщин, мял и отшвыривал.

Он так привык к податливости материи, к своему крепкому кабаньему бегу по земле! (В минуты особого возбуждения он бегал по камере именно как кабан могучий, который и дуб ли не расшибёт, разогнавшись?) Он так привык, что среди руководящих все свои, всегда можно всё согласовать, утрясти, замазать! Он забыл, что чем больше успеха, тем больше зависти. Как теперь узнал он под следствием, ещё с 1936 года за ним ходило досье об анекдоте, беспечно рассказанном в пьяной компании. Потом подсачивались ещё доносики и ещё показания агентов (ведь женщин надо водить в рестораны, а кто там тебя не видит!). И ещё был донос, что в 1941 он не спешил уезжать из Москвы, ожидая немцев (он действительно задержался тогда, кажется из-за какой-то бабы). З-в зорко следил, чтобы чисто проходили у него хозяйственные комбинации,— он думать забыл, что ещё есть 58-я статья. И всё-таки эта глыба долго могла б на него не обрушиться, но, зазнавшись, он отказал некоему прокурору в стройматериалах для дачи. Тут дело его проснулось, дрогнуло и покатило с горы. (Ещё пример, что судебные Дела начинаются с корысти Голубых . . .)

Круг представлений З-ва был такой: он считал, что существует *американский* язык; в камере за два месяца не прочёл ни одной

книжки, даже ни одной страницы сплошь, а если абзац прочитывал, то только чтоб отвлечься от тяжёлых мыслей о следствии. По разговорам хорошо было понятно, что ещё меньше читал он на воле. Пушкина он знал как героя скабрёзных анекдотов, а о Толстом только то, вероятно, что — депутат Верховного Совета.

Но зато-то — был он стопроцентный? но зато-то был он тот самый сознательный пролетарский, которых воспитывали на смену Пальчинскому и фон Мекку? Вот поразительно: нет! Как-то обсуждали мы с ним ход всей войны, и я сказал, что с первого дня ни на миг не сомневался в нашей победе над немцами. Он резко взглянул на меня, не поверил: «Да что ты?— и взялся за голову.— Ай, Саша-Саша, а я уверен был, что немцы победят! Это меня и погубило!» Вот как! — он был из «организаторов победы»— и каждый день верил в немцев и неотвратно ждал их! — не потому, чтобы любил, а просто слишком трезво знал нашу экономику (чего я, конечно, не знал — и верил).

Все мы в камере были настроены тяжело, но никто из нас так не пал духом, как З-в, не воспринял своего ареста до такой степени трагически. Он при нас освоился, что ждёт его не больше, как десятка, что эти годы в лагере он будет, конечно, прорабом, и не будет знать горя, как и не знал. Но это его ничуть не утешало. Он слишком был потрясён крушением столь славной жизни: ведь именно ею, этой единственной на земле жизнью, ничьей больше, он интересовался все тридцать шесть своих лет! И не раз, сидя на кровати перед столом, толстолицую голову свою подперши короткой толстой рукой, он с потерянными туманными глазами заводил тихо, распевчато:

Позабы-ыт позабро-оше-ен
С молоды-ых ю-уных ле-ет,
Я остался си-иро-ото-ою-у . . .

И никогда не мог дальше!— тут он взрывчато рыдал. Всю силищу, которая рвалась из него, но которая не могла ему помочь пробить стены, он обращал на жалость к себе.

И — к жене. Жена, давно нелюбимая, теперь каждый десятый день (чаще не разрешали) носила ему обильные богатые передачи — белейший хлеб, сливочное масло, красную икру, телятину, осетрину. Он давал нам по бутербродику, по закрутке табаку, склонялся над своей разложенной снедью (ликовавшей запахами и красками против синеватых картошин старого подпольщика), и снова лились его слёзы, вдвое. Он вслух вспоминал слёзы жены, целые годы слёз: то от любовных записок, найденных в брюках; то от дамских чьих-то трусов в кармане пальто, впопыхах засунутых в автомобиле и забытых. И когда так разнимала его истепляющая жалость к себе, спадала кольчуга злой энергии — был перед нами загубленный и явно же хороший человек. Я удивлялся, как может он так рыдать. Эстонец Арнольд Сузи, наш однокамерник с иголочками сединок, объяснил мне: «Жестокость обязательно

подстилается сентиментальностью. Это — закон дополнения. Например, у немцев такое сочетание даже национально.»

А Фастенко, напротив, был в камере самый бодрый человек, хотя по возрасту он был единственный, кто не мог уже рассчитывать пережить и вернуться на свободу. Обняв меня за плечи, он говорил:

Это что — *стоять* за правду!
Ты за правду *посиди*!

Или учил меня напевать свою песню, каторжанскую:

Если погибнуть придётся
В тюрьмах и шахтах сырых,—
Дело всегда отзовётся
На поколеньях живых!

Верю! И пусть страницы эти помогут сбыться его вере!

* * *

Шестнадцатичасовые дни нашей камеры бедны событиями внешними, но так интересны, что мне, например, шестнадцать минут прождать троллейбуса куда нуднее. Нет событий, достойных внимания, а к вечеру вздыхаешь, что опять не хватило времени, опять день пролетел. События мелки, но впервые в жизни научаешься рассматривать их под увеличительным стеклом.

Самые тяжёлые часы в дне — два первых: по грохоту ключа в замке (на Лубянке нет «кормушек»*, и для слова «подъём» тоже надо отпереть дверь) мы вскакиваем без промешки, стелим постели и пусто и безнадёжно сидим на них ещё при электричестве. Это насильственное утреннее бодрствование с шести часов, когда ещё так ленив ото сна мозг и постылым кажется весь мир, и загубленной вся жизнь, и воздуха в камере ни глоточка,— особенно нелепо для тех, кто ночью был на допросе и только недавно смог заснуть. Но не пытайся схитрить! Если ты попробуешь всё-таки придремнуть, чуть ослонясь о стену или облокотясь о стол, будто над шахматами, или расслабясь над книгою, показно раскрытою на коленях,— раздастся предупредительный стук в дверь ключом или хуже: запертая на гремливый замок дверь внезапно бесшумно раскроется (так натренированы лубянские надзиратели), и быстрой бесшумной же тенью, как дух через стену, младший сержант пройдёт три шага по камере, заклюкает тебя в дремоте, и может быть ты пойдёшь в карцер, а может быть книги отымут у всей камеры или лишат прогулки — жестокое несправедливое наказание для всех, а есть и ещё в чёрных строках тюремного распорядка — читай его! он висит в каждой камере. Впрочем, если ты читаешь в очках, то ни книг, ни даже святого распорядка тебе не

* Большой прорез в двери камеры, отпадающий в столик. Через него разговаривают, выдают пищу и предлагают подписываться на тюремных бумагах.

почитать в эти два изморных часа: ведь очки отняты на ночь, и ещё опасно тебе их иметь в эти два часа. В эти два часа никто ничего в камеру не приносит, никто не приходит, ни о чём не спрашивает, никого не вызывают — ещё сладко спят следователи, ещё прочухивается тюремное начальство — и только бодрствует вертухай, ежеминутно отклоняющий щиток глазка.*

Но одна-таки процедура в эти два часа совершается: утренняя оправка. Ещё при подъёме надзиратель сделал важное объявление: он назначил того, кому сегодня из вашей камеры доверено и поручено нести парашу. (В тюрьмах самобытных, серых, заключённые имеют столько свободы слова и самоуправления, чтобы решить этот вопрос самим. Но в Главной политической тюрьме такое событие не может быть доверено стихии.) И вот скоро вы выстраиваетесь гуськом, руки назад, а впереди ответственный парашеносец несёт перед грудью восьмилитровый жестяной бачок под крышкой. Там, у цели, вас снова запирают, но перед тем вручают столько листиков величиною чуть больше спичечной коробки, сколько вас есть. (На Лубянке это неинтересно: листики белые. А есть такие завлекательные тюрьмы, где дают обрывки книжной печати — и что это за чтение! угадать — откуда, прочесть с двух сторон, усвоить содержание, оценить стиль — при обрезанных-то словах его и оценишь!— поменяться с товарищами. Где дадут обрезки из когда-то передовой энциклопедии «Гранат», а то и, страшно сказать, из *классиков*, да не художественных совсем . . . Посещение уборной становится актом познания.)

Но смеха мало Это — та грубая потребность, о которой в литературе не принято упоминать (хотя и здесь сказано с бессмертной лёгкостью: «Блажен, кто рано поутру . . .»). В этом как будто естественном начале тюремного дня уже расставлен капкан для арестанта на целый день — и капкан для духа его, вот что обидно. При тюремной неподвижности и скудости еды, после немощного забытья, вы никак ещё не способны рассчитаться с природой по подъёму. И вот вас быстро возвращают и запирают — до шести вечера (а в некоторых тюрьмах — и до следующего утра). Теперь вы будете волноваться от подхода дневного допросного времени, и от событий дня, и нагружаться пайкой, водой и баландой, но никто уже не выпустит вас в это славное помещение, лёгкий доступ в которое не способны оценить *вольняшки*. Изнурительная пошлая потребность способна возникать у вас вскоре после утренней оправки и потом терзать вас целый день, пригнетать, лишать свободы разговора, чтения, мысли и даже поглощения тощей еды.

Обсуждают иногда в камерах: как родился лубянский да и вообще всякий тюремный распорядок — рассчитанное ли это

* В моё время это слово уже сильно распространилось. Говорили, что это пошло от надзирателей-украинцев: «стой, та нэ вэртухайсь!» Но уместно вспомнить и английское «тюремщик» = turnkey — «верти ключ». Может быть и у нас вертухай — тот, кто вертит ключ?

зверство или само так получилось? Я думаю — чтó кáк. Подъём — это, конечно, по злостному расчёту, а другое многое сперва сложилось вполне механически (как и многие зверства нашей общей жизни), а потом сверху признано полезным и одобрено. Меняются смены в восемь утра и восемь вечера, так удобней всего выводить на оправку в конце смены (а среди дня поодиночке выпускать — лишние заботы и предосторожности, за это не платят). Так же и очки: зачем заботиться с подъёма? перед сдачей ночного дежурства и вернут.

Вот уже слышно, как их раздают — двери раскрываются. Можно сообразить, носят ли очки в соседней камере. (А ваш одноделец не в очках? Ну, да перестукиваться мы не решаемся, очень с этим строго.) Вот принесли очки и нащим. Фастенко в них только читает, а Сузи носит постоянно. Вот он перестал щуриться, надел. В его роговых очках — прямые линии надглазий, лицо становится сразу строго, проницательно, как только мы можем представить себе лицо образованного человека нашего столетия. Ещё перед революцией он учился в Петрограде на историко-филологическом и за двадцать лет независимой Эстонии сохранил чистейший неотличимый русский язык. Затем уже в Тарту он получил юридическое образование. Кроме родного эстонского он владеет ещё английским и немецким, все эти годы он постоянно следил за лондонским «Экономистом», за сводными немецкими научными «Bericht»ами, изучал конституции и кодексы разных стран — и вот в нашей камере он достойно и сдержанно представляет Европу. Он был видным адвокатом Эстонии и звали его «kuldsuu» (золотые уста).

В коридоре новое движение: дармоед в сером халате — здоровый парень, а не на фронте, принёс нам на подносе наши пять паек и десять кусочков сахара. *Наседка* наш суетится вокруг них. Хотя сейчас неизбежно будем всё разыгрывать — имеет значение и горбушка, и число довесков, и отлеглость корки от мякиша, всё пусть решает судьба (где этого не было? Наша всенародная долголетняя несытость. И все дележи в армии проходили так же. И немцы, наслушавшись от своих траншей, передразнивали: «Кому?— Политруку!»)— но наседка хоть подержит всё и оставит налёт хлебных и сахарных молекул на ладонях.

Эти четыреста пятьдесят граммов невзошедшего сырого хлеба, с болотной влажностью мякиша, наполовину из картофеля — наш *костыль* и гвоздевое событие дня. Начинается жизнь! Начинается день, вот когда начинается! У каждого тьма проблем: правильно ли он распорядился с пайкой вчера? резать ли её ниточкой? или жадно ломать? или отщипывать потихоньку? ждать ли чая или навалиться теперь? оставлять ли на ужин или только на обед? и по сколько?

Но кроме этих убогих колебаний — какие ещё широкие диспуты (у нас и языки теперь посвободнели, с хлебом мы уже люди!) вызывает этот фунтовый кусок в руке, налитый больше водою, чем зерном. (Впрочем, Фастенко объясняет: такой же хлеб и трудящиеся Москвы сейчас едят.) Вообще в этом хлебе есть ли хлеб? И какие тут подмеси? (В каждой камере есть человек, понимаю-

щий в подмесях, ибо кто ж их ие едал за эти десятилетия?) Начинаются рассуждеиия и воспомиииаиия. А какой белый хлеб пекли ещё и в двадцатые годы!— караваи пружиииистые, иоздреватые, верхияя корка румяно-коричиевая, промаслеииая, а иижияя с зольцой, с угольком от пода. Невозвратио ушедший хлеб! Родившиеся в тридцатом году вообще иикогда ие узиают, что такое х л е б ! Друзья, это уже запрещёииая тема! Мы договаривались: о еде ни слова!

Сиова движеиие в коридоре — чай разиосят. Новый детииа в сером халате с вёдрами. Мы выставляем ему свой чайиик в коридор, и ои из ведра без иосика льёт — в чайиик и мимо, на дорожку. А весь коридор иаблещеи, как в гостинице первого разряда.

Скоро привезут сюда из Берлииа биолога Тимофеева-Ресовского, мы уже упомииали о нём. Ничто, кажется, так ие оскорбит его иа Лубяике, как это переплескиваиие иа пол. Ои увидит в этом разящий призиак профессиональной иезаиитересоваииости тюремщиков (как и всех иас) в делаемом деле. Ои умиожит 27 лет стояиия Лубяики иа 730 раз в году и иа 111 камер — и ещё долго будет горячиться, что оказалось легче два миллиоиа сто восемьдесят восемь тысяч раз перелить кипяток иа пол и столько же раз прийти с тряпкой и протереть, чем сделать вёдра с иосиками.

Вот и вся еда. А то, что варится, будет одио за другим: в час дия и в четыре дия, и потом двадцать одии час вспомииай. (Тоже ие из зверства: кухие иадо отвариться побыстрей и уйти.)

Девять часов. Утреиияя поверка. Задолго слышиы особеиио громкие повороты ключей, особеиио чёткие стуки дверей — и один из дежуриых этажиых лейтеиаитов, заступающий, подобраный почти по «смирно», делает два шага в камеру и строго смотрит на иас, вставших. (Мы и вспомиить ие смеем, что политические могли бы ие вставать.) Считать иас ему ие труд, одии охват глаза, ио этот миг есть испытание иаших прав — у иас ведь какие-то есть права, но мы их ие знаем, ие зиаем, и ои должеи от иас их утаить. Вся сила лубяиской выучки в полиой механичности: ии выражеиия, ии иитоиации, ии лишиего слова.

Мы какие знаем права: заявка иа почиику обуви; к врачу. Но вызовут к врачу — ие обрадуешься, там тебя особеиио поразит эта лубянская механичность. Во взгляде врача не только иет озабочеиности, ио даже простого виимаиия. Ои ие спросит: «На что вы жалуетесь?», потому что тут слишком много слов, да и иельзя произнести эту фразу без иитоиации, ои отрубит: «Жалобы?». Если ты слишком простраиио иачиёшь рассказывать о болезии, тебя оборвут. Ясно и так. Зуб? Вырвать. Можио мышьяк. Лечить? У нас ие лечат. (Это увеличило бы число визитов и создало обстаиовку как бы человечиости.)

Тюремиый врач — лучший помощник следователя и палача. Избиваемый очиётся на полу и слышит голос врача: «Можио ещё, пульс в иорме.» После пяти суток холодиого карцера врач смотрит иа окочеиелое голое тело и говорит: «Можио ещё.» Забили до смерти — ои подписывает протокол: смерть от цирроза печеии,

инфаркта. Срочно зовут к умирающему в камеру — он не спешит. А кто ведёт себя иначе — того при нашей тюрьме не держат. Доктор Ф. П. Гааз у нас бы не приработался.

Но наш наседка осведомлён о правах лучше (по его словам, он под следствием уже одиннадцать месяцев; на допросы его берут только днём). Вот он выступает и просит записать его — к начальнику тюрьмы. Как, к начальнику всей Лубянки? Да. И его записывают. (И вечером после отбоя, когда уже следователи на местах, его вызовут, и он вернётся с махоркой. Топорно, конечно, но лучше пока не придумали. А переходить полностью на микрофоны тоже большой расход: нельзя же целыми днями все сто одиннадцать камер слушать. Кто это будет? Наседки — дешевле, и ещё долго ими будут пользоваться. Но трудно Крамаренко с нами. Иногда он до пота вслушивается в разговор, а по лицу видно, что не понимает.)

А вот ещё одно право — свобода подачи заявлений (взамен свободы печати, собраний и голосований, которые мы утеряли, уйдя с воли)! Два раза в месяц утренний дежурный спрашивает: «Кто будет писать заявления?» И безотказно записывает всех желающих. Среди дня тебя вызовут в отдельный бокс и там запрут. Ты можешь писать кому угодно — Отцу Народов, в ЦК, в Верховный Совет, министру Берии, министру Абакумову, в Генеральную прокуратуру, в Главную военную, в Тюремное управление, в Следственный отдел, можешь жаловаться на арест, на следователя, на начальника тюрьмы!— во всех случаях заявление твоё не будет иметь никакого успеха, оно не будет никуда подшито, и самый старший, кто его прочтёт — твой следователь, однако ты этого не докажешь. Но ещё раньше — он н е прочтёт, потому что прочесть его не сможет вообще никто; на этом клочке 7×10 см., чуть больше, чем утром вручают для уборной, ты сумеешь пером расщеплённым или загнутым в крючок, из чернильницы с лохмотьями или залитой водой, только нацарапать «Заяв . . .»— и буквы уже поплыли, поплыли по гадкой бумаге, и «ление» уже не поместится в строчку, а с другой стороны листка тоже всё проступило насквозь.

И может быть ещё и ещё у вас есть права, но дежурный молчит. Да немного, пожалуй, вы потеряете, так о них и не узнав.

Поверка миновала — начинается день. Уже приходят там где-то следователи. Вертухай вызывает вас с большой таинственностью: он выговаривает первую букву только (и в таком виде: «кто на Сы?», «кто на Фэ?», а то ещё и «кто на Ам?»), вы же должны проявить сообразительность и предложить себя в жертву. Такой порядок заведён против надзирательских ошибок: выкликнет фамилию не в той камере, и так мы узнаем, кто ещё сидит. Но и отъединённые ото всей тюрьмы, мы не лишены междукамерных весточек: из-за того, что стараются запихнуть побольше,— тасуют, а каждый переходящий приносит в новую камеру весь наращенный опыт старой. Так, сидя только на четвёртом этаже, знаем мы и о подвальных камерах, и о боксах первого этажа, и о темноте второго, где собраны женщины, и о двухъярусном устройстве

пятого, и о последнем номере его — сто одиннадцать. Передо мной в нашей камере сидел детский писатель Бондарин, до того он посидел на женском этаже с каким-то польским корреспондентом, а польский корреспондент ещё раньше сидел с фельдмаршалом Паулюсом — и вот все подробности о Паулюсе мы тоже знаем.

Проходит полоса допросных вызовов — и для оставшихся в камере открывается долгий приятный день, украшенный возможностями и не слишком омрачённый обязанностями. Из обязанностей нам может выпасть два раза в месяц прожигание кроватей паяльной лампой (спички на Лубянке запрещены категорически, чтобы прикурить папиросу, мы должны терпеливо «голосовать» пальцем при открывании волчка, прося огонька у надзирателя, — паяльные же лампы нам доверяют спокойно).— Ещё может выпасть как будто и право, но сильно сбивается оно на обязанность: раз в неделю по одному вызывают в коридор и там туповатой машинкой стригут лицо.— Ещё может выпасть обязанность натирать паркет в камере (З-в всегда избегает этой работы, она унижает его, как всякая). Мы выдыхаемся быстро из-за того, что голодны, а то ведь пожалуй эту обязанность можно отнести и к правам — такая это весёлая здоровая работа: босой ногой щётку вперёд — а корпус назад, и наоборот, вперёд-назад, вперёд-назад, и не тужи ни о чём! Зеркальный паркет! Потёмкинская тюрьма!

К тому ж мы не теснимся уже в нашей прежней 67-й. В середине марта к нам добавили шестого, а ведь здесь не знают ни сплошных нар, ни обычая спать на полу — и вот нас перевели полным составом в красавицу 53-ю. (Очень советую: кто не был — побывать.) Это — не камера! Это — дворцовый покой, отведенный под спальню знатным путешественникам! Страховое общество «Россия»* в этом крыле без оглядки на стоимость постройки вознесло высоту этажа в пять метров. (Ах, какие четырёхэтажные нары отгрохал бы здесь начальник фронтовой контрразведки, и сто человек расместил бы с гарантией!) А окно!— такое окно, что с подоконника надзиратель еле дотягивается до форточки, одна окончина такого окна достойна быть целым окном жилой комнаты. И только склёпанные стальные листы намордника, закрывающие четыре пятых этого окна, напоминают нам, что мы не во дворце.

Всё же в ясные дни и поверх этого намордника, из колодца лубянского двора, от какого-то стекла шестого или седьмого этажа, к нам отражается теперь вторичный блеклый солнечный зайчик. Для нас это подлинный зайчик — живое дорогое существо! Мы ласково следим за его переползанием по стене, каждый шаг его

---

* Достался этому обществу неравнодушный к крови кусочек московской земли: пересеча Фуркасовский, близ дома Ростопчина, растерзан был в 1812 неповинный Верещагин, а по ту сторону улицы Большой Лубянки жила (и убивала крепостных) душегубица Салтычиха. («По Москве», под ред. Н. А. Гейнике и др. Изд-во Сабашниковых, М., 1917, стр. 231)

исполнен смысла, предвещает время прогулки, отсчитывает несколько получасов до обеда, а перед обедом исчезает от нас.

Итак, наши возможности: сходить на прогулку! читать книги! рассказывать друг другу о прошлом! слушать и учиться! спорить и воспитываться! И в награду ещё будет обед из двух блюд! Невероятно!

Прогулка плоха первым трём этажам Лубянки: их выпускают на нижний сырой дворик — дно узкого колодца между тюремными зданиями. Зато арестантов четвёртого и пятого этажей выводят на орлиную площадку — на крышу пятого. Бетонный пол, бетонные трёхростовые стены, рядом с нами надзиратель безоружный, и ещё на вышке часовой с автоматом,— но воздух настоящий и настоящее небо! «Руки назад! идти по два! не разговаривать! не останавливаться!»— но забывают запретить запрокидывать голову! И ты, конечно, запрокидываешь. Здесь ты видишь не отражённым, не вторичным — само Солнце! само вечно живое Солнце! или его золотистую россыпь через весенние облака.

Весна и всем обещает счастье, а арестанту десятерицей. О, апрельское небо! Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют! Зато я стану тут умней. Я многое пойму здесь, небо! Я ещё исправлю свои ошибки — не перед *ними* — перед тобою, Небо! Я здесь их понял — и я исправлю!

Как из ямы, с далёкого низа, с площади Дзержинского, к нам восходит непрерывное хриплое земное пение автомобильных гудков. Тем, кто мчится под эти гудки, они кажутся рогом торжества,— а отсюда так ясно их ничтожество.

Прогулка всего двадцать минут, но сколько ж забот вокруг неё, сколько надо успеть!

Во-первых, очень интересно, пока ведут туда и назад, понять расположение всей тюрьмы и где эти висячие дворики, чтобы когда-нибудь на воле идти по площади и знать. По пути мы много раз поворачиваем, я изобретаю такую систему: от самой камеры каждый поворот вправо считать плюс один, каждый влево — минус один. И как бы быстро нас ни крутили,— не спешить это представить, а только успевать подсчитывать итог. И если ещё по дороге в каком-нибудь лестничном окошке ты увидишь спины лубянских наяд, прилегших к колончатой башенке над самой площадью, и при этом счёт запомнишь, то в камере ты потом всё сориентируешь и будешь знать, куда выходит ваше окно.

Потом на прогулке надо просто дышать — как можно сосредоточенней.

Но и там же, в одиночестве, под светлым небом, надо вообразить свою будущую светлую безгрешную и безошибочную жизнь.

Но и там же удобней всего поговорить на самые острые темы. Хоть разговаривать на прогулке запрещено, это неважно, надо уметь,— зато именно здесь вас вероятно не слышит ни наседка, ни микрофон.

На прогулку мы с Сузи стараемся попадать в одну пару — мы говорим с ним и в камере, но договаривать главное любим здесь. Не

в один день мы сходимся, мы сходимся медленно, но уже и много он успел мне рассказать. С ним я учусь новому для меня свойству: терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моём плане и, как будто, никакого отношения не имеет к ясно прочерченной линии моей жизни. С детства я откуда-то знаю, что моя цель — это история русской революции, а остальное меня совершенно не касается. Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; всё прочее, что липло, я отрубал и отворачивался. А вот свела судьба с Сузи, у него совсем была другая область дыхания, теперь он увлечённо рассказывает мне всё о своём, а своё у него — это Эстония и демократия. И хотя никогда прежде не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более — буржуазной демократией, но я слушаю и слушаю его влюблённые рассказы о двадцати свободных годах этого некрикливого трудолюбивого маленького народа из крупных мужчин с их медленным основательным обычаем; выслушиваю принципы эстонской конституции, извлечённые из лучшего европейского опыта, и как работал на них однопалатный парламент из ста человек; и неизвестно — зачем мне, но всё это начинает мне нравиться, всё это и в моём опыте начинает откладываться. (Сузи обо мне потом вспомнит так: странная смесь марксиста и демократа. Да, диковато у меня тогда соединялось.) Я охотно вникаю в их роковую историю: между двумя молотами, тевтонским и славянским, издревле брошенная маленькая эстонская наковаленка. Опускали на неё в черёд удары с востока и с запада — и не было видно этому чередованию конца, и ещё до сих пор нет. Вот известная (совсем неизвестная ...) история, как мы хотели взять их наскоком в 1918, да они не дались. Как потом Юденич презирал в них чухну, а мы их честили белобандитами, эстонские же гимназисты записывались добровольцами. И ударили по Эстонии ещё и в сороковом году, и в сорок первом, и в сорок четвёртом, и одних сыновей брала советская армия, других немецкая, а третьи бежали в лес. И пожилые таллинские интеллигенты толковали, что вот вырваться бы им из заклятого колеса, отделиться как-нибудь и жить самим по себе (ну, и предположительно будет у них премьер-министром, скажем, Тииф, а министром народного просвещения, скажем, Сузи). Но ни Черчиллю, ни Рузвельту до них дела не было, зато было дело до них у «дяди Джо» (Иосифа). И как только вошли наши войска, всех этих мечтателей в первые же ночи забрали с их таллинских квартир. Теперь их человек пятнадцать сидело на московской Лубянке в разных камерах по одному, и обвинялись они по 58-2 в преступном желании самоопределиться.

Возврат с прогулки в камеру это каждый раз — маленький арест. Даже в нашей торжественной камере после прогулки воздух кажется спёртым. Ещё после прогулки хорошо бы закусить, но не думать, не думать об этом! Плохо, если кто-нибудь из получающих передачу нетактично раскладывает свою еду не вовремя, начинает есть. Ничего, оттачиваем самообладание! Плохо, если тебя подводит автор книги, начинает подробно смаковать еду — прочь такую

книгу! Гоголя — прочь! Чехова — тоже прочь!— слишком много еды! «Есть ему не хотелось, но он всё-таки съел (сукин сын!) порцию телятины и выпил пива.» Читать духовное! Достоевского — вот кого читать арестантам! Но позвольте, это у него: «дети голодали, уже несколько дней они ничего не видели, кроме хлеба и *колбасы»?*

А библиотека Лубянки — её украшение. Правда, отвратительна библиотекарша — белокурая девица несколько лошадиного сложения, сделавшая всё, чтобы быть некрасивой: лицо её так набелено, что кажется неподвижной маской куклы, губы фиолетовые, а выдерганные брови — чёрные. (Вообще-то, дело её, но нам бы приятнее было, если бы являлась фифочка,— а может начальник Лубянки это всё и учёл?) Но вот диво: раз в десять дней придя забрать книги, она выслушивает наши заказы!— выслушивает с той же бесчеловечной лубянской механичностью, нельзя понять — слышала она эти имена? эти названия? да даже сами наши слова слышит ли? Уходит. Мы переживаем несколько тревожно-радостных часов. За эти часы перелистываются и проверяются все сданные нами книги: ищется, не оставили ли мы проколов или точек под буквами (есть такой способ тюремной переписки), или отметок ногтем на понравившихся местах. Мы волнуемся, хотя ни в чём таком не виновны: придут и скажут: обнаружены точки, и как всегда они правы, и как всегда доказательств не требуется, и мы лишены на три месяца книг, если ещё всю камеру не переведут на карцерное положение. Эти лучшие светлые тюремные месяцы, пока мы ещё не окунаемся в лагерную яму — уж очень досадно быть без книг! Ну да мы не только же боимся, назвав заказ,— мы ещё трепещем, как в юности, послав любовную записку и ожидая ответа: придёт или не придёт? и какой будет?

Наконец, книги приходят и определяют следующие десять дней: будем ли больше налегать на чтение, или дрянь принесли и будем больше разговаривать. Книг приносят столько, сколько людей в камере — расчёт хлебореза, а не библиотекаря: на одного — одну, на шестерых — шесть. Многолюдные камеры выигрывают.

Иногда девица на чудо выполняет наши заказы! Но и когда пренебрегает ими, всё равно получается интересно. Потому что сама библиотека Большой Лубянки — уникум. Вероятно, свозили её из конфискованных частных библиотек; книголюбы, собиравшие их, уже отдали душу Богу. Но главное: десятилетиями повально цензуруя и оскопляя все библиотеки страны, госбезопасность забывала покопаться у себя за пазухой — и здесь, в самом логове, можно было читать Замятина, Пильняка, Пантелеймона Романова и любой том из полного Мережковского. (А иные шутили: нас считают погибшими, потому и дают читать запрещённое. Я-то думаю, лубянские библиотекари понятия не имели, что́ они нам дают — лень и невежество.)

В эти предобеденные часы остро читается. Но одна фраза может тебя подбросить и погнать, и погнать от окна к двери, от

двери к окну. И хочется показать кому-нибудь, что́ ты прочёл и что́ отсюда следует, и вот уже затевается спор. Спорится тоже остро в это время!

Мы часто схватываемся с Юрием Евтуховичем.

* * *

В то мартовское утро, когда нас пятерых перевели в дворцовую 53-ю камеру,— к нам впустили шестого.

Он вошёл — тенью, кажется — не стуча ботинками по полу. Он вошёл и, не уверенный, что усто́ит, спиной привалился к дверному косяку. В камере уже не горела лампочка, и утренний свет был мутен, однако новичок не смотрел в полные глаза, он щурился. И молчал.

Сукно его военного френча и брюк не позволяло отнести его ни к советской, ни к немецкой, ни к польской или английской армии. Склад лица был вытянутый, мало русский. Ну, да и худ же как! И при худобе очень высок.

Мы спросили его по-русски — он молчал. Сузи спросил по-немецки — он молчал. Фастенко спросил по-французски, по-английски — он молчал. Лишь постепенно на его измождённом жёлтом полумёртвом лице появилась улыбка — единственную такую я видел за всю мою жизнь!

— Лю-уди . . .— слабо выговорил он, как бы возвращаясь из обморока или как бы ночью минувшей прождав расстрела. И протянул слабую истончавшую руку. Она держала узелочек в тряпице. Наш наседка уже понял, что́ это, бросился, схватил узелок, развязал на столе — граммов двести там было лёгкого табаку, и уже сворачивал себе четырёхкратную папиросу.

Так после трёх недель подвального бокса у нас появился Юрий Николаевич Евтухович.

Со времён столкновения на КВЖД в 1929 распевали по стране песенку:

> Стальною грудью врагов сметая,
> Стоит на страже Двадцать Седьмая!

Начальником артиллерии этой 27-й стрелковой дивизии, сформированной ещё в гражданскую войну, был царский офицер Николай Евтухович (я вспомнил эту фамилию, я видел её среди авторов нашего артиллерийского учебника). В вагоне-теплушке с неразлучной женой пересекал он Волгу и Урал то на восток, то на запад. В этой теплушке провёл свои первые годы и сын Юрий, рождённый в 1917 году, ровесник революции.

С той далёкой поры отец его осел в Ленинграде, в Академии, жил благосытно и знатно, и сын кончил училище комсостава. В финскую войну, когда Юрий рвался воевать за Родину, друзья отца поднаправили сына в адъютанта в штаб армии. Юрию не пришлось ползать на финские ДОТы, ни попадать в окружение в разведке, ни замерзать в снегу под пулями снайперов — но орден

Красного Знамени, не какой-нибудь!— аккуратно прилёг к его гимнастёрке. Так он окончил финскую войну с сознанием её справедливости и своей пользы в ней.

Но в следующей войне ему не пришлось так гладко. Юрий прекрасно владел разговорным немецким, его переодели в форму пленного офицера и с его документами послали в разведку. Он выполнил задание, для возвращения переоделся в советскую форму (с убитого), но тут сам попал в плен к немцам. И отправлен в концентрационный лагерь под Вильнюсом.

В каждой жизни есть какое-то событие, решающее всего человека — и судьбу его, и убеждения, и страсти. Два года в этом лагере перетряхнули Юрия. То, что́ был этот лагерь, нельзя было ни оплести словечками, ни оползти на силлогизмах — в этом лагере надо было умереть, а кто не умер — сделать вывод.

Выжить могли «орднеры»— внутренние лагерные полицаи, из своих. Разумеется Юрий не стал орднером. Ещё выживали повара. Ещё мог выжить переводчик — таких искали. Но тут Юрий скрыл своё знание немецкого: он понимал, что переводчику придётся предавать своих. Ещё можно было оттянуть смерть копкой могил, но там были крепче его и проворней. Юрий заявил, что он — художник. Действительно, в его разнообразном домашнем воспитании были уроки живописи, Юра недурно писал маслом, и только желание следовать отцу, которым он гордился, помешало ему поступить в художественное училище.

Вместе с другим художником-стариком (жалею, что не помню его фамилии) им отвели отдельную кабину в бараке, и там Юрий писал комендантским немцам бесплатные картинишки — пир Нерона, хоровод эльфов, и за это ему приносили поесть. Та бурда, за которой военнопленные офицеры с шести утра занимали с котелками очередь, и орднеры били их палками, а повара черпаками,— та бурда не могла поддержать человеческую жизнь. Вечерами из окна их кабины Юрий видел теперь ту единственную картину, для которой дано ему было искусство кисти: вечерний туманец над приболотным лугом, луг обнесен колючей проволокой, и множество горит на нём костров, а вокруг костров — когда-то советские офицеры, а сейчас звероподобные существа, грызущие кости павших лошадей, выпекающие лепёшки из картофельной кожуры, курящие навоз и все шевелящиеся от вшей. Ещё не все эти двуногие издохли. Ещё не все они утеряли членораздельную речь, и видно в багряных отсветах костра, как позднее понимание прорезает лица их, опускающиеся к неандертальцам.

Полынь во рту! Жизнь, которую Юрий сохраняет, уже не мила ему сама по себе. Он не из тех, кто легко соглашается забыть. Нет, ему достаётся выжить — и он должен сделать выводы.

Им уже известно, что дело — не в немцах, или не в одних немцах, что из пленных многих национальностей только советские так живут, так умирают,— никто хуже советских. Даже поляки, даже югославы содержатся гораздо сносней, а уж англичане, а норвежцы — они завалены посылками международного Красного

Креста, посылками из дому, они просто не ходят получать немецкого пайка. Там, где лагеря рядом, союзники из доброты бросают нашим через проволоку подачки, и наши бросаются как свора собак на кость.

Русские вытягивают всю войну — и русским такой жребий. Почему так?

Оттуда, отсюда постепенно приходят объяснения: СССР не признаёт русской подписи под гаагской конвенцией о пленных, значит не берёт никаких обязательств по обращению с плéнными и не претендует на защиту своих, попавших в плен.* СССР не признаёт международного Красного Креста. СССР не признаёт своих вчерашних солдат: нет ему расчёта поддерживать их в плену.

И холодеет сердце восторженного ровесника Октября. Там, в кабинке барака, они сшибаются и спорят с художником-стариком (до Юрия трудно доходит, Юрий сопротивляется, а старик вскрывает за слоем слой). Что это?— Сталин? Но не много ли списывать всё на Сталина, на его коротенькие ручки? Тот, кто делает вывод до половины — не делает его вовсе. А — остальные? Там, около Сталина и ниже, и повсюду по Родине — в общем те, которым Родина разрешила говорить от себя?

И кáк правильно быть, если мать продала нас цыганам, нет, хуже — бросила собакам? Разве она остаётся нам матерью? Если жена пошла по притонам — разве мы связаны с ней верностью? Родина, изменившая своим солдатам — разве это Родина?

Как обернулось всё для Юрия! Он восхищался отцом — и вот проклял его! Он впервые задумался, что ведь отец его по сути изменил присяге той армии, в которой вырос,— изменил, чтоб устанавливать вот этот порядок, теперь предавший своих солдат. И почему же с этим предательским порядком связан присягою Юрий?

Когда весной 1943 в лагерь приехали вербовщики от первых русских «легионов»— кто-то шёл, чтобы спастись от голода, Евтухович пошёл с твёрдостью, с ясностью. Но в легионе он не задержался: кожу сняли — так не по шерсти тужить. Юрий перестал теперь скрывать хорошее знание немецкого, и вскоре некий *шеф*, немец из-под Касселя, получивший назначение создать шпионскую школу с ускоренным военным выпуском, взял Юрия к себе правой рукой. Так началось сползание, которого Юрий не предвидел, началась подмена. Юрий пылал освобождать родину, его засовывали готовить шпионов — у немцев планы свои. А где была грань? . . . С какого момента нельзя было переступать? Юрий стал лейтенантом немецкой армии. В немецкой форме он ездил теперь по Германии, бывал в Берлине, посещал русских эмигрантов, читал недоступных прежде Бунина, Набокова, Алданова . . . Юрий ждал, что у всех у них, что у Бунина — каждая страница истекает живыми ранами России. Но что с ними? На что растратили они неоценимую свободу? Опять о женском теле, о взрыве страсти,

* Эту конвенцию мы признали только в 1955 году.

о закатах, о красоте дворянских головок, об анекдотах запылённых лет. Они писали так, будто никакой революции в России не бывало или слишком уж недоступно им её объяснить. Они оставляли русским юношам самим искать азимут жизни. Так метался Юрий, спешил видеть, спешил знать, а между тем по исконной русской манере всё чаще и всё глубже окунал своё смятение в спиртное.

Что такое была их шпионская школа? Совсем не настоящая, конечно. За шесть месяцев их могли научить только владеть парашютом, взрывным делом да рацией. В них и не очень-то верили. Их забрасывали для инфляции доверия. А для умирающих, безнадёжно брошенных русских военнопленных эти школки, по мнению Юрия, были хороший выход: ребята здесь отъедались, одевались в тёплое, новое, да ещё все карманы набивали им советскими деньгами. Ученики (как и учителя) делали вид, что так всё и будет: что в советском тылу они будут шпионить, подрывать назначенные объекты, связываться радиокодом, возвращаться назад. А они через эту школу просто улетали от смерти и плена, они хотели остаться жить, но не ценой того, чтобы стрелять в своих на фронте.

Конечно наше следствие не принимало таких резонов. Какое право они имели хотеть жить, когда литерные семьи в советском тылу и без того хорошо жили? Никакого уклонения от взятия немецкого карабина за этими ребятами не признавали. За их шпионскую игру им клепали тягчайшую 58-6 да ещё диверсию через намерение. Это значило: держать, пока не околеют.

Их перепускали через фронт, а дальше их свободный выбор зависел от их нрава и сознания. Тринитротолуол и рацию они все бросали сразу. Разница была только: сдаваться ли властям тут же (как мой курносый «шпиён» в армейской контрразведке) или сперва покутить, погулять на даровые деньги. И только никто никогда не возвращался через фронт назад, опять к немцам.

Вдруг под новый 1945 год один бойкий парень вернулся и доложил, что задание выполнил (пойди его проверь!). Это было необычайно. Шеф не сомневался, что он прислан от СМЕРШа, и решил его расстрелять (судьба добросовестного шпиона!). Но Юрий настоял, что, напротив, надо наградить его и поднять перед курсантами. А вернувшийся шпионяга предложил Юрию распить литр и, багровый, наклонясь через стол, открыл: «Юрий Николаевич! Советское командование обещает вам прощение, если вы сейчас перейдёте сами к нам.»

Юрий задрожал. Уже ожесточившееся, уже ото всего отрешившееся сердце розняло теплом. Родина?.. Заклятая, несправедливая и такая же всё дорогая! Прощение?.. И можно вернуться к семье? И пройтись по Каменноостровскому? Ну что, в самом деле, мы же русские! Простите нас, мы вернёмся, и какие ещё будем хорошие!.. Эти полтора года, с тех пор, как он вышел из лагеря, не принесли Юрию счастья. Он не раскаивался, но не видел и будущего. Встречаясь за шнапсом с другими такими же бесприкаянными русскими, они ясно чувствовали: опоры — нет, всё равно жизнь не настоящая. Немцы крутят ими по-своему. Теперь, когда война уже явно проигрывалась немцами, у Юрия как раз появился

выход: шеф любил его и открыл, что в Испании у него есть запасное имение, куда они при прогаре империи и умотаются вместе. Но вот сидел пьяный соотечественник через стол и, сам рискуя жизнью, заманивал: «Юрий Николаевич! Советское командование ценит ваш опыт и знания, их хотят у вас перенять — организацию немецкой разведки . . .»

Две недели разбирали Евтуховича колебания. Но во время завислинского советского наступления, когда он школу свою отводил вглубь, он приказал свернуть на тихий польский фольварк, там выстроил школу и объявил: «Я перехожу на советскую сторону! Каждому — свободный выбор!» И эти горе-шпионы с молоком на губах, ещё час назад делавшие вид, что преданы германскому райху, теперь восторженно закричали: «Ура-а! И мы-ы!» (Они кричали «ура» своим будущим каторжным работам . . .)

Тогда их шпионская школа в полном составе дотаилась до подхода советских танков, а потом и СМЕРШа. Больше Юрий не видел своих ребят. Его отделили, десять дней заставили описывать всю историю школы, программы, диверсионные задания, и он действительно думал, что «его опыт и знания . . .» Даже уже обсуждался вопрос о поездке домой, к родным.

И понял он только на Лубянке, что даже в Саламанке был бы ближе к своей Неве . . . Можно было ждать ему расстрела или никак не меньше двадцати.

Так неисправимо поддаётся человек дымку с родной стороны . . . Как зуб не перестаёт отзываться, пока не убьют его нерв, так и мы, наверно, не перестанем отзываться на родину, пока не глотнём мышьяка. Лотофаги из «Одиссеи» знали для этого какой-то лотос . . .

Всего недели три пробыл Юрий в нашей камере. Все эти три недели мы с ним спорили. Я говорил, что революция наша была великолепна и справедлива, ужасно лишь её искажение в 1929. Он с сожалением смотрел на меня и пожимал нервные губы: прежде чем браться за революцию, надо было вывести в стране клопов! (Где-то тут они странно смыкались с Фастенко, придя из таких разных концов.) Я говорил, что долгое время только люди высоких намерений и вполне самоотверженные вели советскую страну. Он говорил — одного поля со Сталиным, с самого начала. (В том, что Сталин — бандит, мы с ним не расходились.) Я превозносил Горького: какой умник! какая верная точка зрения! какой великий художник! Он парировал: ничтожная скучнейшая личность! придумал сам себя и придумал себе героев, и книги все выдуманные насквозь. Лев Толстой — вот царь нашей литературы!

Из-за этих ежедневных споров, запальчивых по нашей молодости, мы с ним не сумели сойтись ближе и разглядеть друг в друге больше, чем отрицали.

Его взяли из камеры, и с тех пор, сколько я ни расспрашивал, никто не сидел с ним в Бутырках, никто не встречался на пересылках. Даже рядовые власовцы все ушли куда-то бесследно, вернее что в землю, а иные и сейчас не имеют документов выехать

из северной глушн. Судьба же Юрия Евтуховнча и средн них была не рядовая.*

Я употребляю здесь и дальше слово «власовец» а том иеясном, ио прочиом смысле, как оно возникло и утвердилось а советском языке н никогдв не поддалось точному определенню, искать которое было для лиц иеофнциальиых — опасио, для официальных — нежелательно: «власовец»— вообще всякнй советский, вооружённо прннявший сторону противиика а этой войне. Ещё понадобятся годы и киигн, чтобы поиятие это проаналнзировать, выделить разные категории, и тогда а остатке получены будут «власовцы» в собственном смысле — то есть прямые стороннники или подчииённые генерала Власоаа с тех пор, как он в немецком плену дал своё нмя для антнбольшевнстского движения. Такнх сторониикоа в нные месяцы войны насчитыаалось всего лишь сотнн, а собствеино власовская армия с цеитральным подчинеиием н вообще по сути создаться ие успела. Но а декабре 1942 немцы провелн пропагандистскнй трюк: сообщнли о состоявшемся (инкогда ие состоявшемся) «учреднтельном заседанин» «Русского комнтета» в Смоленске, то ли претендующего быть подобием русского прааительства, то ли нет, сообщеиие хранило неувереиность,— н далн к тому нмена: генерал-лейтенаита Власова и генерал-майора Малышкина. Немцы моглн себе позаолить такую затею: объявить, потом отменнть, потом действовать н противно тому,— ио листовкн попорхали с самолётов, легли на нашн фроитоаые поля, легли а наши памятн — за комитетом «власовским» естествеино пристронлось представленне о двнжеиии, о аооружёиных силах, и когда в немецкой армни протнв нас стали появляться вооружённые наши соотечествеиинкн — русские или национальные частн, то к иим н прилегло единственно нзвестное слово «власовцы», и наши политруки не препятстаоаалн тому. Так условно, но прочно, саязалось всё двнжеиие с нменем Власова.

И такнх вооружённых наших соотечествеииикоа, поднявшнх оружие против своей родины,— сколько же было? «Не меиее 800 тысяч советскнх граждвн входили а боевые оргаиизацин, целью которых была борьбв против советского государства»,— свндетельствует однн исследователь (Thorwald — «Wen sie verderben wollen . . .», Stuttgart, 1952). Около того оцеиивают н другне (иапример, Sven Steenberg — «Wlassow — Verräter oder Patriot?» — Köln, 1968). Трудность определеиия точных цифр отчастн н а том, что пронсходила борьба разиых течений в германской админнстрацин н аоенном командоваинн, н ннжиим инстанцням, реалистичным а ходе войны, требовалось эту цифру преуменьшать, чтобы ие пугать верхи ростом антнбольшеаистской, одиако не про-иемецкой силы. Это всё — много раньше создання отдельной Русской Освободительной Армнн в коице 1944 года.

* * *

Наконец, приходил и лубянский обед. Задолго мы слышали радостное звяканье в коридоре, потом вносили по-ресторанному на подносе каждому две алюминиевых тарелки (не миски): с черпаком супа н с черпаком водяннстой безжирной кашнцы.

В первых волнениях подследственному ничего в глотку не идёт, кто несколько суток и хлеба не трогает, не знает, куда его деть. Но постепенно возвращается аппетит, потом постоянно-голодное состояние, доходящее до жадности. Потом, если удаётся себя умерить, желудок сжимается, приспособляется к скудному — здешней жалкой пищи становиться даже как раз. Для этого нужно самовоспнтанне, отвыкнуть коснться, кто ест лишнее, запретить чревоопасные тюремные разговоры о еде и как можно больше подниматься

---

* В 1974 («Русская мысль», 27.6) одни бывший зэк сандетельствовал, что Юрий получил 25 лет лагерей и отбывал их иа Сахалине, иа 505-й стройке.

в высокие сферы. На Лубянке это облегчается двумя часами разрешённого послеобеденного лежания — тоже диво курортное. Мы ложимся спиной к волчку, приставляем для вида раскрытые книги и дремлем. Спать-то, собственно, запрещено, и надзиратели видят долго не листаемую книгу, но в эти часы обычно не стучат. (Объяснение гуманности в том, что кому спать не положено, те в это время на дневном допросе. Для упрямцев, не подписывающих протоколы, даже сильней контраст: приходят, а тут конец мёртвого часа.)

А сон — это лучшее средство против голода и против кручины: и организм не горит, и мозг не перебирает заново и заново сделанных тобою ошибок.

Тут приносят и ужин — ещё по черпачку кашицы. Жизнь спешит разложить перед тобой все дары. Теперь пять-шесть часов до отбоя ты не возьмёшь в рот ничего, но это уже не страшно, вечерами легко привыкнуть, чтобы не хотелось есть, — это давно известно и военной медицине, и в запасных полках вечером тоже не кормят.

Тут подходит время вечерней оправки, которую ты скорее всего с содроганием ждал целый день. Каким облегчённым становится сразу весь мир! Как в нём сразу упростились все великие вопросы — ты почувствовал?

Невесомые лубянские вечера! (Впрочем, тогда только невесомые, если ты не ждёшь ночного допроса.) Невесомое тело, ровно настолько удовлетворённое кашицей, чтобы душа не чувствовала его гнёта. Какие лёгкие свободные мысли! Мы как будто вознесены на Синайские высоты, и тут из пламени является нам истина. Да не об этом ли и Пушкин мечтал:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!

Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого идеала достичь...

Спорим мы, конечно, и по вечерам, отвлекаясь от шахматной партии с Сузи и от книг. Горячее всего сталкиваемся опять мы с Евтуховичем, потому что вопросы все взрывные, например — об исходе войны. Вот, без слов и без выражения войдя в камеру, надзиратель опустил на окне синюю маскировочную штору. Теперь там, за шторой, вечерняя Москва начинает лупить салюты. Как не видим мы салютного неба, так не видим и карты Европы, но пытаемся вообразить её в подробностях и угадать, какие же взяты города. Юрия особенно изводят эти салюты. Призывая судьбу исправить наделанные им ошибки, он уверяет, что война отнюдь не кончается, что сейчас Красная армия и англо-американцы вцепятся друг в друга, и только тогда начнётся настоящая война. Камера относится к такому предсказанию с жадным интересом. И чем же кончится? Юрий уверяет, что — лёгким разгромом Красной армии (и, значит, нашим освобождением? или расстрелом?). Тут упираюсь я, и мы особенно яростно спорим. Его доводы — что наша армия измотана, обескровлена, плохо снабжена и, главное, против

союзников уже не будет воевать с такой твёрдостью. Я на примере знакомых мне частей отстаиваю, что армия не столько измотана, сколько набралась опыта, сейчас сильна и зла, и в этом случае будет крошить союзников ещё чище, чем немцев.— Никогда!— кричит (но полушёпотом) Юрий.— А Арденны?— кричу (полушёпотом) я. Вступает Фастенко и высмеивает нас, что оба мы не понимаем Запада, что сейчас и вовсе никому не заставить воевать против нас союзные войска.

Но всё-таки вечером не так уж хочется спорить, как слушать что-нибудь интересное и даже примиряющее, и говорить всем согласно.

Один из таких любимейших тюремных разговоров — разговор о тюремных традициях, о том, как *сидели раньше*.* У нас есть Фастенко, и потому мы слушаем эти рассказы из первых уст. Больше всего умиляет нас, что раньше быть политзаключённым была гордость, что не только их истинные родственники не отрекались от них, но приезжали незнакомые девушки и под видом невест добивались свиданий. А прежняя всеобщая традиция праздничных передач арестантам? Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котёл. Несли рождественские окорока, пироги, кулебяки, куличи. Какая-нибудь бедная старушка — и та несла десяток крашеных яиц, и сердце её облегчалось. И куда же делась эта русская доброта? Её заменила *сознательность!* До чего ж круто и бесповоротно напугали наш народ и отучили заботиться о тех, кто страдает. Теперь это дико. Теперь в каком-нибудь учреждении предложите устроить предпраздничный сбор для заключённых местной тюрьмы — блюстителями это будет воспринято почти как антисоветское восстание! Вот до чего озверели.

А что были эти праздничные подарки для арестантов? Разве только — вкусная еда? Они создавали тёплое чувство, что на воле о тебе думают, заботятся.

Рассказывает нам Фастенко, что в советское время существовал политический Красный Крест,— но уже тут мы не то, что не верим ему, а как-то не можем представить. Он говорит, что Е. П. Пешкова, пользуясь своей личной неприкосновенностью, ездила за границу, собирала деньги там (у нас не очень дадут собрать) — а потом здесь покупались продукты для политических, не имеющих родственников. Всем политическим? И вот тут выясняется: нет, не *каэ́рам*, то есть не контрреволюционерам (то есть, не Пятьдесят Восьмой статье), а только членам бывших социалистических

* Впопыхах Февральской революции радикальный журналист Эр. Печерский («Раннее утро», 7 марта 1917) хвастался, как, сидя в московском Охранном отделении, он день за днём и з камеры ч е р е з глазок наблюдал всю жизнь отделения. Это он пугал нас ужасами Охранки, а значит: даже наружного щитка на глазке не было.

партий. А-а-а, так и скажите!... Ну да впрочем, потом и сам Красный Крест, обойдя Пешкову, тоже пересажали в основном...

Ещё о чём приятно поговорить вечером, когда не ждёшь допроса,— об освобождении. Да, говорят — бывают такие удивительные случаи, когда кого-то освобождают. Вот взяли от нас З-ва «с вещами»— а вдруг на свободу? следствие ж не могло кончиться так быстро. (Через десять дней он возвращается: таскали в Лефортово. Там он начал, видимо, быстро подписывать, и его вернули к нам.) Если только тебя освободят — слушай, у тебя ж пустяковое дело, ты сам говоришь,— так ты обещай: пойдёшь к моей жене и в знак этого пусть в передаче у меня будет, ну скажем, два яблока...— Яблок сейчас нигде нет.— Тогда три бублика.— Может случиться, в Москве и бубликов нет.— Ну, хорошо, тогда четыре картошины. (Так договорятся, а потом действительно, **Н** берут с вещами, а **М** получает в передаче четыре картошины. Это поразительно, это изумительно! его освободили, а у него было гораздо серьёзней дело, чем у меня,— так и меня может быть скоро?.. А просто у жены **М** пятая картошина развалилась в сумке, а **Н** уже в трюме парохода едет на Колыму.)

Так мы разговоримся о всякой всячине, что-то смешное вспомним,— и весело и славно тебе среди интересных людей совсем не твоей жизни, совсем не твоего круга опыта,— а между тем уже и прошла безмолвная вечерняя поверка, и очки отобрали — и вот мигает трижды лампа. Это значит — через пять минут отбой!

Скорей, скорей, хватаемся за одеяла! Как на фронте не знаешь, не обрушится ли шквал снарядов, вот сейчас, через минуту, возле тебя,— так и здесь мы не знаем своей роковой допросной ночи. Мы ложимся, мы выставляем одну руку поверх одеяла, мы стараемся выдуть ветер мыслей из головы. Спать!

В такой-то момент в один апрельский вечер, вскоре после того, как мы проводили Евтуховича, у нас загрохотал замок. Сердца сжались: кого? Сейчас прошипит надзиратель: «на Сэ!», «на Зэ!» Но надзиратель не шипел. Дверь затворилась. Мы подняли головы. У дверей стоял новичок: худощавый, молодой, в простеньком синем костюме и синей кепке. Вещей у него не было никаких. Он озирался растерянно.

— Какой номер камеры?— спросил он тревожно.

— Пятьдесят третий.

Он вздрогнул.

— С воли?— спросили мы.

— Не-ет...— страдальчески мотнул он головой.

— А когда арестован?

— Вчера утром.

Мы расхохотались. У него было простоватое, очень мягкое лицо, брови почти совсем белые.

— А за что?

(Это — нечестный вопрос, на него нельзя ждать ответа.)

— Да не знаю... Так, пустяки...

Так все и отвечают, все сидят за пустяки. И особенно пустяком кажется дело самому подследственному.

— Ну, всё же?

— Я ... воззвание написал. К русскому народу.

— Что-о??? (Таких «пустяков» мы ещё не встречали!)

— Расстреляют?— вытянулось его лицо. Он теребил козырёк так и не снятой кепки.

— Да нет, пожалуй,— успокоили мы.— Сейчас никого не расстреливают. Десятка как часы.

— Вы — рабочий? служащий?— спросил социал-демократ, верный классовому принципу.

— Рабочий.

Фастенко протянул руку и торжествующе воскликнул мне:

— Вот вам, А. И., настроение рабочего класса!

И отвернулся спать, полагая, что дальше уж идти некуда и слушать нечего.

Но он ошибся.

— Как же так — воззвание ни с того, ни с сего? От чьего ж имени?

— От своего собственного.

— Да кто ж вы такой?

Новичок виновато улыбнулся:

— Император. Михаил.

Нас пробило, как искрой. Мы ещё приподнялись на кроватях, вгляделись. Нет, его застенчивое простонародное лицо нисколько не было похоже на лицо Михаила Романова. Да и возраст ...

— Завтра, завтра, спать!— строго сказал Сузи.

Мы засыпали, предвкушая, что завтра два часа до утренней пайки не будут скучными.

Императору тоже внесли кровать, постель, и он тихо лёг близ параши.

* * *

В тысяча девятьсот шестнадцатом году в дом московского паровозного машиниста Белова вошёл незнакомый дородный старик с русой бородой, сказал набожной жене машиниста: «Пелагея! У тебя — годовалый сын. Береги его для Господа. Будет час — я приду опять.» И ушёл.

Кто был тот старик — не знала Пелагея, но так внятно и грозно он сказал, что слова его подчинили материнское сердце. И пуще глаза берегла она этого ребёнка. Виктор рос тихим, послушливым, набожным, часто бывали ему видения ангелов и Богородицы. Потом реже. Старик больше не являлся. Обучился Виктор шофёрскому делу, в 1936 взяли его в армию, завезли в Биробиджан, и был он там в автороте. Совсем он не был развязен, но может этой-то нешофёрской тихостью и кротостью приворожил девушку из вольнонаёмных и закрыл путь своему командиру взвода, добивавшемуся той девушки. В это время на манёвры к ним приехал маршал Блюхер, и тут его личный шофёр тяжело заболел. Блюхер приказал

командиру автороты прислать ему лучшего в роте шофёра, командир роты вызвал командира взвода, а уж тот сразу смекнул спихнуть маршалу своего соперника Белова. (В армии часто так: выдвигается не тот, кто достоин, а от кого надо избавиться.) К тому же Белов — непьющий, работящий, не подведёт.

Белов понравился Блюхеру и остался у него. Вскоре Блюхера правдоподобно вызвали в Москву (так отрывали маршала перед арестом от послушного ему Дальнего Востока), туда привёз он и своего шофёра. Осиротев, попал Белов в кремлёвский гараж и стал возить то Михайлова (ЛКСМ), то Лозовского, ещё кого-то и наконец Хрущёва. Тут насмотрелся Белов (и много рассказывал нам) на пиры, на нравы, на предосторожности. Как представитель рядового московского пролетариата он побывал тогда и на процессе Бухарина в Доме союзов. Из своих хозяев только об одном Хрущёве он говорил тепло: только в его доме шофёра сажали за общий семейный стол, а не отдельно на кухне; только здесь в те годы сохранялась рабочая простота. Жизнерадостный Хрущёв тоже привязался к Виктору Алексеевичу и, уезжая в 1938 на Украину, очень звал его с собой. «Век бы не ушёл от Хрущёва»,— говорил Виктор Алексеевич. Но что-то удержало его в Москве.

В 41-м году, около начала войны, у него вышел перебой, он не работал в правительственном гараже, и его, беззащитного, тотчас мобилизовал военкомат. Однако, по слабости здоровья, его послали не на фронт, а в рабочий батальон — сперва пешком в Инзу, а там траншеи копать и дороги строить. После беззаботной сытой жизни последних лет — это вышло об землю рылом, больненько. Полным черпаком захватил он нужды и горя и увидел вокруг, что народ не только не стал жить к войне лучше, но изнищал. Сам едва уцелев, по хворости освободясь, Белов вернулся в Москву и здесь опять было пристроился: возил Щербакова*. Потом возил наркомнефти Седина. Но Седин проворовался (на 35 миллионов всего), его тихо отстранили, а Белов почему-то опять лишился работы при вождях. И пошёл шофёром на автобазу, в свободные часы подкалымливая до Красной Пахры.

Но мысли его уже были о другом. В 1943 он был у матери, она стирала и вышла с вёдрами к колонке. Тут отворилась дверь и вошёл в дом незнакомый дородный старик с белой бородой. Он перекрестился на образ, строго посмотрел на Белова и сказал: «Здравствуй, Михаил! Благословляет тебя Бог!» «Я — Виктор»,— ответил Белов. «А будешь — Михаил, император святой Руси!» — не унимался старик. Тут вошла мать и от страху так и осела, расплескав вёдра: тот самый это был старик, приходивший двадцать семь лет назад, поседевший, но всё он. «Спаси тебя Бог,

---

* Рассказывал, как тучный Щербаков, приезжая в своё Информбюро, не любил видеть людей, и из комнат, через которые он должен был проходить, сотрудники все выметались. Кряхтя от жирности, он нагибался и отворачивал угол ковра. И горе было всему Информбюро, если там обнаруживалась пыль.

Пелагея, сохранила сына», — сказал старик. И уединился с будущим императором, как патриарх полагая его на престол. Он поведал потрясённому молодому человеку, что в 1953 году сменится власть (вот почему 53-й номер камеры так его поразил!), и он будет всероссийским императором*, а для этого в 1948 году надо начать собирать силы. Не научил старик дальше — как же силы собирать, и ушёл. А Виктор Алексеевич не управился спросить.

Потеряны были теперь покой и простота жизни! Может быть другой бы отшатнулся от замысла непомерного, но как раз Виктор потёрся там, среди самых высших, повидал этих Михайловых, Щербаковых, Седнных, послушал от других шоферов и уяснил, что необыкновенности тут не надо совсем, а даже наоборот.

Новопомазанный царь, тихий, совестливый, чуткий, как Фёдор Иоаннович, последний из Рюриков, почувствовал на себе тяжко-давящий обруч шапки Мономаха. Нищета и народное горе вокруг, за которые до сих пор он не отвечал,— теперь лежали на его плечах, и он виноват был, что они всё ещё длятся. Ему показалось странным — ждать до 1948 года, и осенью того же 43-го он написал свой первый манифест к русскому народу и прочёл четырём работникам гаража Наркомнефти . . .

. . .Мы окружили с утра Виктора Алексеевича, и он нам кротко всё это рассказывал. Мы всё ещё не распознали его детской доверчивости, затянуты были необычным повествованием и — вина на нас!— не успели остеречь против наседки. Да нам в голову не приходило, что из простодушно рассказываемого нам здесь ещё не всё известно следователю! . . По окончании рассказа Крамаренко стал проситься не то «к начальнику тюрьмы за табаком», не то к врачу, но в общем его вскоре вызвали. Там и *заложил* он этих четырёх наркомнефтенских, о которых никто бы и не узнал никогда . . . (На другой день, придя с допроса, Белов удивлялся, откуда следователь узнал о них. Тут нас и стукнуло . . .) Наркомнефтенские прочли манифест, одобрили все — и никто не донёс на императора! Но сам он почувствовал, что — рано! рано! И сжёг манифест.

Прошёл год. Виктор Алексеевич работал механиком в гараже автобазы. Осенью 1944 он снова написал манифест и дал прочесть его десяти человекам — шоферам, слесарям. Все одобрили! И никто не выдал! (Из десяти человек никто, по тем временам доносительства,— редкое явление! Фастенко не ошибся, заключив о «настроении рабочего класса».) Правда, император прибегал при этом к невинным уловкам: намекал, что у него есть сильная рука в правительстве; обещал своим сторонникам служебные командировки для сплочения монархических сил на местах.

Шли месяцы. Император доверился ещё двум девушкам в гараже. И тут осечки не было — девушки оказались на идейной

* С той малой ошибкой, что спутал шофёра с ездоком, вещий старик почти ведь и не ошибся!

высоте! Сразу защемило сердце Виктора Алексеевича, чувствуя беду. В воскресенье после Благовещения он шёл по рынку, манифест неся при себе. Один старый рабочий из его единомышленников встретился ему и сказал: «Виктор! Сжёг бы ты пока ту бумагу, а?» И остро почувствовал Виктор: да, рано написал! надо сжечь! «Сейчас сожгу, верно.» И пошёл домой жечь. Но приятных два молодых человека окликнули его тут же, на базаре: «Виктор Алексеевич! Подъедемте с нами!» И в легковой привезли его на Лубянку. Здесь так спешили и так волновались, что не обыскали по обычному ритуалу, и был момент — император едва не уничтожил свой манифест в уборной. Но решил, что хуже затягают: где да где? И тотчас на лифте подняли его к генералу и полковнику, и генерал своей рукой вырвал из оттопыренного кармана манифест.

Однако довольно оказалось одного допроса, чтобы Большая Лубянка успокоилась: всё оказалось нестрашно. Десять арестов по гаражу автобазы. Четыре по гаражу Наркомнефти. Следствие передали уже подполковнику, и тот похохатывал, разбирая воззвание:

— Вот вы тут пишете, ваше величество: «моему министру земледелия дам указание к первой же весне распустить колхозы»— но как разделить инвентарь? У вас тут не разработано ... Потом пишете: «усилю жилищное строительство и расположу каждого по соседству с местом его работы ... повышу зарплату рабочим ...» А из каких шишей, ваше величество? Ведь денежки придётся на станочке печатать? Вы же *займы* отменяете! .. Потом вот: «Кремль снесу с лица земли». Но где вы расположите своё собственное правительство? Например, устроило бы вас здание Большой Лубянки? Не хотите ли походить осмотреть? ..

Позубоскалить над императором всероссийским приходили и молодые следователи. Ничего, кроме смешного, они тут не заметили.

Не всегда могли удержаться от улыбки и мы в камере. «Так вы же нас в 53-м не забудете, надеюсь?»— говорил З-в, подмигивая нам.

Все смеялись над ним ...

Виктор Алексеевич, белобровый, простоватый, с намозоленными руками, получив варёную картошку от своей злополучной матери Пелагеи, угощал нас, не деля на твоё и моё: «Кушайте, кушайте, товарищи ...»

Он застенчиво улыбался. Он отлично понимал, как это несовременно и смешно — быть императором всероссийским. Но что делать, если выбор Господа остановился на нём?!

Вскоре его забрали из нашей камеры.*

---

* Когда меня знакомили с Хрущёвым в 1962 году, у меня язык чесался сказать: «Никита Сергеевич! А у нас ведь с вами общий знакомый есть.» Но я сказал ему другую, более нужную фразу, от бывших арестантов.

* * *

Под первое мая сняли с окна светомаскировку. Война зримо кончалась.

Было как никогда тихо в тот вечер на Лубянке, ещё чуть ли не был второй день Пасхи, праздники перекрещивались. Следователи все гуляли в Москве, на следствие никого не водили. В тишине слышно было, как кто-то против чего-то стал протестовать. Его отвели из камеры в бокс (мы слухом чувствовали расположение всех дверей) и при открытой двери бокса долго били там. В нависшей тишине отчётливо слышен был каждый удар в мягкое и захлёбывающийся рот.

Второго мая Москва лупила тридцать залпов, это значило — европейская столица. Их две осталось невзятых — Прага и Берлин, гадать приходилось из двух.

Девятого мая принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке делалось только на 1-е мая и 7-е ноября.

По этому мы только и догадались о конце войны.

Вечером отхлопали ещё один салют в тридцать залпов. Невзятых столиц больше не оставалось. И в тот же вечер ударили ещё салют — кажется, в сорок залпов — это уж был конец концов.

Поверх намордника нашего окна и других камер Лубянки, и всех окон московских тюрем, смотрели и мы, бывшие пленники и бывшие фронтовики, на расписанное фейерверками, перерезанное лучами московское небо.

Борис Гаммеров — молоденький противотанкист, уже демобилизованный по инвалидности (неизлечимое ранение лёгкого), уже посаженный со студенческой компанией, сидел этот вечер в многолюдной бутырской камере, где половина была пленников и фронтовиков. Последний этот салют он описал в скупом восьмистишьи, в самых обыденных строках: как уже легли на нарах, накрывшись шинелями; как проснулись от шума; приподняли головы, сощурились на намордник: а, салют; легли

«И снова укрылись шинелями».

Теми самыми шинелями — в глине траншей, в пепле костров, в рвани от немецких осколков.

Не для нас была та Победа. Не для нас — та весна.

Глава 6

ТА ВЕСНА

В июне 1945 года каждое утро и каждый вечер в окна Бутырской тюрьмы доносились медные звуки оркестров откуда-то изнедалека — с Лесной улицы или с Новослободской. Это были всё марши, их начинали заново и заново.

А мы стояли у распахнутых, но непротягиваемых окон тюрьмы за мутно-зелёными намордниками из стеклоарматуры и слушали. Маршировали то воинские части? или трудящиеся с удовольствием отдавали шагистике нерабочее время? — мы не знали, но слух уже пробрался и к нам, что готовятся к большому параду Победы, назначенному на Красной площади на июньское воскресенье — четвёртую годовщину начала войны.

Камням, которые легли в фундамент, кряхтеть и вдавливаться, не им увенчивать здание. Но даже почётно лежать в фундаменте отказано было тем, кто, бессмысленно покинутый, обречённым лбом и обречёнными рёбрами принял первые удары этой войны, отвратив победу чужую.

Что́ изменнику блаженства звуки?..

Та весна 45-го года в наших тюрьмах была по преимуществу весна русских *пленников*. Они шли через тюрьмы Союза необозримыми плотными серыми косяками, как океанская сельдь. Первым углом такого косяка явился мне Юрий Евтухович. А теперь я весь, со всех сторон был охвачен их слитным, уверенным движением, будто знающим своё предначертание.

Не одни пленники проходили те камеры — лился поток всех, побывавших в Европе: и эмигранты гражданской войны; и ost'овцы новой германской; и офицеры Красной армии, слишком резкие и далёкие в выводах, так что опасаться мог Сталин, чтоб они не задумали принести из европейского похода европейской свободы, как уже сделали за сто двадцать лет до них. Но всё-таки больше всего было пленников. А среди пленников разных возрастов больше всего было моих ровесников, не моих даже, а *ровесников Октября* — тех, кто вместе с Октябрём родился, кто в 1937, ничем не смущаемый, валил на демонстрации двадцатой годовщины, и чей возраст к началу войны как раз составил кадровую армию, размётанную в несколько недель.

Так та тюремная томительная весна под марши Победы стала расплатной весной моего поколения.

Это нам над люлькой пели: «Вся власть Советам!» Это мы загорелою детской ручёнкой тянулись к ручке пионерского горна и на возглас «Будьте готовы!» салютовали «Всегда готовы!». Это мы в Бухенвальд проносили оружие и там вступали в компартию. И мы же теперь оказались в чёрных за одно то, что всё-таки остались

жить. (Уцелевшие бухенвальдские узники *за то и сажались* в наши лагеря: как это ты мог уцелеть в лагере уничтожения? Тут что-то нечисто!)

Ещё когда мы разреза́ли Восточную Пруссию, видел я понурые колонны возвращающихся пленных — единственные при го́ре, когда радовались вокруг все, — и уже тогда их безрадостность ошеломляла меня, хоть я ещё не разумел её причины. Я соскакивал, подходил к этим добровольным колоннам (зачем коло́ннам? почему они строились? ведь их никто не заставлял, военнопленные всех наций возвращались разбродом! А наши хотели прийти как можно более покорными . . .). Там на мне были капитанские погоны, и под погонами да и при дороге было не узнать: почему ж они так все невеселы? Но вот судьба завернула и меня вослед этим пленникам, я уже шёл с ними из армейской контрразведки во фронтовую, во фронтовой послушал их первые, ещё неясные мне, рассказы, потом развернул мне это всё Юрий Евтухович, а теперь, под куполами кирпично-красного Бутырского замка, я ощутил, что эта история нескольких миллионов русских пленных пришивает меня навсегда, как булавка таракана. Моя собственная история попадания в тюрьму показалась мне ничтожной, я забыл печалиться о сорванных погонах. Там, где были мои ровесники, там только случайно не был я. Я понял, что долг мой — подставить плечо к уголку их общей тяжести — и нести до последних, пока не задавит. Я так ощутил теперь, будто вместе с этими ребятами и я попал в плен на Соловьёвской переправе, в Харьковском мешке, в Керченских каменоломнях; и, руки назад, нёс свою советскую гордость за проволоку концлагеря; и на морозе часами выстаивал за черпаком остывшей кавы (кофейного эрзаца) и оставался трупом на земле, не доходя котла; в офлаге-68 (Сувалки) рыл руками и крышкою от котелка яму колоколоподобную (кверху у́же), чтоб зиму не на открытом плацу зимовать; и озверевший пленный подползал ко мне остывающему грызть моё ещё не остывшее мясо под локтем; и с каждым новым днём обострённого голодного сознания, в тифозном бараке и у проволоки соседнего лагеря англичан, — ясная мысль проникала в мой умирающий мозг: что Советская Россия отказалась от своих издыхающих детей. «России гордые сыны», они нужны были ей, пока ложились под танки, пока ещё можно было поднять их в атаку. А взяться кормить их в плену? Лишние едоки. И лишние свидетели позорных поражений.

Иногда мы хотим солгать, а Язык нам не даёт. Этих людей объявили изменниками, но в языке примечательно ошиблись — и следователи, и прокуроры, и судьи. И сами осуждённые, и весь народ, и газеты повторили и закрепили эту ошибку, невольно выдавая правду: их хотели объявить изменниками РодинЕ, но никто не говорил и не писал даже в судебных материалах иначе, как «изменники РодинЫ».

Ты сказал! Это были не изменники е й, а е ё изменники. Не они, несчастные, изменили Родине, но расчётливая Родина изменила им и притом т р и ж д ы.

Первый раз бездарно она предала их на поле сражения — когда правительство, излюбленное Родиной, сделало всё, что могло, для проигрыша войны: уничтожило линии укреплений, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило толковых генералов и запретило армиям сопротивляться.* Военнопленные — это и были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт.

Второй раз бессердечно предала их Родина, покидая подохнуть в плену.

И теперь третий раз бессовестно она их предала, заманив материнской любовью («Родина простила! Родина зовёт!») и накинув удавку уже на границе.**

Какая же многомиллионная подлость: предать своих воинов и объявить их же предателями?!

И как легко мы исключили их из своего счёта: изменил?— позор!— списать! Да списал их ещё до нас наш Отец: цвет московской интеллигенции он бросил в вяземскую мясорубку с берданками 1866 года, и то одна на пятерых. (Какой Лев Толстой развернёт нам это Бородино?) А тупым переползом жирного короткого пальца Великий Стратег переправил через Керченский пролив в декабре 1941 — бессмысленно, для одного эффектного новогоднего сообщения — сто двадцать тысяч наших ребят — едва ли не столько, сколько было всего русских под Бородином — и всех без боя отдал немцам.

И всё-таки почему-то не он — изменник, а — они.

И как легко мы поддаёмся предвзятым кличкам, как легко мы согласились считать этих преданных — изменниками! В одной из бутырских камер был в ту весну старик Лебедев, металлург, по званию профессор, по наружности — дюжий мастеровой прошлого или даже позапрошлого века, с демидовских заводов. Он был широкоплеч, широколоб, борода пугачёвская, а пятерни — только подхватывать ковшик на четыре пуда. В камере он носил серый линялый рабочий халат прямо поверх белья, был неопрятен, мог показаться подсобным тюремным рабочим,— пока не садился читать, и привычная властная осанка мысли озаряла его лицо. Вокруг него собирались часто, о металлургии рассуждал он меньше, а литавровым басом разъяснял, что Сталин — такой же пёс, как Иван Грозный: «стреляй! души! не оглядывайся!», что Горький — слюнтяй и трепач, оправдатель палачей. Я восхищался этим Лебедевым: как будто весь русский народ воплотился передо мною в одно кряжистое туловище с этой умной головой, с этими руками и ногами пахаря. Он столько уже обдумал! — я учился у него

---

* Умножатся честные книги о той войне — и никто не назовёт правительство Сталина иначе как правительством безумия и измены.

** Один из главных военных преступников, бывший начальник Разведывательного Управления РККА, генерал-полковник Голиков теперь руководил заманом и заглотом репатриированных.

понимать мир!— а он вдруг, рубя ручищей, прогрохотал, что *один-бэ* — изменники родины, и им простить нельзя. А «один-бэ» и были набиты на нарах кругом. Ах, как было ребятам обидно! Старик с уверенностью вещал от имени земляной и трудовой Руси — и им трудно и стыдно было защищать себя ещё с этой новой стороны. Защищать их и спорить со стариком досталось мне и двум мальчикам по «десятому пункту». Но какова же степень помрачённости, достигаемая монотонной государственной ложью! Даже самые ёмкие из нас способны объять лишь ту часть правды, в которую ткнулись собственным рылом.

Об этом более общо пишет Витковский (по тридцатым годам): удивительно, что лже-вредители, понимая, что сами они никакие не вредители, высказывали, что военных и священников *трясут* правильно. Военные, зная про себя, что они не служили иностранным разведкам и не разрушали Красной армии, охотно верили, что инженеры — вредители, а священники достойны уничтожения. Советский человек, сидя в тюрьме, рассуждал так: я-то лично невиновен, но с ними, с врагами, годятся всякие методы. Урок следствия и урок камеры не просветляли таких людей, они и осуждённые всё сохраняли ослепление *воли*: веру во всеобщие заговоры, отравления, вредительства, шпионаж.

Сколько войн вела Россия (уж лучше бы поменьше...) — и много ли мы изменников знали во всех тех войнах? Замечено ли было, чтобы измена коренилась в духе русского солдата? Но вот при справедливейшем в мире строе наступила справедливейшая война — и вдруг миллионы изменников из самого простого народа. Как это понять? Чем объяснить?

Рядом с нами воевала против Гитлера капиталистическая Англия, где так красноречиво описаны Марксом нищета и страдания рабочего класса, — и почему же у них в эту войну нашёлся единственный только изменник — коммерсант «лорд Гау-Гау»? А у нас — миллионы?

Да ведь страшно рот раззявить, а может быть дело всё-таки — в государственном строе?..

Ещё давняя наша пословица оправдывала плен: «Полонён вскликнет, а убит — никогда». При царе Алексее Михайловиче за *полонное терпение* давали дворянство! Выменять своих пленных, обласкать их и обогреть была задача общества во все последующие войны. Каждый побег из плена прославлялся как высочайшее геройство. Всю первую мировую войну в России вёлся сбор средств на помощь нашим пленникам, и наши сёстры милосердия допускались в Германию к нашим пленным, и каждый номер газеты напоминал читателям, что их соотечественники томятся в злом плену. Все западные народы делали то же и в эту войну: посылки, письма, все виды поддержки свободно лились через нейтральные страны. Западные военнопленные не унижались черпать из немецкого котла, они презрительно разговаривали с немецкой охраной. Западные правительства начисляли своим воинам, попавшим в плен,— и выслугу лет, и очередные чины, и даже зарплату.

Только воин единственной в мире Красной армии *не сдаётся в плен*! — так написано было в уставе («Ева́н плен нихт» — кричали

немцы из своих траншей) — да кто ж мог представить весь этот смысл?! Есть война, есть смерть, а плена нет!— вот открытие! Это значит: иди и умри, а мы останемся жить. Но если ты, и ноги потеряв, вернёшься из плена на костылях живым (ленинградец Иванов, командир пулемётного взвода в финской войне, потом сидел в Устьвымьлаге) — мы тебя будем судить.

Только наш солдат, отверженный родиной и самый ничтожный в глазах врагов и союзников, тянулся к свинячьей бурде, выдаваемой с задворков Третьего Рейха. Только ему была наглухо закрыта дверь домой, хоть старались молодые души не верить: какая-то статья 58-1-б и по ней в военное время нет наказания мягче, чем расстрел! За то, что не пожелал солдат умереть от немецкой пули, он должен после плена умереть от советской! Кому от чужих, а нам от своих.

(Впрочем, это наивно сказать: *за то*. Правительства всех времён — отнюдь не моралисты. Они никогда не сажали и не казнили людей *за* что-нибудь. Они сажали и казнили, *чтобы не*! Всех этих пленников посадили, конечно, не за измену родине, ибо и дураку было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этих всех посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем и не бредишь...)

Итак, какие же пути лежали перед русским военнопленным? Законный — только один: лечь и дать себя растоптать. Каждая травинка хрупким стеблем пробивается, чтобы жить. А ты — ляг и растопчись. Хоть с опозданием — умри сейчас, раз уж не мог умереть на поле боя, и тогда тебя судить не будут.

Спят бойцы. Своё сказали
И уже навек правы.

Все же, все остальные пути, какие только может изобрести твой отчаявшийся мозг,— все ведут к столкновению с Законом.

Побег на родину — через лагерное оцепление, через пол-Германии, потом через Польшу или Балканы, приводил в СМЕРШ и на скамью подсудимых: как это так ты бежал, когда другие бежать не могут? Здесь дело нечисто! Говори, гадина, с каким *заданием* тебя прислали (Михаил Бурнацев, Павел Бондаренко и многие, многие).

В нашей критике установлено писать, что Шолохов в своём бессмертном рассказе «Судьба человека» высказал «горькую правду» об «этой стороне нашей жизни», «открыл» проблему. Мы вынуждены отозваться, что в этом вообще очень слабом рассказе, где бледны и неубедительны военные страницы (автор видимо не знает последней войны), где стандартно-лубочно до анекдота описание немцев (и только жена героя удалась, но она — чистая христианка из Достоевского),— в этом рассказе о судьбе военнопленного истинная проблема плена скрыта или искажена:

1. Избран самый некриминальный случай плена — без памяти, чтобы сделать его «бесспорным», обойти всю остроту проблемы. (А если сдался в памяти, как было с большинством,— что и как тогда?)

2. Главная проблема плена представлена не в том, что родина нас покинула, отреклась, прокляла (об этом у Шолохова вообще ни слова) и именно это создаёт безвыходность,— а в том, что там среди нас выявляются предатели. (Но

уж если это главное, то покопайся и объясни, откуда они через четверть столетия после революции, поддержанной всем народом?)

3. Сочинён фантастически-детективный побег из плена с кучей натяжек, чтобы не возникла обязательная, неуклонная процедура приёма пришедшего из плена: СМЕРШ — Проверочно-Фильтрационный лагерь. Соколова не только не сажают за колючку, как велит инструкция, но — анекдот! — он ещё получает от полковника месяц отпуска! (т. е. свободу выполнять «задание» фашистской разведки? Так загремит т у д а ж е и полковник!)

Побег к западным партизанам, к силам Сопротивления, только оттягивал твою полновесную расплату с трибуналом, но он же делал тебя ещё более опасным: живя вольно среди европейских людей, ты мог набраться очень вредного духа. А если ты не побоялся бежать и потом сражаться,— ты решительный человек, ты вдвойне опасен на родине.

Выжить в лагере за счёт своих соотечественников и товарищей? Стать внутрилагерным полицаем, комендантом, помощником немцев и смерти? Сталинский закон не карал за это строже, чем за участие в силах Сопротивления — та же статья, тот же срок (и можно догадаться, почему: т а к о й человек менее опасен!). Но внутренний закон, заложенный в нас необъяснимо, запрещал этот путь всем, кроме мрази.

За вычетом этих четырёх углов, непосильных или неприемлемых, оставался пятый: ждать вербовщиков, ждать куда позовут.

Иногда на счастье приезжали уполномоченные от сельских бецирков и набирали батраков к бауэрам; от фирм отбирали себе инженеров и рабочих. По высшему сталинскому императиву ты и тут должен был отречься, что ты инженер, скрыть, что ты — квалифицированный рабочий. Конструктор или электрик, ты только тогда сохранил бы патриотическую чистоту, если бы остался в лагере копать землю, гнить и рыться в помойках. Тогда за ч и с т у ю измену родине ты с гордо поднятой головой мог бы рассчитывать получить десять лет и пять намордника. Теперь же за измену родине, отягчённую работой на врага да ещё по специальности, ты с потупленной головой получал — десять лет и пять намордника!

Это была ювелирная тонкость бегемота, которой так отличался Сталин!

А то приезжали вербовщики совсем иного характера — русские, обычно из недавних красных политруков, белогвардейцы на эту работу не шли. Вербовщики созывали в лагере митинг, бранили советскую власть и звали записываться в шпионские школы или во власовские части.

Тому, кто не голодал, как наши военнопленные, не обгладывал летучих мышей, залетавших в лагерь, не вываривал старые подмётки, тому вряд ли понять, какую необоримую вещественную силу приобретает всякий зов, всякий аргумент, если позади него, за воротами лагеря, дымится походная кухня и каждого согласившего-

ся тут же кормят кашею от пуза — хотя бы один раз! хотя бы в жизни ещё один только раз!

Но сверх дымящейся каши в призывах вербовщика был призрак свободы и настоящей жизни — куда бы ни звал он! В батальоны Власова. В казачьи полки Краснова. В трудовые батальоны — бетонировать будущий Атлантический вал. В норвежские фиорды. В ливийские пески. В «hiwi»— Hilfswillige — добровольных помощников немецкого вермахта (12 hiwi было в каждой немецкой роте). Наконец, ещё — в деревенских полицаев, гоняться и ловить партизан (от которых Родина тоже откажется от многих). Куда б ни звал он, куда угодно — только б тут не подыхать, как забытая скотина.

С человека, которого мы довели до того, что он грызёт летучих мышей,— мы сами сняли всякий его долг не то что перед родиной, но — перед человечеством!

И те наши ребята, кто из лагерей военнопленных вербовался в краткосрочных шпионов, ещё не делали крайних выводов из своей брошенности, ещё поступали чрезвычайно патриотически. Они видели в этом самый ненакладный способ вырваться из лагеря. Они почти поголовно так представляли, что едва только немцы перебросят их на советскую сторону — они тотчас объявятся властям, сдадут своё оборудование и инструкции, вместе с добродушным командованием посмеются над глупыми немцами, наденут красноармейскую форму и бодро вернутся в строй вояк. Скажите, *да по-человечески кто мог ожидать иного? как могло быть иначе?* Это были ребята простосердечные, я многих их повидал — с незамысловатыми круглыми лицами, с подкупающим вятским или владимирским говорком. Они бодро шли в шпионы, имея четыре-пять классов сельской школы и никаких навыков обращаться с компасом и картой.

Так, кажется, единственно-верно они представляли свой выход. Так, кажется, расходна и глупа была для немецкого командования вся эта затея. Ан нет! Гитлер играл в тон и в лад своему державному брату! Шпиономания была одной из основных черт сталинского безумия. Сталину казалось, что страна его кишит шпионами. Все китайцы, жившие на советском Дальнем Востоке, получили шпионский пункт 58-6, взяты были в северные лагеря и вымерли там. Та же участь постигла китайцев — участников Гражданской войны, если они заблаговременно не умотались. Несколько сот тысяч корейцев были высланы в Казахстан, сплошь подозреваясь в том же. Все советские, когда-либо побывавшие за границей, когда-либо замедлившие шаги около гостиницы «Интурист», когда-либо попавшие в один фотоснимок с иностранной физиономией или сами сфотографировавшие городское здание (Золотые ворота во Владимире),— обвинялись в том же. Глазевшие слишком долго на железнодорожные пути, на шоссейный мост, на фабричную трубу — обвинялись в том же. Все многочисленные иностранные коммунисты, застрявшие в Советском Союзе, все крупные и мелкие коминтерновцы сподряд, без индивидуальных различий — обвиня-

лись прежде всего в шпионстве.* И латышские стрелки — самые надёжные штыки ранних лет революции, при их сплошных посадках в 1937 обвинялись в шпионстве же! Сталин как бы обернул и умножил знаменитое изречение Екатерины: он предпочитал сгноить девятьсот девяносто девять невинных, но не пропустить одного всамделишного шпиона. Так как же можно было поверить русским солдатам, действительно побывавшим в руках немецкой разведки?! И какое облегчение для палачей МГБ, что тысячами валящие из Европы солдаты и не скрывают, что они — добровольно завербованные шпионы! Какое разительное подтверждение прогнозов Мудрейшего из Мудрейших! Сыпьте, сыпьте, недоумки! Статья и мзда для вас давно уже приготовлены!

Но уместно спросить: всё-таки были же и такие, которые ни на какую вербовку не пошли; и нигде по специальности у немцев не работали; и не были лагерными ордиерами; и *всю войну просидели в лагере военнопленных, носа не высовывая*; и всё-таки не умерли, хотя это почти невероятно! Например, делали зажигалки из металлических отбросов, как инженеры-электрики Николай Андреевич Семёнов и Фёдор Фёдорович Карпов, и тем подкармливались. Неужели им-то не простила Родина сдачи в плен?

Нет, не простила! И с Семёновым и с Карповым я познакомился в Бутырках, когда они уже получили свои законные . . . сколько? догадливый читатель уже знает: *десять и пять намордника.* А будучи блестящими инженерами, они о т в е р г л и немецкое предложение работать по специальности! А в 41-м году младший лейтенант Семёнов пошёл на фронт добровольно. А в 42-м году он ещё имел пустую кобуру вместо пистолета (следователь не понимал, почему он не застрелился из кобуры). А из плена он т р и ж д ы бежал. А в 45-м, после освобождения из концлагеря, был посажен как штрафник на наш танк (танковый десант) — и брал Берлин, и получил орден Красной Звезды — и уже после этого только был окончательно посажен и получил срок. Вот это и есть зеркало нашей Немезиды.

Мало кто из военнопленных пересек советскую границу как вольный человек, а если в суете просочился, то взят был потом, хоть и в 1946-47 годах. Одних арестовывали в сгонных пунктах в Германии. Других будто и не арестовывали, но от границы везли в товарных вагонах под конвоем в один из многочисленных, по всей стране разбросанных Проверочно-Фильтрационных лагерей (ПФЛ). Эти лагеря ничем не отличались от Исправительно-Трудовых кроме того, что помещённые в них ещё не имели срока и должны были получить его уже в лагере. Все эти ПФЛ были тоже при деле — при заводе, при шахте, при стройке, и бывшие военнопленные, видя возвращённую родину через ту же колючку, как видели и Германию, с первого же дня могли включиться в

* Иосиф Тито еле увернулся от этой участи. А Попов и Танев, сподвижники Димитрова по лейпцигскому процессу, оба схватили срок. Для самого Димитрова Сталин готовил другую участь.

10-часовой рабочий день. На досуге — вечерами и ночами — проверяемых допрашивали, для того было в ПФЛ многократное количество оперативников и следователей. Как и всегда, следствие начинало с положения, что ты заведомо виноват. Ты же, не выходя за проволоку, должен был доказать, что *не* виноват. Для этого ты мог только ссылаться на свидетелей — других военнопленных, те же могли попасть совсем не в ваш ПФЛ, а за тридевять областей, и вот оперативники кемеровские слали запросы оперативникам соликамским, а те допрашивали свидетелей и слали свои ответы и новые запросы, и тебя тоже допрашивали как свидетеля. Правда, на выяснение судьбы могло уйти и год, и два — но ведь Родина ничего на этом не теряла: ведь ты же каждый день добывал уголёк. И если кто-нибудь из свидетелей что-нибудь показал на тебя не так или уже не оказалось свидетелей в живых,— пеняй на себя, тут уж ты оформлялся как изменник родины, и выездная сессия трибунала штемпелевала твою десятку. Если же, как ни выворачивай, сходилось, что вроде ты действительно немцам не служил, а главное — в глаза не успел повидать американцев и англичан (освобождение из плена не нами, а ими, было обстоятельством сильно отягчающим) — тогда оперативники решали, какой степени изоляции ты достоин. Некоторым предписывали смену места жительства (это всегда нарушает связи человека с окружением, делает его более уязвимым). Другим благородно предлагали идти работать в Вохру, то есть военизированную лагерную охрану: как будто оставаясь вольным, человек терял всякую личную свободу и уезжал в глушь. Третьим жали руки и, хотя за чистую сдачу в плен такой человек всё равно заслуживал расстрела, его гуманно отпускали домой. Но преждевременно такие люди радовались! Ещё опережая его самого, по тайным каналам спецчастей на его родину уже пошло его *дело*. Люди эти всё равно навек оставались *не нашими*, и при первой же массовой посадке, вроде 48-49-го годов, их сажали уже по пункту агитации или другому подходящему, сидел я и с такими.

«Эх, если б я знал! . .»— вот была главная песенка тюремных камер той весны. Если б я знал, что так меня встретят! что так обманут! что такая судьба!— да неужели б я вернулся на Родину? Ни за что!! Прорвался бы в Швейцарию, во Францию! ушёл бы за море! за океан! за три океана.

Впрочем, когда пленники и *знали*, они поступали часто так же. Василий Александров попал в плен в Финляндию. Его разыскал там какой-то старый петербургский купец, уточнил имя-отчество и сказал: «Вашему батюшке остался я должен с 17-го года большую сумму, заплатить было не с руки. Так понивольтесь получить!» Старый долг — за находку! Александров после войны был принят в круг русских эмигрантов, там же нашлась ему и невеста, которую он полюбил, не как-нибудь. А будущий тесть для его воспитания дал ему читать подшивку «Правды» — всю, как она есть, с 1918 по 1941 без сглаживаний и исправлений. Одновременно он ему рассказывал, ну примерно, историю п о т о к о в , как в главе 2-й. И все же . . . Александров бросил и невесту, и достаток, вернулся в СССР и получил, как легко догадаться, десять и пять намордника. В 1953 году в Особом лагере он рад был зацепиться бригадиром . . .

Более рассудительные поправляли: ошибка раньше сделана! нечего было в 41-м году в передний ряд лезть. Знать бы знать, не ходить бы в рать. Надо было в тылу устраиваться с самого начала, спокойное дело, они теперь герои. А ещё, мол, вернее было дезертировать: и шкура наверняка цела, и десятки им не дают, а восемь лет, семь; и в лагере ни с какой должности не сгонят: дезертир ведь не враг, не изменник, не политический, он свой человек, *бытовичок*. Им возражали запальчиво: зато дезертирам эти все годы — отсидеть и сгнить, их не простят. А на нас — амнистия скоро будет, нас всех распустят. (Ещё главной-то дезертирской льготы тогда не знали!..)

Те же, кто попал по 10-му пункту, с домашней своей квартиры или из Красной армии,— те частенько даже завидовали: чёрт его знает! *за те же деньги* (за те же десять лет) сколько можно было интересного повидать, как эти ребята, где только не побывать! А мы так и околеем в лагере, ничего кроме своей вонючей лестницы не видав. (Впрочем, эти, по 58-10, едва скрывали ликующее предчувствие, что им-то амнистия будет в первую очередь!)

Не вздыхали «эх, если б я знал» (потому что знали, на что шли), и не ждали пощады, и не ждали амнистии — только власовцы.

* * *

Ещё задолго до нежданного нашего пересечения на тюремных нарах я знал о них и недоумевал о них.

Сперва это были много раз вымокшие и много раз высохшие листовки, затерявшиеся в высоких, третий год не кошенных травах прифронтовой орловской полосы. На листовках был снимок генерала Власова и изложена его биография. На неясном снимке лицо казалось сыто-удачливым, как у всех наших генералов новой формации. (На самом деле это не так, Власов был высок и худ, а на подробных фотографиях можно разглядеть: скорее — мужик, который поучился и роговые очки надел.) Из биографии эта удачливость как будто подтверждалась: в годы всеобщих посадок уезжал военным советником к Чан Кай-ши. Но каким фразам той биографии на листовке вообще можно было верить?

Андрей Андреевич Власов родился в 1900 в семье крестьянина Нижегородской губернии. Попечением своего брата, сельского учителя, он окончил нижегородское духовное училище, а семинарию уже не кончал — захватывала революция. Весной 1919 призван в Красную армию, к концу года был уже командиром взвода на деникинском фронте, гражданскую войну закончил командиром роты и остался в кадрах. В 1928 — курсы «Выстрел», затем на штабной работе. С 1930 вступил в ВКП/б/, что открыло ему дальнейшее продвижение по службе. В 1938, в звании комполка, послан военным советником в Китай. Не связанный с высшими военными и партийными кругами, Власов оказался в том сталинском «втором эшелоне», который был выдвинут на замену вырезанных командармов-комдивов-комбригов. С 1939 он стал командиром дивизии, в 1940 при первом присвоении «новых» (старых) воинских званий — генерал-майором. Из дальнейшего можно заключить, что среди генеральской смены, где много было совсем тупых и неопытных, Власов оказался из самых способных. Его 99-я стрелковая дивизия, до того самая отсталая в Красной армии, теперь предлагалась в пример «Красною звездой», а в войну не была захвачена врасплох гитлеровским нападением, напротив: при общем нашем откате

на восток пошла на запад, отбила Перемышль и 6 дней удерживала его. Быстро миновав должность командующего корпусом, Власов под Киевом в 1941 командовал уже 37-й армией. Из огромного киевского мешка он прорвался с большим отрядом. В ноябре получил от Сталина 20-ю армию, начал бои сразу за Химками, пошёл в контрнаступление до Ржева и стал одним из спасителей Москвы. (В сводке Информбюро за 12 декабря перечень генералов такой: Жуков, Лелюшенко, Кузнецов, Власов, Рокоссовский . . .) Со стремительностью тех месяцев он успел стать заместителем командующего Волховским фронтом (Мерецкова), а в марте, когда была отрезана опрометчиво наступающая на прорыв ленинградской блокады 2-я Ударная армия, принял командование ею, в «мешке». Ещё держались последние зимние пути, но Сталин запретил отход, напротив, гнал опасно углублённую армию наступать и дальше — по развезенной болотистой местности, без продовольствия, без вооружения, без помощи с воздуха. После двухмесячного голодания и вымаривания армии (солдаты оттуда рассказывали мне потом в бутырских камерах, что с околевших гниющих лошадей они строгали копыта, варили стружку и ели) началось 14 мая 1942 немецкое концентрическое наступление против окружённой армии (и в воздухе, разумеется, только немецкие самолёты). И лишь тогда, в насмешку, было получено сталинское разрешение возвратиться за Волхов. И ещё были эти безнадёжные попытки прорваться!— до начала июля.

Так (словно повторяя судьбу русской 2-й самсоновской армии, столь же безумно брошенной в котёл) погибла 2-я Ударная Власова.

Тут конечно была измена родине! Тут конечно было жестокое предательство! Но — сталинское. Измена — не обязательно проданность. Невежество и небрежность в подготовке войны, растерянность и трусость при её начале, бессмысленные жертвы армиями и корпусами, чтобы только выручить свой маршальский мундир,— какая есть горше измена для верховного главнокомандующего?

В отличие от Самсонова, Власов не кончил с собой, ещё скитался по лесам и болотам, 12 июля в районе Сиверской сдался в плен. Вскоре он оказался в Виннице в особом лагере для высших пленных офицеров, который был сформирован графом Штауфенбергом — будущим заговорщиком против Гитлера. Это покровительство оппозиционных армейских кругов (многие из них потом всплыли и погибли в антигитлеровском заговоре) сопровождало жизнь Власова последующие 2 года. В первые же недели вместе с полковником Боярским, командиром 41-й гвардейской дивизии, они составили доклад: что большинство советского населения и армии приветствовало бы свержение советского правительства, если бы Германия признала новую Россию равноправной. (Быть может, на это быстрое решение наложился и личный опыт Власова: родители жены его были «раскулачены», та внешне отреклась от них, тайком помогала. Теперь и она с сыном приносились в жертву новым поведением генерала в плену — с какого-то дня они исчезают в пасти НКВД.)

Держа в руках эту листовку, трудно было вдруг поверить, что вот — выдающийся человек, или вот он, верно отслуживши всю жизнь на советской службе, давно и глубоко болеет за Россию. А следующие листовки, сообщавшие о создании РОА —«русской освободительной армии», не только были написаны дурным русским языком, но и с чужим духом, явно немецким, и даже незаинтересованно в предмете, зато с грубой хвастливостью по поводу сытой каши у них и весёлого настроения у солдат. Не верилось в эту армию, а если она действительно была — уж какое там весёлое настроение?.. Вот так-то соврать только немец и мог.

Никакой РОА в действительности и не было почти до самого конца войны. Все годы несколько с о т т ы с я ч добровольных подсобников — Hilfswillige, рассеяны были по всем германским частям, на полных или частичных солдатских правах. Да существовали *добровольческие* противосоветские формирования — из недавних советских граждан, но с немецкими офицерами. Первыми поддержали немцев — литовцы (круто ж насолили мы им за один год!). Затем из украинцев собралась добровольческая дивизия SS, из эстонцев — отряды SS. В Белоруссии — *народная*

милиция против партизан (и дошла до 100 тысяч человек!). Туркестанский батальон. В Крыму — татарский. (И всё это посеяно было самими же Советами, например в Крыму — тупым гонением на мечети, тогда как дальновидная завоевательница Екатерина отпускала государственные средства на постройку и расширение их. И гитлеровцы, придя, догадались тоже стать на защиту мечетей.) Когда немцы завоевали наш Юг, число добровольческих батальонов ещё увеличилось: грузинский, армянский, северо-кавказский и 16 калмыцких. (А советских партизан на юге почти не возникло.) При отступлении с Дона ушёл с немцами казачий обоз тысяч на 15, из них половина способных носить оружие. Под Локтем (Брянская область) в 1941 ещё до прихода немцев местное население распустило колхозы, вооружилось против советских партизан и создало до 1943 года автономную область (во главе — инженер К. П. Воскобойников), с вооружённой бригадой в 20 тыс. человек (флаг с Георгием Победоносцем), которая называла себя РОНА — Русская освободительная народная армия. Однако подлинной всероссийской освободительной армии не создалось, хотя были фантазии и попытки к ней — от самих русских, рвавшихся к оружию освобождать свою страну, и от группы немецких военных с ограниченным влиянием, средним положением по службе, но реальным видением, что с оголтелой гитлеровской колонизационной политикой выиграть войну против СССР нельзя. Среди тех военных было немало прибалтийских немцев, в том числе и старой русской службы, особенно живо чувствовавших русскую обстановку, как капитан Штрик-Штрикфельдт. Эта группа тщетно пыталась убедить гитлеровские верхи в необходимости германо-русского союза. В их фантазиях выдумывалось и название армии, и будущий её ожидаемый статут, и нарукавная нашивка (с андреевским полем), носимая на немецком мундире. В посёлке Осинторф под Оршей в 1942 с помощью нескольких русских эмигрантов (Иванов, Кромиади, Игорь Сахаров, Григорий Ламсдорф) была создана из советских военнопленных «пробная часть» — в советском обмундировании, с советским оружием, но со старыми погонами и национальной кокардой. Это формирование к концу 1942 состояло из 7 тысяч человек, четырёх батальонов, предполагаемых к развёртыванию в полки, и понимало само себя как начало РННА — русской национальной народной армии. Добровольцев было больше, чем часть могла принять. Но — не было уверенности: из-за того, что не было доверия к немцам, и справедливо. В декабре 1942 часть была настигнута приказом о расформировании: по отдельным батальонам, в немецкое обмундирование и в состав немецких частей. В ту же ночь 300 человек ушли в партизаны.

Осенью 1942 Власов дал своё имя для объединения всех противобольшевистских формирований, и осенью же 1942 гитлеровская Ставка отклонила попытки средних армейских кругов добиться отказа Германии от планов восточной колонизации и заменить их созданием русских национальных сил. Едва решась на роковой выбор, едва сделав первый шаг на этом пути,— Власов уже оказался не нужен более, чем для пропаганды, и так — до самого конца. Покровительствующие ему армейские круги, думая усилить свою затею ходом вещей, решились на ту прокламацию «Смоленского комитета» (разбросали её над советским фронтом 13 января 1943) — с обещанием всех демократических свобод, отменой колхозов и принудительного труда. (И в январе же 1943 запрещены были русские части старше батальона . . .) Вопреки запрету, прокламация распространилась и в областях, занятых немцами, вызвала большие волнения и ожидания. Партизаны разоблачали, что никакого Смоленского комитета и никакой Русской Освободительной армии вообще нет, немецкая ложь. Одна затея вынуждала теперь следующую — агитационные поездки Власова по занятым областям (снова — самочинные, без ведома и воли Ставки и Гитлера; нашему подтоталитарному сознанию трудно вообразить такое самовольство, у нас ни шаг не может быть ступлен важный без самого верховного разрешения, но у нас и система несравненно твёрже, чем нацистская, мы и устанавливались уже тогда четверть века, а нацисты — только 10 лет). В самодельно-сшитой, никакой армии не принадлежащей шинели — коричневой, с генеральскими красными отворотами и без знаков различия, Власов совершил первую такую поездку в марте 1943 (Смоленск — Могилёв — Бобруйск) и вторую в апреле (Рига — Печёры — Псков — Гдов — Луга). Поездки эти воодушевили русское население, они создавали прямую видимость, что независимое русское движение — рождается, что независимая Россия может воскреснуть. Выступал Власов в переполненных смоленском и псковском театрах, говорил о целях освободительного движения, притом открыто — что для России национал-социализм неприемлем, но и больше-

визм свергнуть без немцев невозможно. Так же открыто спрашивали и его: правда ли, что немцы намереваются обратить Россию в колонию, а русский народ в рабочий скот? почему до сих пор никто не объявил, что будет с Россией после войны? почему немцы не разрешают русского самоуправления в занятых областях? почему добровольцы против Сталина состоят только под немецкой командой? Власов отвечал стеснённо, оптимистичнее, чем самому осталось надеяться к этому времени. Германская же Ставка отозвалась приказом фельдмаршала Кейтеля: «Ввиду неквалифицированных бесстыдных высказываний военнопленного русского генерала Власова во время поездки в Северную группу войск, происходившую без ведома фюрера и моего, перевести его немедленно в лагерь для военнопленных». Имя генерала разрешалось использовать только для пропагандистских целей, если же он выступит ещё раз лично — должен быть передан Гестапо и обезврежен.

Шли последние месяцы, когда всё ещё миллионы советских людей оставались вне власти Сталина, ещё могли взять оружие против своей большевистской неволи и способны были устроить свою независимую жизнь,— но германское руководство не испытывало колебаний: именно 8 июня 1943 года, перед Курско-Орловской битвой, Гитлер подтвердил, что русская независимая армия никогда не будет создана и русские нужны Германии только как рабочие. Гитлеру недоступно было, что единственная историческая возможность свергнуть коммунистический режим — движение самого населения, подъём измученного народа. Такой России и такой победы Гитлер боялся больше всякого поражения. И даже после Сталинграда и потеряв Кавказ, Гитлер не заметил ничего нового. В то время как Сталин присваивал себе роль высшего защитника Отечества, восстанавливал старые русские погоны, православную Церковь и распускал Коминтерн, Гитлер, посильно помогая ему, в сентябре 1943 распорядился *разоружить все добровольческие части* и отправлять их в угольные шахты, затем переменил: перевести добровольческие части — на Атлантический Вал, против союзников.

Таков был уже, по сути, конец всего замысла о независимой российской армии. Что же делал Власов? Отчасти он и не знал, как худо обстоят дела (не знал, что после своих поездок снова считается военнопленным и в угрожаемом положении), отчасти непоправимо стал на гибельный путь надежд и соглашений со Зверем, тогда как с апокалиптическими зверьми спасительна одна неуступчивость от первой до последней минуты. Впрочем, была ли вообще такая минута у Освободительного Движения российских граждан? С самого начала оно обречено было гибели как ещё одна додаточная жертва на неостывший жертвенник 1917 года. Первая же военная зима 1941/42 года, уничтожившая несколько миллионов советских военнопленных, протянула костяную цепь этих жертв, начатую ещё летними ополчениями безоружных людей для спасения большевизма.

Здесь уместно сопоставить Власова с командующим 19-й армией генерал-майором Михаилом Лукиным, который ещё в 1941 соглашался на борьбу против сталинского режима, но требовал *гарантий* национальной независимости для безкоммунистической России, а не получив таких гарантий — не сделал шагу из лагеря военнопленных. Власов же поддался на надежды без гарантий, и на этом пути не раз склонялся к успокоительным аргументам своих советников. Он порывался — остановиться, отступиться, отказаться, но всегда находились аргументы: «разоружат все добровольческие части», «не будет выхода для военнопленных», «ухудшится положение *остовцев*», то есть русских рабочих в Германии. И в крючках этих аргументов Власов в октябре 1943 подписал открытое письмо к добровольцам, переводимым на Западный фронт: о временности этой меры и необходимости подчиниться . . .

Так потерян был последний ускользающий смысл этого горького добровольчества: отправляли их пушечным мясом против союзников да против французского Сопротивления — против тех самых, к кому только и была искренняя симпатия у русских в Германии, испытавших на себе и немецкую жестокость и немецкое самопревозношение. Подрывалась тайная надежда на англо-американцев, лелеемая во власовском окружении: что уж если союзники поддерживают коммунистов, то неужели же не поддержат против Гитлера демократическую некоммунистическую Россию? . . Особенно при падении Третьего Рейха, когда отчётливо проступит советский напор расширить свой строй на Европу и на весь мир — неужели Запад будет продолжать поддерживать большевистскую диктатуру? Тут был разрыв русского и западного сознания, не преодолённый и посегодня. Запад вёл войну *только* против Гитлера, для того считал хорошими все средства и всех

союзииков, особеиио Советы. Более, чем не мог, — Запад и и е х о т е л, ему это смутительио н помешно было бы — допустнть, что у народов СССР могут быть и *свои* задачи, ие совпадающне с целями коммунистического правительства. Трагикомнчно, но среди добровольческих аитнбольшевистскнх батальоиов, прнбывшнх на Западный фронт, союзннки распространяли воззваиия: перебежчикам о б е щ а е т с я иемедленная отправка в Советский Союз!..

Власовское окружеиие в мечтах и иадеждах рисовало себя «третьей силой», то есть помимо Сталина и Гнтлера, но н Сталин, н Гитлер, н Запад вышибали из-под ннх такне подпоркн: для Запада онн былн какой-то странной категорией нацнстских пособннков, ни в чём ие замечательней.

Что русские против иас вправду есть и что оии бьются круче всяких эсэсовцев, мы отведали вскоре. В июле 1943 под Орлом взвод русских в иемецкой форме защищал, иапример, Собакинские выселки. Оии бились с таким отчаяиием, будто эти выселки построили сами. Одиого загиали в погреб, к нему туда бросали ручные граиаты, он замолкал; ио едва совались спуститься — ои сиова сек автоматом. Лишь когда ухиули туда противотанковую граиату, узиали: ещё в погребе у него была яма, и в ней ои перепрятывался от разрыва противопехотиых гранат. Надо представить себе степеиь оглушёииости, коитузии и безиадёжности, в которой ои продолжал сражаться.

Защищали они, иапример, и несбиваемый диепровский плацдарм южиее Турска, там две иедели шли безуспешиые бои за сотни метров, и бои свирепые и морозы такие же (декабрь 1943). В этом осточертеиии многодневиого зимиего боя в маскхалатах, скрывавших шииель и шапку, были и мы и они, и под Малыми Козловичами, рассказывали мие, был такой случай. В перебежках между сосеи запутались и легли рядом двое, и уже не понимая точио, стреляли в кого-то и куда-то. Автоматы у обоих — советские. Патроиами делились, друг друга похваливали, матерились на замерзающую смазку автомата. Накоиец совсем перестало подавать, решили оии закурить, сбросили с голов белые капюшоны — и тут разглядели орла и звёздочку иа шапках друг у друга. Вскочили! Автоматы не стреляют! Схватили и, мордуя ими как дубииками, стали друг за другом гоияться: уж тут ие политика и ие родииа-мать, а простое пещериое недоверие: я его пожалею, а ои меия убьёт.

В Восточиой Пруссии в иескольких шагах от меия провели по обочине тройку плеииых власовцев, а по шоссе как раз грохотала Т-тридцать четвёрка. Вдруг одии из плениых вывериулся, прыгнул и ласточкой шлёпиулся под танк. Таик увильиул, ио всё же раздавил его краем гусеиицы. Раздавлеииый ещё извивался, красиая пеиа шла на губы. И можио было его поиять! Солдатскую смерть он предпочитал повешеиию в застеике.

Им ие оставлеио было выбора. Им иельзя было драться ииаче. Им не оставлено было выхода биться как-иибудь побережливее к себе. Если один «чистый» плеи уже призиавался у иас иепрощаемой измеиой родиие, то что ж о тех, кто взял оружие врага? Поведение этих людей с нашей пропагандиой топорностью объясиялось: 1) предательством (биологическим? текущим в крови?) и

2) трусостью. Вот уж только не трусостью! Трус ищет, где есть поблажка, снисхождение. А во «власовские» отряды вермахта их могла привести только крайность, запредельное отчаяние, невозможность дальше тянуть под большевистским режимом да презрение к собственной сохранности. Ибо знали они: здесь не мелькнёт им ни полоски пощады! В нашем плену их расстреливали, едва только слышали первое разборчивое русское слово изо рта. (Одну группу под Бобруйском, шедшую в плен, я успел остановить, предупредить — и чтоб они переоделись в крестьянское, разбежались по деревням примаками.) В русском плену, так же как и в немецком, хуже всего приходилось русским.

Эта война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским.

Я со стыдом вспоминаю, как при освоении (то есть, разграбе) бобруйского котла я шёл по шоссе среди разбитых и поваленных немецких автомашин, рассыпанной трофейной роскоши,— и из низинки, где погрязли утопленные повозки и машины, потерянно бродили немецкие битюги и дымились костры из трофеев же, услышал вопль о помощи: «Господин капитан! Господин капитан!» Это чисто по-русски кричал мне о защите пеший в немецких брюках, выше пояса нагой, уже весь искровавленный — на лице, груди, плечах, спине,— а сержант-особист, сидя на лошади, погонял его перед собою кнутом и наседанием лошади. Он полосовал его по голому телу кнутом, не давая оборачиваться, не давая звать на помощь, гнал его и бил, вызывая из кожи новые красные ссадины.

Это была не пуническая, не греко-персидская война! Всякий имеющий власть, офицер любой армии на земле должен был остановить бессудное истязание. Любой — да, а — нашей? .. При лютости и абсолютности нашего разделения человечества? (Если *не с нами, не наш* и т. д.— то достоин только презрения и уничтожения.) Так вот, я *струсил* защищать власовца перед особистом, я *ничего не сказал и не сделал, я прошёл мимо, как бы не слыша* — чтоб эта признанная всеми чума не перекинулась на меня (а вдруг этот власовец какой-нибудь сверх-злодей? .. а вдруг особист обо мне подумает..? а вдруг..?) Да проще того, кто знает обстановку тогда в армии — стал ли бы ещё этот особист слушать армейского капитана?

И со зверским лицом особист продолжал стегать и гнать беззащитного человека как скотину.

Эта картина навсегда передо мною осталась. Это ведь — почти символ Архипелага, его на обложку книги можно помещать.

И всё это они предчувствовали, предзнали — а нашивали-таки на левый рукав немецкого мундира щит с андреевским полем и буквами РОА.

Бригада Камииского из Локтя Бряиского содержала 5 пехотных полков, артдивизион, танковый батальои. Оиа выставляла часть иа фроит под Дмитровск-Орловский в июле 1943. Осеиью одии полк её стойко защищал Севск — и в этой защите

уничтожен целиком: советские войска добивали и раненых, а командира полка привязали к танку и протащили насмерть. Из своего Локотского района бригада отступала с семьями, с обозами, больше 50 тысяч человек. (Можно представить, как, дорвавшись, прочёсывало НКВД этот автономный антисоветский район!) За брянскими пределами горькое ждало их странствие, унизительное стояние под Лепелем, использование против партизан, потом отступление в Верхнюю Силезию, где Каминский получил приказ подавлять Варшавское восстание и не сумел не пойти, повёл 1700 человек несемейных, в советской форме с жёлтыми повязками. Так понимали немцы все эти трёхцветные кокарды, андреевское поле и Георгия Победоносца. Русский и немецкий языки были взаимно непереводимы, невыразимы, несоответственны.

Батальоны из расформированной осинторфовской части тоже судьбу имели идти против партизан или быть переброшенными на Западный фронт. Под Псковом (в Стремутке) стояла в 1943 «гвардейская бригада РОА» из нескольких сот человек, была в контакте с окрестным русским населением, но рост её был преграждён немецким командованием.

Жалкие газетки добровольческих частей были обработаны немецким цензурным тесаком. И оставалось власовцам биться насмерть, а на досуге водка и водка. Обречённость — вот что было их существование все годы войны и чужбины, и никакого выхода никуда.

Гитлер и его окружение, уже отовсюду отступая, уже накануне гибели — всё так же не могли преодолеть своего стойкого недоверия к отдельным русским формированиям, решиться на тень независимой, не подчинённой им России. Лишь в треске последнего крушения, в сентябре 1944, Гиммлер дал согласие на создание РОА из целостных русских дивизий, даже со своей малой авиацией, а в ноябре 1944 был разрешён поздний спектакль: созыв Комитета Освобождения Народов России. Только с осени 1944 генерал Власов и получил первую как будто реальную возможность действовать — заведомо позднюю. Федералистский принцип тоже не привлёк многих: освобождённый немцами из тюрьмы (тоже в 1944) Бандера уклонился от союза с Власовым; сепаратистские национальные части видели во Власове русского империалиста и не хотели подпасть под его контроль; и за казаков отказывался генерал Краснов,— и только за 10 дней до конца всей Германии — 28 апреля 1945!— Гиммлер дал согласие на подчинение Власову казачьего корпуса. В нацистском руководстве уже наступал хаос: одни начальники разрешали стягивать русские добровольческие части в РОА, другие препятствовали. Да и реально каждый такой сражавшийся отряд было трудно вырвать с передовой, как впрочем и остовцев, желавших в РОА, не легко было вырвать с их тыловых работ. Да не спешили немцы освобождать и военнопленных для власовской армии, на освобождение — машина не прокручивала. Всё же к февралю 1945 года 1-я дивизия РОА (наполовину из локотян) была сформирована и начинала формироваться 2-я. Поздно уже было и предполагать, что этим дивизиям достанется действовать в союзе с Германией; и давно таимая, теперь разгоралась во власовском руководстве надежда на конфликт Советов с союзниками. Это отмечалось и в докладе германского министерства пропаганды (февраль 1945): «Движение Власова не считает себя связанным на жизнь и смерть с Германией, в нём — сильные англофильские симпатии и мысли о перемене курса. Движение — не национал-социалистическое, и еврейский вопрос вообще им не признаётся».

Двусмысленность положения отразилась и в Манифесте КОНР, объявленном в Праге (чтобы на славянской земле) 14 ноября 1944 года. Не избежать было о «силах империализма во главе с плутократами Англии и США, величие которых строится на эксплуатации других стран и народов» и которые «прикрывают свои преступные цели лозунгами защиты демократии, культуры и цивилизации»,— но не было ни одного *прямого* поклона национал-социализму, антисемитизму или Великогермании, лишь названы были «свободолюбивыми народами» все враги союзников, приветствовалась «помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей родины», и ждался «почётный мир с Германией», уж какой ни почётный, а наверно не хуже Брестского,— да по ситуации был бы выше Брестского, а впрочем так же подлежал бы изменению от мира всеевропейского. В Манифесте было много старания заявить себя демократами, федералистами (со свободой отделения наций), и осторожными ножками блукала ещё тогда совсем не созревшая, в себе не уверенная подсоветская общественная мысль: и «отживший царский строй»,

и экономическая и культурная отсталость старой России, и «народная революция 1917 года»... Только антибольшевизм был последовательный.

Всё это праздновалось в Праге по малой программе — с представителями «Богемского протектората», то есть германскими чиновниками третьей руки. Весь манифест и сопровождающие передачи слышал я тогда на фронте по радио — и впечатление ото всего было, что: спектакль — несвоевременный и обречённый. В Западном мире манифест этот нисколько не был замечен, никогда не добавил понимания ни на волосок — но имел большой успех среди остовцев: говорят, был поток заявлений в РОА (Свен Стеенберг пишет —300 тысяч)— это в безнадёжные месяцы, когда Германия уже видимо рухалась и эти несчастные заброшенные советские люди могли рассчитывать против лавины закалённой Красной армии только на силу своего отвращения от большевизма.

Какие ж планы могли быть у формируемой армии? Казалось: пробиваться в Югославию, соединяться там с казахами, эмигрантским корпусом и Михайловичем, и отстаивать Югославию от коммунизма. Но прежде того: разве могло немецкое командование в свои тяжелейшие месяцы дать у себя в тылу беспрепятственно формироваться отдельной русской армии? Нетерпеливо дёргали они на Восточный фронт — то противотанковый отряд (И. Сахарова — Ламсдорфа) в Померанию, то всю 1-ю дивизию на Одер,— и что же Власов? Покорно отдавал, всеобщий закон однажды принятой линии уступок, хотя отдачею единственной пока дивизии обессмысливался весь план создания армии. Аргументы услужливо всегда найдутся: «Немцы нам не доверяют. Вот 1-я дивизия боевыми действиями убедит их — и тогда формирование РОА пойдёт быстрей.» А шло оно — плохо. 2-я дивизия и запасная бригада, вместе 20 тысяч человек, остались до самого мая 1945 безоружной толпой — не только без артиллерии, но почти без пехотного оружия и даже худо обмундированы. 1-ю дивизию (16 тысяч) назначили для операции безнадёжной и смертной,— и только общий уже развал Германии позволил командиру дивизии Буняченко увести её самовольно с передовой и через сопротивление генералов пробиваться в Чехию. (По пути освобождали советских военнопленных, и те присоединялись —«чтобы русским быть вместе».) Пришли под Прагу в начале мая. Тут их позвали на помощь чехи, поднявшие в столице восстание 5 мая, дивизия Буняченко 6 мая вступила в Прагу и в жарком бою 7 мая спасла восстание и город. Будто в насмешку, чтобы подтвердить дальновидность самых недальновидных немцев, первая же власовская дивизия своим первым и последним независимым действием нанесла удар — именно по немцам, выпустила всё ожесточение и горечь, какую накопили на немцев подневольные русские груди за эти жестокие и бестолковые три года. (Чехи встречали русских цветами, в те дни — понимали, но у всех ли потом осталось в памяти, к а к и е русские спасали им город? У нас теперь считается, что Прагу освободили советские войска,— и верно, по желанию Сталина Черчилль в эти дни не спешил дать оружие пражанам, американцы задержались в движении, чтобы допустить взять Прагу советским, а Йозеф Смрковский, ведущий пражский коммунист в те дни, не прозревая дальнего будущего, поносил предателей-власовцев и жаждал освобождения только из советских рук.)

Все эти недели Власов не проявляет себя как полководец, но обретается в потерянности, безвыходной зажатости. Он не направляет 1-ю дивизию в Пражской операции, оставляет в неопределённости 2-ю и мелкие части,— и в убегающем времени никто не находит сил для задуманного соединения с казаками. Власов последовательно отказывается только от единоличного бегства (ждал самолёт в Испанию) и, видимо в параличе воли, отдаётся концу. Единственная активность его все последние недели — посылка тайных делегаций и поиск контактов с англо-американцами. И другие члены штаба (генералы Трухин, Меандров, Боярский) делают то же.

Только тем смыслом, чтобы теперь, при конце, пригодиться союзникам, и освещалось для власовцев их долгое висение в немецкой петле. Всё теплилась — нет, горела такая надежда: вот конец войны, вот и приходит время могучим англо-американцам потребовать от Сталина изменения внутренней политики — вот сближаются армии с Запада и Востока и над раздавленным

Гитлером столкнутся!— так тут-то и выгодно Западу сохранить и использовать *нас?* Ведь понимают же они, что большевизм — враг всего человечества?

Нет, и близко не понимали! О, западная демократическая тупость: как? вы говорите, что вы — политическая оппозиция? да разве у вас есть оппозиция? а почему ж она никогда не заявляла о себе публично? Если вы недовольны Сталиным — возвращайтесь на родину и в первой же избирательной кампании переизберите его, вот это будет честный путь. А зачем же было брать в руки оружие, да ещё немецкое? Нет, теперь мы обязаны вас выдать, иначе неприлично, да испортим отношения с доблестным союзником.

Во Второй мировой войне Запад отстаивал *свою* свободу и отстоял её *для себя*, а нас (и Восточную Европу) вгонял в рабство ещё на две глубины.

Последней попыткой Власова было заявление, что руководство РОА готово предстать перед международным судом, но выдача армии советским властям на верную смерть противоречит международному праву как выдача оппозиционного движения,— никто того писка и не услышал, да большинство американских военачальников даже с изумлением узнавало о существовании ещё каких-то русских, а не советских, естественно было передавать их по советской принадлежности.

РОА не просто капитулировала перед американцами, но *молила* принять капитуляцию и только дать гарантию невыдачи Советам. И средние американские офицеры, кто не охватывал большой политики, иногда по простоте и обещали. (Все обещанья эти были нарушены потом, пленных обманули.) Но всю 1-ю дивизию (11 мая, под Пильзеном) да почти и всю 2-ю американцы встретили вооружённой стеной: *отказались* брать в плен, отказались впустить в свою зону: в Ялте Черчилль и Рузвельт подписали обязательную репатриацию всех советских граждан, особенно военнослужащих, а добровольность или насильственность репатриации не была при том помянута, ибо где ж ещё на земле, в какую ещё родину её сыны не желают возвращаться добровольно? Вся близорукость Запада сгустилась в ялтинских перьях.

Американцы не принимали капитулирующих, а советские танки проходили последние километры. Оставалось — или дать последний бой, или... Буняченко и Зверев (2-я дивизия) распорядились сходно: боя не было. (Это — тоже русский характер: а *вдруг?..* всё ж — *свои...* По тюремным рассказам много знаю таких случаев безоглядной или пьяной сдачи — *своим*.) 12 мая вооружённая полносоставная 1-я дивизия получила приказ в лесу: «Разойдись!» Одевались в штатское, спарывали отличия, сжигали документы, стрелялись. Ночью началась облава советских войск. Около 10 тысяч было убито и взято в плен, остальные прорвались в американскую зону, но и из них большая часть была выдана советским войскам, как и из 2-й дивизии, авиации, отдельных отрядов. Для иных сидение в американских лагерях затянулось на многие месяцы (группа Меандрова). То ли это было американское пренебрежение, то ли намёк «разбегайтесь сами», но содержали и в голоде, как прежде немцы, и пинали и били прикладами — а охраняли слабо. И кое-кто бежал, но большая часть — осталась! Доверие к Америке? невозможность ожидать от американцев предательства?— остались ждать своей страшной судьбы, уже разлагаемые и советскими агитаторами, и самообвинениями

и падением духа,— и группа за группою, генералы, офицеры, солдаты, в 45-м году и в 46-м, выданы на расправу в Советский Союз. (2 августа 1946 советские газеты опубликовали сообщение о приговоре Военной Коллегии Верховного Суда над Власовым и одиннадцатью его ближайшими: казнь через повешение.)

В том же мае 1945 в Австрии такой же лояльный союзнический шаг (из обычной скромности у нас не оглашённый) совершила и Англия: она передала советскому командованию казачий корпус (40—45 тысяч человек), пробившийся из Югославии. Передача эта носила коварный характер в духе традиционной английской дипломатии. Дело в том, что казаки были настроены биться насмерть или уезжать за океан, хоть в Парагвай, хоть в Индокитай, только не сдаваться живыми. Англичане же поставили казаков на усиленный армейский паёк, выдавали превосходное английское обмундирование, обещали службу в английской армии, уже устраивали смотры. Поэтому не вызвало подозрения, когда они предложили казакам сдать оружие под предлогом его унификации. 28 мая всех офицеров от эскадронных и выше (более 2000 человек) вызвали отдельно от солдат в город Юденбург якобы на совещание с фельдмаршалом Александером о судьбах армии. В пути офицеры были обмануты, поставлены под сильную охрану (англичане избивали их в кровь), затем автомобильная колонна постепенно была передана в охват советских танков, затем в Юденбурге въехала в полуокружие воронков, около которых уже стоял конвой со списками. И даже нечем было застрелиться, заколоться — всё оружие отобрано. Бросались с высокого виадука на камни и в реку. Среди выданных генералов большинство были — эмигранты, союзники этих самых англичан по 1-й мировой войне. В гражданскую войну англичане не успели их отблагодарить, возвращали долг теперь. В последующие дни так же обманно англичане передавали и рядовых — поездами, оплетёнными колючей проволокой. (17 января 1947 советские газеты опубликовали сообщение о повешении казачьих генералов Петра Краснова, Шкуро и ещё нескольких.)

Тем временем пришёл из Италии 35-тысячный обоз «Казачий Стан» и остановился в долине Лиенца на Драве. Там были и боевые казаки, но много старых, малых и баб — и все не желали возвращаться на родные казачьи реки. Однако не дрогнули сердца англичан и не затмился их демократический разум. Английский комендант майор Девис, чьё имя уж верно войдёт теперь по крайней мере в русскую историю, когда нужно рассыпчато приветливый, когда нужно безжалостный,— после обманного изъятия офицеров открыто объявил о насильственной выдаче 1 июня. Ему ответили тысячеголосыми криками: «Не пойдём!» Над лагерем беженцев появились чёрные флаги, в походной церкви шли непрерывные богослужения: живые служили панихиду сами по себе!.. Пришли английские танки и солдаты. Через громкоговорители распорядились садиться в грузовики. Толпа пела панихиду, священники подняли кресты, молодые составили цепь вокруг стариков, женщин и детей. Англичане избивали прикладами и дубинками, выхватывали людей, бросали их и раненых тюками в грузовики. Под напором отступавших сломался помост для священников, затем и лагерный забор, масса хлынула по мосту через Драву, английские танки отрезали путь, иные казаки семьями бросались в реку на погибель, по окрестностям английская часть ловила и стреляла беглецов. (Кладбище убитых и растоптанных — сохраняется в Лиенце.)

В тех же днях так же коварно и беспощадно англичане выдали и югославским коммунистам тысячи врагов их режима (своих же союзников 1941 года!) — на бессудные расстрелы и уничтожение.

И в свободной Великобритании с её независимой прессой до сих пор никто за 25 лет не пожелал рассказать об этом предательстве, не поднял тревогу в обществе.

(В своих странах Рузвельт и Черчилль почитаются как эталоны государственной мудрости, и памятниками великому мужу со временем может покрыться Англия. Нам же, в русских тюремных обсуждениях, выступала разительно-очевидно систематическая близорукость и даже глупость обоих. Как могли они, сползая от 41-го года к 45-му, не обеспечить никаких гарантий независимости Восточной Европы? Как могли они за смехотворную игрушку четырёхзонного Берлина, свою же будущую ахиллесову пяту, отдать обширные области Саксонии и Тюрингии? И какой военный и политический резон для них имела сдача на смерть в руки Сталина нескольких сот тысяч вооружённых советских граждан, решительно не хотевших сдаваться? Говорят, что тем они платили за непременное участие Сталина в японской войне. Уже имея в руках атомную бомбу, платили Сталину за то, чтоб он не отказался

оккупировать Маньчжурию, укрепить в Китае Мао Цзэ-дуна, а в половине Кореи — Ким Ир Сена!.. Разве не убожество политического расчёта? Когда потом вытеснили Миколайчика, кончались Бенеш и Масарик, был обложен блокадой Берлин, пылал и глох Будапешт, дымилась Корея, а консерваторы мазали пятки от Суэца — неужели и тогда самые памятливые из них не припомнили ну хотя бы эпизода с выдачей казаков?)

И даже это ещё было только начало. Весь 1946 и 1947 годы верные Сталину западные союзники продолжали и продолжали выдавать ему на расправу советских граждан против их воли — и бывших военных и чисто гражданских, лишь бы с рук скачать эту человеческую неразбериху. Выдавали из Австрии, Германии, Италии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, из американских зон. В английских зонах эти годы содержались и *концлагеря*, пожалуй не уступающие гитлеровским. (Например, лагерь Вольфсберг в Австрии: женщинам велят, согнувшись, но не присев, срезáть маленькими ножницами *по одной* травинке, каждые одиннадцать обвязывать двенадцатою в «сноп», и так многими часами.* Что это мыслимо при британской парламентской традиции, заставляет сильно задуматься над толщиною корки нашей цивилизации.) Многие русские много послевоенных лет жили на Западе с подложными документами под гнетущим страхом выдачи в СССР, опасаясь англо-американской администрации, как когда-то НКВД. А где не выдавали — там беспрепятственно сновали советские агенты во множестве и без помех, средь бела дня, выкрадывали живых людей, даже с улиц западных столиц.

Помимо создававшейся РОА немало русских подразделений к 1945 году продолжало закисать в глуби немецкой армии, под неотличимыми немецкими мундирами. Они кончали войну на разных участках и по-разному

За несколько дней до моего ареста попал под власовские пули и я. Русские были и в окружённом нами восточно-прусском котле. В одну из ночей в конце января их часть пошла на прорыв на запад через наше расположение без артподготовки, молча. Сплошного фронта не было, они быстро углубились, взяли в клещи мою высунутую вперёд звукобатарею, так что я едва успел вытянуть её по последней оставшейся дороге. Но потом я вернулся за подбитой машиной и перед рассветом видел, как, накопясь в маскхалатах на снегу, они внезапно поднялись, бросились с «ура» на огневые позиции 152-миллиметрового дивизиона у Адлиг Швенкиттен и забросали двенадцать тяжёлых пушек гранатами, не дав сделать ни выстрела. Под их трассирующими пулями наша последняя кучка бежала три километра снежною целиной до моста через речушку Пасарге. Там их остановили.

Вскоре я был арестован, и вот перед парадом Победы мы теперь все вместе сидели на бутырских нарах, я докуривал после них и они после меня, и вдвоём с кем-нибудь мы выносили жестяную шестиведерную парашу.

Многие «власовцы», как и «шпионы на час», были молодые люди, этак между 1915 и 1922 годами рождения, то самое «племя младое незнакомое», которое от имени Пушкина поспешил приветствовать суетливый Луначарский. Большинство их попало в военные формирования той же волной случайности, какою в соседнем

---

* Этот лагерь описан в книге Ариадны Делианич «Вольфсберг-373», она сама сидела там. (Книга напечатана в Сан-Франциско в типографии «Русская жизнь».)

лагере их товарищи попадали в шпионы — зависело от приехавшего вербовщика.

Вербовщики глумливо разъясняли им — глумливо, если б то не было истиной: «Сталин от вас отказался!», «Сталину на вас наплевать!»

Советский закон поставил их вне себя ещё прежде, чем они поставили себя вне советского закона.

И они — записывались... Одни — чтоб только вырваться из смертного лагеря. Другие — в расчёте перейти к партизанам (и переходили! и воевали потом за партизан! — но по сталинской мерке это нисколько не смягчало их приговора). Однако в ком-то же и заныл позорный Сорок Первый год, ошеломляющее поражение после многолетнего хвастовства; и кто-то же счёл первым виновником вот этих нечеловеческих лагерей — Сталина. И вот они тоже потянулись заявить о себе, о своём грозном опыте: что они — тоже частицы России и хотят влиять на её будущее, а не быть игрушкой чужих ошибок.

Слово «власовец» у нас звучит подобно слову «нечистоты», кажется мы оскверняем рот одним только этим звучанием и поэтому никто не дерзнёт вымолвить двух-трёх фраз с подлежащим «власовец».

Но так не пишется история. Сейчас, четверть века спустя, когда большинство их погибло в лагерях, а уцелевшие доживают на крайнем Севере, я хотел страницами этими напомнить, что для мировой истории это явление довольно небывалое: чтобы несколько сот тысяч молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати подняли оружие на своё Отечество в союзе со злейшим его врагом. Что, может, задуматься надо: кто ж больше виноват — эта молодёжь или седое Отечество? Что биологическим предательством этого не объяснить, а должны быть причины общественные.

Потому что, как старая пословица говорит: *от корма кони не рыщут*.

Вот так представить: поле — и рыщут в нём неухоженные оголодалые обезумелые кони.

* * *

А ещё в ту весну много сидело в камерах — русских эмигрантов.

Это выглядело почти как во сне: возвращение канувшей истории. Давно были дописаны и запахнуты тома гражданской войны, решены её дела, внесены в хронологию учебников её события. Деятели белого движения уже были не современники наши на земле, а призраки растаявшего прошлого. Русская эмиграция, рассеянная жесточе колен израилевых, в нашем советском представлении если и тянула ещё где свой век, — то тапёрами в поганеньких ресторанах, лакеями, прачками, нищими, морфинистами, кокаинистами, домирающими трупами. До войны 1941 года ни по каким признакам из наших газет, из высокой беллетристики, из художественной критики нельзя было представить (и наши сытые мастера не помогли нам узнать), что русское Зарубежье — это

большой духовный мир, что там развивается русская философия, там Булгаков, Бердяев, Франк, Лосский, что русское искусство полонит мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бенуа, Дягилев, Павлова, казачий хор Жарова, там ведутся глубокие исследования Достоевского (в ту пору у нас и вовсе прóклятого), что существует небывалый писатель Набоков-Сирин, что ещё жив Бунин и что-то же пишет эти двадцать лет, издаются художественные журналы, ставятся спектакли, собираются съезды землячеств, где звучит русская речь, и что эмигранты-мужчины не утеряли способности брать в жёны эмигранток-женщин, а те рожать им детей, значит наших ровесников.

Представление об эмигрантах было выработано в нашей стране настолько ложное, что советские люди никогда поверить бы не могли: были эмигранты, воевавшие в Испании не за Франко, а за республиканцев; а во Франции среди русской эмиграции в отчуждённом одиночестве оказались Мережковский и Гиппиус после того, что не отшатнулись от Гитлера. В виде анекдота и даже не в виде его: порывался Деникин идти воевать за Советский Союз против Гитлера, и Сталин одно время едва не намеревался вернуть его на родину (не как боевую силу, конечно, а как символ национального объединения). Как и Западу целиком, так и русской эмиграции за 25 лет отрыва уже не хватало живого подсоветского опыта, чтобы трезво понимать события. Оттого и возникло в эмиграции смущение умов, вроде: «можно ли подавать власовцам руку?» (одни — потому что «всегда за Россию», другие — потому что «всегда за демократию»). Между прежними эмигрантами и новыми подсоветскими возникло немало раздоров, непонимания — и во время войны, у немцев, и потом после войны, в союзнических лагерях. Правда, составился эмигрантский добровольный стрелковый корпус для отправки на Восточный фронт (15 тысяч человек) — да немцы послали его против Тито, и войны не было, нейтральное невмешательство. Во время оккупации Франции множество русских эмигрантов, старых и молодых, примкнули к движению Сопротивления, а после освобождения Парижа валом валили в советское посольство подавать заявления на родину. Какая б Россия ни была — но Россия!— вот был их лозунг, и так они доказали, что и раньше не лгали о любви к ней. (В тюрьмах 45-46 годов они были едва ли не счастливы, что эти решётки и эти надзиратели — свои, русские; они с удивлением смотрели, как советские мальчики чешут затылки: «И на чёрта мы вернулись? Что нам, в Европе было тесно?»)

Но по той самой сталинской логике, по которой должен был сажаться в лагерь всякий советский человек, поживший за границей,— как же могли эту участь обминуть эмигранты? С Балкан, из центральной Европы, из Харбина их арестовывали тотчас по приходу советских войск, брали с квартир и на улицах, как своих. Брали пока только мужчин и то пока не всех, а заявивших как-то о себе в политическом смысле. (Их семьи позже этапировали на

места российских ссылок, а чьи и так оставили в Болгарии, в Чехословакии.) Из Франции их с почётом, с цветами принимали в советские граждане, с комфортом доставляли на родину, а загребали уже тут. Более затяжно получилось с эмигрантами шанхайскими — туда руки не дотягивались в 45-м году. Но туда приехал уполномоченный от советского правительства и огласил Указ Президиума Верховного Совета: прощение всем эмигрантам! Ну, как не поверить? Не может же правительство лгать! (Был ли такой указ на самом деле, не был,— Органов он во всяком случае не связывал.) Шанхайцы выразили восторг. Предложено им было брать столько вещей и такие, какие хотят (они поехали и с автомобилями, это родине пригодится), селиться в Союзе там, где хотят; и работать, конечно, по любой специальности. Из Шанхая их брали пароходами. Уже судьба пароходов была разная: на некоторых почему-то совсем не кормили. Разная судьба была и от порта Находки (одного из главных перевалочных пунктов ГУЛАГа). Почти всех грузили в эшелоны из товарных вагонов, как заключённых, только ещё не было строгого конвоя и собак. Иных довозили до каких-то обжитых мест, до городов, и действительно на 2-3 года пускали пожить. Других сразу привозили эшелоном в лагерь, где-нибудь в Заволжьи разгружали в лесу с высокого откоса вместе с белыми роялями и жардиньерками. В 48-49 годах ещё уцелевших дальневосточных ре-эмигрантов досаживали наподскрёб.

Девятилетним мальчиком я охотнее, чем Жюля Верна, читал синенькие книжечки В. В. Шульгина, мирно продававшиеся тогда в наших книжных киосках. Это был голос из мира, настолько решительно канувшего, что с самой дивной фантазией нельзя было предположить: не пройдёт и двадцати лет, как шаги автора и мои шаги невидимым пунктиром пересекутся в беззвучных коридорах Большой Лубянки. Правда, с ним самим мы встретились не тогда, ещё на двадцать лет позже, но ко многим эмигрантам, старым и молодым, я имел время присмотреться весной 45-го года.

С ротмистром Борщом и полковником Марьюшкиным мне пришлось вместе побывать на медосмотре, и жалкий вид их голых сморщенных тёмно-жёлтых уже не тел, а мощей так и остался перед моими глазами. Их арестовали в пяти минутах перед гробом, привезли в Москву за несколько тысяч километров и тут в 1945 году серьёзнейшим способом провели следствие об . . . их борьбе против советской власти в 1919 году!

Мы настолько уже привыкли к нагромождению следственно-судебных несправедливостей, что перестали различать их ступени. Этот ротмистр и этот полковник были кадровыми военными царской русской армии. Им было уже обоим лет за сорок, и в армии они уже отслужили лет по двадцать, когда телеграф принёс сообщение, что в Петрограде свергли императора. Двадцать лет они прослужили под царской присягой, теперь скрепя сердце (и, может быть, внутренне бормоча: «сгинь, рассыпься!») присягнули ещё Временному правительству. Больше никто им не предлагал

ннкому прнсягать, потому что всякая армия развалилась. Им не понравились порядки, когда срывали погоиы, н офицеров убивали, и естествеино, что они объедиийлись с другимн офнцерами, чтобы против этих порядков сражаться. Естественно было Красиой армии биться с ними и сталкивать нх в море. Но в страие, где есть хоть зачатки юридической мысли,— какне же основаиия *судить* их, да ещё через четверть века? (Всё это время они жилн как частиые лица: Мариюшкии до самого ареста, Борщ правда оказался в казачьем обозе в Австрии, но именно ие в вооружённой части, а в обозе среди старнков и баб.)

Однако в 1945 году в центре иашей юрисдикции их обвинялн: в действнях, направлеиных к *свержению* власти рабоче-крестьяиских советов; в вооружёииом *вторжении* иа советскую территориию (то есть, в том, что онн не уехалн иемедлеиио из Россин, которая была из Петрограда объявлена советской); в оказаиин помощи междуиародной буржуазнн (которой оии сном и духом не видели); в службе у контрреволюциоиных правнтельств (то есть, у своих генералов, которым они всю жнзнь подчннялись). И все эти пункты (1-2-4-13) 58-й статьи прииадлежали уголовиому кодексу, прииятому... в 1926 году, то есть через 6-7 лет *после окончания* граждаиской войны! (Классический и бессовестиый прнмер обратиого действня закона!) Кроме того статья 2-я кодекса указывала, что ои распространяется лишь на граждаи, задержанных иа террнтории РСФСР. Но десиица ГБ выдёргивала совсем ие-граждан н нзо всех страи Европы н Азин!* А уж о *давности* мы и не говорнм: о давностн гибко было предусмотрено, что к 58-й оиа ие применяется. Давность прнменяется только к своим доморощеиным палачам («Зачем старое ворошить?..»), уничтожавшим соотечественников миогократно больше, чем вся граждаиская войиа.

Марнюшкни хоть ясно всё помнил, рассказывал подробности об эвакуацин нз Новороссийска. А Борщ впал как бы в детство и простодушио лепетал, как вот он Пасху праздиовал иа Лубянке: всю Вербиую и всю Страстиую ел только по полпайки, другую откладывая и постепеино подмеияя чёрствые свежими. И так на разговлеиие скопилось у иего семь паек, и три дня Пасхн ои пировал.

Что их сегодня обвинялн и судили — иикак ие доказывает их реальиой виновиостн даже в прошлом, а лишь месть советского государства: за то, что оин сопротивлялись коммунизму четверть столетия назад, хотя с тех пор тяиули жизиь неустроеииых бездомных изгнаииков.

От этих беспомощных эмиграитских мумнй отличался полковник Константии Коистаитииович Ясевич. Вот для него с концом гражданской войны борьба против большевизма не коичилась. Уж чем ои там мог бороться, где н как — мие он ие рассказывал. Но ощущение, что ои и посейчас в строю — у него было, кажется,

* Да этак ни один африканский презндеит не гарантирован, что через десять лет мы не издадим закона, по которому будем судить его за сегодияшнее.

и в камере. Среди неразберихи понятий, расплывшихся и изломанных линий зрения, как было в головах большинства из нас, у него очевидно, был чёткий ясный взгляд на окружающее, а от отчётливой жизненной позиции — и в теле постоянная крепость, упругость, деятельность. Было ему не меньше шестидесяти, голова совершенно лыса, без волосочка, уж он пережил следствие (ждал приговора, как все мы), и помощи, конечно, ниоткуда никакой — а сохранил молодую, даже розоватую кожу, изо всей камеры один делал утреннюю зарядку и оплескивался под краном (мы же все берегли калории от тюремной пайки). Он не пропускал времени, когда между нарами освобождался проход — и эти пять-шесть метров выхаживал, выхаживал чеканной походкой, с чеканным профилем, скрестив руки на груди и ясными молодыми глазами глядя мимо стен.

И именно потому, что мы все изумлялись происходящему с нами, а для него ничто из окружающего не противоречило его ожиданиям,— он в камере был совершенно одинок.

Его поведение в тюрьме я соразмерил через год: снова я был в Бутырках и в одной из тех же 70-х камер встретил молодых однодельцев Ясевича уже с приговорами по десять и пятнадцать лет. На папиросной бумажке был отпечатан приговор всей их группе, почему-то у них на руках. Первый в списке был Ясевич, а приговор ему — расстрел. Так вот что́ он видел, предвидел сквозь стены непостаревшими глазами, выхаживая от стола к двери и обратно! Но безраскаянное сознание верности жизненного пути давало ему необыкновенную силу.

Среди эмигрантов оказался и мой ровесник Игорь Тронько. Мы с ним сдружились. Оба ослабелые, высохшие, жёлто-серая кожа на костях (почему, правда, мы так поддавались? я думаю, от душевной растерянности), оба худые, долговатые, колеблемые порывами летнего ветра в бутырских прогулочных дворах, мы ходили всё рядом осторожной поступью стариков и обсуждали параллели наших жизней. В один и тот же год мы родились с ним на юге России. Ещё сосали мы оба молоко, когда судьба полезла в свою затасканную сумку и вытянула мне короткую соломинку, а ему долгую. И вот колобок его закатился за море, хотя «белогвардеец» его отец был такой: рядовой неимущий телеграфист.

Для меня было остро-интересно через его жизнь представить всё моё поколение соотечественников, очутившихся там. Они росли при хорошем семейном надзоре, при очень скромных или даже скудных семейных достатках. Они были все прекрасно воспитаны и по возможности хорошо образованы. Они росли, не зная страха и подавления, хотя некоторый гнёт авторитета белых организаций был над ними, пока они не окрепли. Они выросли так, что пороки века, охватившие всю европейскую молодёжь (лёгкое отношение к жизни, бездумность, прожигание, высокая преступность) их не коснулись — это потому, что они росли как бы под сенью неизгладимого несчастья их семей. Во всех странах, где они росли,— только Россию они чли своей родиной. Духовное воспитание их шло на

русской литературе, тем более любимой, что на ней и обрывалась их родина, что первичная физическая родина не стояла за ней. Современное печатное слово было доступно им гораздо шире и объёмнее, чем нам, но именно советские издания до них доходили мало, и этот изъян они чувствовали всего острее, им казалось, что именно поэтому они не могут понять главного, самого высокого и прекрасного о Советской России, а то, что доходит до них, есть искажение, ложь, неполнота. Представления о нашей подлинной жизни у них были самые бледные, но тоска по родине такая, что если бы в 41-м году их кликнули — они бы все повалили в Красную армию, и слаще даже для того, чтобы умереть, чем выжить. В двадцать пять — двадцать семь лет эта молодёжь уже представила и твёрдо отстояла свою точку зрения. Так, группа Игоря была «непредрешенцы». Они декларировали, что, не разделив с родиной всей сложной тяжести прошедших десятилетий, никто не имеет права ничего решать о будущем России, ни даже что-либо предлагать, а только идти и силы свои отдать на то, что решит народ.

Много мы пролежали рядом на нарах. Я охватил, сколько мог, его мир, и эта встреча открыла мне (а потом другие встречи подтвердили) представление, что отток значительной части духовных сил, происшедший в гражданскую войну, увёл от нас большую и важную ветвь русской культуры. И каждый, кто истинно любит её, будет стремиться к воссоединению обеих ветвей — метрополии и зарубежья. Лишь тогда она достигнет полноты, лишь тогда обнаружит способность к неущербному развитию.

Я мечтаю дожить до того дня.

* * *

Слаб человек, слаб. В конце концов и самые упрямые из нас хотели в ту весну прощения. Ходил такой анекдот: «Ваше последнее слово, обвиняемый!» — «Прошу послать меня куда угодно, лишь бы там была советская власть! И — солнце . . .» Советской-то власти нам не грозило лишиться, грозило лишиться солнца . . . Никому не хотелось в крайнее Заполярье, на цынгу, на дистрофию. И особенно почему-то цвела в камерах легенда об Алтае. Те редкие, кто когда-то там был, а особенно — кто там и не был, навевали сокамерникам певучие сны: что за страна Алтай! И сибирское раздолье, и мягкий климат. Пшеничные берега и медовые реки. Степь и горы. Стада овец, дичь, рыба. Многолюдные богатые деревни . . .

Арестантские мечты об Алтае — не продолжают ли старую крестьянскую мечту о нём же? На Алтае были так называемые земли Кабинета Его Величества, из-за этого он был долго закрытее для переселения, чем остальная Сибирь, — но именно туда крестьяне более всего и стремились (и переселялись). Не оттуда ли такая устойчивая легенда?

Ах, спрятаться бы в эту тишину! Услышать чистое звонкое пение петуха в незамутнённом воздухе! Погладить добрую серьёзную морду лошади! И будьте вы прокляты, все великие проблемы,

пусть колотится о вас кто-нибудь другой, поглупей. Отдохнуть там от следовательской матерщины и нудного разматывания всей твоей жизни, от грохота тюремных замков, от спёртой камерной духоты. Одна жизнь нам дана, одна маленькая, короткая! — а мы преступно суём её под чьи-то пулемёты или лезем с ней, непорочной, в грязную свалку политики. Там, на Алтае, кажется жил бы в самой низкой и тёмной избушке на краю деревни, подле леса. Не за хворостом и не за грибами — так бы просто вот пошёл в лес, обнял бы два ствола: милые мои! ничего мне не надо больше!..

И сама та весна призывала к милосердию: весна окончания такой огромной войны! Мы видели, что нас, арестантов, текут миллионы, что ещё бóльшие миллионы встретят нас в лагерях. Не может же быть, чтобы стольких людей оставили в тюрьме после величайшей мировой победы! Это просто для острастки нас сейчас держат, чтобы помнили лучше. Конечно, будет великая амнистия, и всех нас распустят скоро. Кто-то клялся даже, что сам читал в газете, как Сталин, отвечая некоему американскому корреспонденту (а фамилия? — не помню...), сказал, что будет у нас после войны такая амнистия, какой не видел свет. А кому-то и следователь сам верно говорил, что будет скоро всеобщая амнистия. (Следствию были выгодны эти слухи, они ослабляли нашу волю: чёрт с ним, подпишем протоколы, всё равно не надолго.)

Но — *на милость разум нужен.*

Мы не слушали тех немногих трезвых из нас, кто каркал, что никогда за четверть столетия амнистии политическим не было — и никогда не будет. (Какой-нибудь камерный знаток из стукачей ещё выпрыгивал в ответ: «Да в 1927 году, к десятилетию Октября, все тюрьмы были пустые, на них *белые флаги висели!*» Это потрясающее видение белых флагов на тюрьмах — почему белых? — особенно поражало сердца.*) Мы отмахивались от тех рассудительных из нас, кто разъяснял, что именно потому и сидим мы, миллионы, что кончилась война: на фронте мы более не нужны, в тылу опасны, а на далёких стройках без нас не ляжет ни один кирпич. (Нам не хватало самоотречения вникнуть если не в злобный, то хотя бы в простой хозяйственный расчёт Сталина: кто ж это теперь, демобилизовавшись, захотел бы бросить семью, дом и ехать на Колыму, на Воркуту, в Сибирь, где нет ещё ни дорог, ни домов? Это была уже почти задача Госплана: дать МВД контрольные цифры, сколько посадить.) Амнистии! великодушной и широкой амнистии ждали и жаждали мы! Вот, говорят, в Англии даже в годовщины коронаций, то есть каждый год, амнистируют!

---

* Сборник «От тюрем к воспитательным учреждениям» даёт (стр. 396) такую цифру: в амнистию 1927 года было амнистировано 7,3% заключённых. Этому поверить можно. Жидковато для Десятилетия. Из политических освобождали женщин с детьми да тех, кому несколько месяцев осталось. В Верхне-Уральском изоляторе, например, из двухсот содержавшихся освободили дюжину. Но на ходу раскаялись и в этой убогой амнистии и стали затирать её: кого задержали, кому вместо «чистого» освобождения дали «минус», то есть ограничения места жительства.

Была амнистия многим политическим и в день трёхсотлетия Романовых. Так неужели же теперь, одержав победу масштаба века и даже больше, чем века, сталинское правительство будет так мелочно мстительно, будет памятливо на каждый оступ и оскольз каждого маленького своего подданного? . .

Простая истина, но и её надо выстрадать: благословенны не победы в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны — народу. После побед хочется ещё побед, после поражения хочется свободы — и обычно её добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям: они заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно.

Полтавская победа была несчастьем для России: она потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы — и новых, и новых войн. Полтавское поражение было спасительно для шведов: потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе.*

Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над Наполеоном, что упускаем: именно благодаря ей освобождение крестьян не произошло на полстолетие раньше (французская же оккупация не была для России реальностью). А Крымская война принесла нам свободы.

В ту весну мы верили в амнистию — но вовсе не были в этом оригинальны. Поговорив со старыми арестантами, постепенно выясняешь: эта жажда милости и эта вера в милость никогда не покидает серых тюремных стен. Десятилетие за десятилетием разные потоки арестантов всегда ждали и всегда верили: то в амнистию, то в новый кодекс, то в общий пересмотр дел (и слухи всегда с умелой осторожностью поддерживались Органами). К сколько-нибудь кратной годовщине Октября, к ленинским годовщинам и к дням Победы, ко дню Красной армии или дню Парижской Коммуны, к каждой новой сессии ВЦИК, к закончанию каждой пятилетки, к каждому пленуму Верховного Суда — к чему только не приурочивало арестантское воображение это ожидаемое нисшествие ангела освобождения! И чем дичей были арестанты, чем гомеричнее, умоисступлённее широта арестантских потоков,— тем больше они рождали не трезвость, а веру в амнистию!

Все источники света можно в той или иной степени сравнивать с Солнцем. Солнце же не сравнимо ни с чем. Так и все ожидания в мире можно сравнивать с ожиданием амнистии, но ожидания амнистии нельзя сравнить ни с чем.

Весной 1945 года каждого новичка, приходящего в камеру, прежде всего спрашивали: что он слышал об амнистии? А если двоих-троих брали из камеры *с вещами*,— камерные знатоки тотчас же сопоставляли их дела и умозаключали, что это — самые

---

* Может быть только в XX веке, если верить рассказам, застоявшаяся их сытость привела к моральной изжоге.

лёгкие, их разумеется взяли освобождать. Началось! В уборной и в бане, арестантских почтовых отделениях, всюду наши активисты искали следов и записей об амнистии. И вдруг в знаменитом фиолетовом выходном вестибюле бутырской бани мы в начале июля прочли громадное пророчество мылом по фиолетовой поливанной плитке гораздо выше человеческой головы (становились значит друг другу на плечи, чтоб только дольше не стёрли):

«Ура!!! 17 июля амнистия!»*

Сколько ж у нас было ликования! («Ведь если б не знали точно — не написали бы!») Всё, что билось, пульсировало, переливалось в теле — останавливалось от удара радости, что вот откроется дверь . . .

Но — на милость разум нужен . . .

В середине же июля одного старика из нашей камеры коридорный надзиратель послал мыть уборную и там с глазу на глаз (при свидетелях бы он не решился) спросил, сочувственно глядя на седую голову: «По какой статье, отец?» — «По пятьдесят восьмой!» — обрадовался старик, по кому плакали дома три поколения.—«Не подпадаешь . . .»— вздохнул надзиратель. Ерунда! — решили в камере, — надзиратель просто неграмотный.

В той камере был молодой киевлянин Валентин (не помню фамилии) с большими по-женски прекрасными глазами, очень напуганный следствием. Он был безусловно провидец, может быть в тогдашнем возбуждённом состоянии только. Не однажды он проходил утром по камере и показывал: сегодня тебя и тебя возьмут, я видел во сне. И их брали! Именно их! Впрочем душа арестанта так склонна к мистике, что воспринимает провúдение почти без удивления.

27-го июля Валентин подошёл ко мне: «Александр! Сегодня мы с тобой.» И рассказал мне сон со всеми атрибутами тюремных снов: мостик через мутную речку, крест. Я стал собираться и не зря: после утреннего кипятка нас с ним вызвали. Камера провожала нас шумными добрыми пожеланиями, многие уверяли, что мы идём на волю (из сопоставления наших «лёгких дел» так получалось).

Ты можешь искренне не верить этому, не разрешать себе верить, ты можешь отбиваться насмешками, но пылающие клещи, горячее которых нет на земле, вдруг да обомнут, вдруг да обомнут твою душу: а если правда? . .

Собрали нас человек двадцать из разных камер и повели сначала в баню (на каждом жизненном изломе арестант прежде всего должен пройти баню). Мы имели там время, часа полтора, предаться догадкам и размышлениям. Потом распаренных, разнеженных — провели изумрудным садиком внутреннего бутырского двора, где оглушающе пели птицы (а скорее всего одни только

---

* И ведь ошиблись-то, сукины дети, всего на палочку! Подробней о великой сталинской амнистии 7 июля 1945 года — см. часть третью, главу 6.

воробьи), зелень же деревьев отвыкшему глазу казалась непереносимо яркой. Никогда мой глаз не воспринимал с такой силой зелень листьев, как в ту весну! И ничего в жизни не видел я более близкого к Божьему раю, чем этот бутырский садик, переход по асфальтовым дорожкам которого никогда не занимал больше тридцати секунд!*

Привели в бутырский *вокзал* (место приёма и отправки арестантов; название очень меткое, к тому ж и главный вестибюль там похож на хороший вокзал), загнали в просторный большой бокс. В нём был полумрак и чистый свежий воздух: его единственное маленькое окошко располагалось высоко и без намордника. А выходило оно в тот же солнечный садик, и через открытую фрамугу нас оглушал птичий щебет, и в просвете фрамуги качалась ярко-зелёная веточка, обещавшая всем нам свободу и дом. (Вот! И в боксе таком хорошем ни разу не сидели!— не случайно!)

А все мы числились за ОСО!?** И так выходило, что все сидели за безделку.

Три часа нас никто не трогал, никто не открывал двери. Мы ходили, ходили, ходили по боксу и, загонявшись, садились на плиточные скамьи. А веточка всё помахивала, всё помахивала за щелью, и осатанело перекликались воробьи.

Вдруг загрохотала дверь, и одного из нас, тихого бухгалтера лет тридцати пяти, вызвали. Он вышел. Дверь заперлась. Мы ещё усиленнее забегали в нашем ящике, нас выжигало.

Опять грохот. Вызвали другого, а того впустили. Мы кинулись к нему. Но это был не он! Жизнь лица его остановилась. Разверстые глаза его были слепы. Неверными движениями он шатко передвигался по гладкому полу бокса. Он был контужен? Его хлопнули гладильной доской?

— Что? Что?— замирая спрашивали мы. (Если он ещё не с электрического стула, то смертный приговор ему во всяком случае объявлен.) Голосом, сообщающим о конце Вселенной, бухгалтер выдавил:

— Пять!! Лет!!!

И опять загрохотала дверь — так быстро возвращались, будто водили по лёгкой надобности в уборную. Этот вернулся, сияя. Очевидно его освобождали.

— Ну? Ну?— столпились мы с вернувшейся надеждой. Он замахал рукой, давясь от смеха:

— Пятнадцать лет!

Это было слишком вздорно, чтобы так сразу поверить.

---

* Ещё один подобный садик, только поменьше, но зато интимнее, я много лет спустя, уже экскурсантом, видел в Трубецком бастионе Петропавловки. Экскурсанты охали от мрачности коридоров и камер, я же подумал, что имея *такой* прогулочный садик, узники Трубецкого бастиона не были потерянными людьми. *Нас* выводили гулять только в мёртвые каменные мешки.

** Особое СОвещание при ГПУ-НКВД.

Глава 7

В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ

В соседнем боксе бутырского «вокзала»— известном *шмональном* боксе (там обыскивались новопоступающие, и достаточный простор дозволял пяти-шести надзирателям обрабатывать в один загон до двадцати зэков) теперь никого не было, пустовали грубые шмональные столы, и лишь сбоку под лампочкой сидел за маленьким случайным столиком опрятный черноволосый майор НКВД. Терпеливая скука — вот было главное выражение его лица. Он зря терял время, пока зэков приводили и отводили по одному. Собрать подписи можно было гораздо быстрей.

Он показал мне на табуретку против себя через стол, осведомился о фамилии. Справа и слева от чернильницы перед ним лежали две стопочки белых одинаковых бумажёнок в половину машинописного листа — того формата, каким в домоуправлениях дают топливные справки, а в учреждениях — доверенности на покупку канцпринадлежностей. Пролистнув правую стопку, майор нашёл бумажку, относящуюся ко мне. Он вытащил её, прочёл равнодушной скороговоркой (я понял, что мне — восемь лет) и тотчас на обороте стал писать авторучкой, что текст объявлен мне сего числа.

Ни на пол-удара лишнего не стукнуло моё сердце — так это было обыденно. Неужели это и был мой приговор — решающий перелом жизни? Я хотел бы взволноваться, перечувствовать этот момент — и никак не мог. А майор уже пододвинул мне листок оборотной стороной. И семикопеечная ученическая ручка с плохим пером, с лохмотом, прихваченным из чернильницы, лежала передо мной.

— Нет, я должен прочесть сам.

— Неужели я буду вас обманывать?— лениво возразил майор.— Ну, прочтите.

И нехотя выпустил бумажку из руки. Я перевернул её и нарочно стал разглядывать медленно, не по словам даже, а по буквам. Отпечатано было на машинке, но не первый экземпляр был передо мной, а копия:

Выписка

из постановления ОСО НКВД СССР от 7 июля 1945 года*
№...

Затем пунктиром всё это было подчёркнуто и пунктиром же вертикально разгорожено:

....

* Заседали в самый день амнистии, работа не терпит.

Слушали:	Постановили:
Об обвинении такого-то (имярек, год рождения, место рождения).	Определить такому-то (имярек) за антисоветскую агитацию и попытку к созданию антисоветской организации 8 (восемь) лет исправительно-трудовых лагерей.
Копия верна.	Секретарь ....

И неужели я должен был просто подписать и молча уйти? Я взглянул на майора — не скажет ли он мне чего, не пояснит ли? Нет, он не собирался. Он уже надзирателю в дверях кивнул готовить следующего.

Чтоб хоть немного придать моменту значительность, я спросил его с трагизмом:

— Но ведь это ужасно! Восемь лет! За что?

И сам услышал, что слова мои звучат фальшиво: ужасного не ощущал ни я, ни он.

— Вот тут,— ещё раз показал мне майор, где расписаться.

Я расписался. Я просто не находил — что б ещё сделать?

— Но тогда разрешите, я напишу здесь у вас обжалование. Ведь приговор несправедлив.

— В установленном порядке,— механически подкивнул мне майор, кладя мою бумажёнку в левую стопку.

— Пройдите!— приказал мне надзиратель.

И я *прошёл*.

(Я оказался не находчив. Георгий Тэнно, которому, правда, принесли бумажку на двадцать пять лет, ответил так: «Ведь это пожизненно! В былые годы, когда человека осуждали пожизненно — били барабаны, созывали толпу. А тут как в ведомости за мыло — двадцать пять и откатывай!»

Арнольд Раппопорт взял ручку и вывел на обороте: «Категорически протестую против террористического незаконного приговора и требую немедленного освобождения». Объявляющий сперва терпеливо ждал, прочтя же — разгневался и порвал всю бумажку вместе с выпиской. Ничего, срок остался в силе: ведь это ж была копия.

А Вера Корнеева ждала пятнадцати лет и с восторгом увидела, что в бумажке пропечатано только пять. Она засмеялась своим светящимся смехом и поспешила расписаться, чтоб не отняли. Офицер усомнился: «Да вы поняли, что́ я вам прочёл?»—«Да, да, большое спасибо! Пять лет исправительно-трудовых лагерей!»

Яношу Рожашу, венгру, его десятилетний срок прочитали в коридоре на русском языке и не перевели. Расписавшись, он не понял, что это был приговор, долго потом ждал суда, ещё позже в лагере смутно вспомнил этот случай и догадался.)

Я вернулся в бокс с улыбкой. Странно, с каждой минутой я становился всё веселей и облегчённей. Все возвращались с *червонцами*, и Валентин тоже. Самый детский срок из нашей сегодняшней компании получил тот рехнувшийся бухгалтер (до сих пор он сидел невменяемый).

В брызгах солнца, в июльском ветерке всё так же весело покачивалась веточка за окном. Мы оживлённо болтали. Там и сям всё чаще возникал в боксе смех. Смеялись, что всё гладко сошло; смеялись над потрясённым бухгалтером; смеялись над нашими утренними надеждами и как нас провожали из камер, заказывали условные передачи — четыре картошины! два бублика!

— Да амнистия будет!— утверждали некоторые.— Это так, для формы, пугают, чтоб крепче помнили. Сталин сказал одному американскому корреспонденту . . .

— А как корреспондента фамилия?

— Фамилию не знаю . . .

Тут нам велели взять вещи, построили по двое и опять повели через тот же дивный садик, наполненный летом. И куда же? Опять в баню!

Это привело нас уже к раскатистому хохоту — ну и головотяпы! Хохоча, мы разделись, повесили одёжки наши на те же крючки, и их закатили в ту же прожарку, куда уже закатывали сегодня утром. Хохоча, получили по пластинке гладкого мыла и прошли в просторную гулкую мыльню смывать девичьи гульбы. Тут мы оплескивались, лили, лили на себя горячую чистую воду и так резвились, как если б это школьники пришли в баню после последнего экзамена. Этот очищающий, облегчающий смех был, я думаю, даже не болезненным, а живой защитой и спасением организма.

Вытираясь, Валентин говорил мне успокаивающе, уютно:

— Ну ничего, мы ещё молодые, ещё будем жить. Главное, не оступиться — теперь. В лагерь приедем — и ни слова ни с кем, чтобы нам новых сроков не мотали. Будем честно работать — и молчать, молчать.

И так он верил в эту программу, так надеялся, невинное зёрнышко промеж сталинских жерновов! Хотелось согласиться с ним, уютно отбыть срок, а потом вычеркнуть пережитое из головы.

Но я начинал ощущать в себе: если надо *не жить* для того, чтобы жить,— то и зачем тогда? . .

* * *

Нельзя сказать, чтоб ОСО придумали после революции. Ещё Екатерина II дала неугодному ей журналисту Новикову пятнадцать лет, можно сказать — по ОСО, ибо не отдавала его под суд. И все императоры по-отечески нет-нет да и высылали неугодных им без суда. В 60-х годах XIX века прошла коренная судебная реформа. Как будто и у властителей и у подданных стало вырабатываться

что-то вроде юридического взгляда на общество. Тем не менее и в 70-х и в 80-х годах Короленко прослеживал случаи административной расправы вместо судебного осуждения. Он и сам в 1876 году с ещё двумя студентами выслан без суда и следствия по распоряжению товарища министра государственных имуществ (типичный случай ОСО). Без суда же в другой раз он был сослан с братом в Глазов. Короленко называет Фёдора Богдана — ходока, дошедшего до самого царя и потом сосланного; Пьянкова, оправданного по суду, но сосланного по высочайшему повелению; ещё несколько человек.

Таким образом, традиция была, но слишком расхлябанная. И потом обезличка: к т о же был ОСО? То царь, то губернатор, то товарищ министра. И потом, простите, это не размах, если можно *перечислять* имена и случаи.

Размах начался с 20-х годов, когда для постоянного обмина суда были созданы постоянно же действующие *тройки*. Вначале это с гордостью даже выпирали — Тройка ГПУ! Имён заседателей не только не скрывали — рекламировали! Кто на Соловках не знал знаменитой московской тройки — Глеб Бокий, Вуль и Васильев?! Да и верно, слово-то какое — тройка! Тут немножко и бубенчики под дугою, разгул масленицы, а впереплёт с тем и загадочность: почему —«тройка»? что это значит? Суд — тоже ведь не четвёрка! а тройка — не суд! А пущая загадочность в том, что — заглазно. Мы там не были, не видели, нам только бумажка: распишитесь. Тройка ещё страшней ревтрибунала получилась. А затем она ещё обособилась, закуталась, заперлась в отдельной комнате, и фамилии спрятались. И так мы привыкли, что члены Тройки не пьют, не едят и среди людей не передвигаются. А уж как удалились однажды на совещание и — навсегда, лишь приговоры нам — через машинисток. (И — с возвратом: такой документ нельзя на руках оставлять.)

Тройки эти (мы на всякий случай пишем во множественном числе, как о божестве не знаешь никогда, где оно существует) отвечали возникшей неотступной потребности: однажды арестованных на волю не выпускать (ну, вроде отдела технического контроля при ГПУ: чтоб не было брака). И если уж оказался не виноват и судить его никак нельзя, так вот через Тройку пусть получит свои «минус тридцать два» (губернских города) или в ссылочку на два-три года, а уже смотришь — ушко и выстрижено, он уж навсегда помечен и теперь будет впредь «рецидивист».

(Да простит нас читатель: ведь мы опять сбились на этот правый оппортунизм — понятие «вины», виноват — не виноват. Ведь толковано ж нам, что *дело не в личной вине, а в социальной опасности:* можно и невиновного посадить, если социально-чуждый, можно и виноватого выпустить, если социально-близкий. Но простительно нам, без юридического образования, если сам Кодекс 1926 года, по которому, батюшке, мы двадцать пять лет жили, и тот критиковался за «недопустимый буржуазный подход», за «недоста-

точный классовый подход», за какое-то «буржуазное отвешивание наказания в меру тяжести содеянного».*

Увы, не нам достанется написать увлекательную историю этого Органа. Все ли годы своего существования Тройка ГПУ в своём заочном осуждении имела право давать также и расстрел (как известному князю-кадету Павлу Долгорукову в 1927, как Пальчинскому, фон Мекку и Величко в 1929). Применялись ли тройки только в случаях недостаточных доказательств, но явной социальной опасности личности?— или повольготнее того. И как затем в 1934 при печальном переназыве ОГПУ в НКВД стала Тройка в белокаменной называться Особым Совещанием, а тройки в областях — спецколлегиями областных судов, то бишь из трёх своих постоянных членов без всяких народных заседателей и всегда закрыто. А с лета 1937 добавили в областях и автономных республиках ещё и другие тройки — из секретаря обкома, начальника областного НКВД и областного прокурора. (А над этими новыми тройками в Москве возвышалась просто Двойка из народного комиссара внутренних дел и генерального прокурора СССР — согласитесь, неудобно же было звать Иосифа Виссарионовича заседать третьим?) Но с конца 1938 года как-то незаметно растаяли и эти тройки и эта Двойка (да ведь и Николай Ежов сковырнулся) — но тем более утвердилось родимое наше ОСО, переняв себе права заочного и бессудного взыскания — сперва до 10 лет, а затем и выше, а затем и до расстрела. И проблагодействовало родимое ОСО до самого 1953 года, когда оступился и наш Берия, благодетель.

19 лет оно просуществовало, а спроси: кто ж из наших крупных гордых деятелей туда входил; как часто и как долго оно заседало; с чаем ли, без чая и что к чаю; и как само это обсуждение шло — разговаривали при этом или даже не разговаривали? Не мы напишем — потому что не знаем. Мы наслышаны только, что сущность ОСО оставалась триединой, и хотя сейчас недоступно назвать усердных его заседателей, а известны те три органа, которые имели там своих постоянных делегатов: один — от ЦК, один — от МВД, один — от прокуратуры. Однако не будет чудом, если когда-нибудь мы узнаем, что не было никаких заседаний, а был штат опытных машинисток, составляющих выписки из несуществующих протоколов, и один управделами, руководивший машинистками. Вот машинистки — это точно были, за это ручаемся!

Нигде не упомянутое, ни в конституции, ни в кодексе, ОСО, однако, оказалось самой удобной котлетной машинкой — неупрямой, нетребовательной и не нуждающейся в смазке законами. Кодекс был сам по себе, а ОСО — само по себе и легко крутилось без всех его двухсот пяти статей, не пользуясь ими и не упоминая их.

* Сборник «От тюрем к воспитательным учреждениям». «Советское законодательство», М, 1934.

Как шутят в лагере: на *нет* и суда нет, а есть Особое Совещание.

Разумеется, для удобства оно тоже нуждалось в каком-то входном коде, но для этого оно само себе и выработало *литерные* статьи, очень облегчавшие оперирование (не надо голову ломать, подгонять к формулировкам кодекса), а по числу своему доступные памяти ребёнка (часть из них мы уже упоминали):

— **АСА** — АнтиСоветская Агитация;
— **НПГГ** — Нелегальный Переход Государственной Границы;
— **КРД** — КонтрРеволюционная Деятельность;
— **КРТД** — КонтрРеволюционная Троцкистская Деятельность (эта буквочка «т» очень потом утяжеляла жизнь зэка в лагере);
— **ПШ** — Подозрение в Шпионаже (шпионаж, выходящий за подозрение, передавался в трибунал);
— **СВПШ** — Связи, Ведущие (!) к Подозрению в Шпионаже;
— **КРМ** — КонтрРеволюционное Мышление;
— **ВАС** — Вынашивание АнтиСоветских настроений;
— **СОЭ** — Социально-Опасный Элемент;
— **СВЭ** — Социально-Вредный Элемент;
— **ПД** — Преступная Деятельность (её охотно давали бывшим лагерникам, если ни к чему больше придраться было нельзя);

и, наконец, очень ёмкая

— **ЧС** — Член Семьи (осуждённого по одной из предыдущих литер).

Не забудем, что литеры эти не рассеивались равномерно по людям и годам, а подобно статьям кодекса и пунктам Указов наступали внезапными эпидемиями.

И ещё оговоримся: ОСО вовсе не претендовало дать человеку *приговор!* — оно не давало приговора! — оно *накладывало административное взыскание,* вот и всё. Естественно ж было ему иметь и юридическую свободу!

Но хотя взыскание не претендовало стать судебным приговором, оно могло быть до двадцати пяти лет, до расстрела и включать в себя:

— лишение званий и наград;
— конфискацию всего имущества;
— закрытое тюремное заключение;
— лишение права переписки,—

и человек исчезал с лица земли ещё надёжнее, чем по примитивному судебному приговору.

Ещё важным преимуществом ОСО было то, что его постановления нельзя было обжаловать — некуда было жаловаться: не было никакой инстанции ни выше его, ни ниже его. Подчинялось оно только министру внутренних дел, Сталину и Сатане.

Большим достоинством ОСО была и быстрота: её лимитировала лишь техника машинописи.

Наконец, ОСО не только не нуждалось видеть обвиняемого в глаза (тем разгружая межтюремный транспорт), но даже не требовало и фотографии его. В период большой загрузки тюрем тут было ещё то удобство, что заключённый, окончив следствие, мог не занимать собою места на тюремном полу, не есть дарового хлеба, а сразу — быть направляем в лагерь и честно там трудиться. Прочесть же копию выписки он мог и гораздо позже.

В льготных случаях бывало так, что заключённых выгружали из вагонов на станции назначения; тут же, близ полотна, ставили на колени (это — от побега, но получалось — для молитвы ОСО) и тотчас же прочитывали им приговоры. Бывало иначе: приходящие в Переборы в 1938 году этапы не знали ни своих статей, ни сроков, но встречавший их писарь уже знал и тут же находил в списке: СВЭ —5 лет.

А другие и в лагере по многу месяцев работали, не зная приговоров. После этого (рассказывает И. Добряк) их торжественно построили — да не когда-нибудь, а в день 1 мая 1938 года, когда красные флаги висели,— и объявили приговоры тройки по Сталинской области: от десяти до двадцати лет каждому. А мой лагерный бригадир Синебрюхов в том же 1938 с целым эшелоном неосуждённых отправлен был из Челябинска в Череповец. Шли месяцы, зэки там работали. Вдруг зимою, в выходной день (замечаете, в какие дни-то? выгода ОСО в чём?) в трескучий мороз их выгнали во двор, построили, вышел приезжий лейтенант и представился, что прислан объявить им постановление ОСО. Но парень он оказался не злой, покосился на их худую обувь, на солнце в морозных столбах и сказал так:

— А впрочем, ребята, чего вам тут мёрзнуть? Знайте: всем вам дало ОСО по десять лет, это редко-редко кому по восемь. Понятно? Р-разой-дись! . .

* * *

Но при такой откровенной машинности Особого Совещания — зачем ещё суды? Зачем конка, когда есть бесшумный современный трамвай, из которого не выпрыгнешь? Кормление судейских?

А просто неприлично государству совсем не иметь судов. В 1919 году VIII съезд партии записал в программе: стремиться, чтобы *всё трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей*. «Всё поголовно» привлечь не удалось, судейское дело тонкое, но и не без суда же вовсе!

Впрочем, наши политические суды — спецколлегии областных судов, военные трибуналы округов, ну и все Верховные — дружно тянутся за ОСО, они тоже не погрязли в гласном судопроизводстве и прениях сторон.

Первая и главная их черта — закрытость. Они прежде всего закрыты — для своего удобства.

И мы так уже привыкли к тому, что миллионы и миллионы людей осуждены в закрытых заседаниях, мы настолько сжились

с этим, что иной замороченный сын, брат или племянник осуждённого ещё и фыркает тебе с убеждённостью: «А как же ты хотел? Значит, *касается* дело ... Враги узнают! Нельзя ...»

Так, боясь, что «враги узнают», и заколачиваем мы свою голову между собственных колен. Кто теперь в нашем отечестве, кроме книжных червей, помнит, что Каракозову, стрелявшему в царя, дали защитника? Что Желябова и всех народовольцев судили гласно, совсем не боясь, «что турки узнают»? Что Веру Засулич, стрелявшую, если переводить на наши термины, в начальника столичного управления МВД (и ранившую его только что не смертельно, не так попала, а калибр пули был медвежий) — не только не уничтожили в застенках, не только не судили закрыто, но в открытом суде её о п р а в д а л и присяжные заседатели (не тройка) — и она с уличным триумфом уехала в карете?

Этими сравнениями я не хочу сказать, что в России когда-то был совершенный суд. Вероятно, достойный суд есть самый поздний плод самого зрелого общества, либо уж надо иметь царя Соломона. Владимир Даль отмечает, что в дореформенной России «не было ни одной пословицы в похвалу судам»! Это что-нибудь значит. Да и в похвалу земским начальникам тоже ни одной пословицы сложить не успели. Но судебная реформа 1864 года всё же ставила хоть городскую часть нашего общества на путь, ведущий к английским образцам.

Говоря всё это, я не забываю и высказанного Достоевским против наших судов присяжных («Дневник писателя»): о злоупотреблении адвокатским красноречием («Господа присяжные! да какая б это была женщина, если б она не зарезала соперницы?.. Господа присяжные! да кто б из вас не выбросил ребёнка из окна?..»), о том, что у присяжных минутный импульс может перевесить гражданскую ответственность.* Но Достоевский опасся не того, чего надо было опасаться! Он считал гласный суд уже достигнутым навсегда!.. (Да кто из его современников мог поверить в ОСО?..) В другом месте пишет и он: «лучше ошибиться в милосердии, чем в казни». О, да, да!

Злоупотребление красноречием есть болезнь не только становящегося суда, но и шире — ставшей уже демократии (ставшей, но и успевшей утерять свои нравственные цели). Та же Англия даёт нам примеры, как для перевеса своей партии лидер оппозиции не стесняется приписывать правительству худшее положение дел в стране, чем оно есть на самом деле.

Злоупотребление красноречием — это худо. Но какое же слово тогда применим для злоупотребления закрытостью? Мечтал Достоевский о таком суде, где всё нужное в *защиту* обвиняемого выскажет прокурор. Это сколько ж нам веков ещё ждать? Наш общественный опыт пока неизмеримо обогатил нас такими адвока-

---

* Мы это видим порой на современном Западе и не можем восхититься. Именно этого опасался Достоевский, душой уйдя далеко вперёд от нашей тогдашней жизни.

тами, которые *обвиняют* подсудимого («как честный советский человек, как истинный патриот, я не могу не испытывать отвращения при разборе этих злодеяний . . .»).

А как хорошо в закрытом заседании! Мантия не нужна, можно и рукава засучить. Как легко работать!— ни микрофонов, ни корреспондентов, ни публики. (Нет, отчего, публика бывает, но: следователи. Например, в Леноблсуд они приходили днём послушать, как ведут себя их питомцы, а ночью потом навещали в тюрьме тех, кого надо было *усовестить.)**

Вторая главная черта наших политических судов — определённость в работе. То есть предрешённость приговоров.

Всё тот же сборник «От тюрем . . .» навязывает нам материал: что предрешённость приговоров — дело давнее, что и в 1924-29 годах приговоры судов регулировались единым административно-экономическими соображениями. Что начиная с 1924 года из-за безработицы в стране суды уменьшили число приговоров к исправтрудработам с проживанием на дому и увеличили краткосрочные тюремные приговоры (речь, конечно, о бытовиках). От этого произошло переполнение тюрем краткосрочниками (до 6 месяцев) и недостаточное использование их на работе в колониях. В начале 1929 Наркомюст СССР циркуляром № 5 осудил вынесение краткосрочных приговоров, а 6. 11. 29 (в канун двенадцатой годовщины Октября и вступая в строительство социализма) постановлением ЦИК и СНК было уже просто запрещено давать срок менее одного года!

Судья заранее знает — или по твоему делу конкретно, или в виде общей инструкции — какой приговор желателен. (Да ведь и телефон обычно есть в судейской комнате!) Даже, по образцу ОСО, бывают и приговоры все заранее отпечатаны на машинке, и только фамилии потом вносятся от руки. И если какой-нибудь Страхович вскричит в судебном заседании: «Да не мог же я быть завербован Игнатовским, когда мне было отроду десять лет!»— так председателю (трибунал ЛВО, 1942) только гаркнуть: «Не клевещите на советскую разведку!» Уже всё давно решено: всей группе Игнатовского вкруговую — расстрел. И только примешался в группу какой-то Липов: из группы *никто его не знает, и он никого не знает.* Ну, так Липову — десять лет, ладно.

Предрешённость приговоров — насколько ж она облегчает тернистую жизнь судьи! Тут не столько даже облегчение ума — думать не надо, сколько облегчение моральное: ты не терзаешься, что вот ошибёшься в приговоре и осиротишь собственных своих детишек. И даже такого заядлого судью-убийцу как Ульриха — какой крупный расстрел не его ртом произнесен?— предрешённость располагает к добродушию. Вот в 1945 Военная Коллегия разбирает дело «эстонских сепаратистов». Председательствует низенький плотненький добродушный Ульрих. Он не пропускает случая пошутить не только с коллегами, но и с заключёнными (ведь это человечность и есть! новая черта, где это видано?). Узнав, что Сузи — адвокат, он ему с улыбкой: «Вот и пригодилась вам ваша профессия!» Ну, что в самом деле им делить? зачем озлобляться?

---

* Группа Ч-на.

Суд идёт по приятному распорядку: прямо тут за судейским столом и курят, в приятное время — хороший обеденный перерыв. А к вечеру подошло — надо идти *совещаться*. Да кто ж совещается ночью? Заключённых оставили сидеть всю ночь за столами, а сами поехали по домам. Утром пришли свеженькие, выбритые, в девять утра: «Встать, суд идёт!» — и всем по *червонцу*.

Ну, и наконец, третья черта наших судов — это *диалектика* (а раньше грубо называлось: «дышло, куда повернёшь, туда и вышло»). Кодекс не должен быть застывшим камнем на пути судьи. Статьям кодекса уже десять, пятнадцать, двадцать лет быстротекущей жизни и, как говорил Фауст:

Весь мир меняется, несётся всё вперёд,
А я нарушить слова не посмею?

Все статьи обросли истолкованиями, указаниями, инструкциями. Если деяние обвиняемого не охватывается кодексом, так можно осуждать ещё:

— по *аналогии* (какие возможности!);
— просто за *происхождение* (7-35, принадлежность к социально-опасной среде);
— за *связь с опасными лицами** (вот где широта! какое лицо опасно и в чём связь — это лишь судье видно).

Только не надо придираться к чёткости издаваемых законов. Вот 13 января 1950 вышел указ о возврате смертной казни (надо думать, из подвалов Берии она и не уходила). Написано: можно казнить *подрывников-диверсантов*. Что это значит? Не сказано. Иосиф Виссарионович любит так: не досказать, намекнуть. Здесь только ли о том, кто толовой шашкой подрывает рельсы? Не написано. «Диверсант» мы знаем давно: кто выпустил недоброкачественную продукцию — тот и диверсант. А кто такой «подрывник»? Например, если разговорами в трамвае *подрывал* авторитет правительства? Или замуж вышла за иностранца — разве она не *подорвала* величия нашей родины? . .

Да не судья судит — судья только зарплату получает, судит инструкция! Инструкция 37-го года: **десять — двадцать — расстрел**. Инструкция 43-го: **двадцать каторги — повешение.** Инструкция 45-го: всем вкруговую по **десять плюс пять лишения прав** (рабочая сила на три пятилетки).** Инструкция 49-го: всем по **двадцать пять** вкруговую. (И так настоящий шпион — Шульц, Берлин, 1948 — мог получить 10 лет, а никогда им не бывший Гюнтер Вашкау — двадцать пять. Потому что — волна, 1949 год.)

---

* Этого мы не знали. Это нам газета «Известия» рассказала в июле 1957 года.

** Как Бабаев им крикнул, правда бытовик: «Да н а м о р д н и к а мне хоть триста лет вешайте! И до смерти за вас руки не подыму, благодетели!» (Здесь «намордник» — лишение политических прав.)

Машина штампует. Однажды арестованный лишён всех прав уже при обрезании пуговиц на пороге ГБ и не может избежать срока. И юридические *работники* так привыкли к этому, что оскандалились в 1958 году: напечатали в газетах проект новых «Основ уголовного производства СССР» и в нём з а б ы л и дать пункт о возможном содержании оправдательного приговора! Правительственная газета («Известия», 10 сентября 1958) мягко выговорила: *«Может создаться впечатление,* что наши суды выносят только обвинительные приговоры.»

А стать на сторону юристов: почему, собственно, суд должен иметь два исхода, если всеобщие *выборы* производятся из *одного* кандидата? Да оправдательный приговор это же экономическая бессмыслица! Ведь это значит, что и осведомители, и оперативники, и следствие, и прокуратура, и внутренняя охрана тюрьмы, и конвой — все проработали вхолостую!

Вот одно простое и типичное трибунальское дело. В 1941 году в наших бездействующих войсках, стоявших в Монголии, оперчекистские отделы должны были проявить активность и бдительность. Военфельдшер Лозовский, имевший повод приревновать какую-то женщину к лейтенанту Павлу Чульпенёву, это сообразил. Он задал Чульпенёву, с глазу на глаз, три вопроса: 1. Как ты думаешь — почему мы отступаем перед немцами? (Чульпенёв: техники у него больше, да и отмобилизовался раньше. Лозовский: нет, это манёвр, мы его заманиваем.) 2. Ты веришь в помощь союзников? (Чульпенёв: верю, что помогут, но не бескорыстно. Лозовский: обманут, не помогут ничуть.) 3. Почему Северо-Западным фронтом послан командовать Ворошилов?

Чульпенёв ответил и забыл. А Лозовский написал донос. Чульпенёв вызван в политотдел дивизии и исключён из комсомола: за пораженческие настроения, за восхваление немецкой техники, за умаление стратегии нашего командования. Больше всего при этом ораторствует комсорг Калягин (он на Халхин-Голе при Чульпенёве проявил себя трусом, и теперь ему удобно навсегда убрать свидетеля).

Арест. Единственная очная ставка с Лозовским. Их прежний разговор и не обсуждается следователем. Вопрос только: знаете ли вы этого человека?— Да.— Свидетель, можете идти. (Следователь боится, что обвинение развалится.)*

Подавленный месячным сидением в яме, Чульпенёв предстаёт перед трибуналом 36-й мотодивизии. Присутствуют: комиссар дивизии Лебедев, начальник политотдела Слесарев. Свидетель Лозовский на суд даже не вызван. (Однако для оформления ложных показаний уже после суда возьмут подпись и с Лозовского

* Лозовский теперь кандидат медицинских наук, живёт в Москве, у него всё благополучно. Чульпенёв — водитель троллейбуса.

и с комиссара Серёгина.) Вопросы суда: был у вас разговор с Лозовским? о чём он вас спрашивал? как вы ответили? Чульпенёв простодушно докладывает, он всё ещё не видит своей вины. «Но ведь многие ж разговаривают!» — наивно восклицает он. Суд отзывчив: «Кто именно? Назовите.» Но Чульпенёв не из их породы! Ему дают последнее слово. «Прошу суд ещё раз проверить мой патриотизм, дать мне задание, связанное со смертью!» И, простосердечный богатырь: «Мне — и тому, кто меня оклеветал, нам вместе!»

Э, нет, эти рыцарские замашки мы имеем задание в народе убивать. Лозовский должен выдавать порошки, Серёгин должен воспитывать бойцов.* И разве важно — умрёшь ты или не умрёшь? Важно, что *мы* стояли на страже. Вышли, покурили, вернулись: десять лет и три лишения прав.

Таких дел в каждой дивизии за войну было не десять (иначе дороговато было бы содержать трибунал). А сколько всего дивизий — пусть посчитает читатель.

...Удручающе похожи друг на друга заседания трибуналов. Удручающе безлики и бесчувственны судьи — резиновые перчатки. Приговоры — все с конвейера.

Все держат серьёзный вид, но все понимают, что это — балаган, и яснее всего это — конвойным ребятам, попроще. На новосибирской пересылке в 1945 конвой принимает арестантов перекличкой по *делам*. «Такой-то!— «58-1-а, двадцать пять лет.» Начальник конвоя заинтересовался: «За что дали?» — «Да ни за что.» — «Врёшь. *Ни за что — десять дают!*».

Когда трибунал торопится, «совещание» занимает одну минуту — выйти и войти. Когда рабочий день трибунала по 16 часов подряд — в дверь совещательной комнаты видна белая скатерть, накрытый стол, вазы с фруктами. Если не очень спешат — приговор любят читать «с психологией»: «...приговорить к высшей мере наказания!..» Пауза. Судья смотрит осуждённому в глаза, это интересно: как он переживает? что он там сейчас чувствует? «...Но, учитывая чистосердечное раскаяние...»

Все стены трибунальской ожидальни исцарапаны гвоздями и карандашами: «получил расстрел», «получил четвертную», «получил десятку». Надписей не стирают: это назидательно. Бойся, клонись и не думай, что ты можешь что-нибудь изменить своим поведением. Хоть демосфенову речь произнеси в своё оправдание в пустом зале при кучке следователей (Ольга Слиозберг на ВерхСуде, 1938) — это нисколько тебе не поможет. Вот поднять с десятки на расстрел — это ты можешь; вот если крикнешь им: «Вы — фашисты! Я стыжусь, что несколько лет состоял в вашей партии!» (Николай Семёнович Даскаль — спецколлегии Азово-Черноморского края, председатель Хелик, Майкоп, 1937) — тогда мотанут новое дело, тогда погубят.

---

* Серёгин Виктор Андреевич сейчас в Москве, работает в комбинате бытового обслуживания при Моссовете. Живёт хорошо.

Чавдаров рассказывает случай, когда на суде обвиняемые вдруг отказались от всех своих ложных признаний на следствии. Что ж? Если и была заминка для перегляда, то только несколько секунд. Прокурор потребовал перерыва, не объясняя, зачем. Из следственной тюрьмы примчались следователи и их подсобники-молотобойцы. Всех подсудимых, разведенных по боксам, снова хорошо избили, обещая на втором перерыве добить. Перерыв окончился. Судья заново всех опросил — и все теперь признали.

Выдающуюся ловкость проявил Александр Григорьевич Каретников, директор научно-исследовательского текстильного института. Перед самым тем, как должно было открыться заседание Военной Коллегии Верховного Суда (а почему для гражданских, невоеннообязанных,— всё трибунал да Военная Коллегия? этому мы уже и удивляться перестали, не спрашиваем),— он заявил через охрану, что хочет дать *дополнительные* показания. Это, конечно, заинтересовало. Его принял прокурор. Каретников обнажил ему свою гниющую ключицу, перебитую табуреткой следователя, и заявил: «Я всё подписал под пытками.» Уж прокурор проклинал себя за жадность к «дополнительным» показаниям, но поздно. Каждый из них бестрепетен лишь пока он — незамечаемая часть общей действующей машины. Но как только на нём сосредоточилась личная ответственность, луч света упёрся прямо в него — он бледнеет, он понимает, что и он — ничто, и он может поскользнуться на любой корке. Так Каретников поймал прокурора, и тот не решился притушить дело. Началось заседание Военной Коллегии, Каретников повторил всё и там... Вот когда Военная Коллегия ушла действительно совещаться! Но приговор она могла вынести только оправдательный и, значит, тут же освободить Каретникова. И поэтому... не вынесла н и к а к о г о!

Как ни в чём не бывало, взяли Каретникова опять в тюрьму, подлечили его, подержали три месяца. Пришёл новый следователь, очень вежливый, выписал новый ордер на арест (если б Коллегия не кривила, хоть эти три месяца Каретников мог бы погулять на воле!), задал снова вопросы первого следователя. Каретников, предчувствуя свободу, держался стойко и ни в чём не признавал себя виноватым. И что же?.. По ОСО он получил 8 лет.

Этот пример достаточно показывает возможности арестанта и возможности ОСО. А Державин так писал:

> Пристрастный суд разбоя злее,
> Судьи враги, где спит закон:
> Пред вами гражданина шея
> Протянута без оборон.

Но редко у Военной Коллегии Верховного Суда случались такие неприятности, да и вообще редко она протирала свои мутные глаза, чтобы взглянуть на отдельного оловянного арестантика. А. Д. Романов, инженер-электрик, в 1937 был втащен наверх, на четвёртый

этаж, бегом по лестнице двумя конвоирами под руки (лифт вероятно работал, но арестанты сыпали так часто, что тогда и сотрудникам бы не подняться). Разминуясь со встречным, уже осуждённым, вбежали в зал. Военная Коллегия так торопилась, что даже не сидели, а стояли все трое. С трудом отдышавшись (ведь обессилел от долгого следствия), Романов вымолвил свою фамилию, имя-отчество. Что-то бормотнули, переглянулись, и Ульрих — всё он же!— объявил: «Двадцать лет!» И прочь бегом поволокли Романова, бегом втащили следующего.

Случилось, как во сне: в феврале 1963 по той же самой лестнице (нарочно отказался от лифта, чтобы рассмотреть лестницу), но в вежливом сопровождении полковника-парторга, пришлось подняться и мне. Ото всего Архипелага — мне единственному, судьба! И в зале с круглою колоннадой, где, говорят, заседает пленум Верховного Суда Союза, с огромным подковообразным столом и внутри него ещё с круглым и семью старинными стульями, меня слушали семьдесят сотрудников Военной Коллегии — вот той самой, которая судила когда-то Каретникова и Романова и других, и прочее, и так далее... И я сказал им: «Что за знаменательный день! Будучи осуждён сперва на лагерь, потом на вечную ссылку — я никогда в глаза не видел ни одного судьи. И вот теперь я вижу вас всех, собранных вместе!» (И они-то видели живого зэка протёртыми глазами — впервые.)

Но, оказывается, это были — не они! Да. Теперь говорили они, что — это были не они. Уверяли меня, что *тех* — уже нет. Некоторые ушли на почётную пенсию, кого-то сняли. (Ульрих, выдающийся из палачей, был снят, оказывается, ещё при Сталине, в 1950 году за... бесхребетность!) Кое-кого (наперечёт нескольких) даже судили при Хрущёве, и те со скамьи подсудимых угрожали: «Сегодня ты нас судишь, а завтра мы тебя, смотри!» Но как все начинания Хрущёва, это движение, сперва очень энергичное, было им вскоре забыто, покинуто и не дошло до черты необратимого изменения, а значит, осталось в области прежней.

В несколько голосов ветераны юриспруденции теперь вспоминали, подбрасывая мне невольно материал для этой главы. (А если б они взялись вспомнить да опубликовать? Но годы идут, вот ещё пять прошло, а светлее не стало.*) Вспомнили, как на судебных совещаниях с трибуны судьи гордились тем, что удалось не применять статью 51-ю УК о смягчающих обстоятельствах и таким образом удалось давать двадцать пять вместо десятки! Или как были унижены *суды подчинены Органам!* Некоему судье поступило на суд дело: гражданин, вернувшийся из Соединённых Штатов, клеветнически утверждал, что там хорошие автомобиль-

* А ещё десять прошло — и снова какая ж хмарь непроглядная! (1978)

ные дороги. И больше ничего. И в деле — больше ничего! Судья отважился вернуть дело на доследование с целью получения «полноценного антисоветского материала» — то есть, чтобы заключённого этого попытали и побили. Но эту благую цель судьи не учли, отвечено было с гневом: «Вы что, нашим Органам не доверяете?» — и судья был... сослан секретарём трибунала на Сахалин! (При Хрущёве было мягче: «провинившихся» судей посылали... ну, куда б вы думали?.. адвокатами!*) Так же склонялась перед Органами и прокуратура. Когда в 1942 году вопиюще разгласилось злоупотребление Рюмина в северо-морской контрразведке, прокуратура не посмела вмешаться своею властью, а лишь почтительно доложила Абакумову, что его мальчики шалят. Было отчего Абакумову считать Органы солью земли! (Тогда-то, вызвав Рюмина, он его и возвысил на свою погибель.)

Просто времени не было, они бы мне рассказали и вдесятеро. Но задумаешься и над этим. Если и суд и прокуратура были только пешками министра госбезопасности — так может и отдельною главою их не надо описывать?

Они рассказывали мне наперебой, я оглядывался и удивлялся: да это люди! вполне люди! Вот они улыбаются! Вот они искренно изъясняют, как хотели только хорошего. Ну, а если так повернётся ещё, что опять придётся им меня судить? — вот в этом зале (мне показывают главный зал).

Так что ж, и осудят.

Кто ж у истока — курица или яйцо? люди или система?

Несколько веков была у нас пословица: не бойся закона — бойся судьи.

Но, мне кажется, Закон перешагнул уже через людей, люди отстали в жестокости. И пора эту пословицу вывернуть: не бойся судьи — бойся закона.

Абакумовского, конечно.

Вот они выходят на трибуну, обсуждая «Ивана Денисовича». Вот они обрадованно говорят, что книга эта облегчила их совесть (так и говорят...). Признают, что я дал картину ещё очень смягчённую, что *каждый* из них знает более тяжёлые лагеря. (Так — ведали?..) Из семидесяти человек, сидящих по подкове, несколько выступающих оказываются сведущими в литературе, даже читателями «Нового мира», они жаждут реформ, живо судят о наших общественных язвах, о запущенности деревни...

Я сижу и думаю: если первая крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба — что́ же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадами?

А — обрушится, ведь не миновать.

---

* «Известия» от 9.6.64. Тут интересен взгляд на судебную защиту!.. А в 1918 судей, выносящих слишком мягкие приговоры, В. И. Ленин требовал исключать из партии.

Глава 8

ЗАКОН-РЕБЁНОК

Мы — всё забываем. Мы помним не быль, не историю,— а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением.

Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа — да. Обидное свойство. Может быть, оно и от доброты, а — обидное. Оно отдаёт нас добычею лжецам.

Так, если не надо, чтоб мы помнили даже гласные судебные процессы,— то мы их и не помним. Вслух делалось, в газетах писалось, но не вдолбили нам ямкой в мозгу — и мы не помним. (Ямка в мозгу лишь от того, чтó каждый день по радио.) Не о молодёжи говорю, она конечно не знает, но — о современниках тех процессов. Попросите среднего человека перечислить, какие были громкие гласные суды,— вспомнит бухаринский, зиновьевский. Ещё поднаморщась — Промпартию. Всё, больше не было гласных процессов.

Что ж сказать тогда о негласных?.. Уже в 1918 сколько барабанило трибуналов! — когда не было ещё ни законов, ни кодексов, и сверяться могли судьи только с нуждами рабоче-крестьянской власти. Их подробная история ещё когда-нибудь кем-нибудь напишется ли?

Однако без малого обзора нам не обойтись. Какие-то обугленные развалины мы всё ж обязаны расщупать и в том утреннем розовом нежном тумане.

В те динамичные годы не ржавели в ножнах сабли войны, но и не пристывали к кобурам револьверы кары. Это позже придумали прятать расстрелы в ночах, в подвалах и стрелять в затылок. А в 1918 известный рязанский чекист Стельмах расстреливал днём, во дворе, и так, что ожидающие смертники могли наблюдать из тюремных окон.

Был официальный термин тогда: *внесудебная расправа*. Не потому, что не было ещё судов, а потому, что была ЧК.

Этого птеица с твердеющим клювом отогревал своим дыханием Троцкий: «Устрашение является могущественным средством политнки, и иадо быть хаижой, чтобы этого не поимать.» И Зииовьев ликовал, ещё ие предвидя своего коица: «Буквы ГПУ, как н буквы ВЧК, самые популяриые в мировом масштабе.»

Внесудебная, потому что так эффективнее. Суды были и судили, и казнили, но надо помнить, что параллельно им и независимо от них шла сама собой внесудебная расправа. Как представить

размеры её? М. Лацис в своём популярном обзоре деятельности ЧК даёт нам цифры* только за полтора года (1918 и половина 1919) и только по двадцати губерниям центральной России («цифры, представленные здесь, *далеко не полны*», отчасти может быть и по чекистской скромности). Вот они: расстрелянных ЧК (то есть бессудно, помимо судов) — 8389 человек (восемь тысяч триста восемьдесят девять), раскрыто контрреволюционных организаций — 412 (фантастическая цифра, зная всегдашнюю неспособность нашу к организации, да ещё общую разрозненность и упадок духа тех лет), всего арестовано — 87 тысяч. (А эта цифра отдаёт преуменьшением.)

С чем можно было бы сопоставить для оценки? В 1907 группа общественных деятелей издала сборник статей «Против смертной казни» (под ред. Гернета), где приводится поимённый перечень всех приговорённых к казни с 1826 по 1906. Составители оговариваются, что этот список неполон (однако, не ущербнее же данных Лациса, составленных в гражданскую войну). Он насчитывает 1397 имён, отсюда должны быть исключены 233 человека, которым приговор был заменён, и 270 человек не разысканных (в основном — польских повстанцев, бежавших на Запад). Остаётся 894 человека. Эта цифра за 80 лет оказывается в 255 раз жиже чекистской!— а чекистская ещё дана меньше, чем по половине губерний (обильные расстрелы на Северном Кавказе, Нижней Волге сюда не вошли). Правда, составители сборника тут же приводят и другую, *предположительную* (и скорей всего натянутую в желаемом направлении) статистику, по которой приговорено к смерти (может быть и не казнено, ведь было много помилований) за один лишь 1906 год —1310 человек. Это — как раз разгар пресловутой столыпинской реакции (в ответ на разлив революционного террора), и о нём есть ещё цифра: 950 казней за 6 месяцев.** (Всего 6 месяцев они и действовали, столыпинские военно-полевые суды.) Жутко звучит, но для укрепившихся наших нервов не вытягивает и она: чекистскую-то цифирку на полгода пересчитав, всё равно получим *втрое гуще* — да это ещё по 20 губерниям, да это ещё б е з с у д о в, б е з т р и б у н а л о в.

А — суды?

А как же! В месяц после Октябрьской революции были созданы и суды — во-первых, *народные суды*, свободно избираемые рабочими и крестьянами,— но чтоб судьи обязательно имели «политический опыт в пролетарских организациях партии» и после «предварительной тщательной проверки соответствия кандидатов своему назначению» исполкомами райсоветов, кеми и отозваны могут быть в любое время. (Декрет о Суде № 1, 24 ноября 1917, ст. ст. 12 и 13.) А коль скоро так — то и стали народных судей не выбирать

---

* М. Я. Лацис (Судрабс). «Два года борьбы на внутреннем фронте». ГИЗ, М, 1920, стр.74-76

** Журнал «Былое», № 2/14, СПб, 1907, стр. 80

всенародно, а просто назначать исполкомами Советов,— что одно и то же, поскольку Советы, как известно, и выражают интересы трудящихся масс.

Во-вторых, и даже опять во-первых, тем же декретом 24 ноября 1917 были учреждены *рабочие и крестьянские Революционные Трибуналы*, начиная от волостных и уездных. Эти задуманы были как орган пролетарской диктатуры, и как-то само так получилось, что Революционные Трибуналы мгновенно и возникли повсюду, а народные суды ещё потом многие месяцы не появлялись, особенно в глухих углах. Итак, революционные трибуналы взяли на себя все дела, включая уголовные.

Но успокоим, что не так была велика и разница между народными судами и трибуналами: когда позже, в 1919, появятся начала уголовного права РСФСР, там характеристика тех и других судов почти совпадёт: и для тех и для других нет никаких пределов применяемых наказаний, и те и другие должны иметь безусловно свободные руки: закон не устанавливает никаких карательных санкций, и за судами полная свобода в выборе репрессий, неограниченное право в применении их (если лишение свободы, то можно — на неопределённый срок, то есть до особого распоряжения). Народный суд, точно так же, как и ревтрибунал, руководствуется лишь революционным правосознанием и революционной совестью. Приговоры как тех, так и других судов — окончательные и не подлежат никакому обжалованию ни в какой инстанции. Народные суды, как и Революционные Трибуналы, не связаны в своей деятельности никакими формальными условиями, единственным мерилом оценки является степень того вреда, который принесен действиями подсудимого интересам революционной борьбы, приговор определяется целесообразностью в интересах обороны и трудового строительства. (Поначалу ревтрибуналы имели даже заседателей, назначаемых местными советами, но затем обрели свою более чёткую форму постоянной тройки, но так, чтоб один член тройки выделялся местной коллегией губчека — и так осуществлялась бы на всех этажах живая спайка между ревтрибуналами и ЧК.)

4 мая 1918 был декрет о создании Верховного Революционного Трибунала при ВЦИК — и тогда полагали, что это — завершение трибуналостроительства. Но, о, как ещё было до этого далеко!

Ещё оказалось необходимо создать, для поддержания деятельности железных дорог, единую для всей страны систему *Революционных железнодорожных Трибуналов*.

Затем — единую систему *Революционных Трибуналов войск Внутренней Охраны*.

В 1918 году все эти системы уже действовали дружно, не давая на территории РСФСР никакого убежища преступлению и проступку против революционной борьбы масс,— однако зоркий глаз товарища Троцкого увидел несовершенство этой полноты — и 14 октября 1918 он подписал приказ о сформировании ещё новой системы *Революционных Военных Трибуналов*.

Всецело занятый заботами Реввоенсовета Республики и спасением Республики от внешних врагов, этот наш вождь и вдохновитель не добавил более подробной разработки своего замысла — но зато исключительно удачно выбрал председателя центрального Революционного Военного Трибунала Республики — в лице товарища Данишевского, который не только блистательно создал и развил всю систему этих ещё новых трибуналов, но и написал теоретическое обоснование их в виде отдельной брошюры*. Один экземпляр брошюры чудом перехранился и попал в наши руки. Правда, на брошюре стоит гриф «секретно»— но за давностью лет быть может простится мне некоторая оттуда разгласка (вышесказанное о судах тоже взято оттуда).

Сразу после Октября, в духе его лозунгов и как уже заведено было в армии с Февраля, предполагалось, что в Красной Армии будут действовать выборные полковые и дивизионные суды. Но демократической деятельностью их не успели насладиться — и вскоре от них вообще отказались. Всё равно повсюду самочинно возникали военно-полевые суды, тройки, а само собой действовали (расстреливали) фронтовые органы ВЧК и само собой — органы контрразведки, предшественники Особых Отделов. В те жестокие для Республики месяцы, когда товарищ Троцкий сказал во ВЦИК: «Мы, сыны рабочего класса, заключили договор со смертью, а стало быть и с победой»,— потребовалось заставить всех и каждого подтянуться и исполнить свой долг.

«Революционные Военные Трибуналы — это в первую очередь органы уничтожения, изоляции, обезвреження и терроризирования врагов Рабоче-Крестьянского отечества и только во вторую очередь — это суды, устанавливающие степень виновности данного субъекта» (стр.5). «Революционные Военные Трибуналы — ещё более чрезвычайные, чем революционные трибуналы, которые врезались в общую стройную систему единого народного суда» (стр.6).

Неужели —«ещё более чрезвычайные»? Дух захватывает, сперва даже не верится: что же может быть чрезвычайнее ревтрибунала? Заслуженный деятель их, куратор многих приговоров тех лет, поясняет нам:

«Рядом с органами судебными должны существовать органы, если хотите, судебной расправы» (стр.8).

Теперь читатель различает? С одной стороны ЧК — это *вне*судебная расправа. С другой стороны — ревтрибунал, очень упрощённый, весьма немилосердный, но всё-таки отчасти как бы — суд. А между ними? догадываетесь? А между ними как раз и не хватает *органа судебной расправы* — вот это и есть Революционный Военный Трибунал!

«Революционные Военные Трибуналы с первого дня своего существования были боевыми органами революционной власти ...

---

* К. X. Данишевский. «Революциоииые Воениые Трнбуналы». Издание Реввоентрнбунала Республнки, М, 1920

Сразу был взят определённый тон и курс, не допускающий никаких колебаний ... Нам пришлось умело воспользоваться накопленным ревтрибуналами опытом и его дальше развить» (стр. 13) — и это ещё до первой инструкции, изданной только в январе 1919. Также, для сближения с ЧК, был перехвачен и опыт, чтоб один член реввоентрибунала назначался от Особого Отдела Фронта. Но у фронтов существование было ограниченное — а при их отмирании реввоентрибуналы не отмирали, а учреждались в областях и округах «для борьбы и непосредственной расправы во время восстаний» (стр.19).

Судили реввоентрибуналы за «трудовое дезертирство», которое «при данной обстановке является таким же актом контрреволюции, как и вооружённое восстание против рабочих и крестьян» (стр.21),— это кто ж такой многочисленный, восстать и против рабочих и против крестьян? Даже — за «грубое отношение к подчинённым, неаккуратное исполнение служебных обязанностей, нерадение по службе, незнание своих прав ...» (стр.23) и др. и др. Реввоентрибуналы — совсем не только для военных, но и для всех гражданских лиц, проживающих в районе фронта. Они есть — орган классовой борьбы трудового народа. Чтобы не возникали споры с ревтрибуналами, действующими рядом, размежёвку установили такую: кто какое дело взял к производству, тот и судит — и ничьему пересмотру и обжалованию не подлежит. Приговоры регулировались в зависимости от военного положения: после победы на Юге с весны 1920 была директива по реввоентрибуналам уменьшить расстрелы — и действительно за первое полугодие их было только 1426 (без ревтрибуналов! без желдортрибуналов! без трибуналов Вохры! без ЧК! без Особых Отделов!— вспомним и столыпинскую цифру 950, остановившую всю анархию убийств по всей России, вспомним и 894 человека за 80 лет России). А летом 1920 началась польская война — и только за июль — август насудили реввоентрибуналы (без... без... без...) — 1976 расстрелов (стр. 43, по следующим месяцам не дано).

Имели реввоентрибуналы право *непосредственной немедленной расправы* с дезертирами и с агитаторами против гражданской войны (то есть, пацифистами,— стр.37). Должны были различать убийство уголовное (не-расстрел) и убийство политическое (расстрел,— стр.38); воровство у частного лица («трибуналы должны быть чутки и мягки», ибо буржуазные богатства толкают людей на воровство) и воровство народного достояния («вся тяжесть революционной кары»). «Никакого Уложения о наказаниях составить невозможно и было бы неразумно», но «не обойтись без руководящих директив и инструкций» (стр.39). «Очень часто Революционным Военным Трибуналам приходится действовать в обстановке, где трудно даже определить, действует ли Трибунал в качестве такового или же просто в качестве боевого отряда. Нередко ... происходит параллельно работа в зале заседания Трибунала и на улице». Расстрел «не может считаться наказанием, это просто физическое уничтожение врага рабочего класса», и «может быть

применён в целях запугивания (террора) подобных преступников» (стр. 40). «Наказание не есть возмездие за «вину», не есть искупление вины . . .». Трибунал «выясняет личность преступника, поскольку . . . возможно уяснить её на основании образа его жизни и прошлого» (стр.44).

В реввоентрибуналах «отпадает самый смысл апелляционного права, установленного буржуазией . . . При Советском строе эта волокита никому не нужна» (стр.46). «Устанавливать практику апелляции абсолютно недопустимо», «право подавать кассационные жалобы отрицается» (стр.49). «Приговор приходится привести в исполнение почти немедленно, чтобы эффект репрессии был как можно сильнее» (стр.50), «необходимо у преступников отнять всякую надежду отменить или изменить приговор Революционного Военного Трибунала» (стр.50). «Революционный Военный Трибунал — это необходимый и верный орган Диктатуры Пролетариата, долженствующий через неслыханное разорение, через океаны крови и слёз провести рабочий класс . . . в мир свободного труда, счастья трудящихся и красоты» (стр.59).

Можно бы ещё и ещё цитировать, но довольно! Дадим взгляду углубиться в то прошлое и пройтись по тогдашней пылающей карте нашей страны, представить себе эти живые человеческие местности, не названные в трибунальской брошюре. Каждое взятие города в ходе гражданской войны отмечалось не только ружейными дымками во дворе ЧК, но и бессонными заседаниями трибунала. И для того, чтоб эту пулю получить, не надо было непременно быть белым офицером, сенатором, помещиком, монахом, кадетом или эсером. Лишь белых мягких немозолистых рук в те годы было совершенно довольно для расстрельного приговора. Но можно догадаться, что в Ижевске или Воткинске, Ярославле или Муроме, Козлове или Тамбове мятежн недёшево обошлись и корявым рукам. В тех свитках — внесудебной расправы и расправы судебной — если они когда-нибудь перед нами опадут, удивительнее всего будет число простых крестьян. Потому что нет числа крестьянским волнениям и восстаниям с 18-го по 21-й год, хоть не украсили они цветных листов «Истории гражданской войны», никто не фотографировал и для кино не снимал эти возбуждённые толпы с кольями, вилами и топорами, идущие на пулемёты, а потом со связанными руками — *десять за одного!* — в шеренги построенные для расстрела. Сапожковское восстание так и помнят в одном Сапожке, пителинское — в одном Пителине. Из того же обзора Лациса за те же полтора года по 20 губерниям узнаём и число подавленных восстаний — 344.* (Крестьянские восстания ещё с 1918 года обозначили словом «кулацкие», ибо не могли же *крестьяне* восставать против рабоче-крестьянской власти! Но как объяснить, что всякий раз восставало не три избы в деревне, а вся

* М. Я. Лацис. «Два года борьбы на внутреннем фронте», стр. 75

деревня целиком? Почему масса бедияков своими такими же вилами и топорами ие убивала восставших «кулаков», а вместе с ними шла иа пулемёты? Лацис: «прочих крестьяи [кулак] обещаниями, клеветой и угрозами заставлял прииимать участие в этих восстаниях»*. Но — что ж обещательией, чем лозуиги комбеда? что ж угрозией, чем пулемёты ЧОНа (Частей Особого Назиачеиия)!

А сколько ещё затягивало в те жериова совсем случайиых, ну совсем случайиых людей, уиичтожеиие которых составляет иеизбежную половииу сути всякой стреляющей революции?

Вот дело толстовца И. Е-ва, 1919, рассказаииое им самим сегодня. Ещё и в 1968 фамилии иаписать иельзя.

При объявлении всеобщей обязательиой мобилизации в Красную Армию (через год после: «Долой войиу! Штык в землю! По домам!») в одной только Рязанской губериии до сентября 1919 было «выловлеио и отправлеио на фроит 54.697 дезертиров»* (а сколько-то ещё на месте пристрелеио для примера). Е-в же ие дезертировал вовсе, а открыто отказывался от воеииой службы по религиозным соображеииям. Он мобилизоваи иасильио, ио в казармах не берёт оружия, ие ходит на заиятия. Возмущённый комиссар части передаёт его в ЧК с запискою: «ие призиаёт советской власти». Допрос. За столом трое, перед каждым по иагану. «Видели мы таких героев, сейчас иа колени упадёшь! Немедлеиио соглашайся воевать, ииаче тут и застрелим!» Но Е-в твёрд: он ие может воевать, он — приверженец свободного христианства. Передаётся его дело в рязанский городской ревтрибунал.

Открытое заседание, в зале — человек сто. Любезиый стареиький адвокат. Учёиый обвииитель (слово «прокурор» запрещеио до 1922) Никольский, тоже старый юрист. Один из заседателей пытается выяснить у подсудимого его воззрения («как же вы, представитель трудящегося иарода, можете разделять взгляды аристократа графа Толстого?»), председатель трибуиала обрывает и ие даёт выяснить. Ссора.

Заседатель — Вот вы не хотите убивать людей и отговариваете других. Но белые иачали войиу, а вы иам мешаете защищаться. Вот мы отправим вас к Колчаку, проповедуйте там своё иепротивление!

Е-в — Куда отправите, туда и поеду.

Обвинитель — Трибунал должеи заииматься ие всяким уголовным деянием, а только контрреволюциониым. По составу преступления требую передать это дело в иародиый суд.

Председатель — Ха! Деяние! Ишь ты, какой закоииик! Мы руководствуемся ие закоиами, а иашей революциоиной совестью!

Обвинитель — Я иастаиваю, чтобы вы виесли моё требование в протокол.

Защитник — Я присоедиияюсь к обвииителю. Дело должио слушаться в обычном суде.

---

* М. Я. Лацис. «Два года борьбы на внутреннем фронте», стр. соответственно 70, 74

Председатель — Вот старый дурак! Где его выискали?

Защитник — Сорок лет работаю адвокатом, а такое оскорбление слышу первый раз. Занесите в протокол.

Председатель (хохочет) — Занесём! Занесём!

Смех в зале. Суд удаляется на совещание. Из совещательной комнаты слышны крики раздора. Вышли с приговором: р а с с т р е л я т ь!

В зале шум возмущения.

Обвинитель — Я протестую против приговора и буду жаловаться в комиссариат юстиции!

Защитник — Я присоединяюсь к обвинителю!

Председатель — Очистить зал!!!

Повели конвоиры Е-ва в тюрьму и говорят: «Если бы, браток, все такие были, как ты,— добро! Никакой бы войны не было, ни белых, ни красных!» Пришли к себе в казарму, собрали красноармейское собрание. Оно осудило приговор. Написали протест в Москву.

Ожидая каждый день смерти и воочию наблюдая расстрелы из окна, Е-в просидел 37 дней. Пришла замена: 15 лет *строгой изоляции*.

Поучительный пример. Хотя революционная законность отчасти и победила, но сколько усилий это потребовало от председателя трибунала! Сколько ещё расстроенности, недисциплинированности, несознательности! Обвинение — заодно с защитой, конвоиры лезут не в своё дело слать резолюцию. Ох, не легко становиться Диктатуре Пролетариата и новому суду! Разумеется, не все заседания такие разболтанные, но и такое же не одно! Сколько ещё уйдёт лет, пока выявится, направится и утвердится нужная линия, пока защита станет заодно с прокурором и судом, и с ними же заодно подсудимый, и с ними же заодно все резолюции масс!

Проследить этот многолетний путь — благодарная задача историка. А нам — как двигаться в том розовом тумане? Кого опрашивать? Расстрелянные не расскажут, рассеянные не расскажут. Ни подсудимых, ни адвокатов, ни конвоиров, ни зрителей, хоть бы они и сохранились, нам искать не дадут.

И, очевидно, помочь нам может только *обвинение*.

Вот попал к нам от доброхотов не уничтоженный экземпляр книги обвинительных речей неистового революционера, первого рабоче-крестьянского наркомвоена, Главковерха, потом — зачинателя Отдела Исключительных Судов Наркомюста (готовился ему персональный пост Трибуна, но Ленин этот термин отменил*), славного обвинителя величайших процессов, а потом разоблачённого лютого врага народа Н. В. Крыленки.** И если всё-таки хотим

---

* Ленин, Собр. соч., 5 изд., т.36, стр.210

** Н. В. Крыленко. «За пять лет (1918—1922)». Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном Революционных Трибуналах. ГИЗ, М-Пгд, 1923

мы провести наш краткий обзор гласных процессов, если затягивает нас искус глотнуть судебного воздуха первых послереволюционных лет — нам надо суметь прочесть эту книгу. Другого не дано. А недостающее всё, а провинциальное всё надо восполнить мысленно.

Разумеется, предпочли бы мы увидеть стенограммы тех процессов, услышать загробно драматические голоса тех первых подсудимых и тех первых адвокатов, когда ещё никто не мог предвидеть, в каком неумолимом череду будет всё это проглатываться — и с этими ревтрибунальцами вместе.

Однако, объясняет Крыленко, издать стенограммы *«было неудобно по ряду технических соображений»* (стр.4), удобно же — только обвинительные речи да приговоры трибуналов, уже тогда вполне совпадавшие с требованиями обвинителя.

Мол, архивы московского и верховного ревтрибуналов оказались (к 1923 году) «далеко не в таком порядке ... По ряду дел стенограмма ... оказалась настолько невразумительно записанной, что приходилось либо вымарывать целые страницы, либо восстанавливать текст по памяти» (!), а «ряд крупнейших процессов» (в том числе — по мятежу левых эсеров, по делу адмирала Щастного, по делу английского посла Локкарта) «прошёл вовсе без стенограммы» (стр. 4-5).

Странно. Осуждение левых эсеров была не мелочь — после Февраля и Октября это был третий исходный узел нашей истории, переход к однопартийной системе в государстве. И расстреляли немало. А стенограмма не велась.

А «военный заговор» 1919 года «ликвидирован ВЧК в порядке внесудебной расправы» (стр.7), так вот тем и «доказано его наличие» (стр.44). (Там всего арестовано было больше 1000 человек* — так неужто на всех суды заводить?)

Вот и рассказывай ладком да порядком о судебных процессах тех лет ...

Но важные принципы мы всё-таки узнаём. Например, сообщает нам верховный обвинитель, что ВЦИК имеет право вмешиваться в любое судебное дело. «ВЦИК милует и *казнит* по своему усмотрению *неограниченно»* (стр. 13, курсив наш — А. С.). Например, приговор к 6 месяцам заменял на 10 лет (и, как понимает читатель, для этого весь ВЦИК не собирался на пленум, а поправлял приговор, скажем, Свердлов в кабинете). Всё это, объясняет Крыленко, «выгодно отличает нашу систему от фальшивой теории разделения властей» (стр.14), теории о независимости судебной власти. (Верно, говорил и Свердлов: «Это хорошо, что у нас законодательная и исполнительная власть не разделены, как на Западе, глухой стеной. Все проблемы *можно быстро решать»*. Особенно по телефону.)

---

* Лацис. «Два года борьбы ...», стр.46

Ещё откровеннее и точнее в своих речах, прозвеневших на тех трибуналах, Крыленко формулирует *общие задачи советского суда*, когда суд был «одновременно и творцом права (разрядка Крыленко) ... и орудием политики (стр.3, разрядка моя — А. С.).

Творцом права — потому что 4 года не было никаких кодексов: царские отбросили, своих не составили. «И пусть мне не говорят, что наш уголовный суд должен действовать, опираясь исключительно на существующие писанные нормы. Мы живём в процессе Революции ...» (стр.407). «Трибунал — это не тот суд, в котором должны возродиться юридические гонкости и хитросплетение ... Мы творим новое право и *новые этические нормы»* (стр.22, курсив мой — А. С.). «Сколько бы здесь ни говорили о вековечном законе права, справедливости и *так далее* — мы знаем ... как дорого они нам обошлись» (стр. 505, курсив мой — А. С.).

(Да если ваши сроки сравнивать с нашими, так может не так и дорого? Может с вековечной справедливостью — поуютнее? ..)

Потому не нужны юридические тонкости, что не приходится выяснять — виновен подсудимый или невиновен: понятие *виновности*, это старое буржуазное понятие, вытравлено теперь (стр.318).

Итак, мы услышали от товарища Крыленки, что революционный трибунал — это *не тот суд!* В другой раз мы услышим от него, что трибунал — это *вообще не суд:* «Трибунал есть орган классовой борьбы рабочих, направленный против их врагов», и должен действовать «с точки зрения интересов Революции ... имея в виду наиболее желательные для рабочих и крестьянских масс результаты» (стр. 73).

Люди не есть люди, а «определённые носители определённых идей». «Каковы бы ни были индивидуальные качества [подсудимого], к нему может быть применим только один метод оценки: это — оценка с точки зрения классовой целесообразности» (стр. 79).

То есть, ты можешь существовать, только если это целесообразно для рабочего класса. А «если эта целесообразность потребует, чтобы карающий меч обрушился на головы подсудимых, то никакие ... убеждения словом не помогут» (стр.81),— ну, там доводы адвокатов и т. д. «В нашем революционном суде мы руководствуемся не статьями и не степенью смягчающих обстоятельств; в Трибунале мы должны исходить из соображений целесообразности» (стр.524).

В те годы многие вот так: жили-жили, вдруг узнали, что существование их — нецелесообразно.

Следует понимать: не то ложится тяжестью на подсудимого, что он уже сделал, а то, что он сможет сделать, если его теперь же не расстреляют. «Мы охраняем себя не только от прошлого, но и от будущего» (стр.82).

Ясны и всеобщи декларации товарища Крыленки. Уже во всём рельефе они надвигают на нас весь тот судебный период. Через

весенние испарения вдруг прорезается осенняя прозрачность. И может быть — не надо дальше? не надо перелистывать процесс за процессом? Вот эти декларации и будут непреклонно применены.

Только, зажмурившись, представить судебный залик, ещё не украшенный золотом. Истолюбивых трибунальцев в простеньких френчах, худощавых, с ещё не разъеденными ряжками. А на *обвинительной власти* (так любит называть себя Крыленко) пиджачок гражданский распахнут и в воротном вырезе виден уголок тельняшки.

По-русски верховный обвинитель изъясняется так: «мне интересен вопрос факта!»; «конкретизируйте момент тенденции!»; «мы оперируем в плоскости анализа объективной истины». Иногда, глядишь, блеснёт и латинской пословицей (правда, из процесса в процесс одна и та же пословица, через несколько лет появляется другая). Ну да ведь и то сказать — за всей революционной беготнёй два факультета кончил. Что к нему располагает — выражается о подсудимых от души: «профессиональные мерзавцы!» И нисколько не лицемерит. Вот не нравится ему улыбка подсудимой, он ей и выляпывает грозно, ещё до всякого приговора: «А вам, гражданка Иванова, с вашей усмешкой, мы найдём цену и найдём возможность сделать так, чтобы вы не смеялись *больше никогда!*» (стр. 296, курсив мой — А. С.).

Так что пустимся? . .

Дело «Русских Ведомостей». Этот суд, из самых первых и ранних,— суд над с л о в о м . 24 марта 1918 года эта известная «профессорская» газета напечатала статью Савинкова «С дороги». Охотнее схватили бы самого Савинкова, но *дорога* проклятая, где его искать? Так закрыли газету и приволокли на скамью подсудимых престарелого редактора П. В. Егорова, предложили ему объяснить: как посмел? ведь 4 месяца уже Новой Эры, пора привыкнуть!

Егоров наивно оправдывается, что статья —«видного политического деятеля, мнения которого имеют общий интерес, независимо от того, разделяются ли редакцией». Далее, он не увидел клеветы в утверждении Савинкова: «не забудем, что Ленин, Натансон и К° приехали в Россию через Берлин, то есть что немецкие власти оказали им содействие при возвращении на родину»,— потому что на самом деле так и было, воюющая кайзеровская Германия помогла товарищу Ленину вернуться.

Восклицает Крыленко, что он и не будет вести обвинения по клевете (почему же? . .), газету судят *за попытку воздействия на умы!* (А разве смеет газета иметь такую цель?!)

Не ставится в обвинение газете и фраза Савинкова: «надо быть безумцем-преступником, чтобы серьёзно утверждать, что международный пролетариат нас поддержит»,— потому что он ведь нас ещё поддержит . . .

За попытку же воздействия на умы приговор: газету, издаваемую с 1964 года, перенесшую все немыслимые реакции — Делянова, Победоносцева, Столыпина, Кассо и кого там ещё — ныне з а -

крыть навсегда! (За одну статью и — навсегда! Вот так надо держаться у власти.) А редактору Егорову . . . стыдно сказать, как в какой-то Греции . . . три месяца одиночки. (Не так стыдно, если подумать: ведь это только 18-й год! ведь если выживет старик — опять же посадят, и сколько раз ещё посадят!)

Как ни странно, но в те громовые годы так же ласково давались и брались взятки, как отвеку на Руси, как довеку в Союзе. И даже и особенно неслись даяния в судебные органы. И, робеем добавить,— в ЧК. Красно переплетённые, с золотым тиснением тома истории молчат, но старые люди, очевидцы, вспоминают, что в отличие от сталинского времени судьба арестованных политических в первые годы революции сильно зависела от взяток: их нестеснительно брали и по ним честно выпускали. И вот Крыленко, отобрав лишь дюжину дел за пятилетие, сообщает нам о двух таких процессах. Увы, и московский и Верховный трибуналы продирались к совершенству непрямым путём, грязли в неприличии.

Дело трёх следователей московского ревтрибунала (апрель 1918). В марте 1918 был арестован Беридзе, спекулянт золотыми слитками. Жена его, как это было принято, стала искать путей выкупить мужа. Ей удалось найти цепочку знакомства к одному из следователей, тот привлёк ещё двоих, на тайной встрече они потребовали с неё 250 тысяч, после торговли скинули до 60 тысяч, из них половину вперёд, а действовать через адвоката Грина. Всё обошлось бы безвестно, как проходили гладко сотни сделок, и не попало бы дело в крыленковскую летопись и в нашу (и на заседание Совнаркома даже!), если бы жена не стала жаться с деньгами, не привезла бы Грину только 15 тысяч аванса вместо тридцати, а главное по женской суетливости не перерешила бы за ночь, что адвокат не солиден, и утром не бросилась бы к новому — присяжному поверенному Якулову. Не сказано, кто именно, но видимо Якулов и решил защемить следователей.

В этом процессе интересно, что все свидетели, начиная со злополучной жены, стараются давать показания в пользу подсудимых и смазывать обвинение (что невозможно на процессе политическом!). Крыленко объясняет так: это из обывательских соображений, они чувствуют себя чужими нашему Революционному Трибуналу. (Мы же осмелимся обывательски предположить: а не научились ли свидетели *бояться* за полгода диктатуры пролетариата? Ведь большая дерзость нужна — топить следователей ревтрибунала. А — что потом с тобой? . .)

Интересна и аргументация обвинителя. Ведь месяц назад подсудимые были его сподвижники, соратники, помощники, это были люди, безраздельно преданные интересам Революции, а один из них, Лейст, был даже «суровым обвинителем, способным метать громы и молнии на всякого, кто посягнёт на основы»,— и что ж теперь о них говорить? откуда искать порочащее? (Ибо взятка

сама по себе порочит недостаточно.) А понятно, откуда: *прошлое!* анкета!

«Если присмотреться» к этому Лейсту, то «найдутся чрезвычайно любопытные сведения». Мы заинтригованы: это давний авантюрист? Нет, но — сын профессора Московского университета! А профессор-то не простой, а такой, что за двадцать лет уцелел черезо все реакции из-за безразличия к политической деятельности! (Да ведь несмотря на реакцию и у Крыленки тоже экстерном принимали . . .) Удивляться ли, что сын его — двурушник?

А Подгайский — тот сын судейского чиновника, безусловно черносотенца, иначе как бы отец двадцать лет служил в судебных органах? А сынишка тоже готовился к судебной деятельности. Но случилась революция — и шнырнул в ревтрибунал. Ещё вчера это рисовалось благородно, но теперь это отвратительно!

Гнуснее же их обоих, конечно,— Гугель. Он был издателем — и что же предлагал рабочим и крестьянам в качестве умственной пищи?— он «питал широкие массы недоброкачественной литературой», не Марксом, а книгами буржуазных профессоров с мировыми именами (тех профессоров мы тоже вскоре встретим на скамье подсудимых).

Гневается и диву даётся Крыленко: что за людишки пролезли в трибунал? (Недоумеваем и мы: из кого ж состоят рабоче-крестьянские трибуналы? почему пролетариат поручил разить своих врагов именно такой публике?)

А уж адвокат Грин «свой человек» в следственной коллегии, который кого угодно может освободить — это «типичный представитель той разновидности человеческой породы, которую Маркс назвал *пиявками* капиталистического строя» и куда входят жандармы, священники и . . . нотариусы (стр.500), кроме всех ещё адвокатов, разумеется.

Кажется, не пожалел сил Крыленко, требуя беспощадного жестокого приговора без внимания к «индивидуальным оттенкам вины»,— но какая-то вязкость, какое-то оцепенение охватило вечно-бодрый трибунал, и еле промямлил он: следователям по шести месяцев тюрьмы, а с адвоката — денежный штраф. (Лишь пользуясь правом ВЦИК «казнить неограниченно», Крыленко добился там, в «Метрополе», чтобы следователям врезали по 10 лет, а пьявке-адвокату — 5 с полной конфискацией. Крыленко прогремел бдительностью и чуть-чуть не получил своего *Трибуна.)*

Мы сознаём, что как среди революционных масс тогда, так и среди наших читателей сегодня этот несчастный процесс не мог не подорвать веры в святость трибунала. И с тем большей робостью переходим к следующему процессу, касательному к учреждению, ещё более возвышенному.

Дело Косырева (15 февраля 1919). Ф. М. Косырев и дружки его Либерт, Роттенберг и Соловьёв прежде служили в комиссии снабжения Восточного фронта (ещё против войск Учредительного Собрания, до Колчака). Установлено, что там они находили

способы получить зараз от 70 тысяч до 1 миллиона рублей, разъезжали на рысаках, кутили с сёстрами милосердия. Их комиссия приобрела себе дом, автомобиль, их артельщик кутил в «Яре». (Мы не привыкли представлять таким 1918 год, но так свидетельствует ревтрибунал.)

Впрочем, не в этом состоит дело: никого из них за Восточный фронт не судили и даже всё простили. Но диво!— едва лишь была расформирована их комиссия по снабжению, как все четверо с добавлением ещё Назаренко, бывшего сибирского бродяги, дружка Косырева по уголовной каторге, были приглашены составить ... контрольно-ревизионную коллегию ВЧК!

Вот что это была за Коллегия: она *имела полномочия проверять закономерность действий всех остальных органов ВЧК*, право истребования и просмотра любого дела в любой стадии производства и отмены решения всех остальных органов ВЧК, кроме только Президиума ВЧК!!! (стр. 507) Немаловато!— вторая власть в ВЧК после Президиума! — в следующем ряду за Дзержинским — Урицким — Петерсом — Лацисом — Менжинским — Ягодой!

Образ жизни сотоварищей при этом остался прежний, они нисколько не возгордились, не занеслись: с каким-то Максимычем, Лёнькой, Рафаильским и Мариупольским, «не имеющими никакого отношения к коммунистической организации», они на частных квартирах и в гостинице «Савой» устраивают «роскошную обстановку ... там царят карты (в банке по тысяче рублей), выпивка и дамы». Косырев же обзаводится богатой обстановкой (70 тысяч), да не брезгует тащить из ВЧК столовые серебряные ложки, серебряные чашки (а в ВЧК они откуда? ..), да даже и просто стаканы. «Вот куда, а не в идейную сторону ... направляется его внимание, вот что берёт он для себя от революционного движения». (Отрекаясь теперь от полученных взяток, этот ведущий чекист не смаргивает солгать, что у него ... лежит 200 тысяч рублей наследства в Чикагском банке! .. Такую ситуацию он, видимо, реально представляет наряду с мировой революцией.)

Как же правильно использовать своё надчеловеческое право кого угодно арестовать и кого угодно освободить? Очевидно, надо намечать ту рыбку, у которой икра золотая, а такой в 1918 году было немало в сетях. (Ведь революцию делали слишком впопыхах, всего не доглядели, и сколько же драгоценных камней, ожерелий, браслетов, колец, серёг успели попрятать буржуазные дамочки.) А потом искать контакты с родственниками арестованных через кого-то подставного.

Такие фигуры тоже проходят перед нами на процессе. Вот 22-летняя Успенская, она окончила петербургскую гимназию, а на высшие курсы не попала. Тут — власть Советов, и весной 18-го года Успенская явилась в ВЧК предложить свои услуги в качестве осведомительницы. По наружности она подходила, её взяли.

Само стукачество (тогда — сексотство) Крыленко комментирует так, что *для себя «мы* в этом ничего зазорного не видим, мы это считаем своим долгом; ... не самый факт работы позорит; раз

человек признаёт, что эта работа необходима в интересах революции — он должен идти» (стр.512, курсив мой — А. С.). Но, увы, Успенская, оказывается, не имеет политического кредо!— вот что ужасно. Она так и отвечает: «я согласилась, чтобы мне платили определённые проценты» по раскрытым делам и ещё «пополам делиться» с кем-то, кого Трибунал обходит, велит не называть. Своими словами Крыленко так выражает: Успенская «не проходила по личному составу ВЧК и работала *поштучно»* (стр.507). Ну да впрочем, по-человечески её понимая, объясняет нам обвинитель: она привыкла не считать денег, что такое ей несчастные 500 рублей зарплаты в ВСНХ, когда одно вымогательство (посодействовать купцу, чтоб сняли пломбы с его магазина) даёт ей 5 тысяч рублей, другое — с Мещерской-Гревс, жены арестованного,—17 тысяч. Впрочем, Успенская недолго оставалась простой сексоткой, с помощью крупных чекистов она через несколько месяцев была уже коммунисткой и следователем.

Однако никак мы не доберёмся до сути дела. А. П. Мещерский, крупный заводчик, был арестован за неуступчивость в экономических переговорах с советским правительством (Ю. Лариным). Его жену Е. И., у которой подозревали драгоценности и деньги, чекисты стали шантажировать, приходили сами к ней домой, с каждым разом рисуя положение мужа всё более подрасстрельным и требуя всё больших сумм для выкупа. Мещерская-Гревс в отчаяньи сама донесла о шантаже (через того самого присяжного поверенного Якулова, который уже завалил следователей-взяточников и, видимо, имел классовую ненависть ко всей системе пролетарского судо- и бессудо-производства). Председатель трибунала тоже совершил классовую ошибку: вместо того, чтобы просто предупредить товарища Дзержинского и всё уладить по-семейному,— распорядился дать Мещерской для взятки номерные ассигнации — и в её квартире посадить за занавеской стенографистку. И пришёл некий Годелюк, закадычный друг Косырева, чтобы договориться о цене выкупа (потребовал 600 тысяч рублей!). И застенографированы были все ссылки Годелюка на Косырева, на Соловьёва, на других комиссаров, все его рассказы, кто в ВЧК сколько тысяч берёт, и под стенограмму же получил Годелюк свой меченый аванс, а Мещерской выдал пропуска для прохода в ВЧК, уже выписанные контрольно-ревизионной коллегией, Либертом и Роттенбергом (там, в ЧК, торг должен был продолжаться). А на выходе — был накрыт! И в растерянности дал показания. (А Мещерская успела побывать и в контрольно-ревизионной коллегии, и уже затребовано туда *для проверки* дело её мужа.)

Но позвольте! Но ведь такое разоблачение пятнает небесные одежды ЧК! Да в уме ли этот председатель московского ревтрибунала? Да своим ли делом он занимается?

А таков был, оказывается, м о м е н т — момент, вовсе скрытый от нас в складках нашей величественной Истории! Оказывается, первый год работы ЧК произвёл несколько отталкивающее впечатление даже на партию пролетариата, ещё к тому не привык-

шую. Всего только первый год, первый шаг славного пути был пройден ВЧК, а уже, как не совсем внятно пишет Крыленко, возник «спор между судом и его функциями — и внесудебными функциями ЧК ... спор, разделявший в то время партию и рабочие районы на два лагеря» (стр.14). Потому-то дело Косырева и могло возникнуть (а до той поры всем сходило), и могло подняться даже до всегосударственного уровня.

Надо было спасать ВЧК! Спасать ВЧК! Соловьёв просит Трибунал допустить его в Таганскую тюрьму к посаженному (увы, не на Лубянку) Годелюку — *побеседовать.* Трибунал отказывает. Тогда Соловьёв *проникает в камеру* Годелюка и безо всякого трибунала. И вот совпадение: как раз тут Годелюк тяжело заболевает, да. («Едва ли можно говорить о наличии злой воли Соловьёва»,— расшаркивается Крыленко.) И, чувствуя внезапное приближение смерти, Годелюк потрясённо раскаивается, что мог оболгать ЧК, и просит дать бумагу и пишет письменное отречение: всё неправда, в чём он оболгал Косырева и других комиссаров ЧК, и что было застенографировано через занавеску — тоже всё неправда!

О, сколько сюжетов! О, где Шекспир? Сквозь стены прошёл Соловьёв, слабые камерные тени, Годелюк отрекается слабеющей рукой — а нам в театрах, а нам в кино только уличным пением «Вихрей враждебных» передают революционные годы ...

«А кто пропуска ему выписал?»— настаивает Крыленко, пропуска для Мещерской не из воздуха взялись? Нет, обвинитель «не хочет говорить, что Соловьёв к этому делу причастен, потому что ... нет достаточных данных», но предполагает он, что «оставшиеся на свободе граждане с рыльцем в пушку» могли послать Соловьёва в Таганку.

Тут бы в самый раз допросить Либерта и Роттенберга, и вызваны они!— но не явились! Вот так просто, не явились, уклонились. Так позвольте, Мещерскую же допросить! Представьте, и эта затруханная аристократка тоже имела смелость не явиться в Ревтрибунал!

После захвата взятки Мещерский был выпущен на поруки Якулова — и с женою бежал в Финляндию. Зато уж Якулова к моменту суда над Косыревым с удовольствием посадили под стражу — может быть, за эти самые поруки, а то — как пьявистого змея. На суд его приводили свидетельствовать под конвоем, а скоро, надо думать, расстреляли. (И теперь мы удивляемся: как дошло до беззакония, почему никто не боролся?)

А Годелюк отрёкся — и умирает. А Косырев ничего не признаёт! И Соловьёв ни в чём не виноват! И допрашивать некого ...

Зато какие свидетели по собственной доброй воле приехали в Трибунал!— заместитель председателя ВЧК товарищ Петерс — и даже сам Феликс Эдмундович прибыл, встревоженный. Его продолговатое сожигающее лицо подвижника обращено к замершему трибуналу, и он проникновенно свидетельствует в защиту ни в чём

не виновного Косырева, в защиту его высоких моральных, революционных и деловых качеств. Показания эти, увы, не приведены нам, но Крыленко так передаёт: «Соловьёв и Дзержинский расписывали прекрасные качества Косырева» (стр.522). (Ах, неосторожный прапорщик!— через 20 лет припомнят тебе на Лубянке этот процесс!) Легко догадаться, что́ мог говорить Дзержинский: что Косырев — железный чекист, беспощадный к врагам; что он — хороший *товарищ*. Горячее сердце, холодная голова, чистые руки.

И из хлама клеветы восстаёт перед нами бронзовый рыцарь Косырев. К тому ж и биография его выявляет недюжинную волю. До революции он был судим несколько раз — и всё больше за убийство: за то, что (в Костроме) обманным образом с целью грабежа проник к старушке Смирновой и *удушил её собственными руками*. Потом — за покушение на убийство своего отца и за убийство сотоварища с целью воспользоваться его паспортом. В остальных случаях Косырев судился за мошенничество, а в общем много лет провёл на каторге (понятно его стремление к роскошной жизни!), и только царские амнистии его выручали.

Тут строгие справедливые голоса крупнейших чекистов прервали обвинителя, указали ему, что все те предыдущие суды были помещичье-буржуазные и не могут быть приняты во внимание нашим новым обществом. Но что это? Зарвавшийся прапорщик с обвинительной кафедры Ревтрибунала отколол в ответ такую идейно-порочную тираду, что даже негармонично нам приводить её здесь, в стройном изложении трибунальских процессов:

«Если в старом царском суде было что-нибудь хорошее, чему мы могли доверять, так это только суд присяжных . . . К решению присяжных можно было всегда относиться с доверием, и там наблюдался минимум судебных ошибок» (стр.522).

Тем более обидно слышать подобное от товарища Крыленки, что за три месяца перед тем на процессе провокатора Романа Малиновского, бывшего любимцем Ленина несмотря на четыре уголовных судимости в прошлом, кооптированного в ЦК и посланного в Думу, Обвинительная Власть занимала классово-безупречную позицию:

«В наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы, и в этом смысле уголовная судимость по законам капиталистического общества и царского времени не является в наших глазах тем фактом, который кладёт раз навсегда несмываемое пятно . . . Мы знаем *много примеров, когда в наших рядах находились лица, имевшие в прошлом подобные факты*, но мы никогда не делали отсюда вывода, что необходимо изъять такого человека из нашей среды. *Человек, который знает наши принципы*, не может опасаться, что наличие судимости в прошлом угрожает его поставить вне рядов революционеров . . .» (стр.337, курсив мой — А. С.).

Вот как умел партийно говорить товарищ Крыленко! А тут, благодаря его порочному рассуждению, затемнился образ рыцаря Косырева. И создалась на трибунале такая обстановка, что това-

рищ Дзержинский вынужден был сказать: «У меня на секунду (ну, на секунду только!— А. С.) возникла мысль, не падает ли гражданин Косырев жертвой политических страстей, которые в последнее время разгорелись вокруг Чрезвычайной Комиссии?»

Спохватился Крыленко: «Я не хочу и никогда не хотел, чтобы настоящий процесс стал процессом не Косырева и не Успенской, а процессом над ЧК. Этого я не только не могу хотеть, я должен всеми силами бороться против этого!» . . .«Во главе Чрезвычайной Комиссии были поставлены наиболее ответственные, наиболее честные и выдержанные товарищи, которые брали на себя тяжёлый долг разить, *хотя бы с риском совершить ошибку* . . . За это Революция обязана сказать своё спасибо . . . Я подчёркиваю эту сторону для того, чтобы мне . . . никто не мог потом сказать: «он оказался орудием политической измены» (стр.509-510, курсив мой — А. С.). (Скажут! . .)

Вот по какому лезвию ходил Верховный Обвинитель! Но, видно, были у него какие-то контакты, ещё из подпольных времён (да от Ленина недалёк), откуда он узнавал, как повернётся завтра. Это заметно по нескольким процессам, и здесь тоже. Какие-то были веяния в начале 1919 года, что — х в а т и т ! пора обуздать ВЧК! Да был тот момент и «прекрасно выражен в статье Бухарина, когда он говорит, что на место *законной революционности* должна стать *революционная законность»*.

Диалектика, куда ни ткни! И вырывается у Крыленки: «Ревтрибунал призывается стать на смену чрезвычайным комиссиям». (Н а с м е н у ? ? . .) Он впрочем «должен быть . . . не менее страшным в смысле осуществления системы устрашения, террора и угрозы, чем была Чрезвычайная Комиссия» (стр.511).

Б ы л а ? . . Да он её уже похоронил?! Позвольте, вы — на смену, а куда же чекистам? Грозные дни! Поспешишь и свидетелем в длинной до пят шинели.

Но, может быть, ложные у вас источники, товарищ Крыленко?

Да, затмилось небо над Лубянкой в те дни. И могла бы иначе пойти эта книга. Но так я предполагаю, что съездил железный Феликс к Владимиру Ильичу, потолковал, объяснил. И — разотмилось. Хотя через два дня, 17 февраля 1919, особым постановлением ВЦИК и была ЧК лишена её судебных прав (а внесудебные остались?),—«правда н е н а д о л г о » (стр.14)!

А наше однодневное разбирательство ещё тем осложнилось, что отвратительно вела себя негодница Успенская. Даже со скамьи подсудимых она «забросала грязью» ещё других видных чекистов, не затронутых процессом, и даже самого товарища Петерса! (Оказывается, она использовала его чистое имя в своих шантажных операциях; она уже запросто сиживала у Петерса в кабинете при его разговорах с другими разведчиками.) Теперь она намекает на какое-то тёмное дореволюционное прошлое товарища Петерса в Риге. Вот какая змея выросла из неё за 8 месяцев, несмотря на то, что эти восемь месяцев она находилась среди чекистов! Что делать с такой? Тут Крыленко вполне сомкнулся с мнением чекистов:

«Пока не установится прочный строй, а до этого ещё далеко (?разве?) ... в интересах защиты Революции ...— нет и не может быть никакого другого приговора для гражданки Успенской, кроме *уничтожения её»*. Не расстрела, так и сказал: уничтожения! Да ведь девчонка-то молоденькая, гражданин Крыленко! Ну, дайте ей десятку, ну — четвертную, к тому-то времени строй уже будет прочный? Увы: «Другого ответа нет и не может быть в интересах общества и Революции — и иначе нельзя ставить вопроса. Никакое изолирование в *данном случае* не принесёт плодов» (стр.515)!

Вот насолила ... Значит, знает много ...

А Косыревым пришлось пожертвовать тоже. Расстреляли. Будут другие целей.

И неужели когда-нибудь мы будем читать старые лубянские архивы? Нет, сожгут. Уже сожгли.

Как видит читатель, это был процесс малозначный, на нём можно было и не задерживаться. А вот

Дело «церковников» (11-16 января 1920) займёт по мнению Крыленки «соответствующее место в анналах русской революции». Прямо-таки в анналах. То-то Косырева за один день свернули, а этих мыкали пять дней.

Вот основные подсудимые: А. Д. Самарин — известное в России лицо, бывший обер-прокурор Синода, старатель освобождения церкви от царской власти, враг Распутина и вышиблен им с поста (но обвинитель считает: что Самарин, что Распутин — какая разница?); Кузнецов, профессор церковного права Московского университета; московские протоиереи Успенский и Цветков. (О Цветкове сам же обвинитель: «крупный общественный деятель, быть может, лучший из тех, кого могло дать духовенство, филантроп».)

А вот их вина: они создали «Московский Совет Объединённых Приходов», а тот создал (из верующих сорока — восьмидесяти лет) добровольную охрану патриарха (конечно, безоружную), учредив в его подворьи постоянные дневние и ночные дежурства с такой задачей: при опасности патриарху от властей — собирать народ набатом и по телефону и всей толпой потом идти за патриархом, куда его повезут, и п р о с и т ь (вот она, контрреволюция!) Совнарком отпустить патриарха!

Какая древнерусская, святорусская затея!— по набату собраться и валить толпой с челобитьем!..

Удивляется обвинитель: а какая опасность грозит патриарху? зачем придумано его защищать?

Ну, в самом деле: только того, что уже два года, как ЧК ведёт внесудебную расправу с неугодными; только того, что незадолго в Киеве четверо красноармейцев убили митрополита; только того, что уже на патриарха «дело закончено, остаётся переслать его в Ревтрибунал», и «только из бережного отношения к широким

рабоче-крестьянским массам, ещё находящимся под влиянием клерикальной пропаганды, мы оставляем этих наших классовых врагов *пока в покое»* (стр.67) — и какая же тревога православным о патриархе? Все два года не молчал патриарх Тихон — слал послания народным комиссарам, и священству, и пастве; его послания (вот где первый Самиздат!), не взятые типографиями, печатались на машинках; обличал уничтожение невинных, разорение страны — и какое ж теперь беспокойство за жизнь патриарха?

А вот вторая вина подсудимых. По всей стране идёт опись и реквизиция церковного имущества (это уже — сверх закрытия монастырей, сверх отнятых земель и угодий, это уже о блюдах, о чашах и паникадилах речь) — Совет же приходов распространял и воззвание к мирянам: сопротивляться и реквизициям, бья в набат. (Да ведь естественно! Да ведь и от татар защищали храмы так же!)

И третья вина: наглая непрерывная *подача заявлений* в Совнарком о глумлениях местных работников над церковью, о грубых кощунствах и нарушениях закона о свободе совести. Заявления же эти, хоть и не удовлетворённые (показания Бонч-Бруевича, управделами СНК), приводили к дискредитации местных работников.

Обозрев теперь все вины подсудимых, что ж можно потребовать за эти ужасные преступления? Не подскажет ли и читателю революционная совесть? Да т о л ь к о р а с с т р е л ! Как Крыленко и потребовал (для Самарина и Кузнецова).

Но пока возились с проклятой законностью да выслушивали слишком длинные речи слишком многочисленных буржуазных адвокатов (не приводимые нам по техническим соображениям), стало известно, что . . . отменена смертная казнь! Вот тебе раз! Не может быть, как так? Оказывается, Дзержинский распорядился по ВЧК (ЧК — и без расстрела? . .). А на трибуналы СНК распространил? Ещё нет. И воспрял Крыленко. И продолжал требовать расстрела, обосновывая так:

«Если бы даже полагать, что укрепляющееся положение Республики устраняет непосредственную опасность от таких лиц, всё же мне представляется несомненным, что в этот период созидательной работы . . . чистка . . . от старых деятелей-хамелеонов . . . является требованием революционной необходимости». «Постановлением ВЧК об отмене расстрелов . . . Советская власть гордится». Но: это «ещё не обязывает нас считать, что вопрос об отмене расстрелов разрешён раз навсегда . . . во все времена Советской власти» (стр.80-81).

Очень пророчески! Вернут расстрел, вернут, и весьма вскоре! Ведь ещё какую вереницу надо ухлопать! (Ещё и самого Крыленку, и многих классовых братьев его . . .)

Что ж, послушался трибунал, приговорил Самарина и Кузнецова к расстрелу, но подогнал под амнистию: в концентрационный лагерь *до полной победы над мировым империализмом!* (И сегодня б ещё им там сидеть . . .) а «лучшему, кого могло дать духовенство», — 15 лет с заменой на пятёрку.

Были и другие подсудимые, пристёгнутые к процессу, чтоб хоть немного иметь вещественного обвинения: монахи и учителя Звенигорода, обвинённые по звенигородскому делу лета 1918 года, но почему-то полтора года не суждённые (а может быть уже разок и суждённые, а теперь ещё разок, поскольку целесообразно). В то лето в звенигородский монастырь явились *совработники* к игумену Ионе*, велели («поворачивайтесь живей!») выдать хранимые мощи преподобного Саввы. Совработники при этом не только курили в храме (очевидно, и в алтаре) и уж конечно не снимали шапок, но тот, который взял в руки череп Саввы, стал в него плевать, подчёркивая мнимость святости. Были и другие кощунства. Это и привело к набату, народному мятежу и убийству кого-то из совработников. Остальные потом отпёрлись, что не кощунствовали и не плевали, и Крыленке достаточно их заявления.

Да кто же не помнит этих сцен? Первое впечатление всей моей жизни, мне было, наверно, года три-четыре: как в кисловодскую церковь входят остроголовые (чекисты в будёновках), прорезают обомлевшую онемевшую толпу молящихся и прямо в шишаках, прерывая богослужение,— в алтарь.

Так вот теперь судили и . . . этих совработников? Нет,— этих монахов.

Мы просим читателей сквозно иметь в виду: ещё с 1918 определился такой наш судебный обычай, что каждый московский процесс (разумеется, кроме несправедливого процесса над ЧК) не есть отдельный суд над случайно стекшимися обстоятельствами, нет: это — сигнал судебной политики; это — витринный образец, по которому со склада отпускают для провинции; это — тип, это — перед разделом арифметического задачника одно образцовое решение, по которому ученики дальше сообразят сами.

Так, если сказано —«процесс церковников», то поймём во многомножественном числе. Да впрочем и сам Верховный Обвинитель охотно разъясняет нам: *«почти по всем Трибуналам Республики прокатились»* подобные процессы (стр. 61). Совсем недавно были они в Северодвинском, Тверском, Рязанском Трибуналах, в Саратове, Казани, Уфе, Сольвычегодске, Царёвококшайске. Судилось духовенство, псаломщики и активные прихожане — представители неблагодарной «православной церкви, *освобождённой Октябрьской революцией»*.

Читателю помнится тут противоречие: почему же многие эти процессы — ранее московского образца? Это — лишь недостаток нашего изложения. Судебное и внесудебное преследование освобождённой церкви началось ещё в 1918 году и, судя по звенигородскому делу, уже тогда достигло остроты. В октябре 1918 патриарх

---

* Бывший гвардеец-кавалергард Фиргуф, который «потом вдруг духовно переродился, всё роздал нищим и ушёл в монастырь;— я, впрочем, не знаю, была ли в действительности эта раздача». Да ведь если допустить духовные перерождения,— что ж остается от классовой теории?

Тихон писал в послании Совнаркому, что нет свободы церковной проповеди, что «уже заплатили кровью мученичества многие смелые церковные проповедники ... Вы наложили руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю». (Наркомы, конечно, послания не читали, а управделы вот уж хохотали: нашёл, чем корить,— посмертная воля! Да с ... мы хотели на наших предков!— мы только на потомков работаем.) «Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чём не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределённой контрреволюционности.» Правда, с подходом Деникина и Колчака остановились, чтоб облегчить православным защиту революции. Но едва гражданская война стала спадать — снова взялись за церковь и вот *прокатилось* по трибуналам, и в 1920 ударили и по Троице-Сергиевой лавре, добрались до мощей этого шовиниста Сергия Радонежского, перетряхнули их в московский музей.

Патриарх цитирует Ключевского: «Ворота лавры Преподобиого затворятся и лампады погасиут иад его гробницей только тогда, когда мы растратим без остатка весь духовный нравствеиный запас, завещаиный иам иашими великими строителями земли Русской, как Преподобный Сергий.» Не думал Ключевский, что эта растрата совершится почти при его жизни.

Патриарх просил приёма у Председателя Совета Народных Комиссаров, чтоб уговорить ие трогать лавру и мощи, ведь отделеиа же Церковь от государства! Отвечеио было, что Председатель товарищ Лении заият обсуждеииeм важных дел и свидаиие не может состояться в ближайшие дни.

Ни — в позднейшие.

И был циркуляр Наркомюста (25 августа 1920) о ликвидации всяких вообще святых мощей, ибо именно они затрудняли нам светоносное движение к новому справедливому обществу.

Следуя дальше за выбором Крыленки, оглядим и рассмотренное в *Верхтрибе* (так мило сокращают они между собой, а для нас-то, букашек, как рявкнут: встать! Суд идёт!).

Дело «Тактического центра» (16-20 августа 1920) — 28 подсудимых и ещё сколько-то обвиняемых заочно по недоступности.

Голосом, ещё не охрипшим в начале страстной речи, весь осветлённый классовым анализом, поведывает нам Верховный Обвинитель, что кроме помещиков и капиталистов «существовал и продолжает существовать ещё один общественный слой, над социальным бытием которого давно *задумываются* представители революционного социализма... Этот слой — *так называемой интеллигенции* ... В этом процессе мы будем иметь дело *с судом истории над деятельностью русской интеллигенции»* и с судом революции над ней (стр.34).

Специальная узость нашего исследования не даёт возможности охватить, как же именно *задумывались* представители революционного социализма над судьбой так называемой интеллигенции и что

же именно они для неё надумали? Однако нас утешает, что материалы эти опубликованы, всем доступны и могут быть собраны с любой подробностью. Поэтому лишь для ясности общей обстановки в Республике напомним мнение Председателя Совета Народных Комиссаров тех лет, когда все эти трибунальские заседания происходят.

В письме Горькому 15 сентября 1919 (мы его уже цитировали) Владимир Ильич отвечает на хлопоты Горького по поводу арестов интеллигенции и об основной массе тогдашней русской интеллигенции («околокадетской») пишет: «на деле это не мозг нации, а говно».* В другой раз он говорит Горькому: «Это её [интеллигенции] будет вина, если мы разобьём слишком много горшков... Если она ищет справедливости — почему она не идёт к нам?.. Мне от интеллигенции и попала пуля»** (то есть от Каплан).

Об интеллигенции он выражался: гнило-либеральная; «благочестивая»; «разгильдяйство, столь обычное у «образованных» людей»; считал, что она всегда недомысливает, что она «изменила рабочему делу». (Но именно рабочему делу — когда она присягала?)

Эту насмешку над интеллигенцией, это презрение к ней потом уверенно перехватили публицисты 20-х годов, и газеты 20-х годов, и быт, и наконец — сами интеллигенты, проклявшие своё вечное недомыслие, вечную двойственность, вечную беспозвоночность и безнадёжное *отставание от эпохи.*

И справедливо же! Вот рокочет под сводами Верхтриба голос Обвинительной Власти и возвращает нас на скамью:

«Этот общественный слой ... подвергся за эти годы испытанию всеобщей переоценки.» Переоценка, так часто говорилось тогда. И как же она прошла? А вот: «Русская интеллигенция, войдя в горнило Революции с лозунгами народовластия, вышла из него союзником чёрных (даже не белых!) генералов, наёмным (!) и послушным агентом европейского империализма. Интеллигенция попрала свои знамёна и забросала их грязью» (Крыленко, стр.54).

И только потому «нет нужды добивать отдельных её представителей», что «эта социальная группа отжила свой век».

На раскрыве XX столетия! Какая мощь предвидения! О, научные революционеры! *(Добивать* однако пришлось. Ещё все 20-е годы добивали и добивали.)

С неприязнью осматриваем мы 28 лиц союзников чёрных генералов, наёмников европейского империализма. Особенно шибает нам в нос этот *Центр* — тут и Тактический Центр, тут и Национальный Центр, тут и Правый Центр (а в память из процессов двух десятилетий лезут Центры, Центры и Центры, то инженерные, то меньшевистские, то троцкистско-зиновьевские, то право-бухаринские, и все разгромлены, и все разгромлены, и

---

* Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 51, стр. 48

** «В. И. Ленин и А. М. Горький». Изд. Акад. наук, М, 1961, стр. 263

только потому мы с вами ещё живы). Уж где Центр, там конечно рука империализма.

Правда, от сердца несколько отлегает, когда мы слышим далее, что судимый сейчас Тактический Центр *не был организацией*, что у него не было: 1) устава; 2) программы; 3) членских взносов. А что же было? Вот что: они в с т р е ч а л и с ь! (Мурашки по спине.) Встречаясь же, *ознакамливались с точкой зрения друг друга!* (Ледяной холод.)

Обвинения очень тяжёлые и поддержаны уликами: на 28 обвиняемых 2 (две) улики (стр.38). Это — два письма отсутствующих (они за границей) деятелей: Мякотина и Фёдорова. Отсутствующих, но до Октября состоявших в тех же разных Комитетах, что и присутствующие, и это даёт нам право отождествить отсутствующих и присутствующих. А письма о чём: о *расхождениях* с Деникиным по таким маленьким вопросам, как крестьянский (нам не говорят, но очевидно: советуют Деникину отдать землю крестьянам), еврейский, федеративно-национальный, административного управления (демократия, а не диктатура) и другие. И какой же вывод из улик? Очень простой: тем самым доказана переписка *и единство присутствующих с Деникиным!* (Б-р-р ... гав-гав!)

Но есть и прямые обвинения присутствующим: обмен информацией со своими знакомыми, проживавшими на окраинах (в Киеве, например), не подвластных центральной советской власти! То есть, допустим, раньше это была Россия, а потом в интересах мировой революции мы тот бок уступили Германии, а люди продолжают записочки посылать: как там, Иван Иваныч, живёте?.. а мы вот как ... И Н. М. Кишкин (член ЦК кадетов) даже со скамьи подсудимых нагло оправдывается: «человек не хочет быть слепым и стремится узнать всё, что делается всюду».

Узнать в с ё, что делается в с ю д у ?? .. Не хочет быть слепым??.. Так справедливо же квалифицирует их действия обвинитель как предательство! *предательство по отношению к Советской Власти!*

Но вот самые страшные их действия: в разгар гражданской войны они ... писали труды, составляли записки, проекты. Да, «знатоки государственного права, финансовых наук, экономических отношений, судебного дела и народного образования», они *писали труды!* (И, как легко догадаться, нисколько при этом не опираясь на предшествующие труды Ленина, Троцкого и Бухарина ...) Профессор С. А. Котляревский — о федеративном устройстве России, В. И. Стемпковский — по аграрному вопросу (и, вероятно, без коллективизации ...), В. С. Муралевич — о народном образовании в будущей России, профессор Карташёв — законопроект о вероисповеданиях. А (великий) биолог Н. К. Кольцов (ничего не видавший от родины, кроме гонений и казни) разрешал этим буржуазным китам собираться для бесед у него в институте. (Сюда же угодил и Н. Д. Кондратьев, которого в 1931 окончательно засудят по ТКП.)

Обвинительное наше сердце так и прыгает из груди, опережая приговор. Ну, какую, какую кару вот этим генеральским подручным? Одна им кара — р а с с т р е л ! Это не требование обвинителя — это уже приговор трибунала! (Увы, смягчили потом: концентрационный лагерь до конца гражданской войны.)

В том-то и вина подсудимых, что они не сидели по своим углам, досасывая четвертушку хлеба, «они столковывались и сговаривались между собой, каков должен быть государственный строй после падения советского».

На современном научном языке это называется: они изучали альтернативную возможность.

Грохочет голос обвинителя, но какая-то трещинка слышится нам, как будто он глазами шнырнул по кафедре, ищет ещё бумажку? цитатку? Мгновение! надо на цырлах подать! не эту ли, Николай Васильевич, пожалуйста:

«для нас . . . понятие *истязания* заключается уже в самом факте содержания политических заключённых в тюрьме . . .»

Вот что! Политических держать в тюрьме — это истязание! И это говорит обвинитель!— какой широчайший взгляд! Восходит новая юстиция! Дальше:

«. . .Борьба с царским правительством была их [политических] второй натурой и *не бороться* с царизмом они *не могли!*» (стр. 17).

Как не могли не изучать альтернативных возможностей? . . Может быть, мыслить — это даже первая натура интеллигента?

Ах, не ту цитату подсунули по неловкости, не из того процесса. Вот конфуз! . . Но Николай Васильевич уже в своей руладе:

«И даже если бы обвиняемые здесь, в Москве, не ударили пальцем о палец — (оно как-то похоже, что так и было . . .) — всё равно: . . .в такой момент даже разговоры за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы Советскую власть, являются контрреволюционным актом . . . Во время гражданской войны преступно не только всякое действие [против советской власти] . . . *преступно само бездействие*» (стр. 39).

Ну вот теперь всё понятно. Их приговорят к расстрелу — за бездействие. За чашку чая.

Например, петроградские интеллигенты решили в случае прихода Юденича «прежде всего озаботиться созывом демократической городской думы» (то есть, чтоб отстоять её от генеральской диктатуры).

Крыленко:— Мне хотелось бы им крикнуть: «Вы обязаны были думать прежде всего — как бы лечь костьми, но не допустить Юденича!!»

А они — не легли.

(Впрочем, и Николай Васильевич не лёг.)

А ещё такие есть подсудимые, кто был *осведомлён!— и молчал.* («Знал — не сказал» по-нашенскому.)

А вот уже не бездействие, вот уже активное преступное действие: через Л. Н. Хрущёву, члена политического Красного Креста (тут же и она, на скамье), другие подсудимые *помогали*

бутырским заключённым деньгами (можно себе представить этот поток капиталов — на тюремный ларёк) и вещами (да ещё, гляди, шерстяными?).

Нет меры их злодеяниям! Да не будет же удержу и пролетарской каре!

Как при падающем киноаппарате, косой неразборчивой лентой проносятся перед нами двадцать восемь дореволюционных мужских и женских лиц. Мы не заметили их выражений! — они напуганы? презрительны? горды?

Ведь их ответов нет! ведь их последних слов нет! — по техническим соображениям . . . Покрывая эту недостачу, обвинитель напевает нам: «Это было сплошное самобичевание и раскаяние в совершённых ошибках. Политическая невыдержанность и промежуточная природа интеллигенции . . . — (да-да, ещё вот это: промежуточная природа!) — . . .в этом факте всецело оправдала ту марксистскую оценку интеллигенции, которая всегда давалась ей большевиками» (стр.8).

А кто эта женщина молодая промелькнула?

Это — дочь Толстого, Александра Львовна. Спросил Крыленко: что она делала на этих беседах? Ответила: «Ставила самовар!» — Три года концлагеря!

По зарубежному журналу «На чужой стороне»* мы можем установить, чтó на самом деле было.

Ещё летом 1917 при Временном правительстве возник Союз общественных деятелей — помочь довести войну до победного конца и противодействовать социалистическим течениям, особенно эсерам. После октябрьского переворота многие видные члены уехали, другие остались, больше нельзя было созывать съездов, заниматься организованной деятельностью, но интеллигенты привыкли думать, оценивать события, обмениваться мыслями — и им трудно было сразу от этой привычки отстать. Близость к академическому миру позволяла им придавать своим встречам вид научных конференций. Обсуждать же было тогда многое что: Брест-Литовский мир, выход из войны ценой потери огромных территорий, новые отношения с бывшими союзниками и бывшими врагами, в то время как в Европе война продолжалась. Одни — во имя свободы и демократии, а также союзнического долга,— считали, что надо продолжать помогать союзникам, а Брестский мир заключён людьми, не имевшими полномочий от страны. Некоторые надеялись, что как только Красная Армия укрепится, так советская власть порвёт с немцами. Другие надеялись, напротив, на немцев, что они, став по договору хозяевами половины России, теперь устранят большевиков. (А немцы справедливо считали, что работать на кадетов значит работать на англичан, и всякое другое правительство, кроме советского, возобновит войну с Германией.)

На этих разногласиях летом 1918 из Союза общественных деятелей выделился Национальный Центр — а по сути просто кружок, резко-союзнической ориентации, кадетский по составу, но как огня боявшийся возобновления партийной формы, решительно запрещённой большевиками. Ничего этот кружок не делал, кроме замаскированных собраний в институте профессора Кольцова. Иногда посылали своих членов на Кубань для осведомления — но те канывали там и как бы забывали о московских. (Впрочем, и союзники выказывали к Добровольческой армии самый

---

* «На чужой стороне». Историко-литературные сборники под ред. С. П. Мельгунова, Берлин — Прага.

С. П. Мельгунов. «Суд истории над интеллигенцией», III, 1923

С. А. Котляровский. «Национальный центр» в Москве в 1918», VIII, 1924

слабый интерес.) Но более всего Национальный Центр сосредоточился на мирной выработке законопроектов для будущей России.

Одновременно с Национальным Центром и левее его создался Союз Возрождения (в основном эсеровский — неудобно объединяться с кадетами, возобновлялись привычные партийные направления и представления) — для борьбы и против немцев и против большевиков. Но и эта борьба показалась им невозможной на большевистской территории и сводилась к отсылке людей на юг. Однако и районы Добровольческой армии отталкивали их своею реакционностью.

Задыхаясь в вакууме военного коммунизма, весной 1919 все три — Совет общественных деятелей, Национальный Центр и Союз Возрождения, решили поддерживать систематическую координацию и для этого выделили по два человека. Образовавшаяся шестёрка иногда собиралась, в течение 1919, затем замерла, перестала существовать. Аресты же их начались только в 1920 году — и тогда-то, во время следствия, шестёрка была громко обозвана «Тактическим центром».

Аресты произошли по доносу одного из бледных участников Национального Центра — Н. Н. Виноградского, он продолжал быть и успешливым «наседкой» в камере Особого Отдела, через которую пропускали многих участников,— а они, с наивностью тех ещё крыловских лет, открыто рассказывали в камере то, что хотели утаить от следователя.

Известный русский историк С. П. Мельгунов, также попавший в число подсудимых и притом главных (член шестёрки), в эмиграции написал изнехотя воспоминания об этом процессе — может быть и избежал бы писать, если б не опубликовалась как раз вот эта самая наша книга Крыленки с вот этой самой громовой речью. И Мельгунов с досадой на себя и одноделъцев рисует нам такую известную для советского следствия картину: никаких улик у следствия не было, «ни одного документа в деле не оказалось. Весь обвинительный материал почерпнут был из показаний самих подсудимых... Все будущие участники процесса во время предварительного следствия не держались тактики молчания... Казалось, что принципиальным неговорением я без нужды отягчаю свою судьбу и, может быть, судьбу других... Когда стоишь перед возможностью расстрела, не всегда думаешь об истории.»

В «Красной книге ВЧК» (т.I, М, 1922) многие показания подследственных приведены дословно, и они, увы, неприглядны.

Мельгунов без юмора ставит в упрёк следователю Якову Агранову (который их всех и скрутил) — *обман* его и других подследственных, ловкое дураченье, о котором он считает, что «большего издевательства надо мною быть не могло», хуже, мол, всякого физического воздействия. И Мельгунов, столь проницательно потом объяснявший немало исторических лиц русской революции, тут сам легко попадается: подтверждает участие в Союзе Возрождения тех лиц, которые как будто уже прояснились из письменных показаний, ему предъявленных. И вообще «стал давать более или менее связные показания»— как рассказ, без выделения следовательских вопросов. (Эти показания изумляли и подавляли одноделъцев, которым их показывали в свою очередь: как будто он рассказывал всё своею неудержимой охотой.)

«Купил» их всех Агранов и на том, что поскольку это —«дело прошлое», все эти центры уже не заседают давно — то и опасности подследственным никакой нет, ЧК выясняет всё лишь для исторического интереса. Многих обворожил Яков Саулович любезностью. Перед другими резко поставил равенство советской власти и России и, стало быть, преступность бороться против первой, если любишь вторую. И так получил от некоторых действительно униженные и угодливые показания. (В частности, статья Котляревского, указанная в сноске, была исследованием арестанта по заданию Агранова.)

А на суде? Мельгунов: «Революционная традиция [интеллигенции] требовала известного героизма, а в душе не было нужного для такого героизма пафоса. Превратить суд в демонстрацию протеста — означало сознательное ухудшение не только своего положения, но и других».

Вот так легко попадалась на чекистский крючок и сдавалась и гибла русская интеллигенция, такая свободолюбивая, такая непримиримая, такая несгибаемая при царе — когда за неё и не брались.

Но того ярче и страшией другая удача Аграиова — «тагаицевское дело» 1921 года (хотя оно не к этой главе относится, потому что суда не было). Профессор Таганцев 45 дией следствия героически молчал. А потом убедил его Аграиов подписать с иим соглашение:

«Я, Таганцев, созиательно иачинаю делать показаиия о иашей организации, не утаивая ничего... ие утаю ии одиого лица, причастиого к иашей группе. Всё это я делаю для облегчеиия участи участников иашего процесса.

Я, уполиомочениый ВЧК Яков Саулович Аграиов, при помощи граждаииа Тагаицева обязуюсь быстро закоичить следственное дело и после окоичаиия передать в гласный суд... Обязуюсь, что ни к кому из обвиняемых ие будет применеиа высшая мера наказаиия».

И по тагаицевскому делу — ЧК расстреляла 87 человек.

Так восходило солнце иашей свободы. Таким упитаиным шалуиом рос иаш октябрёнок-Закон.

Мы теперь совсем ие помиим этого.

Глава 9

ЗАКОН МУЖАЕТ

Наш обзор уже затяиулся. А ведь мы ещё и ие иачииали. Ещё все главиые, ещё все знамеиитые процессы впереди. Но осиовиые лииии уже промечаются.

Посопутствуем нашему закоиу ещё н в пиоиерском возрасте.

Упомяием давио забытый и даже ие политический

Процесс Главтопа (май 1921) — за то, что он касался иижеиеров, илн *спецов*, как говорилось тогда.

Прошла жесточайшая из четырёх зим граждаиской войиы, когда уж вовсе не осталось, чем топить, и поезда не дотягивалн до станций, и в столицах был холод и голод, и волиа заводских забастовок (теперь вычеркиутых из истории). Зиамеиитый вопрос: к т о в и и о в а т ?

Ну, коиечно, не Общее Руководство. Но даже и ие Местиое!— вот важно. Если «товарищи, часто пришедшие со стороиы» (коммуиисты-руководители), не нмели правильного представлеиия о деле, то для ннх «наметнть правнльиый подход к вопросу» должны были спецы!* Так значит: «ие руководителн виноваты . . .— вниоваты те, кто высчитывал, пересчнтывал н составлял план» (как иакормить н натопить нолями). Виновaт ие кто *заставлял*, а кто *составлял!* Плановость обернулась дутостью — спецы и вииоваты. Что цифры не сошлись —«это виив спецов, а не Совета Труда н Обороны», даже «и ие ответствеииых руководителей Главтопа». Нет ии угля, ии дров, ни иефтн — это спецами «создаио запутанное, хаотнческое положение». И их же виив, что они ие выстанвали против срочиых телефоиограмм Рыкова — н выдавали, н отпускали кому-то не по плаиу.

Во всём вииоваты спецы! Но не беспощадеи к ним пролетарский суд, прнговоры мягки. Коиечно, в пролетарских рёбрах сохраияется нутряная чуждость к этим проклятым спецам,—однако, без иих не потянешь, всё в развале. И Трнбунал нх ие травит, даже говорнт Крыленко, что с 1920 года «о саботаже иет речи». Спецы вииоваты, да, ио они не по злостн, а просто — путаники, не умеют лучше, ие иаучились работать прн капиталнзме, или просто эгоисты н взяточиики.

---

* Н. В. Крыленко. «За пять лет (1918—1922)». Обвиннтельные речн по процессам, заслушанным в Московском н Верховном Революционных Трнбуналах. ГИЗ, М-Пгд, 1923, стр. 381

Так в начале восстановительного периода намечен удивительный пунктир снисходительности к инженерам.

Богат был гласными судебными процессами 1922 год — первый мирный год, так богат, что вся эта наша глава почти и уйдёт на один этот год. (Удивятся: война прошла — и такое оживление судов? Но ведь и в 1945 и в 1948 Дракон оживился чрезвычайно. Нет ли тут самой простой закономерности?)

Хотя в декабре 1921 и постанавливал IX съезд Советов «сужать компетенцию ВЧК»* — и с тем замыслом ужималась она и переименовывалась в ГПУ,— но уже в октябре 1922 права ГПУ были снова расширены, а в декабре Дзержинский говорил корреспонденту «Правды» (17.12.22): «Теперь нам нужно о с о б е н н о з о р к о присматриваться к антисоветским течениям и группировкам. ГПУ сжало свой аппарат, но оно укрепило его качественно».

В начале того года не упустим

Дело о самоубийстве инженера Ольденборгера (Верхтриб, февраль 1922) — никем уже не помнимый, незначительный и совсем не характерный процесс. Потому не характерный, что объём его — одна единственная человеческая жизнь, и она уже окончилась. А если б не окончилась, то именно тот инженер, да с ним человек десять, образуя *центр,* и сидели бы перед Верхтрибом, и тогда процесс был бы вполне характерный. А сейчас на скамье — видный партийный товарищ Седельников, да два рабкриновца, да два профсоюзника.

Но, как дальняя лопнувшая струна у Чехова, что-то щемящее есть в этом процессе раннего предшественника шахтинцев и «Промпартии».

В. В. Ольденборгер тридцать лет проработал на московском водопроводе и стал его главным инженером видимо ещё с начала века. Прошёл Серебряный Век искусства, четыре Государственных Думы, три войны, три революции — а вся Москва пила воду Ольденборгера. Акмеисты и футуристы, реакционеры и революционеры, юнкера и красногвардейцы, СНК, ЧК и РКИ — пили чистую холодную воду Ольденборгера. Он не был женат, у него не было детей, во всей жизни его был — только этот один водопровод. В 1905 он не допустил на водопровод солдат охраны —«потому что солдатами могут быть по неловкости поломаны трубы или машины». (А бастовать водопроводу никто не помешал тогда, в 1905 оставляли Москву и без воды — может быть Ольденборгер и перекрыл?) На второй день февральской революции он сказал своим рабочим, что революция кончилась, хватит, все по местам, вода должна идти. И в московских октябрьских боях была у него одна забота: сохранить водопровод. Его сотрудники забастовали в ответ на

* «Собрание Узаконений РСФСР», 1922, № 4, стр. 42

большевистский переворот, пригласили его. Он ответил: «С технической стороны я, простите, не бастую. А в остальном... в остальном я, иу да...» Он принял для бастующих деньги от стачечной комиссии, выдал расписку, но сам побежал добывать муфту для испортившейся трубы.

И всё равно он враг! Он вот что сказал рабочему: «Советская власть не продержится и двух недель.» Есть новая преднэповская установка, и Крыленко разрешает себе пооткровенничать с Верхтрибом: «Так думали тогда не только спецы,— *так думали не раз и мы*» (стр. 439, курсив мой — А. С.).

И всё равно он враг! Как сказал нам товарищ Ленин: для наблюдеиия за буржуазными специалистами нуждаемся в сторожевом псе РКИ.

Двух таких сторожевых псов стали постоянно держать при Ольденборгере. (Один из иих — плут-конторщик водопровода Макаров-Землянский, уволенный за «неблаговидиые поступки», подался в РКИ, «потому что там лучше платят», поднялся в Центральный Наркомат, потому что «там оплата ещё лучше»,— и оттуда приехал контролировать своего бывшего иачальника, мстить обидчику от всего сердца.) Ну, и местком ие дремал, конечно,— этот лучший защитник рабочих интересов. Ну, и коммунисты же возглавили водопровод. «Только рабочие должны стоять у иас во главе, только коммунисты должны обладать всей полнотой руководства,— правильность этой позиции подтвердилась и даиным процессом» (стр. 433). Ну, и московская же партийная организация глаз не спускала с водопровода. (А за ией сзади — ещё ЧК.) *«На здоровом чувстве классовой неприязни* строили мы в своё время нашу армию; во имя её же ни одиого ответственного поста мы не поручаем людям не нашего лагеря, не приставив к ним ... комиссара» (стр. 434). Сразу стали все главного инженера поправлять, иаправлять, учить и без его ведома перемещать технический персонал («рассосали всё гнездо дельцов»).

И всё равио водопровода ие спасли! Дело ие лучше стало идти, а хуже!— так умудрялась шайка инжеиеров исподтишка проводить злой умысел. Более того: переступив свою промежуточную интеллигентскую природу, из-за которой иикогда в жизни ои резко не выражался, Ольдеиборгер осмелился назвать действия нового начальника водопровода Зенюка («фигуры глубоко-симпатичиой» Крыленке «по своей внутреииеи структуре») — самодурством!

Вот тогда-то стало ясно, что «инженер Ольденборгер сознательно предаёт интересы рабочих и является прямым и открытым противником диктатуры рабочего класса». Стали зазывать на водопровод проверочные комиссии—однако комиссии иаходили, что всё в порядке и вода идёт иормальио. Рабкриновцы на этом не помирились, они сыпали и сыпали доклады в РКИ. Ольдеиборгер просто хотел «разрушить, испортить, сломать водопровод в политических целях», да не умел это сделать. Ну, в чём могли — мешали ему, мешали расточительному ремонту котлов или замеие деревянных баков на бетонные. Вожди рабочих стали въявь говорить на

собраниях водопровода, что их главный инженер — «душа организованного технического саботажа» и надо не верить ему и во всём сопротивляться.

И всё равно работа не исправилась, а пошла хуже! ..

И что особенно ранило «потомственную пролетарскую психологию» рабкриновцев и профсоюзников — что большинство рабочих на водокачках, «заражённые мелко-буржуазной психологией», стояли на стороне Ольденборгера и не видели его саботажа. А тут ещё подоспели выборы в Моссовет, и от водопровода рабочие выдвинули кандидатуру Ольденборгера, которой партячейка, разумеется, противопоставила партийную кандидатуру. Однако, она оказалась безнадёжной из-за фальшивого авторитета главного инженера среди рабочих. Тем не менее комячейка послала в райком, во все инстанции и объявила на общем собрании свою резолюцию: «Ольденборгер — центр и душа саботажа, в Моссовете он будет нашим политическим врагом!». Рабочие ответили шумом и криками «неправда!», «врёте!». И тогда секретарь парткома товарищ Седельников прямо объявил в лицо тысячеголовому пролетариату: «С такими черносотенцами я и говорить не хочу!», в другом месте, мол, поговорим.

Приняли такие партийные меры: исключили главного инженера из ... коллегии по управлению водопроводом, создали для него постоянную обстановку следствия, непрерывно вызывали его в многочисленные комиссии и подкомиссии, допрашивали и давали задания к срочному исполнению. Каждую его неявку заносили в протоколы «на случай будущего судебного процесса». Через Совет Труда и Обороны (председатель — товарищ Ленин) добились назначения на водопровод «Чрезвычайной Тройки» (Рабкрин, Совет Профсоюзов и тов. Куйбышев).

А вода уже четвёртый год всё шла по трубам, москвичи пили и ничего не замечали ...

Тогда тов. Седельников написал статью в «Экономическую жизнь»: «ввиду волнующих общественное мнение слухов о катастрофическом состоянии водопровода» он сообщил много новых тревожных слухов и даже: что водопровод качает воду под землю и «сознательно подмывает фундамент всей Москвы» (заложенный ещё Иваном Калитой). Вызвали комиссию Моссовета. Она нашла: «состояние водопровода удовлетворительное, техническое руководство рациональное». Ольденборгер опроверг все обвинения. Тогда Седельников благодушно: «я ставил своей задачей *сделать шум* вокруг вопроса, а дело спецов разобраться в этом вопросе».

И что ж оставалось рабочим вождям? Какое последнее, но верное средство? Донос в ВЧК! Седельников так и сделал! Он «видит картину сознательного разрушения водопровода Ольденборгером», у него не вызывает сомнения «наличие на водопроводе, в сердце Красной Москвы, контрреволюционной организации». К тому ж и: катастрофическое состояние Рублёвской башни!

Но тут Ольденборгер допускает бестактную оплошность, беспозвоночный и промежуточный интеллигентский выпад: ему «зарезали»

заказ на новые заграничные котлы (а старые в России сейчас починить невозможно) — и он кончает с собой. (Слишком много для одного, да ведь ещё и не тренированы.)

Дело не упущено, контрреволюционную организацию можно найти и без него, рабкриновцы берутся всю её выявить. Два месяца идут какие-то глухие манёвры. Но дух начинающегося НЭПа таков, что «надо дать урок и тем и другим». И вот — процесс Верховного Трибунала. Крыленко в меру суров. Крыленко в меру неумолим. Он понимает: «Русский рабочий, конечно, был прав, когда в каждом *не своём* видел скорее врага, чем друга», но: «при дальнейшем изменении нашей практической и общей политики, может быть, нам придётся идти ещё на большие уступки, отступать и лавировать; быть может, партия окажется принуждённой избрать тактическую линию, против которой станет возражать примитивная логика честных самоотверженных борцов» (стр. 458).

Ну, правда, рабочих, свидетельствующих против товарища Седельникова и рабкриновцев, трибунал «третировал с лёгкостью». И бестревожно отвечал подсудимый Седельников на угрозы обвинителя: «Товарищ Крыленко! Я знаю эти статьи; но ведь *здесь не классовых врагов судят*, а эти статьи относятся к врагам класса.»

Однако и Крыленко сгущает бодро. Заведомо ложные доносы государственным учреждениям ... при увеличивающих вину обстоятельствах (личная злоба, сведение личных счётов)... использование служебного положения... политическая безответственность... злоупотребление властью, авторитетом советских работников и членов РКП(б)... дезорганизация работы на водопроводе... ущерб Моссовету и Советской России, потому что мало таких специалистов... заменить невозможно... *«Не будем уже говорить об индивидуальной личной утрате* ... В наше время, когда борьба представляет главное содержание нашей жизни, мы как-то привыкли мало считаться с этими невозвратимыми утратами ... (стр. 458) Верховный Революционный Трибунал должен сказать своё веское слово ... Уголовная кара должна лечь со всей суровостью!.. Мы не шутки пришли играть здесь!..»

Батюшки, что ж им теперь? Неужели...? Мой читатель привык и подсказывает: в с е х р а с...

Совершенно верно. Всех рас-смешить: ввиду чистосердечного раскаяния подсудимых приговорить их к ... общественному порицанию!

Две правды ...

А Седельникова будто бы — к одному году тюрьмы.

Разрешите не поверить.

О, барды 20-х годов, кто представляет их светлым бурлением радости! Даже краем коснувшись, даже только детством коснувшись — ведь их не забыть. Эти хари, эти мурлы, травившие инженеров,— в двадцатые-то годы они и отъедались.

Но видим теперь, что и с 18-го ...

* * *

В двух следующих процессах мы несколько отдохнём от нашего излюбленного верховного обвинителя: он занят подготовкой к большому процессу эсеров. (Провинциальные процессы эсеров, вроде Саратовского, 1919, были и раньше.) Этот грандиозный процесс уже заранее вызвал волнение в Европе, и спохватился Наркомюст: ведь четыре года судим, а уголовного кодекса нет, ни старого, ни нового. Наверно, и забота о кодексе не вовсе миновала Крыленку: надо было заранее всё увязывать.

Предстоявшие же церковные процессы были *внутренние*, прогрессивную Европу не интересовали, и можно было провернуть их без кодекса.

Мы уже видели, что отделение церкви от государства понималось государством так, что сами храмы и всё, что в них навешано, наставлено и нарисовано, отходят к государству, а церкви остаётся лишь та церковь, что *в рёбрах*, согласно Священному Писанию. И в 1918 году, когда политическая победа казалась уже одержанной, быстрее и легче, чем ожидалось, приступили к церковным конфискациям. Однако этот наскок вызвал слишком большое народное возмущение. В разгоравшуюся гражданскую войну неразумно было создавать ещё внутренний фронт против верующих. Пришлось диалог коммунистов и христиан пока отложить.

В конце же гражданской войны, как её естественное последствие, разразился небывалый голод в Поволжьи. Так как он не очень украшает венец победителей в этой войне, то о нём и буркают у нас не более, как по две строки. А голод этот был — до людоедства, до поедания родителями собственных детей — такой голод, какого не знала Русь и в Смутное Время (ибо тогда, свидетельствуют летописцы, выстаивали по нескольку лет под снегом и льдом неразделанные хлебные зароды). Один фильм об этом голоде может быть переосветил бы всё, что мы видели, и всё, что мы знаем о революции и гражданской войне. Но нет ни фильмов, ни романов, ни статистических исследований — это стараются забыть, это не красит. К тому ж п р и ч и н у всякого голода мы привыкли сталкивать на *кулаков*,— а среди всеобщей смерти кто ж были кулаки? В. Г. Короленко в «Письмах к Луначарскому»* (вопреки обещанию последнего, никогда у нас не изданных) объясняет нам повальное выголаживание и обнищание страны: это — от падения всякой производительности (трудовые руки заняты оружием) и от падения крестьянского доверия и надежды хоть малую долю урожая оставить себе. Да когда-нибудь кто-нибудь подсчитает и те многомесячные многовагонные продовольственные поставки по Брестскому миру — из России, лишившейся языка протеста, и даже из областей будущего голода — в кайзеровскую Германию, довоёвывающую на Западе.

---

* «Задруга», Париж, 1922, и Самиздат, 1967

Прямая и короткая причинная цепочка: потому поволжане ели своих детей, что большевики захватили силою власть и вызвали гражданскую войну.

Но гениальность политика в том, чтоб извлечь успех и из народной беды. Это озарением приходит — ведь три шара ложатся в лузы одним ударом: *пусть попы и накормят теперь Поволжье!* ведь они — христиане, они — добренькие!

1) Откажут — и весь голод переложим на них, и церковь разгромим;

2) согласятся — выметем храмы;

3) и во всех случаях пополним валютный запас.

Да вероятно догадка была навеяна действиями самой церкви. Как показывает патриарх Тихон, ещё в августе 1921, в начале голода, церковь создала епархиальные и всероссийские комитеты для помощи голодающим, начали сбор денег. Но допустить прямую помощь от церкви и голодающему в рот значило подорвать диктатуру пролетариата. Комитеты запретили, а деньги отобрали в казну. Патриарх обращался за помощью и к Папе Римскому и к архиепископу Кентерберийскому,— но и тут оборвали его, разъяснив, что вести переговоры с иностранцами уполномочена только советская власть. Да и не из чего раздувать тревогу: писали газеты, что власть имеет все средства справиться с голодом и сама.

А на Поволжьи ели траву, подмётки и грызли дверные косяки. И наконец в декабре 1921 Помгол (государственный комитет помощи голодающим) предложил церкви: пожертвовать для голодающих церковные ценности — не все, но не имеющие богослужебного канонического употребления. Патриарх согласился, Помгол составил инструкцию: все пожертвования — только добровольно! 19 февраля 1922 Патриарх выпустил послание: разрешить приходским советам жертвовать предметы, не имеющие богослужебного значения.

И так всё опять могло распылиться в компромиссе, обволакивающем пролетарскую волю.

Мысль — удар молнии! Мысль — декрет! Декрет ВЦИК 26 февраля: изъять из храмов в с е ценности — для голодающих!

Патриарх написал Калинину — тот не ответил. Тогда 28 февраля Патриарх издал новое, роковое послание: с точки зрения Церкви подобный акт — святотатство, и мы не можем одобрить изъятия.

Из полустолетнего далека легко теперь упрекнуть Патриарха. Может быть, руководители христианской Церкви не должны были отвлекаться мыслями: а нет ли у советской власти других ресурсов или к т о довёл Волгу до голода; не должны были держаться за эти ценности, совсем не в них предстояло возникнуть (если предстояло) новой крепости веры. Но и надо представить себе положение этого несчастного Патриарха, избранного уже после Октября, короткие годы руководившего Церковью только теснимой, гонимой, расстреливаемой — и доверенной ему на сохранение.

И тут же в газетах началась беспроигрышная травля Патриарха и высших церковных чинов, удушающих Поволжье костлявой

рукой голода! И чем твёрже упорствовал Патриарх, тем слабей становилось его положение. В марте началось движение и среди духовенства — уступить ценности, войти в согласие с властью. Опасения, которые здесь оставались, выразил Калинину епископ Антонин Грановский, вошедший в ЦК Помгола: «Верующие тревожатся, что церковные ценности могут пойти на *иные*, узкие и чуждые их сердцам цели». (Зная общие принципы Передового Учения, опытный читатель согласится, что это — очень вероятно. Ведь нужды Коминтерна и освобождающегося Востока не менее остры, чем поволжские.)

Также и петроградский митрополит Вениамин пребывал в бессомненном порыве: «это — Богово, и мы всё отдадим сами». Но не надо изъятия, пусть это будет вольная жертва. Он тоже хотел контроля духовенства и верующих: сопровождать церковные ценности до того момента, как они превратятся в хлеб для голодающих. Он терзался, как при всём этом не преступить и осуждающей воли Патриарха.

В Петрограде как будто складывалось мирно. На заседании петроградского Помгола 5 марта 1922 создалась, по рассказу свидетеля, даже радушная обстановка. Вениамин огласил: «Православная Церковь готова всё отдать на помощь голодающим» и только в насильственном изъятии видит святотатство. Но тогда изъятие и не понадобится! Председатель Петропомгола Канатчиков заверил, что это вызовет благожелательное отношение Советской власти к церкви. (Как бы не так!) В тёплом порыве все встали. Митрополит сказал: «Самая главная тяжесть — рознь и вражда. Но будет время — сольются русские люди. Я сам во главе молящихся сниму ризы с Казанской Божьей матери, сладкими слезами опла́чу их и отдам.» Он благословил большевиков — членов Помгола, и те с непокрытыми головами провожали его до подъезда. «Петроградская правда» от 8, 9 и 10 марта* подтверждает мирный и успешный исход переговоров, благожелательно пишет о митрополите. «В Смольном договорились, что церковные чаши, ризы в присутствии верующих будут перелиты в слитки.»

И опять же вымазывается какой-то компромисс! Ядовитые пары христианства отравляют революционную волю. *Такое* единение и *такая* сдача ценностей не нужны голодающим Поволжья! Сменяется бесхребетный состав Петропомгола, газеты взлаивают на «дурных пастырей» и «князей церкви», и разъясняется церковным представителям: не надо никаких ваших жертв! и никаких с вами переговоров! *всё принадлежит власти* — и она возьмёт, что́ считает нужным.

И началось в Петрограде, как и всюду, принудительное изъятие со столкновениями.

---

* Статьи «Церковь и голод», «Как будут изъяты церковные ценности».

Теперь были законные основания начать церковные процессы.*

Московский церковный процесс (26 апреля — 7 мая 1922), в Политехническом музее, Мосревтрибунал, председатель Бек, прокуроры Лунин и Лонгинов. 17 подсудимых, протоиереев и мирян, обвинённых в распространении патриаршего воззвания. Это обвинение — важней самой сдачи или несдачи ценностей. Протоиерей А. Н. Заозерский в своём храме ценности сдал, но в принципе отстаивает патриаршее воззвание, считая насильственное изъятие святотатством, — и стал центральной фигурой процесса — и будет сейчас р а с с т р е л я н. (Что и доказывает: не голодающих важно накормить, а сломить в удобный час церковь.)

5 мая вызван в Трибунал свидетелем — патриарх Тихон. Хотя публика в зале — уже подобранная, подсаженная (в этом 1922 год не сильно отличается от 1937 и 1968), но так ещё въелась закваска Руси и так ещё плёнкой закваска Советов, что при входе Патриарха поднимается принять его благословение больше половины присутствующих.

Патриарх берёт на себя всю вину за составление и рассылку воззвания. Председатель старается допытаться: да не может этого быть! да неужели своею рукой — и все строчки? да вы, наверно, только подписали, а *кто писал? а кто советчики?* И потом: зачем вы в воззвании упоминаете о травле, которую газеты ведут против вас? (Ведь травят в а с, зачем же это слышать н а м ? . .) Что вы хотели выразить?

Патриарх — Это надо спросить у тех, кто травлю поднимал, с какой целью это поднимается?

Председатель — Но ведь это ничего общего не имеет с религией!

Патриарх — Это исторический характер имеет.

Председатель — Вы употребили выражение, что пока вы с Помголом вели переговоры — «за спиною» был выпущен декрет?

Патриарх — Да.

Председатель — Таким образом вы считаете, что Советская власть поступила неправильно?

Сокрушительный аргумент! Ещё миллионы раз нам его повторят в следовательских ночных кабинетах! И мы никогда не будем сметь так просто ответить, как

Патриарх — Да.

Председатель — Законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет?

Патриарх — Да, признаю, *поскольку они не противоречат правилам благочестия.*

(Все бы так отвечали! Другая была б наша история!)

---

* Материалы взяты мною из «Очерков по истории церковной смуты» Анатолия Краснова-Левитина, ч. 1, Самиздат, 1962, и «Записи допроса патриарха Тихона», том V Судебного Дела.

Идёт переспрос о канонике. Патриарх поясняет: если Церковь сама передаёт ценности — это не святотатство, а если отбирать помимо ее воли — святотатство. В воззвании не сказано, чтобы вообще не сдавать, а только осуждается сдача против воли.

Изумлён *председатель товарищ Бек* — Что же для вас в конце концов более важно — церковные каноны или точка зрения советского правительства?

(Ожидаемый ответ —... советского правительства.)

— Хорошо, пусть святотатство по канонам,— восклицает *обвинитель*,— но с точки зрения милосердия!!

(Первый раз и за 50 лет последний вспоминают на трибунале это убогое милосердие...)

Проводится и филологический анализ. «Святотатство» от слова свято-тать.

Обвинитель — Значит, мы, представители советской власти,— воры по святым вещам?

(Долгий шум в зале. Перерыв. Работа комендантских помощников.)

Обвинитель — Итак, вы представителей советской власти, ВЦИК, называете ворами?

Патриарх — Я привожу только каноны.

Далее обсуждается термин «кощунство». При изъятии из церкви Василия Кесарийского иконная риза не входила в ящик, и тогда её топтали ногами. Но сам Патриарх там не был?

Обвинитель — Откуда вы знаете? *Назовите фамилию* того священника, который вам это рассказывал! (= мы его сейчас посадим!)

Патриарх не называет.

Значит — ложь!

Обвинитель наседает торжествующе — Нет, кто эту гнусную клевету распространил?

Председатель — Назовите фамилии тех, кто топтал ризу ногами!— (Они ведь при этом визитные карточки оставляли.) — Иначе Трибунал не может вам верить!

Патриарх не может назвать.

Председатель — Значит, вы заявляете голословно!

Ещё остаётся доказать, что Патриарх хотел свергнуть советскую власть. Вот как это доказывается: «агитация является попыткой подготовить *настроение*, чтобы в будущем подготовить и *свержение*».

Трибунал постановляет возбудить против Патриарха уголовное дело.

7 мая выносится приговор: из семнадцати подсудимых — одиннадцать к расстрелу. (Расстреляют пятерых.)

Как говорил Крыленко, мы не шутки пришли играть.

Ещё через неделю Патриарх отстранён и арестован. (Но это ещё не самый конец. Его пока отвозят в Донской монастырь и там будут содержать в строгом заточении, пока верующие привыкнут

к его отсутствию. Помните, удивлялся не так давно Крыленко: а какая опасность грозит патриарху? .. Верно, когда подкрадётся, не поможешь ни звоном, ни телефоном.)

Ещё через две недели арестовывают в Петрограде и митрополита Вениамина. Он не был высокий сановник церкви, ни даже — назначенный, как все митрополиты. Весною 1917— впервые со времён древнего Новгорода — *избрали* митрополита в Москве (Тихона) и в Петрограде (Вениамина). Общедоступный, кроткий, частый гость на заводах и фабриках, популярный в народе и в низшем духовенстве,— их голосами и был избран Вениамин. Не понимая времени, задачею своей он видел свободу церкви от политики, «ибо в прошлом она много от неё пострадала». Этого-то митрополита и вывели на

Петроградский церковный процесс (9 июня —5 июля 1922). Обвиняемых (в сопротивлении сдаче церковных ценностей) было несколько десятков человек, в том числе — профессора богословия, церковного права, архимандриты, священники и миряне. Председателю трибунала Семёнову — 25 лет отроду (по слухам — булочник). Главный обвинитель — член коллегии Наркомюста П. А. Красиков — ровесник и красноярский, а потом эмигрантский приятель Ленина, чью игру на скрипке Владимир Ильич так любил слушать.

Ещё на Невском и на повороте с Невского что ни день густо стоял народ, а при провозе митрополита многие опускались на колени и пели «Спаси, Господи, люди Твоя!» (Само собою, тут же, на улице, как и в здании суда, арестовывали слишком ретивых верующих.) В зале большая часть публики — красноармейцы, но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке. А обвинитель и трибунал называли его *врагом народа* (словечко уже было, заметим).

От процесса к процессу сгущаясь, уже очень чувствовалось стеснённое положение адвокатов. Крыленко ничего нам не рассказал о том, но тут рассказывает очевидец. Главу защитников Бобрищева-Пушкина *самого посадить* загремел угрозами Трибунал — и так это было уже в нравах времени, и так это было реально, что Бобрищев-Пушкин поспешил передать адвокату Гуровичу золотые часы и бумажник ... А свидетеля профессора Егорова Трибунал и постановил тут же заключить под стражу за высказывания в пользу митрополита. Но оказалось, что Егоров к этому готов: с ним — толстый портфель, а в нём — еда, бельё и даже одеяльце.

Читатель замечает, как суд постепенно приобретает знакомые нам формы.

Митрополит Вениамин обвиняется в том, что злонамеренно вступил в соглашение с ... Советской властью и тем добился смягчения декрета об изъятии ценностей. Своё обращение к Помголу злонамеренно распространял в народе (Самиздат!). И действовал в согласии с мировой буржуазией.

Священник Красницкий, один из главных живоцерковников и сотрудник ГПУ, свидетельствовал, что священники сговорились вызвать на почве голода восстание против советской власти.

Были выслушаны свидетели только обвинения, а свидетели защиты не допущены к показаниям. (Ну, как похоже! .. Ну, всё больше и больше . . .)

Обвинитель Смирнов требовал «шестнадцать голов». Обвинитель Красиков воскликнул: «Вся православная церковь — контрреволюционная организация. Собственно, *следовало бы посадить в тюрьму всю Церковь!*»

(Программа очень реальная, она вскоре почти удалась. И хорошая база для Диалога коммунистов и христиан.)

Пользуемся редким случаем привести несколько сохранившихся фраз адвоката (С. Я. Гуровича), защитника митрополита:

«Доказательств виновности нет, фактов нет, нет и обвинения . . . Что скажет история? — (Ох, напугал! Да забудет и ничего не скажет!) — Изъятие церковных ценностей в Петрограде прошло с полным спокойствием, но петроградское духовенство — на скамье подсудимых, и чьи-то руки подталкивают их к смерти. Основной принцип, подчёркиваемый вами,— польза советской власти. Но не забывайте, что на крови мучеников растёт Церковь.— (А у нас не вырастет!) — Больше нечего сказать, но и трудно расстаться со словом. Пока длятся прения — подсудимые живы. Кончатся прения — кончится жизнь . . .»

Трибунал приговорил к смерти десятерых. Этой смерти они прождали больше месяца, до конца процесса эсеров (как если б готовили их расстреливать вместе с эсерами). После того ВЦИК шестерых помиловал, а четверо (митрополит Вениамин; архимандрит Сергий, бывший член Государственной Думы; профессор права Ю. П. Новицкий; и присяжный поверенный Ковшаров) расстреляны в ночь с 12 на 13 августа.

Мы очень просим читателя не забывать о принципе провинциальной множественности. Там, где было два церковных процесса, там было их двадцать два.

* * *

К процессу эсеров очень торопились с уголовным кодексом: пора было уложить гранитные глыбы Закона! 12 мая, как договорились, открылась сессия ВЦИК, а с проектом кодекса всё ещё не успевали — он только подан был в Горки Владимиру Ильичу на просмотр. Шесть статей кодекса предусматривали своим высшим пределом расстрел. Это не удовлетворило Ленина. 15 мая на полях проекта Ильич добавил ещё шесть статей, по которым также необходим расстрел (в том числе — по статье 69: пропаганда и агитация . . . в частности — призыв к пассивному противодействию правительству, к массовому невыполнению воинской или

налоговой повинности*). И ещё один случай расстрела: за неразрешённое возвращение из-за границы (ну, как все социалисты то и дело шныряли прежде). И ещё одну кару, равную расстрелу: высылку за границу. (Предвидел Владимир Ильич то недалёкое время, когда отбою не будет от рвущихся к нам из Европы, но выехать от нас на Запад никого нельзя будет понудить добровольно.) Главный вывод Ильич так пояснил наркому юстиции:

«Товарищ Курский! По-моему надо расширить применение расстрела... (с заменой высылкой за границу) ко всем видам деятельности меньшевиков, эсеров и т. п.; найти формулировку, ставящую эти деяния *в связь с* м е ж д у н а р о д н о й б у р ж у а з и е й» (курсив и разрядка Ленина).**

Расширить применение расстрела!— чего тут не понять? (Много ли высылали за границу?) *Террор — это средство убеждения****, *кажется ясно!*

А Курский всё же не допонял. Он вот чего, наверно, не дотягивал: как эту формулировку составить, как эту самую *связь* запетлять. И на другой день он приезжал к председателю СНК за разъяснениями. Эта беседа нам не известна. Но вдогонку, 17 мая, Ленин послал из Горок второе письмо:

«Т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса... Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка: открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее *суть и оправдание* террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом
Ленин»****

Комментировать этот важный документ мы не берёмся. Над ним уместны тишина и размышление.

Документ тем особенно важен, что он — из последних земных распоряжений ещё не охваченного болезнью Ленина, важная часть его политического завещания. Через девять дней после этого письма его постигнет первый удар, от которого лишь неполно

---

* То есть, как Выборгское воззвание, за что царское правительство врезало по три месяца тюрьмы.

** Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 45, стр. 189

*** Там же, т. 39, стр. 404—405

**** Там же, т. 45, стр. 190

и ненадолго он оправится в осенние месяцы 1922 года. Быть может и написаны оба письма Курскому в том же светлом беломраморном будуаре-кабинетике, угловом 2-го этажа, где уже стояло и ждало будущее смертное ложе вождя.

А дальше прикладывался тот самый *черняк*, два варианта дополнительного параграфа, из которого через несколько лет вырастет и 58-4 и вся наша матушка 58-я Статья. Читаешь и восхищаешься: вот оно что значит *формулировать как можно шире!* вот оно что значит — применения *более широкого!* Читаешь и вспоминаешь, как широко хватала родимая...

«... пропаганда или агитация, или участие в организации, или содействие (объективно содействующие или *способные содействовать*)... организациям или лицам, деятельность которых имеет характер ...»

Да дайте мне сюда Блаженного Августина, я его сейчас же в эту статью вгоню!

Всё было, как надо, внесено, перепечатано, расстрел расширен — и сессия ВЦИК в 20-х числах мая приняла и постановила ввести Уголовный Кодекс в действие с 1 июня 1922 года.

И теперь на законнейшем основании начался двухмесячный

Процесс эсеров (8 июня —7 августа 1922). Верховный Трибунал. Обычный председатель товарищ Карклин (хорошая фамилия для судьи) был для этого ответственного процесса заменён оборотистым Георгием Пятаковым.

Если бы мы с читателем не были уже достаточно подкованы, что главное во всяком судебном процессе не так называемая «вина», а — целесообразность, может быть мы бы не сразу распахнувшеюся душой приняли бы этот процесс. Но *целесообразность* срабатывает без осечки: в отличие от меньшевиков эсеры были сочтены ещё опасными, ещё нерассеянными, недобитыми — и для крепости новосозданной диктатуры (пролетариата) целесообразно было их добить.

А не зная этого принципа можно ошибочно воспринять весь процесс как партийную месть.

Над обвинениями, высказанными в этом суде, невольно задумаешься, перенося их на долгую, протяжную и всё тянущуюся историю государств. За исключением считанных парламентских демократий в считанные десятилетия вся история государств есть история переворотов и захватов власти. И тот, кто успевает сделать переворот проворней и прочней, от этой самой минуты осеняется светлыми ризами Юстиции, и каждый прошлый и будущий шаг его — законен и отдан óдам, а каждый прошлый и будущий шаг его неудачливых врагов — преступен, подлежит суду и законной казни.

Всего неделю назад принят уголовный кодекс — но вот уже пятилетнюю прожитую послереволюционную историю трамбуют в него. И двадцать, и десять, и пять лет назад эсеры были — соседняя по свержению царизма революционная партия, взявшая на

себя (благодаря особенностям своей тактики террора) главную тяжесть каторги, почти не доставшейся большевикам.

А теперь вот первое обвинение против них: эсеры — инициаторы Гражданской войны! Да, это — о н и её начали! Они обвиняются, что в дни октябрьского переворота вооружённо воспротивились ему. Когда Временное правительство, ими поддерживаемое и отчасти ими составленное, было законно сметено пулемётным огнём матросов,— эсеры совершенно незаконно пытались его отстоять. (Другое дело — очень вяло пытались, тут же и колебались, тут же отрекались. Но вина их от этого не меньше.) И даже на выстрелы отвечали выстрелами, и даже подняли юнкеров, состоявших у того свергаемого правительства на военной службе.

Разбитые оружейно, они не покаялись и политически. Они не стали на колени перед Совнаркомом, объявившим себя правительством. Они продолжали упорствовать, что единственно законным было предыдущее правительство. Они не признали тут же краха своей двадцатилетней политической линии (а крах-то конечно был, хотя выяснился не враз), не попросили их помиловать, распустить, перестать считать партией. (На тех же основаниях незаконны и все местные и окраинные правительства — Архангельское, Самарское, Уфимское или Омское, Украинское, Донское, Кубанское, Уральское или Закавказские, поскольку они объявили себя правительствами уже п о с л е того, как объявил себя Совнарком.)

А вот и второе обвинение: они углубили пропасть Гражданской войны тем, что 5 и 6 января 1918 выступили как демонстранты и тем самым бунтовщики против законной власти Рабоче-Крестьянского правительства: они поддерживали своё незаконное (избранное всеобщим свободным равным тайным и прямым голосованием) Учредительное Собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то Собрание и тех демонстрантов. Потому-то и началась Гражданская война, что не все жители единовременно и послушно подчинились законным декретам Совнаркома.

Обвинение третье: они не признали Брестского мира — того законного и спасительного Брестского мира, который не отрубал у России головы, а только часть туловища. Тем самым, устанавливает обвинительное заключение, налицо «все признаки *государственной измены* и преступных действий, направленных к вовлечению страны в войну».

Государственная измена!— она тоже перевертушка, её как поставишь . . .

Отсюда же вытекает и тяжкое четвёртое обвинение: летом и осенью 1918 года, когда кайзеровская Германия еле достаивала свои последние месяцы и недели против союзников, а советское правительство, верное Брестскому договору, поддерживало Германию в этой тяжёлой борьбе поездными составами продовольствия и ежемесячными золотыми уплатами — эсеры предательски готовились (даже не готовились, а по своей манере больше о б с у ж д а л и : а что, если бы . . .) взорвать путь перед одним таким поездом и оставить золото на родине — то есть они «готовились к преступ-

ному разрушению нашего народного достояния — железных дорог». (Тогда ещё не стыдились и не скрывали, что — да, вывозилось русское золото в будущую империю Гитлера, и не навенуло Крыленке с его двумя факультетами, историческим и юридическим, и из помощников никто не подшепнул, что если рельсы стальные — народное достояние, то может быть и золотые слитки? . .)

Из четвёртого обвинения неумолимо вытягивается пятое: технические средства для такого взрыва эсеры намеревались приобрести на деньги, полученные у союзных представителей (чтобы не отдавать золота Вильгельму, они хотели взять деньги у Антанты) — а это уже крайний предел предательства! (На всякий случай бормотнул Крыленко, что и со штабом Людендорфа эсеры были связаны, но не в тот огород перелетал камень, и покинули.)

Отсюда уже совсем недалеко до обвинения шестого: эсеры в 1918 году были *шпионами* Антанты! Вчера революционеры — сегодня шпионы!— тогда это, наверно, звучало взрывно. С тех-то пор за много процессов набило оскомину до мордоворота.

Ну, и седьмое, десятое — это сотрудничество с Савинковым, или Филоненко, или кадетами, или «Союзом Возрождения», и даже белоподкладочниками или даже белогвардейцами.

Вот эта цепь обвинений хорошо протянута прокурором. (Вернули ему эту кличку, к процессу.) Кабинетным ли высиживанием или внезапным озарением за кафедрою он находит здесь ту сердечно-сострадательную, обвинительно-дружескую ноту, на которой в последующих процессах будет вытягивать всё увереннее и гуще и которая в 37-м году даст ошеломляющий успех. Нота эта — найти единство между судящими и судимыми,— и против всего остального мира. Мелодия эта играется на самой любимой струне подсудимого. С обвинительной кафедры эсерам говорят: *ведь мы же с вами — революционеры!* (Вы и мы — это мы!) И как же вы могли так пасть, чтоб объединиться с кадетами? (да наверно сердце ваше разрывается!) с офицерами? Учить белоподкладочников вашей разработанной блестящей технике конспирации?! (Это — особый характер октябрьского переворота: объявить войну всем партиям сразу и тут же запретить им объединяться между собой: «тебя не гребут — не подмахивай».)

У иных подсудимых и как не разняться сердцу: ну как они могли так низко пасть? Ведь это сочувствие прокурора в светлом зале — оно очень пробирает узника, привезенного из камеры.

И ещё такую логическую тропочку находит Крыленко (очень она пригодится Вышинскому против Каменева и Бухарина): входя с буржуазией в союзы, вы принимали от неё денежную помощь. Сперва вы брали н а д е л о , ни в коем случае не для партийных целей — *а где грань? Кто это разделит?* Ведь дело — тоже партийная цель? Итак, вы докатились: вас, партию социалистов-революционеров, содержит буржуазия?! Да где же ваша революционная гордость?

Набралась обвинений мера полная и с присыпочкой — и уж мог бы Трибунал уходить на совещание, отклёпывать каждому заслуженную казнь,— да вот ведь неурядица:

— всё, в чём здесь обвинена партия эсеров,— относится к 1917 и 1918 годам;
— в феврале 1919 совет партии эсеров постановил прекратить борьбу против большевистской власти (изнемогши ли от борьбы или проникнувшись социалистической совестью). И 27 февраля 1919 большевистское правительство объявило эсерам амнистию за всё прошлое. Партия была легализована, вышла из подполья — а через 2 недели начались массовые аресты, и всю головку тоже взяли (вот это — по-нашему!);
— с тех пор они не боролись на воле, и тем более не боролись, сидя в тюрьме (ЦК сидел в Бутырках и почему-то не бежал, как обычно при царе),— так они после амнистии ничего не совершили до нынешнего 1922 года.

Как же выйти из положения?

Мало того, что они не ведут борьбы,— они признали власть Советов! (То есть, отреклись от своего бывшего Временного, да и от Учредительного тоже.) И только просят произвести перевыборы этих Советов со свободной агитацией партий. (И даже тут на процессе подсудимый Гендельман, член ЦК: «Дайте нам возможность пользоваться всей гаммой так называемых гражданских свобод — и мы не будем нарушать законов». Дайте им, да ещё «всей гаммой»!)

Слышите? Вот оно, где прорвалось враждебное буржуазное звериное рыло! Да нешто можно? Да ведь *серьёзный момент!* Да ведь *окружены врагами!* (И через двадцать, и через пятьдесят, и через сто лет так будет.) А вам — свободную агитацию партий, сукины дети?!

Люди политически трезвые, говорит Крыленко, могли в ответ только рассмеяться, только плечами пожать. Справедливо было решено: «Немедленно всеми мерами государственной репрессии пресечь этим группам возможность агитировать против власти» (стр. 183). Вот и весь ЦК эсеров (кого ухватили) посадили в тюрьму!

Но — в чём их теперь обвинить? «Этот период не является в такой мере обследованным судебным следствием»,— сетует наш прокурор.

Впрочем, одно-то обвинение было верное: в том же феврале 1919 эсеры вынесли резолюцию (но не проводили в жизнь — однако по новому уголовному кодексу это всё равно): тайно агитировать в Красной армии, чтобы красноармейцы *отказывались участвовать в карательных экспедициях* против крестьян.

Это было низкое коварное предательство революции!— отговаривать от карательных экспедиций.

Ещё можно было обвинить их во всём том, что говорила, писала и делала (больше говорила и писала) так называемая «Загранич-

ная делегация ЦК» эсеров — те главные эсеры, которые унесли ноги в Европу.

Но этого всего было маловато. И вот что было удумано: «Многие из сидящих здесь подсудимых не подлежали бы обвинению в данном процессе, если бы не обвинения их в организации террористических актов!» . . . Когда, мол, издавалась амнистия 1919 года, «никому из деятелей советской юстиции не приходило в голову», что эсеры организовали ещё и террор против деятелей советского государства! (Ну, кому, в самом деле, в голову могло прийти, чтобы: эсеры — и вдруг террор? Да приди в голову — пришлось бы заодно и амнистировать. Это просто счастье, что тогда — в голову не приходило. Лишь когда понадобилось — теперь пришло.) А это обвинение не амнистировано (ведь амнистирована только *борьба*) — и вот Крыленко предъявляет его!

Прежде всего: что сказали вожди эсеров (а чего эти говоруны не высказали за жизнь! . .) ещё в первые дни после октябрьского переворота? Нынешний лидер подсудимых, да и лидер партии, Абрам Гоц сказал тогда: «Если Смольные самодержцы посягнут и на Учредительное Собрание . . . партия с-р вспомнит о своей старой испытанной тактике.»

От неукротимых эсеров — естественно этого и ждать. И правда, трудно поверить, чтоб они отказались от террора.

«В этой области исследования»,— жалуется Крыленко,— из-за конспирации «свидетельских показаний . . . будет мало». «Этим до чрезвычайности затруднена моя задача . . . В этой области приходится в некоторых моментах бродить в потёмках» (стр. 236,— а язычок-то!).

Задача Крыленки тем затруднена, что террор против Советской власти трижды обсуждался на ЦК с-р в 1918 и был *трижды отвергнут* (несмотря и на разгон Учредительного). И теперь, спустя годы, надо доказать, что эсеры всё же вели террор.

Тогда они постановили: не раньше, чем большевики перейдут к казням социалистов. А в 1920: если большевики посягнут на жизнь заложников-эсеров, то партия возьмётся за оружие. (А других заложников пусть хоть и добивают . . .)

Так вот: почему с оговорками? Почему не абсолютно отказались? «Почему не было высказываний абсолютно отрицательного характера?»

Что партия в общем не проводила террора, это ясно даже из обвинительной речи Крыленки. Но натягиваются такие факты: в голове одного подсудимого был проект взорвать паровоз совнаркомовского поезда при переезде в Москву — значит, ЦК виноват в терроре. А исполнительница Иванова с одной пироксилиновой шашкой дежурила одну ночь близ станции — значит, покушение на поезд Троцкого и, значит, ЦК виноват в терроре. Или: член ЦК Донской предупредил Ф. Каплан, что она будет исключена из партии, если выстрелит в Ленина. Так — мало! Почему не — категорически запретил? (Или: почему не донесли на неё в ЧК?) Всё же Каплан прилипает: была эсеркой.

Только то и нащипал Крыленко с мёртвого петуха, что эсеры не приняли мер по прекращению индивидуальных террористических актов своих безработных томящихся боевиков. (Да и те боевики мало что сделали. Семёнов направил руку Сергеева, убившего Володарского,— но ЦК остался чистеньким в стороне, даже публично отрёкся. Да потом этот же Семёнов и его подруга Коноплёва с подозрительной готовностью обогатили своими добровольными показаниями и ГПУ и теперь Трибунал, и этих-то самых страшных боевиков держат на советском суде бесконвойно, между заседаниями они ходят спать домой.)

Об одном свидетеле Крыленко разъясняет так: «Если бы человек хотел вообще выдумать, то вряд ли этот человек выдумал бы так, чтобы случайно попасть как раз в точку» (стр. 251). (Очень сильно! Это можно сказать обо всяком подделанном показании.) О Коноплёвой наоборот: достоверность её показания именно в том, что она не всё показывает то, что необходимо обвинению. (Но достаточно для расстрела подсудимых.) «Если мы поставим вопрос, что Коноплёва выдумывает всё это... то ясно: выдумывать так выдумывать» (он знает!) — а она вишь не до конца. А есть и так: «Могла ли произойти эта встреча? Такая возможность не исключена.» Не исключена? — значит, была! Катай-валяй!

Потом —«подрывная группа». Долго о ней толкуют, вдруг: «распущена за бездеятельностью». Так чтó и уши забиваете? Было несколько денежных экспроприаций из советских учреждений (оборачиваться-то не на что эсерам, квартиры снимать, из города в город ездить). Но раньше это были изящные благородные *эксы*, как выражались все революционеры. А теперь, перед советским судом?—«грабёж и укрывательство краденого».

В материалах процесса освещается мутным жёлтым немигающим фонарём закона неуверенная, заколебленная, запетлившаяся послереволюционная история этой пафосно-говорливой, а по сути растерявшейся, беспомощной и даже бездеятельной партии, не устоявшей против большевиков. И каждое её решение или нерешение, и каждое её метание, порыв или отступление — теперь обращаются и вменяются ей только в вину, в вину, в вину.

И если в сентябре 1921, за 10 месяцев до процесса, уже сидя в Бутырках, арестованный ЦК писал на волю новоизбранному ЦК, что *не на всякое* свержение большевистской диктатуры он согласен, а только — через сплочение трудящихся масс и агитационную работу (то есть, и сидя в тюрьме, не согласен он освободиться ни террором, ни заговором, ни вооружённым восстанием!), так и это выворачивается им в первейшую вину: ага, значит, на свержение согласны!

Ну, а если всё-таки в свержении не виновны, в терроре почти не виновны, экспроприаций почти нет, за всё остальное давно прощены? Наш любимый прокурор вытягивает заветный запасец: «В крайнем случае *недонесение* есть состав преступления, который по отношению ко всем без исключения подсудимым имеет место и должен считаться установленным» (стр. 305).

Партия эсеров уже в том виновна, что не донесла на себя! Вот это без промаха! Это — открытие юридической мысли в новом кодексе, это — мощёная дорога, по которой покатят и покатят в Сибирь благодарных потомков.

Да и просто, в сердцах выпаливает Крыленко: «ожесточённые вечные противники» — вот кто такие подсудимые! А тогда и без процесса ясно, что́ с ними надо делать.

Кодекс так ещё нов, что даже главные контрреволюционные статьи Крыленко не успел запомнить по номерам — но как он сечёт этими номерами! как глубокомысленно приводит и истолковывает их! — будто десятилетиями только на тех статьях и качается нож гильотины. И вот что особенно ново и важно: различения *методов* и *средств*, которое проводил старый царский кодекс, у нас нет! Ни на квалификацию обвинения, ни на карательную санкцию они не влияют! Для нас намерение или действие — всё равно! Вот была вынесена резолюция — за неё и судим. А там «проводилась она или не проводилась — это никакого существенного значения не имеет» (стр. 185). Жене ли в постели шептал, что хорошо бы свергнуть советскую власть, или агитировал на выборах, или бомбы бросал — всё едино! *Наказание — одинаково!!!*

Как у провидчивого художника из нескольких резких угольных черт вдруг восстаёт желанный портрет — так и нам всё больше выступает в набросках 1922 года — вся панорама 37-го, 45-го, 49-го.

Это — первый опыт процесса, публичного даже на виду у Европы, и первый опыт «негодования масс». И негодование масс особенно удалось.

А вот как дело было. Два социалистических Интернационала — 2-й и $2^1/_2$-й (Венское Объединение), если не восторженно, то вполне спокойно наблюдали четыре года, как большевики во славу социализма режут, жгут, топят, стреляют и давят свою страну, это всё понималось как грандиозный социальный эксперимент. Но весной 1922 объявила Москва, что 47 эсеров предаются суду Верховного Трибунала — и ведущие социалисты Европы забеспокоились и встревожились.

В начале апреля 1922 в Берлине собралось — для установления «единого фронта» против буржуазии — совещание трёх Интернационалов (от Коминтерна — Бухарин, Радек), и социалисты потребовали от большевиков отказаться от этого суда. «Единый фронт» очень был нужен в интересах мировой революции, и коминтерновская делегация самовольно дала обязательство: что процесс будет гласный; что представители всех Интернационалов могут присутствовать, вести стенографические отчёты; что будут допущены защитники, желаемые подсудимыми; и, самое главное, опережая компетентность суда (для коммунистов дело плёвое, но социалисты тоже согласились): на этом процессе не будет вынесено смертных приговоров.

Ведущие социалисты радовались: они просто решили ехать сами защитниками подсудимых. А Ленин (он доживал свои послед-

ние недели перед первым параличом, но не знал того) сурово отозвался в «Правде»: «Мы заплатили слишком много.» Как же можно было обещать, что не будет смертных приговоров, и разрешить допуск социал-предателей на наш суд? По последующему мы увидим, что и Троцкий с ним был вполне согласен, да и Бухарин вскоре раскаялся. Газета германских коммунистов «Роте фане» отозвалась, что большевики были бы идиотами, если бы сочли необходимым выполнять принятые обязательства: дело в том, что «единый фронт» в Германии провалился, так что зря и обещания все были даны. Но коммунисты уже тогда начали понимать безграничную силу своих исторических приёмов. Ближе к процессу, в мае, «Правда» написала: «Мы в точности выполним обязательство. Но вне судебного процесса эти господа должны быть поставлены в такие условия, которые обеспечили бы нашу страну от поджигательской тактики этих негодяев.» И под такой аккомпанемент в конце мая знаменитые социалисты Вандервельде, Розенфельд и Теодор Либкнехт (брат убитого Карла) выехали в Москву.

Уже начиная от пограничной станции и на всех остановках вагон социалистов штурмовали гневные демонстрации трудящихся, требуя отчёта в их контрреволюционных намерениях, от Вандервельде же — почему он подписал грабительский Версальский договор? А то — вышибали в вагоне стёкла и обещали самим морду набить. Но наиболее пышно их встретили на Виндавском вокзале в Москве: площадь была заполнена демонстрациями со знамёнами, оркестрами, пением. На огромных плакатах: «Господин королевский министр Вандервельде! Когда вы предстанете перед судом Революционного Трибунала?» «Каин, Каин, где брат твой Карл?» При выходе иностранцев — кричали, свистели, мяукали, угрожали, а хор пел:

«Едет, едет Вандервельде,
Едет к нам всемирный хам.
Конечно, рады мы гостям,
Однако жаль, что нам, друзья,
Его повесить здесь нельзя.»

(И тут случилась неловкость: Розенфельд разглядел в толпе самого Бухарина, весело свистевшего, пальцы в рот.) В последующие дни по Москве на разукрашенных грузовиках разъезжали балаганы Петрушек, на эстраде близ памятника Пушкину шёл постоянный спектакль с изображением предательства эсеров и их защитников. А Троцкий и другие ораторы разъезжали по заводам и в зажигательных речах требовали смертной казни эсерам, после чего проводили голосование партийных и беспартийных рабочих. (Уже в то время знали много возможностей: несогласных уволить с завода при безработице, лишить рабочего распределителя — это уж не говоря о ЧК.) Голосовали. Затем пустили по заводам петиции с требованием смертной казни, газеты заполнялись этими

петициями и цифрами подписей. (Правда, несогласные ещё были, даже выступали — и кое-кого приходилось арестовывать.)

8 июня начался суд. Судили 32 человека, из них 22 подсудимых из Бутырок и 10 раскаявшихся, уже бесконвойных, которых защищал сам Бухарин и несколько коминтерновцев. (Веселятся в одной и той же трибунальской комедии и Бухарин и Пятаков, не чуя насмешки запасливой судьбы. Но оставляет судьба и время подумать — ещё по 15 лет жизни каждому, да и Крыленке.) Пятаков держался резко, мешал подсудимым высказываться. Обвинение поддерживали Луначарский, Покровский, Клара Цеткин. (Обвинительный акт подписала и жена Крыленки, которая вела следствие,— дружные семейные усилия.)

В зале было немало —1200 человек, но из них только 22 родственника 22-х подсудимых, а остальные все — коммунисты, переодетые чекисты, подобранная публика. Часто из публики прерывали криками и подсудимых и защитников. Переводчики искажали для защитников смысл процесса, для процесса — слова защитников, ходатайства их трибунал отвергал с издёвкой, свидетели защиты не были допущены, стенограммы велись так, что нельзя было узнать собственных речей.

На первом же заседании Пятаков заявил, что суд заранее отказывается от беспристрастного рассмотрения дела и намерен руководствоваться исключительно соображениями об интересах советской власти.

Через неделю иностранные защитники имели бестактность подать суду жалобу, что как будто нарушается берлинское соглашение — на что Трибунал гордо ответил, что он — суд и не может быть связан никаким соглашением.

Защитники-социалисты окончательно упали духом, их присутствие на этом суде только создавало иллюзию нормального судопроизводства, они отказались от защиты и только хотели теперь уехать к себе в Европу — но их не выпускали. Пришлось знатным гостям *объявить голодовку!* — лишь после этого им разрешили выехать, 19 июня. И жаль, потому что они лишились самого впечатляющего зрелища —20 июня, в годовщину убийства Володарского.

Собрали заводские колонны (на каких заводах запирали ворота, чтобы прежде не разбежались, на каких отбирали контрольные карточки, где, напротив, кормили обедом), на знамёнах и плакатах —«смерть подсудимым», воинские колонны само собою. И на Красной площади начался митинг. Выступали Пятаков, обещая суровое наказание, Крыленко, Каменев, Бухарин, Радек, весь цвет коммунистических ораторов. Затем манифестанты двинулись к зданию суда, а возвратившийся Пятаков велел подвести подсудимых к открытым окнам, под которыми бушевала толпа. Они стояли под градом оскорблений и издевательств, в Гоца угодила доска «смерть социалистам-революционерам». Всё это вместе заняло пять послерабочих часов, уже смеркалось (полубелая ночь в Москве) — и Пятаков объявил в зале, что делегация митинга

просит впустить её. Крыленко дал разъяснение, что хотя законами это не предусмотрено, но по духу Советской власти вполне можно. И делегация ввалилась в зал, и здесь два часа произносила ругательные грозные речи, требовала смертной казни, а судьи слушали, жали руки, благодарили и обещали беспощадность. Накал был такой, что подсудимые и их родственники ожидали прямо тут и линчевания. (Гоц, внук богатого чаеторговца, тоже сочувственника революции, такой успешливый террорист при царе, участник покушений и убийств — Дурново, Мина, Римана, Акимова, Шувалова, Рачковского,— вот уж, за всю свою боевую карьеру так не попадал!) Но кампания народного гнева тут и оборвалась, хотя суд продолжался ещё полтора месяца. Через день и советские защитники с суда ушли (ждал и их арест и высылка).

Тут — узнаётся много знакомых будущих черт, но поведение подсудимых ещё далеко не сломлено, и ещё не понуждены они говорить против самих себя. Их ещё поддерживает и традиционное обманное представление левых партий, что они — защитники интересов трудящихся. После утерянных лет примирения и сдачи к ним возвратилась поздняя стойкость. Подсудимый Берг обвиняет большевиков в расстреле демонстрантов, защищавших Учредительное Собрание; подсудимый Либеров говорит: «Я признаю себя виновным в том, что в 1918 году я недостаточно работал для свержения власти большевиков» (стр. 103). И Евгения Ратнер о том же, и опять Берг: «Считаю себя виновным перед рабочей Россией в том, что не смог со всей силой бороться с так называемой рабоче-крестьянской властью, но я надеюсь, что моё время ещё не ушло.» (Ушло, голубчик, ушло.) Есть тут и старая страсть к звучанию фразы — но есть же и твёрдость!

Аргументирует прокурор: обвиняемые опасны Советской России, ибо *считают благом всё, что делали.* «Быть может некоторые из подсудимых находят своё утешение в том, что когда-нибудь летописец будет о них или об их поведении на суде отзываться с похвалой.»

Подсудимый Гендельман зачёл декларацию: «Мы не признаём вашего суда! . .» И, сам юрист, он выделился спорами с Крыленкой о подтасовке свидетельских показаний, об «особых методах обращения со свидетелями до процесса» — читай: о явности обработки их в ГПУ. (Это уже всё есть! — немного осталось дожать до идеала.) Оказывается: предварительное следствие велось под наблюдением прокурора (Крыленки же), и при этом сознательно сглаживались отдельные несогласованности в показаниях.

Ну что ж, ну есть шероховатости. Недоработки — есть. Но в конце концов «нам надлежит с совершенной ясностью и хладнокровностью сказать . . . занимает нас не вопрос о том, как суд истории будет оценивать творимое нами дело» (стр. 325).

А пока, выворачиваясь, Крыленко — должно быть, первый и последний раз в советской юриспруденции — вспоминает о *дознании!* о первичном дознании, ещё до следствия! И вот как это у него ловко выкладывается: то, что было без наблюдения прокуро-

ра и вы считали следствием, — то было дознание. А то, что вы считаете переследствием под оком прокурора, когда увязываются концы и заворачиваются болты,— так это и есть следствие! Хаотические «материалы органов дознания, *не проверенные* следствием, имеют гораздо меньшую судебную доказательную ценность, чем материалы следствия» (стр. 238), когда направляют его умело.

Ловок, в ступе не утолчёшь.

По-деловому говоря, обидно Крыленке полгода к этому процессу готовиться, да два месяца на нём гавкаться, да часиков пятнадцать вытягивать свою обвинительную речь, тогда как все эти подсудимые «не раз и не два были в руках чрезвычайных органов в такие моменты, когда эти органы имели чрезвычайные полномочия; но благодаря тем или иным обстоятельствам *им удалось уцелеть*» (стр. 322), и вот теперь на Крыленке работа — тянуть их на законный расстрел.

Конечно, «приговор должен быть один — расстрел всех до одного!» Но, великодушно оговаривается Крыленко, поскольку дело всё-таки у мира на виду,— сказанное прокурором «не является указанием для суда», которое бы тот был «обязан непосредственно принять к сведению или исполнению» (стр. 319).

И хорош же тот суд, которому это надо объяснять!..

После призыва прокурора к расстрелу — подсудимым предложено было заявить о раскаянии и об отречении от партии. Все отклонили.

А трибунал в своём приговоре проявил дерзость: он изрёк расстрел действительно не «всем до одного», а только двенадцати человекам. Остальным — тюрьмы, лагеря, да ещё на дополнительную сотню человек выделил дело производством.

И — помните, помните, читатель: на Верховный Трибунал «смотрят все остальные суды Республики, [он] даёт им руководящие указания» (стр. 407), приговор Верхтриба используется «в качестве указующей директивы» (стр. 409). Скольких ещё по провинции закатают — это уж вы смекайте сами.

А пожалуй всего этого процесса стоит кассация Президиума ВЦИК. Сперва приговор трибунала поступил на конференцию РКП(б). Там было предложение заменить расстрел высылкой за границу. Но Троцкий, Сталин и Бухарин (такая тройка, и заодно!): дать 24 часа на отречение и тогда 5 лет ссылки, иначе немедленный расстрел. Прошло предложение Каменева, которое и стало решением ВЦИК: расстрельный приговор утвердить, но исполнением приостановить. И дальнейшая судьба осуждённых будет зависеть от поведения эсеров, оставшихся на свободе (очевидно — и заграничных). Если будет продолжаться хотя бы подпольно-заговорщицкая работа, а тем более — вооружённая борьба эсеров,— эти 12 будут расстреляны.

Так их подвергли пытке смертью: любой день мог быть днём расстрела. Из доступных Бутырок скрыли в Лубянку, лишили свиданий, писем и передач — впрочем и некоторых жён тут же арестовали и выслали из Москвы.

На полях России уже жали второй мирный урожай. Нигде, кроме дворов ЧК, уже не стреляли (в Ярославле — Перхурова, в Петрограде — митрополита Вениамина; и присно, и присно, и присно). Под лазурным небом синими водами плыли за границу наши первые дипломаты и журналисты. Центральный Исполнительный Комитет Рабочих и Крестьянских депутатов оставлял за пазухой пожизненных заложников.

Члены правящей партии прочли тогда шестьдесят номеров «Правды» о процессе (они все читали газеты) — и все говорили — да, да, да. Никто не вымолвил — нет.

И чему они потом удивлялись в 37-м? На что жаловались?.. Разве не были заложены все основы бессудия — сперва внесудебной расправой ЧК, судебной расправой реввоентрибуналов, потом вот этими ранними процессами и этим юным Кодексом? Разве 1937 не был тоже *целесообразен* (сообразен целям Сталина, а может быть и Истории)?

Пророчески же сорвалось у Крыленки, что не прошлое они судят, а будущее.

Лихо косою только первый взмах сделать.

* * *

Около 20 августа 1924 перешёл советскую границу Борис Викторович Савинков. Он тут же был арестован и отвезен на Лубянку.

Об этом возвращеннн много плелось догадок. Но вот иедавио и советский журнал «Нева» (1967, №11) подтверднл объяснение, данное в 1933 Бурцевым («Былое», Париж, Новая серня — II, Бнбл-ка «Иллюстрнрованной Росснн», кн. 47): склоннв к предательству одннх агентов Савннкова н одурачнв другнх, ГПУ через ннх закииуло верный крючок: здесь, в России, томится большая подпольная органнзацня, но нет достойиого руководителя! Не прндумать было крючка зацепнстей! Да н не могла смятениая жнзнь Савникова тнхо окоичиться в Ницце.

Следствие состояло из одного допроса — только добровольные показания и оценка деятельности. 23 августа уже было вручено обвинительное заключение. (Скорость невероятная, но это произвело эффект. Кто-то верно рассчитал: вымучивать из Савинкова жалкие ложные показания — только бы разрушило картину достоверности.)

В обвинительном заключении, уже отработанною выворотной терминологией, в чём только Савинков не обвинялся: и «последовательный враг беднейшего крестьянства»; и «помогал российской буржуазии осуществлять империалистические стремления» (то есть, в 1918 был за продолжение войны с Германией); и «сносился с представителями союзного командования» (это когда был управляющим военного министерства!); и «провокационно входил в солдатские комитеты» (то есть, избирался солдатскими депутатами); и уж вовсе курам на смех — имел «монархические симпатии». Но это всё старое. А были и новые, дежурные обвинения всех будущих процессов: деньги от империалистов; шпионаж для Поль-

ши (Японию пропустили!..) и — цианистым калием хотел перетравить Красную армию (но ни одного красноармейца не отравил).

26 августа начался процесс. Председателем был Ульрих (впервые его встречаем), а обвинителя не было вовсе, как и защиты. Савинков мало и лениво защищался, почти не спорил об уликах. И, кажется, очень сюда пришлась, смущала подсудимого эта мелодия: *ведь мы же с вами — русские!..* вы и мы — это **мы**! Вы любите Россию, несомненно, мы уважаем вашу любовь,— а разве не любим мы? Да разве мы сейчас и не есть крепость и слава России? А вы хотели против нас бороться? Покайтесь!..

Но чуднее всего был приговор: «применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка и, полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс»,— заменить расстрел десятью годами лишения свободы.

Это — сенсационно было, это много тогда смутило умов: помягчение власти? перерождение? Ульрих в «Правде» даже объяснялся и извинялся, почему Савинкова помиловали. Ну, да ведь за 7 лет какая ж и крепкая стала Советская власть!— неужели она боится какого-то Савинкова! (Вот на 20-м году послабеет, уж там не взыщите, будем сотнями тысяч стрелять.)

Так после первой загадки возвращения стал второю загадкою несмертный этот приговор. (Бурцев объясняет тем, что Савинкова отчасти обманули наличием каких-то оппозиционных комбинаций в ГПУ, готовых на союз с социалистами, и он сам ещё будет освобождён и привлечён к деятельности — и так он пошёл на сговор со следствием.) После суда Савинкову разрешили ... послать открытые письма за границу, в том числе и Бурцеву, где он убеждал эмигрантов-революционеров, что власть большевиков зиждется на народной поддержке и недопустимо бороться против неё.

А в мае 1925 две загадки были покрыты третьею: Савинков в мрачном настроении выбросился из неограждённого окна во внутренний двор Лубянки, и гепеушники, ангелы-хранители, просто не управились подхватить и спасти его. Однако оправдательный документ на всякий случай (чтобы не было неприятностей по службе) Савинков им оставил, разумно и связно объяснил, зачем покончил с собой — и так верно, и так в духе и слоге Савинкова письмо было составлено, что вполне верили: никто не мог написать этого письма, кроме Савинкова, что он кончил с собою в сознании политического банкротства. (Так и Бурцев многопроходливый свёл всё происшедшее к ренегатству Савинкова, так и не усумнясь ни в подлинности его писем, ни в самоубийстве. И у всякой проницательности есть свои пределы.)

И мы-то, мы, дурачьё, лубянские поздние арестанты, доверчиво попугайничали, что железные сетки над лубянскими лестничными пролётами натянуты с тех пор, как бросился тут Савинков. Так покоряемся красивой легенде, что забываем: ведь опыт же тюремщиков международен! Ведь сетки такие в американских тюрьмах были уже в начале века — а как же советской технике отставать?

В 1937 году, умирая в колымском лагере, бывший чекист Артур Шрюбель рассказал кому-то из окружающих, что он был в числе тех четырёх, кто выбросил Савинкова из окна пятого этажа в лубянский двор! (И это не противоречит нынешнему повествованию в журнале «Нева»: этот низкий подоконник, почти как у двери балконной,— выбрали комнату! Только у советского писателя ангелы зазевались, а по Шрюбелю — кинулись дружно.)

Так вторая загадка — необычайно милостивого приговора — развязывается грубой третьей.

Слух этот глух, но меня достиг, а я передал его в 1967 М. П. Якубовичу, и тот с сохранившейся ещё молодой оживлённостью, с заблескивающими глазами воскликнул: «Верю! Сходится! А я-то Блюмкину не верил, думал, что хвастает.» Разъяснилось: в конце 20-х годов под глубоким секретом рассказывал Якубовичу Блюмкин, что это он написал так называемое предсмертное письмо Савинкова, по заданию ГПУ. Оказывается, когда Савинков был в заключении, Блюмкин был постоянно допущенное к нему в камеру лицо — он «развлекал» его вечерами. (Почуял ли Савинков, что это смерть к нему зачастила — вкрадчивая, дружественная смерть, в которой никак не угадаешь явления гибели?) Это и помогло Блюмкину войти в манеру речи и мысли Савинкова, в круг его последних мыслей.

Спросят: а зачем — из окна? А не проще ли было отравить? Наверно, кому-нибудь останки показывали или предполагали показать.

Где, как не здесь, досказать и судьбу Блюмкина, в его чекистском всемогуществе когда-то бесстрашно осаженного Мандельштамом. Эренбург начал о Блюмкине — и вдруг застыдился и покинул. А рассказать есть что. После разгрома левых эсеров в 1918 убийца Мирбаха не только не был наказан, не только не разделил участи всех левых эсеров, но был Дзержинским прибережён (как хотел он и Косырева приберечь), внешне обращён в большевизм. Его держали видимо для ответственных мокрых дел. Как-то, на рубеже 30-х годов, он ездил за границу для тайного убийства. Однако дух авантюризма или восхищение Троцким завели Блюмкина на Принцевы острова: спросить у законоучителя, не будет ли поручения в СССР? Троцкий дал пакет для Радека. Блюмкин привёз, передал, и вся его поездка к Троцкому осталась бы в тайне, если бы сверкающий Радек уже тогда не был бы стукачом. Радек завалил Блюмкина, и тот поглощён был пастью чудовища, которое сам выкармливал из рук ещё первым кровавым молочком.

А все главные и знаменитые процессы — всё равно впереди . . .

Глава 10

ЗАКОН СОЗРЕЛ

Но где же эти толпы, в безумии лезущие на нашу пограничную колючую проволоку с Запада, а мы бы их расстреливали по статье 71 УК за самовольное возвращение в РСФСР? Вопреки научному предвидению не было этих толп, и втуне осталась статья, продиктованная Лениным. Единственный на всю Россию такой чудак нашёлся Савинков, но и к нему не извернулись применить ту статью. Зато противоположная кара — высылка за границу вместо расстрела, была испробована густо и незамедлительно.

Ещё в тех же днях, вгорячах, когда сочинялся кодекс, Владимир Ильич, не оставляя блеснувшего замысла, написал 19 мая 1922:

«Тов. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим . . . Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро.»*

Естественная в этом случае секретность вызвалась важностью и поучительностью меры. Прорезающе-ясная расстановка классовых сил в Советской России только и нарушалась этим студенистым бесконтурным пятном старой *буржуазной* интеллигенции, которая в идеологической области играла подлинную роль *военных шпионов* — и ничего нельзя было придумать лучше, как этот застойник мысли поскорей соскоблить и вышвырнуть за границу.

Сам товарищ Ленин уже слёг в своём недуге, но члены Политбюро, очевидно, одобрили, и товарищ Дзержинский провёл излавливание, и в конце 1922 около трёхсот виднейших русских гуманитариев были посажены на . . . баржу? . . нет, на пароход, и отправлены на европейскую свалку. (Из имён утвердившихся и прославившихся там были философы Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Ф. А. Степун, Б. П. Вышеславцев, Л. П. Карсавин, И. А. Ильин; затем историки С. П. Мельгунов, В. А. Мякотин, А. А. Кизеветтер, И. И. Лапшин; литераторы и публицисты Ю. И. Айхенвальд, А. С. Изгоев, М. А. Осоргин, А. В. Пешехонов. Малыми группами досылали ещё и в начале 1923, например секретаря Льва Толстого В. Ф. Булгакова. По худым знакомствам туда попадали и математики — Д. Ф. Селиванов.)

Однако, излавливать *постоянно и систематически* — не вышло. От рёва ли эмиграции, что это ей «подарок», прояснилось, что и эта мера — не лучшая, что зря упускался хороший расстрельный материал, и на той свалке мог произрасти ядовитыми цветами. И — покинули эту меру. И всю дальнейшую очистку вели либо *к Духонину,* либо на Архипелаг.

---

* Ленин, Собр. соч., 5 изд., т. 54, стр. 265—266

Утверждённый в 1926 (и вплоть до хрущёвского времени) улучшенный уголовный кодекс скрутил все прежние верви политических статей в единый прочный бредень 58-й — и заведен был на эту ловлю. Ловля быстро расширилась на интеллигенцию инженерно-техническую — тем более опасную, что она занимала сильное положение в народном хозяйстве, и трудно было её контролировать при помощи одного только Передового Учения. Прояснялось теперь, что ошибкой был судебный процесс в защиту Ольденборгера (а хороший там Центр сколачивался!) и — поспешным отпускательное заявление Крыленки: «о саботаже инженеров уже не было речи в 1920-21 годах».* Не саботаж, так хуже — *вредительство* (это слово открыто было, кажется, шахтинским рядовым следователем).

Едва было пóнято, чтó искать: вредительство,— и тут же, несмотря на небывалость этого понятия в истории человечества, его без труда стали обнаруживать во всех отраслях промышленности и на всех отдельных производствах. Однако, в этих дробных находках не было цельности замысла, не было совершенства исполнения, а натура Сталина, да и вся ищущая часть нашей юстиции очевидно стремились к ним. Да наконец же созрел наш Закон и мог явить миру нечто действительно совершенное! — единый, крупный, хорошо согласованный процесс, на этот раз над инженерами. Так состоялось

Шахтинское дело (18 мая - -15 июля 1928). Спецприсутствие Верховного Суда СССР, председатель А. Я. Вышинский (ещё ректор 1-го МГУ), главный обвинитель Н. В. Крыленко (знаменательная встреча! как бы передача юридической эстафеты)**, 53 подсудимых, 56 свидетелей. Грандиозно!!!

Увы, в грандиозности была и слабость этого процесса: если на каждого подсудимого тянуть только по три нитки, то уже их 159, а у Крыленки лишь десять пальцев и у Вышинского десять. Конечно, «подсудимые стремились раскрыть обществу свои тяжёлые преступления», но — не все только — шестнадцать. А тринадцать «извивались». А двадцать четыре вообще себя виновными не признали.*** Это вносило недопустимый разнобой, массы вообще не могли этого понять. Наряду с достоинствами (впрочем, достигнутыми уже в предыдущих процессах) — беспомощностью подсудимых и защитников, их неспособностью сместить или отклонить

---

* Н. В. Крыленко. «За пять лет (1918—1922)». Обвинительные речи по процессам, заслушанным в Московском и Верховном Революционных Трибуналах. ГИЗ, М-Пгд, 1923, стр. 437

** А членами были старые революционеры Васильев-Южин и Антонов-Саратовский. Располагало само уже простецкое звучание их фамилий. Запоминаются. Вдруг в 1962 читаешь в «Известиях» некрологи о жертвах репрессий — и кто же подписал? Долгожитель Антонов-Саратовский! Может, и сам отведал? Но э т и х не вспоминает.

*** «Правда», 24 мая 1928, стр. 3

глыбу приговора,— недостатки нового процесса били в глаза, и кому-кому, а опытному Крыленке были непростительны.

На пороге бесклассового общества мы в силах были, наконец, осуществить и *бесконфликтный судебный процесс* (отражающий внутреннюю бесконфликтность нашего строя), где к единой цели стремились бы дружно и суд, и прокурор, и защита, и подсудимые.

Да и масштабы Шахтинского дела — одна угольная промышленность и только Донбасс, были несоразмерны эпохе.

Очевидно тут же, в день окончания Шахтинского дела, Крыленко стал копать новую вместительную яму (в неё свалились даже два его сотоварища по Шахтинскому делу — общественные обвинители Осадчий и Шейн). Нечего и говорить, с какой охотой и умением ему помогал весь аппарат ОГПУ, уже переходящий в твёрдые руки Ягоды. Надо было создать и раскрыть инженерную организацию, объемлющую всю страну. Для этого нужно было несколько сильных вредительских фигур во главе. Такую безусловно сильную, нетерпимо-гордую фигуру кто ж в инженерии не знал?— Петра Акимовича Пальчинского. Крупный горный инженер ещё в начале века, он в мировую войну уже был товарищем председателя Военно-Промышленного Комитета, то есть руководил военными усилиями всей частной русской промышленности. После Февраля он стал товарищем министра торговли и промышленности. За революционную деятельность он преследовался при царе; трижды сажался в тюрьму после Октября (1917, 1918, 1922), с 1920— профессор Горного института и консультант Госплана. (Подробно о нём — часть третья, гл. 10.)

Этого Пальчинского и наметили как главного подсудимого для нового грандиозного процесса. Однако, легкомысленный Крыленко, вступая в новую для себя страну инженерии, не только не знал сопромата, но даже о возможном сопротивлении душ совсем ещё не имел понятия, несмотря на десятилетнюю уже громкую прокурорскую деятельность. Выбор Крыленки оказался ошибочным. Пальчинский выдержал все средства, какие знало ОГПУ,— и не сдался, и умер, не подписав никакой чуши. С ним вместе прошли испытание и тоже видимо не сдались — Н. К. фон Мекк и А. Ф. Величко. В пытках ли они погибли или расстреляны — этого мы пока не знаем, но они доказали, что м о ж н о сопротивляться и м о ж н о устоять,— и так оставили пламенный отблик упрёка всем последующим знаменитым подсудимым.

Скрывая своё поражение, Ягода опубликовал 24 мая 1929 года краткое коммюнике ОГПУ о расстреле их троих за крупное вредительство и осуждении ещё многих других не поименованных.*

А сколько времени зря потрачено!— почти целый год! А сколько допросных ночей! а сколько следовательских фантазий!— и всё впустую. Приходилось Крыленке начинать всё с начала, искать фигуру и блестящую, и сильную — и вместе с тем совсем слабую,

* «Известия», 24 мая 1929

совсем податливую. Но настолько плохо он понимал эту проклятую инженерскую породу, что ещё год ушёл у него на неудачные пробы. С лета 1929 возился он с Хренниковым, но и Хренников умер, не согласившись на низкую роль. Согнули старого Федотова, но он текстильщик, не выигрышная отрасль! И ещё пропал год! Страна ждала всеобъемлющего вредительского процесса, ждал товарищ Сталин,— а у Крыленки никак не вытанцовывалось. И только летом 1930 года кто-то нашёл, предложил: директор Теплотехнического института Рамзин!— арестовали, и в три месяца был подготовлен и сыгран великолепный спектакль, подлинное совершенство нашей юстиции и недостижимый образец для юстиции мировой —

Процесс «Промпартии» (25 ноября — 7 декабря, 1930), Спецприсутствие Верхсуда, тот же Вышинский, тот же Антонов-Саратовский, тот же любимец наш Крыленко.

Теперь уже не возникает «технических причин», мешающих предложить читателю полную стенограмму процесса — вот она*, или не допустить иностранных корреспондентов.

Величие замысла: на скамье подсудимых вся промышленность страны, все её отрасли и плановые органы. (Только глаз устроителя видит щели, куда провалилась горная промышленность и железнодорожный транспорт.) Вместе с тем — скупость в использовании материала: обвиняемых только 8 человек (учтены ошибки Шахтинского дела).

Вы воскликнете: и восемь человек могут представить всю промышленность? Да нам даже много! Трое из восьми — только по текстилю, как важнейшей оборонной отрасли. Но тогда наверно толпы свидетелей? Семь человек, таких же вредителей, тоже арестованных. Но кипы уличающих документов? чертежи? проекты? директивы? сводки? соображения? донесения? частные записки? Ни одного! То есть — н и о д н о й б у м а ж ё н к и! Да как же это ГПУ ушами прохлопало?— стольких арестовало и ни одной бумажки не цапнуло? «Много было», но «всё уничтожено». Потому что: «где держать архив!» Выносятся на процесс лишь несколько открытых газетных статеек — эмигрантских и наших. Но как же вести обвинение?! . . Да ведь — Николай Васильевич Крыленко. Да ведь не первый день. «Лучшей уликой при всех обстоятельствах является всё же сознание подсудимых».**

Но признание какое — не вынужденное, а душевное, когда раскаяние вырывает из груди целые монологи, и хочется говорить, говорить, обличать, бичевать! Старику Федотову предлагают сесть, хватит,— нет, он навязывается давать ещё объяснения и трактовки! Пять судебных заседаний кряду даже не приходится задавать вопросов: подсудимые говорят, говорят, объясняют, и ещё потом

---

* «Процесс Промпартии». Изд-во «Советское законодательство», М, 1931

** «Процесс Промпартии», стр. 453

просят слова, чтобы дополнить упущенное. Они дедуктивно излагают всё необходимое для обвинения безо всяких вопросов. Рамзин после пространных объяснений ещё даёт для ясности краткие резюме, как для сероватых студентов. Больше всего подсудимые боятся, чтоб что-нибудь осталось неразъяснённым, кто-нибудь не разоблачён, чья-нибудь фамилия не названа, чьё-нибудь вредительское намерение — не растолковано. И как честят сами себя! —«я — классовый враг», «я — подкуплен», «наша буржуазная идеология». Прокурор: «Это была ваша ошибка?» Чарновский: «И преступление!» Крыленке просто делать нечего, он пять заседаний пьёт чай с печеньем или что там ему приносят.

Но как подсудимые выдерживают такой эмоциональный взрыв? Магнитофонной записи нет, а защитник Оцеп описывает: «Деловито текли слова обвиняемых, холодно и профессионально-спокойно.» Вот те раз!— такая страсть к исповеди — и деловито? холодно? да больше того, видимо, свой раскаянный и очень гладкий текст они так вяло вымямливают, что часто просит их Вышинский говорить громче, ясней, ничего не слышно.

Стройность процесса нисколько не нарушает и защита: она согласна со всеми возникающими предложениями прокурора; обвинительную речь прокурора называет исторической, свои же доводы — узкими и произносимыми против сердца, ибо «советский защитник — прежде всего советский гражданин» и «вместе со всеми трудящимися переживает чувство возмущения» преступлениями подзащитных («Процесс Промпартии», стр. 488). В судебном следствии защита задаёт робкие скромные вопросы и тотчас же отшатывается от них, если прерывает Вышинский. Адвокаты и защищают-то лишь двух безобидных текстильщиков, и не спорят о составе преступления, ни — о квалификации действий, а только: нельзя ли подзащитному избежать расстрела? Полезнее ли, товарищи судьи, «его труп или его труд».

И каковы же зловонные преступления этих буржуазных инженеров? Вот они. Планировались уменьшенные темпы развития (например, годовой прирост продукции в с е г о л и ш ь 20—22%, когда трудящиеся готовы дать 40 и 50%). Замедлялись темпы добычи местных топлив. Недостаточно быстро развивали Кузбасс. Использовали теоретико-экономические споры (снабжать ли Донбасс электричеством ДнепроГЭСа? строить ли сверхмагистраль Москва — Донбасс?) для задержки решения важных проблем. (Пока инженеры спорят, а дело мол стоит.) Задерживали рассмотрение инженерных проектов (не утверждали мгновенно). В лекциях *по сопромату* проводили *антисоветскую линию*. Устанавливали устарелое оборудование. Омертвляли капиталы (вгоняли их в дорогостоящие и долгие постройки). Производили ненужные (!) ремонты. Дурно использовали металл (неполнота ассортимента железа). Создавали диспропорции между цехами, между сырьём и возможностью его обработать (и особенно это выявилось в текстильной отрасли, где построили на одну-две фабрики больше, чем собрали урожай хлопка). Затем делались прыжки от минималистских к максималистским планам. И началось явное вредительское *ускоренное* развитие всё той же злополучной текстильной промышленности. И самое главное: планировались (но ни разу нигде не были совершены) диверсии в энергетике. Таким образом вредительство было не в виде поломок или порч, но — плановое и оперативное, и оно должно было привести ко всеобщему кризису и даже экономическому параличу в 1930 году! А не привело — только из-за встречных промфинпланов масс (удвоение цифр!).

— Те-те-те . . .— что-то заводит скептический читатель.

Как? Вам этого мало? Но если на суде мы каждый пункт повторим и разжуём по пять — по восемь раз, то, может, получится уже не мало?

— Те-те-те,— тянет своё читатель 60-х годов.— А не могло ли это всё происходить именно из-за встречных промфинпланов? Будет тебе диспропорция, если любое профсобрание, не спросся Госплана, может как угодно перекорёжить все пропорции.

О, горек прокурорский хлеб! Ведь каждое слово решили публиковать! Значит, инженеры тоже будут читать. Назвался груздем — полезай в кузов! И бесстрашно бросается Крыленко рассуждать и допрашивать об инженерных подробностях! И развороты и вставные листы огромных газет наполняются петитом технических тонкостей. Расчёт, что одуреет любой читатель, не хватит ему ни вечеров, ни выходного, так не будет всего читать, а только заметит рефрены через каждые несколько абзацев: вредили! вредили! вредили!

А если всё-таки начнёт? Да каждую строку?

Он увидит тогда, через нудь самооговоров, составленных совсем неумно и неловко, что не за дело, не за свою работу взялась лубянская удавка. Что выпархивает из грубой петли сильнокрылая мысль XX века. Арестанты — вот они, взяты, покорны, подавлены, а мысль — выпархивает! Даже напуганные усталые языки подсудимых успевают нам всё назвать и сказать.

Вот в какой обстановке они работали. Калинников: «У нас ведь создано техническое недоверие.» Ларичев: «Хотели бы мы этого или не хотели, а мы эти 42 миллиона тонн нефти должны добыть (то есть, сверху так приказано) . . . потому что всё равно 42 млн. тонн нефти нельзя добыть ни при каких условиях» («Процесс Промпартии», стр. 325).

Между такими двумя невозможностями и зажата была вся работа несчастного поколения наших инженеров.— Теплотехнический институт гордится главным своим исследованием — резко повышен коэффициент использования топлива; исходя из этого в перспективный план ставятся меньшие потребности в добыче топлива — *значит, вредили*, преуменьшая топливный баланс! — В транспортный план поставили переоборудование всех вагонов на автосцепку — *значит, вредили*, омертвляли капитал! (Ведь автосцепка внедрится и оправдает себя лишь в длительный срок, а нам дай завтра!) — Чтобы лучше использовать однопутные железные дороги, решили укрупнять паровозы и вагоны. Так это — модернизация? *Нет, вредительство!* — ибо придётся тратить средства на укрепление верхней части мостов и пути! — Из глубокого экономического рассуждения, что в Америке дёшев капитал и дороги рабочие руки, у нас же — наоборот, и потому нельзя нам перенимать по-мартышечьи, вывел Федотов: ни к чему нам сейчас покупать дорогие американские конвейерные машины, на ближайшие 10 лет нам выгоднее подешевле купить менее совершенные английские и поставить к ним больше рабочих, а через 10 лет всё равно неизбежно менять, какие б ни были, тогда купим подороже. Так *вредительство!* — под видом экономии он не хочет, чтоб в советской промышленности были передовые машины! — Стали строить новые фабрики из железобетона вместо более дешёвого бетона с объяснением, что за 100 лет они очень себя оправдают — так *вредительство!* омертвление капиталов! поглощение дефицитной арматуры! (На зубы что ли её сохранять?)

Со скамьи подсудимых охотно уступает Федотов:

— Конечно, если каждая копейка на счету сегодня, тогда считайте вредительством. Англичане говорят: я не так богат, чтобы покупать дешёвые вещи . . .

Он пытается мягко разъяснить твердолобому прокурору:

— Всякого рода теоретические подходы дают нормы, которые в конце концов являются (сочтены будут!) вредительскими . . . (стр. 365).

Ну, как ещё ясней может сказать запуганный подсудимый? . . То, что для нас — теория, то для вас — вредительство! Ведь вам надо хватать сегодня, нисколько не думая о завтрашнем . . .

Старый Федотов пытается разъяснить, где гибнут сотни тысяч и миллионы рублей из-за дикой спешки пятилетки: хлопок не сортируется на местах, чтоб каждой фабрике слался тот сорт, который соответствует её назначению, а шлют безалаберно, вперемешку. Но не слушает прокурор! С упорством каменного тупицы он десять раз за процесс возвращается, и возвращается, и возвращается к более наглядному, из кубиков сложенному вопросу: почему стали строить «фабрики-дворцы» — с высокими этажами, широкими коридорами и слишком хорошей вентиляцией? Разве это не явное *вредительство?* Ведь это — омертвление капитала, безвозвратное!! Разъясняют ему буржуазные вредители, что Наркомтруд хотел в стране пролетариата строить для рабочих просторно и с хорошим воздухом (значит, в Наркомтруде *вредители* тоже, запишите!), врачи хотели высоту этажа 9 метров, Федотов снизил до 6 метров — так почему не до пяти?? вот *вредительство*! (А снизил бы до четырёх с половиной — уже наглое вредительство: хотел бы создать свободным советским рабочим кошмарные условия капиталистической фабрики.) Толкуют Крыленке, что по общей стоимости всей фабрики с оборудованием тут речь идёт о трёх процентах суммы — нет, опять, опять, опять об этой высоте этажа! И: как смели ставить такие мощные вентиляторы? Их рассчитывали на самые жаркие дни лета . . . Зачем же на самые жаркие дни? В самые жаркие дни пусть рабочие немного и попарятся!

А между тем: «Диспропорции были прирождённые . . . Головотяпская организация выполнила это до «Инженерного центра» (стр. 204). «Никакие вредительские действия и не нужны . . . Достаточны *надлежащие* действия, и тогда всё придёт само собой» (стр. 202). Чарновский не может выразиться ясней! ведь это после многих месяцев Лубянки и со скамьи подсудимых. Достаточны *надлежащие* (то есть, указанные *над*стоящими головотяпами) действия — и немыслимый план сам же себя подточит.— Вот их вредительство: «Мы имели возможность выпустить, скажем, 1000 тонн, а должны были — (то есть по дурацкому плану) — 3000, и мы не приняли мер к этому выпуску.»

Для официальной, просмотренной и прочищенной, стенограммы тех лет — согласитесь, это немало.

Много раз доводит Крыленко своих артистов до усталых интонаций — от чуши, которую заставляют молоть и молоть, когда стыдно за драматурга, но приходится играть ради куска жизни.

Крыленко — Вы согласны?

Федотов — Я согласен . . . хотя в общем не думаю . . . (стр. 425).

Крыленко — Вы подтверждаете?

Федотов — Собственно говоря . . . в некоторых частях . . . как будто в общем . . . да (стр. 356).

У инженеров (ещё тех, на воле, ещё не посаженных, кому предстоит бодро работать после судебного поношения всего сословия) — у них выхода нет. Плохо — всё. Плохо *да* и плохо *нет*. Плохо вперёд и плохо назад. Торопились — вредительская спешка, не торопились — вредительский срыв темпов. Развивали отрасль осторожно — умышленная задержка, саботаж; подчинились прыжкам прихоти — вредительская диспропорция. Ремонт, улучшение, капитальная подготовка — омертвление капиталов; работа до износа оборудования — диверсия! (Причём всё это следователи будут узнавать у них самих так: бессонница — карцер — а теперь сами приведите убедительные примеры, где вы могли вредить.)

— Дайте яркий пример! Дайте яркий пример вашего вредительства!— понукает нетерпеливый Крыленко.

(Дадут, дадут вам яркие примеры! Будет же кто-нибудь скоро писать и историю техники этих лет! Он даст вам все примеры и непримеры. Оценит он вам все судороги вашей припадочной пятилетки в четыре года. Узнаем мы тогда, сколько народного богатства и сил погибло впустую. Узнаем, как все лучшие проекты были загублены, а исполнены худшие и худшим способом. Ну, да если хун-вей-бины руководят алмазными инженерами — что́ из того может доброго выйти? Дилетанты-энтузиасты — они-то наворочали ещё больше тупых начальников.)

Да, подробнее — невыгодно. Чем подробнее, тем как-то меньше тянут злодеяния на расстрел.

Но погодите, ещё же не всё! Ещё самые главные преступления — впереди! Вот они, вот они, доступны и понятны даже неграмотному!! Промпартия: 1) готовила интервенцию; 2) получала деньги от империалистов; 3) вела шпионаж; 4) распределяла портфели в будущем правительстве.

И всё! И все рты закрылись. И все возражатели потупились. И только слышен топот демонстраций и рёв за окном: *«Смерти! Смерти! Смерти!»*

А — подробнее нельзя? ..— А зачем вам подробней? Ну хорошо, пожалуйста, только будет ещё страшней. Всем руководил французский генеральный штаб. Ведь у Франции нет ни своих забот, ни трудностей, ни борьбы партий, достаточно свистнуть — и дивизии шагают на интервенцию! Сперва наметили её на 1928 год. Но не договорились, не увязали. Ладно, перенесли на 1930. Опять не договорились. Ладно, на 1931. Собственно вот что: Франция сама воевать не будет, а только берёт себе (за общую организацию) часть Правобережной Украины. Англия — тем более воевать не будет, но для страху обещает выслать флот в Чёрное море и в Балтийское (за это ей — кавказскую нефть). Главные же воители вот кто: 100 тысяч эмигрантов (они давно разбежались, разъехались, но по свистку сразу соберутся). Потом — Польша (ей — половину Украины). Румыния (известны её блистательные успехи в первой мировой войне, это страшный противник). Латвия! И Эстония! (Эти две малых страны охотно покинут заботы своих молодых государственных устройств и всей массой повалят на завоевание.) А страшнее того — направление главного удара. Как, уже известно? Да! Оно начнётся из Бессарабии и дальше, опираясь на правый берег Днепра — прямо на Москву!* И в этот роковой момент на всех железных дорогах ... будут взрывы??— нет, *будут созданы пробки!* И на электростанциях Промпартия тоже выкрутит пробки, и весь Союз погрузится во тьму, и все машины остановятся, в том числе и текстильные! Разразятся диверсии. (Внимание, подсудимые. До закрытого заседания мето-

* Эту стрелку — кто начертил Крыленке на папиросной пачке? Не тот ли, кто всю нашу оборону продумал к 1941 году? ..

дов диверсии не называть! заводов не называть! географических пунктов не называть! фамилий не называть, ни иностранных, ни даже наших!) Присоедините сюда смертельный удар по текстилю, который к этому времени будет нанесен! Добавьте, что 2-3 текстильные фабрики вредительски строятся в Белоруссии, они послужат *опорной базой для интервентов* (стр. 356,— нисколько не шутят)! Уж имея текстильные фабрики, интервенты неумолимо рванут на Москву! Но самый коварный заговор вот: хотели (не успели) осушить кубанские плавни, полесские болота и болото около Ильмень-озера (точные места Вышинский запрещает называть, но один свидетель пробалтывает) — и тогда интервентам откроются кратчайшие пути, и они, не промоча ног и конских копыт, достигнут Москвы. (Татарам почему так было трудно? Наполеон почему Москвы не нашёл? Да из-за полесских и ильменских болот. А осушат — и обнажили белокаменную!) Ещё, ещё добавьте, что под видом лесопильных заводов построены (мест не называть, тайна!) ангары, чтобы самолёты интервентов не стояли под дождём, а туда бы заруливали. А также построены (мест не называть!) *помещения для интервентов!* (Где квартировали бездомные оккупанты всех предыдущих войн?..) Все инструкции об этом подсудимые получали от загадочных иностранных господ **К.** и **Р.** (имён не называть ни в коем случае! да наконец и государств не называть!) (стр. 409). А в последнее время было даже приступлено к «подготовке изменнических действий отдельных частей Красной армии» (родов войск не называть! частей не называть! фамилий не называть!). Этого, правда, ничего не сделали, но зато намеревались (тоже не сделали) в каком-то центральном армейском учреждении сколотить ячейку финансистов, бывших офицеров белой армии. (Ах, белой армии? Запишите, арестовать!) Ячейки антисоветски настроенных студентов ... (Студентов? Запишите, арестовать.)

(Впрочем, гни-гни — не переломи. Как бы трудящиеся не приуныли, что теперь всё пропало, что советская власть всё прохлопала. Освещают и эту сторону: *много намечалось, а сделано мало! Ни одна промышленность существенных потерь не понесла.)*

Но почему же всё-таки не состоялась интервенция? По разным сложным причинам. То Пуанкаре во Франции не выбрали, то наши эмигранты-промышленники считали, что их бывшие предприятия ещё недостаточно восстановлены большевиками — пусть большевики лучше поработают! Да и с Польшей — Румынией никак не могли договориться.

Хорошо, не было интервенции, но была же Промпартия! Вы слышите топот? Вы слышите ропот трудящихся масс: *«Смерти! Смерти! Смерти!»* Шагают «те, которым в случае войны придётся своей жизнью, лишениями и страданиями искупить работу этих лиц» (стр. 437,— из речи Крыленки).

(А ведь как в воду смотрел: именно — жизнями, лишениями и страданиями искупят в 1941 году эти доверчивые демонстранты —

работу *этих лиц!* Но куда ваш палец, прокурор? но куда показывает ваш палец?)

Так вот — почему «Промышленная *партия*»? Почему — партия, а не Инженерно-Технический Центр?? Мы привыкли — Центр!

Был и Центр, да. Но решили преобразоваться в Партию. Это солиднее. Так будет легче бороться за портфели в будущем правительстве. Это «мобилизует инженерно-технические массы для борьбы за власть». А с кем бороться? А — с другими партиями! Во-первых — с Трудовой Крестьянской партией, ведь у них же — 200 тысяч человек! Во-вторых — с меньшевистской партией! А Центр? Вот три партии вместе и должны были составить Объединённый Центр. Но ГПУ разгромило. И хорошо, что нас разгромили! (Подсудимые все рады.)

(Сталину лестно разгромить ещё три Партии! Много ли славы добавят три «центра»!)

А уж раз партия — то ЦК, да, свой ЦК! Правда, никаких конференций, никаких выборов ни разу не было. Кто хотел, тот и вошёл, человек пять. Все друг другу уступали. И председательское место все друг другу уступали. Заседаний тоже не бывало — ни у ЦК (никто не помнит, но Рамзин хорошо помнит, он назовёт!), ни в отраслевых группах. Какое-то безлюдье даже . . . Чарновский: «да формального образования Промпартии *не было*». А сколько же членов? Ларичев: «Подсчёт членов труден, точный состав неизвестен». А как же вредили? как передавали директивы? Да так, кто с кем встретится в учреждении — передаст на словах. А дальше каждый вредит по сознательности. (Ну, Рамзин две тысячи членов уверенно называет. Где две, там посадят и пять. Всего же в СССР, по данным суда, — 30—40 тысяч инженеров. Значит, каждый седьмой сядет, шестерых напугают.) — А контакты с Трудовой Крестьянской? Да вот встретятся в Госплане или ВСНХ — и «планируют систематические акты против деревенских коммунистов» . . .

Где это мы уже видели? Ба, вот где: в «Аиде», Радамеса напутствуют в поход, гремит оркестр, стоит восемь воинов в шлемах и с пиками, а две тысячи нарисованы на заднем холсте.

Такова и Промпартия.

Но ничего, идёт, играется! (Сейчас даже поверить нельзя, как это грозно и серьёзно тогда выглядело, как душило нас.) И ещё вдалбливается от повторений, ещё каждый эпизод по несколько раз проходит. И от этого множатся ужасные видения. А ещё, чтоб не пресно, подсудимые вдруг на две копейки «забудут», «пытаются уклониться»,— тут их сразу «стискивают перекрестными показаниями» и получается живо, как во МХАТе.

Но — пережал Крыленко. Задумал он ещё одной стороной выпластать Промпартию — показать социальную базу. А уж тут стихия классовая, анализ не подведёт, и отступил Крыленко от системы Станиславского, ролей не раздал, пустил на импровизацию: пусть, мол, каждый расскажет о своей жизни, и как он относился к революции, и как дошёл до вредительства.

И эта опрометчивая вставка, одна человеческая картина, вдруг испортила все пять актов.

Первое, что мы изумлённо узнаём: что эти киты буржуазной интеллигенции все восемь — из бедных семей. Сын крестьянина, сын многодетного конторщика, сын ремесленника, сын сельского учителя, сын коробейника... Все восьмеро учились на медные гроши, на своё образование зарабатывали себе сами, и с каких лет? — с 12, с 13, с 14 лет! кто уроками, кто на паровозе. И вот что чудовищно: при царизме никто не загородил им пути образования! Они все нормально кончили реальные училища, затем высшие технические, стали крупными знаменитыми профессорами. (Как же так? А нам говорили ... только дети помещиков и капиталистов...? Календари же не могут врать?..)

А вот сейчас, в советское время, инженеры были очень затруднены: им почти невозможно дать своим детям высшее образование (ведь дети интеллигенции — это последний сорт, вспомним). Не спорит суд. И Крыленко не спорит. (Подсудимые сами спешат оговориться, что, конечно, на фоне общих побед — это неважно.)

Начинаем мы немного различать и подсудимых (до сих пор они очень сходно говорили). Возрастная черта, разделяющая их, — она же и черта порядочности. Кому под шестьдесят и больше — объяснения тех вызывают сочувствие. Но бойки и бесстыдны 43-летние Рамзин и Ларичев и 39-летний Очкин (это тот, который на Главтоп донёс в 1921), а все главные показания на Промпартию и интервенцию идут от них. Рамзин был таков (при ранних чрезмерных успехах), что вся инженерия ему руки не подавала — вынес! А на суде намёки Крыленки он схватывает с четверти слова и подаёт чёткие формулировки. Все обвинения и строятся на памяти Рамзина. Такое у него самообладание и напор, что действительно мог бы (по заданию ГПУ, разумеется) вести в Париже полномочные переговоры об интервенции. — Успешлив был и Очкин: в 29 лет уже «имел безграничное доверие СТО и Совнаркома».

Не скажешь этого о 62-летнем профессоре Чарновском: анонимные студенты травили его в стенной газете; после 23 лет чтения лекций его вызвали на общее студенческое собрание «отчитаться о своей работе» (не пошёл).

А профессор Калинников в 1921 возглавил открытую борьбу против советской власти — именно: профессорскую забастовку! Вспомним их академическую автономию.* В 1921 профессора МВТУ переизбрали Калинникова ректором на новый срок, а наркомат не пожелал, назначил своего. Забастовали тогда и студенты (ещё ведь не было настоящих пролетарских студентов), и профессора, — и целый год был Калинников ректором вопреки воле советской власти. (Только в 1922 скрутили голову их автономии, уже после многих арестов.)

Федотову — 66 лет, а его инженерный фабричный стаж на 11 лет старше всей РСДРП. Он переработал на всех прядильных

* Часть первая, глава 2, стр. 44

и текстильных фабриках России (как ненавистны такие люди, как хочется от них скорее избавиться!). В 1905 он ушёл с директорского места у Морозова, бросил высокую зарплату — предпочёл пойти на «красных похоронах» за гробом рабочих, убитых казаками. Сейчас он болен, плохо видит, вечерами из дому выйти не мог, даже в театр.

И они — готовили интервенцию? экономическую разруху?

У Чарновского много лет подряд не было свободных вечеров, так он был занят преподаванием и разработкой новых наук (организация производства, научные начала рационализации). Инженеров-профессоров тех лет мне сохранила память детства, именно такими они и были: вечерами донимали их дипломанты, проектанты, аспиранты, они к своей семье выходили только в одиннадцать вечера. Ведь тридцать тысяч на всю страну, на начало пятилетки — ведь на разрыв они!

И — готовили кризис? и — шпионили за подачки?

Одну честную фразу сказал Рамзин на суде: «Путь вредительства чужд *внутренней конструкции* инженерства.»

Весь процесс Крыленко принуждает подсудимых пригибаться и извиняться, что они —«малограмотны», «безграмотны» в политике. Ведь политика — это гораздо трудней и выше, чем какое-нибудь металловедение или турбостроение! Здесь тебе ни голова не поможет, ни образование. Нет, ответьте, с каким настроением вы встретили Октябрьскую революцию?— Со скепсисом.— *То есть,* сразу враждебно? Почему? Почему? Почему?

Донимает их Крыленко своими теоретическими вопросами — и из простых человеческих обмолвок, не по ролям, приоткрывается нам ядро правды — что было на самом деле, из чего выдут весь пузырь.

Первое, что инженеры увидели в октябрьском перевороте — развал. (И действительно начался развал на много лет.) Ещё они увидели — лишение простейших свобод. (И эти свободы уже никогда не вернулись.) Как могли инженеры воспринять *диктатуру рабочих* — этих своих подсобников в промышленности, мало квалифицированных, не охватывающих ни физических, ни экономических законов производства,— но вот занявших главные столы, чтобы руководить инженерами? Почему инженерам не считать более естественным такое построение общества, когда его возглавляют те, кто может разумно направить его деятельность? (И, обходя лишь *нравственное* руководство обществом,— разве не к этому ведёт сегодня вся социальная кибернетика? Разве профессиональные политики — не чирьи на шее общества, мешающие ему свободно вращать головой и двигать руками?) И почему инженерам не иметь политических взглядов? Ведь политика — это даже не род науки, это — эмпирическая область, не описываемая никаким математическим аппаратом да ещё подверженная человеческому эгоизму и слепым страстям. (Даже на суде высказывает Чарновский: «политика должна всё-таки до известной степени руководиться выводами техники».)

Дикий напор военного коммунизма мог только претить инженерам, в бессмыслице инженер участвовать не может — и вот до 1920 года большинство их бездействует, хотя и бедствует пещерно. Начался НЭП — инженеры охотно приступили к работе: НЭП они приняли за симптом, что власть образумилась. Но увы, условия не прежние: инженерство не только рассматривается как социально-подозрительная прослойка, не имеющая даже права учить своих детей; инженерство не только оплачивается неизмеримо ниже своего вклада в производство; но спрашивая с него успех производства и дисциплину на нём — лишили его прав эту дисциплину поддерживать. Теперь любой рабочий может не только не выполнить распоряжения инженера, но — безнаказанно его оскорбить и даже ударить,— и как представитель правящего класса рабочий при этом в с е г д а п р а в.

Крыленко возражает — Вы помните процесс Ольденборгера? (То есть, как мы его, де, защищали.)

Федотов — Да. Чтоб обратить ваше внимание на положение инженера, нужно было потерять жизнь.

Крыленко (разочарованно) — Ну, та́к вопрос не стоял.

Федотов — Он умер и *не он один умер. Он умер добровольно, а многие были убиты.* («Процесс Промпартии», стр. 228.)

Крыленко молчит. Значит, правда. (Перелистайте ещё процесс Ольденборгера, вообразите ту травлю. И с концовкой: «многие были убиты».)

Итак, инженер во всём виноват, когда он ещё ни в чём не провинился! А ошибись он где-то действительно, ведь он человек,— так его растерзают, если коллеги не прикроют. Разве *они* оценят откровенность... Так иногда инженеры вынуждены и солгать перед партийным начальством?

Чтобы восстановить авторитет и престиж инженерства, ему действительно нужно объединиться и выручать друг друга — они все под угрозой. Но для такого объединения не нужна никакая конференция, никакие членские билеты. Как всякое взаимопонимание умных, чётко мыслящих людей, оно достигается немногими тихими, даже случайно сказанными словами, голосования совершенно не нужны. В резолюциях и в партийной палке нуждаются лишь ограниченные умы. (Вот этого никак не понять Сталину, ни следователям, ни всей их компании!— у них нет опыта таких человеческих взаимоотношений, они такого никогда не видели в партийной истории!) Да такое единство давно уже существует между русскими инженерами в большой неграмотной стране, оно уже проверено несколькими десятилетиями — но вот его заметила новая власть и встревожилась.

А тут наступает 1927 год. Куда испарилось благоразумие НЭПа!— да оказывается весь НЭП был — циничный обман. Выдвигают взбалмошные нереальные проекты сверхиндустриального скачка, объявляются невозможные планы и задания. В этих условиях — что делать коллективному инженерному разуму — ин-

женерной головке Госплана и ВСНХ? Подчиниться безумию? Отойти в сторону? Им-то самим ничего, на бумаге можно написать любые цифры,— но «нашим товарищам, практическим работникам, будет не под силу выполнять эти задания». Значит, надо постараться умерить эти планы, разумно отрегулировать их, самые чрезмерные задания вовсе устранить. Иметь как бы свой инженерный Госплан для корректировки глупости руководителей — и самое смешное, что в *их* же интересах! и в интересах всей промышленности и народа, ибо всегда будут отводиться разорительные решения и подниматься с земли пролитые и просыпанные миллионы. Среди общего гама о количестве, о плане и переплане — отстаивать «качество — душу техники». И студентов воспитывать так.

Вот она, тонкая нежная ткань правды. Как было.

Но высказать это вслух в 1930 году?— уже расстрел!

А для ярости толпы — этого мало, не видно!

И поэтому молчаливый и спасительный для всей страны сговор инженерства надо перемалевать в грубое вредительство и интервенцию.

Так во вставной картине представилось нам бесплотное — и бесплодное!— видение истины. Расползлась режиссёрская работа, уже проговорился Федотов о бессонных ночах (!) в течение 8 месяцев его сидки; о каком-то важном работнике ГПУ, который *пожал руку* ему (?) недавно (так это был уговор? выполняйте свои роли — и ГПУ выполнит своё обещание?). Да вот уже и свидетели, хоть роли у них несравненно меньше, начинают сбиваться.

Крыленко — Вы принимали участие в этой группе?

Свидетель *Кирпотенко* — Два-три раза, когда разрабатывались вопросы интервенции.

Как раз это и нужно!

Крыленко (поощрительно) — Дальше!

Кирпотенко (пауза) — Кроме этого ничего не известно.

Крыленко побуждает, напоминает.

Кирпотенко (тупо) — Кроме интервенции мне больше ничего не известно (стр. 354).

А на очной ставке с Куприяновым у него уже и факты не сходятся. Сердится Крыленко и кричит на бестолковых арестантов:

— *Тогда надо сделать, чтобы ответы были одинаковы!* (стр. 358)

Но вот в антракте, за кулисами, всё снова подтянуто к стандарту. Все подсудимые снова на ниточках, и каждый ожидает дёрга. И Крыленко дёргает сразу всех восьмерых: вот промышленники-эмигранты напечатали статью, что никаких переговоров с Рамзиным и Ларичевым не было и никакой «промпартии» они не знают, а показания подсудимых скорей всего вымучены пытками. Так что́ вы на это скажете?..

Боже! как возмущены подсудимые! Нарушая всякую очерёдность, они просят поскорее дать им высказаться! Куда делось то измученное спокойствие, с которым они несколько дней унижали себя и своих коллег! Из них просто вырывается клокочущее негодование на эмигрантов! Они рвутся сделать письменное заявление для газет — коллективное письменное заявление подсудимых *в защиту методов ГПУ*! (Ну, разве не украшение, разве не бриллиант?)

Рамзин — Что мы не подвергались пыткам и истязаниям — достаточное доказательство наше присутствие здесь!

Так куда ж годятся те пытки, когда вывести на суд нельзя!

Федотов — Заключение в тюрьму принесло *пользу* не одному мне . . . Я даже лучше чувствую себя в тюрьме, чем на воле.

Очкин: и я, и я лучше!

Просто уж по благородству отказываются Крыленко и Вышинский от такой письменной коллективки. А — написали бы! а подписали бы!

Да может ещё у кого-нибудь подозрение таится? Так товарищ Крыленко уделяет им от блеска своей логики: «Если допустить хотя бы на одну секунду, что эти люди говорят неправду — то *почему именно их арестовали* и почему вдруг эти люди *заговорили?»* (стр. 452)

Вот сила мысли!— и за тысячи лет не догадывались обвинители: сам факт ареста уже доказывает виновность! Если подсудимые невиновны — дак зачем бы их тогда арестовали? А уж если арестовали — значит виноваты!

И действительно: почему б они заговорили?

«Вопрос о пытках мы отбросим в сторону! . . но психологически поставим вопрос: почему сознаются? А я спрошу: *а что им оставалось делать?»* (стр. 454)

Ну, как верно! Как психологически! Кто сиживал в этом учреждении, вспомните: а что оставалось делать? . .

(Иванов-Разумник пишет*, что в 1938 он сидел с Крыленкой в одной камере, в Бутырках, и место Крыленки было под нарами. Я очень живо это себе представляю (сам лазил): там такие низкие нары, что только по-пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу, но новичок сразу никак не приноровится и ползёт на карачках. Голову-то он подсунет, а выпяченный зад так и останется снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приноровиться, и его ещё не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек, со злорадством представляю этот застрявший зад, и во всё долгое описание этих процессов он меня как-то успокаивает.)

Да более того, развивает прокурор, если б это всё была правда (о пытках) — непонятно, чтó бы понудило всех единогласно, без

* Иванов-Разумник. «Тюрьмы и ссылки». Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1953

уклонений и споров так хором признаваться? .. Да где они могли совершить такой гигантский сговор?— ведь они не имели общения друг с другом во время следствия!?

(Через несколько страниц уцелевший свидетель расскажет нам, где...)

Теперь не я читателю, но пусть читатель мне разъяснит, в чём же пресловутая «загадка московских процессов 30-х годов» (сперва дивились «промпартии», потом перенеслась загадка на процессы партийных вождей)?

Ведь не две тысячи замешанных и не двести — триста вывели на суд, а только восемь человек. Хором из восьми не так уж немыслимо управлять. А выбрать Крыленко мог из тысячи, и два года выбирал. Не сломился Пальчинский — расстрелян (и посмертно объявлен «руководителем Промпартии», та́к его и поминают в показаниях, хоть от него ни словечка не осталось). Потом надеялись выбить нужное из Хренникова — не уступил им Хренников. Так сноска петитом один раз: «Хренников умер во время следствия.» Дуракам пишите петитом, а мы-то знаем, мы двойными буквами напишем: ЗАМУЧЕН ВО ВРЕМЯ СЛЕДСТВИЯ! (Посмертно и он объявлен руководителем «Промпартии». Но хоть бы один фактик от него, хоть бы одно показание в общий хор — нет ни одного. Потому что не дал ни одного!) И вдруг находка — Рамзин! Вот энергия, вот хватка! И чтобы жить — на всё пойдёт! А что за талант! В конце лета его арестовали, вот перед самым процессом — а он не только вжился в роль, но как бы не он и всю пьесу составил, и охватил гору смежного материала, и всё подаёт с иголочки, любую фамилию, любой факт. А иногда ленивая витиеватость: «Деятельность Промпартии была настолько разветвлена, что даже при 11-дневном суде нет возможности вскрыть с полной подробностью» (то есть: ищите! ищите дальше!). «Я твёрдо уверен, что небольшая антисоветская прослойка ещё сохранилась в инженерных кругах» (кусь-кусь, хватайте ещё!). И до чего способен: знает, что загадка, и загадку надо художественно объяснить. И, как палка бесчувственный, вдруг находит в себе «черты русского преступления, для которого очищение — во всенародном покаянии».

Рамзин незаслуженно обойден русской памятью. Я думаю, он вполне выслужил стать нарицательным типом циничного и ослепительного предателя. Бенгальский огонь предательства! Не он был один такой за эту эпоху, но он — на виду.

Так значит вся трудность Крыленки и ГПУ была — только не ошибиться в выборе лиц. Но риск не велик: следственный брак всегда можно отправить в могилу. А кто пройдёт и решето и сито — тех подлечи, подкорми и выводи на процесс!

И в чём тогда загадка? Как их обработать? А так: вы жить хотите? (Кто для себя не хочет, тот для детей, для внуков.) Вы понимаете, что расстрелять вас, не выходя из двора ГПУ, уже ничего не стоит? (Несомненно так. А кто ещё не понял — тому

курс лубянского выматывания.) Но и нам и вам выгоднее, если вы сыграете некоторый спектакль, текст которого вы сами же и напишете, как специалисты, а мы, прокуроры, разучим и постараемся запомнить технические термины. (На суде Крыленко иногда сбивается, ось вагона вместо оси паровоза.) Выступать вам будет неприятно, позорно — надо перетерпеть! Ведь жить дороже!— А какая гарантия, что вы нас потом не расстреляете?— А за что мы вам будем мстить? Вы — прекрасные специалисты и ни в чём не провинились, мы вас ценим. Да посмотрите, уже сколько вредительских процессов, и всех, кто вёл себя прилично, мы оставили в живых. (Пощадить послушных подсудимых предыдущего процесса — важное условие успеха будущего процесса. Так цепочкой и передаётся эта надежда до самого Зиновьева — Каменева.) Но уж только выполните в с е наши условия до последнего! Процесс должен сработать на пользу социалистическому обществу!

И подсудимые выполняют все условия . . .

Всю тонкость интеллектуальной инженерной оппозиции вот они подают как грязное вредительство, доступное пониманию последнего ликбезника. (Но ещё нет толчёного стекла, насыпанного в тарелки трудящихся!— до этого ещё и прокуратура не додумалась.)

Затем — мотив идейности. Они начали вредить?— из враждебной идейности, но теперь дружно сознаются?— опять-таки из идейности, покорённые (в тюрьме) пламенным доменным ликом 3-го года Пятилетки! В последних словах они хотя и просят себе жизни, но это — не главное для них. (Федотов: «Нам нет прощения! Обвинитель прав!») Для этих странных подсудимых сейчас, на пороге смерти, главное — убедить народ и весь мир в непогрешимости и дальновидности советского правительства. Рамзин особенно славословит «революционное сознание пролетарских масс и их вождей», которые «сумели найти неизмеримо более верные пути экономической политики», чем учёные, и гораздо правильней рассчитали темпы народного хозяйства. Теперь «я понял, что надо сделать бросок, что надо сделать *скачок**, что надо штурмом взять . . .» (стр. 504) и т. д. Ларичев: «Советский Союз не победим отживающим капиталистическим миром.» Калинников: «Диктатура пролетариата есть неизбежная необходимость... Интересы народа и интересы советской власти сливаются в одну целеустремлённость.» Да кстати и в деревне «правильна генеральная линия партии, уничтожение кулачества». Обо всём у них есть время посудачить в ожидании казни . . . И даже для такого предсказания есть проход в горле раскаявшихся интеллигентов: «По мере развития общества индивидуальная жизнь должна суживаться . . . Коллективная воля есть высшая форма» (стр. 510).

Так усилиями восьмерной упряжки достигнуты все цели процесса:

---

* Вот как у н а с говорилось в 1930, когда Мао ещё ходил в молодых.

1. Все недостачи в стране, и голод, и холод, и безодёжье, и неразбериха, и явные глупости — всё списано на вредителей-инженеров.

2. Народ напуган нависшей интервенцией и готов к новым жертвам.

3. Инженерная солидарность нарушена, вся интеллигенция напугана и разрознена.

И чтоб сомнений не оставалось, эту цель процесса ещё раз отчётливо возглашает Рамзин:

«Я хотел, чтобы в результате теперешнего процесса Промпартии *на тёмном и позорном прошлом всей интеллигенции* . . . можно было поставить раз и навсегда крест» (стр. 49).

Туда ж и Ларичев: «Эта каста должна быть *разрушена* . . . Нет и не может быть лояльности среди инженерства! . .» (стр. 508). И Очкин: интеллигенция «это есть какая-то слякоть, нет у неё, как сказал государственный обвинитель, хребта, есть безусловная бесхребетность . . . Насколько неизмеримо выше чутьё пролетариата» (стр. 509). (И всегда у пролетариата главное почему-то — ч у т ь ё . . . Всё через ноздри.)

И за что ж этих старателей расстреливать? . . Сперва объявлена казнь главным, но тут же сменено на десятки. (И поехал Рамзин устраивать теплотехническую шарашку.)

Так писалась десятилетиями история нашей интеллигенции — от анафемы 20-го года (помнит читатель: «не мозг нации, а говно», «союзник чёрных генералов», «наёмный агент империализма») до анафемы 30-го.

Удивляться ли, что слово «интеллигенция» утвердилось у нас как брань?

Вот как делаются гласные судебные процессы! Ищущая сталинская мысль наконец достигла своего идеала. (То-то позавидуют недотыки Гитлер и Геббельс, сунутся на позор со своим поджогом рейхстага . . .)

Стандарт достигнут — и теперь может держаться многолетие и повторяться хоть каждый сезон — как скажет Главный Режиссёр. Благоугодно же Главному назначить следующий спектакль уже через три месяца. Сжатые сроки репетиций, но ничего. Смотрите и слушайте! Только в нашем театре! Премьера

Процесс Союзного Бюро Меньшевиков (1—9 марта 1931). Спецприсутствие Верховного Суда, председатель почему-то Шверник, а так все на местах — Антонов-Саратовский, Крыленко, помощник его Рогинский. Режиссура уверена в себе (да и материал не технический, а партийный, привычный) — и вывела на сцену 14 подсудимых.

И всё проходит не только гладко — одуряюще гладко.

Мне было тогда 12 лет, уже третий год я внимательно вычитывал всю политику из больших «Известий». От строки до строки

я прочёл и стенограммы этих двух процессов. Уже в «Промпартии» отчётливо ощущалась детскому сердцу избыточность, ложь, подстройка, но там была хоть грандиозность декораций — всеобщая интервенция! паралич всей промышленности! распределение министерских портфелей! В процессе же меньшевиков всё те же были вывешены декорации, но поблекшие, и актёры артикулировали вяло, и был спектакль скучен до зевоты, унылое бездарное повторение. (Неужели Сталин мог это почувствовать через свою носорожью кожу? Как объяснить, что отменил ТКП и несколько лет не было процессов?)

Было бы скучно опять толковать по стенограмме. Но я имею свежий рассказ одного из главных подсудимых на том процессе — Михаила Петровича Якубовича, а сейчас его ходатайство о реабилитации с изложением подтасовок просочилось в наш спаситель-Самиздат, и уже люди читают, как это было.*

В реабилитации ему отказано: ведь процесс их вошёл в золотые скрижали нашей истории, ведь ни камня вытаскивать нельзя — как бы не рухнуло! За М. П. Якубовичем остаётся судимость, но в утеху назначена *персональная* пенсия за революционную деятельность! Каких только уродств у нас не бывает.

Его рассказ вещественно объясняет нам всю цепь московских процессов 30-х годов.

Как составилось не существующее «Союзное Бюро»? У ГПУ было плановое задание: доказать, что меньшевики ловко пролезли и захватили в контрреволюционных целях многие важные государственные посты. Истинное положение к схеме не подходило: настоящие меньшевики никаких постов не занимали. Но такие и не попали на процесс. (В. К. Иков, говорят, действительно состоял в нелегальном, тихо пребывавшем и ничего не делавшем московском бюро меньшевиков,— но на процессе об этом и не знали, Иков прошёл вторым планом, получил *восьмёрку*.) ГПУ имело такую схему: чтобы было два от ВСНХ, два от Наркомторга, два от Госбанка, один от Центросоюза, один от Госплана. (До чего уныло-неизобретательно!) Поэтому *брали* подходящих по должности. А меньшевики ли они на самом деле — это по слухам. Иные попались и вовсе не меньшевики, но приказано им считаться меньшевиками. Истинные политические взгляды обвиняемых совсем не интересовали ГПУ. Не все осуждённые даже друг друга знали. Соскребали и свидетелями где каких меньшевиков находили. (Все свидетели потом непременно получали свои сроки.)

Одним из них был Кузьма Антонович Гвоздев, горькой судьбы человек,— тот самый Гвоздев, председатель рабочей группы при Военно-Промышленном комитете, кого Февральская революция сперва освободила из Крестов, позже сделала министром труда. Гвоздев стал одним из мучеников-*долгосидчиков* ГУЛАГа. Первый раз чекисты хватали его в 1919, но он сумел ускользнуть (а семью его

---

* Письмо М. Якубовича Генеральному Прокурору СССР, 1967 («Архив Самиздата», Мюнхен, № АС150)

долго держали в осаде, как под арестом, и детей не пускали в школу). Потом арест отменили, но в 1928 взяли окончательно, и с тех пор он непрерывно сидел до 1957 года. В этом году вернулся тяжело больной и вскоре умер.

Услужливо и многословно выступал свидетелем опять Рамзин. Но надёжа ГПУ была на главного подсудимого Владимира Густавовича Громана (печально известного деятеля Государственной Думы) и на провокатора Петунина.

Теперь представим М. Якубовича. Он начал революционерить так рано, что даже не кончил гимназии. В марте 1917 он был уже председателем смоленского совдепа. Под напором убеждения (а оно постоянно куда-то его тащило) он был сильным успешным оратором. На съезде Западного фронта он опрометчиво назвал *врагами народа* тех журналистов, которые призывают к продолжению войны — это в апреле 1917! едва не был снят штыками с трибуны, извинился, но тут же в речи нашёл такие ходы и так забрал аудиторию, что в конце речи снова обозвал тех журналистов врагами народа, но уже под бурные аплодисменты — и избран был в делегацию, посылаемую в Петросовет. Там же, едва приехав, с лёгкостью того времени был кооптирован в военную комиссию Петросовета, влиял на назначения армейских комиссаров*, в конце концов сам поехал комиссаром армии на Юго-Западный фронт и в Бердичеве лично арестовал Деникина (после корниловского мятежа) и весьма жалел (ещё и на процессе), что Деникина тут же и не расстреляли.

Ясноглазый, всегда очень искренний и всегда совершенно захваченный своей, реальной или нереальной, идеей, он в партии меньшевиков ходил в молодых, да и был таков. Это не мешало ему однако с дерзостью и горячностью предлагать руководству свои проекты, вроде того чтобы: весной 1917 сформировать с-д правительство или в 1919 — меньшевикам войти в Коминтерн (Дан и другие неизменно отвергали все его варианты). В июле 1917 он больно переживал и считал роковою ошибкой, что социалистический Петросовет одобрил вызов Временным правительством войск против большевиков, хотя и выступивших с оружием. Едва произошёл октябрьский переворот, Якубович предложил своей партии всецело поддержать большевиков и своим участием и воздействием улучшить создаваемый ими государственный строй. В конце концов он был проклят Мартовым, а к 1920 году и окончательно вышел из меньшевиков, убедясь, что бессилен повернуть их на стезю большевизма.

Я для того так подробно всё это называю, чтобы выяснело: Якубович не меньшевиком, а большевиком был всю революцию, самым искренним и вполне бескорыстным. А в 1920 он ещё был и смоленским губпродкомиссаром (среди них — единственный не большевик) и даже был по наркомпроду отмечен как л у ч ш и й!

---

* Не путать с генштаба полковником Якубовичем, который в то же время на тех же заседаниях представлял военное министерство.

(Уверяет, что обходился без карательных отрядов; не знаю; на суде упомянул, что выставлял заградительные.) В 20-е годы он редактировал «Торговую газету», занимал и другие заметные должности. Когда ж в 1930 таких вот именно «пролезших» меньшевиков надо было набрать по плану ГПУ — его и арестовали.

Как и все, достался он мясникам-следователям, и применяли они к нему всю *гамму* — и морозный карцер, и жаркий закупоренный, и битьё по половым органам. Мучили так, что Якубович и его подельник Абрам Гинзбург в отчаянии вскрыли себе вены. После поправки их уже не пытали и не били, т о л ь к о была двухнедельная бессонница. (Якубович говорит: «Только бы заснуть! Уже ни совести, ни чести . . .») А тут ещё и очные ставки с другими, уже сдавшимися, тоже подталкивают «сознаваться», городить вздор. Да сам следователь (Алексей Алексеевич Наседкин): «Я знаю, знаю, что ничего этого не было! Но — требуют от нас!»

Однажды, вызванный к следователю, Якубович застаёт там замученного арестанта. Следователь усмехается: «Вот Моисей Исаевич Тейтельбаум просит вас принять его в вашу антисоветскую организацию. Поговорите без меня посвободнее, я пока уйду.» Ушёл. Тейтельбаум действительно умоляет: «Товарищ Якубович! Прошу вас, примите меня в ваше Союзное Бюро меньшевиков! Меня обвиняют во «взятках с иностранных фирм», грозят расстрелом. Но лучше я умру контриком, чем уголовником!» (А скорей — обещали, что контрика и пощадят? Он не ошибся: получил детский срок, пятёрку.) До чего ж скудно было у ГПУ с меньшевиками, что набирали обвиняемых из добровольцев! . . (И ведь важная роль ждала Тейтельбаума: связь с заграничными меньшевиками и со Вторым Интернационалом! Но по уговору — пятёрка, честно.) С одобрения следователя Якубович *принял* Тейтельбаума в Союзное Бюро.

И других «зачислял», кто и не просился, например, И. И. Рубина. Тот успешно отрёкся на очной ставке с Якубовичем. Потом его долго мотали, «доследовали» в Суздальском изоляторе. Там он встретился в одной камере с Якубовичем и Шером, показывавшими против него (а когда возвращался в камеру из карцера, они ухаживали за ним, делились продуктами). Рубин спросил Якубовича: «Как вы могли придумать, что я — член Союзного Бюро?» И Якубович ответил (ответ изумительный, тут целое столетие русской интеллигенции): «Весь народ страдает — и мы, интеллигенты, должны страдать.»

Но был в следствии Якубовича и такой вдохновительный момент: его вызвал на допрос сам Крыленко. Оказывается, они прекрасно друг с другом были знакомы, ибо в те же годы «военного коммунизма» (промеж первых процессов) в ту же Смоленскую губернию Крыленко приезжал *укреплять продработу*, и даже спал в одной комнате с Якубовичем. И вот что сказал теперь Крыленко:

— Михаил Петрович, скажу вам прямо: я считаю вас коммунистом! — (Это очень подбодрило и выпрямило Якубовича.) — Я не сомневаюсь в вашей невинности. Но наш с вами партийный долг — провести этот процесс. — (Крыленке Сталин приказал, а Якубович затрепетал для идеи, как рьяный конь, который сам

спешит сунуть голову в хомут.) — Прошу вас всячески помогать, идти навстречу следствию. А на суде в случае непредвиденного затруднения, в самую сложную минуту я попрошу председателя дать вам слово.

!!!

И Якубович — обещал. С сознанием долга — обещал. Пожалуй, такого ответственного задания ещё не давала ему Советская власть за все годы службы.

За несколько дней до процесса в кабинете старшего следователя Дмитрия Матвеевича Дмитриева было создано первое оргзаседание Союзного Бюро меньшевиков: чтоб согласовать и каждый бы роль свою лучше понял. (Вот так и ЦК «промпартии» заседал! Вот где подсудимые «могли встретиться», чему дивился Крыленко.) Но так много наворочено было лжи, не вмещаемой в голову, что участники путали, за одну репетицию не усвоили, собирались и второй раз.

С каким же чувством выходил Якубович на процесс? За все принятые муки, за всю ложь, натолканную в грудь — устроить на суде мировой скандал? Но ведь:

1) это будет удар в спину Советской власти! Это будет отрицанием всей жизненной цели, для которой Якубович живёт, всего того пути, которым он выдирался из ошибочного меньшевизма в правильный большевизм;

2) после такого скандала не дадут умереть, не расстреляют просто, а будут снова пытать, уже в месть, доведут до безумия, а тело и без того измучено пытками. Для такого ещё нового мучения — где найти нравственную опору? в чём почерпнуть мужество?

(Я по горячему звуку слов записал эти его аргументы — редчайший случай получить как бы «посмертное» объяснение участника такого процесса. И я нахожу, что это всё равно, как если бы причину своей загадочной судебной покорности объясняли нам Бухарин или Рыков: та же искренность, та же партийная преданность, та же человеческая слабость, такое же отсутствие нравственной опоры для борьбы — из-за того, что нет *отдельной* позиции.)

И на процессе Якубович не только покорно повторял всю серую жвачку лжи, выше которой не поднялась фантазия ни Сталина, ни его подмастерий, ни измученных подсудимых. Но и сыграл он свою вдохновенную роль, обещанную Крыленке.

Так называемая Заграничная Делегация меньшевиков (по сути — вся верхушка их ЦК) напечатала в «Vorwärts» своё отмежевание от подсудимых. Они писали, что это — позорнейшая судебная комедия, построенная на показаниях провокаторов и несчастных обвиняемых, вынужденных к тому террором. Что подавляющее большинство подсудимых уже более десяти лет как ушли из партии и никогда в неё не возвращались. И что смехотворно большие суммы фигурируют на процессе — такие деньги, которыми и вся партия никогда не располагала.

И Крыленко, зачтя статью, просил Шверника дать подсудимым высказаться (то же дёргание всеми нитками сразу, как и на «промпартии»). И все — выступили. И все защищали методы ГПУ против меньшевистского ЦК . . .

Но что вспоминает теперь Якубович об этом своём «ответе», как и о своей последней речи? Что он говорил отнюдь не только по обещанию, данному Крыленке, что он не просто поднялся, но его подхватил, как щепку, поток раздражения и красноречия. Раздражения — на кого? Узнавший и пытки, и вскрывавший вены, и обмиравший уже не раз, он теперь искренно негодовал — не на прокурора! не на ГПУ!— нет! на Заграничную Делегацию!!! Вот она психологическая переполюсовка! В безопасности и комфорте (даже нищая эмиграция коечино комфорт по сравнению с Лубянкой) они там, бессовестные, самодовольные — как могли не пожалеть *этих* за муки и страдания? как могли так нагло отречься и отдать несчастных их участи? (Сильный получился ответ, и устроители процесса торжествовали.)

Даже рассказывая в 1967 году, Якубович затрясся от гнева на Заграничную Делегацию, на их предательство, отречение, их измену социалистической революции, как он упрекал их ещё в 1917.

А стенограммы процесса при этом разговоре не было у нас. Позже я достал её и прочёл: ведь он на том самом процессе громогласно нёс, что Заграничная Делегация по поручению Второго Интернационала *давала им директивы вредить!*— и на них же громогласно сердился. Заграничные меньшевики писали не бессовестно, не самодовольно, они именно жалели несчастных жертв процесса, но указывали, что это давно не меньшевики — так и правда. На что же так устойчиво разгневался Якубович? А как заграничные меньшевики могли бы *не* отдать подсудимых их участи?

Мы любим сердиться на безответных, на тех, кто слабей. Это есть в человеке. И аргументы сами как-то ловко подскакивают, что мы правы.

Крыленко же сказал в обвинительной речи, что Якубович — фанатик контрреволюционной идеи, и потому он требует для него — *расстрела!*

И Якубович не только в тот день ощутил в подглазьях слезу благодарности, но и по сей день, протащась по многим лагерям и изоляторам, ещё и сегодня благодарен Крыленке, что тот не унижал, не оскорблял, не высмеивал его на скамье подсудимых, а верно назвал *фанатиком* (хотя и противоположной идеи) и потребовал простого благородного расстрела, кончающего все муки! Якубович и сам в последнем слове согласился: преступления, в которых я сознался (он большое значение придаёт этому удачному выражению *«в которых я сознался»* — понимающий должен же, мол, уразуметь: а не *которые я совершил!*), достойны высшей меры наказания — и я не прошу снисхождения! не прошу оставить мне жизнь! (Рядом на скамье переполошился Громан: «Вы с ума сошли! вы перед товарищами не имеете такого права!»)

Ну, разве не находка для прокуратуры?*

И разве ещё не объяснены процессы 1936-38 годов?

А не над этим разве процессом понял и поверил Сталин, что и главных своих врагов-болтунов он вполне загонит, вполне сорганизует вот в такой же спектакль?

* * *

Да пощадит меня снисходительный читатель! До сих пор бестрепетно выводило моё перо, не сжималось сердце, и мы скользили беззаботно, потому что все 15 лет находились под верной защитой то законной революционности, то революционной законности. Но дальше нам будет больно: как читатель помнит, как десятки раз нам объяснено, начиная с Хрущёва, «примерно с 1934 года началось нарушение ленинских норм законности».

И как же нам теперь вступить в эту пучину беззакония? Как же нам проволочиться ещё по этому горькому плёсу?

Впрочем по знатности имён подсудимых э т и, следующие, суды были на виду у всего мира. Их не обронили из внимания, о них писали, их истолковывали. И ещё будут толковать. И нам лишь немного коснуться — их *загадки*.

Оговоримся, хотя некрупно: изданные стенографические отчёты неполностью совпадали со сказанным на процессах. Один писатель, имевший пропуск в числе подобранной публики, вёл беглые записи и потом убедился в этих несовпадениях. Все корреспонденты заметили и заминку с Крестинским, когда понадобился перерыв, чтобы вправить его в колею заданных показаний. (Я так себе представляю: перед процессом составлялась аварийная ведомость: графа первая — фамилия подсудимого, графа вторая — какой приём применять в перерыве, если на суде отступит от текста, графа третья — фамилия чекиста, ответственного за приём. И если Крестинский вдруг сбился, то уже известно, кто к нему бежит и что делать.)

Но неточности стенограммы не меняют и не извиняют картины. С изумлением проглядел мир три пьесы подряд, три обширных дорогих спектакля, в которых крупные вожди бесстрашной коммунистической партии, перевернувшей, перетревожившей весь мир, теперь выходили унылыми покорными козлами и блеяли всё, что было приказано, и блевали на себя, и раболепно унижали себя и свои убеждения, и признавались в преступлениях, которых никак не могли совершить.

Это не видано было в памятной истории. Это особенно поража-

* И эта роковая судьба — изневольио и нскренно помогать нашнм мучнтелям, отозвалась Якубовичу ещё раз, уже старнку, в 1974: в нивалндный дом под Карагаидой приехали к нему чекнсты н получилн беседу, статью и даже киносъёмку его выступлеиия против «Архипелага». Но, связанные свонмн же путами, чекисты ие пустили этого широко, потому что Якубовнч оставался фнгурой нежелательной. Одиако ещё н в 1978 онн замешалн его в ложь протнв меня. (Прнмечанне 1978 года)

ло по контрасту после недавнего процесса Димитрова в Лейпциге: как лев рыкающий отвечал Димитров нацистским судьям, а тут его товарищи из той же самой несгибаемой когорты, перед которой трепетал весь мир, и самые крупные из них, кого называли «ленинской гвардией»,— теперь выходили перед судом облитые собственной мочой.

И хотя с тех пор многое как будто разъяснено (особенно удачно — Артуром Кестлером) — *загадка* всё так же расхоже обращается.

Писали о тибетском зельи, лишающем воли, о применении гипноза. Всего этого при объяснении никак не стоит отвергать: если средства такие были в руках НКВД, то непонятно, какие моральные нормы могли бы помешать прибегнуть к ним? Отчего же бы не ослабить и не затмить волю? А известно, что в 20-е годы крупные гипнотизёры покидали гастрольную деятельность и переходили служить в ГПУ. Достоверно известно, что в 30-е годы при НКВД существовала школа гипнотизёров. Жена Каменева получила свидание с мужем перед самым процессом и нашла его заторможенным, не самим собою. (Она успела об этом рассказать прежде, чем сама была арестована.)

Но почему Пальчинского или Хренникова не сломили ни тибетским зельем, ни гипнозом?

Нет, без объяснения более высокого, психологического, тут не обойтись.

Недоумевают особенно потому, что ведь это всё — старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это — закалённые, пропечённые, просмолённые и так далее борцы. Но здесь — простая ошибка. Это были не те старые революционеры, эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников, эсеров и анархистов. Те, бомбометатели и заговорщики, видели каторгу, знали *сроки*,— но настоящего неумолимого *следствия* отроду не видели и те (потому что его в России вообще не было). А эти не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные «застенки», никакой Сахалин, никакая особенная якутская каторга никогда не досталась большевикам. Известно о Дзержинском, что ему выпало всех тяжелей, что он всю жизнь провёл по тюрьмам. А по нашим меркам отбыл он нормальную десятку, простой *червонец*, как в наше время любой колхозник; правда среди той десятки — три года каторжного централа, так и тоже не невидаль.

Вожди партии, кого вывели нам в процессах 36—38-го годов, имели в своём революционном прошлом короткие и мягкие тюремные посадки, непродолжительные ссылки, а каторги и не нюхали. У Бухарина много мелких арестов, но какие-то шуточные; видимо даже одного года подряд он нигде не отсидел, чуть-чуть побыл в ссылке на Онеге.* Каменев, с его долгой агитационной работой

* Все данные здесь — из 41-го тома Энциклопедического словаря «Гранат», где собраны автобиографические или достоверные биографические очерки деятелей РКП(б).

и разъездами по всем городам России, просидел 2 года в тюрьмах да полтора в ссылке. У нас шестнадцатилетним пацанам и то давали сразу пять лет. Зиновьев, смешно сказать, *не просидел и трёх месяцев!* не имел *ни одного приговора!* По сравнению с рядовыми туземцами нашего Архипелага они — младенцы, они не видели тюрьмы. Рыков и И. Н. Смирнов арестовывались несколько раз, просидели лет по пять, но как-то легко проходили их тюрьмы, изо всех ссылок они без затруднения бежали, то попадали под амнистию. До посадки на Лубянку они вообще не представляли ни подлинной тюрьмы, ни клещей несправедливого следствия. (Нет оснований предполагать, что попади в эти клещи Троцкий — он вёл бы себя не так униженно, жизненный костяк у него оказался бы крепче: не с чего ему оказаться. Он тоже знал лишь лёгкие тюрьмы, никаких серьёзных следствий да два года ссылки в Усть-Кут. Грозность Троцкого как председателя Реввоенсовета и создателя реввоентрибуналов досталась ему дёшево и не выявляет истинной твёрдости: кто многих велел расстрелять — ещё как скисает перед собственной смертью! Эти две твёрдости друг с другом не связаны.) А Радек — провокатор (да не один же он на все три процесса!). А Ягода — отъявленный уголовник.

(Этот убийца-миллионер не мог вместить, чтобы высший над ним Убийца не нашёл бы в своём сердце солидарности в последний час. Как если бы Сталин сидел тут, в зале, Ягода уверенно настойчиво попросил пощады прямо у него: «Я обращаюсь к Вам! Я для Вас построил два великих канала!..» И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеёю, в сумерках, зажглась спичка и, пока прикуривали, увиделась тень трубки.— Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею? — в зале заседаний государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами — неосвещённая галерея. Из зала никогда нельзя догадаться: есть ли там кто или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленно восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не могу, чтоб он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении.)

А ведь всё наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов рядовых граждан мы же не задаёмся загадкою: почему там столько наговорено на себя и на других?— мы принимаем это как понятное: человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова, И. Н. Смирнова мы заранее считаем сверхлюдьми — и только из-за этого, по сути, наше недоумение.

Правда, режиссёрам спектакля здесь как будто трудней подобрать исполнителей, чем в прежних инженерных процессах: там выбирали из сорока бочек, а здесь труппа мала, главных исполнителей все знают, и публика желает, чтоб играли непременно они.

Но всё-таки был же отбор! Самые дальновидные и решительные из обречённых — те и в руки не дались, те покончили с собою до ареста (Скрыпник, Томский, Гамарник). А дали себя арестовать те, кто *хотел жить*. А из хотящего жить можно вить верёвки!.. Но и из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствии, опомнились, упёрлись, погибли в глухости, но хоть без позора. Ведь почему-то же не вывели на гласные процессы Шляпникова, Рудзутака, Постышева, Енукидзе, Чубаря, Косиора, да того же и Крыленку, хотя их имена вполне бы украсили те процессы.

Самых податливых и вывели! Отбор всё-таки был.

Отбор был из меньшего ряда, зато усатый Режиссёр хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабакѝ, и слабость каждого порознь знал. В этом и была его мрачная незаурядность, главное психологическое направление и достижение его жизни: видеть слабости людей на нижнем уровне бытия.

И того, кто представляется из дали времён самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей (и кому очевидно посвятил Кестлер своё талантливое исследование) — Н. И. Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется человек с землёю, Сталин видел насквозь и долгою мёртвою хваткою держал и даже, как с мышонком, поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую (бездействующую), такую прекрасную на слух конституцию — там в подоблачном уровне он свободно порхал и думал, что обыграл Кобу: подсунул ему конституцию, которая заставит того смягчить диктатуру. А сам уже был — в пасти.

Бухарин не любил Каменева и Зиновьева и ещё когда судили их в первый раз, после убийства Кирова, высказал близким: «А что? Это такóй народ. Что-нибудь может быть и было . . .» (Классическая формула обывателя тех лет: «Что-нибудь, наверно, было . . . У нас зря не посадят.» Это в 1935 году говорит первый теоретик партии!) Второй же процесс Каменева — Зиновьева, летом 1936, он провёл на Тянь-Шане, охотясь, ничего не знал. Спустился с гор во Фрунзе — и прочёл уже приговор обоих к расстрелу и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задержать всю эту расправу? И воззвал к партии, что творится чудовищное? Нет, лишь послал телеграмму Кобе: приостановить расстрел Каменева и Зиновьева, чтобы . . . Бухарин мог приехать на очную ставку и оправдаться.

Поздно! Кобе было достаточно именно протоколов, зачем ему живые очные ставки?

Однако, ещё долго Бухарина не брали. Он потерял «Известия», всякую деятельность, всякое место в партии — и в своей кремлёвской квартире, в Потешном дворце Петра, полгода жил как в тюрьме. (Впрочем, на дачу ездил осенью — и кремлёвские часовые как ни в чём не бывало приветствовали его.) К ним уже никто не ходил и не звонил. И все эти месяцы он бесконечно писал письма: «Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!..», оставшиеся без единого ответа.

Он ещё искал сердечного контакта со Сталнным!

А *дорогой Коба*, прнщурясь, уже репетнровал... Коба уже много лет как сделал пробы на ролн н знал, что *Бухарчик* свою сыграет отлнчно. Ведь он уже отрёкся от своих посаженных н сосланных ученнков н сторонников (малочнсленных, впрочем), он стерпел их разгром.* Он стерпел разгром н поношенне своего направлення мысли, ещё как следует н не рождённого. А теперь, ещё главный редактор «Известнй», ещё кандидат Полнтбюро, вот он так же снёс как законное расстрел Каменева н Зиновьева. Он не возмутился нн громогласно, нн даже шёпотом. Так это всё н былн пробы на роль!

А ещё прежде, давно, когда Сталнн грознл нсключнть его (их всех в разное время!) нз партни — Бухарнн (они все!) отрекался от свонх взглядов, чтоб только остаться в партни! Так это н была проба на роли! Еслн так онн ведут себя ещё на воле, ещё на вершннах почёта н властн — то когда нх тело, еда н сон будут в руках лубянскнх суфлёров, они безупречно подчнннятся тексту драмы.

И в этн предарестные месяцы что́ было самой большой боязнью Бухарнна? Достаточно нзвестно: боязнь быть нсключённым нз Партнн! лншнться Партин! остаться жнть, но вне Партни! Вот на этой-то (нх всех!) черте н великолепно нграл дорогой Коба, с тех пор как сам стал Партней. У Бухарнна (у них у всех!) не было своей *отдельной точки зрения*, у них не было своей действнтельно оппозиционной ндеологни, на которой они моглн бы обособиться, утверднться. Сталнн объявил их оппознцией прежде, чем они ею сталн, и тем лншил нх всякой мощн. И все усилня нх направнлись — удержаться в Партнн. И при том же не повреднть Партнн!

Слишком много необходнмостей, чтобы быть независнмым!

Бухарнну назначалась, по сутн, заглавная роль — н ннчто не должно было быть скомкано н упущено в работе Режиссёра с ннм, в работе временн н в собственном его вжнваннн в роль. Даже посылка в Европу минувшей знмой за рукописямн Маркса не только внешне была нужна для сетн обвнненнй в завязанных связях, но бесцельная свобода гастрольной жнзни ещё неотклоннмее предуказывала возврат на главную сцену. И теперь под тучамн чёрных обвнненнй — долгнй, бесконечный неарест, изнурнтельное домашнее томление — оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. (А то — н не уйдёт, того тоже будет — год.)

Как-то Бухарнна вызвал Каганович н в прнсутствин крупных чекистов устронл ему очную ставку с Сокольннковым. Тот дал показання о «параллельном Правом Центре» (то есть параллельном троцкистскому), о подпольной деятельности Бухарнна. Каганович напорнсто провёл допрос, потом велел увестн Сокольннкова и дружески сказал Бухарину: «Всё врёт, б...!»

* Одного Ефима Цейтлина отстоял, и то ненадолго.

Однако, газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК. Бухарин писал письма: «Дорогой Коба!..» — с просьбой снять с него обвинения публично. Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры: «Для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств».

Радек осенью звонил ему, желая встретиться. Бухарин отгородился: мы оба обвиняемые, зачем навлекать новую тень? Но их дачи известинские были рядом, и как-то вечером Радек пришёл: «Что бы я потом ни говорил, знай, что я ни в чём не виноват. Впрочем, ты уцелеешь: ты же не был связан с троцкистами.»

И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат — это было бы чудовищно! К троцкистам он, действительно, всегда относился худо: вот они поставили себя вне партии — и что вышло! А надо держаться вместе, делать ошибки — так вместе.

На ноябрьскую демонстрацию (своё прощание с Красной площадью) они с женой пошли по редакционному пропуску на гостевую трибуну. Вдруг — к ним направился вооружённый красноармеец. Захолонуло! — здесь? в такую минуту?.. Нет, берёт под козырёк: «Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь? Он просит вас занять своё место на мавзолее.»

Так из жарка́ в ледок все полгода и перекидывали его. 5-го декабря с ликованием приняли бухаринскую конституцию и нарекли её во веки сталинской. На декабрьский пленум ЦК привели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже и на себя не похожего. За спиной его стояли немые чекисты (ягодинцы, Ягода тоже ведь проверялся и готовился на роль). Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, тут же сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил к уху ладонь (он не дослышивал): «Скажите, а вы *добровольно* даёте все эти показания?» (Заметка! Получит пулю и Орджоникидзе.) «Совершенно добровольно»,— пошатывался Пятаков. И в перерыве сказал Бухарину Рыков: «Вот у Томского — воля, ещё в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить.»

Тут гневно и проклинающе выступали Каганович (он так хотел верить невинности Бухарчика!— но не выходило...) и Молотов. А Сталин!— какое широкое сердце! какая память на доброе: «Всё-таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков может быть и виноват, но не Бухарин.» (Это помимо его желания кто-то стягивал обвинения на Бухарина!)

Из ледка в жарок. Так падает воля. Так вживаются в роль потерянного героя.

Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов: прежних юношей из Института Красной Профессуры, и Радека, и всех других — и все давали тяжелейшие доказательства бухаринской чёрной измены. Ему на дом несли не как обвиняемому, о нет!— как члену ЦК, лишь для осведомления...

Чаще всего, получив новые материалы, Бухарин говорил 22-летней жене, только этой весной родившей ему сына: «Читай ты, я не могу!» — а сам зарывался головой под подушку. Два револьвера

были у него дома (и время давал ему Сталин!) — он не кончил с собой.

Разве он не вжился в назначенную роль? ..

И ещё один гласный процесс прошёл — и ещё одну пачку расстреляли ... А Бухарина щадили, а Бухарина не брали ...

В начале февраля 1937 он решил объявить домашнюю голодовку: чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинения. Объявил в письме Дорогому Кобе — и честно выдерживал. Тогда созван был пленум ЦК с повесткой: 1. О преступлениях Правого Центра. 2. Об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившемся в голодовке.

И заколебался Бухарин: а может быть в самом деле он чем-то оскорбил Партию? .. Небритый, исхудалый, уже арестант и по виду, приплёлся он на Пленум.—«Что это ты выдумал?»— душевно спросил Дорогой Коба.—«Ну как же, если такие обвинения? Хотят из партии исключить ...» Сталин сморщился от несуразицы: «Да никто тебя из партии не исключит!»

И Бухарин поверил, оживился, охотно каялся перед Пленумом, тут же снял голодовку. (Дома: «Ну-ка отрежь мне колбасы! Коба сказал — меня не исключат.») Но в ходе пленума Каганович и Молотов (вот ведь дерзкие! вот ведь со Сталиным не считаются!)* обзывали Бухарина фашистским наймитом и требовали расстрелять.

И снова пал духом Бухарин, и в последние свои дни стал сочинять «письмо к будущему ЦК». Заученное наизусть и так сохранённое, оно недавно стало известно всему миру. Однако не сотрясло его. (Как и «будущее ЦК». А чего стоит адрес!— ЦК, выше нет морального авторитета.) Ибо что́ решил этот острый блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Ещё один вопль восстановить его в партии (дорогим позором заплатил он за эту преданность!). И ещё одно заверение, что «полностью одобряет» всё происшедшее до 1937 года включительно. А значит — не только все предыдущие глумливые процессы, но и — все зловонные потоки нашей великой тюремной канализации!

Так он расписался, что достоин нырнуть в них же ...

Наконец, он вполне созрел быть отданным в руки суфлёров и младших режиссёров — этот мускулистый человек, охотник и борец! (В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки!— наверно, и этого не мог ему Коба простить.)

И у подготовленного так, и у разрушенного так, что ему уже и пытки не нужны,— чем у него позиция сильней, чем была у Якубовича в 1931 году? В чём не подвластен он тем самым двум аргументам? Даже он слабей ещё, ибо Якубович смерти жаждал, а Бухарин её боится.

---

* Каких мы богатейших показаний лишаемся, покоя благородную молотовскую старость!

И оставался уже нетрудный диалог с Вышинским по схеме:

— Верно ли, что всякая оппозиция против Партии есть борьба против Партии?— Вообще — да. Фактически — да.— Но борьба против Партии не может не перерасти в войну против Партии?— По логике вещей — да.— Значит, с убеждениями оппозиции в конце концов могли бы быть совершены любые мерзости против Партии (убийства, шпионства, распродажа Родины)?— Но позвольте, они не были совершены.— *Но могли бы?*— Ну, теоретически говоря... (ведь теоретики!..) — Но высшими-то интересами для вас остаются интересы Партии?— Да, конечно, конечно! — Так вот осталось совсем небольшое расхождение: надо реализовать эвентуальность, надо в интересах посрамления всякой впредь оппозиционной идеи — признать за *совершённое* то, что только *могло* теоретически совершиться. Ведь могло же?— Могло ...— Так надо возможное признать действительным, только и всего. Небольшой философский переход. Договорились!.. Да, ещё! ну, не вам объяснять: если вы теперь на суде отступите и скажете что-нибудь иначе — вы понимаете, что вы только сыграете на руку мировой буржуазии и только повредите Партии. Ну и, разумеется, вы сами тогда не лёгкой умрёте смертью. А всё сойдёт хорошо — мы, конечно, оставим вас жить: тайно отправим на остров Монте-Кристо и там вы будете работать над экономикой социализма.— Но в прошлых процессах вы, кажется, расстреляли?— Ну, что вы сравниваете — о н и и в ы! И потом, мы многих оставили, это только по газетам.

Так может, уж такой густой загадки и нет?

Всё та же непобедимая мелодия, через столько уже процессов, лишь в вариациях: *ведь мы же с вами — коммунисты!* И как же вы могли склониться — выступить против нас? Покайтесь! Ведь вы и мы вместе — это м ы!

Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет — такое простое. Ни в 1922, ни в 1924, ни в 1937 ещё не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтоб на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятою головой:

— Нет, *с вами* мы не революционеры!.. Нет, *с вами* мы не русские!.. Нет, *с вами* мы не коммунисты!

А кажется, только бы крикнуть!— и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по чёрной лестнице режиссёр, и суфлёры шмыргнули по норам крысиным. И на дворе бы — сразу шестидесятые!

* * *

Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотны. И решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами.

Вернее, был у него в 37-м году замах провести широкую сеть публичных процессов в *районах* — чтобы чёрная душа оппозиции стала наглядна для масс. Но не нашлось хороших режиссёров,

непосильно было так тщательно готовиться, и сами обвиняемые были не такие замысловатые — и получился у Сталина конфуз, да только об этом мало кто знает. На нескольких процессах сорвалось — и было оставлено.

Об одном таком процессе уместно здесь рассказать — о *Кадыйском деле*, подробные отчёты которого уже начали было печататься в ивановской областной газете.

В конце 1934 в дальней глухомани Ивановской области на стыке с нынешними Костромской и Нижегородской, создан был новый район, и центром его стало старинное неторопливое село Кадый. Новое руководство было назначено туда из разных мест, и сознакомились уже в Кадые. Они увидели глухой печальный нищий край, измождённый хлебозаготовками, тогда как требовал он, напротив, помощи деньгами, машинами и разумного ведения хозяйства. Так сложилось, что первый секретарь райкома Фёдор Иванович Смирнов был человек со стойким чувством справедливости, завраймзо Ставров — коренной мужик, из крестьян-«интенсивников», то есть тех рачительных и грамотных крестьян, которые в 20-х годах вели своё хозяйство на основах науки (за что и поощрялись тогда советской властью; ещё не решено было тогда, что всех этих интенсивников придётся выгребать). Из-за того, что Ставров вступил в партию, он не погиб при раскулачивании (а может быть и сам раскулачивал?). На новом месте попытались они что-то для крестьян сделать, но сверху скатывались директивы, и каждая — против их начинаний: как будто нарочно изобретали там, наверху, чтоб сделать мужикам горше и круче. И однажды кадыйцы написали докладную в область, что необходимо снизить план хлебозаготовок — район не может его выполнить, иначе обнищает дальше опасного предела. Надо вспомнить обстановку 30-х годов (да только ли 30-х?), чтоб оценить, какое это было святотатство против Плана и какой бунт против власти! Но по ухваткам того же времени меры не были приняты в лоб и сверху, а пущены на местную самодеятельность. Когда Смирнов был в отпуске, его заместитель Василий Фёдорович Романов, 2-й секретарь, провёл такую резолюцию на райкоме: «успехи района были бы ещё более блестящими (?), если бы не троцкист Ставров». Началось «персональное дело» Ставрова. (Интересна ухватка: *разделить!* Смирнова пока напугать, нейтрализовать, заставить отшатнуться, а до него потом доберёмся — это в малых масштабах именно сталинская тактика в ЦК.) На бурных партийных собраниях выяснилось однако, что Ставров столько же троцкист, сколько римский иезуит. Председатель райпо Василий Григорьевич Власов, человек со случайным клочным образованием, но тех самобытных способностей, которые так удивляют в русских, кооператор-самородок, красноречивый, находчивый в диспутах, запаляющийся до полного раскала вокруг того, что он считает верным, убеждал партийное собрание исключить из партии — Романова, секретаря райкома, за клевету! И дали Романову выговор! Последнее слово Романова очень характерно для этой породы людей и их увереннос-

ти в общей обстановке: «Хотя тут и доказали, что Ставров — не троцкист, но я уверен, что он троцкист. *Партия разберётся,* и в моём выговоре тоже.» И Партия разобралась: почти немедленно районное НКВД арестовало Ставрова, через месяц — и предрайисполкома эстонца Универа — и вместо него Романов стал предРИКом. Ставрова отвезли в областное НКВД, там он сознался: что он — троцкист; что он всю жизнь блокировался с эсерами; что в своём районе состоит членом подпольной *правой* организации (букет — тоже достойный того времени, не хватает прямой связи с Антантой). Может быть, он и не сознался, но этого никто никогда не узнает, потому что в Ивановской внутрянке он под пытками умер. А листы протоколов были написаны. Вскоре арестовали и секретаря райкома Смирнова, главу предполагаемой правой организации; завра́йфо Сабурова и ещё кого-то.

Интересно, как решалась судьба Власова. Нового предРИКа Романова он недавно призывал исключить из партии. Как смертельно он обидел районного прокурора Русова, мы уже писали (глава 4). Начальника райНКВД Н. И. Крылова он обидел тем, что отстоял от посадки за мнимое вредительство двух своих оборотистых толковых кооператоров с замутнённым соцпроисхождением. (Власов всегда брал на работу всяких «бывших»— они отлично владели делом и к тому же старались; пролетарские же выдвиженцы ничего не умели и ничего, главное, не хотели делать.) И всё-таки НКВД ещё готово было пойти с кооперацией на мировую! Заместитель райНКВД Сорокин сам пришёл в райпо и предложил Власову: дать для НКВД бесплатно («как-нибудь потом спишешь») на семьсот рублей мануфактуры (тряпичники! а для Власова это было две месячных зарплаты, он крохи не брал себе незаконной). «Не дадите — будете жалеть.» Власов выгнал его: «Как вы смеете мне, коммунисту, предлагать такую сделку!» На другой же день в райпо явился Крылов уже как представитель райкома партии (этот маскарад и все приёмчики — душа 37-го года!) и *велел* собрать партийное собрание с повесткой дня: «О вредительской деятельности Смирнова — Универа в потребительской кооперации», докладчик — товарищ Власов. Тут что ни приём, то перл! Никто пока не обвиняет Власова! Но достаточно ему сказать два слова о вредительской деятельности бывшего секретаря райкома в его, Власова, области, и НКВД прервёт: «А где же были *вы?* почему вы не пришли своевременно к нам?» В таком положении многие терялись и увязали. Но не Власов! Он сразу же ответил: «Я делать доклада не буду! Пусть докладчиком будет Крылов — ведь это он арестовал и ведёт дело Смирнова — Универа!» Крылов отказался: «Я не в курсе.» Власов: «А если даже *вы* не в курсе — так они арестованы без основания!» И собрание просто не состоялось. Но часто ли люди смели обороняться? (Обстановка 37-го года не будет полной, мы утеряем из виду ещё сильных людей и сильные решения, если не упомянем, что поздно вечером того же дня в кабинет к Власову пришли старший бухгалтер райпо Т. и заместитель его Н. и принесли ему десять тысяч рублей: «Василий

Григорьевич! Бегите этой ночью! Только этой ночью, иначе вы пропали!» Но Власов считал, что не пристало коммунисту бежать.) На утро в районной газете появилась резкая заметка о работе райпо (ведь наша печать была всегда рука об руку с НКВД), к вечеру предложено было Власову сделать в райкоме отчёт о работе (что ни шаг — то всесоюзный тип!).

Это был 1937 год, второй год Mikojan-prosperity в Москве и других крупных городах, и сейчас иногда встретишь у журналистов и писателей воспоминания, как уже тогда наступала сытость. Это вошло в историю и рискует там остаться. А между тем в ноябре 1936 года, через два года после отмены хлебных карточек, было издано по Ивановской области (и другим) тайное распоряжение о *запрете мучной торговли*. В те годы многие хозяйки в мелких посёлках, а особенно в деревнях, ещё пекли хлеб сами, пекарен не было. Запрет мучной торговли означал: хлеба не есть! В районном центре Кадые образовались непомерные, никогда не виданные хлебные очереди (впрочем, нанесли удар и по ним: в феврале 1937 запрещено было выпекать в райцентрах чёрный хлеб, а лишь дорогой белый). В Кадыйском же районе не было других пекарен, кроме районной, из деревень теперь валили за чёрным сюда. И мука на складах райпо была — но двумя запретами перегорожены были все пути дать её людям!! Власов однако нашёлся и вопреки государственным хитрым установлениям накормил район в тот год: он отправился по колхозам и в восьми из них договорился, что те в пустующих «кулацких» избах создадут общественные пекарни (то есть попросту привезут дров и поставят баб к готовым русским печам, но — общественным, а не личным), райпо же обязуется снабжать их мукой. Вечная простота решения, когда оно уже найдено! Не строя пекарен (у него не было средств), Власов их построил за один день. Не ведя мучной торговли, он непрерывно отпускал муку со склада и требовал из области ещё. Не продавая в райцентре чёрного хлеба, он давал району чёрный хлеб. Да, буквы постановления он не нарушил, но он нарушил дух постановления — экономить муку, а народ — морить, и его было за что *критиковать* на райкоме.

После этой критики ещё одну ночь он пережил, а днём был арестован. Строгий маленький петушок (маленького роста, он всегда держался несколько заносчиво, закидывая голову), он попытался не сдать партбилета (вчера на райкоме не было решения об его исключении!) и депутатскую карточку (он избран народом и нет решения РИКа о лишении его депутатской неприкосновенности!). Но милиционеры не разумели таких формальностей, они накинулись и отняли силой.— Из райпо его вели в НКВД по улице Кадыя днём, и молодой товаровед его, комсомолец, из окна райкома увидел. Ещё не все тогда люди (особенно в деревнях по простоте) научились говорить не то, что думают. Товаровед воскликнул: «Вот сволочи! И моего хозяина взяли!» Тут же, не выходя из комнаты, его исключили и из райкома и из комсомола, и он покатился известной тропкой в яму.

Власов был поздно взят по сравнению со своими однодельцами, дело было почти завершено уже без него и теперь подстраивалось под открытый процесс. Его привезли в Ивановскую внутрянку, но, как на последнего, на него уже не было нажима с пристрастием, снято было два коротких допроса, не был допрошен ни единый свидетель, и папка следственного дела была наполнена сводками райпо и вырезками из районной газеты. Власов обвинялся: 1) в создании очередей за хлебом; 2) в недостаточном ассортиментном минимуме товаров (как будто где-то эти товары были и кто-то предлагал их Кадыю); 3) в излишке завезенной соли (а это был обязательный «мобилизационный» запас — ведь по старинке в России на случай войны всегда боятся остаться без соли).

В конце сентября обвиняемых повезли на открытый процесс в Кадый. Это был путь не близкий (вспомнишь дешевизну ОСО и закрытых судов!): от Иванова до Кинешмы — вагон-заком, от Кинешмы до Кадыя — 110 километров на автомобилях. Автомобилей было больше десятка — и следуя необычной вереницей по пустынному старому тракту, они вызывали в деревнях изумление, страх и предчувствие войны. За безупречную и устрашающую организацию всего процесса отвечал Клюгин (начальник спецсекретного отдела облНКВД, по контрреволюционным организациям). Охрана была — сорок человек из резерва конной милиции, и каждый день с 24 по 27 сентября подсудимых вели по Кадыю с саблями наголо и выхваченными наганами из райНКВД в недостроенный клуб и назад — по селу, где они недавно были правительством. Окна в клубе уже были вставлены, сцена же — недостроена, не было электричества (вообще его не было в Кадые), и вечерами суд заседал при керосиновых лампах. Публику привозили из колхозов по развёрстке. Валил и весь Кадый. Не только сидели на скамьях и на окнах, но густо стояли в проходах, так что человек до семисот умещалось всякий раз. Передние же скамьи были постоянно отводимы коммунистам, чтобы суд всегда имел благожелательную опору.

Составлено было спецприсутствие областного суда из зампреда облсуда Шубина, членов — Биче и Заозёрова. Выпускник Дерптского университета областной прокурор Карасик вёл обвинение (хотя обвиняемые все отказались от защиты, но казённый адвокат был им навязан для того, чтобы процесс не остался без прокурора). Обвинительное заключение, торжественное, грозное и длинное, сводилось к тому, что в Кадыйском районе орудовала подпольная право-бухаринская группа, созданная из Иванова (сиречь — жди арестов и там) и ставившая целью посредством вредительства свергнуть советскую власть в селе Кадый (большего захолустья *правые* не могли найти для начала!).

Прокурор заявил ходатайство: хотя Ставров умер в тюрьме, но его предсмертные показания зачитать здесь и считать данными на суде (а на ставровских-то показаниях все обвинения группы и построены!). Суд согласен: включить показания умершего, как

если б он был жив (с тем, однако, преимуществом, что уже никто из подсудимых не сумеет его оспорить).

Но кадыйская темнота этих учёных тонкостей не уловила, она ждёт — что дальше. Зачитываются и заново протоколируются показания убитого на следствии. Начинается опрос подсудимых и — конфуз!— они *все отказываются* от своих признаний, сделанных на следствии!

Неизвестно, как поступили бы в этом случае в Октябрьском зале Дома Союзов,— а здесь решено без стыда продолжать! Судья упрекает: как же вы могли на следствии показывать иначе? Универ, ослабевший, едва слышимым голосом: «как коммунист, я не могу на открытом суде рассказывать о методах допроса в НКВД». (Вот и модель бухаринского процесса! вот это-то их и сковывает: они больше всего блюдут, чтобы народ не подумал худо о партии. Их судьи давно уже оставили эту заботу.)

В перерыве Клюгин обходит камеры подсудимых. Власову: «Слышал, как скурвились Смирнов и Универ, сволочи? Ты же должен признать себя виновным и рассказывать всю правду!»— «Только правду!— охотно соглашается ещё не ослабевший Власов.— Только правду, что вы ничем не отличаетесь от германских фашистов!» Клюгин свирепеет: «Смотри, б . . ., кровью расплатишься!»* С этого времени в процессе Власов со вторых ролей переводится на первые — как *идейный вдохновитель* группы.

Толпе, забивающей проходы, ясно вот когда. Суд бесстрашно ломится разговаривать о хлебных очередях, о том, что каждого тут и держит за живое (хотя, конечно, перед процессом хлеб продавали несчитанно, и сегодня очередей нет). Вопрос подсудимому Смирнову: «Знали вы о хлебных очередях в районе?»—«Да, конечно, они тянулись от магазина к самому зданию райкома.» — «И что же вы предприняли?» Несмотря на истязания, Смирнов сохранил звучный голос и покойную уверенность в правоте. Этот ширококостый русый человек с простым лицом не торопится и зал слышит каждое слово: «Так как все обращения в областные организации не помогали, я поручил Власову написать докладную товарищу Сталину.» — «И почему ж вы её не написали?» (Они ещё не знают!.. Проворонили!) —«Мы написали, и я её отправил фельдсвязью прямо в ЦК, минуя область. Копия сохранилась в делах райкома.»

Не дышит зал. Суд переполошен, и не надо бы дальше спрашивать, но кто-то всё же спрашивает:

— И что же?

Да этот вопрос у всех в зале на губах: «И что же?»

Смирнов не рыдает, не стонет над гибелью идеала (вот этого не хватает московским процессам!). Он отвечает звучно, спокойно.

— Ничего. *Ответа не было.*

В его усталом голосе: та́к я, собственно, и ожидал.

---

* Скоро, скоро прольётся твоя собственная!— в ежовский косяк энкаведешников захвачен будет Клюгин и в лагере зарублен стукачом Губайдулиным.

О т в е т а н е б ы л о! От Отца и Учителя ответа не было! Открытый процесс уже достиг своей вершины! уже он показал массе чёрное нутро Людоеда! Уже суд мог бы и закрыться! Но нет, на это не хватает им такта и ума, и они ещё три дня будут толочься на подмоченном месте.

Прокурор разоряется: двурушничество! Вот, значит, вы как! — одной рукой вредили, а другой смели писать товарищу Сталину! И ещё ждали от него ответа?? Пусть ответит подсудимый Власов — как он додумался до такого кошмарного вредительства — прекратить продажу муки? прекратить выпечку ржаного хлеба в районном центре?

Петушка Власова и поднимать не надо, он сам торопится вскочить и пронзительно кричит на весь зал:

— Я согласен полностью ответить за это перед судом, если вы покинете трибуну обвинителя, прокурор Карасик, и сядете рядом со мной!

Ничего не понятно. Шум, крики. Призовите к порядку, что такое? . .

Получив слово таким захватом, Власов теперь охотно разъясняет:

— На запрет продажи муки, на запрет выпечки хлеба пришли постановления президиума Облисполкома. Постоянным членом президиума является областной прокурор Карасик. Если это вредительство — почему же вы не наложили прокурорского запрета? Значит, вы — вредитель раньше меня? . .

Прокурор задохнулся, удар верный и быстрый. Не находится и суд. Мямлит:

— Если надо будет (?) — будем судить и прокурора. А сегодня мы судим вас.

(Две правды — зависит от ранга!)

— Так я требую, чтоб его увели с прокурорской кафедры! — клюёт неугомонный Власов.

Перерыв . . .

Ну, какое воспитательное значение для массы имеет подобный процесс?

А они тянут своё. После допроса обвиняемых начинаются допросы свидетелей. Бухгалтер Н.

— Что вам известно о вредительской деятельности Власова?

— Ничего.

— Как это может быть?

— Я был в свидетельской комнате, я не слышал, что говорилось.

— Не надо слышать! Через ваши руки проходило много документов, вы не могли не знать.

— Документы все были в порядке.

— Но вот — пачка районных газет, даже тут сказано о вредительской деятельности Власова. А вы ничего не знаете?

— Так и допрашивайте тех, кто писал эти статьи!

Заведующая хлебным магазином.

— Скажите, много ли у советской власти хлеба?

(А ну-ка! Что ответить?.. Кто решится сказать: я не считал?)
— Много...
— А почему ж у вас очереди?
— Не знаю...
— От кого это зависит?
— Не знаю...
— Ну, как вы не знаете? У вас кто был руководитель?
— Василий Григорьевич.
— Какой к чертям Василий Григорьевич! Подсудимый Власов! Значит от него и зависело.

Свидетельница молчит.

Председатель диктует секретарю: «Ответ. Вследствие вредительской деятельности Власова создавались хлебные очереди, несмотря на огромные запасы хлеба у советской власти.»

Подавляя собственные опасения, прокурор произнёс гневную длинную речь. Защитник в основном защищал себя, подчёркивая, что интересы родины ему так же дороги, как и любому честному гражданину.

В последнем слове Смирнов ни о чём не просил и ни в чём не раскаивался. Сколько можно восстановить теперь, это был человек твёрдый и слишком прямодушный, чтобы пронести голову целой через 37-й год.

Когда Сабуров попросил сохранить ему жизнь —«не для меня, но для моих маленьких детей», Власов с досадой одёрнул его за пиджак: «Дурак ты!»

Сам Власов не упустил последнего случая высказать дерзость:
— Я не считаю вас за суд, а за артистов, играющих водевиль суда по написанным ролям. Вы — исполнители гнусной провокации НКВД. Всё равно вы приговорите меня к расстрелу, чтó б я вам ни сказал. Я только верю: наступит время — и вы станете на наше место!..*

С семи часов вечера и до часу ночи суд сочинял приговор, а в зале клуба горели керосиновые лампы, сидели под саблями подсудимые, и гудел народ, не расходясь.

Как долго писали приговор, так долго и читали его с нагромождением всех фантастических вредительских действий, связей и замыслов. Смирнова, Универа, Сабурова и Власова приговорили к расстрелу, двух к 10 годам, одного — к восьми. Кроме того выводы суда вели к разоблачению в Кадые ещё и комсомольской вредительской организации (её и не замедлили посадить; товароведа молодого помните?), а в Иванове — центра подпольных организаций, в свою очередь, конечно, подчинённого Москве (под Бухарина пошёл подкоп).

После торжественных слов «к расстрелу!» судья оставил паузу для аплодисментов — но в зале было такое мрачное напряжение,

---

* Говоря обобщённо,— в этом одном он ошибся.

слышны были вздохи и плач людей чужих, крики и обмороки родственников, что даже с двух передних скамей, где сидели члены партии, аплодисментов не зазвучало, а это уже было совсем неприлично. «Ой, батюшки, что ж вы делаете?!»— кричали суду из зала. Отчаянно залилась жена Универа. И в полутьме зала в толпе произошло движение. Власов крикнул передним скамьям:

— Ну что ж вы-то, сволочи, не хлопаете? Коммунисты!

Политрук взвода охраны подбежал и стал тыкать ему в лицо револьвер. Власов потянулся вырвать револьвер, подбежал милиционер и отбросил своего политрука, допустившего ошибку. Начальник конвоя скомандовал «к оружию!» — и тридцать карабинов милицейской охраны и пистолеты местных энкаведешников были направлены на подсудимых и на толпу (так и казалось, что она кинется отбивать осуждённых).

Зал был освещён всего лишь несколькими керосиновыми лампами, и полутьма увеличивала общую путаницу и страх. Толпа, окончательно убеждённая если не судебным процессом, то направленными на неё теперь карабинами, в панике и давясь, полезла не только в двери, но и в окна. Затрещало дерево, зазвенели стёкла. Едва не затоптанная, без сознания, осталась лежать под стульями до утра жена Универа.

Аплодисментов так и не было...

Пусть малеиькое примечаиие будет посвящеио восьмилетией девочке Зое Власовой. Оиа любила отца взахлёб. Больше оиа ие смогла учиться в школе (её дразиили: «твой папа вредитель!», она вступала в драку: «мой папа хороший!»). Оиа прожила после суда всего один год (до того ие болела), за этот год *ни разу не засмеялась*, ходила всегда с опущеииой головой, и старухи предсказывали: «в землю глядит, умрёт скоро». Оиа умерла от воспалеиия мозговой оболочки, и при смерти всё кричала: «Где мой папа? Дайте мие папу!»

Когда мы подсчитываем миллиоиы погибших в лагерях, мы забываем умиожить иа два, иа три...

А приговорённых не только нельзя было тотчас же расстрелять, но теперь ещё пуще надо было охранять, потому что им-то терять уже больше было нечего, а надлежало для расстрела препроводить их в областной центр.

С первой задачей — этапировать их по ночной улице в НКВД, справились так: каждого приговорённого сопровождало пятеро. Один нёс фонарь. Один шёл впереди с поднятым пистолетом. Двое держали смертника под руки и ещё пистолеты в своих свободных руках. Ещё один шёл сзади, нацелясь приговорённому в спину.

Остальная милиция была расставлена равномерно, чтобы предотвратить нападение толпы.

Теперь каждый разумный человек согласится, что если бы возюкаться с открытыми судами,— НКВД никогда бы не выполнило своей великой задачи.

Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не привились.

Глава 11

К ВЫСШЕЙ МЕРЕ

Смертная казнь в России имеет зубчатую историю. В Уложении Алексея Михайловича доходило наказание до смертной казни в 50 случаях, в воинском уставе Петра уже 200 таких артикулов. А Елизавета, не отменив смертных законов, однако и не применила их ни единожды: говорят, она при восшествии на престол дала обет никого не казнить — и все 20 лет царствования никого не казнила. Притом вела Семилетнюю войну! — и обошлась. Для середины XVIII века, за полстолетия до якобинской рубиловки, пример удивительный. Правда, мы нашустрились всё прошлое своё высмеивать; ни поступка, ни намерения доброго мы там никогда не признаём. Так и Елизавету можно вполне очернить: заменяла она казнь — кнутовым боем, вырыванием ноздрей, клеймением *«воръ»* и вечною ссылкой в Сибирь. Но молвим и в защиту императрицы: а как же было ей круче повернуть, вопреки общественным представлениям? А может и сегодняшний смертник, чтоб только солнце для него не погасло, весь этот комплекс избрал бы для себя по доброй воле, да мы по гуманности ему не предлагаем? И может в ходе этой книги ещё склонится к тому читатель, что двадцать, да даже и десять лет наших лагерей потяжеле елизаветинской казни?

По нашей теперешней терминологии, Елизавета имела тут взгляд общечеловеческий, а Екатерина II — классовый (и стало быть, более верный). Совсем уж никого не казнить ей казалось жутко, необоронённо. И для защиты себя, трона и строя, то есть в случаях политических (Мирович, московский чумной бунт, Пугачёв) она признала казнь вполне уместной. А для уголовников,— отчего ж бы и не считать отменённой?

При Павле отмена смертной казни была подтверждена. (А войн было много, но полки — без трибуналов.) И во всё долгое царствование Александра I вводилась смертная казнь только для воинских преступлений, учинённых в походе (1812). (Тут же скажут нам: а шпицрутенами насмерть? Да, слов нет, негласные убийства конечно были, так довести человека до смерти можно и профсоюзным собранием! Но всё-таки отдать Божью жизнь через голосование над тобою судейских — ещё полвека от Пугачёва до декабристов не доставалось в нашей стране даже и государственным преступникам.)

От пяти повешенных декабристов смертная казнь за государственные преступления у нас не отменялась, она была подтверждена Уложениями 1845 и 1904 годов, пополнялась ещё и военно-уголовными и морскими уголовными законами,— но была отменена для всех преступлений, судимых обычными судами.

И сколько же человек было за это время в России казнено? Мы уже приводили (глава 8) подсчёты либеральных деятелей 1905-07 годов: за 80 лет 894 казни, то есть в среднем по 11 человек в год. Добавим более строгие цифры знатока русского уголовного права

Н. С. Таганцева.* До 1905 года смертная казнь в России была мерой исключительной. За тридцать лет с 1876 до 1905 (время народовольцев и террористических актов, не *намерений*, высказанных в коммунальной кухне; время массовых забастовок и крестьянских волнений; время, в которое создались и окрепли все партии будущей революции) было казнено 486 человек, то есть около 17 человек в год по стране. (Это — вместе с уголовными казнями!) ** За годы первой революции и подавления её число казней взметнулось, поражая воображение русских людей, вызывая слёзы Толстого, негодование Короленко и многих и многих: с 1905 по 1908 было казнено около 2200 человек (сорок пять человек в месяц!). Но казнили в основном за террор, убийство, разбой. Это была *эпидемия казней*, как пишет Таганцев. (Тут же она и оборвалась.)

Странно читать, что когда в 1906 были введены военно-полевые суды, то из сложнейших проблем было: кому казнить? (Требовалось — в течение суток от приговора.) Расстреливали войска — производило неблагоприятное впечатление на войска. А палач-доброволец часто не находился. Докоммунистические головы не догадывались, что один палач и в затылок — может многих перестрелять.

Временное правительство при своём вступлении отменило смертную казнь вовсе. В июле 1917 оно возвратило её для Действующей армии и фронтовых областей — за воинские преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабёж (чем те районы весьма тогда изобиловали). Это была — из самых непопулярных мер, погубивших Временное правительство. Лозунг большевиков к перевороту был: «Долой смертную казнь, восстановленную Керенским!»

Сохранился рассказ, что в Смольном в самую ночь с 25 на 26 октября возникла дискуссия: одним из первых декретов не отменить ли навечно смертную казнь?— и Ленин тогда высмеял утопизм своих товарищей, он-то знал, что без смертной казни нисколько не продвинуться в сторону нового общества. Однако, составляя коалиционное правительство с левыми эсерами, уступили их ложным понятиям, и с 28 октября 1917 казнь была всё-таки отменена. Ничего хорошего от этой «добренькой» позиции выйти, конечно, не могло. (Да и как отменяли? В начале 1918 велел Троцкий судить Алексея Щастного, новопроизведенного адмирала, за то, что он отказался потопить Балтфлот. Председатель Верхтриба Карклин ломаным русским языком приговорил быстро: «расстрелять в 24 часа». В зале заволновались: отменена! Обвинитель Крыленко разъяснил: «Что вы волнуетесь? Отменена — смертная казнь. А Щастного мы не казним — расстреливаем.» И расстреляли.)

Если судить по официальным документам, смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918 — нет, не «восстановлена», а — установлена как новая э р а казней. Если считать, что Лацис*** не преуменьшает, а лишь только не имеет полных сведе-

* Н. С. Таганцев. «Смертная казнь». СПб, 1913. (Уже мы «таганцевское дело» видели, глава 8.)

** В Шлиссельбурге с 1884 по 1906 казнено... 13 человек.

*** Уже цитированный обзор «Два года борьбы...». ГИЗ, М, 1920, стр. 75

ний, и что ревтрибуналы выполнили по крайней мере такую же судейскую работу, как ЧК бессудную, мы найдём, что по двадцати центральным губерниям России за 16 месяцев (июнь 1918 — октябрь 1919) было расстреляно более 16 тысяч человек, то есть *более тысячи в месяц.** (Кстати, тут были расстреляны и председатель первого русского (Петербургского, 1905 год) совдепа Хрусталёв-Носарь, и тот художник, кто создал для всей гражданской войны эскиз былинного красноармейского костюма.)

А ещё же — реввоентрибуналы с их тоже тысячными месячными цифрами. И желдортрибуналы (см. гл. 8, стр. 216).

Впрочем, даже может быть не этими, произнесенными или не произнесенными как приговор, одиночными расстрелами, потом сложившимися в тысячи, оледенила и опьянила Россию наступившая в 1918 эра казней.

Ещё страшней нам кажется мода воюющих сторон, а потом победителей — на *потопление барж,* всякий раз с не сосчитанными, не переписанными, даже и не перекликнутыми сотнями людей, особенно офицеров и других заложников — в Финском заливе, в Белом, Каспийском и Чёрном морях, ещё и в Байкале. Это не входит в нашу узкосудебную историю, но это — история н р а в о в, откуда — всё дальнейшее. Во всех наших веках от первого Рюрика была ли полоса таких жестокостей и стольких убийств, какими большевики сопровождали и закончили Гражданскую войну?

Мы пропустили бы характерный зубец, если б не сказали, что смертная казнь отменялась... в январе 1920 года, да! Иной исследователь может стать даже в тупик перед этой доверчивостью и беззащитностью диктатуры, которая лишила себя карающего меча, когда ещё на Кубани был Деникин, в Крыму Врангель, а польская конница седлалась к походу. Но, во-первых, тот декрет был весьма благоразумен: он *не распространялся на реввоентрибуналы,* а только на ЧК и тыловые трибуналы. Поэтому предназначенных к расстрелу можно было предварительно передвигать к расстрелу поближе. Так например, для истории сохранилось распоряжение:

«Секретно. Циркулярно.

Председателям ч. к., в. ч. к.— по особым отделам.

Ввиду отмены смертной казни предлагаем всех лиц, кои по числящимся разным преступлениям подлежат высшим мерам наказания — отправлять в полосу военных действий, как место, куда декрет об отмене смертной казни не распространяется.

15 апреля 1920 года № 325/16.756

Управляющий особ. отд. ВЧК

/подпись/

Ягода»

* Уж пошло на сравнение, так ещё одио: за 80 вершниииых лет инквизиции (1420—1498) по всей Испаиии было осуждено на сожжение 10 тысяч человек, то есть около 10 человек в месяц.

Во-вторых, декрет был *подготовлен* предварительной *чисткой тюрем* (широкими расстрелами заключённых, могущих потом попасть «под декрет»). Сохранилось в архивах заявление бутырских заключённых от 5 мая 1920:

«У нас, в Бутырской тюрьме, уже после подписания декрета об отмене смертной казни расстреляно ночью 72 человека. Это было кошмарно по своей подлости.»

Но в-третьих, что самое утешительное, действие декрета было краткосрочно — 4 месяца (пока снова в тюрьмах не накопилось). Декретом от 28 мая 1920 права расстрела были возвращены ВЧК.

Революция спешит всё переназвать, чтобы каждый предмет увидеть новым. Так и «смертная казнь» была переназвана — в *высшую меру* и не «наказания» даже, а *социальной защиты*. Основы уголовного законодательства 1924 объясняют нам, что установлена эта высшая мера в р е м е н н о, *впредь до полной её отмены ЦИКом*.

И в 1927 её действительно начали *отменять:* её оставили *лишь* для преступлений против государства и армии (58-я и воинские), ещё правда для бандитизма (но известно широкое политическое истолкование «бандитизма» в те годы да и сегодня: от «басмача» и до литовского лесного партизана всякий вооружённый националист, не согласный с центральной властью, есть «бандит», как же без этой статьи остаться? И лагерный повстанец и участник городского волнения — тоже «бандит»). По статьям же, защищающим частных лиц, по убийствам, грабежам и изнасилованиям,— к 10-летию Октября расстрел отменили.

А к 15-летию Октября добавлена была смертная казнь по закону от «седьмого-восьмого»— тому важнейшему закону уже наступающего социализма, который обещал подданному пулю за каждую государственную кроху.

Как всегда, особенно поначалу накинулись на этот закон, в 1932—1933, и особенно рьяно стреляли тогда. В это *мирное* время (ещё при Кирове . . .) в одних только ленинградских Крестах в декабре 1932 ожидало своей участи **единовременно двести шестьдесят пять смертников***— а за целый год по одним Крестам и за тысячу завалило?

И что ж это были за злодеи? Откуда набралось столько заговорщиков и смутьянов? А например, сидело там шесть колхозников из-под Царского Села, которые вот в чём провинились: после колхозного (их же руками!) покоса они прошли и сделали по кочкам подкос для своих коров. **Все эти шесть мужиков не были помилованы ВЦИКом, приговор приведен в исполнение!**

Какая Салтычиха? какой самый гнусный и отвратительный крепостник мог бы у б и т ь шесть мужиков за несчастные окоски? . . Да ударь он их только розгами по разу,— мы б уже знали

* Свидетельство Б., разносившего по камерам смертников пищу.

и в школах проклинали его имя.* А сейчас — ухнуло в воду и гладенько. И только надежду надо таить, что когда-нибудь подтвердят документами рассказ моего живого свидетеля. Если бы Сталин никогда и никого больше не убил,— то только за этих шестерых царскосельских мужиков я бы считал его достойным четвертования! И ещё смеют нам визжать: «как вы смели его разоблачать?», «тревожить великую тень?», «Сталин принадлежит мировому коммунистическому движению!»— Да. И — уголовному кодексу.

Впрочем, Ленин с Троцким — чем же лучше? Начинали — они.

Однако вернёмся к бесстрастию и беспристрастию. Конечно, ВЦИК непременно бы «полностью отменил» высшую меру, раз это было обещано,— да в том беда, что в 1936 Отец и Учитель «полностью отменил» сам ВЦИК. А уж *Верховный совет* скорей звучал под Анну Иоанновну. Тут и «высшая мера» *наказания* стала, а не «защиты» какой-то непонятной. Расстрелы 1937-38 года даже для сталинского уха не умещались уже в «защиту».

Об этих расстрелах — какой правовед, какой уголовный историк приведёт нам проверенную статистику? где тот *спецхран*, куда бы нам проникнуть и вычитать цифры? Их нет. Их и не будет. Осмелимся поэтому лишь повторить те цифры-слухи, которые посвежу, в 1939-40 годах, бродили под бутырскими сводами и истекали от крупных и средних павших ежовцев, прошедших те камеры незадолго (они-то знали!). Говорили ежовцы, что в два эти года расстреляно по Союзу п о л м и л л и о н а «политических» и 480 тысяч блатарей (59-3, их стреляли как «опору Ягоды»; этим и подрезан был «старый воровской благородный» мир).

Насколько эти цифры невероятны? Считая, что расстрелы велись не два года, а лишь полтора, мы должны ожидать (для 58-й статьи) в среднем в месяц 28 тысяч расстрелянных. Это по Союзу. Но сколько было мест расстрела? Очень скромно будет посчитать, что — полтораста. (Их было больше, конечно. В одном только Пскове под многими церквами в бывших кельях отшельников были устроены пыточные и расстрельные помещения НКВД. Ещё и в 1953 в эти церкви не пускали экскурсантов: «архивы»; там и паутины не выметали по десять лет, такие «архивы». Перед началом реставрационных работ оттуда кости вывозили грузовиками.) Тогда значит в одном месте, в один день уводили на расстрел по 6 человек. Разве это фантастично? Это преуменьшено даже! Из Краснодара свидетельствуют, что там в главном здании ГПУ на Пролетарской в 1937-38 каждую ночь расстреливали больше 200 человек! (По другим источникам к 1 января 1939 расстреляно 1 миллион 700 тысяч человек.)

В годы отечественной войны по разным поводам применение смертной казни то расширялось (например, военизация железных

---

* Только не известно в школах, что Салтычиха по приговору (классового) суда отсидела за свои зверства 11 лет в подземной тюрьме Ивановского монастыря в Москве. (А. С. Пругавин, «Монастырские тюрьмы». Издание «Посредника», 1906, стр. 39)

дорог), то обогащалось по формам (с апреля 1943 — указ о повешении).

Все эти события несколько замедлили обещанную полную, окончательную и навечную отмену смертной казни, однако терпением и преданностью наш народ всё-таки выслужил её: в мае 1947 примерил Иосиф Виссарионович крахмальное жабо перед зеркалом, понравилось — и продиктовал президиуму Верховного Совета отмену смертной казни в мирное время (с заменою на —25 лет, четвертную).

Но народ наш неблагодарен, преступен и не способен ценить великодушие. Поэтому покряхтели-покряхтели правители два с половиной года без смертной казни, и 12 января 1950 издан Указ противоположный: «ввиду поступивших заявлений от национальных республик (Украина? . .), от профсоюзов (милые эти профсоюзы, всегда знают, что́ надо), крестьянских организаций (это среди сна продиктовано, все крестьянские организации растоптал Милостивец ещё в год Великого Перелома), а также от деятелей культуры» (вот это вполне правдоподобно) возвратили смертную казнь для уже накопившихся «изменников родины, шпионов и подрывников-диверсантов».

И уж как начали возвращать нашу привычную, нашу головорубку, так и потянулось без усилия: 1954 — за умышленное убийство тоже; май 1961— за хищение государственного имущества тоже, и подделку денег тоже, и террор в местах заключения (это кто стукачей убивает и пугает лагерную администрацию); июль 1961— за нарушение правил о валютных операциях; февраль 1962— за посягательство (замах рукой) на жизнь милиционеров и дружинников; и тогда же — за изнасилование; и тут же сразу — за взяточничество.

Но всё это — *временно, впредь до полной отмены.* И сегодня так записано.

И выходит, что дольше всего мы без казни держались при Елизавете Петровне.

* * *

В благополучном и слепом нашем существовании смертники рисуются нам роковыми и немногочисленными одиночками. Мы инстинктивно уверены, что *мы*-то в смертную камеру никогда бы попасть не могли, что для этого нужна если не тяжкая вина, то во всяком случае выдающаяся жизнь. Нам ещё много нужно перетряхнуть в голове, чтобы представить: в смертных камерах пересидела тьма самых серых людей за самые рядовые поступки, и — кому как повезёт — очень часто не помилование получали они, а *вышку* (так называют арестанты «высшую меру», они не терпят высоких слов и всё называют как-нибудь погрубей и покороче).

Агроном райзо получил смертный приговор за ошибки в анализе колхозного зерна! (а может быть не угодил начальству анализом?) —1937 год.

Председатель кустарной артели (изготовлявшей ниточные катушки!) Мельников приговорён к смерти за то, что в мастерской случился пожар от локомобильной искры! —1937 год. (Правда, его помиловали и дали десятку.)

В тех же Крестах в 1932 году ждали смерти: Фельдман — за то, что у него нашли валюту; Файтелевич, консерваторец, за продажу стальной ленты для перьев. Исконная коммерция, хлеб и забава еврея, тоже стали достойны казни!

Удивляться ли тогда, что смертную казнь получил ивановский деревенский парень Гераська: на Николу вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул колом по заду — не милиционера, нет!— но милицейскую лошадь! (Правда, той же милиции на зло он оторвал от сельсовета доску обшивки, потом сельсоветский телефон от шнура и кричал: «громи чертей!» . . .)

Наша судьба угодить в смертную камеру не тем решается, что мы сделали что-то или чего-то не сделали, — она решается кручением большого колеса, ходом внешних могучих обстоятельств. Например, обложен блокадою Ленинград. Его высший руководитель товарищ Жданов что́ должен думать, если в делах ленинградского ГБ в такие суровые месяцы не будет смертных казней? Что Органы бездействуют, не так ли? Должны же быть вскрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами извне? Почему же при Сталине в 1919 такие заговоры были вскрыты, а при Жданове в 1942 их нет? Заказано — сделано: открываются несколько разветвлённых заговоров! Вы спите в своей нетопленной ленинградской комнате, а когтистая чёрная рука уже снижается над вами. И от вас тут ничего не зависит. Намечается такой-то, генерал-лейтенант Игнатовский — у него окна выходят на Неву, и он вынул белый носовой платок высморкаться — сигнал! А ещё Игнатовский как инженер любит беседовать с моряками о технике. Засечено! Игнатовский взят. Пришла пора рассчитываться! — итак, назовите сорок членов вашей организации. Называет. Так если вы — капельдинер Александринки, то шансы быть названным у вас невелики, а если вы профессор Технологического института — так вот вы и в списке — и что же от вас зависело? А по такому списку — всем расстрел.

И всех расстреливают. И вот как остаётся в живых Константин Иванович Страхович, крупный русский гидродинамик: какое-то ещё высшее начальство в госбезопасности недовольно, что список мал и расстреливается мало. И Страховича намечают как подходящий центр для вскрытия новой организации. Его вызывает капитан Альтшуллер: «Вы что ж? нарочно поскорее всё признали и решили уйти на тот свет, чтобы скрыть подпольное правительство? Кем вы там были?» Так, продолжая сидеть в камере смертников, Страхович попадает на новый следственный круг! Он предлагает считать его министром просвещения (хочется кончить всё поскорей!), но Альтшуллеру этого мало. Следствие идёт, группу Игнатовского тем временем расстреливают. На одном из допросов Страховича охватывает гнев: он не то что хочет жить, но он устал умирать и, главное, до

противности подкатила ему ложь. И он на перекрестном допросе при каком-то большом чине стучит по столу: «Это вас всех расстреляют! Я не буду больше лгать! Я все показания вообще беру обратно!» И вспышка эта помогает! — его не только перестают следовать, но надолго забывают в камере смертников.

Вероятно, среди всеобщей покорности вспышка отчаяния всегда помогает.

И вот столько расстреляно — сперва тысячи, потом сотни тысяч. Мы делим, множим, вздыхаем, проклинаем. И всё-таки — это цифры. Они поражают ум, потом забываются. А если б когда-нибудь родственники расстрелянных сдали бы в одно издательство фотографии своих казнённых, и был бы издан альбом этих фотографий, несколько томов альбома,— то перелистыванием их и последним взглядом в померкшие глаза мы бы много почерпнули для своей оставшейся жизни. Такое чтение, почти без букв, легло бы нам на сердце вечным наслоем.

В одном моём знакомом доме, где бывшие зэки, есть такой обряд: 5 марта, в день смерти Главного Убийцы, выставляются на столах фотографии расстрелянных и умерших в лагере — десятков несколько, кого собрали. И весь день в квартире торжественность — полуцерковная, полумузейная. Траурная музыка. Приходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают, тихо переговариваются; уходят, не попрощавшись.

Вот так бы везде . . . Хоть какой-нибудь рубчик на сердце мы бы вынесли из этих смертей.

Чтоб — *не напрасно* всё же! . .

Как *это всё* происходит? Как люди *ждут?* Что они чувствуют? О чём думают? К каким приходят решениям? И как их *берут?* И что они ощущают в последние минуты? И как именно . . . это . . . их . . . это? . .

Естественна больная жажда людей проникнуть за завесу (хоть никого из *нас* это, конечно, никогда не постигнет). Естественно и то, что пережившие рассказывают не о самом последнем — ведь их помиловали.

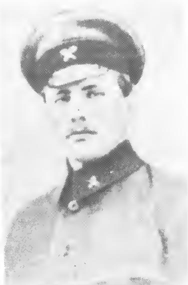
Дальше — знают палачи. Но палачи не будут говорить. (Тот крестовский знаменитый дядя Лёша, который крутил руки назад, надевал наручники, а если уводимый вскрикивал в ночном коридоре «прощайте, братцы!», то и комом рот затыкал,— зачем он будет вам рассказывать? Он и сейчас, наверно, ходит по Ленинграду, хорошо одет. Если вы его встретите в пивной на островах или на футболе — спросите!)

Однако, и палач не знает всего до конца. Под какой-нибудь сопроводительный машинный грохот неслышно освобождая пули из пистолета в затылки, он обречён тупо не понимать совершаемого. *До конца-то* и он не знает! До конца знают только убитые — и, значит, никто.

Ещё, правда, художник — неявно и неясно, но кое-что знает вплоть до самой пули, до самой верёвки.



Виктор Петрович
Покровский
(† Москва, 1918)



Александр Штробиндер
(† Петроград, 1918)

ИЗ РАССТРЕЛЯННЫХ



Михаил Александрович
Реформатский
(† Орел, 1938)



Василий Иванович
Аничков
(† Москва, 1927)



Александр Андреевич
Свечин,
профессор Академии
Генштаба
(† Москва, 1937)



Елизавета Евгеньевна
Аничкова
(† лагерь на Енисее, 1942)

Вот от помилованных и от художников мы и составили себе приблизительную картину смертной камеры. Знаем, например, что ночью не спят, а *ждут*. Что успокаиваются только утром.

Нароков (Марченко) в романе «Мнимые величины»*, сильно испорченном предварительным заданием — всё написать как у Достоевского, и ещё даже более разодрать и умилить, чем Достоевский,— смертную камеру, однако, и саму сцену расстрела написал, по-моему, очень хорошо. Нельзя проверить, но как-то верится.

Догадки более ранних художников, например Леонида Андреева, сейчас уже поневоле отдают крыловскими временами. Да и какой фантаст мог бы вообразить, например, смертные камеры 37-го года? Он плёл бы обязательно свой психологический шнурочек: как ждут? как прислушиваются?.. Кто ж бы мог предвидеть и описать нам такие неожиданные ощущения смертников:

1. Смертники страдают от *холода*. Спать приходится на цементном полу, под окном это минус три градуса (Страхович). Пока расстрел, тут замёрзнешь.

2. Смертники страдают от *тесноты* и *духоты*. В одиночную камеру втиснуто семь (меньше и н е б ы в а е т), десять, пятнадцать или д в а д ц а т ь в о с е м ь смертников (Страхович, Ленинград, 1942). И так сдавлены они недели и м е с я ц ы! Так что там кошмар твоих семи повешенных! Уже не о казни думают люди, не расстрела боятся, а — как вот сейчас ноги вытянуть? как повернуться? как воздуха глотнуть?

В 1937 году, когда в ивановских тюрьмах — Внутренней, № 1, № 2 и КПЗ, сидело одновременно до 40 000 человек, хотя рассчитаны они были вряд ли на 3-4 тысячи,— в тюрьме № 2 смешали: следственных, осуждённых к лагерю, смертников, помилованных смертников и ещё воров — и все они *несколько дней* в большой камере *стояли вплотную* в такой тесноте, что невозможно было поднять или опустить руку, а притиснутому к нарам могли сломать колено. Это было зимой, и чтобы не задохнуться — заключённые выдавили стёкла в окнах. (В этой камере ожидал своей смерти уже приговорённый к ней седой как лунь член РСДРП с 1898 Алалыкин, покинувший партию большевиков в 1917 после апрельских тезисов.)

3. Смертники страдают от *голода*. Они ждут после смертного приговора так долго, что главным их ощущением становится не страх расстрела, а муки голода: где бы поесть? Александр Бабич в 1941 в Красноярской тюрьме пробыл в смертной камере 75 суток! Он уже вполне покорился и ждал расстрела как единственно-возможного конца своей нескладной жизни. Но он опух с голода — и тут ему заменили расстрел десятью годами, и с этого он начал свои лагеря. — А какой вообще рекорд пребывания в смертной камере? Кто знает рекорд?.. Всеволод Петрович Голицын, староста (!)

---

* Издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1952

смертной камеры, просидел в ней 140 суток (1938) — но рекорд ли это? Слава нашей науки, академик Н. И. Вавилов прождал расстрела несколько месяцев, да как бы и не год; в состоянии смертника был эвакуирован в Саратовскую тюрьму, там сидел в подвальной камере без окна, и когда летом 1942, помилованный, был переведен в общую камеру, то ходить не мог, его на прогулку выносили на руках.

4. Смертники страдают *без медицинской помощи.* Охрименко за долгое сидение в смертной камере (1938) сильно заболел. Его не только не взяли в больницу, но и врач долго не шла. Когда же пришла, то не вошла в камеру, а через решётчатую дверь, не осматривая и ни о чём не спрашивая, протянула порошки. А у Страховича началась водянка ног, он объяснил это надзирателю — и прислали . . . зубного врача.

Когда же врач и вмешивается, то должен ли он лечить смертника, то есть продлить ему ожидание смерти? Или гуманность врача в том, чтобы настоять на скорейшем расстреле? Вот опять сценка от Страховича: входит врач и, разговаривая с дежурным, тычет пальцем в смертников: «покойник! . . покойник! . . покойник! . .». (Это он выделяет для дежурного дистрофиков, настаивая, что нельзя же так изводить людей, что пора же расстреливать!)

А отчего, в самом деле, так долго их держали? Не хватало палачей? Надо сопоставить с тем, что очень многим смертникам предлагали и даже *просили* их подписать просьбу о помиловании, а когда они очень уж упирались, не хотели больше сделок, то подписывали от их имени. Ну, а ход бумажек по изворотам машины и не мог быть быстрей, чем в месяцы.

Тут, наверно, вот что: стык двух разных ведомств. Ведомство следственно-судебное (как мы слышали от членов Военной Коллегии, это было — едино) гналось за раскрытием кошмарно-грозных дел и не могло не дать преступникам достойной кары — расстрелов. Но как только расстрелы были произнесены, записаны в актив следствия и суда — сами эти чучела, называемые осуждёнными, их уже не интересовали: на самом-то деле никакой крамолы не было, и ничто в государственной жизни не могло измениться от того, останутся ли приговорённые в живых или умрут. И так они доставались полностью на усмотрение тюремного ведомства. Тюремное же ведомство, примыкавшее к ГУЛАГу, уже смотрело на заключённых с хозяйственной точки зрения, их цифры были — не побольше расстрелять, а побольше рабочей силы послать на Архипелаг.

Так посмотрел начальник внутрянки Большого Дома Соколов и на Страховича, который в конце концов *соскучился* в камере смертников и стал просить бумагу и карандаш для научных занятий. Сперва он писал тетрадку «О взаимодействии жидкости

с твёрдым телом, движущимся в ней», «Расчёт баллист, рессор и амортизаторов», потом «Основы теории устойчивости», его уже отделили в отдельную «научную» камеру, кормили получше, тут стали поступать заказы с Ленинградского фронта, он разрабатывал им «объёмную стрельбу по самолётам» — и кончилось тем, что Жданов заменил ему смертную казнь 15-ю годами (но просто медленно шла почта с Большой Земли: вскоре пришла обычная *помилóвка* из Москвы, и она была пощедрее ждановской: всего только десятка).

Все тюремные тетради у Страховича и сейчас целы. А «научная карьера» его за решёткой на этом только начиналась. Ему предстояло возглавить один из первых в СССР проектов турбо-реактивного двигателя.

А Н. П., доцента-математика, в смертной камере решил эксплуатнуть для своих личных целей следователь Кружков (да-да, тот самый, ворюга): дело в том, что он был — студент-заочник! И вот он вызывал П. из смертной камеры — и давал решать задачи по теории функций комплексного переменного в своих (а скорей всего даже и не своих) контрольных работах.

Так чтó понимала мировая литература в предсмертных страданиях?..

Наконец (рассказ Чавдарова) смертная камера может быть использована как *элемент следствия*, как приём воздействия. Двух несознающихся (Красноярск) внезапно вызвали на «суд», «приговорили» к смертной казни и перевели в камеру смертников. (Чавдаров обмолвился: «над ними была инсценировка суда». Но в положении, когда всякий суд — инсценировка, каким словом назвать ещё этот лже-суд? Сцена на сцене, спектакль, вставленный в спектакль.) Тут им дали глотнуть этого смертного быта сполна. Потом подсадили наседок, якобы тоже «смертников». И те вдруг стали раскаиваться, что были так упрямы на следствии, и просили надзирателя передать следователю, что готовы всё подписать. Им дали подписать заявления, а потом увели из камеры днём, значит — не на расстрел.

А те истинные смертники в этой камере, которые послужили материалом для следовательской игры,— они тоже что-нибудь чувствовали, когда вот люди «раскаивались» и их миловали? Ну да это режиссёрские издержки.

Говорят, Константина Рокоссовского, будущего маршала, в 1939 году дважды вывозили в лес на мнимый ночной расстрел, наводили на него стволы, потом опускали и везли в тюрьму. Это тоже — высшая мера, применённая как следовательский приём. И ничего же, обошлось, жив-здоров, и не обижается.

А убить себя человек даёт почти всегда покорно. Отчего так гипнотизирует смертный приговор? Чаще всего помилованные не вспоминают, чтоб в их смертной камере кто-нибудь сопротивлялся. Но бывают и такие случаи. В ленинградских Крестах в 1932 году

смертники отняли у надзирателей револьверы и стреляли. После этого была принята техника: разглядевши в глазок, кого им надобно брать, вваливались в камеру сразу пятеро невооружённых надзирателей и кидались хватать одного. Смертников в камере было восемь — десять, но ведь каждый из них послал апелляцию Калинину, каждый ждал себе прощения, и поэтому: «умри ты сегодня, а я завтра». Они расступались и безучастно смотрели, как обречённого крутили, как он кричал о помощи, а ему забивали в рот детский мячик. (Смотря на детский мячик — ну догадаешься разве обо всех его возможных применениях? .. Какой хороший пример для лектора по диалектическому методу!)

Надежда! Что́ больше ты — крепишь или расслабляешь? Если бы в каждой камере смертники дружно душили приходящих палачей — не верней ли прекратились бы казни, чем по апелляциям во ВЦИК? Уже на ребре могилы — почему бы не сопротивляться?

Но разве и при аресте не так же было всё обречено? Однако, все арестованные, на коленях, как на отрезанных ногах, ползли поприщем надежды.

* * *

Василий Григорьевич Власов помнит, что в ночь после приговора, когда его вели по тёмному Кадыю и четырьмя пистолетами трясли с четырёх сторон, мысль его была: как бы не застрелили сейчас, провокаторски, якобы при попытке к бегству. Значит, он ещё не поверил в свой приговор! Ещё надеялся жить...

Теперь его содержали в комнате милиции. Уложили на канцелярском столе, а два-три милиционера при керосиновой лампе непрерывно дежурили тут же. Они говорили между собой: «Четыре дня я слушал-слушал, так и не понял: за что их осудили?» — «А, не нашего ума дело!»

В этой комнате Власов прожил пять суток: ждали утверждения приговора, чтобы расстрелять в Кадые же: очень трудно было конвоировать смертников дальше. Кто-то подал от него телеграмму о помиловании: «Виновным себя не признаю, прошу сохранить жизнь.» Ответа не было. Все эти дни у Власова так тряслись руки, что он не мог нести ложки, а пил ртом из тарелки. Навещал поиздеваться Клюгин. (Вскоре после Кадыйского дела ему предстоял перевод из Иванова в Москву. В тот год у этих багровых звёзд гулаговского неба были крутые восходы и заходы. Нависала пора отрясать и их в ту же яму, да они этого не ведали.)

Ни утверждения, ни помилования не приходило, и пришлось-таки четверых приговорённых везти в Кинешму. Повезли их в четырёх полуторках, в каждой один приговорённый с семью милиционерами.

В Кинешме — подземелье монастыря (монастырская архитектура, освобождённая от монашеской идеологии, сгожалась нам

очень). Там подбавили ещё других смертников, повезли арестантским вагоном в Иваново.

На товарном дворе в Иванове отделили троих: Сабурова, Власова и из чужой группы, а остальных увели сразу — значит, на расстрел, чтоб не загружать тюрьму. Так Власов и простился со Смирновым.

Трёх оставшихся посадили в промозглой октябрьской сырости во дворе тюрьмы № 1 и держали часа четыре, пока уводили, приводили и обыскивали другие этапы. Ещё, собственно, не было доказательств, что их сегодня же не расстреляют. Эти четыре часа ещё надо просидеть на земле и передумать! Был момент, Сабуров понял так, что ведут на расстрел (а вели в камеру). Он не закричал, но так вцепился в руку соседа, что закричал от боли тот. Охрана потащила Сабурова волоком, подталкивая штыками.

В той тюрьме было четыре смертных камеры — в одном коридоре с детскими и больничными! Смертные камеры были о двух дверях: обычная деревянная с волчком и железная решётчатая, а каждая дверь о двух замках (ключи у надзирателя и корпусного порознь, чтоб не могли отпереть друг без друга). 43-я камера была через стену от следовательского кабинета, и по ночам, когда смертники ждут расстрела, ещё крики истязуемых драли им уши.

Власов попал в 61-ю камеру. Это была одиночка: длиною метров пять, а шириною чуть больше метра. Две железные кровати были намертво прикованы толстым железом к полу, на каждой кровати валетом лежало по два смертника. И ещё четырнадцать лежало на цементном полу поперёк.

На ожидание смерти каждому оставили меньше квадратного аршина! Хотя давно известно, что даже мертвец имеет право на *три аршина* земли — и то ещё Чехову казалось мало...

Власов спросил, сразу ли расстреливают. «Вот мы давно сидим, а всё ещё живы...»

И началось ожидание — такое, как оно известно: всю ночь все не спят, в полном упадке ждут вывода на смерть, слушают шорохи коридора (ещё из-за этого растянутого ожидания падает способность человека сопротивляться). Особенно тревожны те ночи, когда днём кому-нибудь было помилование: с воплями радости ушёл он, а в камере сгустился страх — ведь вместе с помилованием сегодня прикатились с высокой горы и кому-то отказы, и ночью за кем-то придут...

Иногда ночью гремят замки, падают сердца — меня? не меня!! а вертухай открыл деревянную дверь за какой-нибудь чушью: «Уберите вещи с подоконника!» От этого отпирания может быть все четырнадцать стали на год ближе к своей будущей смерти; может быть, полсотни раз так отпереть — и уже не надо тратить пуль!— но как ему благодарны, что всё обошлось: «Сейчас уберем, гражданин начальник!»

С утренней оправки, освобождённые от страха, они засыпали. Потом надзиратель вносил бачок с баландой и говорил: «Доброе

утро!». По уставу полагалось, чтобы вторая решётчатая дверь открывалась только в присутствии дежурного по тюрьме. Но, как известно, сами люди лучше и ленивее своих установлений и инструкций,— и надзиратель входил в утреннюю камеру без дежурного и совершенно по-человечески, нет, это дороже, чем просто по-человечески!— обращался: «Доброе утро!»

К кому же ещё на земле оно было добрее, чем к ним! Благодарные за теплоту этого голоса и теплоту этой жижи, они теперь засыпали до полудня. (Только-то утром они и ели! Уже проснувшись днём, многие есть не могли. Кто-то получал передачи — родственники могли знать, а могли и не знать о смертном приговоре,— передачи эти становились в камере общими, но лежали и гнили в затхлой сырости.)

Днём ещё было в камере лёгкое оживление. Приходил начальник корпуса — или мрачный Тараканов, или расположенный Макаров — предлагал бумаги на заявления, спрашивал, не хотят ли, у кого есть деньги, выписать покурить из ларька. Эти вопросы казались или слишком дикими, или чрезвычайно человечными: делался вид, что они никакие и не смертники?

Осуждённые выламывали донья спичечных коробок, размечали их как домино и играли. Власов разряжался тем, что рассказывал кому-нибудь о потребительской кооперации, а это всегда приобретает у него комический оттенок. (Его рассказы о кооперации замечательны и достойны отдельного изложения.) Яков Петрович Колпаков, председатель судогодского райисполкома, большевик с весны 1917 года, с фронта, сидел десятки дней, не меняя позы, стиснув голову руками, а локти в колени, и всегда смотрел в одну и ту же точку стены. (Весёлой же и лёгкой должна была ему вспоминаться весна 17-го года!.. А кого-то (офицеров) и тогда убивали.) Говорливость Власова его раздражала: «Как ты можешь?» — «А ты к раю готовишься? — огрызался Власов, сохраняя и в быстрой речи круглое оканье. — Я только одно себе положил — скажу палачу: ты — один! не судьи, не прокуроры — ты один виноват в моей смерти, с этим теперь и живи! Если б не было вас, палачей-добровольцев, не было б и смертных приговоров! И пусть убивает, гад!»

Колпаков был расстрелян. Расстрелян был Константин Алексеевич Аркадьев, бывший заведующий александровского (Владимирской области) райзо. Прощание с ним почему-то прошло особенно тяжело. Среди ночи притопали за ним шесть человек охраны, резко торопили, а он, мягкий, воспитанный, долго вертел и мял шапку в руках, оттягивая момент ухода — ухода от последних земных людей. И когда говорил последнее «прощайте», голоса почти совсем уже не было.

В первый миг, когда указывают жертву, остальным становится легче («не я!»),— но сейчас же после увода становится вряд ли легче, чем тому, кого повели. На весь следующий день обречены оставшиеся молчать и не есть.

Впрочем, Гераська, громивший сельсовет, много ел и много спал, по-крестьянски обжившись и здесь. Он как будто поверить не мог, что его расстреляют. (Его и не расстреляли: заменили десяткой.)

Некоторые на глазах сокамерников за три-четыре дня становились седыми.

Когда так затяжно ждут смерти — отрастают волосы, и камеру ведут стричь, ведут мыть. Тюремный быт прокачивает своё, не зная приговоров.

Кто-то терял связную речь и связное понимание — но всё равно они оставались ждать своей участи здесь же. Тот, кто сошёл с ума в камере смертников, сумасшедшим и расстреливается.

Помилований приходило немало. Как раз в ту осень 1937 впервые после революции ввели пятнадцати- и двадцатипятилетние сроки, и они оттянули на себя много расстрелов. Заменяли и на десятку. Даже и на *пять* заменяли, в стране чудес возможны и такие чудеса: вчера ночью был достоин казни, сегодня утром — детский срок, лёгкий преступник, в лагере имеешь шанс быть бесконвойным.

Сидел в их камере В. Н. Хоменко, шестидесятилетний кубанец, бывший есаул, «душа камеры», если у смертной камеры может быть душа: шутковал, улыбался в усы, не давал вида, что горько.— Ещё после японской войны он стал негоден к строю и усовершился по коневодству, служил в губернской земской управе, а к тридцатым годам был при ивановском областном земельном управлении «инспектором по фонду коня РККА», то есть как бы наблюдающим, чтобы лучшие кони доставались армии. Он посажен был и приговорён к расстрелу за то, что вредительски рекомендовал кастрировать жеребят до трёх лет, чем «подрывал боеспособность Красной армии». — Хоменко подал кассационную жалобу. Через 55 дней вошёл корпусной и указал ему, что на жалобе он написал не ту инстанцию. Тут же, на стенке, карандашом корпусного, Хоменко перечеркнул одно учреждение, написал вместо него другое, как будто заявление было на пачку папирос. С этой корявой поправкой жалоба ходила ещё 60 дней, так что Хоменко ждал смерти уже четыре месяца. (А пождать год-другой, — так и все же мы её годами ждём, косую! Разве весь мир наш — не камера смертников? ..) И пришла ему — *полная реабилитация!* (За это время Ворошилов так и распорядился: кастрировать до трёх лет.) То — голову с плеч, то — пляши изба и печь!

Помилований приходило немало, многие всё больше надеялись. Но Власов, сопоставляя с другими своё дело и, главное, поведение на суде, находил, что у него наворочено тяжче. И кого-то же надо расстреливать? Уж половину-то смертников — наверно надо? И верил он, что его расстреляют. Хотелось только при этом головы не согнуть. Отчаянность, свойственная его характеру, у него возвратно накоплялась, и он настроился дерзить до конца.

Подвернулся и случай. Обходя тюрьму, зачем-то (скорей всего — чтоб нервы пощекотать) велел открыть двери их камеры

и стал на пороге Чингули — начальник следственного отдела ивановского НКВД. Он заговорил о чём-то, спросил:

— А кто здесь по Кадыйскому делу?

Он был в шёлковой сорочке с короткими рукавами, которые только-только появлялись тогда и ещё казались женскими. И сам он или эта его сорочка были обвеяны сладящими духами, которые и потянуло в камеру.

Власов проворно вспрыгнул на кровать, крикнул пронзительно:

— Что это за колониальный офицер?! Пошёл вон, убийца!! — и сверху сильно, густо плюнул Чингули в лицо.

И — попал!

И тот — обтёрся и отступил. Потому что войти в эту камеру он имел право только с шестью охранниками, да и то неизвестно — имел ли.

Благоразумный кролик не должен так поступать. А что если именно у этого Чингули лежит сейчас твоё дело и именно от него зависит виза на помилование? И ведь недаром же спросил: «Кто здесь по Кадыйскому делу?» Потому наверно и пришёл.

Но наступает предел, когда уже не хочется, когда уже противно быть благоразумным кроликом. Когда кроличью голову освещает общее понимание, что все кролики предназначены только на мясо и на шкурки, и поэтому выигрыш возможен лишь в отсрочке, не в жизни. Когда хочется крикнуть: «Да будьте вы прокляты, уж стреляйте поскорей!»

За сорок один день ожидания расстрела именно это чувство озлобления всё больше охватывало Власова. В ивановской тюрьме дважды предлагали ему написать заявление о помиловании — а он отказывался.

Но на 42-й день его вызвали в бокс и огласили, что Президиум ЦИК СССР заменяет ему высшую меру наказания — двадцатью годами заключения в исправительно-трудовых лагерях с последующими пятью годами лишения прав.

Бледный Власов улыбнулся криво и даже тут нашёлся сказать:

— Странно. Меня осудили за неверие в победу социализма в одной стране. Но разве Калинин — верит, если думает, что ещё и через двадцать лет понадобятся в нашей стране лагеря? . .

Тогда это недостижимо казалось — через двадцать.
Странно, они понадобились и через сорок.

Глава 12

ТЮРЗАК

Ах, доброе русское слово — *острог* — и крепкое-то какое! и сколочено как! В нём, кажется, — сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках — и строгость, и острогá, и остротá (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже метель в глаза, острота затёсанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает,— а *рог*? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!

А если окинуть глазом весь русский острожный обычай, обиход, ну заведение это всё за последние, скажем, лет девяносто,— так так и видишь не рог уже, а — два рога: народовольцы начинали с кончика рога — там, где он самое бодает, где нестерпимо принять его даже грудной костью — и постепенно всё это становилось покруглей, поокатистей, сползало сюда, к комлю, и стало уже как бы даже и не рог совсем — стало шёрстной открытой площадочкой (это начало XX века) — но потом (после 1917) быстро нащупались первые хребтинки второго комля — и по ним, через раскоряченье, через «не имеете права!» стало это всё опять подниматься, сужаться, строжеть, рожеть — и к 38-му году опять впилось человеку вот в эту выемку надключичную пониже шеи: *тюрзак!** И только как колокол сторожевой, ночной и дальний,— по одному удару в год: Тон-н-н!..**

Если параболу эту прослеживать по кому-нибудь из шлиссельбуржцев («Запечатленный труд» Веры Фигнер), то страшновато вначале: у арестанта — номер, и никто его по фамилии не зовёт; жандармы — как будто на Лубянке учены: от себя ни слова. Заикнёшься «мы . . .» — «Говорите только о себе!» Тишина гробовая. Камера в вечных полусумерках, стёкла мутные, пол асфальтовый. Форточка открывается на сорок минут в день. Кормят щами пустыми да кашей. Не дают научных книг из библиотеки. Два года не видишь ни человека. Только после трёх лет — пронумерованные листы бумаги.

А потом, исподволь, — набавляется простору, округляется: вот и белый хлеб, вот и чай с сахаром на руки; деньги есть — подкупай; и куренье не запрещается; стёкла вставили прозрачные, фрамуга

---

* ТЮРемное ЗАКлючение (официальный термин)
** ТОН — Тюрьма Особого Назначения

открыта постоянно, стены перекрасили посветлей; смотришь, и книги по абонементу из санкт-петербургской библиотеки; между огородами — решётки, можно разговаривать и даже лекции друг другу читать. И уже арестантские руки на тюрьму наседают: ещё нам землицы, ещё! Вот два обширных тюремных двора разделали под насаждения. А цветов и овощей — уже 450 сортов! Вот уже — научные коллекции, столярка, кузница, деньги зарабатываем, книги покупаем, даже политические*, а из-за границы журналы. И переписка с родными. Прогулка?— хоть и полный день.

И постепенно, вспоминает Фигнер, «уже не смотритель кричал, а мы на него кричали». А в 1902 он отказался отправить её жалобу, и за это *она со смотрителя сорвала погоны*! Последствие было такое: приехал военный следователь и всячески перед Фигнер *извинялся* за невежу-смотрителя!

Как же произошло это всё сползание и уширение? Кое-что объясняет Фигнер гуманностью отдельных комендантов, другое — тем, что «жандармы сжились с охраняемыми», привыкли. Немало тут истекло от стойкости арестантов, от достоинства и уменья себя вести. И всё ж я думаю: воздух времени, общая эта влажность и свежесть, обгоняющая грозовую тучу, этот ветерок свободы, уже протягивающий по обществу,— он решил! Без него бы можно было по понедельникам учить с жандармами Краткий Курс (но не умели тогда), да подтягивать, да подструнивать. И вместо «запечатленного труда» получила бы Вера Николаевна за срыв погон — *девять грамм* в подвале.

Раскачка и расслабление царской тюремной системы не сами, конечно, сталось — а оттого, что всё общество заодно с революционерами раскачивало и высмеивало её как могло. Царизм проиграл свою голову не в уличных перестрелках февраля, а ещё за несколько десятилетий прежде: когда молодёжь из состоятельных семей стала считать побывку в тюрьме честью, а армейские (и даже гвардейские) офицеры пожать руку жандарму — бесчестьем. И чем больше расслаблялась тюремная система, тем чётче выступала победоносная «этика политических» и тем явственней члены революционных партий ощущали силу свою и своих собственных законов, а не государственных.

И на том пришёл в Россию Семнадцатый год, и на плечах его — Восемнадцатый. Почему мы сразу к 18-му: предмет нашего разбора не позволяет нам задерживаться на 17-м: с марта все политические тюрьмы (да и уголовные), срочные и следственные, и вся каторга опустели, и как этот год пережили тюремные и каторжные надзиратели — надо удивляться, а наверно что огородиками перебились, картошкой. (С 1918 у них много легче пошло,

---

* П. А. Красиков (тот самый, который будет на смерть судить митрополита Вениамина) читает в Петропавловской крепости «Капитал» (да только год один, освобождают его).

а на Шпалерной так и в 1928 ещё дослуживали новому режиму, ничего.)

Уже с последнего месяца 1917 стало выясняться, что без тюрем никак нельзя, что иных и держать-то негде, кроме как за решёткой (см. главу 2) — ну, просто потому, что места им в новом обществе нет. Так площадку между рогами наощупь перешли и стали нащупывать второй рог.

Разумеется, сразу было объявлено, что ужасы царских тюрем больше не повторятся: что не может быть никакого «донимающего исправления», никакого тюремного молчания, одиночек, разъединённых прогулок и разного там ровного шага гуськом, и даже камер запертых!* — встречайтесь, дорогие гости, разговаривайте сколько хотите, жалуйтесь друг другу на большевиков. А внимание новых тюремных властей было направлено на боевую службу внешней охраны и приём царского наследства по тюремному фонду (это как раз *не та* была государственная машина, которую следовало ломать и строить заново). К счастью обнаружилось, что гражданская война не причинила разрушений всем основным централам или острогам. Не миновать только было отказаться от этих загаженных старых слов. Теперь назвали их *политизоляторами,* соединённым этим названием выказывая: признание членов бывших революционных партий политическими противниками и указывая не на карательный характер решёток, а необходимость лишь изолировать (и, очевидно, временно) этих старомодных революционеров от поступательного хода нового общества. Со всем тем и приняли своды старых централов (а Суздальский кажется и с гражданской войны) — эсеров, анархистов и социал-демократов.

Все они вернулись сюда с сознанием своих арестантских прав и с давней проверенной традицией — как их отстаивать. Как законное (у царя отбитое и революцией подтверждённое) принимали они специальный *политпаёк* (включая и полпачки папирос в день); покупки с рынка (творог, молоко); свободные прогулки по много часов в день; обращение надзора к ним на «вы» (а сами они перед тюремной администрацией не поднимались); объединение мужа и жены в одной камере; газеты, журналы, книги, письменные принадлежности и личные вещи до бритв и ножниц — в камере; трижды в месяц — отправку и получение писем; раз в месяц свидание; уж конечно ничем не загороженные окна (ещё тогда не было и понятия «намордник»); хождение из камеры в камеру беспрепятственное; прогулочные дворики с зеленью и сиренью; вольный выбор спутников по прогулке и переброс мешочка с почтой из одного прогулочного дворика в другой; и отправку беременных** за два месяца до родов из тюрьмы в ссылку.

---

* Сборник «От тюрем к воспитательным учреждениям». «Советское законодательство», М, 1934

** С 1918 эсерок не стеснялись брать в тюрьму беременными.

Но это всё — только *политрежим*. Однако политические 20-х годов хорошо ещё помнили нечто и повыше: самоуправление политических и оттого ощущение себя в тюрьме частью целого, звеном общины. Самоуправление (свободное избрание старост, представляющих перед администрацией все интересы всех заключённых) ослабляло давление тюрьмы на отдельного человека, принимая его всеми плечами зараз, и умножало каждый протест слитием всех голосов.

И всё это они взялись отстаивать! А тюремные власти всё это взялись отнять! И началась глухая борьба, где не рвались артиллерийские снаряды, лишь изредка гремели винтовочные выстрелы, а звон выбиваемых стёкол ведь не слышен далее полуверсты. Шла глухая борьба за остатки свободы, за остатки права иметь суждение, шла глухая борьба почти двадцать лет — но о ней не изданы фолианты с иллюстрациями. И все переливы её, списки побед и списки поражений — почти недоступны нам сейчас, потому что ведь и письменности нет на Архипелаге, и устность прерывается со смертью людей. И только случайные брызги этой борьбы долетают до нас иногда, освещённые лунным, не первым и не чётким, светом.

Да и мы с тех пор куда надмились! — мы же знаем танковые битвы, атомные взрывы — что это нам за борьба, если камеры заперли на замки, а заключённые, осуществляя своё право на связь, перестукиваются открыто, кричат из окна в окно, спускают ниточки с записками с этажа на этаж и настаивают, чтобы хоть старосты партийных фракций обходили камеры свободно? Что это нам за борьба, если начальник Лубянской тюрьмы входит в камеру, а анархистка Анна Г-ва (1926) или эсерка Катя Олицкая (1931) отказываются встать при его входе? (И этот дикарь придумывает наказание: лишить её права ... выходить на оправку из камеры.) Что за борьба, если две девушки, Шура и Вера (1925), протестуя против подавляющего личность лубянского приказа разговаривать только шёпотом — запевают громко в камере (всего лишь о сирени и весне) — и тогда начальник тюрьмы латыш Дукес отволакивает их за волосы по коридору в уборную? Или если (1924) в арестантском вагоне из Ленинграда студенты поют революционные песни, а конвой за это лишает их воды? Они кричат ему: «Царский конвой так бы не сделал!» — а конвой их бьёт? Или эсер Козлов на пересылке в Кеми громко обзывает охрану палачами — и за то проволочен волоком и бит?

Ведь мы привыкли под доблестью понимать доблесть только военную (ну, или ту, что в космос летает), ту, что позвякивает орденами. Мы забыли доблесть другую — гражданскую,— а её-то! её-то! её-то! только и нужно нашему обществу! только и нет у нас ...

В 1923 году в Вятской тюрьме эсер Стружинский с товарищами (сколько их? как звали? против чего протестуя?) забаррикадировались в камере, облили матрасы керосином и самосожглись, вполне в традиции Шлиссельбурга, чтоб не идти глубже. Но сколько было

шума *тогда,* как волновалось всё русское общество! а сейчас ни Вятка не знала, ни Москва, ни история. А между тем человеческое мясо так же потрескивало в огне!

В том состояла и первая соловецкая идея: что вот хорошее место, откуда полгода нет связи с внешним миром. Отсюда — не докричишься, здесь можешь хоть и сжигаться. В 1923 заключённых социалистов перевезли сюда из Пертоминска (Онежский полуостров) — и разделили на три уединённых скита.

Вот скит Савватьевский — два корпуса бывшей гостиницы для богомольцев, часть озера входит в зону. Первые месяцы как будто всё в порядке: и политрежим, и некоторые родственники добираются на свидание, и трое старост от трёх партий только и ведут все переговоры с тюремным начальством. А зона скита — зона свободы, здесь внутри и говорить, и думать, и делать арестанты могут безвозбранно.

Но уже тогда, на заре Архипелага, ещё не названные «парашами», ползут тяжёлые настойчивые слухи: политрежим ликвидируют... ликвидируют политрежим...

И действительно, дождавшись середины декабря, прекращения навигации и всякой связи с миром, начальник соловецкого лагеря Эйхманс* объявил: да, получена новая инструкция о режиме. Не всё, конечно, отнимают, о нет! — сократят переписку, там что-то ещё, а всего ощутимее сегодняшнее: с 20 декабря 1923 года запрещается круглосуточный выход из корпусов, а только в дневное время до 6 вечера.

Фракции решают протестовать, из эсеров и анархистов призываются добровольцы: в первый же запретный день выйти гулять именно с шести вечера. Но у начальника Савватьевского скита Ногтёва так чешутся ладони на ружейное ложе, что ещё *прежде* назначенных шести вечера (а может быть часы разошлись? по радио тогда проверки не было) конвоиры с винтовками входят в зону и открывают огонь по законно гуляющим. Три залпа. Шесть убитых, трое тяжело раненных.

На другой день приехал Эйхманс: это печальное недоразумение, Ногтёв будет снят (переведён и повышен). Похороны убитых. Хор поёт над соловецкой глушью:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

(Не последний ли раз ещё разрешена эта протяжная мелодия по свежепогибшим?) Взвалили большой валунный камень на их могилу и высекли на нём имена убитых.**

Нельзя сказать, чтобы пресса скрыла это событие. В «Правде» была заметка петитом: заключённые *напали* на конвой, и шесть

---

* Как похоже на нацистского Эйхмана?..

** В 1925 году камень перевернули и надписи схоронили. Кто там лазит туристами по Соловкам — поищите, посмотрите!

человек убито. Честная газета «Роте фане» описала *бунт* на Соловках.

Среди эсеров Савватьевского скита был Юрий Подбельский. Он собрал медицинские документы о соловецком расстреле — для опубликования когда-нибудь. Но через год при обыске на Свердловской пересылке у него обнаружили в чемодане двойное дно и выгребли тайник. Так спотыкается русская История...

Но режим-то отстояли! И целый год никто не заговаривал об его изменении.

Целый 1924 год, да. А к концу его снова поползли упорные слухи, что в декабре опять собираются вводить новый режим. Дракон уже проголодался, он хотел новых жертв.

И вот три скита социалистов — Савватьевский, Троицкий и Муксалмский, разбросанные даже по разным островам, сумели конспиративно договориться, и в один и тот же день все партийные фракции всех трёх скитов подали заявления с ультиматумом Москве и администрации Соловков: или до конца навигации всех их отсюда вывезти, или оставить прежний режим. Срок ультиматума — две недели, иначе все скиты объявят голодовку.

Такое единство заставляло себя выслушать. Такого ультиматума мимо ушей не пропустишь. За день до срока ультиматума приехал Эйхманс в каждый скит и объявил: Москва отказала. И в назначенный день во всех трёх скитах (уже теряющих теперь и связь) началась голодовка (не сухая, воду пили). В Савватии голодало около двухсот человек. Больных освободили от голодовки сами. Врач из своих арестантов каждый день обходил голодающих. Коллективную голодовку всегда трудней держать, чем единоличную: ведь она равняется по самым слабым, а не по самым сильным. Имеет смысл голодать только с безотказной решимостью и так, чтоб каждый хорошо знал остальных лично и был в них уверен. При разных партийных фракциях, при нескольких стах человек неизбежны разногласия, моральные терзания из-за других. После пятнадцати суток в Савватии пришлось провести тайное (носили урну по комнатам) голосование: держаться дальше или снимать голодовку?

А Москва и Эйхманс выжидали: ведь они были сыты, и о голодовке не захлёбывались столичные газеты, и не было студенческих митингов у Казанского собора. Глухая закрытость уже уверенно формировала нашу историю.

Скиты сняли голодовку. Они её не выиграли. Но, как оказалось, и не проиграли: режим на зиму остался прежним, только добавилась заготовка дров в лесу, но в этом была и логика. Весной же 1925 показалось наоборот — что голодовка выиграна: арестантов всех трёх голодавших скитов увезли с Соловков! На материк! Уже не будет полярной ночи и полугодового отрыва!

Но был очень суров (по тому времени) принимающий конвой и дорожный паёк. А скоро их коварно обманули: под предлогом, что старостам удобно жить в «штабном» вагоне вместе с общим хозяйством, их обезглавили: вагон со старостами оторвали в Вятке

и погнали в Тобольский изолятор. Только тут стало ясно, что голодовка прошлой осени проиграна: сильный и влиятельный старостат срезали для того, чтобы завинтить режим у остальных. Ягода и Катанян лично руководили водворением бывших соловчан в стоявшее уже давно, но до сих пор не заселённое тюремное здание Верхнеуральского изолятора, который таким образом был «открыт» ими весной 1925 года (при начальнике Дуппере) — и которому предстояло стать изрядным пугалом на много десятилетий.

На новом месте у бывших соловчан сразу отняли свободное хождение: камеры взяли на замки. Старост всё-таки выбрать удалось, но они не имели права обхода камер. Запрещено было неограниченное перемещение денег, вещей и книг между камерами, как раньше. Они перекрикивались через окна — тогда часовой выстрелил с вышки в камеру. В ответ устроили обструкцию — били стёкла, портили тюремный инвентарь. (Да ведь в наших тюрьмах ещё и задумаешься — бить ли стёкла, ведь возьмут и на зиму не вставят, ничего дивного. Это при царе стекольщик прибегал мигом.) Борьба продолжалась, но уже с отчаянием и в условиях невыгодных.

Году в 1928 (по рассказу Петра Петровича Рубина) какая-то причина вызвала новую дружную голодовку всего Верхнеуральского изолятора. Но теперь уже не было их прежней строго-торжественной обстановки, и дружеских ободрений, и своего врача. На какой-то день голодовки тюремщики стали врываться в камеры в превосходном числе — и попросту бить ослабевших людей палками и сапогами. Избили — и кончилась голодовка.

* * *

Наивную веру в силу голодовок мы вынесли из опыта прошлого и из литературы прошлого. А голодовка — оружие чисто моральное, она предполагает, что у тюремщика не вся ещё совесть потеряна. Или что тюремщик боится общественного мнения. И только тогда голодовка сильна.

Царские тюремщики были ещё зелёные: если арестант у них голодал, они волновались, ахали, ухаживали, клали в больницу. Примеров множество, но не им посвящена эта работа. Смешно даже сказать, что Валентинову достаточно было поголодать 12 дней — и добился он тем не какой-нибудь режимной льготы, а *полного освобождения* из-под следствия (и уехал в Швейцарию к Ленину). Даже в Орловском каторжном централе голодовщики неизменно побеждали. Они добились смягчения режима в 1912; а в 1913 — дальнейшего, в том числе общей прогулки всех политкаторжан — настолько, очевидно, не стеснённой надзором, что им удалось составить и переслать на волю своё обращение «К русскому народу» (это от каторжников централа!), которое и было о п у б л и к о в а н о (да ведь глаза на лоб лезут! кто из нас

сумасшедший?) в 1914 году в № 1 «Вестника каторги и ссылки»* (а сам «Вестник» чего стоит? не попробовать ли издавать и нам?). — В 1914 году всего лишь пятью сутками голодовки, правда без воды, Дзержинский и четыре его товарища добились всех своих многочисленных (бытовых) требований.**

В те годы кроме мучений голода никаких других опасностей или трудностей голодовка не представляла для арестанта. Его не могли за голодовку избить, второй раз судить, увеличить срок, или расстрелять, или этапировать. (Всё это узналось позже.)

В революцию 1905 года и в годы после неё арестанты почувствовали себя настолько хозяевами тюрьмы, что и голодовку-то уже не трудились объявлять, а либо уничтожали казённое имущество (обструкция), либо додумались объявлять *забастовку*, хотя для узников это, казалось бы, не имеет даже и смысла. Так в городе Николаеве в 1906 году 197 арестантов местной тюрьмы объявили «забастовку», согласованную конечно с *волей*. На воле по поводу их забастовки выпустили листовки и стали собирать ежедневные митинги у тюрьмы. Эти митинги (а арестанты — само собою из окон без намордников) понуждали администрацию принять требования «бастующих» арестантов. После этого одни с улицы, другие через решётки окон дружно пели революционные песни. Так продолжалось (беспрепятственно! ведь это был год послереволюционной реакции) восемь суток! На девятые же все требования арестантов были удовлетворены! Подобные события произошли тогда и в Одессе, и в Херсоне, и в Елисаветграде. Вот как легко давалась тогда победа.

Интересно бы сравнить попутно, как проходили голодовки при Временном правительстве, но у тех нескольких большевиков, которые от июля до Корнилова сидели (Каменев, Троцкий, чуть дольше Раскольников), не нашлось повода голодать, то был вообще не режим.

В 20-х годах бодрая картина голодовок омрачается (то есть, с чьей точки зрения как . . .). Этот широко известный и, кажется, так славно себя оправдавший способ борьбы перенимают, конечно, не только признанные «политическими», но и не признанные ими —«каэры» (Пятьдесят Восьмая) и всякая случайная публика. Однако что-то затупились эти стрелы, такие пробойные прежде, или их уже на вылете перехватывает железная рука. Правда, ещё принимаются письменные заявления о голодовке, и ничего подрывного в них пока не видят. Но вырабатываются неприятные новые правила: голодовщик должен быть изолирован в специальной одиночке (в Бутырках — в Пугачёвской башне); не только не должна знать о голодовке митингующая воля, не только соседние камеры, но даже и та камера, в которой голодовщик сидел до сего дня — это ведь тоже общественность, надо и от неё оторвать.

---

* Гернет. «История царской тюрьмы». М, 1963, том V, гл. 8

** Там же.

Обосновывается мера тем, что администрация должна быть уверена, что голодовка проводится честно — что остальная камера не подкармливает голодовщика. (А как проверялось раньше? По «честному-благородному» слову? . .)

Но всё ж в эти годы можно добиться голодовкой хоть личных требований.

С 30-х годов происходит новый поворот государственной мысли по отношению к голодовкам. Даже вот такие ослабленные, изолированные, полуудушенные голодовки — зачем, собственно, государству нужны? Не идеальнее ли представить, что арестанты вообще не имеют своей воли, ни своих решений,— за них думает и решает администрация! Пожалуй, только такие арестанты могут существовать в новом обществе. И вот с 30-х годов перестали принимать узаконенные заявления о голодовках. «Голодовка как способ борьбы *больше не существует!»* — объявили Екатерине Олицкой в 1932 году и объявляли многим. Власть упразднила ваши голодовки! — и баста. Но Олицкая не послушалась и стала голодать. Ей дали поголодать в своей одиночке пятнадцать суток. Затем взяли в больницу, для соблазна ставили перед ней молоко с сухарями. Однако она удержалась и на девятнадцатый день победила: получила удлинённую прогулку, газеты и передачи от политического Красного Креста (вот как надо было покряхтеть, чтобы получить эти законные передачи!). А в общем победа — ничтожная, слишком дорого оплачена. Олицкая вспоминает такие вздорные голодовки и у других: чтобы добиться выдачи посылки или смены товарищей по прогулке, голодали по 20 дней. Стоило ли того? Ведь в Тюрьме Нового Типа утраченных сил не восстановишь. Сектант Колосков так вот голодал — и на 25-е сутки умер. Можно ли вообще позволить себе голодать в Тюрьме Нового Типа? Ведь у новых тюремщиков в условиях закрытости и тайны появились вот какие могучие средства против голодовки:

1. Терпение администрации. (Его достаточно мы видели из предыдущих примеров.)

2. Обман. Это — тоже благодаря закрытости. Когда каждый шаг разносят газетные корреспонденты, не очень-то обманешь. А у нас — отчего ж и не обмануть? В 1933 году в Хабаровской тюрьме 17 суток голодал С. А. Чеботарёв, требуя сообщить семье, где он находится (приехали с КВЖД, и вдруг он «пропал», он беспокоился, что́ думает жена). На 17-е сутки к нему пришли заместитель начальника краевого ОГПУ, западный и хабаровский крайпрокурор (по чинам видно, что длительные голодовки были не так уж часты) и показали ему телеграфную квитанцию (вот, сообщили жене!) — тем уговорили принять бульон. А квитанция была ложная! (Почему всё-таки высокие чины обеспокоились? Не за жизнь же Чеботарёва. Очевидно, в первой половине 30-х годов ещё была какая-то личная ответственность администратора за затянувшуюся голодовку.)

3. Насильственное искусственное питание. Этот приём взят безусловно из зверинца. И может существовать он — только при

закрытости. К 1937 году искусственное питание было уже, очевидно, в большом ходу. Например, в групповой голодовке социалистов в ярославском централе ко всем было применено на 15-й день искусственное питание.

В этом действии очень много от изнасилования — да это именно оно и есть: четверо больших мужиков набрасываются на слабое существо и должны лишить одного запрета — всего только один раз лишить, а дальше что с ним будет — неважно. От изнасилования здесь — и перелом воли: не по-твоему будет, а по-моему, лежи и подчиняйся. Рот разжимают пластинкой, щель между зубами расширяют, вводят кишку: «Глотайте!» А если не глотаешь — продвигают кишку дальше, и жидкий питательный раствор попадает прямо в пищевод. Ещё затем массируют живот, чтобы заключённый не прибег ко рвоте. Ощущение: моральной осквернённости, сладости во рту и ликующего всасывающего желудка, до наслаждения приятно.

Наукa не застаивалась, и разработаны были также и другие способы кормления: клизмой через задний проход, каплями через нос.

4. Новый взгляд на голодовки: голодовки есть продолжение контрреволюционной деятельности в тюрьме и должны быть наказуемы новым сроком. Этот аспект обещал породить богатейшую новую ветвь в практике Тюрьмы Нового Типа, но остался больше в области угроз. И не чувство юмора, конечно, его остановило, а пожалуй просто лень: зачем всё это, когда есть терпение? Терпение и ещё раз терпение сытого перед голодным.

Примерно со средины 1937 года пришла директива: администрация тюрьмы впредь *совсем не отвечает за умерших от голодовки!* Исчезла последняя личная ответственность тюремщиков! (Теперь бы уже к Чеботарёву крайпрокурор не пришёл.) Больше того: чтоб и следователь не волновался, предложено: дни голодовки подследственного вычёркивать из следственного срока, то есть не только считать, что голодовки не было, но даже — будто заключённый эти дни находился на воле! Пусть единственным ощутимым последствием голодовки будет истощение арестанта!

Это значило: хотите подыхать? Подыхайте!!

Арнольд Раппопорт имел несчастье объявить голодовку в архангельской внутренней тюрьме как раз при приходе этой директивы. Голодовку он держал особенно тяжёлую и, казалось бы, тем более значительную —«сухую», тринадцать суток (сравните пять суток такой же голодовки Дзержинского, да в отдельной ли камере? — и полную победу). И за эти тринадцать суток в одиночку, куда его поместили, только фельдшер иногда заглядывал, а не пришёл ни врач, и никто из администрации хоть поинтересоваться: чего ж он требует своей голодовкой? Так и не спросили... Единственное внимание, которое ему оказал надзор — тщательно обыскали одиночку, вытряхнули запрятанную махорку и несколько спичек. — А хотел Раппопорт добиться прекращения следовательских издевательств. К голодовке своей он готовился научно: перед тем получив

передачу, ел только сливочное масло и баранки, чёрный же хлеб перестал есть за неделю. Доголодался он до того, что сквозь его ладони просвечивало. Помнит: было очень лёгкое ощущение и ясность мысли. Добрая улыбчивая надзирательница Маруся как-то вошла в его одиночку и шепнула: «Снимите голодовку, не поможет, так и умрёте! Надо было на неделю раньше . . .» Он послушался, снял голодовку, так ничего и не добившись. Всё-таки дали ему горячего красного вина с булочкой, после этого надзиратели на руках отнесли его в общую камеру. Через несколько дней начались опять допросы. (Однако, не совсем уж зря прошла голодовка: понял следователь, что у Раппопорта достаточная воля и готовность к смерти, и следствие помягчело. «А ты, оказывается, волк!» — сказал ему следователь. «Волк, — подтвердил Раппопорт,— и собакой для вас никогда не буду.»

Ещё потом одну голодовку объявил Раппопорт на котласской пересылке, но она прошла скорее в комических тонах. Он объявил, что требует нового следствия, а на этап не идёт. На третий день к нему пришли: «Собирайся на этап!» — «Не имеете права! Я — голодающий.» Тогда четыре молодца подняли его, отнесли и зашвырнули в баню. После бани так же на руках отнесли его на вахту. Нечего делать, встал Раппопорт и пошёл за этапной колонной — ведь сзади уже собаки и штыки.

Вот так Тюрьма Нового Типа победила буржуазные голодовки.

Даже у сильного человека не осталось никакого пути противоборствовать тюремной машине, только разве самоубийство. Но самоубийство — борьба ли это? Не подчинение?

Эсерка Е. Олицкая считает, что голодовку как способ борьбы сильно уронили троцкисты и следовавшие за ними в тюрьмы коммунисты: они слишком легко её объявляли и слишком легко снимали. Даже, говорит она, И. Н. Смирнов, вождь их, проголодав перед московским процессом четверо суток, быстро сдался и снял голодовку. Говорят, до 1936 троцкисты даже принципиально отвергали всякую голодовку *против советской власти* и никогда не поддерживали голодающих эсеров и с-д.

Напротив, от с-р и с-д всегда требовали себе поддержки. В карагандо-колымском этапе 1936 оии иазывали «предателями и провокаторами» тех, кто отказался подписать их телеграмму протеста Калиииину —«против посылки *авангарда революции* (=их) иа Колыму». (Рассказ Макотинского.)

Пусть оценит история, насколько упрёк этот верен или неверен. Однако, и тяжелее никто не заплатил за голодовку, чем троцкисты (к их голодовкам и забастовкам в лагерях мы ещё придём в части третьей).

Лёгкость в объявлении и снятии голодовок вероятно вообще свойственна порывистым натурам, быстрым на проявление чувств. Но ведь такие натуры были и среди старых русских революционеров, были где-нибудь и в Италии, и во Франции, — но нигде ж, ни в России, ни в Италии, ни во Франции, не смогли так отповадить от голодовок, как в Советском Союзе, нас. Вероятно, телесных жертв

и стойкости духа приложено было к голодовкам во второй четверти нашего века никак не меньше, чем в первой. Однако не было в стране общественного мнения!— и оттого укрепилась Тюрьма Нового Типа, и вместо легко достающихся побед постигали арестантов тяжело зарабатываемые поражения.

Проходили десятилетия — и время делало своё. Голодовка — первое и самое естественное право арестанта, уже и самим арестантам стала чужда и непонятна, охотников на неё находилось всё меньше. Для тюремщиков же она стала выглядеть глупостью или злостным нарушением.

Когда в 1960 Геннадий Смелов, бытовик, объявил в ленинградской тюрьме длительную голодовку, всё-таки как-то зашёл в камеру прокурор (а может — общий обход делал) и спросил: «Зачем вы себя мучаете?» Смелов ответил:

— Правда мне дороже жизни!

Эта фраза так поразила прокурора своей бессвязностью, что на следующий же день Смелов был отвезён в ленинградскую спецбольницу (сумасшедший дом) для заключённых. Врач объявил ему:

— Вы подозреваетесь в шизофрении.

* * *

По виткам рога и уже в узкой части его возвысились бывшие централы, а теперь специзоляторы, к началу 37-го года. Выдавливалась уже последняя слабина, уже последние остатки воздуха и света. И голодовка проредевших и усталых социалистов в штрафном Ярославском изоляторе в начале 37-го года была из последних отчаянных попыток.

Они ещё требовали всего, как прежде — и старостата, и свободного общения камер, они требовали, но вряд ли уже надеялись и сами. Пятнадцатидневным голоданием, хоть и законченным кормёжкой через кишку, они как будто отстояли какие-то части своего режима: часовую прогулку, областную газету, тетради для записи. Это они отстояли, но тут же отбирали у них собственные вещи и швыряли им единую арестантскую форму специзолятора. И немного прошло ещё — отрезали полчаса прогулки. А потом отрезали ещё пятнадцать минут.

Это были всё одни и те же люди, протягиваемые сквозь череду тюрем и ссылок по правилам Большого Пасьянса. Кто из них десять, кто уже и пятнадцать лет не знал обычной человеческой жизни, а лишь худую тюремную еду да голодовки. Не все ещё умерли те, кто до революции привык побеждать тюремщиков. Однако, тогда они шли в союзе со Временем и против слабнущего врага. А теперь против них в союзе были и Время и крепнущий враг. Были среди них и молодые — те, кто осознал себя эсерами, эсдеками и анархистами уже после того, как сами партии были разгромлены, не существовали больше — и новопоступленцам предстояло только сидеть в тюрьмах.

Вкруг всей тюремной борьбы социалистов, что ни год, то безнадёжней, одиночество отсасывалось до вакуума. Это не было

так, как при царе: только бы двери тюремные распахнуть — и общество закидает цветами. Они разворачивали газеты и видели, как обливают их бранью, даже помоями (ведь именно социалисты казались Сталину самыми опасными для его социализма) — а народ молчал, и по чему можно было осмелиться подумать, что он сочувствует узникам? А вот и газеты перестали браниться — настолько уже неопасными, незначащими, даже не существующими считались русские социалисты. Уже на воле упоминали их только в прошлом и давнопрошедшем времени, молодёжь и думать не могла, что ещё живые где-то есть эсеры и живые меньшевики. И в череде чимкентской и чердынской ссылки, изоляторов Верхнеуральского и Владимирского — как было не дрогнуть в тёмной одиночке, уже с намордником, что может быть ошиблись и программа их и вожди, ошибками были и тактика и практика? И все действия свои начинали казаться сплошным бездействием. И жизнь, отданная на одни только страдания,— заблуждением роковым.

Сень одиночества распростёрлась над ними отчасти и оттого, что в самые первые послереволюционные годы, естественно приняв от ГПУ заслуженное звание *политических*, они так же естественно согласились с ГПУ, что все «направо» от них*, начиная с кадетов,— не политические, а контрреволюционеры, *каэры, контры*, навоз истории. И страдающие за Христову веру тоже получились каэры. И кто не знает ни «права», ни «лева» (а это в будущем — мы, мы все!) — тоже получатся каэры. Так отчасти вольно, отчасти невольно, обособляясь и чураясь, освятили они будущую Пятьдесят Восьмую, в ров которой и им предстояло ещё ввалиться.

Предметы и действия решительно меняют свой вид в зависимости от стороны наблюдения. В этой главе мы описываем тюремное стояние социалистов с *их* точки зрения — и вот оно освещено трагическим чистым лучом. Но те каэры, которых *политы* на Соловках обходили с пренебрежением,— те каэры вспоминают: «Политы? Какие-то они противные были: всех презирают, сторонятся своей кучкой, всё свои пайки́ и льготы требуют. И между собой ругаются непрестанно.» — И как не почувствовать, что здесь — тоже правда? И эти бесплодные бесконечные диспуты, уже смешные. И это требование себе пайковых добавок перед толпою голодных и нищих? В советские годы почётное звание «политов» оказалось отравленным даром. И вдруг возникает ещё такой упрёк: а почему социалисты, так беззаботно *бегавшие* при царе — так смякли в советской тюрьме? Где их побеги? Вообще побегов было немало — но кто в них помнит социалиста?

А те арестанты, кто был ещё «левее» социалистов — троцкисты и коммунисты,— те в свой черёд чурались социалистов как таких же каэров — и смыкали ров одиночества в кольцевой.

---

* Не люблю я эти «лево» и «право»: они условны, перепрокидываются и не содержат сути.

Троцкисты и коммунисты, каждые ставя своё направление чище и выше остальных, презирали и даже ненавидели социалистов (и друг друга), сидящих за решётками того же здания, гуляющих в тех же тюремных дворах. Е. Олицкая вспоминает, что на пересылке в бухте Ванино в 37-м году, когда социалисты мужской и женской зон перекрикивались через забор, ища своих и сообщая новости, коммунистки Лиза Котик и Мария Крутикова были возмущены, что таким безответственным поведением социалисты могут и на всех навлечь наказания администрации. Они говорили так: «Все наши бедствия — от этих социалистических гадов.— (Глубокое объяснение и какое диалектическое!) — Передушить бы их!» — А те две девушки на Лубянке в 1925 лишь потому пели о сирени, что одна из них была эсерка, а вторая — оппозиционерка, и не могло быть у них общей политической песни, и даже вообще оппозиционерка не должна была соединяться с эсеркой в одном протесте.

И если в царской тюрьме партии часто объединялись для совместной тюремной борьбы (вспомним побег из Севастопольского централа), то в тюрьме советской каждое течение видело чистоту своего знамени в том, чтобы не объединяться с другими. Троцкисты боролись отдельно от социалистов и коммунистов, коммунисты вообще не боролись, ибо как же можно разрешить себе бороться против собственной власти и тюрьмы?

И оттого случилось так, что коммунисты в изоляторах, в срочных тюрьмах были притеснены ранее и жёстче других. Коммунистка Надежда Суровцева в 1928 в Ярославском централе на прогулку ходила в «гусиной» шеренге без права разговаривать, когда социалисты ещё шумели в своих компаниях. Уже не разрешалось ей ухаживать за цветами во дворике — цветы остались от прежних арестантов, боровшихся. И газет уже тогда лишили её. (Зато Секретно-Политический Отдел ГПУ разрешил ей иметь в камере полных Маркса — Энгельса, Ленина и Гегеля.) Свидание с матерью ей дали почти в темноте, и угнетённая мать умерла вскоре (что могла она подумать о режиме, в котором содержат дочь?).

Многолетняя разница тюремного поведения прошла глубоко дальше и в разницу наград: в 37-38-м годах ведь социалисты тоже сидели и получали свои десятки. Но их, как правило, не понуждали к самооговору: ведь они не скрывали своих особенных взглядов, достаточных для осуждения. А у коммуниста никогда нет *особенных* взглядов — и за что ж его судить, если не выдавить самооговора?

* * *

Хотя уже разбросался огромный Архипелаг — но никак не хирели и отсидочные тюрьмы. Старая острожная традиция не теряла ретивого продолжения. Всё то новое и бесценное, что давал Архипелаг для воспитания масс, ещё не была полнота. Полноту давало присоединение ТОНов и вообще срочных тюрем.

Не всякий, поглощаемый великою Машиной, должен был смешиваться с туземцами Архипелага. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тайные узники, то свои разжалованные чекисты — никак не могли быть открыто показываемы в лагерях: их перекатка тачки не оправдывала бы разглашения и *морально-политического** ущерба. Так же и социалисты в постоянном бою за свои права никак не могли быть допущены до смешения с массой — но именно под видом их льгот и прав содержимы и удушены отдельно. Гораздо позже, в 50-е годы, как мы ещё узнаем, Тюрьмы Особого Назначения понадобятся и для изолирования лагерных бунтарей. В последние годы своей жизни, разочаровавшись в «исправлении» воров, велит Сталин и разным *паханам* давать тоже тюрзак, а не лагерь. И наконец, приходилось брать на дармовое государственное содержание ещё таких арестантов, кто по слабости сразу в лагере умерев, уклонился бы тем самым от отбывания срока. Или ещё таких, кто никак не мог быть приспособлен к туземной работе — как слепой Копейкин, 70-летний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрьевце (Волжском). Песнопения его и прибаутки повлекли 10 лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным заключением.

Соответственно задачам оберегался, обновлялся, укреплялся и усовершался старый острожный фонд, наследованный от династии Романовых, с добавлением ещё и монастырей. Некоторые централы, как Ярославский, настолько прочно и удобно были оборудованы (двери, обитые железом, в каждой камере постоянно привинчены стол, табуретка и койка), что потребовали только укрепления намордников на окнах да разгораживания прогулочных дворов до размеров камеры (к 1937 году спилены были в тюрьмах все деревья, перекопаны огороды и травяные площадки, залит асфальт). Другие, как Суздальский, требовали переоборудования из монастырского помещения, но ведь само заключение тела в монастыре и заключение его государственным законом в тюрьме преследуют физически-сходные задачи, и оттого здания всегда легко приспосабливаются. Так же был приспособлен под срочную тюрьму один из корпусов Сухановского монастыря — ну да ведь надо же было пополнить и утери фонда: выделение Петропавловской крепости и Шлиссельбурга под экскурсантов. Владимирский централ был расширен и достроен (большой новый корпус при Ежове), он много использовался и много вобрал за эти десятилетия. Уже упомянуто, что действовал Тобольский централ, а с 1925 открылся для постоянного и обильного использования Верхнеуральский. (Изоляторы живы на нашу беду и *работают* в минуту, когда пишутся эти строки.) Из поэмы Твардовского «За далью — даль» можно заключить, что не пустовал при Сталине и Александровский централ. Меньше сведений у нас об Орловском: есть опасения, что он сильно пострадал в Отечественную войну. Но по

* Есть такое словечко!.. Небесно-болотный цвет.

соседству он всегда дополняется хорошо оборудованной отсидочной тюрьмой в Дмитровске (Орловском).

В 20-е годы в политизоляторах (ещё *политзакрытками* называют их арестанты) кормили очень прилично: обеды были всегда мясные, готовили из свежих овощей, в ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание в 1931—1933 годах, но не лучше тогда было и на воле. В это время и цынга и голодные головокружения не были в политзакрытках редкостью. Позже вернулась еда, да не та. В 1947 во Владимирском ТОНе И. Корнеев постоянно ощущал голод: 450 граммов хлеба, 2 куска сахару, два горячих, но не сытных приварка — и только кипятка «от пуза» (опять же скажут, что не характерный год, что и на воле был тогда голод; зато в этом году великодушно разрешали воле кормить тюрьму: посылки не ограничивались). Свет в камерах был пайковый всегда — и в 30-е годы и в 40-е: намордники и армированное мутное стекло создавали в камерах постоянные сумерки (темнота — важный фактор угнетения души). А поверх намордника ещё натягивалась часто сетка, зимой её заносило снегом, и закрывался последний доступ свету. Чтение становилось только порчей и ломотой глаз. Во Владимирском ТОНе этот недостаток света восполняли ночью: всю ночь жгли яркое электричество, мешая спать. А в Дмитровской тюрьме (Н. А. Козырев) в 1938 году свет вечерний и ночной был — коптилка на полочке под потолком, выжигающая последний воздух; в 39-м году появился в лампочках половинный красный накал. Воздух тоже нормировался, форточки — на замке, и отпирались только на время оправки, вспоминают и из Дмитровской тюрьмы и из Ярославской. (Е. Гинзбург: хлеб с утра и до обеда уже покрывался плесенью, влажное постельное бельё, зеленели стены.) А во Владимире в 1948 стеснения в воздухе не было, постоянно открытая фрамуга. Прогулка в разных тюрьмах и в разные годы колебалась от 15 минут до 45. Никакого уже шлиссельбургского или соловецкого общения с землёй, всё растущее выполото, вытоптано, залито бетоном и асфальтом. При прогулке даже запрещали поднимать голову к небу: «Смотреть только под ноги!» — вспоминают и Козырев и Адамова (Казанская тюрьма). Свидания с родственниками запрещены были в 1937 и не возобновлялись. Письма по два раза в месяц отправить близким родственникам и получить от них разрешалось почти все годы (но, Казань: прочтя, через сутки вернуть надзору), также и ларёк на присылаемые ограниченные деньги. Немаловажная часть режима и мебель. Адамова выразительно пишет о радости после убирающихся коек и привинченных к полу стульев увидеть и ощупать в камере (Суздаль) простую деревянную кровать с сенным мешком, простой деревянный стол. Во Владимирском ТОНе И. Корнеев испытал два разных режима: и такой (1947-48), когда из камеры не отбирали личных вещей, можно было днём лежать, и вертухай мало заглядывал в глазок. И такой (1949—53), когда камера была под двумя замками (у вертухая и у дежурного), запрещено лежать, запрещено в голос

разговаривать (в Казанке — только шёпотом!), личные вещи все отобраны, выдана форма из полосатого матрасного материала; переписка — два раза в год и только в дни, внезапно назначаемые начальником тюрьмы (упустив день, уже писать не можешь), и только на листике вдвое меньше почтового; участились свирепые обыски налётами с полным выводом и раздеванием догола. Связь между камерами преследовалась настолько, что после каждой оправки надзиратели лазили по уборной с переносной лампой и светили в каждое очко. За надпись на стене давали всей камере карцер. Карцеры были бич в Тюрьмах Особого Назначения. В карцер можно было попасть за кашель («закройте одеялом голову, тогда кашляйте!»); за ходьбу по камере (Козырев: это считалось «буйный»); за шум, производимый обувью (Казанка, женщинам были выданы мужские ботинки № 44). Впрочем, Гинзбург верно выводит, что карцер давали не за проступки, а по графику: все поочерёдно должны были там пересидеть и знать, что́ это. И в правилах был ещё такой пункт широкого профиля: «В случае проявления в карцере недисциплинированности начальник тюрьмы имеет право продлить срок пребывания в нём до двадцати суток». А что такое «недисциплинированность»?.. Вот как было с Козыревым (описание карцера и многого в режиме так совпадает у всех, что чувствуется единое режимное клеймо). За хождение по камере ему объявлено пять суток карцера. Осень, помещение карцера — неотапливаемое, очень холодно. Раздевают до белья, разувают. Пол — земля, пыль (бывает — мокрая грязь, в Казанке — вода). У Козырева была табуретка (у Гинзбург не было). Решил сразу, что погибнет, замёрзнет. Но постепенно стало выступать какое-то внутреннее таинственное тепло, и оно спасло. Научился спать, сидя на табуретке. Три раза в день давали по кружке кипятку, от которого становился пьяным. В трёхсотграммовую пайку хлеба как-то один из дежурных вдавил незаконный кусок сахара. По пайкам и различая свет из какого-то лабиринтного окошечка, Козырев вёл счёт времени. Вот кончились его пять суток — но его не выпускали. Обострённым ухом он услышал шёпот в коридоре — насчёт не то шестых суток, не то шести суток. В том и была провокация: ждали, чтоб он заявил, что пять суток кончились, пора освобождать — и за недисциплинированность продлить ему карцер. Но он покорно и молча просидел ещё сутки — и тогда его освободили как ни в чём не бывало. (Может быть, начальник тюрьмы так и испытывал всех по очереди на покорность? Карцер для тех, кто ещё не смирился.) — После карцера камера показалась дворцом. Козырев на полгода оглох, и начались у него нарывы в горле. А однокамерник Козырева от частых карцеров сошёл с ума, и больше года Козырев сидел вдвоём с сумасшедшим. (Много случаев безумия в политизоляторах помнит Надежда Суровцева — одна она не меньше, чем насчитал Новорусский по двадцатидвухлетней летописи Шлиссельбурга.)

Не покажется ли теперь читателю, что мы постепенненько взобрались на вершину второго рога — и пожалуй он повыше первого? и пожалуй построй?

Но мнения расходятся. Старые лагерники в один голос признают Владимирский ТОН 50-х годов *курортом.* Так нашёл Владимир Борисович Зельдович, присланный туда со станции Абезь, и Анна Петровна Скрипникова, попавшая туда (1956) из кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регулярной отправкой заявлений каждые десять дней (она стала писать ... в ООН) и отличной библиотекой, включая иностранные языки: в камеру приносят полный каталог и составляешь годовую заявку.

А ещё же не забудьте и гибкость нашего Закона: приговорили тысячи женщин («жён») к тюрзаку. Вдруг свистнули — всем сменить на лагеря (на Колыме золота недомыв)! И сменили. Без всякого суда.

Так есть ли ещё тот тюрзак? Или это только лагерная прихожая?

И вот тут только — только здесь!— должна была начаться эта наша глава. Она должна была рассмотреть тот мерцающий свет, который со временем, как нимб святого, начинает испускать душа одиночного арестанта. Вырванный из жизненной суеты до того абсолютно, что даже счёт преходящих минут даёт интимное общение со Вселенной, — одиночный арестант должен очиститься от всего несовершенного, что взмучивало его в прежней жизни, не давало ему отстояться до прозрачности. Как благородно тянутся пальцы его рыхлить и перебирать комки огородной земли (да, впрочем асфальт!..). Как голова его сама запрокидывается к Вечному Небу (да, впрочем запрещено!..). Сколько умильного внимания вызывает в нём прыгающая на подоконнике птичка (да, впрочем намордник, сетка и форточка на замке ...). И какие ясные мысли, какие поразительные иногда выводы он записывает на выданной ему бумаге (да, впрочем только если достанешь из ларька, а после заполнения сдать навсегда в тюремную канцелярию...).

Но что-то сбивают нас ворчливые наши оговорки. Трещит и ломается план главы, и уже не знаем мы: в Тюрьме Нового Типа, в Тюрьме Особого (а какого?) Назначения — очищается ли душа человека? или гибнет окончательно?

Если каждое утро первое, что ты видишь,— глаза твоего обезумевшего однокамерника,— чем самому тебе спастись в наступающий день? Николай Александрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом, спасался только мыслями о вечном и беспредельном: о мировом порядке — и Высшем духе его; о звёздах; об их внутреннем состоянии; и о том, что́ же такое есть Время и ход Времени.

И так стала ему открываться новая область физики. Только этим он и выжил в Дмитровской тюрьме. Но в своих рассуждениях

он упёрся в забытые цифры. Дальше он строить не мог — ему нужны были многие цифры. Откуда же взять их в этой одиночке с ночной коптилкой, куда даже птичка не может влететь? И учёный взмолился: Господи! Я сделал всё, что мог. Но помоги мне! Помоги мне дальше.

В это время полагалась ему на 10 дней всего одна книга (он был уже в камере один). В небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий «Красного концерта» Демьяна Бедного, и они повторно приходили и приходили в камеру. Минуло полчаса после его молитвы — пришли сменить ему книгу и, как всегда не спрашивая, швырнули —«Курс астрофизики»! Откуда она взялась? Представить было нельзя, что такая есть в библиотеке! Предчувствуя недолгость этой встречи, Николай Александрович накинулся и стал запоминать, запоминать всё, что надо было сегодня и что могло понадобиться потом. Прошло всего два дня, ещё восемь дней было на книгу — и вдруг обход начальника тюрьмы. Он зорко заметил сразу.—«Да ведь вы по специальности астроном?»—«Да».—«Отобрать эту книгу!»— Но мистический приход её освободил пути для работы, продолженной в норильском лагере.

Так вот, теперь мы должны начать главу о противостоянии души и решётки.

Но что это?.. Нагло гремит в двери надзирательский ключ. Мрачный корпусной с длинным списком: «Фамилия? Имя-отчество? Год рождения? Статья? Срок? Конец срока?.. Соберитесь *с вещами!* Быстро!»

Ну, братцы, этап! Этап!.. Куда-то едем! Господи, благослови! Соберём ли косточки?..

А вот что: живы будем — доскажем в другой раз. В четвёртой части. Если будем живы...

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Колёса тоже не стоят,
Колёса...
Вертятся, пляшут жернова,
Вертятся...

В. Мюллер

Глава 1

КОРАБЛИ АРХИПЕЛАГА

От Берингова пролива и почти до Босфорского разбросаны тысячи островов заколдованного Архипелага. Они невидимы, но они — есть, и с острова на остров надо так же невидимо, но постоянно перевозить невидимых невольников, имеющих плоть, объём и вес.

Черезо что же возить их? На чём?

Есть для этого крупные порты — пересыльные тюрьмы, и порты помельче — лагерные пересыльные пункты. Есть для этого стальные закрытые корабли — *вагон-заки*. А на рейдах вместо шлюпок и катеров их встречают такие же стальные замкнутые оборотистые *воронки*. Вагон-заки ходят по расписанию. А при нужде отправляют из порта в порт по диагоналям Архипелага ещё целые караваны — эшелоны красных товарных телячьих вагонов.

Это всё налаженная система! Её создавали десятки лет — и не в спешке. Сытые, обмундированные, неторопливые люди создавали её. Кинешемскому конвою по нечётным числам в 17.00 принимать на Северном вокзале Москвы этапы из бутырского, пресненского и таганского воронков. Ивановскому конвою по чётным числам к шести утра прибывать на вокзал, снимать и держать у себя пересадочных на Нерехту, Бежецк, Бологое.

Это всё — рядом с вами, впритирочку с вами, но — не видимо вам (а можно и глаза смежить). На больших вокзалах погрузка и выгрузка чумазых происходит далеко от пассажирского перрона, её видят только стрелочники да путевые обходчики. На станциях поменьше тоже облюбован глухой проулок между двумя пакгаузами, куда воронок подают задом, ступеньки к ступенькам вагон-зака. Арестанту некогда оглянуться на вокзал, посмотреть на вас и вдоль поезда, он успевает только видеть ступеньки (иногда нижняя ему по пояс, и сил карабкаться нет), а конвоиры, обставшие узкий переходик от воронка к вагону, рычат, гудят: «Быстро! Быстро!.. Давай! Давай!..», а то и помахивают штыками.

И вам, спешащим по перрону с детьми, чемоданами и авоськами, недосуг приглядываться: зачем это подцепили к поезду второй багажный вагон? Ничего на нём не написано, и очень похож он на багажный — тоже косые прутья решёток и темнота за ними. Только зачем-то едут в нём солдаты, защитники отечества, и на остановках двое из них, посвистывая, ходят по обе стороны, косятся под вагон.

Поезд тронется — и сотня стиснутых арестантских судеб, измученных сердец, понесётся по тем же змеистым рельсам, за тем же дымом, мимо тех же полей, столбов и стогов, и даже на несколько секунд раньше вас — но за вашими стёклами в воздухе ещё меньше останется следов от промелькнувшего горя, чем от пальцев по воде.

И в хорошо знакомом, всегда одинаковом поездном быте — с разрезаемой пачкой белья для постели, с разносимым в подстаканниках чаем — вы разве можете вжиться, какой тёмный сдавленный ужас пронёсся за три секунды до вас через этот же объём эвклидова пространства? Вы, недовольные, что в купе четверо и тесно,— вы разве смогли бы поверить, вы разве над этой строкою повери́те, что в таком же купе перед вами только что пронеслось — четырнадцать человек? А если — двадцать пять? А если — тридцать? . .

«Вагон-зак»— какое мерзкое сокращение! Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это — вагон для заключённых. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось. Усвоили арестанты называть такой вагон «столыпинским» или просто «столыпиным».

По мере того, как рельсовое передвижение внедрялось в наше отечество, меняли свою форму и арестантские этапы. Ещё до 90-х годов XIX века сибирские этапы шли пешком и на лошадях. Уже Ленин в 1896 году ехал в сибирскую ссылку в обыкновенном вагоне третьего класса (с вольными) и кричал на поездную бригаду, что невыносимо тесно. Всем известная картина Ярошенко «Всюду жизнь» показывает нам ещё очень наивное переоборудование пассажирского вагона четвёртого класса под арестантский груз: всё оставлено, как есть, и арестанты едут как просто люди, только поставлены на окнах двусторонние решётки. Вагоны эти ещё долго бегали по русским дорогам, некоторые помнят, как их и в 1927 этапировали в таких именно, только разделив мужчин и женщин. С другой стороны, эсер Трушин уверял, что он и при царе уже этапировался в «столыпине», только ездило их, опять-таки по крыловским временам, шесть человек в купе.

История вагона такова. Он, действительно, пошёл по рельсам впервые при Столыпине: он был сконструирован в 1908 году, но — для переселенцев в восточные области страны, когда развилось сильное переселенческое движение и не хватало подвижного состава. Этот тип вагонов был ниже обычного пассажирского, но много выше товарного, он имел подсобные помещения для утвари или птицы (нынешние «половинные» купе, карцеры) — но он, разумеется, не имел никаких решёток, ни внутри, ни на окнах. Решётки поставила изобретательная мысль, и я склоняюсь, что большевистская. А называться досталось вагону — столыпинским . . . Министр, вызывавший на дуэль депутата за «столыпинский галстук»,— этого посмертного оболгания уже не мог остановить.

И ведь не обвинишь гулаговское начальство, чтоб они пользовались термином «столыпин» — нет, всегда «вагон-зак». Это мы, зэки, из чувства противоречия казённому названию, чтобы только называть по-своему и погрубей, обманно повлеклись за кличкой, подсунутой нам арестантами предыдущих поколений, как легко рассчитать — 20-х годов. Кто ж могли быть авторы клички? не «контрики», у них не могло возникнуть такой ассоциации: царский премьер-министр — и чекисты. Это, безусловно, могли быть только

«революционеры», вдруг, для себя неожиданно завлечённые в чекистскую мясорубку: или эсеры, или анархисты (если кличка возникла в ранних 20-х), или троцкисты (если в поздних 20-х). Когда-то змеиным укусом убив великого деятеля России, ещё и посмертным гадким укусом осквернили его память.

Но так как вагон этот был излюблен лишь в 20-е годы, а нашёл всеобщее и исключительное применение — с начала 30-х, когда всё в нашей жизни становилось единообразным (и, вероятно, тогда достроили много таких), то справедливо было бы называть его не «столыпиным», а «сталиным».

Вагон-зак — это обыкновенный купированный вагон, только из девяти купе пять, отведенные арестантам (и здесь, как всюду на Архипелаге, половина идёт на обслугу!), отделены от коридора не сплошной перегородкой, а решёткой, обнажающей купе для просмотра. Решётка эта — косые перекрещенные прутья, как бывает в станционных садиках. Она идёт на всю высоту вагона, доверху, и оттого нет багажных чердачков из купе над коридором. Окна коридорной стороны — обычные, но в таких же косых решётках извне. А в арестантском купе окна нет — лишь маленький, тоже обрешеченный, слепыш на уровне вторых полок (вот, без окон, и кажется нам вагон как бы багажным). Дверь в купе — раздвижная: железная рама, тоже обрешеченная.

Всё вместе из коридора это очень напоминает зверинец: за сплошной решёткой, на полу и на полках, скрючились какие-то жалкие существа, похожие на человека, и жалобно смотрят на вас, просят пить и есть. Но в зверинце так тесно никогда не скучивают животных.

По расчётам вольных инженеров в сталинском купе могут шестеро сидеть внизу, трое — лежать на средней полке (она соединена как сплошные нары, и оставлен только вырез у двери для лаза вверх и вниз) и двое — лежать на багажных полках вверху. Если теперь сверх этих одиннадцати затолкать в купе ещё одиннадцать (последних под закрываемую дверь надзиратели запихивают уже ногами) — то вот и будет вполне нормальная загрузка сталинского купе. По двое скорчатся, полусидя, на верхних багажных, пятеро лягут на соединённой средней (и это — самые счастливые, места эти берутся с бою, а если в купе есть блатари, то именно они лежат там), на низ же останется тринадцать человек: по пять сядут на полках, трое — в проходе меж их ног. Где-то там, вперемешку с людьми, на людях и под людьми — их вещи. Так со сдавленными поджатыми ногами и сидят сутки за сутками.

Нет, это не делается специально, чтобы мучить людей! Осуждённый — это трудовой солдат социализма, зачем же его мучить, его надо использовать на строительстве. Но, согласитесь, и не к тёще же в гости он едет, не устраивать же его так, чтоб ему с воли завидовали. У нас с транспортом трудности: доедет, не подохнет.

С пятидесятых годов, когда расписания наладились, ехать так доставалось арестантам недолго — ну полтора, ну двое суток. В войну и после войны было хуже: от Петропавловска (казахстанс-

кого) до Караганды вагон-зак мог идти с е м ь суток (и было двадцать пять человек в купе!), от Караганды до Свердловска — в о с е м ь суток (и в купе было по двадцать шесть). Даже от Куйбышева до Челябинска в августе 1945 Сузи ехал в сталинском вагоне несколько суток — и было их в купе *тридцать пять* человек, лежали просто друг на друге, барахтались и боролись.* А осенью 1946 Н. В. Тимофеев-Ресовский ехал из Петропавловска в Москву в купе, где было *тридцать шесть* человек! Несколько суток он *висел* в купе между людьми, ногами не касаясь пола. Потом стали умирать — их вынимали из-под ног (правда, не сразу, на вторые сутки) — и так посвободнело. Всё путешествие до Москвы продолжалось у него т р и н е д е л и. (В Москве же, по законам страны чудес, Тимофеева-Ресовского вынесли на руках *офицеры* и повезли в легковом автомобиле: он ехал двигать науку!)

Предел ли — тридцать шесть? У нас нет свидетельств о тридцати семи, но придерживаясь единственно-научного метода и воспитанные на борьбе с «предельщиками», мы должны ответить: нет и нет! Не предел! Может быть где-нибудь и предел, да не у нас! Пока ещё в купе остаются хотя бы под полками, хотя бы между плечами, ногами и головами кубические дециметры невытесненного воздуха — купе готово к приёму дополнительных арестантов! Условно можно принять за предел число не разъятых трупов, умещаемых в полном объёме купе при спокойной укладке.

В. А. Корнеева ехала из Москвы в купе, где было *тридцать женщин* — и большинство из них дряхлые старушки, ссылаемые на поселение за веру (по приезде в с е эти женщины, кроме двух, сразу легли в больницу). У них не было смертей, потому что несколькие среди них были молодые, развитые и хорошенькие девушки, сидевшие «за иностранцев». Эти девушки принялись стыдить конвой: «Как не стыдно вам так их везти? Ведь это же ваши матери!» Не столько, наверно, их нравственные аргументы, сколько привлекательная наружность девушек нашла в конвое отзыв — и несколько старушек пересадили . . . в карцер. А «карцер» в вагон-заке это не наказание, это блаженство. Из пяти арестантских купе только четыре используются как общие камеры, а пятое разделено на две половины — два узких полукупе с одной нижней и одной верхней полкой, как бывает у проводников. Карцеры эти служат для изоляции; ехать там втроём-вчетвером — удобство и простор.

Нет, не для того, чтобы нарочно мучить арестантов жаждой, все эти вагонные сутки в изнеможе и давке их кормят вместо приварка только селёдкой или сухою воблой (так было в с е годы, тридцатые и пятидесятые, зимой и летом, в Сибири и на Украине, и тут примеров даже приводить не надо). Не для того, чтобы мучить жаждой, а скажите сами — чем эту рвань в дороге кормить? Горячий приварок в вагоне им не положен (в одном из купе вагон-зака едет, правда, кухня, но она — только для конвоя),

---

* Это к удовлетворению тех, кто удивляется и упрекает: *почему не боролись?*

сухой крупы им не дашь, сырой трески не дашь, мясных консервов — не разожрутся ли? Селёдка, лучше не придумаешь, да хлеба ломоть — чего ж ещё?

Ты бери, бери свои полселёдки, пока дают, и радуйся! Если ты умён — селёдку эту не ешь, перетерпи, в карман её спрячь, слопаешь на пересылке, где водица. Хуже, когда дают азовскую мокрую камсу, пересыпанную крупной солью, она в кармане не пролежит, бери её сразу в полу бушлата, в носовой платок, в ладонь — и ешь. Делят камсу на чьём-нибудь бушлате, а сухую воблу конвой высыпает в купе прямо на пол, и делят её на лавках, на коленях.

П. Ф. Якубович («В мире отверженных», М, 1964, т. 1) пишет о 90-х годах прошлого века, что в то страшное время в сибирских этапах давалн кормовых 10 копеек в сутки на человека при цеие иа коврнгу пшеннчного хлеба — килограмма три? — 5 копеек, иа криику молока — лнтра два? — 3 копейкн. «Арестаиты благоденствуют»,— пишет он. А вот в Иркутской губернии цеиы выше, фунт мяса стоит 10 копеек, и «арестанты просто бедствуют». Фуит мяса в день на человека — это ие полселёдки? . .

Но уж если тебе рыбу дали — так и в хлебе не откажут, и сахарку ещё, может, подсыпят. Хуже, когда конвой приходит и объявляет: сегодня кормить не будем, на вас *не выдано*. И так может быть, что вправду не выдано: в какой-то тюремной бухгалтерии не там цифру поставили. А может быть и так, что — выдано, но конвою самому не хватает пайки (они тоже ведь не больно сыты), и решили хлебушек *закосить*, а уж одну полуселёдку давать подозрительно.

И, конечно, не для того, чтоб арестант мучился, ему не дают после селёдки ни кипятка (это уж никогда), ни даже сырой воды. Надо понять: штаты конвоя ограничены, одни стоят в коридоре на посту, несут службу в тамбуре, на станциях лазят под вагоном, по крыше: смотрят, не продырявлено ли где. Другие чистят оружие, да когда-то же надо с ними заняться и политучёбой, и боевым уставом. А третья смена спит, восемь часов им отдай как закон, война-то кончилась. Потом: носить воду вёдрами — далеко, да и обидно носить: почему советский воин должен воду таскать, как ишак, для врагов народа? Порой для сортировки или перецепки загонят вагон-зак от станции на полсуток так (от глаз подальше), что и на свою-то красноармейскую кухню воды не наносишься. Ну, есть правда выход: для зэков из паровозного тендера черпануть — жёлтую, мутную, со смазочными маслами, охотно пьют и такую, ничего, им в полутьме купе и не очень видно — окна своего нет, лампочки нет, свет из коридора. Потом ещё: воду эту раздавать больно долго — своих кружек у заключённых нет, у кого и были, так отняли,— значит, пои их из двух казённых, и пока напьются, ты всё стой рядом, черпай, черпай да подавай. (Да ещё заведутся промеж себя: давайте сперва, мол, здоровые пить, а потом уже туберкулёзные, а потом уже сифилитики! Как будто в соседнем купе не сначала опять: сперва здоровые . . .)

Но и всё б это конвой перенёс, и таскал бы воду и поил, если б, свиньи такие, налакавшись воды, не просились бы потом на оправку. А получается так: не дашь им сутки воды — и оправки не

просят; один раз напоишь — один раз и на оправку; пожалеешь, два раза напоишь — два раза и на оправку. Прямой расчёт всё-таки — не поить.

И не потому оправки жалко, что уборной жалко,— а потому что это ответственная и даже боевая операция: надолго надо занять ефрейтора и двух солдат. Выставляются два поста — один около двери уборной, другой в коридоре с противоположной стороны (чтоб туда не кинулись), а ефрейтору то и дело отодвигать и задвигать дверь купе, сперва впуская возвратного, потом выпуская следующего. Устав разрешает выпускать только по одному, чтоб не кинулись, не начали бунта. И получается, что этот выпущенный в уборную человек держит тридцать арестантов в своём купе и сто двадцать во всём вагоне, да наряд конвоя! Так «Давай! Давай! . . Скорей! Скорей!» — понукают его по пути ефрейтор и солдат, и он спешит, спотыкается, будто ворует это очко уборной у государства. В 1949 в «сталине» Москва — Куйбышев одноногий немец Шульц, уже понимая русские понукания, прыгал на своей ноге в уборную и обратно, а конвой хохотал и требовал, чтобы тот прыгал быстрее. В одну оправку конвоир толкнул его в тамбуре перед уборной, Шульц упал. Конвоир, осердясь, стал его ещё бить,— и, не умея подняться под его ударами, Шульц вползал в грязную уборную ползком. Конвоиры хохотали.*

Чтоб за секунды, проводимые в уборной, арестант не совершил побега, а также для быстроты оборота, дверь в уборную не закрывается, и, наблюдая за процессом оправки, конвоир из тамбура поощряет: «Давай-давай! . . Ну хватит тебе, хватит!» Иногда с самого начала команда: «Только по лёгкому!» — и тогда уж тебе из тамбура иначе не дадут. Ну, и рук, конечно, никогда не моют: воды не хватит в баке, и времени нет. Если только арестант коснётся соска умывальника, конвоир рыкает из тамбура: «А ну, не трожь, проходи!» (Если у кого в вещмешке есть мыло или полотенце, так из одного стыда не достанет: это *по-фраерски* очень.) Уборная загажена. Быстрей, быстрей! и неся жидкую грязь на обуви, арестант втискивается в купе, по чьим-то рукам и плечам лезет наверх, и потом его грязные ботинки свисают с третьей полки ко второй и капают.

Когда оправляются женщины, устав караульной службы и здравый смысл требуют также не закрывать дверей уборной, но не всякий конвой на этом настоит, иные попустят: ладно мол, закрывайте. (Ещё ж потом одной женщине эту уборную и мыть после всех, и опять около нее стой, чтоб не сбежала.)

И даже при таком быстром темпе уходит на оправку ста двадцати человек больше двух часов — больше четверти смены трёх конвоиров! И всё равно не угодишь! — и всё равно какой-нибудь старик-песочник через полчаса опять же плачется и просится на оправку; его, конечно, не выпускают, он гадит прямо у себя

---

* Это, кажется, названо «культ личности Сталина»?

в купе, и опять же забота ефрейтору: заставить его руками собрать и вынести.

Так вот: поменьше оправок! А значит — воды поменьше. И еды поменьше — и не будут жаловаться на поносы и воздух отравлять, ведь это что?— в вагоне дышать нельзя!

Поменьше воды! А селёдку положенную выдать! Недача воды — разумная мера, недача селёдки — служебное преступление.

Никто, никто не задался целью мучить нас! Действия конвоя вполне рассудительны! Но как древние христиане, сидим мы в клетке, а на наши раненые языки сыпят соль.

Так же и совсем не имеют цели (иногда имеют) этапные конвоиры перемешивать в купе Пятьдесят Восьмую с блатарями и бытовиками, а просто: арестантов чересчур много, вагонов и купе мало, времени в обрез — когда с ними разбираться? Одно из четырёх купе держат для женщин, в трёх остальных если уж и сортировать, так по станциям назначения, чтоб удобнее выгружать.

И разве потому распяли Христа между разбойниками, что хотел Пилат его унизить? Просто день был такой — распинать, Голгофа — одна, времени мало. *И к злодеям причтён.*

* * *

Я боюсь даже и подумать, что́ пришлось бы мне пережить, находясь на общем арестантском положении . . . Конвой и этапные офицеры обращались со мной и моими товарищами с предупредительной вежливостью . . . Будучи политическим, я ехал в каторгу со сравнительным комфортом — пользовался отдельным от уголовной партии помещением на этапах, имел подводу, и пуд багажа шёл на подводе . . .

. . .Я опустил в этом абзаце кавычки, чтобы читатель мог лучше вникнуть. Без кавычек абзац диковато звучит, а?

Это пишет П. Ф. Якубович о 90-х годах прошлого века. Книга переиздана сейчас в поучение о том мрачном времени. Мы узнаём, что и на барже политические имели особую комнату и на палубе — особое отделение для прогулки. (То же — и в «Воскресении», и посторонний князь Нехлюдов может приходить к политическим на собеседования.) И лишь потому, что в списке против фамилии Якубовича было «пропущено *магическое слово политический*» (так он пишет) — на Усть-Каре он был «встречен инспектором каторги . . . как обыкновенный уголовный арестант — грубо, вызывающе, дерзко». Впрочем, это счастливо разъяснилось.

Какое неправдоподобное время!— смешивать политических с уголовными казалось почти преступлением! Уголовников гнали на вокзалы позорным строем по мостовой, политические могли ехать в карете (большевик Ольминский, 1899). Политических из общего котла не кормили, выдавали кормовые деньги и несли им из

кухмистерской. Большевик Ольминский не захотел принять даже больничного пайка — груб ему показался.* Бутырский корпусной просил извинения за надзирателя, что тот обратился к Ольминскому на «ты»: у нас, де, редко бывают политические, надзиратель не знал...

В Бутырках *редко бывают политические!*.. Что за сон? А где ж они бывают? Лубянки-то и Лефортова тем более ещё не было!..

Радищева вывезли на этап в кандалах и по случаю холодной погоды набросили на него «гнусную нагольную шубу», взятую у сторожа. Однако, Екатерина немедленно вослед распорядилась: кандалы снять и всё нужное для пути доставить. Но Анну Скрипникову в ноябре 1927 отправили из Бутырок в этап на Соловки в соломенной шляпе и летнем платьи (как она была арестована летом, а с тех пор её комната стояла запечатанная, и никто не хотел разрешить ей взять оттуда свои же зимние вещи).

Отличать политических от уголовных — значит уважать их как равных соперников, значит признавать, что у людей могут быть *взгляды*. Так даже арестованный политический ощущает политическую свободу!

Но с тех пор, как все мы —«каэры», а социалисты не удержались на «политах»,— с тех пор только смех заключённых и недоумение надзирателя мог ты вызвать протестом, чтоб тебя, политического, не смешивали с уголовными. «У нас — все уголовные»,— искренно отвечали надзиратели.

Это смешение, эта первая разящая встреча происходит или в воронке, или в вагон-заке. До сих пор как ни угнетали, пытали и терзали тебя следствием — это всё исходило от голубых фуражек, ты не смешивал их с человечеством, ты видел в них только наглую службу. Но зато твои однокамерники, хотя б они были совсем другими по развитию и опыту, чем ты, хотя б ты спорил с ними, хотя б они на тебя и *стучали* — все они были из того же привычного, грешного и обиходливого человечества, среди которого ты провёл всю жизнь.

Вталкиваясь в сталинское купе, ты и здесь ожидаешь встретить только товарищей по несчастью. Все твои враги и угнетатели остались по ту сторону решётки, с этой ты их не ждёшь. И вдруг ты поднимаешь голову к квадратной прорези в средней полке, к этому единственному небу над тобой — и видишь там три-четыре — нет, не лица! нет, не обезьяньи морды, у обезьян же морда гораздо добрей и задумчивей! нет, не образину — образина хоть чем-то должна быть похожа на образ!— ты видишь жестокие гадкие хари с выражением жадности и насмешки. Каждый смотрит на тебя как паук, нависший над мухой. Их паутина — эта решётка, и ты попался! Они кривят рты, будто собираются куснуть тебя избоку, они при разговоре шипят, наслаждаясь этим шипением больше, чем гласными и согласными звуками речи,— и сама речь их только

---

* За то всё, правда, шпанка (уголовная масса) называла профессиональных революционеров «паршивыми дворянишками». (П. Ф. Якубович.)

окончаниями глаголов и существительных напоминает русскую, она — тарабарщина.

Эти странные гориллоиды скорее всего в майках — ведь в купе духота, их жилистые багровые шеи, их раздавшиеся шарами плечи, их татуированные смуглые груди никогда не испытывали тюремного истощения. Кто они? Откуда? Вдруг с одной такой шеи свесится — крестик! да, алюминиевый крестик на верёвочке. Ты поражён и немного облегчён: среди них есть верующие, как трогательно; так ничего страшного не произойдёт. Но именно этот «верующий» вдруг загибает в крест и в веру (ругаются они отчасти по-русски) и суёт два пальца тычком, рогатинкой, прямо тебе в глаза — не угрожая, а вот начиная сейчас выкалывать. В этом жесте «глаза выколю, падло!» — вся философия их и вера! Если уж глаз твой они способны раздавить как слизняка — так что́ на тебе и при тебе они пощадят? Болтается крестик, ты смотришь ещё не выдавленными глазами на этот дичайший маскарад и теряешь систему отсчёта: кто из вас уже сошёл с ума? кто ещё сходит?

В один миг трещат и ломаются все привычки людского общения, с которыми ты прожил жизнь. Во всей твоей прошлой жизни — особенно до ареста, но даже и после ареста, но даже отчасти и на следствии — ты говорил другим людям *слова*, и они отвечали тебе *словами*, и эти слова производили действие, можно было или убедить, или отклонить, или согласиться. Ты помнишь разные людские отношения — просьбу, приказ, благодарность,— но то, что застигло тебя здесь — вне этих слов и вне этих отношений. Посланником харь спускается вниз кто-то, чаще всего плюгавенький малолетка, чья развязность и наглость омерзительнее втройне, и этот бесёнок развязывает твой мешок и лезет в твои карманы — не обыскивая, а как в свои! С этой минуты ничто твоё — уже не твоё, и сам ты — только гуттаперчевая болванка, на которую напялены лишние вещи, но вещи можно снять. Ни этому маленькому злому хорьку, ни тем харям наверху нельзя ничего объяснить словами, ни отказать, ни запретить, ни выпроситься! Они — не люди, это объяснилось тебе в одну минуту. Можно только — бить! Не ожидая, не тратя времени на шевеление языка — бить!— или этого ребёнка, или тех крупных тварей наверху.

Но снизу вверх тех трёх — ты как ударишь? А ребёнка, хоть он гадкий хорёк, как будто тоже бить нельзя? можно только оттолкнуть мягенько? .. Но и оттолкнуть нельзя, потому что он тебе сейчас откусит нос, или сверху тебе сейчас проломят голову (да у них и ножи есть, только они не станут их вытаскивать, об тебя пачкать).

Ты смотришь на соседей, на товарищей — давайте же или сопротивляться, или заявим протест!— но все твои товарищи, твоя Пятьдесят Восьмая, ограбленные поодиночке ещё до твоего прихода, сидят покорно, сгорбленно и смотрят хорошо ещё если мимо тебя, а то и на тебя, так обычно смотрят, как будто это не насилие, не грабёж, а явление природы: трава растёт, дождик идёт.

А потому что — упущено время, господа, товарищи и братцы! Спохватываться — кто вы, надо было тогда, когда Стружинский сжигал себя в вятской камере и раньше ещё того, когда вас объявляли «каэрами».

Итак, ты даёшь снять с себя пальто, а в пиджаке твоём прощупана и с клоком вырвана зашитая двадцатка, мешок твой брошен наверх, проверен, и всё, что твоя сентиментальная жена собрала тебе после приговора в дальнюю дорогу, осталось там, наверху, а тебе в мешочке сброшена зубная щётка...

Хотя не каждый подчинялся так в 30-е и 40-е годы, но девяносто девять. (Немногие случаи рассказывали мне, когда трое спаянных, молодых и здоровых, устаивали против блатарей — но не общую справедливость защищая, не всех, грабимых рядом, а только себя, вооружённый нейтралитет.) Как же это могло стать? Мужчины! офицеры! солдаты! фронтовики!

Чтобы смело биться, человеку надо к этому бою быть готовым, ожидать его, понимать его цель. Здесь же нарушены все условия: никогда не знав раньше блатной среды, человек не ждал этого боя, а главное — совершенно не понимает его необходимости, до сих пор представляя (неверно), что его враги — это голубые фуражки только. Ему ещё надо воспитываться, пока он поймёт, что татуированные груди — это задницы голубых фуражек, это то откровение, которое погоны не говорят вслух: «умри ты сегодня, а я завтра!» Новичок-арестант хочет себя считать политическим, то есть: он — за народ, а против них — государство. А тут неожиданно сзади и сбоку нападает какая-то поворотливая нечисть, и все разделения смешиваются, и ясность разбита в осколки. (И нескоро арестант соберётся и разберётся, что нечисть, выходит,— с тюремщиками заодно.)

Чтобы смело биться, человеку надо ощущать защиту спины, поддержку с боков, землю под ногами. Все эти условия разрушены для Пятьдесят Восьмой. Пройдя мясорубку политического следствия, человек сокрушён телом: он голодал, не спал, вымерзал в карцерах, валялся избитый. Но если бы только телом! — он сокрушён и душой. Ему втолковано и доказано, что и взгляды его, и жизненное поведение, и отношения с людьми — всё было неверно, потому что привело его к разгрому. В том комочке, который выброшен из машинного отделения суда на этап, осталась только жажда жизни, и никакого понимания. Окончательно сокрушить и окончательно разобщить — вот задача следствия по 58-й статье. Осуждённые должны понять, что наибольшая вина их на воле была — попытка как-нибудь сообщаться или объединяться друг с другом помимо парторга, профорга и администрации. В тюрьме это доходит до страха всяких тюремных *коллективок*: одну и ту же жалобу высказать в два голоса или на одной и той же бумаге подписаться двоим. Надолго теперь отбитые от всякого объединения, лже-политические не готовы объединиться и против блатных. Так же не придёт им в голову иметь для вагона или пересылки оружие — нож или кистень. Во-первых — зачем оно? против кого?

Во-вторых, если его применишь ты, отягчённый зловещей 58-ю статьёю,— то по пересуду ты можешь получить и расстрел. В-третьих, ещё раньше, при обыске, тебя за нож накажут не так, как блатаря: у него нож — это шалость, традиция, несознательность, у тебя — террор.

И наконец, большая часть посаженных по 58-й — это мирные люди (а часто и старые, и больные), всю жизнь обходившиеся словами, без кулаков — и не готовые к ним теперь, как и раньше.

А блатари не проходили такого следствия. Всё их следствие — два допроса, лёгкий суд, лёгкий срок, и даже этого лёгкого срока им не предстоит отбыть, их отпустят раньше: или амнистируют, или они убегут.* Никто не лишал блатаря его законных передач и во время следствия — обильных передач из доли товарищей по воровству, оставшихся на свободе. Он не худел, не слабел ни единого дня — и вот в пути подкармливается за счёт *фраеров*.** Воровские и бандитские статьи не только не угнетают блатного, но он гордится ими — и в этой гордости его поддерживают все начальники в голубых погонах или с голубыми окаёмками: «Ничего, хотя ты бандит и убийца, но ты же не изменник родины, ты же *наш* человек, ты исправишься.» По воровским статьям нет Одиннадцатого пункта — об организации. Организация не запрещена блатарям — отчего же?— пусть она содействует воспитанию чувств коллективизма, так нужных человеку нашего общества. И отбор оружия у них — это игра, за оружие их не наказывают — уважают их *закон* («им иначе нельзя»). И новое камерное убийство не удлинит срока убийцы, а только украсит его лаврами.

(Это всё уходит очень глубоко. У Маркса люмпен-пролетариат осуждался разве только за некоторую невыдержанность, непостоянство настроения. А Сталин всегда тяготел к блатарям — кто ж ему грабил банки? Ещё в 1901 году сотоварищами по партии и тюрьме он был обвинён в использовании уголовников против политических противников. С 20-х годов родился и услужливый термин: *социально-близкие*. В этой плоскости и Макаренко: э т и х можно исправить. По Макаренко, исток преступлений — только «контрреволюционное подполье». Нельзя исправить т е х — инженеров, священников, обывателей, меньшевиков.)

Отчего ж не воровать, коли некому унять? Трое-четверо дружных и наглых блатарей владеют несколькими десятками запуганных, придавленных лже-политических.

С одобрения начальства. На основе Передовой Теории.

Но если не кулачный отпор — то отчего жертвы не жалуются? Ведь каждый звук слышен в коридоре, и вот он медленно прохаживается за решёткою — конвойный солдат.

---

* В. И. Иванов (ныне в Ухте) девять раз получал 162-ю (воровство), пять раз 82-ю (побег), всего 37 лет заключения — и «отбыл» их за пять-шесть лет.

** *Фраер* — это *не вор*, то есть не «Человек» (с большой буквы). Ну, попросту: фраера — это остальное, не воровское человечество.

Да, это вопрос. Каждый звук и жалобное хрипение слышны, а конвоир всё прохаживается — почему ж не вмешается он сам? В метре от него, в полутёмной пещере купе грабят человека — почему ж не заступится воин государственной охраны?

А вот по тому самому. Ему внушено тоже.

И — больше: после многолетнего благоприятствия конвой и сам склонился к ворам. Конвой и *сам стал вор.*

С середины 30-х годов и до середины 40-х, в это десятилетие величайшего разгула блатарей и нижайшего угнетения политических,— никто не припомнит случая, чтобы конвой прекратил грабёж политического в камере, в вагоне, в воронке. Но расскажут вам множество случаев, как конвой принял от воров награбленные вещи и взамен принёс им водки, еды (послаще пайковой), курева. Эти примеры уже стали хрестоматийными.

У конвойного сержанта ведь тоже ничего нет: оружие, скатка, котелок, солдатский паёк. Жестоко было бы требовать от него, чтоб он конвоировал врага народа в дорогой шубе или в хромовых сапогах, или с *кёшером* (мешком) городских богатых вещей — и примирился бы с этим неравенством. Да ведь отнять эту роскошь — тоже форма классовой борьбы? А какие ещё тут есть нормы?

В 1945-46 годах, когда заключённые тянулись не откуда-нибудь, а из Европы, и невиданные европейские вещи были надеты на них и лежали в их мешках — не выдерживали и конвойные офицеры. Служебная судьба, оберегшая их от фронта, в конце войны оберегла их и от сбора трофеев — разве это было справедливо?

Так не случайно уже, не по спешке, не по нехватке места, а из собственной корысти — смешивал конвой блатных и политических в каждом купе своего вагон-зака. И блатари не подводили: вещи сдирались с *бобров** и поступали в чемоданы конвоя.

Но как быть, если «бобры» в вагон загружены, и поезд уже идёт, а воров — нет и нет, ну просто не подсаживают, сегодня их не этапирует ни одна станция? Несколько случаев известно и таких.

В 1947 году из Москвы во Владимир для отбывания сроков во Владимирском централе везли группу иностранцев, у них были богатые вещи, это показывало первое раскрытие чемодана. Тогда конвой *сам* начал в вагоне систематический отбор вещей. Чтобы ничего не пропустить, заключённых раздевали *догола* и сажали на пол вагона близ уборной, а тем временем просматривали и отбирали вещи. Но не учёл конвой, что везёт их не в лагерь, а в серьёзную тюрьму. По прибытии туда И. А. Корнеев подал письменную жалобу, всё описав. Нашли тот конвой, обыскали самих. Часть вещей ещё нашлась и вернули её, не возвращённое владельцам оплатили. Говорили, что конвою дали по 10 и 15 лет. Впрочем, это проверить нельзя, да и статья воровская, не должны засидеться.

Однако это случай исключительный, и, умерь свою жадность вовремя, начальник конвоя понял бы, что здесь лучше не связываться. А вот случай попроще, и тем подаёт он надежду, что не один

* Бобры — богатые зэки с «барахлом» и *бациллами*, то есть, с жирами.

такой был. В вагон-заке Москва — Новосибирск в августе 1945 года (в нём этапировался А. Сузи) тоже не случилось воров. А путь предстоял долгий, поезда тянулись тогда. Не торопясь, начальник конвоя объявил в удобное время обыск — поодиночке, с вещами в коридоре. Вызываемых раздевали по тюремным правилам, но не в этом таился смысл обыска, потому что обысканные возвращались в свою же набитую камеру, и любой нож, и любое запретное можно было потом из рук в руки передавать. Истинный обыск был в пересмотре всех личных вещей — надетых и из мешков. Здесь, у мешков, не скучая весь долгий обыск, простоял с надменным неприступным видом начальник конвоя, офицер, и его помощник, сержант. Грешная жажда просилась наружу, но офицер замыкал её притворным безразличием. Это было положение старого блударя, который рассматривает девочек, но стесняется посторонних, да и самих девочек тоже, не знает, как подступиться. Как ему нужны были несколько воров! Но воров в этапе не было.

В этапе не было воров, но были такие, кого уже коснулось и заразило воровское дыхание тюрьмы. Ведь пример воров поучителен и вызывает подражание: он показывает, что есть лёгкий путь жить в тюрьме. В одном из купе ехали два недавних офицера — Санин (моряк) и Мережков. Они были оба по 58-й, но уже перестраивались. Санин при поддержке Мережкова объявил себя старостой купе и попросился через конвоира на приём к начальнику конвоя (он разгадал эту надменность, её нужду в своднике!). Небывалый случай, но Санина вызвали, и где-то там состоялась беседа. Следуя примеру Санина, попросился кто-то из другого купе. Был принят и тот.

А на утро хлеба выдали не 550 граммов, как был в то время этапный паёк, а — двести пятьдесят.

Пайки роздали, начался тихий ропот. Ропот,— но боясь «коллективных действий», эти политические не выступали. Нашёлся только один, кто громко спросил у раздатчика:

— Гражданин начальник! А сколько эта пайка весит?

— Сколько положено!— ответили ему.

— Требую перевески, иначе не возьму!— громко заявил отчаянный.

Весь вагон затаился. Многие не начинали па́ек, ожидая, что перевесят и им. И тут-то пришёл во всей своей непорочности офицер. Все молчали, и тем тяжелее, тем неотвратимее придавили его слова:

— Кто тут выступил против советской власти?

Обмерли сердца. (Возразят, что это — общий приём, что это и на воле любой начальник заявляет себя советской властью и пойди с ним поспорь. Но для пуганых, для только что осуждённых за антисоветскую деятельность — страшней.)

— Кто тут поднял *мятеж* из-за пайки?— настаивал офицер.

— Гражданин лейтенант, я хотел только . . .— уже оправдывался во всём виноватый бунтарь.

— Ах, это ты, сволочь? Это тебе не нравится советская власть?

(И зачем бунтовать? зачем спорить? Разве не легче съесть эту маленькую пайку, перетерпеть, промолчать? .. А вот теперь встрял . . .)

—. . .Падаль вонючая! Контра! Тебя самого повесить — а ты ещё пайку вешать?! Тебя, гада, советская власть поит-кормит — и ты ещё недоволен? Знаешь, что за это будет? . .

Команда конвою: «Заберите его!» Гремит замок. «Выходи, руки назад!» Несчастного уводят.

— Ещё кто недоволен? Ещё кому перевесить?

(Как будто что-то можно доказать! Как будто где-то пожалуешься, что было двести пятьдесят, и тебе поверят, а лейтенанту не поверят, что было точно пятьсот пятьдесят.)

Битому псу только плеть покажи. Все остальные оказались довольны, и так утвердилась штрафная пайка *на все дни* долгого путешествия. И сахара тоже не стали давать — его брал конвой.

(Это было в лето двух великих Побед — над Германией и над Японией, побед, которые извеличат историю нашего Отечества, и внуки и правнуки будут их изучать.)

Проголодали день, проголодали два, несколько поумнели, и Санин сказал своему купе: «Вот что, ребята, так пропадём. Давайте, у кого есть хорошие вещи,— я выменяю, принесу вам пожрать.» Он с большой уверенностью одни вещи брал, другие отклонял (не все соглашались и давать — так никто ж их и не вынуждал!). Потом попросился на выход вместе с Мережковым, странно — конвой их выпустил. Они ушли с вещами в сторону купе конвоя и вернулись с нарезанными буханками хлеба и с махоркой. Это были те самые буханки — из семи килограммов, не додаваемых на купе в день, только теперь они назначались не всем поровну, а лишь тем, кто дал вещи.

И это было вполне справедливо: ведь все же признали, что они довольны и уменьшенной пайкой. И справедливо было потому, что вещи чего-то стоят, за них надо же платить. И в дальнем загляде тоже справедливо: ведь это слишком хорошие вещи для лагеря, они всё равно обречены там быть отняты или украдены.

А махорка была — конвоя. Солдаты делились с заключёнными своею кровной махрой — но и это было справедливо, потому что они тоже ели хлеб заключённых и пили их сахар, слишком хороший для врагов. И, наконец, справедливо было то, что Санин и Мережков, не дав вещей, взяли себе больше, чем хозяева вещей,— потому что без них бы это всё и не устроилось.

И так сидели, сжатые в полутьме, и одни жевали краюхи хлеба, принадлежащие соседям, а те смотрели на них. Прикуривать же конвой не давал поодиночке, а в два часа раз — и весь вагон заволакивался дымом, как будто что горело. Те, кто сперва с вещичками жался,— теперь жалели, что не дали Санину, и просили взять у них, но Санин сказал — потом.

Эта операция не прошла бы так хорошо и так до конца, если б то не были затяжные поезда послевоенных лет, когда вагон-заки и перецепляли, и на станциях держали,— так зато без после

войны и вещичек бы тех не было, за которыми гоняться. До Куйбышева ехали неделю — и всю неделю от государства давали только двести пятьдесят граммов хлеба (впрочем, двойную блокадную норму), сушёную воблу и воду. Остальной хлеб нужно было выкупить за свои вещи. Скоро предложение превысило спрос, и конвой уже очень неохотно брал вещи, перебирал.

На Куйбышевскую пересылку их свозили, помыли, вернули в том же составе в тот же вагон. Конвой принял их новый,— но по эстафете ему было, очевидно, объяснено, как добывать вещи,— и тот же порядок покупки собственной пайки возобновился до Новосибирска. (Легко представить, что этот заразительный опыт в конвойных дивизионах переимчиво распространялся.)

Когда в Новосибирске их высадили на землю между путями и какой-то ещё новый офицер пришёл, спросил: «Есть жалобы на конвой?»— все растерялись, и никто ему не ответил.

Правильно рассчитал тот первый начальник конвоя.

* * *

Ещё отличаются пассажиры вагон-зака от пассажиров остального поезда тем, что не знают, куда идёт поезд и на какой станции им сходить: ведь билетов у них нет, и маршрутных табличек на вагонах они не читают. В Москве их иногда посадят в такой дали от перрона, что даже и москвичи не сообразят: какой же это из восьми вокзалов. Несколько часов в смраде и стиснутости сидят арестанты и ждут маневрового паровоза. Вот он придёт, отведёт вагон-зак к уже сформированному составу. Если лето, то донесутся станционные динамики: «Москва — Уфа отходит с третьего пути . . . С первой платформы продолжается посадка на Москва — Ташкент . . .» Значит, вокзал — Казанский, и знатоки географии Архипелага и путей его теперь объясняют товарищам: Воркута, Печора — отпадают, они — с Ярославского; отпадают кировские, горьковские лагеря.

Так попадают плевелы в жатву славы. Но — плевелы ли? Ведь нет же лагерей пушкинских, гоголевских, толстовских — а горьковские есть, да какое гнездо! А ещё отдельно каторжный прииск «имени Максима Горького» (40 км от Эльгена)! Да, Алексей Максимыч . . . «вашим, товарищ, сердцем и именем» . . . Если враг не сдаётся . . . Скажешь лихое словечко, глядь — а ты ведь уже не в литературе . . .

В Белоруссию, на Украину, на Кавказ — из Москвы и не возят никогда, там своих девать некуда. Слушаем дальше. Уфимский отправили — наш не дрогнул. Ташкентский отошёл — стоим. «До отправления поезда Москва — Новосибирск . . . Просьба к провожающим . . . билеты отъезжающих . . .» Тронули. Наш! А что это доказывает? Пока ничего. И среднее Поволжье наше, и наш южный Урал. Наш Казахстан с джезказганскими медными рудниками. Наш и Тайшет со шпалопропиточным заводом (где, говорят, креозот просачивается сквозь кожу, в кости, парами его насыщаются лёгкие — и это смерть). Вся Сибирь ещё наша до Совгавани. И наша — Колыма. И Норильск — тоже наш.

Если же зима — вагон задраен, динамиков не слышно. Если конвойная команда верна уставу — от них тоже не услышишь обмолвки о маршруте. Так и тронемся, уснём в переплёте тел, в пристукивании колёс, не узнав — леса или степи увидятся завтра через окно. Через то окно, которое в коридоре. Со средней полки через решётку, коридор, два стекла и ещё решётку видны всё-таки станционные пути и кусочек пространства, бегущего мимо поезда. Если стёкла не обмёрзли, иногда можно прочесть и название станции — какое-нибудь Авсютино или Ундол. Где такие станции? .. Никто не знает в купе. Иногда по солнцу можно понять: на север вас везут или на восток. А то в каком-нибудь Туфанове втолкнут в ваше купе обшарпанного бытовичка, и он расскажет, что везут его в Данилов на суд, и боится он, не дали б ему годика два. Так вы узнаёте, что ехали ночью через Ярославль и, значит, первая пересылка на пути — Вологодская. И обязательно найдутся в купе знатоки, кто мрачно просмакует знаменитую присказку: «вОлОгОдский кОнвОй шутить не любит!»

Но и узнав направление — ничего вы ещё не узнали: пересылки и пересылки узелками впереди на вашей ниточке, с любой вас могут повернуть в сторону. Ни на Ухту, ни на Инту, ни на Воркуту тебя никак не тянет,— а думаешь 501-я стройка слаще — железная дорога по тундре, по северу Сибири? Она стоит их всех.

Лет через пять после войны, когда арестантские потоки вошли всё-таки в русла (или в МВД расширили штаты?) — в министерстве разобрались в миллионных ворохах *дел* и стали сопровождать каждого осуждённого запечатанным конвертом его тюремного дела, в прорези которого открыто для конвоя писался маршрут (а больше маршрута им знать не полезно, содержание дел может влиять развращающе). Вот тогда, если вы лежите на средней полке, и сержант остановится как раз около вас, и вы умеете читать вверх ногами — может быть вы и словчите прочесть, что кого-то везут в Княж-Погост, а вас — в Каргопольлаг.

Ну, теперь ещё больше волнений! — что это за Каргопольлаг? Кто о нём слышал... Какие там *общие?* ... (бывают общие работы смертные, а бывают и полегче.) Доходиловка, нет?

И как же, как же вы впопыхах отправки не дали знать своим родным, и они всё ещё мнят вас в сталиногорском лагере под Тулой? Если вы очень нервны и очень находчивы, может быть удастся вам решить и эту задачу: у кого-то найдётся сантиметровый кусочек карандашного грифеля, у кого-то мятая бумага. Остерегаясь, чтобы не заметил конвойный из коридора (а ногами к проходу ложиться нельзя, только головой), вы, скрючившись и отвернувшись, между толчками вагона пишете родным, что вас внезапно взяли со старого места и теперь везут, что с нового места может будет только одно письмо в год, пусть приготовятся. Сложенное треугольником письмо надо нести с собой в уборную наудачу: вдруг да сведут вас туда на подходе к станции или на отходе от неё, вдруг зазевается конвойный в тамбуре,— тогда нажимайте скорее педаль, пусть откроется отверстие спуска нечис-

тот, и, загородивши телом, бросайте письмо в это отверстие! Оно намокнет, испачкается, но может проскочить и упасть между рельсами. Или даже выскочит сухое, межколёсный ветер закружит его, оно взвихрится, попадёт под колёса или минует их и отлого спустится на откос полотна. Может быть так и лежать ему тут до дождей, до снега, до гибели, может быть рука человека поднимет его. И если этот человек окажется не *идейный* — то подправит адрес, буквы наведёт или вложит в другой конверт — и письмо ещё смотри дойдёт. Иногда такие письма доходят — доплатные, стёршиеся, размытые, измятые, но с чётким всплеском горя...

* * *

А ещё лучше — переставайте вы поскорее быть этим самым *фраером* — смешным новичком, добычей и жертвой. Девяносто пять из ста, что письмо ваше не дойдёт. Но и дойдя, не внесёт оно радости в дом. И что за дыхание — по часам и суткам, когда вступили вы в страну эпоса? Приход и уход разделяются здесь десятилетиями, четвертью века. **Вы никогда не вернётесь** в прежний мир! Чем скорее вы отвыкнете от своих домашних, и домашние отвыкнут от вас — тем лучше. Тем легче.

И как можно меньше имейте вещей, чтобы не дрожать за них! Не имейте чемодана, чтобы конвой не сломал его у входа в вагон (а когда в купе по двадцать пять человек — что б вы придумали на их месте другое?). И не имейте новых сапог, и не имейте модных полуботинок, и шерстяного костюма не имейте: в вагон-заке, в воронке ли, на приёме в пересыльную тюрьму — всё равно украдут, отберут, отметут, обменяют. Отдадите без боя — будет унижение травить ваше сердце. Отнимут с боем — за своё же добро останетесь с кровоточащим ртом. Отвратительны вам эти наглые морды, эти глумные ухватки, это отребье двуногих,— но имея собственность и трясясь за неё, не теряете ли вы редкую возможность наблюдать и понять? А вы думаете, флибустьеры, пираты, великие капитаны, расцвеченные Киплингом и Гумилёвым,— не эти ли самые они были блатные? Вот этого сорта и были... Прельстительные в романтических картинах — отчего же они отвратны вам здесь?

Поймите и их. Тюрьма для них — *дом родной*. Как ни приласкивает их власть, как ни смягчает им наказания, как ни амнистирует — внутренний рок приводит их снова и снова сюда... Не им ли и первое слово в законодательстве Архипелага? Одно время у нас и на воле право собственности так успешно изгонялось (потом изгонщикам самим понравилось *иметь*) — почему ж должно оно терпеться в тюрьме? Ты зазевался, ты вовремя не съел своего сала, не поделился с друзьями сахаром и табаком — теперь блатные ворошат твой *сидор*, чтоб исправить твою моральную ошибку. Дав тебе *на сменку* жалкие отопки вместо твоих фасонных сапог, робу замазанную вместо твоего свитера, они не надолго взяли эти вещи и себе: сапоги твои — повод пять раз проиграть их и выиграть в карты, а свитер завтра *толкнут* за литр водки и за круг колбасы.

Через сутки и у них ничего не будет, как и у тебя. Это — второе начало термодинамики: уровни должны сглаживаться...

Не имейте! Ничего не имейте! — учили нас Будда и Христос, стоики, циники. Почему же никак не внемем мы, жадные, этой простой проповеди? Не поймём, что имуществом губим душу свою?

Ну разве селёдка пусть греется в твоём кармане до пересылки, чтобы здесь не клянчить тебе попить. А хлеб и сахар выдали на два дня сразу — съешь их в один приём. Тогда никто не украдёт их. И забот нет. И будь как птица небесная!

То́ имей, что можно всегда пронести с собой: знай языки, знай страны, знай людей. Пусть будет путевым мешком твоим — твоя память. Запоминай! запоминай! Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь и тронутся в рост.

Оглянись — вокруг тебя люди. Может быть, одного из них ты будешь всю жизнь потом вспоминать и локти кусать, что не расспросил. И меньше говори — больше услышишь. Тянутся с острова на остров Архипелага тонкие пряди человеческих жизней. Они вьются, касаются друг друга одну ночь вот в таком стучащем полутёмном вагоне, потом опять расходятся навеки — а ты ухо приклони к их тихому жужжанию и к ровному стуку под вагоном. Ведь это постукивает — веретено жизни.

Каких только диковинных историй ты здесь не услышишь, чему не посмеёшься!

Вот этот французик подвижной около решётки — что он всё крутится? чему удивляется? чего до сих пор не понимает? Разъяснить ему! А между тем и расспросить: как попал? Нашёлся кто-то с французским языком, и мы узнаём: Макс Сантер, французский солдат. Вот такой же вострый и любопытный был он и на воле, в своей douce France. Говорили ему по-хорошему — не крутись, а он всё околачивался около пересыльного пункта для русских репатриируемых. Тогда угостили его советские выпить, и с некоторого момента он ничего не помнит. Очнулся уже в самолёте, на полу. Увидел себя — в красноармейской гимнастёрке и брюках, а над собой сапоги конвоира. Теперь ему десять лет лагерей, но это же, конечно, злая шутка, это разъяснится?.. О, да, разъяснится, голубчик, жди! (Ему предстоит ещё лагерная судимость, 25 лет, и из Озёрлага он освободится только в 1957.) Ну, да такими случаями в 1945-46 годах не удивишь.

То сюжет был франко-русский, а вот — русско-французский. Да нет, чисто русский, пожалуй, потому что таких колей кто ж кроме русского напетляет? Во всякие времена росли у нас люди, которые *не вмещались*, как Меншиков у Сурикова в берёзовскую избу. Вот Иван Коверченко — и поджар, и роста среднего, а всё равно — не вмещается. А потому что детинка был кровь с молоком, да подбавил чёрт горилки. Он охотно рассказывает о себе, и со смехом. Такие рассказы — клад, их — слушать. Правда, долго не можешь угадать: за что ж его арестуют и почему он — политический. Но из «политического» не надо себе лакировать фестивального значка. Не всё ль равно, какими граблями захватили?

Как все хорошо знают, к химической войне подкрадывались немцы, а не мы. Поэтому, при окате с Кубани, очень было неприятно, что из-за каких-то растяп в боепитании мы оставили на одном аэродроме штабели химических бомб — и немцы могли на этом разыграть международный скандал. Тогда-то старшему лейтенанту Коверченке, родом из Краснодара, дали двадцать человек парашютистов и сбросили в тыл к немцам, чтоб он все эти многовредные бомбы закопал в землю. (Уже догадались слушатели и зевают: дальше он попал в плен, теперь — изменник родины. А ни хрёнышка подобного!) Коверченко задание выполнил превосходно, со всей двадцаткой без потерь пересек фронт назад и представлен был к Герою Советского Союза.

Но ведь представление ходит месяц и два,— а если ты в этого Героя тоже не помещаешься? «Героя» дают тихим мальчикам, отличникам боевой и политической подготовки — а у тебя если душа горит, выпить хоц-ца, а — нечего? Да если ты Герой всего Союза — что ж они, гады, скупятся тебе литр водки добавить? И Иван Коверченко сел на лошадь и, по правде ничего о Калигуле не зная, въехал на лошади на второй этаж к городскому военкому чи коменданту: водки, мол, выпиши! (Он смекнул, что так будет попредставительней, как бы больше подобать Герою, и отказать трудней.) За это и посадили?— Нет, что вы! За это был снижен с Героя до Красного Знамени.

Очень Коверченко нуждался выпить, а не всегда бывало, и приходилось кумекать. В Польше помешал он немцам взорвать один мост — и почувствовал этот мост как бы своим, и пока, до подхода нашей комендатуры, положил с поляков плату за проход и проезд по мосту: ведь без меня у вас его б уже не было, заразы! Сутки он эту плату собирал (на водку), надоело, да и не торчать же тут,— и предложил капитан Коверченко окружным полякам справедливое решение: мост этот у него *купить.* (За это и сел?— Не-ет.) Не много он и просил, но поляки жались, не собрались. Бросил пан капитан мост, чёрт с вами, ходите бесплатно.

В 1949 году он был в Полоцке начальником штаба парашютного полка. Очень не любил майора Коверченку политотдел дивизии за то, что на политвоспитание он *клал.* Раз попросил он характеристику для поступления в Академию, но когда дали — заглянул и швырнул им на стол: «С такой характеристикой мне не в Академию, а к бандеровцам идти!» (За это? . .— За это вполне могли десятку сунуть, но обошлось.) Тут ещё примкнуло, что он одного солдата незаконно в отпуск уволил. И что сам в пьяном виде гнал грузовую машину и разбил. И дали ему десять . . . суток *губы* (гауптвахты). Впрочем, охраняли его свои же солдаты, они его любили беззаветно и отпускали с «губы» гулять в деревню. И так и быть стерпел бы он эту «губу», но стал ему политотдел ещё грозить судом! Вот эта угроза потрясла и оскорбила Коверченку: значит, бомбы хоронить — Иван лети? а за поганую полуторку — в тюрьму? Ночью он вылез в окно, ушёл на Двину, там знал спрятанную моторку своего приятеля и угнал её.

Оказался он не пьянчужка с короткой памятью: теперь за всё, что политотдел ему причинял, он хотел мстить: и в Литве бросил лодку, пошёл к литовцам просить: «Братцы, отведите к партизанам! примите, не пожалеете, мы им накрутим!» Но литовцы решили, что он подослан.

Был у Ивана зашит аккредитив. Он взял билет на Кубань, однако подъезжая к Москве, уже сильно напился в ресторане. Поэтому, из вокзала выйдя, прищурился на Москву и велел таксёру: «Вези-ка меня в посольство!»—«В какое?»—«Да хрен с ним, в любое.» И шофёр привёз.—«Эт какое ж?» —«Французское.»—«Ладно.»

Может быть его мысль сбивалась, и намерения к посольству у него сперва были одни, а теперь стали другие, но ловкость и сила его ничуть не охилели: он не напугал приворотного милиционера, тихонько обошёл в переулок и взмахнул на гладкий двухростовый забор. Во дворе посольства пошло легче: никто его не обнаружил и не задержал, он прошёл внутрь, миновал комнату, другую, и увидел накрытый стол. Многое было на столе, но больше всего его поразили груши, соскучился он по ним, напихал теперь все карманы кителя и брюк. Тут вошли хозяева ужинать. «Эй вы, французы! — стал на них первый наседать и кричать Коверченко. Подступило ему, что Франция ничего хорошего за последние сто лет не совершила. — Вы почему ж революции не делаете? Вы что ж де Голля к власти тянете? А мы вас — кубанской пшеничкой снабжай? Не вый-дет!!» — «Кто вы? Откуда?» — изумились французы. Сразу беря верный тон, Коверченко нашёлся: «Майор МГБ». Французы встревожились: «Но всё равно вы не должны врываться. Вы — по какому делу?»—«Да я вас в рот. . .!!» — объявил им Коверченко уже напрямик, от души. И ещё немного перед ними помолодцевал, да заметил, что из соседней комнаты уже звонят о нём по телефону. И хватило у него трезвости начать отступление, но — груши стали у него выпадать из карманов! — и позорный смех преследовал его . . .

А впрочем стало у него сил не только уйти из посольства целым, но и куда-то дальше. На другое утро проснулся он на Киевском вокзале (не в Западную ли Украину ехать собрался?) — и тут вскоре его взяли.

На следствии бил его сам Абакумов, рубцы на спине вздулись толщиною в руку. Министр бил его, разумеется, не за груши и не за справедливый упрёк французам, а добивался: кем и когда завербован. И срок ему вкатили двадцать пять.

Много таких рассказов, но, как и всякий вагон, арестантский затихает в ночи. Ночью не будет ни рыбы, ни воды, ни оправки.

И тогда, как всякий иной вагон, его наполняет ровный колёсный шум, ничуть не мешающий тишине. И тогда, если ещё и конвойный ушёл из коридора, можно из третьего мужского купе тихо поговорить с четвёртым женским.

Разговор с женщиной в тюрьме — он совсем особенный. В нём благородное что-то, даже если говоришь о статьях и сроках.

Один такой разговор шёл целую ночь, и вот при каких обстоятельствах. Это было в июле 1950 года. На женское купе не набралось пассажирок, была всего одна молодая девушка, дочь московского врача, посаженная по 58-10. А в мужских занялся шум: стал конвой сгонять всех зэков из трёх купе в два (уж по сколько там сгрудили — не спрашивай). И ввели какого-то преступника, совсем не похожего на арестанта. Он был прежде всего не острижен — и волнистые светло-жёлтые волосы, истые кудри, вызывающе лежали на его породистой большой голове. Он был молод, осанист, в военном английском костюме. Его провели по коридору с оттенком почтения (конвой сам оробел перед инструкцией, написанной на конверте его дела) — и девушка успела это всё рассмотреть. А он её не видел (и как же потом жалел!).

По шуму и сутолоке она поняла, что для него освобождено особое купе — рядом с ней. Ясно, что он ни с кем не должен был общаться. Тем более ей захотелось с ним поговорить. Из купе в купе увидеть друг друга в вагон-заке невозможно, а услышать при тишине можно. Поздно вечером, когда стало стихать, девушка села на край своей скамьи перед самой решёткой и тихо позвала его (а может быть сперва напела тихо. За всё это конвой должен был бы её наказать, но конвой угомонился, в коридоре не было никого). Незнакомец услышал и, наученный ею, сел так же. Они сидели теперь спинами друг к другу, выдавливая одну и ту же трёхсантиметровую доску, а говорили через решётку, тихо, в огиб этой доски. Они были так близки головами и губами, как будто целовались, а не могли не только коснуться друг друга, но даже посмотреть.

Эрик Арвид Андерсен понимал по-русски уже вполне сносно, говорил же со многими ошибками, но в конце концов мысль передавал. Он рассказал девушке свою удивительную историю (мы ещё услышим её на пересылке), она же ему — простенькую историю московской студентки, получившей 58-10. Но Арвид был захвачен, он расспрашивал её о советской молодёжи, о советской жизни — и узнавал совсем не то, что знал раньше из левых западных газет и из своего официального визита сюда.

Они проговорили всю ночь — и всё в эту ночь сошлось для Арвида: необычный арестантский вагон в чужой стране; и напевное ночное постукивание поезда, всегда находящее в нашем сердце отзыв; и мелодичный голос, шёпот, дыхание девушки у его уха — у самого уха, а он не мог на неё даже взглянуть! (И женского голоса он уже полтора года вообще не слышал.)

И слитно с этой невидимой (и наверно, и конечно, и обязательно прекрасной) девушкой он впервые стал разглядывать Россию, и голос России всю ночь ему рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый раз . . . (Утром ещё предстояло ему увидеть через окно её тёмные соломенные кровли — под печальный шёпот затаённого экскурсовода.)

Ведь это всё Россия: и арестанты на рельсах, отказавшиеся от жалоб; и девушка за стеной сталинского купе; и ушедший спать конвой; груши, выпавшие из кармана, закопанные бомбы и конь, взведенный на второй этаж.

* * *

— Жандармы! жандармы! — обрадованно кричали арестанты. Они радовались, что дальше их будут сопровождать обходительные жандармы, а не конвой.

Опять я кавычки забыл поставить. Это рассказывает сам Короленко.* Мы, правда, голубым фуражкам не радовались. Но кому не обрадуешься, если в вагон-заке попадёшь под маятник.

Обычному пассажиру на промежуточной маленькой станции лихо — сесть, а сойти — отчего же? — скидывай вещи и прыгай. Не то с арестантом. Если местная тюремная охрана или милиция не придут за ним или опоздают на две минуты,— тю-тю!— поезд тронулся, и теперь везут этого грешного арестанта — до следующей пересылки. И хорошо, если до пересылки — там тебя опять кормить начнут. А то — до конца вагонного маршрута, там в пустом вагоне продержат часиков восемнадцать да везут назад с новым набором, и опять, может быть, не выйдут за тобой — и опять в тупик, и опять сидеть, и всё это время ведь не кормят! Ведь на тебя выписали до первого взятия, бухгалтерия не виновата, что тюрьма проворонила, ты ведь числишься уже за Тулуном. И конвой своими хлебами тебя кормить не обязан. И качают тебя шесть раз (бывало!): Иркутск — Красноярск, Красноярск — Иркутск, Иркутск — Красноярск, так увидишь на перроне Тулуна картуз голубой — готов на шею броситься: спасибо, родненький, что выручил!

В вагон-заке и за двое суток так изморишься, задохнёшься, изомлеешь, что перед большим городом сам не знаешь: то ли б ещё помучиться, да скорей доехать, то ль отпустили б размяться маленько, на пересылку.

Но вот завозился конвой, забегал. Выходят в шинелях, стучат прикладами. Значит, выгружают весь вагон.

Сперва конвой станет кру́гом у вагонных ступенек, и едва ты с них скатишься, свалишься, сорвёшься,— конвоиры дружно и оглушительно кричат тебе со всех сторон (так учены): «Садись! Садись! Садись!» Это очень действует, когда в несколько глоток и не дают тебе поднять глаз. Как под разрывами снарядов, ты невольно корчишься, спешишь (а куда тебе спешить?), жмёшься к земле и садишься, догнав тех, кто слез раньше.

«Садись!» — очень ясная команда, но если ты арестант начинающий, ты её ещё не понимаешь. В Иванове на запасных путях я по

---

* «История моего современника», Собр. соч., М, 1955, т. VII, стр. 166

команде этой с чемодаиом в обинмку (если чемодан сработаи ие в лагере, а иа воле, у иего всегда рвётся ручка н всегда в крутую минуту) перебежал, поставил его на землю долгой стороиой н, ие углядев, как сидели переднне, сел иа чемодаи — ие мог же я в офицерской шинелн, ещё не такой уж грязной, ещё с не обрезаниымн полами, сесть прямо на шпалы, иа тёмный промазученный песок! Начальник коивоя — румяиая ряшка, добротное русское лицо, разбежался — я ие успел понять, что́ он? к чему? — н хотел, видио, святым сапогом в окаяиную спииу, но что-то удержало — ие пожалел своего иаблещеииого иоска, стукнул в чемодан и проломил крышку. «Са-дись!» — поясиил ои. И только тут меня озарило, что как башия я возвышаюсь средн окружающих зэков — н ещё не успев спроснть: «А как же сндеть?», я уже поиял, как, н берегомой своей шинелью сел, как все люди, как сндят собаки у ворот, кошки у дверей.

(Этот чемодан у меия сохранился, и я теперь, когда попадётся, провожу пальцами по его рваной дыре. Оиа ведь ие может зажить, как зажнвает на теле, на сердце. Вещи памятлнвее нас.)

И эта посадка — оиа тоже продумаиа. Еслн сидишь иа земле задом, так что колеин твои возвышаются перед тобой, то центр тяжести — сзади, подняться трудно, а вскочить невозможио. И ещё сажают иас потеснее прижавшись, чтоб друг другу мы больше мешали. Захоти мы все сразу броснться иа конвой, — пока зашевелимся, иас перестреляют прежде.

Сажают ждать вороика (ои возит партиями, всех ведь не уберёт) или пешего отгоиа. Сажать стараются в скрытом месте, чтоб меиьше видели вольиые, но иногда посадят неловко прямо иа перроне или иа открытой площадке (в Куйбышеве так). Вот здесь — нспытаиие для вольных: мы-то разглядываем нх с полным правом, во все честные глаза, а нм иа нас как поглядеть? С иенавнстью? — совесть не позволяет (ведь только советскне писатели и журналисты верят, что людн сидят «за дело»). С сочувствием? с жалостью? — а иу-ка фамилию запишут? И срок оформят, это просто. И гордые свободные наши граждане («читайте, завндуйте, я граждаиии») опускают свои виновные головы и стараются вовсе иас ие видеть, как будто место пустое. Смелей других старухн: их уже ие испортишь, оии н в Бога веруют, — н отломнв ломоть хлеба от скудного кнрпнчнка, онн бросают иам. Да ещё ие боятся бывшие лагернники, бытовикн, коиечио. Лагеринки зиают: «Кто ие был — тот побудет, кто был — тот не забудет», н, смотришь, кииут пачку папирос, чтоб и им так кииули в их следующий срок. Старушечий хлеб от слабой рукн ие долетит, упадёт иа земь, пачка крутнёт по воздуху под самую иашу гущу, а конвой тут же заклацает затворами — иа старуху, иа доброту, на хлеб: «Эй, проходи, бабка!»

И хлеб святой, преломлениый, остаётся лежать в пыли, пока иас не угоият.

Вообще, этн мннуты — сндеть на земле на стаицин — из нашнх лучших мииут. Помню, в Омске нас посадилн так иа шпалах,

между двумя долгими товарными составами. В этот прогон никто не заходил (наверно, выслали в оба конца по солдату: «Нельзя сюда!» А советский человек и на воле воспитан подчиняться человеку в шинели). Смеркалось. Был август. Станционная масленая галька ещё не успела остыть от дневного солнца и грела нас в сиденьи. Вокзал был не виден нам, но где-то очень близко за поездами. Оттуда гремела радиола, весёлые пластинки, и слитно гудела толпа. И почему-то не казалось унизительно сидеть сплочённой грязной кучкой на земле в каком-то закутке; не издевательски было слушать танцы чужой молодёжи, которых нам уже никогда не танцевать; представлять, что кто-то кого-то на перроне сейчас встречает, провожает, и может быть даже с цветами. Это было двадцать минут почти свободы: густел вечер, зажигались первые звёзды, красные и зелёные огни на путях, звучала музыка. Продолжается жизнь без нас — и даже уже не обидно.

Полюби такие минуты — и легче станет тюрьма. А то ведь разорвёт от злости.

Если до воронка перегонять зэков опасно, рядом — дороги и люди, — то вот ещё хорошая команда из конвойного устава: «Взяц-ца под руки!» Ничего в ней нет унизительного — взяться под руки! Старикам и мальчишкам, девушкам и старухам, здоровым и калекам. Если одна твоя рука занята вещами — под эту руку тебя возьмут, а ты берись другою. Теперь вы сжались вдвое плотнее, чем в обычном строю, вы сразу отяжелели, вы все стали хромы, на перевесе от вещей, от неловкости с ними, вас всех качает неверно. Грязные, серые, нелепые существа, вы идёте как слепцы, с кажущейся нежностью друг ко другу — карикатура на человечество!

А воронка, может быть, и вовсе нет. А начальник конвоя, может быть, трус, он боится, что не доведёт — и вот так, отяжелённые, болтаясь на ходу, стукаясь о вещи — вы поплетётесь и по городу, до самой тюрьмы.

Есть и ещё команда — карикатура уже на гусей: «Взяться за пятки!» Это значит, у кого руки свободны — каждой рукой взять себя за ногу около щиколотки. И теперь —«шагом марш!» (Ну-ка, читатель, отложите книгу, пройдите по комнате! . . И как? Скорость какая? Что видели вокруг себя? А как насчёт побега?) Со стороны представляете три-четыре десятка таких гусей? (Киев, 1940.)

На улице не обязательно август, может быть — декабрь 1946, а вас гонят без воронка при сорока градусах мороза на Петропавловскую пересылку. Как легко догадаться, в последние часы перед городом конвой вагон-зака не трудился водить вас на оправку, чтоб не мараться. Ослабевшие от следствия, схваченные морозом, вы теперь почти не можете удержаться, особенно женщины. Ну так что ж! Это лошади надо остановиться и распереться, это собаке надо отойти и поднять ногу у забора. А вы, люди, можете и на ходу, кого нам стесняться в своём отечестве? На пересылке просохнет . . . Вера Корнеева нагнулась поправить ботинок, отстала на шаг — конвоир тотчас притравил её овчаркой, и овчарка через всю

зимнюю одежду укусила её в ягодицу. Не отставай! А узбек упал — и его бьют прикладами и сапогами.

Не беда, это не будет сфотографировано для «Дейли Экспресс». И начальника конвоя до его глубокой старости никто никогда не будет судить.

* * *

И воронки тоже пришли из истории. Тюремная карета, описанная Бальзаком, — чем не воронок? Только медленней тащится и не набивают так густо.

Правда, в 20-е годы ещё гоняли арестантов пешими колоннами по городам, даже по Ленинграду, на перекрестках они останавливали движение. («Доворовались?» — корили их с тротуаров. Ещё ж никто не знал великого замысла канализации...)

Но, живой к техническим веяниям, Архипелаг не опоздал перенять *чёрного ворона*, а ласковей — воронка. На ещё булыжные мостовые наших улиц первые воронки вышли с первыми же грузовиками. Они были плохо подрессорены, в них сильно трясло — но и арестанты становились не хрустальные. Зато укупорка уже тогда, в 1927, была хороша: ни единой щёлки, ни электрической лампочки внутри, уже нельзя было ни дохнуть, ни глянуть. И уже тогда набивали коробки воронков стоя до отказу. Это не так чтобы было нарочито задумано, а — колёс не хватало.

Много лет они были серые стальные, откровенно тюремные. Но после войны в столицах спохватились — стали красить их снаружи в радостные тона и писать сверху: «Хлеб» (арестанты и были хлебом строительств), «Мясо» (верней бы написать —«кости»), а то и «Пейте советское шампанское!»

Внутри воронок может быть просто бронированным кузовом — пустым загоном. Может иметь скамейки вкруговую вдоль стен. Это — вовсе не удобство, это хуже: втолкают столько же людей, сколько помещается стоймя, но уже друг на друга как багаж, как тюк на тюк. Могут воронки иметь в задке бокс — узкий стальной шкаф на одного. И могут целиком быть боксированы: по правому и левому борту одиночные шкафики, они запираются как камеры, а коридор для вертухая.

Такого сложного пчелиного устройства и вообразить нельзя, глядя на хохочущую девицу с бокалом: «Пейте советское шампанское!»

В воронок вас загоняют всё с теми же окриками конвоиров со всех сторон: «Давай! Давай! Быстрей!» — чтоб вам некогда было оглянуться и сообразить побег, вас загоняют совом да пихом, чтобы вы с мешком застряли в узкой дверце, чтоб стукнулись головой о притолоку. Защёлкивается с усилием стальная задняя дверь — и поехали!

Конечно, в воронке редко возят часами, а — двадцать — тридцать минут. Но и швыряет же, но и костоломка, но и бока же намнёт

вам за эти полчаса, но голова ж пригнута, если вы рослый — вспомнишь, пожалуй, уютный вагон-зак.

А ещё воронок — это новая перетасовка, новые встречи, из которых самые яркие, конечно, — с блатными. Может быть, вам не пришлось быть с ними в одном купе, может быть, и на пересылке вас не сведут в одну камеру, — но здесь вы отданы им.

Иногда так тесно, что даже и уркам несручно бывает *курочить*. Ноги, руки ваши между тел соседей и мешков зажаты как в колодках. Только на ухабах, когда всех перетряхивает, отбивая печёнки, меняет вам и положение рук-ног.

Иногда — попросторнее, урки за полчаса управляются проверить содержимое всех мешков, отобрать себе *бациллы* и лучшее из *барахла*. От драки с ними скорее всего вас удержат трусливые и благоразумные соображения (и вы по крупицам уже начинаете терять свою бессмертную душу, всё полагая, что главные враги и главные дела где-то ещё впереди, и надо для них поберечься). А может быть вы размахнётесь разок — и вам между рёбрами всадят нож. (Следствия не будет, а если будет — блатным оно ничем не грозит: только притормозятся на пересылке, не поедут в дальний лагерь. Согласитесь, что в схватке социально-близкого с социально-чуждым не может государство стать за последнего.)

Отставной полковник Лунин, осоавиахимовский чин, рассказывал в бутырской камере в 1946, как при нём в московском воронке, в день восьмого марта, за время переезда от городского суда до Таганки, урки в очередь изнасиловали девушку-невесту (при молчаливом бездействии всех остальных в воронке). Эта девушка утром того же дня, одевшись поприятнее, пришла на суд ещё как вольная (её судили за самовольный уход с работы — да и то гнусно подстроенный её начальником, в месть за отказ с ним жить). За полчаса до воронка девушку осудили на пять лет по Указу, втолкнули в этот воронок, и вот теперь среди бела дня, на московских улицах («Пейте советское шампанское!»), обратили в лагерную проститутку. И сказать ли, что учинили это блатные? А не тюремщики? А не тот её начальник?

Блатная нежность! — изнасилованную девушку они тут же и ограбили: сняли с неё парадные туфли, которыми она думала судей поразить, кофточку, перетолкнули конвою, те остановились, сходили водки купили, сюда передали, блатные ещё и выпили за счёт девочки.

Когда приехали в Таганскую тюрьму, девушка надрывалась и жаловалась. Офицер выслушал, зевнул и сказал:

— Государство не может предоставлять вам каждому отдельный транспорт. У нас таких возможностей нет.

Да, воронки — это «узкое место» Архипелага. Если в вагон-заках нет возможности отделить политических от уголовных, то в воронках нет возможности отделить мужчин от женщин. Как же уркам между двумя тюрьмами не пожить «полной жизнью»?

Ну, а если б не урки — то спасибо воронкам за эти короткие встречи с женщинами! Где же в тюремной жизни их увидеть, услышать и прикоснуться к ним, как не здесь?

Как-то раз, в 1950, везли нас из Бутырок на вокзал очень просторно — человек четырнадцать в воронке со скамьями. Все сели, и вдруг последнюю втолкнули к нам женщину, одну. Она села у самой задней дверцы, сперва боязливо — с четырнадцатью мужчинами в тёмном ящике, ведь тут защиты никакой. Но с нескольких слов стало ясно, что все здесь свои, Пятьдесят Восьмая.

Она назвалась: Репина, жена полковника, села вслед за ним. И вдруг молчаливый военный, такой молодой, худенький, что быть бы ему лейтенантом, спросил: «Скажите, а вы не сидели с Антониной Ивановой?» — «Как? А вы — ей муж? Олег?» — «Да.» — «Подполковник Иванов? . . Из Академии Фрунзе?» — «Да!»

Что это было за «да»! — оно выходило из перехваченного горла, и страха *узнать* в нём было больше, чем радости. Он пересел к ней рядом. Через две маленьких решётки в двух задних дверях проходили расплывчатые сумеречные пятна летнего дня и на ходу воронка пробегали, пробегали по лицу женщины и подполковника. «Я сидела с ней под следствием четыре месяца в одной камере.» — «Где она сейчас?»—«Всё это время она жила только вами! Все её страхи были не за себя, а за вас. Сперва — чтоб вас не арестовали. Потом — чтоб осудили вас помягче.» — «Но что с ней сейчас?» — «Она винила себя в вашем аресте. Ей так было тяжело!»—«Где она сейчас?!»—«Только не пугайтесь.— Репина уже положила руки ему на грудь, как родному.— Она этого напряжения не выдержала. Её взяли от нас. У неё немножко . . . смешалось . . . Вы понимаете. . . ?»

И крохотная эта бурька, охваченная стальными листами, проезжает так мирно в шестирядном движении машин, останавливаясь перед светофорами, показывая повороты.

С этим Олегом Ивановым я только-только что познакомился в Бутырках, и вот как. Согнали нас в вокзальный бокс и приносили из камеры хранения вещи. Подозвали к двери разом его и меня. За раскрытою дверью в коридоре надзирательница в сером халате, разворашивая содержимое его чемодана, вытряхнула оттуда на пол золотой погон подполковника, уцелевший невесть как один, и сама не заметила его, наступила ногой на его большие звёзды.

Она попирала его ботинком, как для кинокадра.

Я показал ему: «Обратите внимание, товарищ подполковник!»

Иванов потемнел. У него ведь ещё было понятие — беспорочная служба.

И вот теперь — о жене.

Это всё ему надо было вместить в какой-нибудь один час.

Глава 2

ПОРТЫ АРХИПЕЛАГА

Разверните на большом столе просторную карту нашей Родины. Поставьте жирные чёрные точки на всех областных городах, на всех железнодорожных узлах, во всех перевальных пунктах, где кончаются рельсы и начинается река, или поворачивает река и начинается пешая тропа. Что это? вся карта усижена заразными мухами? Вот это и получилась у вас величественная карта портов Архипелага.

Это, правда, не те феерические порты, куда увлекал нас Александр Грин, где пьют ром в тавернах и ухаживают за красотками. И ещё не будет здесь — тёплого голубого моря (воды для купанья здесь — литр на человека, а чтоб удобней мыться — четыре литра на четверых в один таз, и сразу мойтесь!). Но всей прочей портовой романтики — грязи, насекомых, ругани, баламутья, многоязычья и драк — тут с лихвой.

Редкий зэк не побывал на трёх — пяти пересылках, многие припомнят с десяток их, а *сыны* ГУЛАГа начтут без труда и полусотню. Только перепутываются они в памяти всем своим схожим: неграмотным конвоем; непутёвым выкликанием по делам; долгим ожиданием на припёке или под осеннею морозгою; ещё дольшим *шмоном* с раздеванием; нечистоплотной стрижкой; холодными скользкими банями; зловонными уборными; затхлыми коридорами; всегда тесными, душными, почти всегда тёмными и сырыми камерами; теплотой человеческого мяса с двух сторон от тебя на полу или на нарах; коньками изголовий, сбитыми из досок; сырым, почти жидким хлебом; баландой, сваренной как бы из силоса.

А у кого память чёткая и отливает воспоминания одно от другого особо, — тому теперь и по стране ездить не надо, вся география хорошо у него уложилась по пересылкам. Новосибирск? Знаю, был. Крепкие такие бараки, рубленные из толстых брёвен. Иркутск? Это где окна несколько раз кирпичами закладывали, видать, какие при царе были, и каждую кладку отдельно, и какие продушины остались. Вологда? Да, старинное здание с башнями. Уборные одна над другой, а деревянные перекрытия гнилые, и сверху так и течёт на нижних. Усмань? А как же. Вшивая вонючая тюряга, постройка старинная со сводами. И ведь так её набивают, что когда на этап начнут выводить — не поверишь, где они тут все помещались, хвост на полгорода.

Такого знатока вы не обидьте, не скажите ему, что знаете, мол, город без пересыльной тюрьмы. Он вам точно докажет, что городов таких нет, и будет прав. Сальск? Так там в КПЗ пересыльных держат, вместе со следственными. И в каждом райцентре — так, чем же не пересылка? В Соль-Илецке? Есть пересылка! В Рыбинске? А тюрьма № 2, бывший монастырь? Ох, покойная, дворы

мощёные пустые, старые плиты во мху, в бане бадейки деревянные чистенькие. В Чите? Тюрьма № 1. В Наушках? Там не тюрьма, но лагерь пересыльный, всё равно. В Торжке? А на горе, в монастыре тоже.

Да пойми ты, милый человек, не может быть города без пересылки! Ведь суды же работают везде! А в лагерь как их везти — по воздуху?

Конечно, пересылка пересылке не чета. Но какая лучше, какая хуже — доспориться невозможно. Соберутся три-четыре зэка, и каждый хвалит обязательно «свою».

— Да хоть Ивановская не уж такая знатная пересылка, а расспроси, кто там сидел зимой с 37-го на 38-й. Тюрьму не топили — и не только не мёрзли, но на верхних нарах лежали раздетые. Выдавливали все стёкла в окнах, чтоб не задохнуться. В 21-й камере вместо положенных двадцати человек сидело *триста двадцать три!* Под нарами стояла вода, и настелены были доски по воде, на этих досках и лежали. А из выбитых окон туда-то как раз морозом и тянуло. Вообще там, под нарами, была полярная ночь: ещё ж света никакого, всякий свет загородили кто на нарах лежал и кто между нар стоял. По проходу к параше пройти было нельзя, лазали по краям нар. Питание не людям давали, а на десятку. Если кто из десятки умрёт — его сунут под нары и держат там, аж пока смердит. И на него получают норму. И это бы всё ещё терпеть можно, но вертухов как скипидаром подмазали — и из камеры в камеру так и гоняли, так и гоняли. Только умостишься —«Падъём! Переходи в другую камеру!» И опять место хватай. А почему там вышла такая перегрузка — три месяца в баню не водили, развели вшей, от вшей — язвы на ногах и тиф. А из-за тифа наложили карантин, и этапов четыре месяца не отправляли.

— Так это, ребята, не в Ивановской дело, а дело в годý. В 37—38-м, конечно, не то что зэки, но — камни пересыльные стонали. Иркутская тоже — никакая не особенная пересылка, а в 38-м врачи не осмеливались и в камеру заглянуть, только по коридору идут, а вертухай кричит в дверь: «Которы *без сознания — выходи!*»

— В 37-м, ребята, всё это тянулось через Сибирь на Колыму и упиралось в Охотское море да во Владивосток. На Колыму пароходы справлялись только тридцать тысяч в месяц отвозить — а из Москвы гнали и гнали, не считаясь. Ну, собралось сто тысяч, понял?

— А кто считал?

— Кому надо, те считали.

— Если владивостокская Транзитка, то в феврале 37-го там было не больше сорока тысяч.

— Да по несколько месяцев там вязли. Клопы по нарам шли — как саранча! Воды — полкружки в день: нету её, возить некому! Целая зона была корейцев — все от дизентерии вымерли, все! Из нашей зоны каждое утро по сто человек выносили. Строили морг — так запрягались зэки в телеги и так камень везли. Сегодня

ты везёшь, завтра тебя туда же. А осенью навалился сыпнячок тоже. Это и у нас так: мёртвых не отдаём, пока не завоняет — пайку на него получаем. Лекарств — никаких. На зону лезем — дай лекарства! — а с вышек пальба. Потом собрали тифозных в отдельный барак. Не всех туда носить успевали, но и оттуда мало кто выходил. Нары там — двухэтажные, так со вторых нар он же в температуре не может на оправку слезть — на-а нижних льёт! Тысячи полторы там лежало. А санитарами — блатари, у мёртвых зубы золотые рвали. Да они и у живых не стеснялись...

— Да что всё ваш тридцать седьмой да тридцать седьмой? А сорок девятого в бухте Ванино, в 5-й зоне,— не хотели? Тридцать пять тысяч! И — несколько месяцев! — опять же на Колыму не справлялись. Да каждой ночью из барака в барак, из зоны в зону зачем-то перегоняли. Как у фашистов: свистки! крики! —«выходи *без последнего!*» И всё бегом! Только бегом! За хлебом сотню гонят — бегом! за баландой — бегом! Посуды не было никакой! Баланду во что хочешь бери — в полу, в ладони! Воду цистернами привозили, а разливать не во что, так струёй поливают, кто рот подставит — твоя. Стали драться у цистерны — с вышки огонь! Ну, точно, как у фашистов. Приехал генерал-майор Деревянко, начальник УСВИТЛа,* вышел к нему перед толпой военный лётчик, разорвал на себе гимнастёрку: «У меня семь боевых орденов! Кто дал право стрелять по зоне?» Деревянко говорит: «Стреляли и *будем стрелять*, пока вы себя вести не научитесь.»**

— Нет, ребята, это всё — не пересылки. Пересылка — Кировская! Возьмём не такой особенный год, возьмём 47-й,— а на Кировской впихивали людей в камеру два вертуха сапогами, и только так могли дверь закрыть. На трёхэтажных нарах в сентябре (а Вятка — не на Чёрном море) все сидели голые от жары — потому *сидели*, что лежать места не было: один ряд сидел в головах, один в ногах. И в проходе на полу — в два ряда сидели, а между ними стояли, потом менялись. Котомки держали в руках или на коленях, положить некуда. Только блатные на своих *законных* местах, вторые нары у окна, лежали привольно. Клопов было столько, что кусали днём, пикировали прямо с потолка. И вот так по неделе терпишь и по месяцу.

Хочется и мне вмешаться, рассказать о Красной Пресне в августе 45-го, в лето Победы, да стесняюсь: у нас всё же на ночь ноги как-то вытягивали, и клопы были умеренные, а всю ночь при ярких лампах нас, от жары голых и потных, мухи кусали — да ведь это не в счёт, и хвастаться стыдно. Обливались мы пóтом от каждого движения, после еды просто лило. В камере, немного

* УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных (то есть колымских) ИсправТрудЛагерей.

** Эй, «Трибунал Военных Преступлений» Бертрана Рассела! Что же вы, что ж вы матерьяльчик не берёте?! Аль вам не подходит?

больше средней жилой комнаты, помещалось сто человек, сжаты были, ступить на пол ногой тоже нельзя. А два маленьких окошка были загорожены намордниками из железных листов, это на южную сторону, они не только не давали движения воздуха, но от солнца накалялись и в камеру пышели жаром.

Эту пересылку со славным революционным именем знают москвичи мало, экскурсий туда нет, да какие экскурсии, когда она работает. А близко бы посмотреть, никуда не ездить! — от Новохорошевского шоссе по окружной железке рукой подать.

Как пересылки все бестолковые, так и разговор о пересылках бестолковый, так и эта глава, наверно, получится: не знаешь, за что скорей хвататься, о какой рассказывать, о чём наперёд. И чем больше сбивается людей на пересылке, тем ещё бестолковее. Невыносимо человеку, невыгодно и ГУЛАГу,— а вот оседают люди по месяцам. И становится пересылка чистой фабрикой: хлебные пайки несут навалом в строительных носилках, в каких кирпичи носят. И баланду пару́ющую несут в шестиведерных деревянных бочках, прохватив проушины ломом.

Напряжённей и откровенней многих была Котласская пересылка. Напряжённее потому, что она открывала пути на весь европейский русский Северо-Восток, откровеннее потому, что это было уже глубоко в Архипелаге, и не перед кем хорониться. Это просто был участок земли, разделённый заборами на клетки, и клетки все заперты. Хотя здесь уже густо селили мужиков, когда ссылали их в 1930 (надо думать, что крыши над ними не бывало, только теперь некому рассказать), однако и в 1938 далеко не все помещались в хлипких одноэтажных бараках из горбылька, крытых . . . брезентом. Под осенним мокрым снегом и в заморозки люди жили здесь просто против неба на земле. Правда, им не давали коченеть неподвижно, их всё время считали, бодрили проверками (бывало там 20 тысяч человек единовременно) или внезапными ночными обысками.— Позже в этих клетках разбивали палатки, в иных возводили срубы — высотой в два этажа, но чтоб разумно удешевить строительство — междуэтажного перекрытия не клали, а сразу громоздили шестиэтажные нары с вертикальными стремянками по бортам, которыми доходяги и должны были карабкаться, как матросы (устройство, более приличествующее кораблю, чем порту).— В зиму 1944-45 года, когда все были под крышей, помещалось только семь с половиной тысяч, из них умирало в день — пятьдесят человек, и носилки, носящие в морг, не отдыхали никогда. (Возразят, что это сносно вполне, смертность меньше процента в день, и при таком обороте человек может протянуть до пяти месяцев. Да, но ведь и главная-то косиловка — лагерная работа, тоже ведь ещё не начиналась. Эта убыль в две трети процента в день составляет чистую *усушку*, и не на всяком складе овощей её допустят).

Чем глубже туда, в Архипелаг, тем разительнее сменяются бетонные порты на свайные пристани.

Карабас, лагерную пересылку под Карагандою, имя которой стало нарицательным, за несколько лет прошло полмиллиона

человек (Юрий Карбе был там в 1942 году зарегистрирован уже в 433-й тысяче). Пересылка состояла из глинобитных низких бараков с земляным полом. Каждодневное развлечение было в том, что всех выгоняли с вещами наружу, и художники белили пол и даже рисовали на нём коврики, а вечером зэки ложились и боками своими стирали и побелку и коврики.

Карабас изо всех пересылок достойнее других был стать музеем, ио, увы, уже ие существует: иа его месте — завод железобетониых изделий.

Княж-Погостский пересыльный пункт (63° северной широты) составился из шалашей, утверждённых на болоте! Каркас из жердей охватывался рваной брезентовой палаткой, не доходящей до земли. Внутри шалаша были двойные нары из жердей же (худо очищенных от сучьев), в проходе — жердевой настил. Через настил днём хлюпала жидкая грязь, ночью она замерзала. В разных местах зоны переходы тоже шли по хлипким качким жёрдочкам, и люди, неуклюжие от слабости, там и сям сваливались в воду и мокредь. В 38-м году в Княж-Погосте кормили всегда одним и тем же: затирухой из крупяной сечки и рыбных костей. Это было удобно, потому что мисок, кружек и ложек не было у пересыльного пункта, а у самих арестантов тем более. Их подгоняли десятками к котлу и клали затируху черпаками в фуражки, в шапки, в полу одежды.

А в пересыльном пункте Вогво́здино (в нескольких километрах от Усть-Выми), где сидело одновременно 5 тысяч человек (кто знал Вогвоздино до этой строчки? сколько таких безызвестных пересылок? умножьте-ка их на пять тысяч!) — в Вогвоздине варили жидко, но мисок тоже не было, однако извернулись (чего не осилит наша смекалка!) — баланду выдавали в *банных тазах* на десять человек сразу, предоставляя им хлебать вперегонки. (Впрочем, и в Котласе так бывало.)

Правда, в Вогвоздине дольше года никто не сидел. (По году — бывало, если доходяга и все лагеря от него отказываются.)

Фантазия литераторов убога перед туземной бытностью Архипелага. Когда желают написать о тюрьме самое укоризненное, самое очернительское — то упрекают всегда *парашей*. Параша! — это стало в литературе символом тюрьмы, символом унижения, зловония. О, легкомыслы! Да разве параша — зло для арестанта? Это милосерднейшая затея тюремщиков. Весь-то ужас начинается с того мига, когда параши в камере н е т.

В 37-м году в некоторых сибирских тюрьмах не было параш, их не хватало! Их не было подготовлено заранее столько, сибирская промышленность не поспела за широтой тюремного захвата. Для новосозданных камер не оказалось парашных бачков на складах. В камерах же старых параши были, но — древние, маленькие, и теперь пришлось их благоразумно вынести, потому что для нового пополнения они стали ничто. Так, если Минусинская тюрьма была издавна выстроена на 500 человек (Владимир Ильич не побывал в ней, он ехал вольно), а теперь в неё поместили

10 тысяч,— то значит, и каждая параша должна была увеличиться в 20 раз! Но она не увеличилась...

Наши русские перья пишут вкрупне, у нас пережито уймища, а не описано и не названо почти ничего, но для западных авторов с их рассматриванием в лупу клеточки бытия, со взбалтыванием аптечного пузырька в снопе проектора — ведь это эпопея, это ещё десять томов «Поисков утраченного времени»: рассказать о смятении человеческого духа, когда в камере двадцатикратное переполнение, а параши нет, а на оправку водят в сутки раз! Конечно, тут много фактуры, им неизвестной: они не найдут выхода мочиться в брезентовый капюшон и совсем уж не поймут совета соседа мочиться в сапог! — а между тем это совет многоопытной мудрости, и никак не означает порчи сапога, и не низводит сапог до ведра. Это значит: сапог надо снять, опрокинуть, теперь завернуть голенище наружу — и вот образуется кругожелобчатая, такая желанная ёмкость! Но зато сколькими психологическими извивами западные авторы обогатили бы свою литературу (без всякого риска банально повторить прославленных мастеров), если бы только знали распорядок той же Минусинской тюрьмы: для получения пищи выдана одна миска на четверых, а питьевой воды наливают кружку на человека в день (кружки есть). И вот один из четверых управился использовать общую миску для облегчения внутреннего давления, но перед обедом отказывается отдать свой запас воды на мытьё этой миски. Что за конфликт! Какое столкновение четырёх характеров! Какие нюансы! (И я не шучу. Вот так-то и обнажается дно человека. Только русскому перу недосуг это описывать, и русскому глазу читать это некогда. Я не шучу, потому что только врачи скажут, как месяцы в такой камере на всю жизнь губят здоровье человека, хотя б его даже не расстреляли при Ежове и реабилитировали при Хрущёве.)

Ну вот, а мы-то мечтали отдохнуть и размяться в порту! Несколько суток зажатые и скрюченные в купе вагон-зака — как мы мечтали о пересылке! Что здесь мы потянемся, распрямимся. Что здесь мы неторопливо будем ходить на оправку. Что здесь мы вволю попьём и водицы и кипяточку. Что здесь не заставят нас выкупать у конвоя свою же пайку своими вещами. Что здесь нас накормят горячим приварком. И, наконец, что в баньку сведут, мы окатимся горяченьким, перестанем чесаться. И в воронке нам бока околачивало, швыряло от борта к борту, и кричали на нас: «Взяц-ца под руки!», «Взяц-ца за пятки!», а мы подбодрялись: ничего-ничего, скоро на пересылку! вот уж там-то...

А здесь если что по нашим грёзам и сбудется, так всё равно чем-нибудь обгажено.

Что ждёт нас в бане? Это никогда не узнаешь. Вдруг начинают стричь наголо женщин (Красная Пресня, 1950, ноябрь). Или нас, череду голых мужчин, пускают под стрижку одним парикмахершам. В вологодской парнóй дородная тётя Мотя кричит: «Становись,

мужики!» — и всю шеренгу обдаёт из трубы паром. А иркутская пересылка спорит: природе больше соответствует, чтобы вся обслуга в бане была мужская, и женщинам между ногами промазывал бы санитарным квачом — мужик. Или на Новосибирской пересылке зимой в холодной мыльной из кранов идёт одна холодная вода; арестанты решаются требовать начальство; приходит капитан, подставляет, не брезгуя, руку под кран: «А я говорю, что вода — горячая, понятно?» Уже надоело рассказывать, что бывают бани и вовсе без воды; что в прожарке сгорают вещи; что после бани заставляют бежать босиком и голому по снегу за вещами (контрразведка 2-го Белорусского фронта в Бродницах, 1945, сам бегал).

С первых же шагов по пересылке ты замечаешь, что тут тобой будут владеть не надзиратели, не погоны и мундиры, которые всё-таки нет-нет, да держатся же какого-то писаного закона. Тут владеют вами — *придурки* пересылки. Тот хмурый банщик, который придёт за вашим этапом: «Ну, пошли мыться, господа фашисты!»; и тот нарядчик с фанерной дощечкой, который глазами по нашему строю рыщет и подгоняет; и тот выбритый, но с чубиком *воспитатель*, который газеткой скрученной себя по ноге постукивает, а сам косится на ваши мешки; и ещё другие неизвестные вам пересыльные придурки, которые рентгеновскими глазищами так и простигают ваши чемоданы,— до чего ж они друг на друга похожи! и где вы уже всех их видели на вашем коротком этапном пути? — не таких чистеньких, не таких приумытых, но таких же скотин мордатых с безжалостным оскалом?

Ба-а-а! Да это же опять блатные! Это же опять воспетые утёсовские у́рки! Это же опять Женька-Жоголь, Серёга-Зверь и Димка-Кишкеня́, только они уже не за решёткой, умылись, оделись в доверенных лиц государства и с *понтом** наблюдают за дисциплиной — уже нашей. Если с воображением всматриваться в эти морды, то можно даже представить, что они — русского нашего корня, когда-то были деревенские ребята, и отцы их звались Климы, Прохоры, Гурии, и у них даже устройство на нас похожее: две ноздри, два радужных ободочка в глазах, розовый язык, чтобы заглатывать пищу и выговаривать некоторые русские звуки, только складываемые в совсем новые слова.

Всякий начальник пересылки догадывается до этого: за все штатные работы зарплату можно платить родственникам, сидящим дома, или делить между тюремным начальством. А из *социально-близких* — только свистни, сколько угодно охотников исполнять эту работу за то одно, что они на пересылке *зачалятся*, не поедут в шахты, в рудники, в тайгу. Все эти нарядчики, писари, бухгалтеры, воспитатели, банщики, парикмахеры, кладовщики, повара, посудомои, прачки, портные по починке белья — это вечно-пересыльные, они получают тюремный паёк и числятся в камерах, остальной

* «С понтом» — с очень важным (но ложным) видом.

приварок и прижарок они и без начальства выловят из общего котла или из *сидоров* пересылаемых зэков. Все эти пересылочные придурки основательно считают, что ни в каком лагере им не будет лучше. Мы приходим к ним ещё не дощупанными, и они дурят нас всласть. Они нас здесь и обыскивают вместо надзирателей, а перед обыском предлагают сдавать деньги на хранение, и серьёзно пишут какой-то список — и только мы и видели этот список вместе с денежками! — «Мы деньги сдавали!» — «Кому?» — удивляется пришедший офицер.—«Да вот тут был какой-то!»—«Кто ж именно?» Придурки не видели . . .—«Зачем же вы ему сдавали?»—«Мы думали . . .»—«Индюк думал! Меньше думать надо!» Всё. — Они предлагают нам оставить вещи в предбаннике: «Да никто у вас не возьмёт! кому они нужны!» Мы оставляем, да ведь в баню же и не пронесёшь. Вернулись: джемперов нет, рукавиц меховых нет. «А какой джемпер был?»—«Серенький . . .»—«Ну, значит мыться пошёл!» — Они и *честно* берут у нас вещи: за то, чтоб чемодан взять в каптёрку на хранение; за то, чтобы нас тиснуть в камеру без блатных; за то, чтоб скорей отправить на этап; за то, чтоб дольше не отправлять. Они только не грабят нас прямо.

«Так это же не блатные! — разъясняют нам знатоки среди нас. — Это — *суки*, которые служить пошли. Это — враги *честных воров*. А честные воры — те в камерах сидят.» Но до нашего кроличьего понимания это как-то туго доходит. Ухватки те же, татуировка та же. Может они и враги тех, да ведь и нам не друзья, вот что . . .

А тем временем посадили нас во дворе под самые окна камер. На окнах намордники, не заглянешь, но оттуда хрипло-доброжелательно нам советуют: «Мужички! Тут порядок такой: отбирают на шмоне всё сыпучее — чай, табак. У кого есть — пуляйте сюда, нам в окно, мы потом отдадим.» Что мы знаем? Мы же фраера и кролики. Может, и правда, отбирают чай и табак. Мы же читали в великой литературе о всеобщей арестантской солидарности, узник не может обманывать узника! Обращаются симпатично — «мужички!». И мы *пуляем* им кисеты с табаком. Чистопородные воры ловят — и хохочут над нами: «Эх, фашисты-дурачки!»

Вот какими лозунгами, хотя и не висящими на стенах, встречает нас пересылка: «Правды здесь не ищи!» «Всё, что имеешь — придётся отдать!» Всё придётся отдать! — это повторяют тебе и надзиратели, и конвоиры, и блатари. Ты придавлен своим неподымаемым сроком, ты думаешь, как тебе отдышаться, а все вокруг думают, как тебя ограбить. Всё складывается так, чтоб угнести политического, и без того подавленного и покинутого. «Всё придётся отдать . . .» — безнадёжно качает головой надзиратель на Горьковской пересылке, и Анс Бернштейн с облегчением отдаёт ему комсоставскую шинель — не просто так, а за две луковицы. Что же жаловаться на блатных, если всех надзирателей на Красной Пресне ты видишь в хромовых сапогах, которых им никто не выдавал? Это всё *курочили* в камерах блатные, а потом *толкали* надзирателям. Что же жаловаться на блатных, если «воспитатель»

КВЧ* — блатной и пишет характеристики на политических (КемПерПункт)? В Ростовской ли пересылке искать управу на блатных, если это их извечный родной курень?

Говорят, в 1942 на Горьковской пересылке арестанты-офицеры (Гаврилов, воентехник Щебетин и др.) всё-таки поднялись, били воров и заставили их присмиреть. Но это всегда воспринимается как легенда: в одной ли камере присмиреть? надолго ли присмиреть? а куда ж смотрели голубые фуражки, что чуждые бьют близких? Когда же рассказывают, что на Котласской пересылке в 40-м году уголовники в очереди у ларька вырывали деньги из рук политических, и те стали бить их так, что остановить не удавалось, и тогда на защиту блатных вошла в зону охрана с пулемётами — в этом уже не усомнишься, это — как отлитое!

Неразумные родные! — они мечутся там на воле, деньги занимают (потому что таких денег дома нет), и шлют тебе какие-то вещи, шлют продукты — последняя лепта вдовы, но — дар отравленный, потому что из голодного, зато свободного, он делает тебя беспокойным и трусливым, он лишает тебя того начинающегося просветления, той застывающей твёрдости, которые одни только и нужны перед спуском в пропасть. О, мудрая притча о верблюде и игольном ушке! В небесное царство освобождённого духа не дают тебе пройти эти вещи. И у других, с кем привёз тебя воронок, ты видишь те же мешки. «Куток сволочей» — уже в воронке ворчали на нас блатные, но их было двое, а нас полсотни, и они пока не трогали. А теперь нас вторые сутки держат на пресненском *вокзале*, на грязном полу, с поджатыми от тесноты ногами, однако никто из нас не наблюдает жизни, а все пекутся, как чемоданы сдать на хранение. Хотя сдать на хранение считается нашим правом, но уступают нарядчики только потому, что тюрьма — московская, и мы ещё не все потеряли московский вид.

Какое облегчение! — вещи сданы (значит, мы *отдадим* их не на этой пересылке, дальше). Только узелки со злосчастными продуктами ещё болтаются в наших руках. Нас, *бобров*, собралось слишком много вместе. Нас начинают растасовывать по камерам. С тем самым Валентином, с которым мы в один день расписались по ОСО и который с умилением предлагал начать в лагере новую жизнь, — нас вталкивают в какую-то камеру. Она ещё не набита: свободен проход и под нарами просторно. По классическому положению вторые нары занимают блатные: старшие — у самых окон, младшие — подальше. На нижних — нейтральная серая масса. На нас никто не нападает. Не оглядясь, не рассчитав, неопытные, мы лезем по асфальтовому полу под нары — нам будет там даже уютно. Нары низкие, и крупным мужчинам лезть надо по-пластунски, припадая к полу. Подлезли. Вот тут и будем тихо лежать и тихо беседовать. Но нет! В низкой полутьме, с молчным шорохом, на четвереньках, как крупные крысы, на нас со всех сторон крадутся *малолетки* — это совсем ещё мальчишки, даже

* КВЧ — Культурно-Воспитательная Часть, отдел лагерной администрации.

есть по двенадцати годков, но кодекс принимает и таких, они уже прошли по воровскому процессу и здесь теперь продолжают учёбу у воров. Их напустили на нас! Они молча лезут на нас со всех сторон и в дюжину рук тянут и рвут у нас и из-под нас всё наше добро. И всё это совершенно молча, только зло сопя! Мы — в западне: нам не подняться, не пошевельнуться. Не прошло минуты, как они вырвали мешочек с салом, сахаром и хлебом — и уже их нет, а мы нелепо лежим. Мы без боя отдали пропитание и теперь можем хоть и остаться лежать, но это уже совсем невозможно. Смешно елозя ногами, мы поднимаемся задами из-под нар.

Трус ли я? Мне казалось, что нет. Я совался в прямую бомбёжку в открытой степи. Решался ехать по просёлку, заведомо заминированному противотанковыми минами. Я оставался вполне хладнокровен, выводя батарею из окружения и ещё раз туда возвращаясь за подкалеченным «газиком». Почему же сейчас я не схвачу одну из этих человеко-крыс и не терзану её розовой мордой о чёрный асфальт? Он мал? — ну, лезь на старших. Нет... На фронте укрепляет нас какое-то дополнительное сознание (может быть совсем и ложное): нашего армейского единства? моей уместности? долга? А здесь ничего не задано, устава нет, и всё открывать наощупь.

Встав на ноги, я оборачиваюсь к их старшему, к *пахану*. На вторых нарах у самого окна все отнятые продукты лежат перед ним: крысы-малолетки ни крохи не положили себе в рот, у них дисциплина. Та передняя сторона головы, которая у двуногих обычно называется лицом, у этого пахана вылеплена природой с отвращением и нелюбовью, а может быть от хищной жизни стала такая — с кривой отвислостью, низким лбом, первобытным шрамом и современными стальными коронками на передних зубах. Глазками ровно того размера, чтобы видеть всегда знакомые предметы и не удивляться красотам мира, он смотрит на меня как кабан на оленя, зная, что с ног сшибить может меня всегда.

Он ждёт. И что же я? Прыгаю наверх, чтобы достать эту харю хоть раз кулаком и шлёпнуться вниз в проход? Увы, нет.

Подлец ли я? Мне до сих пор казалось, что нет. Но вот мне обидно ограбленному, униженному, опять брюхом ползти под нары. И я возмущённо говорю пахану, что, отняв продукты, он мог бы нам хоть дать место на нарах. (Ну, для горожанина, для офицера — разве не естественная жалоба?)

И что ж? Пахан согласен. Ведь я этим и отдаю сало; и признаю его высшую власть; и обнаруживаю сходство воззрений с ним — он бы тоже согнал слабейших. Он велит двум серым нейтралам уйти с нижних нар у окна, дать место нам. Они покорно уходят. Мы ложимся на лучшие места. Мы ещё некоторое время переживаем свои потери (на моё галифе блатные не зарятся, это не их форма, но один из воров уже щупает шерстяные брюки на Валентине, ему нравятся). И лишь к вечеру доходит до нас укоряющий шёпот соседей: как могли мы просить защиты у блатарей, а двух *своих* загнать вместо себя под нары? И только тут прокалывает меня

сознание моей подлости, и заливает краска (и ещё много лет буду краснеть, вспоминая). Серые арестанты на нижних нарах — это же братья мои, 58-1-б, это пленники. Давно ли я клялся, что на себя принимаю их судьбу? И вот уже сталкиваю под нары? Правда, и они не заступились за нас против блатарей — но почему им надо биться за наше сало, если мы сами не бьёмся? Достаточно жестоких боёв ещё в плену разуверили их в благородстве. Всё же они мне зла не сделали, а я им сделал.

Вот так ударяемся, ударяемся боками и хрюкалками, чтобы хоть с годами стать людьми... Чтобы стать людьми...

* * *

Но даже новичку, которого пересылка лущит и облупливает, — она нужна, нужна! Она даёт ему постепенность перехода к лагерю. В один шаг такого перехода не могло бы выдержать сердце человека. В этом мороке не могло бы так сразу разобраться его сознание. Надо постепенно.

Потом пересылка даёт ему видимость связи с домом. Отсюда он пишет первое законное своё письмо: иногда — что он не расстрелян, иногда — о направлении этапа, всегда это первые необычные слова домой от человека, перепаханного следствием. Там, дома, его ещё помнят прежним, но он никогда уже не станет им — и вдруг это молнией прорвётся в какой-то корявой строке. Корявой, потому что, хоть письма с пересылок и разрешены и висит во дворе почтовый ящик, но ни бумаги, ни карандашей достать нельзя, тем более нечем их чинить. Впрочем находится разглаженная махорочная обёртка, или обёртка от сахарной пачки, и у кого-то в камере всё же есть карандаш — и вот такими неразборными каракулями пишутся строки, от которых потом пролягут лад или разлад семей.

Безумные женщины иногда по такому письму опрометчиво едут ещё застигнуть мужа на пересылке — хотя свиданья им никогда не дадут, и только можно успеть обременить его вещами. Одна такая женщина дала, по-моему, сюжет для памятника всем жёнам — и указала даже место.

Это было на Куйбышевской пересылке, в 1950 году. Пересылка располагалась в низине (из которой, однако, видны Жигулёвские ворота Волги), а сразу над ней, обмыкая её с востока, шёл высокий долгий травяной холм. Он был за зоной и выше зоны, а как к нему подходить извне — нам не было видно снизу. На нём редко кто и появлялся, иногда козы паслись, бегали дети. И вот как-то летним и пасмурным днём на круче появилась городская женщина. Приставив руку козырьком и чуть поводя, она стала рассматривать нашу зону сверху. На разных дворах у нас гуляло в это время три многолюдных камеры — и среди этих густых трёх сотен обезличенных муравьёв она хотела в пропасти увидеть своего! Надеялась ли она, что подскажет сердце? Ей, наверно, не дали свидания — и она взобралась на эту кручу. Её со дворов все заметили и все на неё смотрели. У нас, в котловинке, не было ветра, а там наверху был

изрядный. Он откидывал, трепал её длинное платье, жакет и волосы, выявляя всю ту любовь и тревогу, которые были в ней.

Я думаю, что статуя такой женщины, именно там, на холме над пересылкой, и лицом к Жигулёвским воротам, как она и стояла, могла бы хоть немного что-то объяснить нашим внукам.*

Долго её почему-то не прогоняли — наверно, лень было охране подниматься. Потом полез туда солдат, стал кричать, руками махать — и согнал.

Ещё пересылка даёт арестанту — обзор, широту зрения. Как говорится, хоть есть нечего, да жить весело. В здешнем неугомонном движении, в смене десятков и сотен лиц, в откровенности рассказов и разговоров (в лагере так не говорят, там повсюду боятся наступить на щупальце *опера*) — ты просвежаешься, просквожаешься, яснеешь и лучше начинаешь понимать, что происходит с тобой, с народом, даже с миром. Один какой-нибудь чудак в камере такое тебе откроет, чего б никогда не прочёл.

Вдруг запускают в камеру диво какое-то: высокого молодого военного с римским профилем, с неостриженными вьющимися светло-жёлтыми волосами, в английском мундире — как будто прямо с нормандского побережья, офицер армии вторжения. Он так гордо входит, словно ожидает, что все перед ним встанут. А оказывается, он просто не ждал, что сейчас войдёт к друзьям: он сидит уже два года, но ещё не побывал ни в одной камере и сюда-то, до самой пересылки, таинственно везен в отдельном купе — а вот негаданно, оплошно или с умыслом, выпущен в нашу общую конюшню. Он обходит камеру, видит в немецком мундире офицера вермахта, зацепляется с ним по-немецки, и вот уже они яростно спорят, готовые, кажется, применить оружие, если бы было. После войны прошло пять лет, да и твержено нам, что на Западе война велась только для вида, и нам странно смотреть на их взаимную ярость: сколько этот немец средь нас лежал, мы, русаки, с ним не сталкивались.

Никто б и не поверил рассказу Эрика Арвида Андерсена, если б не его пощажённая стрижкой голова — чудо на весь ГУЛАГ; да если б не чуждая эта осанка; да не свободный разговор на английском и немецком. По его словам он был сын шведского даже не миллионера, а миллиардера (ну, допустим, добавлял), по матери

---

* Ведь когда-нибудь же и в памятниках отобразится такая потайная, такая почти уже затерянная история нашего Архипелага! Мне, например, всегда рисуется ещё один: где-то на Колыме, на высоте — огромнейший Сталин, такого размера, каким он сам бы мечтал себя видеть,— с многометровыми усами, с оскалом лагерного коменданта, одной рукой натягивает вожжи, другою размахнулся кнутом стегать по упряжке — упряжке из сотен людей, запряжённых по пятеро и тянущих лямки. На краю Чукотки около Берингова пролива это тоже бы очень выглядело. (Уже это было написано, когда я прочёл «Барельеф на скале» Алдан-Семёнова, даже в подцензурной лагерной повести там сходное есть. Рассказывают, что на жигулёвской горе Могутова, над Волгой, в километре от лагеря, тоже был масляными красками на скале нарисован для пароходов огромный Сталин.)

же — племянник английского генерала Робертсона, командующего английской оккупационной зоной Германии. Шведский подданный, он в войну служил добровольцем в английской армии, и высаживался, верно, в Нормандии, после войны стал кадровым шведским военным. Однако, социальные запросы тоже не покидали его, жажда социализма была в нём сильнее привязанности к капиталам отца. С глубоким сочувствием следил он за советским социализмом и даже наглядно убедился в его процветании, когда приезжал в Москву в составе шведской военной делегации, и здесь им устраивали банкеты, и возили на дачи, и там совсем не был им затруднён контакт с простыми советскими гражданами — с хорошенькими артистками, которые ни на какую работу не торопились и охотно проводили с ними время, даже с глазу на глаз. И окончательно убеждённый в торжестве нашего строя, Эрик по возвращении на Запад выступил в печати, защищая и прославляя советский социализм. И вот этим он перебрал и погубил себя. Как раз в те годы, 47-48-й, изо всех щелей натягивали передовых западных молодых людей, готовых публично отречься от Запада (и ещё, казалось, набрать их десятка бы два, и Запад дрогнет и развалится). По газетной статье Эрик был сочтён подходящим в этом ряду. А служа в то время в Западном Берлине, жену же оставив в Швеции, Эрик по простительной мужской слабости посещал холостую немочку в Восточном Берлине. Тут-то ночью его и повязали (да не про то ли и пословица —«пошёл к куме, да засел в тюрьме»? Давно это наверно так, и не он первый). Его привезли в Москву, где Громыко, когда-то обедавший в доме у отца его в Стокгольме и знакомый с сыном, теперь на правах ответного гостеприимства, предложил молодому человеку публично проклясть и весь капитализм и своего отца, и за это было сыну обещано у нас тотчас же — полное капиталистическое обеспечение до конца дней. Но хотя Эрик материально ничего не терял, он к удивлению Громыки возмутился и наговорил оскорбительных слов. Не поверив его твёрдости, его заперли на подмосковной даче, кормили как принца в сказке (иногда «ужасно репрессировали»: переставали принимать заказы на завтрашнее меню и вместо желаемого цыплёнка приносили вдруг антрекот), обставили произведениями Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина и год ждали, что он перекуётся. К удивлению, и этого не произошло. Тогда подсадили к нему бывшего генерал-лейтенанта, уже два года отбывшего в Норильске. Вероятно расчёт был, что генерал-лейтенант преклонит голову Эрика перед лагерными ужасами. Но он выполнил это задание плохо или не хотел выполнять. Месяцев за десять совместной сидки он только научил Эрика ломаному русскому языку и поддержал возникшее в нём отвращение к голубым фуражкам. Летом 1950 вызвали Эрика ещё раз к Вышинскому, он отказался ещё раз (совершенно не по правилам попирая бытие сознанием!). Тогда сам Абакумов прочёл Эрику постановление: 20 лет тюремного заключения (за что?). Они уже сами не рады были, что связались с этим недорослем, но нельзя ж было и отпускать его на

Запад. И вот тут-то повезли его в отдельном купе, тут он слушал через стенку рассказ московской девушки, а утром видел в окно гнилосоломенную рязанскую Русь.

Эти два года очень утвердили его в верности Западу. Он верил в Запад слепо, он не хотел признавать его слабостей, он считал несокрушимыми западные армии, непогрешимыми его политиков. Он не верил нашему рассказу, что за время его заключения Сталин решился на блокаду Берлина и она сошла ему вполне благополучно. Молочная шея Эрика и кремовые щёки рдели от негодования, когда мы высмеивали Черчилля и Рузвельта. Так же был уверен он, что Запад не потерпит его, Эрика, заключения; что вот сейчас по сведениям с Куйбышевской пересылки разведка узнает, что Эрик не утонул в Шпрее, а сидит в Союзе — и его выкупят или выменяют. (Этой верой в особенность *своей* судьбы среди других арестантских судеб он напоминал наших благонамеренных ортодоксов.) Несмотря на жаркие схватки, он звал Панина и меня к себе в Стокгольм при случае («нас каждый знает, — с усталой улыбкой говорил он, — отец мой почти содержит двор шведского короля»). А пока сыну миллиардера нечем было вытираться, и я подарил ему лишнее драненькое полотенце. Скоро взяли его на этап.*

А переброска всё идёт! — вводят, выводят, по одному и пачками, гонят куда-то этапы. С виду такое деловое, такое планоосмысленное движение — даже поверить нельзя, сколько в нём чепухи.

В 1949 году создаются Особые лагеря — и вот чьим-то верховным решением массы женщин гонят из лагерей европейского Севера и Заволжья — через свердловскую пересылку — в Сибирь, в Тайшет, в Озёрлаг. Но уже в 50-м году Кто-то нашёл удобным стягивать женщин не в Озёрлаге, а в Дубровлаге — в Темниках, в Мордовии. И вот эти самые женщины, испытывая все удобства гулаговских путешествий, тянутся через эту же самую свердловскую пересылку — на запад. В 51-м году создаются новые особлаги в Кемеровской области (Камышлаг) — вот где, оказывается, нужен женский труд! И злополучных женщин мордуют теперь в Кемеровские лагеря через ту же заклятую свердловскую пересылку. Приходят времена высвобождения — но не для всех же! И тех

---

* С тех пор спрашивал я случайно-знакомых шведов или едущих в Швецию: как найти такую семью? слышали ли о таком пропавшем человеке? В ответ мне только улыбались: Андерсен в Швеции — всё равно что Иванов в России, а миллиардера такого нет. И только сейчас, через 22 года, перечитывая эту книгу, я вдруг просветился: да ведь настоящие имя-фамилию ему конечно запретили называть! его конечно же предупредил Абакумов, что в этом случае уничтожит его! И пошёл он по пересылкам как шведский Иванов. И только не запрещёнными побочными деталями своей биографии оставлял в памяти случайных встречных след о своей погубленной жизни. Вернее, спасти её он ещё надеялся — по-человечески, как миллионы кроликов этой книги: пока пересидит, а там возмущённый Запад освободит его. Он не понимал крепости Востока. И не понимал, что *такого* свидетеля, проявившего такую твёрдость, не виданную для рыхлого Запада, — не освободят никогда. А ведь жив, может быть, ещё и сегодня. (Примечание 1972 года)

женщин, кто остался тянуть срок среди всеобщего хрущёвского полегчания, — качают опять из Сибири через свердловскую пересылку — в Мордовию: стянуть их вместе будет верней.

Ну да хозяйство у нас внутреннее, островишки все свои, и расстояния для русского человека не такие уж протяжные.

Бывало так и с отдельными зэками, беднягами. Шендрик — весёлый крупный парень с незамысловатым лицом, как говорится, честно трудился в одном из куйбышевских лагерей и не чуял над собой беды. Но она стряслась. Пришло в лагерь срочное распоряжение — и не чьё-нибудь, а самого министра внутренних дел (откуда министр мог узнать о существовании Шендрика?)!— немедленно доставить этого Шендрика в Москву, в тюрьму № 18. Его схватили, потащили на Куйбышевскую пересылку, оттуда, не задерживаясь, — в Москву, да не в какую-то тюрьму № 18, а со всеми вместе на широко известную Красную Пресню. (Сам-то Шендрик ни про какую № 18 и знать не знал, ему ж не объявляли.) Но беда его не дремала: двух суток не прошло — его *дёрнули* опять на этап и теперь повезли на Печору. Всё скудней и угрюмей становилась природа за окном. Парень струсил: он знал, что распоряжение министра, и вот так шибко волокут на север, значит, министр имеет на Шендрика грозные *материалы*. Ко всем изматываниям пути ещё украли у Шендрика в дороге трёхдневную пайку хлеба, и на Печору он приехал пошатываясь. Печора встретила его неприютно: голодного, неустроенного, в мокрый снег погнали на работу. За два дня он ещё и рубахи просушить ни разу не успел, и матраса ещё не набил еловыми ветками, — как велели сдать всё казённое, и опять загребли и повезли ещё дальше — на Воркуту. По всему было видно, что министр решил сгноить Шендрика, ну правда, не его одного, целый этап. На Воркуте не трогали Шендрика целый месяц. Он ходил на общие, от переездов ещё не оправился, но начинал смиряться со своей заполярной судьбой. Как вдруг его вызвали днём из шахты, запыхавшись погнали в лагерь сдавать всё казённое и через час везли на юг. Это уж пахло как бы не личной расправой! Привезли в Москву, в тюрьму № 18. Держали в камере месяц. Потом какой-то подполковник вызвал, спросил: «Да где ж вы пропадаете? Вы правда техник-машиностроитель?» Шендрик признался. И тогда взяли его . . . на Райские острова! (Да, и такие есть в Архипелаге!)

Это мелькание людей, эти судьбы и эти рассказы очень украшают пересылки. И старые лагерники внушают: лежи и не рыпайся! Кормят здесь гарантийкой*, так и горба ж не натрудишь. И когда не тесно, так и поспать вволю. Растянись и лежи от баланды до баланды. Неуедно, да улёжно. Только тот, кто отведал лагерных общих, понимает, что пересылка — это дом отдыха, это счастье на нашем пути. А ещё выгода: когда днём спишь — срок быстрей идёт. Убить бы день, а ночи не увидим.

---

* Пайка, гарантируемая ГУЛАГом при отсутствии работы.

Правда, помня, что человека создал труд и только труд исправляет преступника, а иногда имея подсобные работы, а иногда подряжаясь укрепить финансы со стороны, хозяева пересыльных тюрем гоняют трудиться и эту свою леглую пересыльную рабочую силу.

Всё на той же Котласской пересылке перед войной работа эта была ничуть не легче лагерной. За зимний день шесть-семь ослабевших арестантов, запряжённые лямками в тракторные (!) сани, должны были протянуть их д в е н а д ц а т ь километров по Двине до устья Вычегды. Они погрязали в снегу и падали, и сани застревали. Кажется, нельзя было придумать работу изморчивей! Но это была ещё не работа, а разминка. Там, в устье Вычегды, надо было нагрузить на сани д е с я т ь кубометров дров — и в том же составе, и в той же упряжке (Репина нет, а для новых художников это уже не сюжет, грубое воспроизведение натуры) притащить сани на родную пересылку! Так чтó твой и лагерь! — ещё до лагеря кончишься. (Бригадир этих работ был Колупаев, а лошадками — инженер-электрик Дмитриев, интендантский подполковник Беляев, известный уже нам Василий Власов, да всех теперь не соберёшь.)

Арзамасская пересылка во время войны кормила своих арестантов свекольной ботвой, зато работу ставила на основу постоянную. При ней были швейные мастерские, сапожно-валяльный цех (в горячей воде с кислотами катать шерстяные заготовки).

С Красной Пресни лета 1945 года из душно-застойных камер мы ходили на работу добровольно: за право целый день дышать воздухом; за право беспрепятственно неторопливо посидеть в тихой тесовой уборной (вот ведь какое средство поощрения упускается часто!), нагретой августовским солнцем (это были дни Потсдама и Хиросимы), с мирным жужжанием одинокой пчелы; наконец, за право получить вечером лишних сто граммов хлеба. Водили нас к пристани Москва-реки, где разгружался лес. Мы должны были раскатывать брёвна из одних штабелей, переносить и накатывать в другие. Мы гораздо больше тратили сил, чем получали возмещения. И всё же с удовольствием ходили туда.

Мне часто достаётся краснеть за воспоминания молодых лет (а там и были молодые мои годы). Но что омрачит, то научи́т. Оказалось, что от офицерских погон, всего-то два годика вздрагивавших, колыхавшихся на моих плечах, натряслось золотой ядовитой пыли мне в пустоту между рёбрами. На той речной пристани — тоже лагерьке, тоже зона с вышками обмыкала его, — мы были пришлые, временные работяги, и ни разговору, ни слуху не было, что нас могут в этом лагерьке оставить отбывать срок. Но когда нас там построили первый раз, и нарядчик пошёл вдоль строя выбрать глазами временных бригадиров — моё ничтожное сердце рвалось из-под шерстяной гимнастёрки: меня! меня! меня назначь!

Меня не назначили. Да зачем я этого и хотел? Только бы наделал ещё позорных ошибок.

О, как трудно отставать от власти! .. Это надо понимать.

* * *

Было время, когда Красная Пресня стала едва ли не столицей ГУЛАГа — в том смысле, что куда ни ехать, её нельзя было обминуть, как и Москву. Как в Союзе из Ташкента в Сочи и из Чернигова в Минск всего удобней приходилось через Москву, так и арестантов отовсюду и вовсюду таскали через Пресню. Это-то время я там и застал. Пресня изнемогала от переполнения. Строили дополнительный корпус. Только сквозные телячьи эшелоны осуждённых контрразведками миновали Москву по окружной дороге, как раз рядышком с Пресней, может быть салютуя ей гудками.

Но приезжая пересаживаться в Москву, мы всё-таки имеем билет и чаем рано или поздно ехать своим направлением. На Пресне же в конце войны и после неё не только прибывшие, но и самые высокостоящие, ни даже главы ГУЛАГа не могли предсказать, кто куда теперь поедет. Тюремные порядки тогда ещё не откристаллизовались, как в пятидесятые годы, никаких маршрутов и назначений никому не было вписано, разве только служебные пометки: «строгая охрана!», «использовать только на общих работах!». Пачки тюремных дел, надорванных папок, кое-где перепоясанные разлохмаченным шпагатом или его бумажным эрзацем, вносились конвойными сержантами в деревянное отдельное здание канцелярии тюрьмы и швырялись на стеллажи, на столы, под столы, под стулья и просто в проходе на полу (как их первообразы лежали в камерах), развязывались, рассыпались и перепутывались. Одна, вторая, третья комната загромождались этими перемешанными делами. Секретарши из тюремной канцелярии — раскормленные ленивые вольные женщины в пёстрых платьях, потели от зноя, обмахивались и флиртовали с тюремными и конвойными офицерами. Никто из них не хотел и сил не имел ковыряться в этом хаосе. А эшелоны надо было отправлять! — несколько раз в неделю по красному эшелону. И каждый день сотню людей на автомашинах — в близкие лагеря. *Дело* каждого зэка надо было отправлять с ним вместе. Кто б этой морокой занимался? кто б сортировал дела и подбирал этапы?

Это доверено было нескольким нарядчикам — уж там *сукам* или *полуцветным**, из пересылочных придурков. Они вольно расхаживали по коридорам тюрьмы, шли в здание канцелярии, от них зависело прихватить ли твою папку в плохой этап или долго гнуть спину, искать и сунуть в хороший. (Что есть целые лагеря гиблые — в этом новички не ошибались, но что есть какие-то хорошие — было заблуждение. «Хорошими» могут быть не лагеря, но только иные жребии в этих лагерях, а это устраивается уже на месте.) Что вся будущность арестантов зависела от другого такого же арестанта, с которым может быть надо улучить поговорить

* Полуцветиой — примыкающий к воровскому миру по духу, старающийся переимать, ио ещё ие вошедший в воровской закои.

(хотя бы через банщика), которому надо, может быть, *сунуть лапу* (хотя бы через каптёра),— было хуже, чем если бы судьбы раскручивались слепым кубиком. Эта невидимая упускаемая возможность — за кожаную куртку поехать в Нальчик вместо Норильска, за килограмм сала в Серебряный Бор вместо Тайшета (а может лишиться и кожаной куртки и сала зря) — только язвила и суетила усталые души. Может быть кто-то так и успевал, может быть кто-то так и устраивался — но блаженнее были те, у кого нечего было давать или кто оберёг себя от этого смятения.

Покорность судьбе, полное устранение своей воли от формирования своей жизни, признание того, что нельзя предугадать лучшего и худшего, но легко сделать шаг, за который будешь себя упрекать, — всё это освобождает арестанта от какой-то доли оков, делает спокойней и даже возвышенней.

Так арестанты лежали вповалку в камерах, а судьбы их — невորошимыми грудами в комнатах тюремной канцелярии, нарядчики же брали папки с того угла, где легче было подступиться. И приходилось одним зэкам по два и по три месяца доходить на этой проклятой Пресне, другим же — проскакивать её со скоростью метеоров. От этой скученности, поспешности и беспорядков с делами происходила иногда на Пресне (как и на других пересылках) *смена сроков*. Пятьдесят Восьмой это не грозило, потому что сроки их, выражаясь по Горькому, были Сроки с большой буквы, задуманы были великими, а когда и к концу вроде подходили — так не подходили вовсе. Но крупным ворам, убийцам был смысл смениться с каким-нибудь простачком-бытовичком. И сами они или их подручные подкладывались к такому и с участием расспрашивали, а он, не ведая, что краткосрочник не должен на пересылке ничего о себе открывать, рассказывал простодушно, что зовут его, допустим, Василий Парфёныч Еврашкин, года он с 1913, жил в Семидубьи и родился там. А срок — один год, по 109-й, халатность. Потом этот Еврашкин спал, а может и не спал, но такой в камере стоял гул, а у кормушки отпахнувшейся такая теснота, что нельзя было пробиться к ней и услышать, как за нею в коридоре быстро бормочут список фамилий на этап. Какие-то фамилии перекрикивали потом от дверей в камеру, но Еврашкина не выкрикнули, потому что едва эту фамилию назвали в коридоре, урка угодливо (они умеют, когда надо) сунул туда свою ряшку и быстро тихо ответил: «Василий Парфёныч, 1913 года, село Семидубье, 109-я, один год», — и побежал за вещами. Подлинный Еврашкин зевнул, лёг на нары и терпеливо ждал вызова на завтра, и через неделю, и через месяц, а потом осмелился беспокоить корпусного: почему ж его не берут на этап? (А какого-то Звягу каждый день по всем камерам выкликают.) И когда ещё через месяц или полгода удосужатся всех прочесать перекличкой по делам, то останется одно дело Звяги, рецидивиста, двойное убийство и грабёж магазина, 10 лет, — и один робкий арестантик, который выдаёт себя за Еврашкина, на фотокарточке ничего не

разберёшь, а есть он Звяга и запрятать его надо в штрафной Ивдельлаг — а иначе надо признаваться, что пересылка ошиблась. (А того Еврашкина, которого послали на этап, сейчас и не узнаешь — куда, списков не осталось. Да он с годичным сроком попал на сельхозкомандировку, расконвоирован, имел зачёты три дня за один или сбежал — и уже давно дома, или, верней, сидит в тюрьме по новому сроку.) — Попадались чудаки и такие, которые свои малые сроки п р о д а в а л и за один-два килограмма сала. Рассчитывали, что потом всё равно разберутся и личность их удостоверят. Отчасти и верно.*

В годы, когда арестантские дела не имели конечных назначений, пересылки превратились в невольничьи рынки. Желанные гости на пересылках стали *покупатели*, слово это всё чаще слышалось в коридорах и камерах безо всякой усмешки. Как везде в промышленности неусидно стало ждать, что пришлют по развёрстке из центра, а надобно засылать своих толкачей и дёргателей, так и в ГУЛАГе: туземцы на островах вымирали; хоть и не стоили ни рубля, а в счёт шли, и надо было самим озаботиться их привозить, чтобы не падал план. Покупатели должны были быть люди сметчивые, глазастые, хорошо смотреть, что берут, и не давать насовать им в числе голов — доходяг и инвалидов. Это были худые покупатели, кто этап отбирал себе по папкам, а купцы добросовестные требовали прогонять перед ними товар живьём и гольём. Так и говорилось без улыбки — *товар*. «Ну, какой товар привезли?» — спросил покупатель на бутырском вокзале, увидев и рассматривая по статям семнадцатилетнюю Иру Калину.

Человеческая природа если и меняется, то не намного быстрей, чем геологический облик Земли. И то чувство любопытства, смакования и примеривания, которое ощущали двадцать пять веков назад работорговцы на рынке рабынь, конечно владело и гулаговскими чиновниками в Усманской тюрьме в 1947 году, когда они, десятка два мужчин в форме МВД, уселись за несколько столов, покрытых простынями (это для важности, иначе всё-таки неудобно), а заключённые женщины все раздевались в соседнем боксе и обнажёнными и босыми должны были проходить перед ними, поворачиваться, останавливаться, отвечать на вопросы. «Руки опусти!» — указывали тем, кто принимал защитные положения античных статуй (офицеры ведь серьёзно выбирали наложниц для себя и своего окружения).

Так в разных проявлениях тяжёлая тень завтрашней лагерной битвы заслоняет новичку-арестанту невинные духовные радости пересыльной тюрьмы.

На две ночи затолкнули к нам в пресненскую камеру *спецнарядника*, и он лёг рядом со мной. Он ехал по спецнаряду, то есть в Центральном Управлении была выписана на него и следовала из лагеря в лагерь накладная, где значилось, что он техник-строитель

* Впрочем, как пишет П. Якубович о «сухарниках», продажа сроков бывала и в прошлом веке, это — старый тюремный трюк.

и лишь как такового его следует использовать на новом месте. Спецнарядник едет в общих вагон-заках, сидит в общих камерах пересылок, но душа его не трепещет: он защищён накладной, его не погонят валить лес.

Жестокое и решительное выражение было главным в лице этого лагерника, отсидевшего уже большую часть своего срока. (Я не знал ещё, что такое же точно выражение со временем прорежется на всех наших лицах, потому что жестокое и решительное выражение есть национальный признак островитян ГУЛАГа. Особи с мягким уступчивым выражением быстро умирают на островах.) С усмешкой, как смотрят на двухнедельных щенят, смотрел он на наше первое барахтанье.

Что ждёт нас в лагере? Жалея нас, он поучал:

— С первого шага в лагере каждый будет стараться вас обмануть и обокрасть. Не верьте никому, кроме себя! Оглядывайтесь: не подбирается ли кто укусить вас. Восемь лет назад вот таким же наивным я приехал в Каргопольлаг. Нас выгрузили из эшелона, и конвой приготовился вести нас: десять километров до лагеря, рыхлый глубокий снег. Подъезжают трое саней. Какой-то здоровый дядя, которому конвой не препятствует, объявляет: «Братцы, кладите вещи, подвезём!» Мы вспоминаем: в литературе читали, что вещи арестантов возят на подводах. Думаем: совсем не так бесчеловечно в лагере, заботятся. Сложили вещи. Сани уехали. Всё. Больше мы их никогда не видели. Даже тары пустой.

— Но как это может быть? Что ж, там нет закона?

— Не задавайте дурацких вопросов. Закон есть. Закон — тайга. А п р а в д ы — никогда в ГУЛАГе не было и не будет. Этот каргопольский случай — просто символ ГУЛАГа. Потом ещё привыкайте: в лагере никто ничего не делает даром, никто ничего — от доброй души. За всё нужно платить. Если вам предлагают что-нибудь бескорыстно — знайте, что это подвох, провокация. Самое же главное: избегайте общих работ! Избегайте их с первого же дня! В первый день попадёте на общие — и пропали, уже навсегда.

— *Общих* работ? . .

— Общие работы — это главные основные работы, которые ведутся в данном лагере. На них работает восемьдесят процентов заключённых. И все они подыхают. Все. И привозят новых взамен — опять на общие. Там вы положите последние силы. И всегда будете голодные. И всегда мокрые. И без ботинок. И обвешены. И обмерены. И в самых плохих бараках. И лечить вас не будут. *Живут* же в лагере только те, кто н е на общих. Старайтесь любой ценой — не попасть на общие! С первого дня.

Любой ценой!

Любой ценой? . .

На Красной Пресне я усвоил и принял эти — совсем не преувеличенные — советы жестокого спецнарядника, упустив только спросить: а где же мера цены? Где же край её?

Глава 3
КАРАВАНЫ НЕВОЛЬНИКОВ

Маетно ехать в вагон-заке, непереносимо в воронке, замучивает скоро и пересылка,— да уж лучше бы обминуть их все, да сразу в лагерь красными вагонами.

Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадают и тут. Государству тоже выгодно отправлять осуждённых в лагерь прямым маршрутом, не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок. Это давно понято в ГУЛАГе и отлично освоено: караваны *краснух* (красных телячьих вагонов), караваны барж, а уж где ни рельсов, ни воды — там пешие караваны (эксплуатировать лошадей и верблюдов заключённым не дают).

Красные эшелоны всегда выгодны, когда где-то быстро работают суды или где-то пересылка переполнена — и вот можно отправить сразу вместе большую массу арестантов. Так отправляли миллионы крестьян в 1929—31 годах. Так высылали Ленинград из Ленинграда. В тридцатых годах так заселялась Колыма: каждый день изрыгала такой эшелон до Совгавани, до порта Ванино столица нашей Родины Москва. И каждый областной город тоже слал красные эшелоны, только не ежедневно. В 1941 так выселяли Республику Немцев Поволжья в Казахстан, и с тех пор все остальные нации — так же. В 1945 такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей — из Германии, из Чехословакии, из Австрии и просто с западных границ, кто сам подъезжал туда. В 1949 так собирали Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря.

Вагон-заки ходят по пошлому железнодорожному расписанию, красные эшелоны — по важному наряду, подписанному важным генералом ГУЛАГа. Вагон-зак не может идти в пустое место, в конце его назначения всегда есть вокзал, и хоть плохенький городишка, и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти и в пустоту: куда придёт он, там рядом с ним тотчас подымется из моря, степного или таёжного, новый остров Архипелага.

Не всякий красный вагон и не сразу может везти заключённых — сперва он должен быть подготовлен. Но не в том смысле подготовлен, как может быть подумал читатель: что его надо подмести и очистить от угля или извести, которые перевозились там перед людьми,— это делается не всегда. И не в том смысле подготовлен, что если зима, то его надо проконопатить и поставить печку. (Когда построен был участок железной дороги от Княж-Погоста до Ропчи, ещё не включённый в общую железнодорожную сеть, по нему тотчас же начали возить заключённых — в вагонах, в которых не было ни печек, ни нар. Зэки лежали зимой на промёрзлом снежном полу и ещё не получали при этом горячего питания, потому что поезд успевал пройти участок всегда меньше,

чем за сутки. Кто может в мыслях перележать там, пережить эти 18-20 часов — да переживёт!) А подготовка вот какая: должны быть проверены на целость и крепость полы, стены и потолки вагонов; должны быть надёжно обрешечены их маленькие оконца, должна быть прорезана в полу дыра для слива, и это место особо укреплено вокруг жестяной обивкой с частыми гвоздями; должны быть распределены по эшелону равномерно и с нужною частотой вагонные площадки (на них стоят посты конвоя с пулемётами), а если площадок мало, они должны быть достроены; должны быть оборудованы всходы на крыши; должны быть продуманы места расположения прожекторов и обеспечено им безотказное электропитание; должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки; должен быть подцеплен штабной классный вагон, а если нет его — хорошо оборудованы и утеплены теплушки для начальника караула, для оперуполномоченного и для конвоя; должны быть устроены кухни — для конвоя и для заключённых. Лишь после этого можно идти вдоль вагонов и мелом косо надписывать: «спецоборудование» или там «скоропортящийся». (В «Седьмом вагоне» Евгения Гинзбург описала очень ярко этап красными вагонами и во многом освобождает нас сейчас от подробностей.)

Подготовка эшелона закончена — теперь предстоит сложная боевая операция посадки арестантов в вагоны. Тут две важных обязательных цели: скрыть посадку от народа и терроризировать заключённых.

Утаить посадку от жителей надо потому, что в эшелон сажается сразу около тысячи человек (по крайней мере двадцать пять вагонов), это не маленькая группка из вагон-зака, которую можно провести и при людях. Все, конечно, знают, что аресты идут каждый день и каждый час, но никто не должен ужаснуться от их вида в м е с т е. В Орле в 38-м году не скроешь, что в городе нет дома, из которого не было бы арестованных, да и крестьянские подводы с плачущими бабами запружают площадь перед орловской тюрьмой, как на стрелецкой казни у Сурикова. (Ах, кто б это нам ещё нарисовал когда-нибудь! И не надейся: не модно, не модно . . .) Но не надо показывать нашим советским людям, что набирается в сутки эшелон (в Орле в тот год набирался). И молодёжь не должна этого видеть: молодёжь — наше будущее. И поэтому только ночью — еженощно, каждой ночью, и так несколько месяцев — из тюрьмы на вокзал гонят пешую чёрную колонну этапа (воронки заняты на новых арестах). Правда, женщины опоминаются, женщины как-то узнают — и вот они со всего города ночами крадутся на вокзал и подстерегают там состав на запасных путях, они бегут вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы и рельсы, и у каждого вагона кричат: такого-то здесь нет? . . такого-то и такого-то нет? . . И бегут к следующему, а к этому подбегают новые: такого-то нет? И вдруг отклик из запечатанного вагона: «Я! я здесь!» Или: «Ищите! он в другом вагоне!» Или: «Женщины! слушайте! моя жена тут рядом, около вокзала, сбегайте скажите ей!»

Эти недостойные нашей современности сцены свидетельствуют только о неумелой организации посадки в эшелон. Ошибки учитываются, и с какой-то ночи эшелон широко охватывается кордоном рычащих и лающих овчарок.

И в Москве, со старой ли Сретенской пересылки (теперь уж её и арестанты не помнят), с Красной ли Пресни, посадка в красные эшелоны — только ночью, это закон.

Однако, не нуждаясь в излишнем блеске дневного светила, конвой использует ночные солнца — прожекторы. Они удобны тем, что их можно собрать на нужное место — туда, где арестанты испуганной кучкой сидят на земле в ожидании команды: «Следующая пятёрка — встать! К вагону — бегом!» (Только — бегом! Чтоб он не осматривался, не обдумывался, чтоб он бежал как настигаемый собаками и только боялся бы упасть.) И на эту неровную дорожку, где они бегут; и на трап, где они карабкаются. Враждебные призрачные снопы прожекторов не только освещают: они — важная театральная часть арестантского перепуга, вместе с резкими криками, угрозами, ударами прикладов по отстающим; вместе с командой «садись на землю!» (А иногда, как и в том же Орле на привокзальной площади: «стать на колени!» — и как новые богомольцы, тысяча валится на колени); вместе с этой совсем не нужной, но для перепуга очень важной перебежкой к вагону; вместе с яростным лаем собак; вместе с наставленными стволами (винтовок или автоматов, смотря по десятилетию). Главное, должна быть смята, сокрушена воля арестанта, чтоб у них и мысли не завязалось о побеге, чтоб они ещё долго не сообразили своего нового преимущества: из каменной тюрьмы они перешли в тонкодощатый вагон.

Но чтобы так чётко посадить ночью тысячу человек в вагоны, надо тюрьме начать выдёргивать их из камер и обрабатывать к этапу с утра накануне, а конвою весь день долго и строго принимать их в тюрьме и принятых держать часами долгими уже не в камерах, а на дворе, на земле, чтобы не смешались с тюремными. Так ночная посадка для арестантов есть только облегчительное окончание целого дня измора.

Кроме обычных перекличек, проверок, стрижки, прожарки и бани основная часть подготовки к этапу это — генеральный шмон (обыск). Обыск производится не тюрьмой, а принимающим конвоем. Конвою предстоит в согласии с инструкцией о красных этапах и собственными оперативно-боевыми соображениями провести этот обыск так, чтобы не оставить заключённым ничего способствующего побегу: отобрать всё колющее-режущее; отобрать всевозможные порошки (зубной, сахарный, соль, табак, чай), чтобы не был ими ослеплён конвой; отобрать всякие верёвки, шпагат, ремни поясные и другие, потому что все они могут быть использованы при побеге (а значит — и ремешки! и вот отрезают ремешки, которыми пристёгнут протез одноногого — и калека берёт свою ногу через плечо и скачет, поддерживаемый соседями). Остальные же вещи — ценные, а также чемоданы, должны по инструкции

быть взяты в особый вагон — камеру хранения, а в конце этапа возвращены владельцу.

Но слаба, не натяжна власть московской инструкции над вологодским или куйбышевским конвоем, но телесна власть конвоя над арестантами. И тем решается третья цель посадочной операции: по справедливости отобрать хорошие вещи у врагов народа в пользу его сынов. «Сесть на землю!», «стать на колени!», «раздеться догола!» — в этих уставных конвойных командах заключена коренная власть, с которою не поспоришь. Ведь голый человек теряет уверенность, он не может гордо выпрямиться и разговаривать с одетым, как с равным. Начинается обыск (Куйбышев, лето 1949). Голые подходят, неся в руках вещи и снятую одежду, а вокруг — множество настороженных вооружённых солдат. Обстановка такая, будто ведут не на этап, а будут сейчас расстреливать или сжигать в газовых камерах — настроение, когда человек перестаёт уже заботиться о своих вещах. Конвой всё делает нарочито-резко, грубо, ни слова простым человеческим голосом, ведь задача — напугать и подавить. Чемоданы вытряхиваются (вещи на землю) и сваливаются в отдельную гору. Портсигары, бумажники и другие жалкие арестантские «ценности» все отбираются и, безымянные, бросаются в тут же стоящую бочку. (И именно то, что это — не сейф, не сундук, не ящик, а бочка — почему-то особенно угнетает голых, и кажется бесполезным протестовать.) Голому впору только поспевать собирать с земли свои обысканные тряпки и совать их в узелок или связывать в одеяло. Валенки? Можешь сдать, кидай вот сюда, распишись в ведомости! (не тебе дают расписку, а ты расписываешься, что бросил в кучу!) И когда уходит с тюремного двора последний грузовик с арестантами, уже в сумерках, арестанты видят, как конвоиры бросились расхватывать лучшие кожаные чемоданы из груды и выбирать лучшие портсигары из бочки. А потом полезли за добычей надзиратели, а за ними и пересыльная *придурня́*.

Вот чего вам стоило за сутки добраться до телячьего вагона! Ну, теперь-то влезли с облегчением, ткнулись на занозистые доски нар. Но какое тут облегчение, какая теплушка?! Снова зажат арестант в клещах между холодом и голодом, между жаждой и страхом, между блатарями и конвоем.

Если в вагоне есть блатные (а их не отделяют, конечно, и в красных эшелонах), они занимают свои традиционные лучшие места на верхних нарах у окна. Это летом. А ну, догадаемся — где ж их места зимой? Да вокруг печурки же конечно, тесным кольцом вокруг печурки. Как вспоминает бывший вор Минаев*, в лютый мороз на их «теплушку» на всю дорогу от Воронежа до Котласа (это несколько суток) в 1949 году выдали *три ведра* угля! Тут уж

* Его письмо ко мне, «Литературная газета», 29.11.62

блатные не только заняли места вокруг печки, не только отняли у *фраеров* все тёплые вещи, надев их на себя, не побрезговали и портянки вытрясти из их ботинок и намотали на свои воровские ноги. Подохни ты сегодня, а я завтра! — Чуть хуже с едой — весь паёк вагона принимают извне блатные и берут себе лучшее или по потребности. Лощилин вспоминает трёхсуточный этап Москва — Переборы в 1937 году. Из-за каких-нибудь трёх суток не варили горячего в составе, давали сухим пайком. Воры брали себе всю карамель, а хлеб и селёдку разрешали делить; значит были не голодны. Когда паёк горячий, а воры *на подсосе*, они же делят и баланду (трёхнедельный этап Кишинёв — Печора, 1945). При всём том не брезгуют блатные в дороге и простой грабиловкой: увидели у эстонца зубы золотые — положили его и выбили зубы кочергой.

Преимуществом красных эшелонов считают зэки горячее питание: на глухих станциях (опять-таки где не видит народ) эшелоны останавливают и разносят по вагонам баланду и кашу. Но и горячее питание умеют так подать, чтобы боком выперло. Или (как в том же кишинёвском эшелоне) наливают баланду в те самые вёдра, которыми выдают и уголь. И помыть нечем!— потому что и вода питьевая в эшелоне меряна, ещё нехватней с ней, чем с баландою. Так и хлебаешь баланду, заскребая крупинки угля. Или принеся баланду и кашу на вагон, мисок дают с недостатком, не сорок, а двадцать пять, и тут же командуют: «Быстрей, быстрей! Нам другие вагоны кормить, не ваш один!» Как теперь есть? Как делить? Всё разложить справедливо по мискам нельзя, значит надо дать на глазо́к да поменьше, чтоб не передать. (Первые кричат: «Да ты мешай, мешай!», последние молчат: пусть будет на дне погуще.) Первые едят, последние ждут — скорей бы, и голодны, и баланда остывает в бачке, и снаружи уже подгоняют: «ну, кончили? скоро?» Теперь наложить вторым — и не больше, и не меньше, и не гуще, и не жиже, чем первым. Теперь правильно угадать добавку и разлить её хоть на двоих в одну миску. Всё это время сорок человек не столько едят, сколько смотрят на раздел и мучаются.

Не нагреют, от блатных не защитят, не напоят, не накормят — но и спать же не дадут. Днём конвоиры хорошо видят весь поезд и минувший путь, что никто не выбросился вбок и не лёг на рельсы, ночью же их терзает бдительность. Деревянными молотками с длинными ручками (общегулаговский стандарт) они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждую доску вагона: не управились ли её уже выпилить? А на некоторых остановках распахивается дверь вагона. Свет фонарей или даже луч прожектора: «Проверка!» Это значит: вспрыгивай на ноги и будь готов, куда покажут — в левую или в правую сторону всем перебегать. Вскочили внутрь конвоиры с молотками (а другие с автоматами ощерились полукругом извне) и показали: налево! Значит, левые на местах, правые быстро перебегай туда же, как блошки, друг через друга, куда попало. Кто не проворен, кто зазевался — тех молотками по бокам, по спине, бодрости поддать! Вот конвойные сапоги

уже топчут ваше нищенское ложе, расшвыривают ваши шмотки, светят и простукивают молотками — нет ли где пропила. Нет. Тогда конвойные становятся посредине и начинают со счётом пропускать вас слева направо: «Первый!.. Второй!.. Третий!..» Довольно было бы просто считать, просто взмахивать пальцем, но так бы страху не было, а наглядней, безошибочней, бодрей и быстрей — отстукивать этот счёт всё тем же молотком по вашим бокам, плечам, головам, куда придётся. Пересчитали, сорок. Теперь ещё расшвырять, осветить и простучать левую сторону. Всё, ушли, вагон заперт. До следующей остановки можете спать. (Нельзя сказать, чтобы беспокойство конвоя было совсем пустым — из красных вагонов бегут, умеючи. Вот простукивают доску — а её уже перепиливать начали. Или вдруг утром при раздаче баланды видит конвой: среди небритых лиц несколько бритых. И с автоматами окружают вагон: «Сдать ножи!» А это мелкое пижонство блатных и приблатнённых: им «надоело» быть небритыми, и вот теперь приходится сдать *мойку* — бритву.)

От других беспересадочных поездов дальнего следования красный эшелон отличается тем, что севший в него ещё не знает — вылезет ли. Когда в Соликамске разгружали эшелон из ленинградских тюрем (1942) — вся насыпь была уложена трупами, лишь немногие доехали живыми. Зимами 1944-45 и 1945-46 годов в посёлок Железнодорожный (Княж-Погост), как и во все главные узлы Севера, от Ижмы до Воркуты, арестантские эшелоны с освобождённых территорий — то прибалтийский, то польский, то немецкий, то наши из Европы,— шли без печек и приходили, везя при себе вагон или два трупов. Но это значит, в пути аккуратно отбирались трупы из живых вагонов в мертвецкие. Так было не всегда. На станции Сухобезводная (Унжлаг) сколько раз, дверь вагона раскрыв по прибытии, только и узнавали, кто жив тут, кто мёртв: не вылез, значит и мёртв.

Страшно и смертно ехать зимой, потому что конвою за заботами о бдительности не под силу уже таскать уголь для двадцати пяти печек. Но и в жару ехать не так-то сладко: из четырёх малых окошек два зашиты наглухо, крыша вагона перегрета; а воду носить для тысячи человек и вовсе конвою не надорваться же, если не управлялись напоить и один вагон-зак. Лучшие месяцы этапов поэтому считаются у арестантов — апрель и сентябрь. Но и самого хорошего сезона не хватит, если идёт эшелон *три месяца* (Ленинград — Владивосток, 1935). А если надолго так он и рассчитан, то продуман в нём и политическое воспитание бойцов конвоя и духовное призрение заключённых душ: при таком эшелоне в отдельном вагоне едет *кум* — оперуполномоченный. Он заранее готовился к этапу ещё в тюрьме, и люди по вагонам рассованы не как-нибудь, а по спискам с его визой. Это он утверждает старосту каждого вагона и в каждый вагон обучил и посадил стукача. На долгих остановках он находит повод вызывать из вагона одного и другого, выспрашивает, о чём там в вагоне говорят. Уж такому

оперу стыдно окончить путь без готовых результатов — и вот в пути он закручивает кому-нибудь следствие, смотришь — к месту назначения арестанту намотан и новый срок.

Нет уж, будь и он проклят с его прямизной и беспересадочностью, этот красный телячий этап! Побывавший в нём — не забудет. Скорей бы уж в лагерь, что ли! Скорей бы уж приехать.

Человек — это надежда и нетерпение. Как будто в лагере будет опер снисходительнее или стукачи не так бессовестны — да наоборот! Как будто когда приедем — не с теми же угрозами и собаками нас будут сошвыривать на землю: «Садись!» Как будто если в вагон забивает снег, то на земле его слой не толще. Как будто если нас сейчас выгрузят, то уж мы и доехали до самого места, а нас не повезут теперь по узкоколейке на открытых платформах. (А как на открытых платформах везти? как конвоировать? — задача для конвоя. Вот как: велят нам скрючиться, повалом лечь и накроют общим большим брезентом, как матросов в «Потёмкине» для расстрела. И за брезент ещё спасибо! Олейнёву с товарищами досталось на Севере в октябре на открытых платформах просидеть целый день: их погрузили уже, а паровоз не слали. Сперва пошёл дождь, он перешёл в мороз, и лохмотья замерзали на зэках.) Поездочек на ходу будет кидать, борта платформы станут трещать и ломиться, и кого-то от болтанки сбросит под колёса. А вот загадка: от Дудинки ехать узкоколейкой 100 километров в полярный мороз и на открытых платформах — так где усядутся блатные? Ответ: в середине каждой платформы, чтобы скотинка грела их со всех сторон и чтобы самим под рельсы не свалиться. Верно. Ещё вопрос: а что увидят зэки в конечной точке этой узкоколейки (1939)? Будут ли там здания? Нет, ни одного. Землянки? Да, но уже заполненные, не для них. Значит, сразу они будут копать себе землянки? Нет, потому что как же копать их в полярную зиму? Вместо этого они пойдут добывать металл. — А жить? — Чтó жить? .. Ах, жить ... Жить — в палатках.

Но не всякий же раз ещё и на узкоколейке? .. Нет, конечно. Вот приезд на самое место: станция Ерцево, февраль 1938. Вагоны вскрыли ночью. Вдоль поезда разожжены костры, и при них происходит выгрузка на снег, счёт, построение, опять счёт. Мороз — минус тридцать два градуса. Этап — донбасский, арестованы были все ещё летом, поэтому в полуботинках, туфлях, сандалиях. Пытаются греться у костров — их отгоняют: не для того костры, для света. С первой же минуты немеют пальцы. Снег набился в лёгкую обувь и даже не тает. Никакой пощады, команда: «Становись! разберись! .. шаг вправо ... шаг влево ... без предупреждения ... Марш!» Взвыли на цепях собаки от своей любимой команды, от этого волнующего мига. Пошли конвоиры в полушубках — и обречённые в летнем платье пошли по глубокоснежной и совершенно не протоенной дороге — куда-то в тёмную тайгу. Впереди — ни огонька. Полыхает полярное сияние — наше первое

и наверно последнее... Ели трещат от мороза. Разутые люди мерят и торят снег коченеющими ступнями, голенями.

Или вот приезд на Печору в январе 1945. («Наши войска овладели Варшавой!.. Наши войска отрезали Восточную Пруссию!») Пустое снежное поле. Вышвырнутых из вагонов посадили в снегу по шесть человек в ряд и долго считали, ошибались и пересчитывали. Подняли, погнали шесть километров по снежной целине. Этап тоже с юга (Молдавия), все — в кожаной обуви. Овчарок допустили идти близко сзади, они толкали зэков последнего ряда лапами в спину, дышали собачьим дыханием в затылки (в ряду этом шли два священника — старый седовласый о. Фёдор Флоря и поддерживавший его молодой о. Виктор Шиповальников). Каково применение овчарок? Нет, каково самообладание овчарок — ведь укусить как хочется!

Наконец дошли. Приёмная лагерная баня: раздеваться в одном домике, перебегать через двор голыми, мыться в другом. Но теперь это уже всё можно перенести: отмучились от главного. Теперь-то — приехали! Стемнело. И вдруг узнаётся: в лагере нет мест, к приёму этапа лагерь не готов. И после бани этапников снова строят, считают, окружают собаками — и опять, волоча свои вещи, всё те же шесть километров, только уже во тьме, они месят снег к своему эшелону назад. А вагонные двери все эти часы были отодвинуты, теплушки выстыли, в них не осталось даже прежнего жалкого тепла, да к концу пути и уголь весь сожжён, и взять его сейчас негде. Так они перекоченели ночь, утром дали им пожевать сухой тарани (а кто хочет пить — жуй снег) — и повели опять по той же дороге.

И это ещё случай — счастливый! — ведь лагерь-то есть, сегодня не примет, так примет завтра. А вообще, по свойству красных эшелонов приходить в пустоту, конец этапа нередко становится днём открытия нового лагеря, так что под полярным сиянием их могут и просто остановить в тайге и прибить на ели дощечку: «Первый ОЛП» (Отдельный Лагерный Пункт). Там они и неделю будут воблу жевать и замешивать муку со снегом.

А если лагерь образовался хоть две недели назад — это уже комфорт, уже варят горячее, и хоть нет мисок, но первое и второе вместе кладут на шесть человек в банные тазы, шестёрка становится кружком (столов и стульев тоже нет), двое держат левыми руками банный таз за ручку, а правыми в очередь едят. Повторение? Вогнездино? Нет, это Переборы, 1937 год, рассказ Лощилина. Повторяюсь не я, повторяется ГУЛАГ.

...А дальше дадут новичкам бригадиров из старых лагерников, которые быстро их *научат жить*, поворачиваться и обманывать. И с первого же утра они пойдут на работу, потому что часы Эпохи стучат и не ждут. У нас не царский каторжный Акатуй с тремя днями отдыха прибывшим.*

* П. Ф. Якубович. «В мире отверженных». М, 1964

* * *

Постепенно расцветает хозяйство Архипелага, протягиваются новые железнодорожные ветки, и уже во многие такие места везут на поездах, куда совсем недавно только водою плыли. Но живы ещё туземцы, кто расскажет, как плыли по реке Ижме ну в настоящих древнерусских ладьях, по сто человек в ладье, сами же и гребли. Как по рекам Печоре и Усе добирались к родному лагерю — шнягами. И на Воркуту-то гнали зэков на баржах: до Адзьвавóм на крупных, а там был перевалочный пункт Воркутлага, и оттуда уже — на мелководной барже десять дней, вся баржа шевелится от вшей, и конвой разрешает по одному вылезать наверх и стряхивать паразитов в воду. Лодочные этапы тоже были не сплошные, а перебивались то перегрузками, то переволоками, то пешими перегонами.

И были там пересылки свои — жердевые, палаточные — Усть-Уса, Помоздино, Шелья-Юр. Там свои были щелевые порядки. И свои конвойные правила и, конечно, свои особые команды, и особые хитрости конвоя, и особые тяготы зэкам. Но уж видно той экзотики нам не описать, так не будем и браться.

Северная Двина, Обь и Енисей знают, когда стали арестантов перевозить в баржах — в раскулачивание. Эти реки текли на Север прямо, а баржи были брюхаты, вместительны — и только так можно было управиться сбросить всю эту серую массу из живой России на Север неживой. В корытную ёмкость баржи сбрасывались люди и там лежали навалом, и шевелились, как раки в корзине. А высоко на бортах, как на скалах, стояли часовые. Иногда эту массу так и везли открытой, иногда покрывали большим брезентом — то ли чтоб не видеть, то ли чтоб лучше охранить, не от дождей же. Сама перевозка в такой барже уже была не этапом, а смертью в рассрочку. К тому ж их почти и не кормили, а выбросив в тундру — уже не кормили совсем. Их оставляли умирать наедине с природой.

Баржевые этапы по Северной Двине (и по Вычегде) не заглохли и к 1940 году, а даже очень оживились: текли ими *освобождённые* западные украинцы и западные белорусы. Арестанты в трюме *стояли* вплотную — и это не одни сутки. Мочились в стеклянные банки, передавали из рук в руки и выливали в иллюминатор, а что пристигало серьёзнее — то шло в штаны.

Баржевые перевозки по Енисею утвердились, сделались постоянными на десятилетия. В Красноярске на берегу построены были в 30-х годах навесы, и под этими навесами в холодные сибирские вёсны дрогли по суткам и по двое арестанты, ждущие перевозки.* Енисейские этапные баржи имеют постоянно оборудованный трюм — трёхэтажный, тёмный. Только через колодец проёма, где

---

* В. И. Ленин в 1897 году садился на «Святого Николая» в пассажирском порту, как вольный.

трап, проходит рассеянный свет. Конвой живёт в домике на палубе. Часовые охраняют выходы из трюма и следят за водою, не выплыл ли кто. В трюм охрана не спускается, какие бы стоны и вопли о помощи оттуда ни раздавались. И никогда не выводят арестантов наверх на прогулку. В этапах 37-38-го, 44-45-го (а смекнём, что и в промежутке) вниз, в трюм, не подавалось и никакой врачебной помощи. Арестанты на «этажах» лежат вповалку в две длины: один ряд головами к бортам, другой к ногам первого ряда. К парашам на этажах проход только по людям. Параши не всегда разрешают вынести вовремя (бочку с нечистотами по крутым трапам наверх — это надо представить!), они переполняются, жижа течёт по полу яруса и стекает на нижние ярусы. А люди лежат. Кормят, разнося по ярусам баланду в бочках, подсобники — из заключённых же, и там, в вечной тьме (сегодня, может быть, есть электричество) при свете «летучих мышей» раздают. Такой этап до Дудинки иногда продолжался месяц. (Сейчас, конечно, могут управиться за неделю.) Из-за мелей и других водных задержек поездка, бывало, растягивалась, взятых продуктов не хватало, тогда несколько суток не кормили совсем (и уж конечно «за старое» никто потом не отдавал).

Усвойчивый читатель теперь уже и без автора может добавить: при этом блатные занимают верхний ярус и ближе к проёму — к воздуху, к свету. Они имеют столько доступа к раздаче хлеба, сколько в том нуждаются, и если этап проходит трудно, то без стеснения *отметают святой костыль* (отбирают пайку у серой скотинки). Долгую дорогу воры коротают в карточной игре: карты для этого они делают сами, а игральные ставки собирают себе шмонами фраеров, повально обыскивая всех, лежащих в том или ином секторе баржи. Отобранные вещи какое-то время проигрываются и перепроигрываются между ворами, потом сплавляются наверх, конвою. Да, читатель всё угадал: конвой *на крючке* у блатных, ворованные вещи берёт себе или продаёт на пристанях, блатным же взамен приносят поесть.

А сопротивление? Бывает, но очень редко. Вот один сохранившийся случай. В 1950 году в подобной и подобно устроенной барже, только покрупнее — морской, в этапе из Владивостока на Сахалин семеро безоружных ребят из Пятьдесят Восьмой оказали сопротивление блатным *(сукам)*, которых было человек около восьмидесяти (и, как всегда, не без ножей). Эти суки обыскали весь этап ещё на владивостокской пересылке «Три-десять», они обыскивают очень тщательно, никак не хуже тюремщиков, все потайки знают, но ведь ни при каком шмоне никогда не находится всё. Зная это, они уже в трюме обманом объявили: «У кого есть деньги — можно купить махорки.» И Миша Грачёв вытащил три рубля, запрятанные в телогрейке. Сука Володька-Татарин крикнул ему: «Ты что ж, падло, *налогов не платишь?»* И подскочил отнять. Но армейский старшина Павел (а фамилия не сохранилась) оттолкнул его. Володька-Татарин сделал *рогатку* в глаза, Павел сбил его с ног. Подскочило сук сразу человек 20—30, а вокруг Грачёва и Павла

встали Володя Шпаков, бывший армейский капитан; Серёжа Потапов; Володя Реунов, Володя Третюхин, тоже бывшие армейские старшины; и Вася Кравцов. И что ж? Дело обошлось только несколькими взаимными ударами. Проявилась ли исконная и подлинная трусость блатных (всегда прикрытая их наигранным напором и развязностью), или помешала им близость часового (это было под самым люком), а они ехали и берегли себя для более важной общественной задачи — они ехали перехватить у *честных воров* Александровскую пересылку (ту самую, которую описал нам Чехов) и Сахалинскую стройку (не затем перехватить, разумеется, чтобы строить) — но они отступили, ограничась угрозой: «На земле — *мусор* из вас будет!» (Бой так и не состоялся, и «мусора» из ребят не сделали. На Александровской пересылке сук ждала неприятность: она уже была захвачена «честными».)

В пароходах, идущих на Колыму, устраивается всё похоже, как и в баржах, только всё покрупнее. Ещё и сейчас, как ни странно, сохранились в живых кое-кто из арестантов, этапированных туда с известной миссией «Красина» весной 1938 в нескольких старых пароходах-галошах — «Джурма», «Кулу», «Невострой», «Днепрострой», которым «Красин» пробивал весенние льды. Тоже оборудованы были в холодных грязных трюмах три яруса, но ещё на каждом ярусе — двухэтажные нары из жердей. Не всюду было темно: кое-где коптилки и фонари. Отсеками поочерёдно выпускали и гулять на палубу. В каждом пароходе везли по три-четыре тысячи человек. Весь рейс занял больше недели, за это время заплесневел хлеб, взятый во Владивостоке, и этапную норму снизили с 600 граммов до 400. Кормили рыбой, а питьевой воды ... Ну да, да, нечего злорадствовать, с водой были *временные трудности*. По сравнению с речными этапами здесь ещё были штормы, морская болезнь, обессиленные измождённые люди блевали и не в силах были из этой блевотины встать, все полы были покрыты её тошнотворным слоем.

По пути был некий политический эпизод. Суда должны были пройти пролив Лаперуза — близ самых Японских островов. И вот исчезли пулемёты с судовых вышек, конвоиры переоделись в штатское, трюмы задраили, выход на палубу запретили. А по судовым документам ещё из Владивостока было предусмотрительно записано, что везут, упаси боже, не заключённых, а завербованных на Колыму. Множество японских судёнышек и лодок юлили около кораблей, не подозревая. (А с «Джурмой» в другой раз, в 1939, такой был случай: блатные из трюма добрались до каптёрки, разграбили её, а потом подожгли. И как раз это было около Японии. Повалил из «Джурмы» дым, японцы предложили помощь,— но капитан отказался и даже не открыл люков! Отойдя от японцев подале, трупы задохнувшихся от дыма потом выбрасывали за борт, а обгоревшие полуиспорченные продукты сдали в лагеря для пайка заключённых.)

С тех пор ндут десятилетня, но сколько случаев на мнровых морях, где кажется не зэков уже возят, а советскне граждане терпят бедствне, — однако нз той же закрытостн, выдаваемой за нацнональную гордость, отказываются от помощи! Пусть нас акулы лопают, только б не вашу руку прннять! Закрытость н есть наш рак.

Перед Магаданом караван застрял во льду, не помог и «Красин» (было слишком рано для навигации, но спешили доставить рабочую силу). Второго мая выгрузили заключённых на лёд, не дойдя берега. Приезжим открылся маловесёлый вид тогдашнего Магадана: мёртвые сопки, ни деревьев, ни кустарника, ни птиц, только несколько деревянных домиков да двухэтажное здание Дальстроя. Всё же играя в *исправление*, то есть делая вид, что привезли не кости для умощения золотоносной Колымы, а временно-изолированных советских граждан, которые ещё вернутся к творческой жизни, — их встретили дальстроевским оркестром. Оркестр играл марши и вальсы, а измученные полуживые люди плелись по льду серой вереницей, волокли свои московские вещи (этот сплошь политический огромный этап почти ещё не встречал блатных) и несли на своих плечах других полуживых — ревматиков или безногих (безногим тоже был срок).

Но вот я замечаю, что сейчас начну повторяться, что скучно будет писать и скучно будет читать, потому что читатель уже знает всё наперёд: теперь их повезут грузовиками на сотни километров, и ещё потом будут пешком гнать десятки. И там они откроют новые лагпункты и в первую же минуту прибытия пойдут на работу, а есть будут рыбу и муку, заедая снегом. А спать в палатках.

Да, так. А пока, в первые дни, их расположат тут, в Магадане, тоже в заполярных палатках, тут их будут *комиссовать*, то есть осматривать голыми и по состоянию зада определять их готовность к труду (и все они окажутся годными). И ещё, конечно, их поведут в баню и в предбаннике велят им оставить их кожаные пальто, романовские полушубки, шерстяные джемперы, костюмы тонкого сукна, бурки, сапоги, валенки (ведь это приехали не тёмные мужики, а партийная верхушка — редакторы газет, директора трестов и заводов, сотрудники обкомов, профессора политэкономии, уж они все в начале тридцатых годов знали толк в вещах). «А кто будет охранять?» — усумнятся новички. «Да кому нужны ваши вещи? — оскорбится обслуга.— Заходите, мойтесь спокойно.» И они зайдут. А выход будет в другие двери, и там они получат чёрные хлопчатобумажные брюки и гимнастёрки, лагерные телогрейки без карманов, ботинки из свиной кожи. (О, это не мелочь! Это расставание со своей прежней жизнью — и со званиями, и должностями, и гонором.) «А где наши вещи?!»— взвопят они. «*Ваши* вещи — дома остались! — рявкнет на них какой-то начальник. — В лагере не будет ничего *вашего!* У нас в лагере — коммунизм! Марш, направляющий!»

Но если «коммунизм» — что ж тут им было возразить? Ему ж они и отдали жизни . . .

* * *

А ещё есть этапы — на подводах и просто пешие. Помните, в «Воскресении» — гнали в солнечный день от тюрьмы и до вокзала. В Минусинске же, в 194. . ., после того как целый год не выводили даже на прогулку, люди отучились ходить, дышать, смотреть на свет, — вывели, построили и погнали *двадцать пять километров* до Абакана. С десяток человек дорогой умерло. Великого романа, ни даже главы его, об этом написано не будет: на погосте живучи, всех не оплачешь.

Пеший этап — это дедушка железнодорожного, дедушка вагонзака и дедушка краснух. В наше время он всё меньше применяется, только там, где ещё невозможен механический транспорт. Так из блокадного Ленинграда на каком-то ладожском участке доставляли осуждённых до краснух (женщин вели вместе с пленными немцами, а наших мужчин отделяли от женщин штыками, чтоб не отняли у них хлеба. Падающих тут же разували и кидали на грузовик — живого ли, мёртвого). Так в 30-е годы отправляли с Котласской пересылки каждый день этап в сто человек до Усть-Выми (около 300 километров), а иногда и до Чибью (более пятисот). Однажды в 1938 гнали так и женский этап. В этих этапах проходили в день 25 километров. Конвой шёл с одной-двумя собаками, отстающих подгонял прикладами. Правда, вещи заключённых, котёл и продукты везли сзади на подводах, и этим этап напоминал классические этапы прошлого века. Были и этапные избы — разорённые дома раскулаченных с выбитыми окнами, сорванными дверьми. Бухгалтерия Котласской пересылки выдавала этапу продуктов на теоретически-расчётное время, если всё в пути будет гладко, и никогда ни на день лишний (общий принцип всякой нашей бухгалтерии). При задержках же в пути — продукты растягивали, кармливали болтушкой из ржаной муки без соли, а то и вовсе ничем. Здесь было некоторое отступление от классики.

В 1940 этап, где шёл А. Я. Оленёв, после барж погнали пешком по тайге (от Княж-Погоста на Чибью) — и вовсе не кормя. Пили болотную воду, быстро несла их дизентерия. Падали без сил — собаки рвали одежду упавших. В Ижме ловили рыбу брюками и поедали живой. (И с какой-то поляны им объявили: тут будете строить железную дорогу Котлас — Воркута!)

И в других местах нашего европейского Севера пешие этапы гонялись до тех пор, пока по тем же маршрутам, по насыпям, теми же первичными арестантами проложенным, не побежали весёлые красные вагоны, везя вторичных арестантов.

У пеших этапов есть своя техника, её разрабатывают там, где приходится перегонять почасту и помногу. Когда таёжной тропой ведут этап от Княж-Погоста до Весляны, и вдруг какой-то заключённый упал и дальше идти не может — что делать с ним? Разумно подумайте — что? Не останавливать же весь этап. И на каждого упавшего и отставшего не оставлять же по стрелку — стрелков

мало, заключённых много. Значит?.. Стрелок остаётся с ним ненадолго, потом нагоняет поспешно, уже один.

Долгое время держались постоянные пешие этапы из Карабаса в Спасск. Всего там 35—40 километров, но прогнать надо в один день и человек тысячу зараз, и среди них много ослабевших. Здесь ожидается, что будут многие падать и отставать с той предсмертной нехотью и безразличием, что хоть стреляй в них, а идти они не могут. Смерти они уже не боятся, — но палки? но неутомимой палки, всё снова бьющей их по чём попало? — палки они побоятся и пойдут! Это проверено, это — так. И вот колонна этапа охватывается не только обычной цепью автоматчиков, идущих от неё в пятидесяти метрах, но ещё и внутренней цепью солдат не вооружённых, но с палками. Отстающих бьют (как впрочем предсказывал и товарищ Сталин), бьют и бьют — а они иссиливаются, но идут! — и многие из них чудом доходят! Они не знают, что это — *палочная проверка*, и что тех, кто уже и под палками всё равно лёг и не идёт — тех забирают идущие сзади телеги. Опыт организации! (Могут спросить: а почему бы не сразу всех на телеги?.. А где их взять, и с лошадьми? У нас ведь трактора. Да и почём ныне овёс?..) Эти этапы густо шли в 1948—50 годах.

А в 20-е годы пеший этап был один из основных. Я был мальчишкой, но помню их хорошо, по улицам Ростова-на-Дону их гнали, не стесняясь. Кстати, знаменитая команда «...открывает огонь без предупреждения!» тогда звучала иначе, опять-таки из-за другой техники: ведь конвой часто бывал только с шашками. Командовали так: «Шаг в сторону — конвой стреляй, руби!» Это сильно звучит — «стреляй, руби!» Так и представляешь, как тебе сейчас разрубят голову сзади.

Да даже и в 1936 в феврале по Нижнему Новгороду гнали пешком этап заволжских стариков с длинными бородами, в самотканых зипунах, в лаптях и онучах —«Русь уходящая»... И вдруг наперерез — три автомобиля с председателем ВЦИКа Калининым. Этап остановили. Калинин проехал, не заинтересовался.

Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колёс? Это идут вагон-заки. Это идут краснухи. Во всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлюпает вода — это плывут арестантские баржи. А вот рычат моторы воронков. Всё время кого-то ссаживают, втискивают, пересаживают. А этот гул? — переполненные камеры пересылок. А этот вой?— жалобы обокраденных, изнасилованных, избитых.

Мы пересмотрели все способы доставки — и нашли, что все они — хуже. Мы оглядели пересылки — но не развидели хороших. И даже последняя человеческая надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше,— ложная надежда.

В лагере будет — хуже.

Глава 4

С ОСТРОВА НА ОСТРОВ

А и просто в одиноких челноках перевозят зэков с острова на остров Архипелага. Это называется — *спецконвой.* Это — самый нестеснённый вид перевозки, он почти не отличается от вольной езды. Переезжать так достаётся немногим. Мне же в моей арестантской жизни припало три раза.

Спецконвой дают по назначению высоких персон. Его не надо путать со *спецнарядом,* который подписывается в аппарате ГУЛАГа. Спецнарядник чаще едет общими этапами, хотя и ему достаются отрезки пути (тем более разительные). Например, едет латыш Анс Бернштейн по спецнаряду с Севера на нижнюю Волгу, на сельхозкомандировку. Везут его во всех описанных теснотах, унижениях, облаивают собаками, обставляют штыками, орут «шаг вправо, шаг влево . . .» — и вдруг ссаживают на маленькой станции Занзеватка, и встречает его там одинокий спокойный надзиратель безо всякого ружья. Он зевает: «Ладно, ночевать у меня будешь, а до завтрева пока гуляй, завтра свезу тебя в лагерь.» И Анс — гуляет! Да вы понимаете ли, что значит — *гулять* человеку, у которого срок десять лет, который уже с жизнью прощался сколько раз, у которого сегодня утром ещё был вагон-зак, а завтра будет лагерь, — сейчас же он ходит и смотрит, как куры роются в станционном садике, как бабы, не продав поезду масла и дынь, собираются уходить. Он идёт вбок три, четыре и пять шагов, и никто не кричит ему «стой!», он не верящими пальцами трогает листики акаций и почти плачет.

А спецконвой — весь такое диво, от начала до конца. Общих этапов тебе в этот раз не знать, рук назад не брать, догола не раздеваться, на землю задом не садиться и даже обыска никакого не будет. Конвой приступает к тебе дружески и даже называет на «вы». Вообще-то, предупреждает он, при попытке к бегству мы, как обычно, стреляем. Пистолеты наши заряжены, они в карманах. Однако, поедемте *просто,* держитесь легко, не давайте понять, что вы — заключённый. (Я очень прошу заметить, что и здесь, как всегда, интересы отдельной личности и интересы государства полностью совпадают.)

Моя лагерная жизнь перевернулась в тот день, когда я со скрюченными пальцами (от хватки инструмента они у меня перестали разгибаться) жался на разводе в плотницкой бригаде, а нарядчик отвёл меня от развода и со внезапным уважением сказал: «Ты знаешь, по распоряжению министра внутренних дел . . .»

Я обомлел. Ушёл развод, а придурки в зоне меня окружили. Одни говорили: «навешивать будут новый срок», другие говорили: «на освобождение». Но все сходились в том, что не миновать мне министра Круглова. И я тоже зашатался между новым сроком и освобождением. Я забыл совсем, что полгода назад в наш лагерь приехал какой-то тип и давал заполнять учётные карточки ГУЛАГа (после войны эту работу начали по ближайшим лагерям, но кончили вряд ли). Важнейшая графа там была «специальность». И чтоб цену себе набить, писали зэки самые золотые гулаговские специальности: «парикмахер», «портной», «кладовщик», «пекарь». А я прищурился и написал: «ядерный физик». Ядерным физиком я отроду не был, только до войны слушал что-то в университете, названия атомных частиц и параметров знал — и решился так написать. Был год 1946, атомная бомба была нужна позарез. Но я сам той карточке значения не придал, забыл.

Это — глухая, совершенно недостоверная, никем не подтверждённая легенда, которую нет-нет да и услышишь в лагерях: что где-то в этом же Архипелаге есть крохотные райские острова. Никто их не видел, никто там не был, а кто был — молчит, не высказывается. На тех островах, говорят, текут молочные реки в кисельных берегах, ниже как сметаной и яйцами там не кормят; там чистенько, говорят, всегда тепло, работа умственная и сто раз секретная.

И вот на те-то райские острова (в арестантском просторечии — *шарашки*) я на полсрока и попал. Им-то я и обязан, что остался жив, в лагерях бы мне весь срок ни за что не выжить. Им обязан я, что пишу это исследование, хотя для них самих в этой книге места не предусматриваю (уж есть о них роман). Вот с тех-то островов с одного на другой, со второго на третий меня и перевозили спецконвоем: двое надзирателей да я.

Если души умерших иногда пролетают среди нас, видят нас, легко читают наши мелкие побуждения, а мы не видим и не угадываем их, бесплотных, то такова и поездка спецконвоем.

Ты окунаешься в гущу *воли*, толкаешься в станционном зале. Успеваешь проглянуть объявления, которые наверняка и ни с какой стороны не могут тебя касаться. Сидишь на старинном пассажирском «диване» и слушаешь странные и ничтожные разговоры: о том, что какой-то муж бьёт жену или бросил её; а свекровь почему-то не уживается с невесткой; а коммунальные соседи жгут электричество в коридоре и не вытирают ног; а кто-то кому-то мешает по службе; а кого-то зовут в хорошее место, но он не решается на переезд: как это с места сниматься, легко ли? Ты всё это слушаешь — и мурашки отречения вдруг бегут по твоей спине и голове: тебе так ясно проступает подлинная мера вещей во Вселенной! мера всех слабостей и страстей! — а этим грешникам никак не дано её увидеть. Истинно жив, подлинно жив только ты, бесплотный, а эти все лишь по ошибке считают себя живущими.

И — незаполнимая бездна между вами! Ни крикнуть им, ни заплакать над ними нельзя, ни потрясти их за плечи: ведь ты — дух, ты — призрак, а они — материальные тела.

Как же внушить им — прозрением? видением? во сне? — братья! люди! Зачем дана вам жизнь?! В глухую полночь распахиваются двери смертных камер — и людей с великой душой волокут на расстрел. На всех железных дорогах страны сию минуту, сейчас, люди лижут после селёдки горькими языками сухие губы, они грезят о счастьи распрямлённых ног, об успокоении после оправки. На Колыме только летом на метр отмерзает земля — и лишь тогда в неё закапывают кости умерших за зиму. А у вас — под голубым небом, под горячим солнцем есть право распорядиться своей судьбой, пойти выпить воды, потянуться, куда угодно ехать без конвоя — какое ж электричество в коридоре? при чём тут свекровь? Самое главное в жизни, все загадки её — хотите, я высыплю вам сейчас? Не гонитесь за призрачным — за имуществом, за званием: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не пугайтесь беды, и не томитесь по счастью, всё равно ведь: и горького не довеку, и сладкого не дополна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха — кому вам ещё завидовать? зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердца — и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не браните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре: ведь вы же не знаете, может быть это ваш последний поступок перед арестом, и таким вы останетесь в их памяти!..

Но конвоиры поглаживают в карманах чёрные ручки пистолетов. И мы сидим втроём рядышком, непьющие ребята, спокойные друзья.

Я тру лоб, я закрываю глаза, открываю — опять этот сон: никем не конвоируемое скопище людей. Я твёрдо помню, что ещё сегодня ночевал в камере и завтра буду в камере опять. А тут какие-то контролёры со щипчиками: «Ваш билет!»—«Вон, у товарища.»

Вагоны полны (ну, по-вольному «полны» — под скамейками никто не лежит и на полу в проходах не сидят). Мне сказано — держаться просто, я и держусь куда проще: увидел в соседнем купе боковое место у окна и пересел. А конвоирам в том купе места не нашлось. Они сидят в прежнем и оттуда влюблёнными глазами за мной следят. В Переборах освобождается место через столик против меня, но прежде моего конвоира место успевает занять мордатый парень в полушубке, меховой шапке, с простым, но крепким деревянным чемоданом. Чемодан этот я узнал: лагерного изготовления, made in Архипелаг.

«Фу-у-уф»,— отдувается парень. Света мало, но вижу: он раскраснелся весь, посадка была с дракой. И достаёт флягу: «Пивка

выпьешь, товарищ?» Я знаю, что мой конвоир изнемогает в соседнем купе: не должен же я пить алкогольного, нельзя! Но — держаться надо просто. И я говорю небрежно: «Да налей, пожалуй.» (Пиво?? Пиво!! За три года я его не выпил ни глоточка! Завтра в камере буду хвастать: пиво пил!) Парень наливает, я с содроганием пью. Уже темно. Электричества в вагоне нет, послевоенная разруха. В старом фонаре в дверной перегородке горит один свечной огарок, на четыре купе сразу: на два вперёд и два назад. Мы с парнем приятельски разговариваем, почти не видя друг друга. Как ни перегибается мой конвоир — ничего ему не слышно за стуком вагона. У меня в кармане — открытка домой. Сейчас объясню моему простецкому собеседнику, кто я, и попрошу опустить в ящик. Судя по чемодану, он и сам сидел. Но он опережает меня: «Знаешь, еле отпуск выпросил. Два года не пускали, такая служба собачья.» — «Какая же?» — «Да ты не знаешь. Я — *асмодей*, голубые погоны, никогда не видал?» Тьфу, пропасть, как же я сразу не догадался: Переборы — центр Волголага, а чемодан он изнудил из зэков, бесплатно ему сделали. Как же проткало это нашу жизнь: на два купе два асмодея уже мало! — третий сел. А может и четвёртый где притаился? А может они в каждом купе? . . А может ещё кто из наших едет спецконвоем? . .

Мой парень всё скулит, жалуется на судьбу. Тогда я возражаю ему загадочно: «А кого ты охраняешь, кто по десять лет ни за хрен получил — тем легче?» Он сразу оседает и замолкает до утра: в полутьме он и прежде неясно видел, что я в каком-то полувоенном — шинель, гимнастёрка. Он думал — просто вояка, а теперь шут его знает: может я — оперативник? беглецов ловлю? зачем я в этом вагоне? а он лагеря при мне ругал . . .

Огарок в фонаре заплывает, но всё ещё горит. На третьей багажной полке какой-то юноша приятным голосом рассказывает о войне — настоящей, о какой в книгах не пишут, был сапёром, рассказывает случаи, верные с правдой. И так приятно, что вот незаграждённая правда всё же льётся в чьи-то уши.

Мог бы рассказать и я . . . Я бы даже хотел рассказать! . . Нет, пожалуй, уже не хочу. Четыре года моей войны как корова слизнула. Уже не верю, что это было, и вспоминать не хочу. Два года *здесь*, два года Архипелага, затмили для меня фронтовые дороги, всё затмили. Клин вышибается клином.

И вот, проведя лишь несколько часов среди вольных, я чувствую: уста мои немы, мне нечего делать среди них, мне — связанно здесь. Хочу — свободной речи! хочу — на родину! хочу — к себе на Архипелаг!

Утром я *забываю* открытку на верхней вагонной полке: ведь будет кондукторша протирать вагон, снесёт её в ящик, если человек . . .

Мы выходим на площадь с Ярославского вокзала. Надзиратели мои опять попались новички, Москвы не знают. Поедем трамваем «Б», решаю я за них. Посреди площади у трамвайной остановки — свалка, время перед работой. Надзиратель поднимается к вагоново-

жатому и показывает ему книжечку МВД. На передней площадке, как депутаты Моссовета, мы важно стоим весь путь и билетов не берём. Старика не пускают: не инвалид, через заднюю влезешь!

Мы подъезжаем к «Новослободской», сходим — и первый раз я вижу Бутырскую тюрьму извне, хотя четвёртый раз уже меня в неё привозят, и без труда я могу начертить её внутренний план. У, какая суровая высокая стена на два квартала! Холодеют сердца москвичей при виде раздвигающейся стальной пасти этих ворот. Но я без сожаления оставляю московские тротуары, как домой иду через сводчатую башенку вахты, улыбаюсь в первом дворе, узнаю знакомые резные деревянные главные двери — и ничто мне, что сейчас поставят — вот уже поставили — лицом к стене и спрашивают: «Фамилия? имя-отчество? . . год рождения? . .»

Фамилия! . . Я — Межзвёздный Скиталец! Тело моё спеленали, но душа — не подвластна им.

Я знаю: через несколько часов неизбежных процедур над моим телом — бокса, шмона, выдачи квитанций, заполнения входной карточки, прожарки и бани — я введён буду в камеру с двумя куполами, с нависающей аркой посередине (все камеры такие), с двумя большими окнами, одним длинным столом-шкафом — и встречу не известных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей, и станут рассказывать они, и стану рассказывать я, и вечером не сразу захочется уснуть.

А на мисках будет выбито (чтоб на этап не увезли): «Бутюр». Санаторий Бутюр, как мы смеялись тут прошлый раз. Санаторий, мало известный ожирелым сановникам, желающим похудеть. Они тащат свои животы в Кисловодск, там вышагивают по маршрутным тропам, приседают, потеют целый месяц, чтобы сбросить два-три килограмма. В санатории же Бутюр, совсем под боком, любой бы из них похудел на полпуда в неделю безо всяких упражнений.

Это — проверено. Это — не имело исключений.

* * *

Одна из истин, в которой убеждает тебя тюрьма, — та, что мир тесен, просто очень уж тесен. Правда, Архипелаг ГУЛАГ, раскинутый на всё то же пространство, что и Союз Советов, по числу жителей гораздо меньше его. Сколько их именно в Архипелаге — добраться нам невозможно. Можно допустить, что одновременно в лагерях не находилось больше двенадцати миллионов (одни уходили в землю, Машина приволакивала новых). И не больше половины из них было политических. Шесть миллионов? — что ж, это маленькая страна, Швеция или Греция, там многие знают друг друга. Немудрено же, что попади в любую камеру любой пересылки, послушай, разговорись — и обязательно найдёшь с однокамерниками общих знакомых. (Да что там, если Долган, в одних одиночках год пересидев, попадает после Сухановки, после рюминских избиений и больницы, в лубянскую камеру, называет себя — и шустрый Ф. сразу ему навстречу: «А-а, так я вас знаю!»—«Откуда? — дичит-

ся Долган.— Вы ошибаетесь.» — «Ничуть. Ведь это вы тот самый американец Александр Долган, о котором буржуазная пресса лгала, что вас похитили, а ТАСС опровергало. Я был на воле и читал.»)

Люблю этот момент, когда в камеру впускают новенького (не новичка — тот входит подавленно, смущённо, а — уже сиделого зэка). И сам люблю входить в новую камеру (впрочем, Бог помилуй, больше бы и не входил) — беззаботная улыбка, широкий жест: «Здорово, братцы! — Бросил свой мешочек на нары. — Ну, какие новости за последний год в Бутырках?»

Начинаем знакомиться. Какой-то парень, Суворов, 58-я статья. На первый взгляд ничем не примечателен, но лови, лови: на Красноярской пересылке был с ним в камере некий Махоткин...

— Позвольте, не полярный лётчик?

— Да-да, его имени...

—...остров в Таймырском заливе. А сам он сидит по 58-10. Так скажите, значит пустили его в Дудинку?

— Откуда вы знаете? Да.

Прекрасно. Ещё одно звено в биографии совершенно не известного мне Махоткина. Я никогда его не встречал, никогда может быть и не встречу, но деятельная память всё отложила, что я знаю о нём: Махоткин получил *червонец*, а остров нельзя переименовать, потому что он на картах всего мира (это же — не гулаговский остров). Его взяли на авиационную шарашку в Болшево, он там томился, лётчик среди инженеров, летать же не дадут. Ту шарашку делили пополам, Махоткин попал в таганрогскую половину, и кажется все связи с ним обрезаны. В другой половине, в рыбинской, мне рассказали, что просился парень летать на Дальний Север. Теперь вот узнаю, что ему разрешили. Мне это — ни за чем, но я всё запомнил. А через десять дней я окажусь в одном бутырском банном боксе (есть такие премиленькие боксы в Бутырках с кранами и шайкой, чтобы большой бани не занимать) ещё с неким Р. Этого Р. я тоже не знаю, но оказывается, он полгода лежал в бутырской больнице, а теперь едет на рыбинскую шарашку. Ещё три дня — и в Рыбинске, в закрытом ящике, где у зэков обрезана всякая связь с внешним миром, станет известно и о том, что Махоткин в Дудинке, и о том, куда взяли меня. Это и есть арестантский телеграф: внимание, память и встречи.

А этот симпатичный мужчина в роговых очках? Гуляет по камере и приятным баритоном напевает Шуберта:

И юность вновь гнетёт меня,
И долог путь к могиле...

— Царапкин, Сергей Романович.

— Позвольте, так я вас хорошо знаю. Биолог? Невозвращенец? Из Берлина?

— Откуда вы знаете?

— Ну как же, мир тесен! В сорок шестом году с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским...

...Ах, что это была за камера! — не самая ли блестящая в моей тюремной жизни?.. Это было в июле. Меня из лагеря привезли в Бутырки по загадочному «распоряжению министра внутренних дел». Привезли после обеда, но такая была нагруженность в тюрьме, что одиннадцать часов шли приёмные процедуры, и только в три часа ночи, замореного боксами, меня впустили в 75-ю камеру. Освещённая из-под двух куполов двумя яркими электрическими лампами, камера спала вповалку, мечась от духоты: жаркий воздух июля не втекал в окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на спящих, те подёргивались. Кто закрыл глаза носовым платком от бьющего света. Остро пахла параша — разложение ускорялось в такой жаре. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано не чрезмерно, человек восемьдесят. Лежали сплошь на нарах слева и справа и на дополнительных щитах, уложенных через проход, и всюду из-под нар торчали ноги, а традиционный бутырский стол-шкаф был сдвинут к параше. Вот тут-то и был ещё кусочек свободного пола, и я лёг. Встававшие к параше так до утра и переступали через меня.

По команде «Подъём!», выкрикнутой в кормушку, всё зашевелилось: стали убирать поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня проинтервьюировать — новичок я или лагерник. Оказалось, что в камере встречается два потока: обычный поток свежеосуждённых, направляемых в лагеря, и встречный поток лагерников, сплошь специалистов — физиков, химиков, математиков, инженеров-конструкторов, направляемых неизвестно куда, но в какие-то благополучные научно-исследовательские институты. (Тут я успокоился, что министр не будет мне *доматывать* срока.) Ко мне подошёл человек нестарый, ширококостый (но сильно исхудавший), с носом, чуть-чуть закруглённым под ястреба:

— Профессор Тимофеев-Ресовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообщение? Какое именно?

Застигнутый врасплох, я стоял перед ним в своей длинной затасканной шинели и в зимней шапке (арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем). Пальцы мои ещё не разогнулись с утра и были все в ссадинах. Какое я мог сделать научное сообщение? Тут я вспомнил, что недавно в лагере была у меня две ночи принесённая с воли книга — официальный отчёт военного министерства США о первой атомной бомбе. Книга вышла этой весной. Никто в камере её ещё не видел? Пустой вопрос, конечно нет. Так судьба усмехнулась, заставляя меня сбиться на ту самую атомную физику, по которой я и записался в ГУЛАГе.

После пайки собралось у левого окна научно-техническое общество человек из десяти, я сделал своё сообщение и был принят в общество. Одно я забывал, другого не мог допонять, — Николай Владимирович, хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать

об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа. Пустая папиросная пачка была моей доской, в руке — незаконный обломок грифеля. Николай Владимирович всё это у меня отбирал, и чертил, и перебивал своим так уверенно, будто он был физик из лос-аламосской группы.

Он действительно работал с одним из первых европейских циклотронов, но для облучения мух-дрозофил. Он был из крупнейших генетиков современности. Он уже сидел в тюрьме, когда Жебрак, не зная о том (а может быть и зная), имел смелость написать для канадского журнала: «Русская биология не отвечает за Лысенко, русская биология — это Тимофеев-Ресовский» (во время разгрома биологии в 1948 Жебраку это припомнили). Шрёдингер в брошюре «Что такое жизнь» нашёл место дважды процитировать Тимофеева-Ресовского, уже давно сидевшего.

А он вот был перед нами и блистал сведениями изо всех возможных наук. Он обладал той широтой, которую учёные следующих поколений даже и не хотят иметь (или изменились возможности охвата?). Хотя сейчас он так был измотан голодом следствия, что эти упражнения ему становились нелегки. По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Рессе, по отцовской же — боковой потомок Степана Разина, и эта казацкая могута очень в нём чувствовалась — в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас.

А история была та, что в 1922 году немецкий учёный Фогт, создавший в Москве Институт мозга, попросил откомандировать с ним для постоянной работы двух способных окончивших студентов. Так Тимофеев-Ресовский и друг его Царапкин были посланы в командировку, не ограниченную временем. Хоть они и не имели там идеологического руководства, но очень преуспели собственно в науке, и когда в 1937(!) году им велели вернуться на родину, это оказалось для них инерционно-невозможным: они не могли бросить ни логики своих работ, ни приборов, ни учеников. И, пожалуй, ещё не могли потому, что на родине теперь надо было бы публично облить дерьмом всю свою пятнадцатилетнюю работу в Германии, и только это дало бы им право существовать (да и дало ли бы?). Так они стали невозвращенцами, оставаясь однако патриотами.

В 1945 советские войска вошли в Бух (северо-восточное предместье Берлина), Тимофеев-Ресовский встретил их радостно и целеньким институтом: всё решалось как нельзя лучше, теперь не надо расставаться с институтом! Приехали представители, походили, сказали:— У-гм, пакуйте всё в ящики, повезём в Москву.— Это невозможно! — отпрянул Тимофеев.— Всё погибнет! Установки налаживались годами! — Гм-м-м ...— удивилось начальство. И вскоре Тимофеева и Царапкина арестовали и повезли в Москву. Наивные, они думали, что без них институт не будет работать. Хоть и не работай, но да восторжествует генеральная линия! На Большой Лубянке арестованным легко доказали, что они изменники

родины(е?), дали по десять лет, и теперь президент научно-технического общества 75-й камеры бодрился, что он нигде не допустил ошибки.

В бутырских камерах дуги, держащие нары, очень низкие: даже тюремной администрации не приходило в голову, что под ними будут спать арестанты. Поэтому сперва бросаешь соседу шинель, чтоб он там её разостлал, затем ничком ложишься на полу в проходе и подползаешь. По проходу ходят, пол под нарами подметается разве что в месяц раз, руки помоешь ты только на вечерней оправке, да и то без мыла,— нельзя сказать, чтоб тело своё ты ощущал как сосуд Божий. Но я был счастлив! Там, на асфальтовом полу под нарами, в собачьем заползе, куда с нар сыпались нам в глаза пыль и крошки, я был абсолютно, безо всяких оговорок счастлив. Правильно высказал Эпикур: и отсутствие разнообразия может ощущаться как удовольствие после предшествующих разнообразных неудовольствий. После лагеря, казавшегося уже нескончаемым, после десятичасового рабочего дня, после холода, дождей, с наболевшей спиной — о, какое счастье целыми днями лежать, спать и всё-таки получать 650 граммов хлеба и два приварка в день — из комбикорма, из дельфиньего мяса. Одно слово — санаторий Бутюр.

Спать! — это очень важно. На брюхо лечь, спиной укрыться и спать! Во время сна ты не расходуешь сил и не терзаешь сердца — а срок идёт, а срок идёт! Когда трещит и брызжет факелом наша жизнь, мы проклинаем необходимость восемь часов бездарно спать. Когда же мы обездолены, обезнадёжены — благословение тебе, сон четырнадцатичасовой!

Но в той камере меня продержали два месяца, я отоспался на год назад, на год вперёд, за это время подвинулся под нарами до окна и снова вернулся к параше, уже на нары, и на нарах дошёл до арки. Я уже мало спал — хлебал напиток жизни и наслаждался. Утром научно-техническое общество, потом шахматы, книги (их, путёвых, три-четыре на восемьдесят человек, за ними очередь), двадцать минут прогулки — мажорный аккорд! мы не отказываемся от прогулки, даже если выпадает идти под проливным дождём. А главное — люди, люди, люди! Николай Андреевич Семёнов, один из создателей ДнепроГЭСа. Его друг по плену инженер Фёдор Фёдорович Карпов. Язвительный находчивый Виктор Каган, физик. Консерваторец Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник из вятских лесов, дремучий как лесное озеро. Эн-те-эсовец из Европы Евгений Иванович Дивнич. Он и православный проповедник, но не остаётся в рамках богословия, он поносит марксизм, объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьёз — и я выступаю на защиту, ведь я марксист. Ещё год назад как уверенно я б его бил цитатами, как бы я над ним уничижительно насмехался! Но этот первый арестантский год наслоился во мне — когда это произошло? я не заметил — столькими новыми событиями, видами и значениями, что я уже не могу

говорить: их нет! это буржуазная ложь! Теперь я должен признавать: да, они есть. И тут сразу же слабеет цепь моих доводов, и меня бьют почти шутя.

И опять идут пленники, пленники, пленники — поток из Европы не прекращается второй год. И опять русские эмигранты — из Европы и из Маньчжурии. С эмигрантами ищут знакомых так: из какой вы страны? а такого-то знаете? Конечно знает. (Тут я узнаю о расстреле полковника Ясевича.)

И старый немец — тот дородный немец, теперь исхудалый и больной, которого в Восточной Пруссии я когда-то (двести лет назад?) заставлял нести мой чемодан. О, как тесен мир! .. Надо ж было нам увидеться! Старик улыбается мне. Он тоже узнал и даже как будто рад встрече. Он простил мне. Срок ему десять лет, но жить осталось меньше гораздо . . . И ещё другой немец — долговязый, молодой, но оттого ли что по-русски ни слова не знает — безотзывный. Его и за немца не сразу признаешь: немецкое с него содрали блатные, дали на сменку вылинявшую советскую гимнастёрку. Он — знаменитый немецкий ас. Первая его кампания была — война Боливии с Парагваем, вторая — испанская, третья — польская, четвёртая — над Англией, пятая — Кипр, шестая — Советский Союз. Поскольку он — ас, не мог же он не расстреливать с воздуха женщин и детей! — военный преступник, 10 лет и 5 намордника. — И, конечно, есть на камеру один благомысл (вроде прокурора Кретова): «Правильно вас всех посадили, сволочи, контрреволюционеры! История перемелет ваши кости, на удобрение пойдёте!» — «И ты же, собака, на удобрение!» — кричат ему. —«Нет, моё дело пересмотрят, я осуждён невинно!» Камера воет, бурлит. Седовласый учитель русского языка встаёт на нарах, босой, и как новоявленный Христос простирает руки: «Дети мои, помиримся! .. Дети мои!» Воют и ему: «В Брянском лесу твои дети! Ничьи мы уже не дети!» Только — сыновья ГУЛАГа.

После ужина и вечерней оправки подступала ночь к намордникам окон, зажигались изнурительные лампы под потолком. День разделяет арестантов, ночь сближает. По вечерам споров не было, устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал Тимофеев-Ресовский: целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал лекцию о Корбюзье, кто-то — о нравах пчёл, кто-то — о Гоголе. Тут и курили во все лёгкие! Дым заполнял камеру, колебался как туман, в окно не было тяги из-за намордника. Выходил к столу Костя Киула, мой сверстник, круглолицый, голубоглазый, даже нескладисто смешной, и читал свои стихи, сложенные в тюрьме. Его голос переламывался от волнения. Стихи были: «Первая передача», «Жене», «Сыну». Когда в тюрьме ловишь на слух стихи, написанные в тюрьме же, ты не думаешь о том, отступил ли автор от силлабо-тонической системы и кончаются ли

строки ассонансами или полными рифмами. Эти стихи — кровь твоего сердца, слёзы твоей жены. В камере плакали.*

С той камеры потянулся и я писать стихи о тюрьме. А там я читал вслух Есенина, почти запрещённого до войны. Молодой Бубнов — из пленников, а прежде кажется недоучившийся студент, смотрел на чтецов молитвенно, по лицу разливалось сияние. Он не был специалистом, он ехал не из лагеря, а в лагерь, и скорее всего — по чистоте и прямоте своего характера — чтобы там умереть, такие там не живут. И эти вечера в 75-й камере были для него и для других — в затормозившемся смертном сползании внезапный образ того прекрасного мира, который есть и — будет, но в котором ни годика, ни молодого годика не давала им пожить лихая судьба.

Отпадала кормушка, и вертухайское мурло рявкало нам: «Ат-бой!» Нет, и до войны, учась в двух ВУЗах сразу, ещё зарабатывая репетированием и порываясь *писать,*— кажется и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких загруженных дней, как в 75-й камере в то лето...

...— Позвольте, — говорю я Царапкину,— но с тех пор от некоего Деуля, мальчика, в шестнадцать лет получившего *пятёрку* (только не школьную) за «антисоветскую агитацию»...

— Как, и вы его знаете?.. Он ехал с нами в одном этапе в Караганду...

—... я слышал, что вы устроились лаборантом по медицинским анализам, а Николай Владимирович был всё время на общих...

— И он очень ослабел. Его полумёртвого везли из вагона в Бутырки. Теперь он лежит в больнице, и от Четвёртого Спецотдела** ему выдают сливочное масло, даже вино, но встанет ли он на ноги — сказать трудно.

— Четвёртый Спецотдел вас вызывал?

— Да. Спросили, не считаем ли мы всё-таки возможным после шести месяцев Караганды заняться налаживанием нашего института на земле отечества.

— И вы бурно согласились?

— Ещё бы! Ведь теперь мы поняли свои ошибки. К тому же всё оборудование, сорванное с мест и заключённое в ящики, приехало и без нас.

— Какая преданность науке со стороны МВД! Очень прошу вас, ещё немножко Шуберта!

И Царапкин напевает, грустно глядя в окна (в его очках так и отражаются тёмные намордники и светлые верхушки окон):

* Не откликается, гнилул Костя Кнула. Боюсь, что нет его в живых.

** Четвёртый Спецотдел МВД занимался разработкой научных проблем силами заключённых.

Vom Abendrot zum Morgenlicht
War mancher Kopf zum Greise.
Wer glaubt es? meiner ward es nicht
Auf dieser ganzen Reise.*

* * *

Мечта Толстого сбылась: арестантов больше не заставляют присутствовать при порочной церковной службе. Тюремные церкви закрыты. Правда, сохранились их здания, но они удачно приспособлены под расширение самих тюрем. В Бутырской церкви помещается таким образом лишних две тысячи человек,— а за год пройдёт и лишних пятьдесят тысяч, если на каждую партию класть по две недели.

Попадая в Бутырки в четвёртый или в пятый раз, уверенно спеша двором, обомкнутым тюремными корпусами, в предназначенную мне камеру, даже обходя надзирателя на плечо (так лошадь без кнута и вожжей спешит домой, где ждёт её овёс) — я иной раз и забуду оглянуться на квадратную церковь, переходящую в осьмерик. Она стоит особо посреди квадратного двора. Её намордники совсем уже не техничны, не стеклоарматурны, как в основной тюрьме, — это посеревший подгнивающий тёс, указывающий на второстепенность здания. Там как бы внутрибутырская пересылка для свежеосуждённых.

А когда-то, в 45-м году, я переживал как большой и важный шаг: после приговора ОСО нас ввели в церковь (самое время, не худо бы и помолиться!), взвели на второй этаж (там нагорожен был и третий) и из осьмигранного вестибюля растолкали по разным камерам. Меня впустили в юго-восточную.

Это была просторная квадратная камера, в которой держали в то время двести человек. Спали, как всюду, на нарах (они одноэтажные там), под нарами и просто в проходах, на плитчатом полу. Не только намордники на окнах были второстепенные, но и всё содержалось здесь как бы не для сынов, а для пасынков Бутырок: в эту копошащуюся массу не давали ни книг, ни шахмат и шашек, а алюминиевые миски и щерблёные битые деревянные ложки забирали тоже от еды до еды, опасаясь, как бы их не увезли впопыхах этапов. Даже кружек и тех жалели для пасынков, а мыли миски после баланды и из них же лакали чайную бурду. Отсутствие своей посуды в камере особенно разило тех, кому падало счастье-несчастье получить передачу от родных (а в эти последние дни перед далёким этапом родные на скудеющие средства старались обязательно что-то передать). Родственники сами не имели тюремного образования, и в приёмной тюрьмы никакого доброго

---

* Принятый перевод:

Иной лишь ночь одну страдал,
А поседел к рассвету.
Как странно, я седым не стал,
Всю жизнь бродя по свету.

совета они не могли бы получить никогда. Поэтому они не слали пластмассовой посуды, единственной дозволенной арестанту, но — стеклянную или железную. Через кормушку камеры все эти мёды, варенья, сгущённое молоко безжалостно выливались и выскребались из банок в то, что есть у арестантов, а в церковной камере у него ничего нет, значит просто в ладони, в рот, в носовой платок, в полу одежды — по ГУЛАГу вполне нормально, но для центра Москвы? И при всём том —«скорей, скорей!» — торопил надзиратель, как будто к поезду опаздывал (а торопил потому, что и сам ещё рассчитывал облизать отбираемые банки). В церковных камерах всё было временное, лишённое и той иллюзии постоянства, какая была в камерах следственных и ожидающих суда. Перемолотое мясо, полуфабрикат для ГУЛАГа, арестантов держали здесь те неизбежные дни, пока на Красной Пресне не освобождалось для них немного места. Единственная была здесь льгота — ходить самим трижды в день за баландою (здесь не было в день ни каши, но баланда — трижды, и это милосердно, потому что чаще, горячей, и тяжелей в желудке). Льготу эту дали потому, что в церкви не было лифтов, как в остальной тюрьме, и надзиратели не хотели надрываться. Носить надо было тяжёлые большие баки издалека, через двор, и потом взносить по крутой лестнице, это было очень трудно, сил мало, а ходили охотно — только бы выйти лишний раз в зелёный двор и услышать пение птиц.

В церковных камерах был свой воздух: он уже чуть колыхался от предсквозняков будущих пересылок, от предветра полярных лагерей. В церковных камерах шёл обряд привыкания — к тому, что приговор свершился и нисколько не в шутку; к тому, что как ни жестока твоя новая пора жизни, но мозг должен переработаться и принять её. Это трудно давалось.

И не было здесь постоянства состава, который есть в следственных камерах, отчего те становятся как бы подобием семьи. Денно и нощно здесь вводили и выводили единицами и десятками, от этого всё время передвигались по полу и по нарам, и редко с каким соседом приходилось лежать дольше двух суток. Встретив интересного человека, надо было расспрашивать его не откладывая, иначе упустишь на всю жизнь.

Так я упустил автослесаря Медведева. Начав с ним разговаривать, я вспомнил, что фамилию его называл император Михаил. Да, он был его одноделец, один из первых читавших «Воззвание к русскому народу» и не донесших о том. Медведеву дали непростительно, позорно мало — всего лишь три года!— это по 58-й статье, по которой и пять лет считалось сроком детским. Видно, всё-таки императора сочли сумасшедшим, а остальных помиловали по классовым соображениям. Но едва я собрался узнать, как это всё понимает Медведев — а его взяли «с вещами». По некоторым обстоятельствам можно было сообразить, что взяли его на освобождение. Этим подтверждались те первые слухи о сталинской амнистии, которые в то лето доходили до нас, об *амнистии никому*, об

амнистии, после которой даже под нарами не становилось просторнее.

Взяли на этап моего соседа — старого шуцбундовца (всем этим шуцбундовцам, задыхавшимся в консервативной Австрии, здесь, на родине мирового пролетариата, в 1937 году *вжарили* по десятке, и на островах Архипелага они нашли свой конец). И ко мне придвинулся смуглый человечек со смоляными волосами, с женственными глазами — тёмными вишнями, однако с укрупнённым расширенным носом, портившим всё лицо до карикатуры. С ним рядом мы пролежали сутки молча, на вторые у него был повод спросить: «За кого вы меня принимаете?» Говорил он по-русски свободно, правильно, но с акцентом. Я заколебался: было в нём кавказское как будто. Он улыбнулся: «Я легко выдавал себя за грузина. Меня звали Яша. Все смеялись надо мной. Я собирал профсоюзные взносы.» Я оглядел его. Действительно комичная фигура: коротышка, лицо непропорциональное, беззлобная улыбка. И вдруг он напрягся, черты его стали отточенными, глаза стянулись и как взмахом чёрной сабли полосанули меня:

— А я — разведчик румынского генерального штаба, лукотенант Владимиреску!

И рассказал историю своей «работы» у нас в тылах, во время войны. Так ли, нет, но выглядело ярко.

Во всей этой длинной арестантской летописи больше не встретится подлинного шпиона. За одиннадцать лет тюрем, лагерей и ссылки единственная такая встреча у меня и была, а у других и одной-то не было. Многотиражные же наши комиксы дурачат молодёжь, что только таких людей и ловят Органы.

Достаточно было оглядеться в той церковной камере, чтобы понять, что саму-то молодёжь они в первую очередь и ловят. Война кончалась, можно было дать себе роскошь арестовывать всех, кого наметили: их не придётся уже брать в солдаты. Говорили, что с 1944 на 1945 год через Малую (областную) Лубянку прошла «демократическая партия». Она состояла, по молве, из полусотни мальчиков, имела устав, членские билеты. Самый старший по возрасту — ученик 10-го класса московской школы, был её «генеральный секретарь». — Мелькали и студенты в московских тюрьмах в последний год войны, я встречал их там и здесь. Кажется и я не был стар, но они — моложе . . .

Как же незаметно это подкралось! Пока мы — я, мой однодел, мои сверстники, воевали четыре года на фронте — а здесь росло ещё одно поколение! Давно ли мы попирали паркет университетских коридоров, считая себя самыми молодыми и самыми умными в стране и на земле?! — и вдруг по плитам тюремных камер подходят к нам бледные надменные юноши, и мы поражённо узнаём, что самые молодые и умные уже не мы — а они! Но я не был обижен этим, уже тогда я рад был потесниться. Мне была знакома их страсть со всеми спорить, всё знать. Мне была понятна их гордость, что вот они избрали благую участь и не жалеют.

В мурашках — шевеление тюремного ореола вокруг самовлюблённых и умных мордочек.

За месяц перед тем в другой бутырской камере, полубольничной, я ещё только вступил в проход, ещё места себе не увидел, — как навстречу мне вышел с предощущением разговора-спора, даже с мольбой о нём — бледно-жёлтый юноша с еврейской нежностью лица, закутанный, несмотря на лето, в трёпаную простреляннную солдатскую шинель: его знобило. Его звали Борис Гаммеров. Он стал меня расспрашивать, разговор покатился одним боком по нашим биографиям, другим по политике. Я, не помню почему, упомянул об одной из молитв уже тогда покойного президента Рузвельта, напечатанной в наших газетах, и оценил как само собой ясное:

— Ну, это конечно ханжество.

И вдруг желтоватые брови молодого человека вздрогнули, бледные губы насторожились, он как будто приподнялся и спросил:

— По-че-му? Почему вы не допускаете, что государственный деятель может искренно верить в Бога?

Только всего и было сказано! Уж там каков Рузвельт, но — с какой стороны нападение? Услышать такие слова от рождённого в 1923 году? . . Я мог ему ответить очень уверенными фразами, но уверенность моя в тюрьмах уже шатнулась, а главное: живёт в нас отдельно от убеждений какое-то чистое чувство, и оно мне осветило, что это я сейчас не убеждение своё проговорил, а это в меня со стороны вложено. И — я не сумел ему возразить. Я только спросил:

— А вы верите в Бога?

— Конечно, — спокойно ответил он.

Конечно? Конечно . . . Да, комсомольская молодость уже облетает, облетает везде. И НКГБ среди первых заметило это.

Несмотря на свою юность, Боря Гаммеров уже не только повоевал сержантом-противотанкистом на сорокапятках «прощай, Родина!», но и получил ранение в лёгкое, до сих пор не залеченное, от этого занялся туберкулёзный процесс. Гаммеров был списан из армии инвалидом, поступил на биофак МГУ, — и так сплелись в нём две пряжи: одна — от солдатчины, другая — от совсем не глупой и совсем не мёртвой студенческой жизни конца войны. Собрался их кружок размышляющих и рассуждающих о будущем (хотя это им не было никем поручено) — и вот оттуда намётанный глаз Органов отличил троих и выхватил. Отец Гаммерова был забит в тюрьме или расстрелян в 37-м году, и сын рвался на тот же путь. На следствии он с выражением прочёл следователю несколько своих стихотворений. (Я очень жалею, что ни одного из них не запомнил, и не могу теперь сыскать, я бы привёл здесь.)

На какие-то месяцы мой путь пересекся со всеми тремя однодельцами: ещё в одной бутырской камере я повидал Вячеслава Добровольского. Потом в Бутырской церкви нагнал меня и Георгий Ингал, старший изо всех них. Несмотря на молодость, он уже был кандидат союза писателей. У него было очень бойкое перо, он писал в контрастных изломах, перед ним при политическом смире-

нии открылись бы эффектные и пустые литературные пути. У него уже был близок к концу роман о Дебюсси. Но первые успехи не выхолостили его, на похоронах своего учителя Юрия Тынянова он вышел с речью, что того затравили, — и так обеспечил себе 8 лет срока.

Тут нагнал нас и Гаммеров, и в ожидании Красной Пресни мне пришлось столкнуться с их объединённой точкой зрения. Это столкновение было трудным для меня. Я в то время был очень прилежен в том миропонимании, которое не способно ни признать новый факт, ни оценить новое мнение прежде, чем найдёт для него ярлык из готового запаса: то ли это — мятущаяся двойственность мелкой буржуазии, то ли — воинствующий нигилизм деклассированной интеллигенции. Не помню, чтоб Ингал и Гаммеров нападали при мне на Маркса, но помню, как нападали на Льва Толстого — и с какой сороны! Толстой отвергал церковь? Но он не учитывал её мистической и организующей роли! Он отвергал библейское учение? Но для новейшей науки в Библии нет противоречий, ни даже в первых строках её о создании мира. Он отвергал государство? Но без него будет хаос! Он проповедовал слияние умственного и физического труда в одном человеке? Но это — бессмысленная нивелировка способностей! И наконец, как мы видим по сталинскому произволу, историческая личность может быть всемогущей, а Толстой зубоскалил над этим!

И в предтюремные н в тюремные годы я тоже долго считал, что Сталнн прндал роковое направление ходу советской государственности. Но вот Сталин тихо умер — и уж так лн намного нзменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный он прндал событням — это унылую тупость, самодурство, самовосхваленне. А в остальном он точно шёл стопой в указанную ленннскую стопу, н по советам Троцкого.

Мальчики читали мне свои стихи и требовали взамен моих, а у меня их ещё не было. Особенно же много они читали Пастернака, которого превозносили. Я когда-то читал «Сестра моя жизнь» и не полюбил, счёл далёким от простых человеческих путей. Но они мне открыли последнюю речь Шмидта на суде, и эта меня проняла, так подходила к нам:

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду . . .

И не желаю. Гаммеров и Ингал так светло и были настроены: не надо нам вашего снисхождения! Мы не тяготимся *посадкой,* а гордимся ею! (Хотя кто ж способен истинно не тяготиться? Молодая жена Ингала в несколько месяцев отреклась от него и покинула. У Гаммерова же за революционными поисками ещё не было близкой.) Не здесь ли, в тюремных камерах, и обретается великая истина? Тесна камера, но не ещё ли теснее *воля?* Не народ ли наш, измученный и обманутый, лежит с нами рядом под нарами и в проходе?

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Молодёжь, сидящая в тюремных камерах с политической статьёй,— это никогда не средняя молодёжь страны, а всегда намного ушедшая. В те годы всей толще молодёжи ещё только предстояло —«разложиться», разочароваться, оравнодушеть, полюбить сладкую жизнь, — а потом ещё может быть, может быть из этой уютной седловинки начать горький подъём на новую вершину — лет через двадцать? Но молоденькие арестанты 45-го года со статьёй 58-10 всю эту будущую пропасть равнодушия перемахнули одним шагом, — и бодро несли свои головы — вверх под топор.

В Бутырской церкви уже осуждённые, отрубленные и отрешённые, московские студенты сочинили песню и пели её перед сумерками неокрепшими своими голосами:

... Трижды на день ходим за баландою,
Коротаем в песнях вечера,
И иглой тюремной контрабандою
Шьём себе в дорогу сидора.

О себе теперь мы не заботимся:
Подписали — только б поскорей!
И ко-гда? сюда е-щё во-ро-тимся? ..
Из сибирских дальних лагерей? ..

Боже мой, так неужели мы всё прозевали? Пока месили мы глину плацдармов, корчились в снарядных воронках, стереотрубы высовывали из кустов — а тут ещё одна молодёжь выросла и тронулась! Да не *туда* ли она тронулась? .. Не туда ли, куда мы не могли б и осмелиться? — не так были воспитаны.

Наше поколение вернётся, сдав оружие и звеня орденами, рассказывая гордо боевые случаи, — а младшие братья только скривятся: эх вы, недотёпы! ..

Конец второй части

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Глава 1 — АРЕСТ

Как попадают иа Архипелаг.— Ощущеиия ареста.—«За что?»— Траднцнонный арест.— Как ведут обыск.— Пренмущества иочиых арестов.— Класснфикация арестов.— Наука обыска.— Изобретательность в арестах.— Неподготовлеииость к сопротнвленню.— Побег Андрея Павла.— Механнка арестиых эпидемий.—«Разберутся — выпустят», всеобщее бездействне.— А как можио бы сопротнвляться!— Околнчностн вреста.— Что в мыслях.— Облегчение от ареста.— Крнчать?— Почему молчал я.

Мой арест.— Комбриг Травкни.— Армейская контрразведка.— Трн таиксиста.— Жнвой шпиои.— Шуткн на оправке.

Глава 2 — ИСТОРИЯ НАШЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Крупиейшие потоки: раскулачнванне, послевоеиный н 1937.— Оргаиы упражнялнсь постояиио.

Посадки сразу после Октября.— Ленинскнй лозуиг очистки от иасекомых.— Определенне «насекомых».— Уникальиость ВЧК. — Народные восстаиия в защиту церквей.— Провннцнальиые «заговоры».— Система заложинков.— Сущиость красного террора.— Потоки социалистов.— Поток вериувшихся иа роднну.—«Околокадетская» ннтеллнгенция.— Кто сопротнвлялся продотрядам.— Добиваиие белогвардейцев. Потопленне барж.— Революцноиное правосозиаиие.— Уголовные потокн само собой.— Концентрвциоииые лагеря в Тамбовской губерини.— Кроиштадтскне матросы.— Усилеиие репрессий в 1921.— Комитет содействня голодающнм.— Посадки студеитов, забастовка МВТУ.— Большой Пасьянс соцналистов.— ЧК и живоцерковннкн.— Потокн священииков, релнгнозиых философов, просто верующих.— «Монашкн».— Проститутки.— Первые нацноиальиые потокн.— Студеические.— Выматыванне офнцеров.— Судьбв нх семей.— Казаки с Лемносв.— Бывшие чииовннкн.—«За сокрытие соцпроисхождеиня».— Кому удавалось пробиться обратно.— Остатки полнтнческого Красиого Креста.— Войковскнй иабор.— Соцнальная профилактнка.— Варенцов, музыкальные вечера.— Лицеисты и правоведы.— Иижеиерывреднтелн.—«Предельщнки».— Кто отказался осведомлять.— Первые публнчные процессы.— Использовать народ как соучастиика расправ.— Одииокие протесты.— «Шесть условий», поворот с нижеиерами.— Процесс «Союзиого бюро меньшевнков».— Несостоявшнйся процесс иад «Трудовой Крестьяиской партией». Группа Кондратьева — Чаянова.— Потоки, текущне всякое время (верующие, социалнсты, нацноиальности).— Группа нсториков, 1929.—«Рабочая оппозиция».— Троцкисты.— Нэпмаиы.—«Золотой» поток.— Поток при введеиин паспортиой системы.— Поток раскулачеииых, его особеииости.— Термииы «кулак» и «подкулачинк».— Поток «вредителей» сельского хозяйства, за невыполиеиие хлебосдачн, поток «стригущих колоскн».— Закои 7 августа 1932.— Кировский поток.— Потоки мелкие и всепопутные.— Десятый Пункт.

Обзор 58-й статьн УК и расширнтельное толкование её пунктов.

Поток 37-38 годов.— Удар по руководящим кругам.— Бесконечные аплодисменты.— Процеит чинов и рядовых.— Цнфры-задаиня.— Частные потокн: возврат советскнх шпионов; ка-вэ-жедиицы; корейцы; латыши.— Коиец Большого Пасьянса.— Интеллнгенцня.— Дело свердловскнх преподввателей.— Инженеры.— Че-

эСы.— Обвинения непомерные и нелепые, в городе и в деревне.— Понятие «вины» — правый оппортунизм.

Антипоток 1939 года.— Потоки 1939: чехи, поляки, западные украинцы, западные белорусы, молдаване.— Пленники финской войны.— Аресты и расстрелы в начале войны в западных областях и Прибалтике.—«Распространители слухов и паники».— За радиодетали.— Поток немцев.— Поток окруженцев.— Аресты в армии на Дальнем Востоке.— Генеральский поток.— Поток не бежавших москвичей.— Поток военных от приказа № 227.— Поток с оккупированных территорий (58-1-а), бывших пленников (58-1-б).— За что их всех судили на самом деле.—«Африканцы».— Группа Каденки.— Ссылка наций 1943-44, как она происходила.—«Военные преступники» немецкие и японские.— Поток русских эмигрантов.— Власовцы.— Гражданские беженцы от советской власти.— Как Запад скрыл их выдачу.— Армия Крайова.— Бандеровцы.—«Девушки за иностранцев».— Испанские дети.— Противопоток священников.

Система потоков уголовных и бытовых.— Пульсация Указов.— Закон «четыре шестых».— Двадцатипятилетний срок.— Бытовое недоносительство.— Повторники 1948-49.— «Дети-мстители».— Потоки 1948—50.— Разгласители государственных тайн.— Бандеровцы и жители Западной Украины.— Социальная профилактика в Прибалтике.— Греки с Кавказа.— Евреи, дело врачей.

Пустых тюрем не бывало.

Глава 3— СЛЕДСТВИЕ

Кто б ожидал пыток в XX веке?— Не надо вспоминать.

Следствие — протаскивание через трубу.— Дутые «дела» первых советских лет.— Поиски несуществующих вин.— Не вина, а к какому классу принадлежит.— Оттуда не возвращаются.— Дознание?— Наган на стол.— Ночные допросы.— Жаркие камеры.— Пытки были всегда.— Категории арестантов, подлежащие пыткам.— Группа Ромуальдаса Скирюса.— Личное признание вместо улик, теория Вышинского.— Как внедрялась практика пыток.— Преимущества лёгких приёмов.— Психические приёмы.— Физические.— Их комбинированность.— Бессонница.— Следовательский конвейер.— Клопяной бокс.— Карцеры.— Голод.— Битьё.— Взнуздание.

Неподготовленность к следствию.— Интеллигентские просчёты.— Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, их неведомые статьи.— Как используется одиночество подследственного.— Переполнение следственных камер (1918, 1931, 1937, 1945) и его воздействие.— Некоторые пытки.— Дубинка Рюмина.— За бороду и усы.— Самое страшное.— Камерные уговоры к сдаче.— Аргументы ортодоксов.— Чего сами ортодоксы стóят.— Кто от всего отрёкся.— Бердяев в 1922.— Верующая старушка.— Как держались на следствии прежние русские революционеры.— Сравнение следствия царского и советского.

Моё следствие.— Сажа из лубянских труб.

Органы не ищут доказательств.— Как следователи растягивают следствие.— Допрос у прокурора.— Двести шестая статья.— Подписка о неразглашении.

Глава 4 — ГОЛУБЫЕ КАНТЫ

Мы не видим наших следователей.— Как их объяснить?— Дивнич сравнивает Гестапо и МГБ.— Следователи формулируют свои принципы.— Их мотивы.— Упоительность власти для молодого гебиста.— Верность Органам!— Оживляющие забавы.— Не сдерживать бешенства.— Сексуальное любопытство.— Возможности наживы.— Месть прокурора.— Жадность следователей.— Разгул.— Гебисты арестованные.— Потоки самих гебистов.— Абакумов и Рюмин в тюрьме.

А кем бы стал каждый я?— Почему противились училищам НКВД.— Что делают с человеком погоны.— Мой первый этап.— Офицерский чемодан.— Гнев обоза.— Я офицер!— Линия добра и зла.— Хорошие гебисты.— Лейтенант Овсянников.— Лекция Веры Корнеевой в гебистской канцелярии.— Д. П. Терехов, верховный судья.— Выводня́я Большого Дома.— Не всё добро, что на добро похоже.— Цвет небес.— Яго́да и иконы.— Природа злодейства.— Роль идеологии.— Порог злодейства.

Осужденье злодеев в Западной Гермвнии и милость им у нас.— Как же России очиститься?

Глава 5 — ПЕРВАЯ КАМЕРА — ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Большой Дом в ленинградскую блокаду.— Первая следственная камера!— Сухановка.— Сухановская следственная одиночка.— Мы, люди!

Мой вход в первую камеру.— Реле-узнаватель.— Тюрьма — не пропасть.— Уютная жизнь.

Поколения предшествующие.— Быт ранней Лубянкн.— Анатолий Фастенко.— Амнистня 17 октября 1905.— Побеги тех лет.— Потёмкинец из Канады.— Не асё входящее в наши уши.

Инженер советской формации.—«Если погибнуть прндётся».

Распорядок лубянского дня.— Рассчитано или само?— Арнгольд Сузи.— Утренняя пайка.— Тюремный врач.— Наши права.—53-я камера.— Прогулка на лубянской крыше.— Из эстонской истории.— Лубянская бнблнотека.

Юрнй Евтухович, его историня.— Термин «власовец».

Лубянский день к концу.— Дореволюционная тюремная благотворнтельность.— Тюремные прнметы.

«Император Михаил».

Конец войны в тюрьме.

Глава 6 — ТА ВЕСНА

Русские пленники, ровесники Октября.— Как они возвращались.— Что пережили.— Родина нзменила им трижды.— Как мы поддаёмся предвзятому.— Откуда столько изменннков?— Непризнание плена.— Выходы военнопленного.— Шпионы на час.— Наказание самым верным.— Проверочно-фильтрационные лагеря.—«Эх, если б я знал!»

Биографня генерала А. А. Власова.— Добровольные противосоветские формирования первых лет войны.— Боязнь Гитлера создать русские вооружённые силы.— Агнтационные поездкн Власова.— Просоюзнические надежды власоацеа.— Боевые эпнзоды власовцев.— Всаднвк гонит пленника.— Судьба брнгады из Локтя Брянского.— Согласие на русские дивизии осенью 1944.— Комитет Освобождения Народов России, пражскнй маннфест.— Первые и последние действия 1-й и 2-й русских дивизнй.— Непонимание Запада.— Тщетная капнтуляция.— Судьба остатков.— Выдача казаков Англней.— Рузвельт н Черчнлль? . .— Английскне концлагеря.— Общее о власовцах.

Судьбы русской эмиграции.— Как их принимала родина.— Как выворачивали уголовный кодекс при обвинении их.— Полковннк Ясевич.— Игорь Тронько, моё поколение в эмнграции.

Тюремная легенда об Алтае.— Ожидания амнистии в ту весну.— За приговорами на Бутырскнй «вокзал».

Глава 7 — В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ

Как объявляли приговоры ОСО.

Административные прнговоры до революции.— Тройка ГПУ.— Тройки.— Их переформировки и соотношение с ОСО.— Литерные статьн.— Преимущества ОСО перед судом.— Приговоры вдогонку.

Закрытость политическнх судов.— Сравнение с прежней Россией.— Обвнняющие адвокаты.— Предрешённость приговоров.— Расширительные толкования кодекса.— Тайные инструкции.— Имеет ли смысл оправдательный приговор?— Дело Павла Чульпенёва.— Трнбунальские случаи.— Я встречвюсь с Верховным Судом.

Глава 8 — ЗАКОН-РЕБЁНОК

Мы всё забываем . . .—«Внесудебная расправа» ЧК.— Чекнстские цифры расстрелянных сравнительно с прежними русскими.— Суды после Октября.— Сходство народных судов и революционных трибуналов.— Железнодорожные трибуналы, трибуналы ВОХРы. — Основание Революционных Военных Трибуналов и принципы их действия.— Расстрельные цифры 1920 года.— Трибуналы как боевые отряды.—

Когда отпадает смысл вепелляционного права.— Живые места тех лет.— Крестьянские восстания.— Рязанский трибунал судит толстовца.— Книга речей Крыленки.— Общие задачи советского суда.— Дело «Русских Ведомостей».— Дело трёх следователей московского ревтрибунала.— Дело Косырева.— Неприятности у ЧК в феврале 1919.— Процесс церковных деятелей (Самарин и др.).— Звенигородский набат.— Церковные процессы в провинции, удары по храмам и монастырям.— Циркуляр 1920 г. о ликвидации мощей.— Большевистская постановка вопроса об интеллигенции.— Процесс «Тактического центра».— Истинная история его.— «Таганцевское дело».

Глава 9 — ЗАКОН МУЖАЕТ

Процесс Главтопа.— Оживление расправы после гражданской войны.— Дело инженера Ольденборгера.

Голод в Поволжьи и конфискация церковных ценностей.— Московский церковный процесс 1922 года.— Петроградский церковный процесс.— Процесс эсеров.— Репетиция гнева масс.— Пытка смертью.

Дело Савинкова.— Смерть его.

Глава 10 — ЗАКОН СОЗРЕЛ

Новая мысль Ленина — высылка интеллигенции за границу в 1922.— Рождение понятия «вредительство».— Шахтинское дело.— Срыв с Пальчинским, фон Мекком, Величко.— Процесс «Промпартии».— Есть ли загадка у московских показательных процессов?— Процесс «Союзного бюро меньшевиков» и как он был инсценирован.— М. П. Якубович.

Процессы 1937-38 годов.— Загадка?— Уж такие ли они были революционеры?— Отбор кандидатов на роли.— Скрытая история последних месяцев Бухарина.

Кадыйское дело, районный процесс.— Почему не было по стране открытых судов.

Глава 11 — К ВЫСШЕЙ МЕРЕ

Отмена смертной казни при Елизавете.— Умеренность её преемников.— Данные Таганцева о казнях конца XIX — начала XX века.— История смертной казни при большевиках. Фальшивость отмены её, уловки и обходы.— Казни 30-х годов, шесть царскосельских мужиков.— Расстрелы 1937-38.— Зигзаги последних сталинских лет.

Примеры, за что давали расстрел.— Группа ген.-лейтенанта Игнатовского.— Спасительная вспышка К. И. Страховича.— Если смотреть их фотографии . . .— Ощущения последних минут.— Бытовые страдания смертников в переполненных тюрьмах.— Отчего так подолгу держали под смертным приговором?— Научные занятия смертников и следователей.— Смертная камера как следовательский приём.— Психология непротивления.— В. Г. Власов под смертным приговором.— Смертные камеры кинешемской тюрьмы.— Ритм суток.— Есаул Хоменко.— Оскорбление палача.— Как Власов принял помилование.

Глава 12 — ТЮРЗАК

Ослабление русского тюремного режима к началу XX века.— Усиление советского с 1918.— Политрежим.— Самоотстаивание арестантов в советских тюрьмах.— Эсеры в соловецких скитах (1922—1925).— Верхнеуральский изолятор с 1925.

Сила голодовок? — в царское время.— Сдерживание голодовок в 20-х годах.— Подавление в 30-х.— Насильственное питание.— Голодовка как контрреволюционное действие.— Как Тюрьма Нового Типа победила голодовки.— Нет общественного мнения!

Конец социалистов в Большом Пасьянсе.— Их самоотделение от «каэров».— «Политы» глазами «каэров».— Самоотделение троцкистов и коммунистов.

Для кого тюремное заключение.— Укрепление и расширение централов при советской власти.— Режим политизоляторов.— И как переживает его арестант.— Н. Козырев, чудо с астрофизикой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Глава 1 — КОРАБЛИ АРХИПЕЛАГА

Налаженная система.— Как сажают в вагон-зак.— Как представить это в поезде рядом?— Происхождение термина «столыпинский вагон».— Как устроен этот вагон.— Степень наполнения.— Селёдка и без воды, почему.— Оправка в вагон-заке.— Смешение политических с уголовными.

Льготы политическим в царской тюрьме.— Первая встреча с блатными.— Ломка обычных понятий.— Разобщённость Пятьдесят Восьмой и бессилие её.— Безнаказанность блатных. Как это основывается уголовным кодексом и марксизмом.— Участие конвоя в блатном грабеже.— Прямой конвойный грабёж, приёмы его.

Как арестанты узнают свой маршрут.— Как отправить письмо из вагон-зака.

Ничего не иметь!— Смотреть, запоминать.— История Макса Сантера.— История Ивана Коверченки.— Эрик Андерсен слушает русскую девушку.

«Маятник» в вагон-заке.— Выгрузка.— Как надо садиться на землю.— Милостыня от вольных.— Полюби такие минуты!— Взяться под руки!— Взяться за пятки!— Притравить отстающих.

Воронки 20-х годов.— Послевоенная раскраска.— Внутреннее устройство воронка.— Как управляются там блатные.— Встреча подполковника Иванова.

Глава 2 — ПОРТЫ АРХИПЕЛАГА

Как составить их карту.— Общее в них.— Сравненье разных пересылок в разные годы.— Северные лагерные пересылки.— Тюрьмы без параш, и как же поступать?— Пересылочные бани.— Пересылочные придурки.— Суки.— Хитрости блатных.— Редкое сопротивление политических.— Моё унижение на Красной Пресне.

Первое письмо после ареста.— Женщина над Куйбышевской пересылкой.— Будущие памятники Архипелагу?— Широта зрения на пересылке.— Эрик Арвид Андерсен и его история.— Бессмысленности массовых перебросок.— И индивидуальных.— Пересылка как отдых.— Надрывные работы на пересылке.— Как трудно отставать от власти.

Красная Пресня в 1945.— Маршрут за взятку.— Освобожденье душ отказом от суеты.— Смена сроков.—«Покупатели» на пересылках.— Рынок рабынь.— Поученья спецнарядника.— Любой ценой?

Глава 3 — КАРАВАНЫ НЕВОЛЬНИКОВ

Преимущество «красных эшелонов» для государства.— Подготовка товарного вагона. Подготовка эшелона.— Утаенье от жителей.— Отправки из Орла в 1938.— Техника посадки.— Приёмы обыска.— Конвой поживляется.— Блатные в красном вагоне.— Неустройства питания.— Ночные проверки с молотками.— Гибель от холода.— Долгие эшелоны и оперуполномоченный.— На платформах узкоколейки.— Приём эшелона на месте в мороз.— Когда нет никакого лагеря.

Баржевые этапы на Север.— Блатные здесь.— Случай сопротивления.— Пароходы на Колыму.— Пожар на «Джурме» в 1939.— Дальнейшие этапы по Колыме.— Грабёж на приёме в Магадане.

Пешие этапы на Севере.— Питание.— Пристрел в пути.— Подгон палками.— Пешие этапы в городах в 20-е —30-е годы.— Все способы — хуже, а впереди — ещё хуже.

Глава 4 — С ОСТРОВА НА ОСТРОВ

Счастливый случай спецнаряднннка.— Спецконвой.— Как взяли меня из лагеря.— Легенда о шарашках.— Впечатления от поездки среди вольных.— Облегчительное чувство возврата на Архипелаг.

Мир тесен!— Арестантский телеграф.— Научно-техническое общество в камере.— Тимофеев-Ресовский.— Блаженство арестантского сна.— Бутырская 75-я камера, люди.— Вечерние лекции.— Восприятие пленников.

Бутырская церковь, арестантский быт в ней.— Румынский шпион Владимиреску.— Послевоенная молодёжь в Бутырках.— Гаммеров.— Ингал.— Гордость посадкой.— Песня студентов.— Новое поколение — куда? . .

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Глава 1— Арест 13
Глава 2— История нашей канализации 27
Глава 3— Следствие 75
Глава 4— Голубые канты 109
Глава 5— Первая камера — первая любовь 131
Глава 6— Та весна 169
Глава 7— В машинном отделении 199
Глава 8— Закон-ребёнок 214
Глава 9— Закон мужает 242
Глава 10— Закон созрел 269
Глава 11— К высшей мере 308
Глава 12— Тюрзак 326

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Глава 1— Корабли Архипелага 347
Глава 2— Порты Архипелага 374
Глава 3— Караваны невольников 394
Глава 4— С острова на остров 408

Содержание глав 425

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

Малое собрание сочинений, т. 5

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Части 1–2

Редактор В. М. БОРИСОВ
Художественный редактор Л. Б. ФИЛИППОВА
Художник И. А. ШЕИН
Технический редактор А. С. ГИНЗБУРГ
Корректор Ж. Н. МИЛОВА

Подписано в печать 17.12.90. Формат $60 \times 84^{1}/_{16}$. Бумага кн.-журн. Офсетная печать. Печ. л. 27,0. Усл. кр.-отт. 27,25. Уч.-изд. л. 32,4. Тираж 3.000.000. (3 з-д 500.001—750.000) экз. Заказ 1556.

Цена 12 руб.

ИНКОМ НВ

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»
103473, Москва, Краснопролетарская, 16


5
Александр Солженицын
АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ